

МИХ.
ЗОЩЕНКО



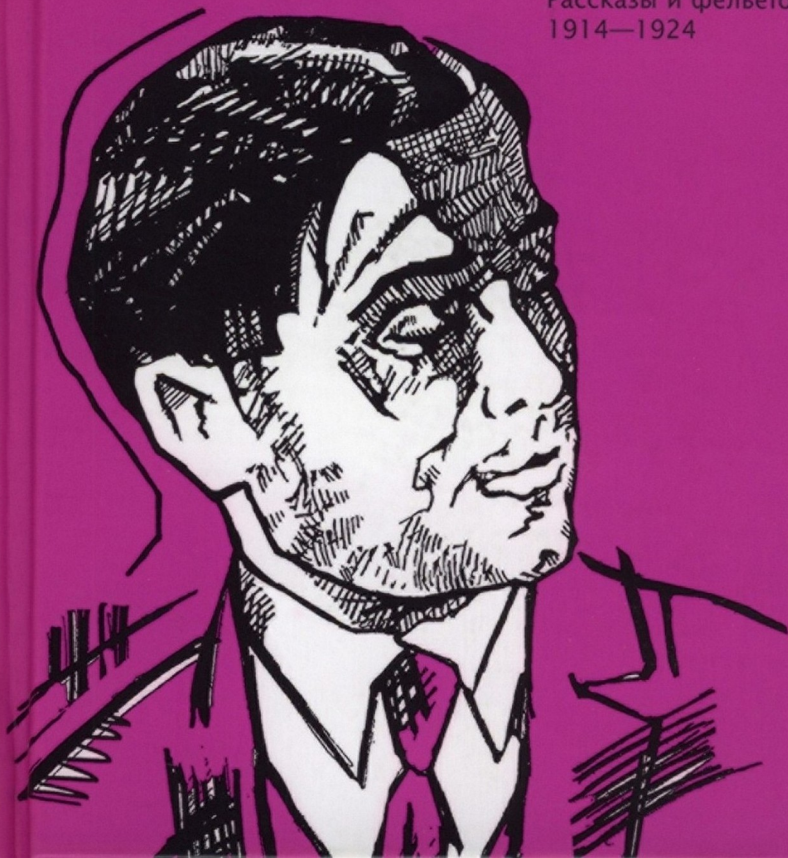
РАЗНОТЫК

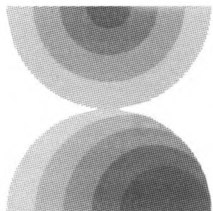
Рассказы
и фельетоны
1914—1924

МИХ.
ЗОЩЕНКО

РАЗНОТЫК

Рассказы и фельетоны
1914—1924





РусьБанк

Мих.
Зощенко

Собрание сочинений

Мих.
Зощенко

Разнотык

Рассказы и фельетоны
1914—1924

москва 2008



ББК 84Р7-4
378

Составление, вступительная статья и примечания
Игорь Сухих

Макет и оформление
Валерий Калныньш

- Зоценко М. М.**
378 Разнопытк: Рассказы и фельетоны (1914—1924) / Собрание сочинений. —
Состав., вступ. ст. и примеч. И. Н. Сухих. — М.: Время, 2008. — 848 с.
ISBN 978-5-9691-0359-7

Собрание сочинений М. М. Зоценко — самое полное собрание прозы одного из крупнейших писателей-новаторов XX века. В него входят практически все известные произведения писателя от ранних рассказов, пародий и «Сентиментальных повестей» до книги «Перед восходом солнца» и поздних «положительных» фельетонов.

Этот том включает рассказы и фельетоны 1922—1924 гг., а также ранние, не публиковавшиеся при жизни Зоценко, произведения.

ББК 84Р7-4

ISBN 978-5-9691-0359-7



- © Зоценко М. М., наследники, 2008
- © Сухих И. Н., составление, вступительная статья и примечания, 2008
- © «Время», 2008

Гоголек

Скажите, говорят, какой-то Гоголь умер.
Не Гоголь, так себе, писатель-гоголек.

О. Мандельштам

ПРЕДСКАЗАНИЕ

Летом тридцать восьмого года в Коктебеле он рассказал знакомой женщине странную историю, случившуюся еще до революции.

Ночь. Душный номер провинциальной гостиницы. Молодые офицеры, одуревшие от водки, карт и скуки, узнают, что по соседству остановился известный гипнотизер и предсказатель будущего, и отправляются к нему в поисках хоть какого-то развлечения. Человек с резкими чертами лица возмущается и гонит всех вон из номера. «Атмосфера накалялась. Внезапно черные глаза гипнотизера остановились на нем, Зощенко.

“Я ничего не буду для вас делать, господа. Я возмущен вашим поведением, и вы сейчас же покинете этот номер... Но я артист, а среди вас есть человек, который заинтересовал меня, и ему я скажу несколько слов”.

Он широким шагом подошел к Зощенко и, положив тяжелую руку на его плечо, сказал, глядя в лицо:

“Вы, молодой человек, имеете недюжинные способности в области искусства. Не отрекайтесь от них. В скором времени вы станете знамениты на всю Россию. Но кончите, впрочем, плохо. Прощайте”»¹.

ПРЕДЧУВСТВИЕ

16 июля 1923 года его жена записывает в дневнике: «Говорил, что его до сих пор никто не понимает как нужно, смотрят на него, в большинстве случаев, как на рассказчика веселых анекдотов, а он совсем не то.

Как он часто любит это делать, проводил параллель между собой и Гоголем, которым он очень интересуется и с которым находит очень много общего. Как Гоголь, так и он совершенно погружен в свое творчество.

Муки Гоголя в поисках сюжета и формы ему совершенно понятны.

Сюжеты Гоголя — его сюжеты.

Наконец, они оба юмористы. Даже происхождение одно — хохлацкое. — “Может быть, одна кровь сказывается”.

Даже в некоторых жизненных мелочах он находит сходство с своей литературной судьбой»².

Через три года (1926) эта параллель будет развернута в фельетоне «Товарищ Гоголь». Оказывается, «в наше переходное время» Гоголь жил бы на Васильевском острове, работал в «Смехаче» (25 рублей за фельетон), пописывал разные мелочишки, занимал трешки до среды и страдал от современной критики — точно так же, как Зоценко.

Фельетон кончался фразой: «Плохо, товарищи, быть писателем!»

НЕОБЫКНОВЕННАЯ АВТОБИОГРАФИЯ

В сентябре 1927 года Зоценко по просьбе редакции «Бегемота» сочиняет автобиографию. «Я родился в 1895 году. В прошлом столетии! Это ужасно меня огорчает.

Я родился в XIX веке! Должно быть, поэтому у меня нет достаточной вежливости и романтизма к нашим дням, — я юморист.

О себе я знаю очень мало.

Я не знаю даже, где я родился. Или в Полтаве, или в Петербурге. В одном документе сказано так, в другом — этак. По-видимому, один из документов — “липа”. Который из них липа, угадать трудно, оба сделаны плохо.

С годами тоже путаница. В одном документе указано — 1895, в другом — 1896. Определенно, липа.

Профессий у меня было очень много».

Далее перечислено восемь «наиболее интересных» — от студента Петроградского университета до конторщика Петроградского морского порта, включая такую экзотику, как комендант почт и телеграфа, инструктор по кролиководству и куроводству, постовой милиционер в Лигове.

«Сейчас у меня биография скучная, — заканчивает Зоценко. — Писатель. Кажется, это последняя профессия в моей жизни. Мне жаль, что я остановился на этой профессии.

Это очень плохая профессия, черт ее побери! Самая плохая из двенадцати, которые я знаю».

Писатель — очень плохая профессия.

Гоголь тоже кончил плохо.

Даже на гребне славы он не ждал исключений от судьбы и помнил: «Молодой человек, вы кончите плохо».

НАЧАЛО

На самом деле липой оказались обе указанные в документах даты. Зоценко родился 26 июля (9 августа) 1894 года. Отец — художник-передвижник. Мать, как и положено в те времена, — домохозяйка. Сочинять стихи начал едва ли не с восьми лет. Потом написал рассказы «Пальто» и «За что?» (Такое заглавие уже было у Толстого, но это не смутило шестнадцатилетнего гимназиста. Повторение известных заголовков станет позднее его постоянным литературным приемом.) Тем не менее, школьные его сочинения оценивались, как правило, невысоко, а в восьмом классе за «Дворянское гнездо» и Лизу Калитину он заработал двойку.

После гимназии Зоценко учился на юридическом факультете университета. В пятнадцатом году после окончания ускоренных курсов ушел на фронт.

Прапорщик Зоценко честно воевал два года. Был ранен и отравлен газами. Получил четыре ордена и чин штабс-капитана. Скитался по развороченной революцией и войной России.

В записной тетради тех лет сказано: «Нужно придумать цель в жизни. Придумать идею. Или иметь в своей душе... Цель жизни — найти призвание»³. В орбиту этих поисков снова входит литература.

Зощенко начинает как «русский денди», поклонник (говоря более резко — эпигон) модернистской культуры в ее отечественном и иноземном вариантах — от Блока и Арцыбашева до Ницше и Пшибышевского. («Пока посылаю тебе 2 любимейшие мои книги — конечно, Блок и, конечно, Ницше».) С будущей женой он играет в игры, которые для создателя «Стихов о Прекрасной Даме» были «полной гибелью всерьез».

«Вот опять те же желанья и ожиданья и намеки, и опять старый и знакомый соблазн черных шелковых чулок. Соблазн, от которого я бежал. О, как я ненавижу свои желания. Вам не понять этого — вы женщина... Хотите, я принесу Вам мои сентиментально-крикливые цветы? Или оденусь рыцарем и с галантной улыбкой буду исполнять ваши капризы? Хотите, я придумаю для Вас “новое чувство”?»⁴ Письмо, сочиненное в июне 1917 года, озаглавлено «Гимн придуманной любви» и сопровождается стихотворным эпиграфом.

«Ирина стояла на коленях и целовала его руки.

— Люблю, люблю... Если скажешь уйди — не уйду. Хочешь — ударь вот тем стэком. Я его поцелую. Я люблю... А ты должен гордиться, что вот так любят тебя. Ты гордишься? Ты мной гордишься? Ну скажи... Ведь я же согласна на все... И хочу, и согласна, и должна быть твоей.

И она, эта, недавно чужая, такая веселая, такая смешная в коричневом своем платье, почти девочка, — так близка сейчас. О, даже больше... Если он захочет, она будет его любовницей».

А это уже сделанный через год «под Арцыбашева» рассказ «Подлец» — о страстной любви-мучении женщины-ребенка Ирины и добродетельного гордеца Бориса: она отдается («Возьми... Ты же должен...»), а он не находит в себе «зверя какого-то» («Нет, Ирина,

этого вовсе не нужно. Да и не хочу, не могу, не хватает, ну, подлости, что ли»).

Революция, война, скитания, бытовые тяготы никак не отражаются на этом мире изломанных натур и прекрасных герцогинь.

Летом 1919 года в литературной студии при издательстве «Всемирная литература», организованной К. Чуковским, появился новый студист (как тогда выражались) — старший милиционер на станции Лигово.

Сначала студия работала на Литейном проспекте. Осенью переехала в только что созданный Дом искусств на Мойке, знаменитый Диск, который О. Форш назовет «Сумасшедшим кораблем».

На этом корабле пережидали трудные времена многие старые писатели — от Ф. Сологуба до А. Волынского. На него вскарбакались молодые бунтари: Тихонов, Каверин, Шкловский.

В студии К. Чуковского Зощенко прославился уже не как подражатель Блока, а как ехидный и тонкий пародист. В то же время он собирается стать историком современной литературы. В книгу «На переломе» (от нее остались лишь наброски) должны были войти главы о Блоке, Маяковском, Арцыбашеве, Вербицкой и даже учителе Чуковском.

Зощенко-критик дистанцируется от прежних игр, превращает их в тему исследования, критического и бескомпромиссного. «Вся почти литература наша современная о них, о безвольных, о неживых или придуманных. Гиппиус, Блок, Ал. Толстой, Ремизов, Ценский — все они рассказывают нам о неживых, призрачных, сонных людях. И кажется, лишь один сильный человек во всей нашей литературе — арцыбашевский Санин. <...> Сначала быт, а потом и ре-

альная жизнь ушли из литературы. Бред, измышления своего я и родили какую-то удивительную, ненастоящую, сонную жизнь. Поэты придумали каких-то принцесс, маркизов и “принцев с Антильских островов”. И мы полюбили их, нежно полюбили виденья, придуманных маркиз и призрачных чудесных Незнакомок. Жизнь окончательно ушла из литературы», — производится расчет с прошлым в незаконченной статье «Неживые люди» (1919)⁵.

Но писатель быстро победил историка литературы. Первой альтернативой прежним увлечениям становятся рассказы «Любовь», «Старуха Врангель», «Мадонна». Вместо маркиз и принцев в них появляются проститутки, воры и сотрудники ЧК на фоне современного Питера. Современники, не знавшие о допечатном Зощенко, сразу уверенно опознали в начинающем писателе наследника гоголевского гротеска и чеховской психологической парадоксальности.

Чуть позднее Зощенко счастливо находит образ Назара Ильича господина Синебрюхова, незадачливого вояки, неутомимого рассказчика, бедного Макара, на голову которого валятся многочисленные «чертовинки» революционной эпохи. Эстетически маска Синебрюхова была алхимической смесью гоголевского Рудого Панька с его простодушно-ироническим сказом и лесковского Левши, русского таланта с трагической судьбой. «Я такой человек, что все могу... Хочешь — могу землишку обработать по слову последней техники, хочешь — каким ни на есть рукоеслом займусь, — все у меня в руках кипит и вертится.

А что до отвлеченных предметов, — там, может быть, рассказ рассказать, или какое-нибудь тоненькое дельце выяснить, — пожалуйста: это для меня очень даже просто и великолепно».

Синебрюхов принес автору первую известность. Он читает рассказы на заседаниях группы «Серапионовы братья», членом которой становится со дня основания в феврале 1921 года. Когда в конце того же года Елизавета Полонская, единственная из серапионовых сестер, предлагает Зоценко издать книгу, он собирает ее из четырех синебрюховских рассказов.

Первыми читателями и почитателями Зоценко оказались типографские наборщики. «Метранпаж сказал Берману: “Я никогда не слышал, чтобы наши наборщики так смеялись! Книга будет иметь успех”»⁶.

Точно так же фыркали наборщики почти сто лет назад, первыми читая гоголевские «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Это был окончательный выбор. Начинается вторая — литературная — судьба Михаила Зоценко.

Но (еще одно предупреждение-предсказание?) часть тиража книжки Зоценко оказывается под другой обложкой — печатавшейся в той же типографии брошюры «О трагическом».

ИЗ ГОГОЛЕВСКОЙ «ШИНЕЛИ»

Знаменитым на всю Россию он стал почти мгновенно. Двадцатые годы проходят под знаком Зоценко.

Ему пишут многочисленные письма (частично он использует их в книге «Письма к писателю»). К нему домой ходят восхищенные поклонницы. Его именем прикрываются самозванцы.

За его рассказы бьются журналы, имеющие хоть какое-то отношение к юмору. Появляются десятки его книг и книжечек. Уже

в 1929 году начинает издаваться его собрание сочинений. Годом раньше книга о нем со статьями В. Шкловского, А. Бармина, В. Виноградова выходит в серии «Мастера современной прозы».

Зощенко заинтересованно читают «человек с улицы» — но также Горький, Тынянов, Мандельштам, Чуковский. Однако видят и ценят они настолько разное, что кажется: писателей с фамилией Зощенко в 1920-е годы было двое.

Приятель и соавтор Зощенко, художник Николай Радлов, сделал однажды дружеский шарж. Многие думают, что он ТАКОЙ (на рисунке разухабистый, модно завитый, оскалившийся в улыбке здоровяк с роскошным бантом на шее сидит за столом с бутылкой водки и наполненным стаканом), а он... ТАКОЙ (за тем же столом, подперев голову рукой и закрыв глаза, — унылый аккуратно причесанный человек, перед которым — два больших пузырька с припиленными рецептами и рюмка с лекарством).

В те же годы тот же парадокс фиксирует наблюдательный журналист: «Читатель, живущий вдалеке, услышав знакомую фамилию автора веселых рассказов Зощенко, ждет встретить в жизни полнокровного человека, толстощекого весельчака, с энергичными жестами сангвиника. Нет, у Михаила Зощенко неподвижное, смуглое до черноты лицо, худые щеки, бледные безжизненные губы. Он смотрит на вас усталыми глазами. Кажется, нет большей разницы между воображаемым и действительным обликом писателя»⁷.

Два контрастных облика не только разграничивают жизнь и искусство, автора и «образ автора». В двадцатые-тридцатые годы заинтересованный читатель, даже не сталкиваясь с оригиналом, мог вообразить, сконструировать, представить несколько разных образов автора с одной и той же фамилией — Зощенко.

Для широкого читателя автор «Бани» и «Аристократки», король смеха был главным и единственным. Между тем проза Зощенко движется в двадцатые годы сразу в двух направлениях. Эти линии прозы различаются жанрово, тематически, персонажно, стилистически. Публикуясь попеременно, произведения Зощенко исторически оказываются разными этапами, разными гранями диалога писателя с традицией и его отношений с современностью.

По апокрифической фразе Достоевского, «все мы вышли из гоголевской “Шинели”». Такой «шинелью» для «первого Зощенко» становится вся русская литература. Его проза вырастает на мощном фундаменте классической традиции: не только из гоголевской шинели, но из пушкинских фрака и армяка, живописных лохмотьев Достоевского, чеховского сюртука.

В 1923 году, наряду с короткими рассказами, Зощенко пишет повести «Коза» и «Аполлон и Тамара». В 1924 году к ним добавились «Мудрость» и «Люди». В следующем — «Страшная ночь» и «О чем пел соловей». В 1926-м — «Веселое приключение».

Семь вещей составили сборник «Сентиментальные повести». Чуть позднее написана «Сирень цветет» (1930).

В итоге повести стали книгой, объединенной темами, мотивами и образом автора со своим голосом и стилем. В первом полном издании Зощенко сопроводил ее целыми четырьмя предисловиями.

Уже здесь начиналась игра писателя с читателем. Первое предисловие подписано И. В. Коленкоровым. Во втором дана биографическая справка о нем со ссылкой на повесть «Люди», где «тепло и любовно» выведена его родная сестра Катерина Васильевна Коленкорова. Лишь в четвертом предисловии Зощенко объяснил:

«Неврастения, идеологическое шатание, крупные противоречия и меланхолия — вот чем пришлось наделить нам своего “выдвиженца” И. В. Коленкова. Сам же автор — писатель М. М. Зощенко, сын и брат таких же нездоровых людей, — давно перешагнул все это. И в настоящее время он никаких противоречий не имеет. В него на душе полная ясность и розы распускаются».

В таких объяснениях, как и вообще в многочисленных отступлениях Автора (Коленкова? Зощенко?), сопровождающих каждый сюжет, звучала внутренняя ирония, комическое коварство. Подлинный смысл слов противоречил сказанному. Сам автор перешагнул все это — но душевного спокойствия все же нет, как ни уверяет он в обратном. Он остается «сыном и братом» своих неприкаянных персонажей.

Этих людей двойной автор Коленков-Зощенко в разных предисловиях определяет сходно.

«Эта книга специально написана о маленьком человеке, об обывателе, во всей его неприглядной красе... На общем фоне громадных масштабов и идей эти повести о мелких, слабых людях и обывателях, эта книга о жалкой уходящей жизни действительно, надо полагать, зазвучит для некоторых критиков какой-то визгливой флейтой, какой-то сентиментальной оскорбительной требухой».

«Тут перед вашими глазами пройдет целая галерея уходящих типов».

«В силу прошлых недоразумений писатель уведомляет критику, что лицо, от которого ведутся эти повести, есть, так сказать, воображаемое лицо. Это есть тот средний интеллигентный тип, которому случилось жить на переломе двух эпох».

В авторском фокусе соединяются, накладываются друг на друга два ключевых образа русской классики — «маленький человек» и «лишний человек» (средний интеллигентный тип). На переломе эпох их судьбы начинают драматически совпадать, рифмоваться.

В том же двадцать втором году, когда Зоценко сочиняет первую сентиментальную повесть, О. Мандельштам публикует пророческую статью «Конец романа». В ней шла речь не только о литературе — о судьбе человека и культуры в новой социальной реальности.

«Мера романа — человеческая биография или система биографий», — рассуждал Мандельштам. Поэтому старые романы от «Матвеев» до «Анны Карениной» и «Мадам Бовари» были «столько же художественными событиями, сколько и событиями в общественной жизни. Происходило массовое самопознание современников, глядевших в зеркало романа, и массовое подражание, приспособление современников к типическим организациям романа. Роман воспитывал целые поколения, он был эпидемией, общественной модой, школой и религией».

Интерес к роману с его фабулой и психологической мотивировкой был, следовательно, интересом к частному человеку, признанием его роли и значения в истории. «Ясно, что, когда мы вступили в полосу могучих социальных движений, массовых организованных действий, когда борьба классов становится единственным настоящим и общепризнанным событием, акции личности падают в сознании современников, и вместе с ними падают влияние и сила романа... — диагностирует Мандельштам. — Дальнейшая судьба романа будет не чем иным, как историей распыления биографии как формы личного существования, даже больше чем распыления — катастрофической гибелью биографии...

Ныне европейцы выброшены из своих биографий, как шары из бильярдных луз, и законами их деятельности, как столкновением шаров на бильярдном поле, управляет один принцип: угол падения равен углу отражения. Человек без биографии не может быть тематическим стержнем романа, и роман, с другой стороны, немислим без интереса к отдельной человеческой судьбе, фабуле и всему, что ей сопутствует. Кроме того, интерес к психологической мотивировке, куда так искусно спасался упадочный роман, уже предчувствуя свою гибель, в корне подорван и дискредитирован наступившим бессилием психологических мотивов перед реальными силами, чья расправа с психологической мотивировкой час от часу становится все более жестокой. Само понятие действия личности подменяется другим, более содержательным социально, понятием приспособления»⁸.

Бессилие психологических мотивов перед реальными силами, вышедшими на арену истории, становится внутренней темой книги Зоценко. Распыление, гибель, исчезновение — итогом жизни практически всех героев.

«Сентиментальные повести» свидетельствуют о том, что всякие «сентименты» кончились. Наступила жестокая эпоха выживания.

Зоценко, как уже сказано, сознательно ступает в след романа, в след русской классики, варьируя ее темы и сюжеты, но перенося ее героев в современность. Тем отчетливее становятся разрыв времени, глубина пропасти, масштабы катастрофы.

Название цикла напоминает о Карамзине с его «Бедной Лизой» и незаконченным «Рыцарем нашего времени».

Повесть «Коза» — история бедного чиновника, коллежского регистратора Забежкина — предельно точная вариация, калька го-

голевой «Шинели». У обоих героев, безнадежно одиноких, затерянных в чужом и чуждом мире чиновного Петербурга, возникает убогая, но теплая мечта (шинель у одного, коза у другого). Она разрушается жестокой реальностью (шинель крадут, коза оказывается чужой). После этого Акакий Акакиевич умирает, а Забегкин исчезает, растворяется в пространстве.

«Я брат твой», — звенят в сознании гоголевского молодого человека слова, которые он будто бы слышал от Башмачкина, обижаемого департаментскими шутниками. «Ну, как, брат Забегкин? — спрашивает в минуту прозрения вытеснивший его из жизни, из сердца Домны Павловны владелец козы. — Ну, терпи, терпи. Русскому человеку невозможно, чтоб не терпеть. Терпи, брат Забегкин».

История драматической любви Аполлона Семеновича Перепенчука и Тамары Омельченко варьирует уже тургеневские сюжеты (скажем, «Дневника лишнего человека» или «Накануне»).

Короткая повесть «Мудрость» с главным мотивом запоздавшего прозрения и внезапной смерти отсылает к «Обломову» и чеховским рассказам. Чеховскую миниатюру «О бренности» (1886) можно считать прямым анекдотическим источником драматической новеллы Зощенко.

«Страшная ночь» переводит в гротескно-фантазмагорический план сюжет еще одного чеховского рассказа — «Упразднили!» (1885). Чеховский отставной прапорщик Вывертов потрясен и поражен неожиданным упразднением его прежнего чина: «Ежели я теперь не прапорщик, то кто же я такой? Никто? Нуль? Стало быть, ежели я вас понимаю, мне может теперь всякий сгрубить, может на меня тыкнуть?» В его воображении возникает и такая картина:

«Вылезая из брички, он робко взглянул на небо: не упразднили ли уж и солнца?»

В сознании зощенковского музыканта Котофеева возможное изобретение электрического треугольника приобретает апокалипсические масштабы: «Если игру скинуть с жизни, как же жить тогда? Чем, кроме этого, я прикреплен?» И тогда, преследуемый толпой, он бросается на колокольню: «Борис Иванович Котофеев, с трудом раскачивая тяжелый медный язык, бил по колоколу, будто нарочно стараясь этим разбудить весь город, всех людей».

Повесть «Веселое приключение», напротив, в анекдотическом ключе трансформирует фабулы «Пиковой дамы» и «Преступления и наказания»: молодой человек является причиной смерти богатой старухи и получает наследство. Однако у Зощенко дело вовсе не в философии, не в желании «мысль разрешить» и позволить себе «кровь по совести», а всего-навсего в поиске денег на поход в кино с любимой девушкой.

«В чем, собственно, дело? — успокаивал себя Сергей. — Ну, эка штука — денег нету! Подумаешь, какая нестерпимая беда! Дерьмо какое. К чему же это последнюю свою кровь отравлять вопросами? Пойду и скажу, мол, нету — мало ли».

Философская трагедия Достоевского сменяется у Зощенко драмой семи гривен.

Место действия сентиментальных повестей — то Петербург («Коза»), то глубокая провинция (Большая Проломная улица в «Аполлоне и Тамаре», Задний проспект в «Страшной ночи»). Но петербургские углы вполне достойны провинциальных закоулков: и то и другое изображено в гоголевском неприглядно-бытовом, любовно-извиняющемся ключе.

«“Ого, — вдруг подумал Забежкин, — куда же это такое я зашел? Каменноостровский... Карповка... Сверну”, — подумал Забежкин. И свернул по Карповке.

И вот — трава. Петух. Коза пасется. Лавчонки у ворот. Деревня, совсем деревня!» («Коза»).

Петербургский пейзаж Зощенко забавно рифмуется с послереволюционным царкосельским пейзажем Ахматовой, словно объединяющим мотивы «Козы» и «Аполлона и Тамары»: «В Царском, тогда — “Детское имени товарища Урицкого”, почти у всех были козы; их почему-то всех звали Тамарами»⁹.

А вот провинциальный вид, явственно напоминающий о «фламандской школы пестром соре» из «Евгения Онегина»: «Вот выйдешь, например, в поле, за город... Домишко какой-нибудь за городом. Забор. Скучный такой. Коровенка стоит этакая скучная до слез... Бок в навозе у ней... Хвостом треплет... Жует... Баба этакая в сером трикотажном платке сидит. Делает что-то руками. Петух ходит. Кругом бедно, грязно, некультурно...

Ох, до чего скучно это видеть!» («Страшная ночь»).

Где-то далеко-далеко от этих заросших лопухами дворики и кривых улочек проносятся исторические бури: герои уходят на войну, эмигрируют, переживают революцию. Иногда в повестях мелькает точная дата.

«Это случилось весьма недавно — в августе 1923 года» («Страшная ночь»).

«Но вот весной, если не изменяет нам память, 1925 года произошли крупные события в жизни нашего друга, Николая Петровича Володина» («Сирень цветет»).

Однако большое историческое время всегда отражается в малом. События и катастрофы приобретают житейский, бытовой, но от этого не менее неразрешимый характер.

«И вот прошло несколько лет. Четыре с лишком года прошло с тех пор, как Аполлон Семенович Перепенчук уехал в действующую армию.

Огромные изменения произошли в это время. Социальные идеи в значительной мере покачнули и ниспровергли прежний быт. Много прекрасных людей отошло к праотцам в вечность. Так, например, скончался от сыпняка Кузьма Львович Горюшкин, бывший попечитель учебного округа, добродушнейший и культурный человек. Помер Семен Семенович Петухов, отличнейший тоже человек и не дурак выпить. Смерть фельдшера Федора Перепенчука относится к тому же времени.

Жизнь в городе чрезвычайно изменилась. Наступившая революция стала создавать новый быт. Но жить было нелегко. И люди боролись за свое право прожить» («Аполлон и Тамара»).

В 1920 году Е. Замятин напишет рассказ «Пещера»: «Ледники, мамонты, пустыни. Ночные, черные, чем-то похожие на дома, скалы; в скалах пещеры... Между скал, где века назад был Петербург, ночами бродил серохоботый мамонт. И завернутые в шкуры, в пальто, в одеяла, в лохмотья — пещерные люди отступали из пещеры в пещеру».

Этот пещерный быт надвигается, как новая геологическая эпоха, новый ледниковый период. Зоценковские герои, «маленькие лишние люди» старой классики, не могут приспособиться к нему и вымирают не подобно мамонтам, а как беззащитные басенные

зайцы и ягнята, расплющенные железной пятой шагавшей по людским судьбам истории.

Где они, музыканты Пушкина, Гоголя и Одоевского, таперы Чехова и Куприна? «В городе таперов не было, да они были и не нужны. С условиями нового быта многие профессии стали ненужными, среди них профессия тапера была вымирающей» («Аполлон и Тамара»).

«И для чего это я жил... — бормотал Борис Иванович. — Приду завтра — изобретен, скажут. Уже, скажут, изобретен ударный музыкальный инструмент. Поздравляю, скажут. Ищите, скажут, себе новое дело» («Страшная ночь»).

Столь же лишним чувствует себя в родном городе вернувшийся из-за границы Иван Иванович Белокопытов. Никому здесь не нужны его латынь и испанский язык, игра на арфе и знание электричества. Еще более дико выглядит в провинциальном интерьере его жена-балерина: «А она, в своих трусиках и в розовом газе, прыгала, как дура, вокруг зеркала, топоча ногами и закидывая вверх тонковатые свои руки с острыми локтями» («Люди»).

Один из неосуществленных замыслов Салтыкова-Щедрина — «Книга об умирающих». «Сентиментальные повести» — книга об умирающей, уходящей, ускользающей жизни, о мире, в котором нет места «цветущей сложности», очаровательной бесполезности, любви, красоте и прочим старорежимным вещам. На смену им приходит «организованное упущение», не жизнь, а борьба за жизнь, почти биологическое выживание.

«И он признавался себе, что он не знает, как, в сущности, надо было бы жить, чтоб не испытывать того, что он сейчас чувствует.

А он чувствует, что его игра проиграна и что жизнь спокойно продолжается без него» («Аполлон и Тамара»).

«Жил человек, и вдруг все в жизни показалось ему жалким и ненужным. Все лучшие человеческие качества, как, например, благородство, гордость, тщеславие, показались смешной забавой и бирюльками. И вся прелесть прежнего существования — любовь, нежность, вино — стала смешной и даже оскорбительной» («Мудрость»).

Но даже такие по видимости циничные идеи не меняют жизнь героев, не спасают их, оставаясь «философией». Побеждают, выживают другие особи: те, кто не рассуждает, а существует в предлагаемых обстоятельствах на уровне биологических реакций, не оглядывается назад, а принимает новые правила игры, новый быт как нечто, не подвергаемое сомнению и обсуждению.

«Смысл философии всей» этой новой реальности прекрасно передает диалог из шестой повести. «Это было в самый разгар, в самый наивысший момент ихнего чувства, когда Былинкин с барышней уходили за город и до ночи бродили по лесу. И там, слушая стрекот букашек или пение соловья, подолгу стояли в неподвижных позах. И тогда Лизочка, заламывая руки, не раз спрашивала:

— Вася, как вы думаете, о чем поет этот соловей?

На что Вася Былинкин обычно отвечал сдержанно:

— Жрать хочет, оттого и поет».

Герой повести «Сирень цветет» тоже предполагает, что «без ко-рысти никто никогда и ничего не делает».

Такова последняя фраза последней повести.

Так заканчивается книга.

Расставаясь с классическими персонажами и прежней жизнью, Зошенко строит иной, тоже весьма не похожий на предшественников, образ автора.

Иван Васильевич Коленкоров, подставной рассказчик, формально напоминает пушкинского Ивана Петровича Белкина или гоголевского Рудого Панька. Но дело даже не в том, что в предисловиях, сочиняя его биографию, Зошенко пародирует критические штампы двадцатых годов: «Он родился в 1882 году в городе Торжке (Тверской губ.), в мелкобуржуазной семье дамского портного... В настоящее время И. В. Коленкоров, принадлежащий к правому крылу попутчиков, перестраивается и, вероятно, в скором времени займет одно из видных мест среди писателей натуральной школы».

В отличие от простодушия, искренности, добродушной веселости старых рассказчиков, автор сентиментальных повестей ведет бесконечный «оговорочный» диалог с читателем и критикой. Каждая повесть, кроме «Козы» и «Мудрости», предваряется авторскими объяснениями, обнаруживающими его глубокое родство с этим уходящим миром (оно было и у Белкина с Рудым Панько) и в то же время опасения и страхи по поводу этой связи, этих сюжетов и героев.

«Читатель пошел какой-то отчаянный. Накидывается он на любовные французские и американские романы, а русскую современную литературу и в руки не берет. Ему, видите ли, в книге охота увидеть этакий стремительный полет фантазии, этакий сюжет, черт его знает какой.

А где же все это взять?

Где взять этот стремительный полет фантазии, если российская действительность не такая?» («Страшная ночь»).

«Вот опять будут упрекать автора за это новое художественное произведение.

Опять, скажут, грубая клевета на человека, отрыв от масс и так далее.

И, дескать, скажут, идейки взяты, безусловно, не так уж особенно крупные.

И герои не горазд такие значительные, как, конечно, хотелось бы. Социальной значимости в них, скажут, чего-то мало заметно. И вообще ихние поступки не вызовут такой, что ли, горячей симпатии со стороны трудящихся масс, которые, дескать, не пойдут безоговорочно за такими персонажами.

Конечно, об чем говорить — персонажи действительно взяты не высокого полета. Не вожди, безусловно. Это просто, так сказать, прочие незначительные граждане с ихними житейскими поступками и беспокойством. Что же касается клеветы на человечество, то этого здесь определено и решительно нету» («Сирень цветет»).

Ощущение «конца романа», смена литературного типа, естественно, требовали иного литературного стиля.

«Замечателен язык “Повестей”, — писал К. Чуковский. — Это почти литературный язык, но — с легким смердяковским оттенком... Это язык полуинтеллигента тех лет, артистически разработанный Зощенко во всех своих оттенках и тональностях»¹⁰.

Действительно, язык сентиментальных повестей выстраивается в широком стилевом диапазоне и отличается неожиданностью переходов и резкостью столкновения разных лексических пластов, от высокого стиля до вульгаризмов и просторечия. Даже в авторской (коленкоровской) речи все время смешиваются «их» и «ихний», «пусть» и «пущай».

Литературные клише, банальности с «легким смердяковским оттенком» («Весь вечер он плакал у ее ног и с невыразимой страстью и тоской целовал ее колени», «Лизочка Рундукова побежала за ним и, догнав его на улице, заламывая руки, стала лепетать и спрашивать: ну, как? Что? Есть ли надежда? И что пушай врач знает, что она не перенесет гибели этого человека») сменяются вдруг прозой редкой чистоты, написанной прозрачным классическим языком XIX века.

«В летние дни он, проработав часа два подряд, а то и больше, ложился в траву или на теплую еще, только что вырытую землю и лежал не двигаясь, смотря то на перистые облака, то на полет какой-нибудь пташки, то просто прислушивался к шуму благовещенских сосен. И, вспоминая свое прошлое, Аполлон Перепенчук думал, что никогда за всю свою жизнь он не испытывал такого умиротворения, что никогда он не лежал в траве и не знал и не думал, что только что вырытая земля — тепла, а запах ее слаще французской пудры и гостиной. Он улыбнулся тихой, полной улыбкой, радуясь, что он живет и хочет жить» («Аполлон и Тамара»).

«Он долго сидел так, ни о чем не думая, потом пошел дальше, потом снова вернулся и лег на траву. И лежал долго, уткнувшись ничком, теребя руками траву. Потом снова встал и пошел в город.

Была ранняя осень. Желтые листья лежали на земле. И земля была теплая и сухая» («Люди»).

В октябре 1927 года К. Чуковский рассказывает о своей встрече с Зощенко в дневнике: «Ах, какую я теперь отличную повесть пишу... для второго тома «Сентиментальных повестей», вы и представить себе не можете...»

Мы вышли на улицу, а он продолжал искренне восхищаться своей будущей повестью. “Предисловие у меня уже готово. Знаете, Осип Мандельштам знает многие места из моих повестей наизусть — может быть, потому, что они как стихи. Он читал мне их в Госиздате. Героем будет тот же Забежкин, вроде него, но сюжет, сюжет”.

— Какой же сюжет? — спросил я.

— Нет, сюжета я еще не скажу... Но вам первому прочту, чуть напишется»¹¹.

Не написалось. После этого разговора первый том был дополнен лишь одной вещью, «Сирень цветет», да появилась примыкающая к «сентиментальному циклу» повесть «Мишель Синягин» (1930).

В 1928 году в иронической автобиографии «О себе, о критиках и о своей работе» Зощенко не столько объяснялся, сколько оправдывался: «Я только пародирую. Я временно замещаю пролетарского писателя. Оттого темы моих рассказов проникнуты наивной философией, которая как раз по плечу моим читателям.

В больших вещах я опять-таки пародирую. Я пародирую и неуклюжий, громоздкий (карамзиновский) стиль современного красного Льва Толстого или Рабиндраната Тагора, и сентиментальную тему, которая сейчас характерна. Я пародирую теперешнего интеллигентского писателя, которого, может быть, и нет сейчас, но который должен бы существовать, если б он точно выполнял социальный заказ не издательства, а той среды и той общественности, которая сейчас выдвинута на первый план...».

Что же, если сентиментальные повести и были пародией, то не только в общепринятом, но и в особом, тыняновском, смысле: «Если пародией трагедии будет комедия, то пародией комедии может быть трагедия».

Зощенко расставался с прошлым по-гоголевски — стихами в прозе, смехом сквозь слезы.

К концу двадцатых годов «среда», которая это хорошо понимала, сама становилась исчезающим объектом.

А сзади, в зареве легенд
Идеалист-интеллигент
Печатал и писал плакаты
Про радость своего заката...
Мы были музыкой во льду.
Я говорю про всю среду,
С которой я имел в виду
Сойти со сцены, и сойду.

(Б. Пастернак. «Высокая болезнь»)

У Зощенко взят нижний этаж, но той же самой — уходящей — среды. Может быть, поэтому второй том «Сентиментальных повестей» так и не состоялся.

В книге «Перед восходом солнца» есть рассказ о выступлении, относящийся к середине двадцатых годов. «С трудом я выхожу на эстраду. Сознание, что я сейчас снова обману публику, еще более портит мое настроение. Я раскрываю книгу и бормочу какой-то рассказ.

Кто-то сверху кричит:

— “Баню” давай... “Аристократку”... Чего ерунду читаешь!»

К. Чуковский вполне правдоподобно предположил, что «ерундой» для харьковско-ростовской публики была одна из сентиментальных повестей: люди пришли на выступление не такого писате-

ля. Не менее правдоподобно и другое: требовали дать «Баню» и «Аристократку» не Белокопытовы и Котофеевы (в этой среде не принято криками общаться с писателем), а Вася Былинкин или зав. хлебопекарней Яркин.

И он — давал!

«Второй Зоценко» был не началом, но антитезой миру сентиментальных повестей.

Вопрос «О чем поет соловей?» в этом мире уже не встает.

Соловей поет по одной-единственной причине: потому что хочет жрать.

КАФКИ ЗОЦЕНКО

Вторая книга, вторая поэтика такого Зоценко сложилась параллельно с «Сентиментальными повестями» из десятков маленьких сборников, нескольких сотен текстов (текстиков), разбросанных по страницам «Смехача», «Бузотера», «Ревизора», «Мухомора», «Огонька», «Чудака», «Дрезины», «Бегемота», «Красного ворона» и «Красного журнала для всех».

Азарт, с которым писатель погрузился в этот традиционно презираемый серьезными писателями мир, вызывал иронию серапионовых братьев и презрение серапионовых девиц.

«Зоценко всерьез считает свою работу в юмористических приключениях стоящей. Тоже — дачный муж» (К. Федин — Л. Лунцу, 20 июля 1923 г.)¹².

«Он выпустил в “Радуге” юмористические рассказы — скверное впечатление производит книжонка. А он — серьезно к ней, гордит-

ся спросом. Мне за него, за его талант обидно» (Л. Харитон — Л. Лунцу, 8 августа 1923 г.)¹³.

Как Чехов для современников долгое время был скрыт за масками Антоши Чехонте или Человека без селезенки, большинство читателей Зощенко двадцатых годов видели в нем не сентиментального И. В. Коленкорова, а разухабистых смехачей Гаврилыча, Михал Михалыча, Мих. Кудрейкина, приват-доцента М. М. Прищемихина и прочих. Востребован публикой оказался не автор «Козы» и «Людей», а сочинитель «Бани» и «Аристократки».

Личный выбор, эстетическая удача и историческая закономерность, наложившись друг на друга, привели к образованию «феномена Зощенко».

В двадцатые-тридцатые годы писатель много раз повторяет одну и ту же мысль и даже фразу: «У нас до сих пор идет традиция прежней интеллигентской литературы, в которой главным образом предмет искусства — психологические переживания интеллигента. Надо разбить эту традицию потому, что нельзя писать так, как будто в стране ничего не случилось» («Литература должна быть народной»).

Это были претензии и к себе в роли «правого попутчика» И. В. Коленкорова, в сентиментальных повестях которого доминировали психологические переживания интеллигента.

Между тем, в стране случилась революция. На осознании этого фундаментального факта строится вторая, противостоящая «Сентиментальным повестям», поэтика Зощенко двадцатых годов.

Как и Мандельштам (и по тем же причинам), Зощенко констатирует «конец романа», построенного на старом «гуманисти-

ческом» отношении к самостоятельно творимой человеком биографии.

«Вот в литературе существует так называемый “социальный заказ”. Предполагаю, что заказ этот в настоящее время сделан неверно.

Есть мнение, что сейчас заказан красный Лев Толстой.

Видимо, заказ этот сделан каким-нибудь неосторожным издательством. Ибо вся жизнь, общественность и все окружение, в котором живет сейчас писатель, — заказывают, конечно же, не красного Льва Толстого. И если говорить о заказе, то заказана вещь в той неуважаемой мелкой форме, с которой, по крайней мере раньше, связывались самые плохие литературные традиции» («О себе, о критиках и о своей работе»).

Зоценко берется за эту неуважаемую мелкую форму — «чушь», «ерунду собачью». Вместо красного Толстого (на эту роль в двадцатые годы претендуют многие — от настоящего «третьего Толстого» до Фадеева, от П. Романова до соратника-серапиона К. Федина) Зоценко выбирает роль советского Антоши Чехонте, которого тоже поначалу связывали с самыми плохими литературными традициями. «Я был сначала поражен Вашей неиспорченностью, потому что не знал школы хуже той, которую Вы проходили в “Новом времени”, “Осколках” и проч.», — признавался Чехову Михайловский¹⁴.

Главным чеховским жанром в восьмидесятые годы была сценка. В ее основе — забавный случай, конфуз, анекдот. Композиционный такой текст состоит из короткой повествовательной экспозиции-вступления, обозначения некой парадоксальной ситуации и оживленного — с установкой на комизм — обсуждения ее несколькими персонажами. Доминантой сценки, таким образом,

оказывался диалог, разговор; она воспринималась как мини-драма, сверхкраткий водевиль, в котором ремарки превратились в короткие повествовательные связки. Таковы у Чехова «Хирургия», «Налим», «Хамелеон», «Унтер Пришибеев» и многое другое.

Сценочную традицию продолжили писатели из журнала «Сатирикон» (А. Аверченко, Тэффи, А. Бухов), но их тематический репертуар сузился, и потому юмор стал легким, однотонным, однообразным.

При необходимости шутить ежедневно, отмечаться едва ли не в каждом номере тонкого еженедельного журнала проблемой становился поиск темы. Антоша Чехонте лихорадочно ищет темы на улице и в газетах, в шутку обещает платить за придуманные темы знакомым и родственникам.

Главным ориентиром, компасом для «осколочной» беллетристики был календарь, движение по годовому кругу: Рождество — Масленица — Пасха — открытие охотничьего сезона — дачные романы — осеннее возвращение в департамент или университет — снова святки. Так в литературе отражалась устоявшаяся, обычная, нормальная жизнь.

Сценки Михалыча очень далеки от тех, что сочиняли в восьмидесятые годы Антоша Чехонте или Лейкин. Старый осколочно-сатириконский быт исчез, превратился в пыль, на смену ему пришли совсем иные темы и проблемы.

В 1927 году в Париже В. Ходасевич, прочитав два новых сборника Зоценко, занялся подсчетами. В 99 мелких рассказах, «эпизодах советской повседневности», составляющих «гущу советской обывательской жизни» он обнаружил лишь по одному убийству, изготовлению фальшивой монеты, мошенничеству и взятке, но зато де-

сять драк, семнадцать случаев воровства, «ряд вещей, в которых пьянство составляет основную, главную тему», множество не поддающихся учету случаев хулиганства, изумительной темноты и погрешений «на семейном фронте»¹⁵.

Эпитет *изумительный* демонстрирует внешнюю точку зрения на зощенковский «самоцветный быт». Между тем принципиальной особенностью второй поэтики Зощенко был взгляд изнутри, с точки зрения центрального персонажа-протагониста, находящегося в гуще новой повседневности.

Ю. К. Щеглов определял рассказы Зощенко как «энциклопедию некультурности». Парадоксально, однако, что эта некультурность становится фундаментом новой, возникающей на развалинах прежней, культуры.

В «Сентиментальных повестях» Зощенко сталкивал новые формы с прежними, уже теряющими почву, превращающимися в эпигонство, неспособными защищаться. В рассказах двадцатых годов он создает универсальную картину, фундаментальный лексикон новой культуры в ее обыденном, бытовом, низовом варианте.

«Ошибки нет. Я пишу о мещанстве. Да, у нас нет мещанства как класса, но я по большей части делаю собирательный тип. В каждом из нас имеются те или иные черты и мещанина, и собственника, и стяжателя. Я соединяю эти характерные, часто затушеванные черты в одном герое, и тогда этот герой становится нам знакомым и где-то виденным», — объяснял позднее писатель в «Возвращенной молодости».

Этот знакомый герой, никогда не читавший не только Ницше, но и Блока с Есениным, вдруг заговорил у Зощенко своим языком,

очень далеким как от старой интеллигентской речи, так и от современного публицистического жаргона.

«Вся трудность моей работы свелась главным образом к тому, чтобы научиться так писать, чтобы мои сочинения были всем понятны. Мне много для этого пришлось поработать над языком. Мой язык, за который меня много (зря) ругали, был условный, вернее собирательный (точно так же, как и тип). Я немного изменил и облегчил синтаксис и упростил композицию рассказа. Это позволило мне быть понятным тем читателям, которые не интересовались литературой. Я несколько упростил форму рассказа (инфантилизм?), воспользовавшись неуважаемой формой и традициями малой литературы».

На конфликте языков во многом строились «Сентиментальные повести».

Может быть, наиболее остро — гротескно — столкновение старого и нового языков представил М. Булгаков в «Собачем сердце» (1925), повести, сочинявшейся одновременно с текстами малоформатного Зощенко.

«Русская наука чуть не понесла тяжелую утрату. История болезни профессора Ф. Ф. Преображенского. В 1 час 13 мин. глубокий обморок с профессором Преображенским, — записывает в дневнике его верный ученик Борменталь, через неделю после превращения добродушного Шарика в человека. — В моем и Зины присутствии пес (если псом, конечно, можно назвать) обругал профессора Преображенского по матери».

Окончательно очеловечившись и освоившись в новом мире, Шариков начинает философствовать.

«Шариковский рот тронула едва заметная сатирическая улыбка, и он разлил водку по стаканам.

— Вот все у нас, как на параде, — заговорил он, — салфетку — туда, галстук — сюда, да “извините”, да “пожалуйста”, “мерси”, а так, чтобы по-настоящему, — это нет! Мучаете сами себя, как при царском режиме».

Герои «Сентиментальных повестей» (правда, не все) еще помнили *извините* и *пожалуйста*. В новом мире Зощенко они становятся забытыми словами. Интеллигентные профессора и ассистенты перестают быть активными действующими лицами, оттесняются на периферию, а весь передний план занимает по-настоящему говорящий рассказчик.

Повествование от лица героя на его специфически-неправильном языке, сочетающем просторечие и бюрократически-идеологические штампы эпохи, обычно называют сказом, сказовой манерой.

Сказ сделался фирменной маркой Зощенко двадцатых годов. У современников выражение «зощенковский язык» стало почти термином.

«Послышались лихие выкрики парнишек: “Каму кури-кильной бумаги” или “папирос Джаикондра” в оболочке с изображением леонардовской Моны-Лизы. Тоже появились в вольной продаже прозванные обывателями “спички шведские, головки советские, пять минут вонь, потом огонь”. С развитием частной торговли поползли вверх и цены. Уже осенью слово “миллион” стало настолько ходячим, что обратилось в “лимон”, хотя появившийся на рынке давно забытый фрукт и продавался еще только за каких-нибудь двадцать тысяч.

Появилось вообще много отвечающих меняющемуся образу жизни речений, и стал понемногу расцветать, готовя пищу для

вдохновения Зощенки, советский обывательский фольклор», — восстанавливает ситуацию начала нэпа современник¹⁶.

Однако отношение к сказу, и стилистической манере Зощенко вообще, было неоднозначным: уровень аудитории определял тип реакции.

«Для кого я пишу? Я пишу, во всяком случае, имею стремление писать для массового советского читателя», — объяснялся писатель.

Этот массовый читатель воспринимал язык Зощенко не как обывательский, а как свой, привычный и безальтернативный. Подслушал ли его писатель на улице или навязал «улице» созданный в «творческой лаборатории» стиль — не столь важно. Скорее всего, процесс был двухсторонним.

Но для медика Преображенского и профессоров-филологов, для коллег-писателей сказовые новеллы Зощенко, часто основанные на анекдоте, были литературной игрой, удавшимся экспериментом на фоне иных традиций и представлений.

«Особо следует отметить рассказы Зощенко, которые в новой форме возрождают комический сказ, восходя то к Лескову, то к Гоголю. Его юморески уже вошли в эстрадный репертуар рассказчиков и стали фактически жить вне книги», — замечал Б. М. Эйхенбаум¹⁷.

Проницательный Мандельштам именно в этом направлении видел выход для литературы в эпоху «конца романа»: «Серапионовцы и Пильняк (их старший брат, и не нужно его от них отделять) не могут угодить серьезному читателю, они подозрительны по анекдоту, то есть угрожают фабулой. Фабулы, то есть большого повествовательного дыхания, нет и в помине, но анекдот щекочет усиками из каждой щели... Милый анекдот, первое и радостное

порхание фавулы, освобождение духа из мрачного траурного куколя психологии»¹⁸.

О Зощенко в этой статье не было речи лишь потому, что в двадцать втором году он сочинял свои первые тексты.

Так, в споре с одними художественными традициями и опорой на другие, сформировалась модель зощенковского короткого рассказа: новый тип, изображенный новым, «исполняющим обязанности пролетарского», писателем особым, подвергшимся «организованному упрощению», языком, рассчитанным на нового, далеко от «высокой» литературы читателя.

Действие рассказа обычно происходит в каком-то «публичном» хронотопе: коммунальная квартира, театр, баня, вагон трамвая или поезда.

Коллизия обозначена в первых же фразах: «Кустарь Илья Иванович Спиридонов выиграл по золотому займу пять тысяч рублей золотом» («Богатая жизнь»); «У купца Еремея Бабкина сперли енотовую шубу» («Собачий нюх»); «Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то что драка, а целый бой. На углу Глазовой и Боровой» («Нервные люди»).

А дальше — всего на двух-трех страницах — начинается объяснение: комическая детализация и речевая раскраска.

«А инвалид, чертова перечница, несмотря на это, в самую гущу вперся. Иван Степаныч, чей ежик, кричит ему:

— Уходи, Гаврилыч, от греха. Гляди, последнюю ногу оборвут.

Гаврилыч говорит:

— Пушай, — говорит, — нога пропадает! А только, — говорит, — не могу я теперича уйти. Мне, — говорит, — сейчас всю амбицию в кровь разбили.

А ему, действительно, в эту минуту кто-то по морде съездил. Ну, и не уходит, накидывается. Тут в это время кто-то и ударяет инвалида кастрюлькой по кумполу.

Инвалид — брык на пол и лежит. Скучает» («Нервные люди»).

«На другой день поехал в камеру.

— Нельзя ли, — говорю, — братцы, галошу получить обратно. В трамвае сняли.

— Можно, — говорят. — Какая галоша?

— Галоша, — говорю, — обыкновенно какая. Размер — двенадцатый номер.

— У нас, — говорят, — двенадцатого номера, может, двенадцать тысяч. Расскажи приметы.

— Приметы, — говорю, — обыкновенно какие: задник, конечно, обтрепан, внутри байки нету — сносились байка.

— У нас, — говорят, — таких галош больше тыщи, нет ли специальных признаков?

— Специальные, — говорю, — признаки имеются. Носок, вроде бы, начисто оторван, еле держится, И каблука, — говорю, — почти что нету. Сносился каблук. А бока, — говорю, — еще ничего, пока удержались.

— Посиди, — говорят, — тут. Сейчас посмотрим» («Галоша»).

Мерный повтор бесконечных *говорит*, разрубающих в середине каждую фразу, в конце концов придает диалогам некий почти стихотворный ритм. Выделенное в особое предложение *скучает* неожиданно обнаруживает под маской простодушного рассказчика ироничного автора.

В мире коротких рассказов Зощенко «все переверотилось». «Верхние» духовные чувства и культурные реакции, которыми жи-

ли персонажи старой литературы и вслед за ними герои «Сентиментальных повестей», оказались срезаны под корень. Освобождение духа из мрачного траурного куколя психологии обернулось его утратой. Персонажи оказались шариками-Шариковыми, существующими по бильярдному принципу: угол падения равен углу отражения. Их чувства чаще всего — голая реакция на раздражение: остервенело-оборонительная или обескураживающе-беззащитная.

Здесь люди не любят, а «сходятся», не умирают, а «дохнут». Кухонный ежик становится причиной коммунальной войны на истребление («Нервные люди»). Пришедшая на свидание с сыном в тюрьму мать может поговорить только о дымящей на кухне плите («Родные люди»).

Театр и кино присутствуют в этом мире то в образе монтера, отключающего свет («Театральный механизм»), то в виде скандала в гардеробе («Мелкий случай») или толкучки при входе в зрительный зал («Кинодрама»).

Мир иной, «заграница», предстает здесь баночкой крема, который на самом деле оказывается средством от блох («Качество продукции»), диктофоном, не выдержавшим стрельбы из нагана («Диктофон»), гордым французом, подавившимся куриной костью («Иностранцы»).

О замечательной прошлой жизни в дворянском имении рассказывает сумасшедший, с которым герой едет в одном вагоне («Приятная встреча»). За жертву революции выдает себя старикан, случайно попавший под автомобиль («Жертва революции»). А пришедшая на исповедь старуха вдруг слышит от задумчивого попа: «Может, матка, конечно, и Бога нету — химия все...» («Исповедь»).

Мир «второго Зощенко» двадцатых годов — безблагодатен, внутренне однороден, горизонтален, лишен духовной вертикали.

«Можно сказать, что ни у автора, ни у героев, ни у предполагаемого слушателя Зощенки “отрыва от масс” не наблюдается. Напротив, все люди свои. Одним словом, “уважаемые граждане”. И тут-то вскрывается нечто исключительное, важнейшее: все это не просто воры, пьяницы и хулиганы, — но воры, пьяницы, хулиганы, пошляки сознательные, знающие себе цену, руководимые не чем-нибудь, а высшими мотивами: “пролетарской” идеологией, заветами вождей, новой добродетелью и высокими лозунгами», — дожимает В. Ходасевич свой тезис о мире Зощенко как точном слепке советской жизни.

На самом деле отношения между большим и малым миром у Зощенко не так однозначны.

Во-первых, в его рассказах почти нет партийных вождей, ударных строек, трудового энтузиазма, борьбы за власть Советов и прочих атрибутов первых послереволюционных лет (об этом писали и зощенковские товарищи-серапионы: Вс. Иванов, Федин, Тихонов). Избрав мелкую форму, Зощенко срезает не только духовную, но и социальную вертикаль, вставая на точку зрения своего героя-рассказчика, далекого от «ураганной идеологии».

Когда же такого рода темы и мотивы появляются, то, включаясь в кругозор повествователя, встраиваясь в обычную зощенковскую фабулу серьезного, обстоятельного рассказа о «выеденном яйце», они приобретают откровенно иронический характер.

«Я всегда симпатизировал центральным убеждениям. Даже вот когда в эпоху военного коммунизма нэп вводили, я не протестовал.

Нэп — так нэп. Вам видней. Но, между прочим, при введении нэпа сердце у меня отчаянно сжималось Я как бы предчувствовал некоторые резкие перемены. И, действительно, при военном коммунизме было куда свободней в отношении культуры и цивилизации», — признается рассказчик «Прелестей культуры» (1927).

Дальше, однако, следует повествование о его страданиях в театре, куда, в связи с новой экономической политикой, перестали пускать в пальто и где нижняя рубаха выглядит экзотически.

«Или как в одном плакате сказано: “Не пей! С пьяных глаз ты можешь обнять классового врага!” И очень даже просто». Этот бдительный лозунг завершает рассказ о приключениях напившегося во время ялтинского землетрясения сапожника Снопкова («Землетрясение», 1929).

Зоценковская злободневность без политики позволяла до поры до времени избегать цензурных проблем и придинок.

Когда его поклонницы «Валька с Нюркой» попросили прислать запрещенные цензурой рассказы, которые интереснее читать, Зоценко, кажется, искренне, разъяснил: «Этим милым и развязным студенткам я ответил, что неизданных и запрещенных цензурой рассказов у меня не имеется.

И в самом деле, у меня не было таких рассказов. Цензура мне все пропускала. Крайне признательный за это, я и сам в дальнейшем вел себя добропорядочно и не писал рассказов, которые могли бы не пойти» («Письма к писателю»).

Со временем добропорядочность помогать перестала. В тридцать седьмом году из книжки «Сентиментальные повести» цензура выбросит много раз напечатанную повесть «Люди» и сделает «вычерки и исправления» еще на тридцати страницах.

Еще более забавная, абсолютно зощенковская история произойдет с другим текстом. В рассказе «Неприятная история» (1927) социальная вертикаль вдруг появляется. Действие происходит «кажись, что в 1924 году». Подгулявшие гости, поспорив на политические темы, звонят в Кремль, чтобы получить справку о троцкизме у самого товарища Троцкого. Ответный звонок из Кремля (на самом деле всех разыгрывает из соседней телефонной будки один из приятелей) повергает подгулявшую компанию в священный ужас.

«И вдруг гости видят, что тов. Митрохин переменялся в лице, обвел блуждающим взором всех собравшихся, зажал телефонную трубку между колен... <...> Тут общество несколько шарахнулось от телефона. <...> Квартирная хозяйка Дарья Васильевна Пилатова, на чье благородное имя записана была квартира, покачнувшись на своем месте и сказала: “Ой, тошнехонько! Зарезали меня, подлецы. Что теперь будет? Вешайте трубку! Вешайте в моей квартире трубку! Я не позволю в моей квартире с вождями разговаривать...”»

В «Голубой книге» «Неприятная история» превратилась в «Интересный случай в гостях», а место разоблаченного и высланного тов. Троцкого занял другой партийный вождь, товарищ Рыков. Потом был разоблачен и он — и в зощенковском тексте появился анонимный «товарищ председатель».

Вожди в рассказе менялись в соответствии с зигзагами советской политической истории. Но Госстрах и госужас обывателей оставались неизменными. Домохозяйка Дарья Васильевна Пилатова, кажется, больше боится кремлевского вождя, чем ершалаимские обыватели — Понтия Пилата.

В письме следующему «любимому вождю», Сталину, Булгаков называл себя сатирическим писателем, учеником Салтыкова-Щедрина.

Зоценко, в связи с веяниями эпохи, в поздней статье водружал на этот пьедестал Чехова. «Маленькие комические новеллы Чехова, сложенные вместе, дают мозаическую картину общества, зарисованного несколько карикатурно, но весьма едко и сатирично. Современники не захотели увидеть себя в качестве объектов человеческого смеха. Сатирические зарисовки оказались вполне пошловатыми, анекдотичными. И смех Чехова был квалифицирован иначе, чем следовало квалифицировать. В комических рассказах и в дальнейших произведениях Чехова была усмотрена не сатира, а какая-то равнодушная, безразличная, постная улыбка, какой вообще не бывает в литературное природе» («О комическом в произведениях Чехова», 1944)¹⁹.

Между тем, такое объяснение не углубляло, а упрощало творчество Чехова.

Сатирический смех жесток, беспощаден и однозначен. Он предполагает внешний, определенный взгляд на человека и природу, большую долю абстракции, бичевание и разоблачение. Улыбка (почему обязательно постная и равнодушная?) человечнее и долговечнее саркастического хохота.

Чехов, даже будучи еще Антошей Чехонте, постоянно вываливается из сатиры, дает более широкий и эмоционально разнообразный диапазон эмоций, архитектурных форм.

Гораздо точнее был Бунин, оценивший свободу и разнообразие — не обязательно однопланового, сатирически уничтожающего — чеховского смеха. «Если бы он даже ничего не написал, кроме “Скоропостижной конской смерти” или “Романа с контрабасом”,

то и тогда можно было сказать, что в русской литературе блеснул и исчез удивительный ум, потому что ведь выдумать и уметь сказать хорошую нелепость, хорошую шутку, могут только очень умные люди, у которых ум “по всем жилушкам переливается”»²⁰.

Чем дальше, тем больше Зоценко «натаскивал» себя на сатиру, сочинял заказные фельетоны и комедии, в том числе на международные темы, хотя так ни разу и не побывал за границей. Но когда он давал свободу своему таланту, хорошая шутка, словесная игра — как у Гоголя, как у Лескова, как у Чехова — побеждали головное задание и приобретали самостоятельную ценность.

То, что в Чехове увидел Бунин, в раннем Зоценко, вопреки многим другим оценкам, заметил издавека, из заграничной Риги, Петр Пильский (критик даже издавал зоценковские тексты, переделывая их). «Он полон самого искреннего простодушия. Зоценко добр, ласков и мягок... Его наблюдательность жива и энергична. Он пишет не только весело, но и веселясь. Его творчество полно игры, игривости, игристости. Он не только забавляет, но и забавляется сам... По национальному типу юмора, полнокровности веселья, беззаветной шутливости, переливающимся смеху, в своих чертах простоты и добродушия, Зоценко кажется не великороссом и вместе с Аверченкой и Гоголем несет на себе украинские отзвуки» («Простой смех. Зоценко, его учителя, успех и разгадка», 1928)²¹.

Простые с виду мелочишки Зоценко, тем не менее, оказываются вещами эмоционально подвижными.

В рассказе «Тяжелые времена» (1925) некий Иван Егорыч заходит в магазин вместе с Маруськой, которая при ближайшем рассмотрении оказывается лошадей. Начинается колоритный сценочный диалог.

«Покупатели радостно удивились. Кто-то с восторгом махнул рукой и сказал.

— Ну-у, лошадь, братцы, в лавку пришедши. Ах, дуй их горой!

Маруся остановилась у прилавка и ткнулась мордой в конторку, рассчитывая на овес.

Заведывающий испуганно отстранился и обидчиво сказал Иван Егоровичу:

— Да ты что ж это, бродяга? Ты что ж это с лошадью пришедши?

— Да мне хомут надо-то, — сказал Иван Егорыч. — Примерить чтоб... А лошадь ты не беспокойся. Она тихая. Не пугается посторонних предметов.

Заведывающий отмахнулся от лошадиной морды счетами и с удивлением сказал, обращаясь к покупателям:

— Да что ж это, братцы? Лошадь у меня в магазине... Да что ж это такое будет? Она и нагадить может на полу... И покупателя раздавить...

— Нету, — сказал Иван Егорыч, — она дюже смирная. Гляди, стоит, в конторке роется... Не махай на ее счетами-то. Не имеешь права махать на животную».

Все-таки изгнанный из магазина под угрозой вызова милиции лошадиный владелец подает последнюю реплику под занавес:

« — Ну и времечко. Лошадь в лавку не допускают... А давеча мы с ей в пивной сидели — хоть бы хны. Слова никто не сказал. Заведывающий даже лично смеялся искренно. А этот нашелся гусь... Ну времечко.

— М-да, — сказал кто-то из толпы сочувственно, — тяжелые времена».

В соответствии с заявленной точкой зрения на Зоценко как летописца советского обывательского быта, «больше сатирика, а не юмориста», Ходасевич и в этом сюжете увидел обличительный смысл. «Один не иначе ходит за покупками, как вода за собой лошадь. Другой, когда на него нападают грабители, — советует лучше заняться той барышней, которую он провожает с вечеринки “из-за любви”... Третий попрекает своего гостя, разбившего стакан на поминках...»

Однако, в отличие от упомянутых Ходасевичем «Любви» и «Стакана», смех в «Тяжелых временах» совершенно не преследует сатирических целей. Здесь торжествует стихия чистого юмора, той самой хорошей нелепости, шутки, о которой говорил Бунин.

«Зоценко здесь нравится девицам. В особенности — как в лавку пришли с лошадью, лавочник гонит, а лошадиный хозяин удивляется: только что сидели в пивной, и заведующий даже очень веселился», — со вкусом пересказывает фавбулу Л. Добычин в письме М. Слонимскому из Брянска (23 января 1926 года)²².

Называя Зоценко «королем смеха», современники часто принимали его за кого-то другого. То за сатирика — обличителя мещанства (как утверждали друзья и сочувствующие), то за безыдейно-мещанского смехача (как считали официозные и идейно-выдержанные критики).

«Чертovski ругают... Невозможно объяснить, — жалуется он в письме 1929 года приятелю-серапиону. — Я сейчас только сообщаяю, за что меня (последний год) ругают — за мещанство! Покрываю и люблю мещанством! Эва, дела какие! Я долго не понимал, в чем дело. Последняя статья разъяснила. Черт побери, ну как

разъяснишь? Тему путают с автором. Не могу же я к каждому рассказу прилагать учебник словесности...»²³.

Эмоциональный тон коротких рассказов Зощенко также непрост, как «сантиментальность» больших повестей. Сатира, и смех вообще, оказываются только одной гранью второй поэтики писателя.

Художник Ю. Анненков вспоминает: «Тихий, мало разговорчивый Зощенко был полон внутренних противоречий. Если произведения Зощенко непременно вызывали в читателе смех, то самого Зощенко это весьма удивляло. Как-то раз в разговоре со мной он признался, что этот читательский смех его глубоко огорчает, так как в его вещах за словесным формальным юмором скрывается трагическая сущность сегодняшней советской действительности. Больше того: он говорил, что в его передаче *помимо его воли* (выделено автором — И. С.) именно трагическая или, по меньшей мере, печальная сторона жизни становится комической и вызывает смех вместо слез, ужаса или отвращения»²⁴.

Легко увидеть в этом признании (если Анненков воспроизводит его точно) вариацию знаменитой гоголевской формулы из «Мертвых душ»: «И долго еще определено мне чудной властью (помимо воли — И. С.) идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы!»

Действительно, смех Зощенко — особой, гоголевской природы. В остатке, послевкусии большинства его рассказов — чувство горечи и стыда за человека (за себя?), не живущего, а выживающего, мучительно добывающего самые элементарные вещи и удоволь-

ствия, жизнь кладущего за какие-нибудь шесть гривен, пирожное или разбитый в гостях стакан.

Примерно такие чувства испытывал Макар Деушкин в «Бедных людях» Достоевского, узнавший себя в герое гоголевской «Шинели»: «Прячешься иногда, прячешься, скрываешься в том, чем не взял, боишься нос подчас показать... и вот уж вся гражданская и семейная жизнь твоя по литературе ходит, все напечатано, прочитано, осмеяно, пересужено!»

У Зошенко, впрочем, есть и собственная вариация на тему такого печального, сокрушающего узнавания. В журнале «Красный ворон» (1924) «Семен Курочкин» печатает рассказ «Электрификация» (позднее он был переименован в «Бедность»).

«Нынче, братцы мои, какое самое модное слово, а?

Нынче самое что ни на есть модное слово, конечно, электрификация.

Дело это, не спору, громадной важности — советскую Россию светом осветить».

Так отдается дань идеологии. «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны» — было объявлено Лениным совсем недавно.

Но рассказ сразу проваливается в привычный зошенковский мир: из Советской России в коммунальную квартиру, где лозунг электрификации приводит к непредсказуемым последствиям.

«Что ж! Стали и мы проводить.

Провели, осветили — батюшки-светы! Кругом гниль и гнусь.

То, бывало, утром на работу уйдешь, вечером явишься, чай попьешь и спать. И ничего такого при керосине не видно было. А теперича зажгли, смотрим, тут туфля чья-то рваная валяется, тут

обойки отодраны и клочком торчат, тут клоп рысью бежит — от света спасается, тут тряпица неизвестно какая, тут плевок, тут окурок, тут блоха резвится...

Батюшки-светы! Хоть караул кричи, смотреть на такое зрелище грустно».

Увидев при ярком свете свое замечательное жилье и житье, рассказчик принимается за ремонт, но его труды идут прахом. «Зря и напрасно я, братишечки, деньги ухлопал — отрезала хозяйка провода.

— Больно, — говорит, — бедновато выходит при свете-то. Чего, — говорит, — такую бедность освещать клопам на смех».

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», — пели «Марш авиаторов» современники Зоценко.

В шестидесятые годы обогащенный опытом советской истории шутник предложил иной вариант: «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью».

Следующий шаг сделал С. Довлатов: у него плохо произносящий звуки ребенок читает русские народные кафки.

Зоценко стал нашим Кафкой, переплавившим привычный ужас коммунальных квартир и товарищеских собраний (кафкианские «Замок» и «Процесс») в безудержный и странный — на грани истерики — смех сквозь слезы.

На месте искомого «оживленного плаката» у него все время возникали русские народные кафки. Это приводило в ужас самого автора, заставляя его искать причины в хандре, меланхолии, дефектах своего художественного зрения.

«У нас есть библия труда, но мы ее не ценим. Это рассказы Зоценки, — дразнил современников в “Четвертой прозе” Мандель-

штам. — Единственного человека, который нам показал трудящегося, мы втоптали в грязь. Я требую памятников для Зоценки по всем городам и местечкам или, по крайней мере, как для души Крылова, в Летнем саду»²⁵.

Получившаяся «библия труда» оказалась нелицеприятной, страшной, пугающей?

«На зеркало неча пенять...» Эту «народную поговорку» Гоголь, как мы помним, ставит эпиграфом к «Ревизору».

«Чему смеетесь? — Над собой смеетесь!..» — обращается в зрительный зал городничий в финальном монологе.

«Над кем смеетесь?!» — вслед Гоголю называет Зоценко один из лучших своих сборников двадцатых годов.

Ответ ясен. Читая Зоценко, мы по-прежнему смеемся не над ними, а над нами.

ГОЛУБАЯ КНИГА

Зеркало зощенковских рассказов было, впрочем, гротескно-искажающим, гиперболически-преувеличенным осколком. В самом конце двадцатых годов он делает важный — и снова чисто гоголевский — шаг навстречу сырой, эстетически не обработанной (даже в стиле бытового фельетона) реальности. Появляются «Письма к писателю» (1929) — «Выбранные места из переписки с читателями».

И в этой книге доминирующим было чужое слово: многочисленные письма, сопровождаемые краткими комментариями и разъяснениями. Читатели спорили с автором, признавались в

любви, жаловались на Зоценко-самозванца, соблазнившего легковерную девушку, присылали свои произведения с просьбой срочно напечатать и выслать гонорар.

Зоценко — уже без маски — тоже был эмоционально разнообразен.

Разъяснял: «Обычно думают, что я искажаю “прекрасный русский язык”, что я ради смеха беру слова не в том значении, какое им отпущено жизнью, что я нарочно пишу ломаным языком для того, чтобы посмешить почтеннейшую публику.

Это неверно. Я почти ничего не искажаю. Я пишу на том языке, на котором сейчас говорит и думает улица».

Гордился: «А как говорит и думает улица, я, пожалуй, не ошибся. Это видно из этой моей книги, из этих писем, которые я ежедневно получаю.

Вот любопытное письмо. Оно написано как будто бы я его писал. Оно, несомненно, написано моим героем».

Обижался: «Которым интересно меня обидеть, обычно говорят: — Тираж, тираж! Это ничего не показывает. Юмористика! Железнодорожное чтение. Мелочишки.

А по мне хоть бы и так. Меня это ничуть не обижает. Пожалуй-ста. В чем дело! На одну полку с Толстым не лезу. “Войну и мир” не напишу. Предупреждаю заранее».

Обижал сам в роли утомленного любимца дам: «Барышня не имела остроумного кавалера — переписка не завязалась.

Не могу по барышням трепать свои мозги. Не имею на это охоты и вдохновения».

При чтении этой книги о Кафке не вспоминаешь. В «Письмах к писателю» снова возникает трехмерное пространство, воздух

общения, находится место чувствам и сантиментам, среди «уважаемых граждан» не существующим. В том же мире переполненных трамваев и склочных коммуналок, оказывается, объясняются в любви, сочиняют стихи, читают книги, спорят о смысле слов «кляп» и «зачитать».

Это был шаг к третьей поэтике Зощенко, в которой на смену сказу приходит прямое авторское слово, на смену смеху — лирика и даже патетика, на смену короткому рассказу — большие, монументальные формы, книги, составленные, впрочем, из кирпичиков коротких текстов.

«Видел Зощенку. Лицо сумасшедшее, самовлюбленное, холерное. “Ой, К. И., какую великолепную книгу я пишу. Книга — «Декамерон» — о любви, коварстве, и еще о чем-то. Какие эпиграфы! Какие цитаты!”», — отмечает К. Чуковский в дневнике 12 января 1934 года²⁶.

Так начиналась «Голубая книга» (1934–1935), воспринимавшаяся писателем как его главный труд, открытие и откровение.

«Все, что раньше писал, оказались черновые наброски к этой книге, — предвкушал Зощенко. — В общем, мир ахнет и удивится моей новой фантазии»²⁷.

В 1935 году, уже после полной публикации, Зощенко напишет статью «О моей трилогии». «Возвращенная молодость» (1933), «Голубая книга» и задуманная новая книга (долгое время она будет именоваться «Ключи счастья») представлены здесь как части единого замысла.

Через год, на очередной дискуссии, его позиция будет уточнена, и новая книга будет противопоставлена прежней: «“Голубая книга”

в отличие от «Возвращенной молодости» не является для меня книгой дискуссионной».

Действительно, внутри «психоаналитический диологии» на автобиографической подкладке (речь о ней пойдет позже), в конце концов, оказалась вещь иной природы, традиции и структуры, в которой образ и документ, изображение и размышление, юмор и серьезность, история и современность сложились в нечто целое, оказались под одной — голубой — обложкой.

«Голубая книга» — это поиски жанра. Но это были не поиски ради поисков. Материал, составляющий книгу, был очень сложный — история и беллетристика. «Голубую книгу» я делал как дом: сперва подвозил материал, а потом строил. Понадобилось очень много материала. Я завел картотеку с десятью отделами. Читая и обдумывая материал, я заносил его в блокнот, на отдельные листки, а потом распределял по отделам моей картотеки. Это позволило мне создать стройную книгу» — рассказывал Зощенко на одном писательском обсуждении²⁸.

Стройность постройки оказалась, однако, весьма условной. На фундаменте истории и беллетристики возникло сооружение причудливое и прихотливое.

«Голубая книга» не просто написана в один присест. Она была именно придумана, составлена, сложена из уже заготовленного материала.

Специально написанная для книги «беллетристика» сводится всего к трем текстам («Рассказ о старом дураке», «Забавное приключение» и «Рассказ о зажиточном человеке»). Остальные уже публиковались, начиная с 1923 года, в журналах и сборниках. Сам

писатель считал такую контаминацию «неудачей», ссылаясь, впрочем, на исторические прецеденты.

«Часть новелл, как в этом отделе, так и в других — переработка моих прежних рассказов. В литературе считается это позволительным. Апулей и Боккаччио для своих книг брали в переработку чужие новеллы. Я же воспользовался своим добром, так что претензий иметь ко мне не следует», — сказано в примечании к журнальной публикации «Рассказов о коварстве» (потом оно исчезло, замененное краткой справкой-аннотацией перед «Рассказами о деньгах»).

Однако большинство прежде сочиненных новелл были переозаглавлены, существенно отредактированы, иногда просто переписаны, приобретая новый, едва ли не противоположный, смысл.

Посвящение «Голубой книги» М. Горькому не было шаблоном, привычным ритуалом (в тридцатые годы главному начальнику советских писателей посвящают все: от стихов и фильмов до городов и пароходов).

Прочитав «Письма к писателю», Горький написал Зощенко большое письмо, не столько с разбором, сколько с прогнозом: «Если разрешите сказать — скажу, что в “Письмах” вы не пользовались всею силой вашего юмора и это — ее недостаток. А юмор ваш я ценю высоко, своеобразие его для меня — да и для множества грамотных людей — бесспорно, так же, как бесспорна и его “социальная педагогика”. И глубоко уверен, что, возрастая, все развиваясь, это качество вашего таланта даст вам силу создать какую-то весьма крупную и оригинальнейшую книгу. Я думаю, что для этого вам очень немного надобно, только — переменить тему. По-моему, вы уже и теперь могли бы пестрым бисером вашего лексикона изобра-

зить — вышить — что-то вроде юмористической “Истории культуры”. Это я говорю совершенно убежденно и серьезно» (13 октября 1930 года)²⁹.

Через три года идея Горького пригодилась. «Работая нынче над книгой рассказов и желая соединить эти рассказы в одно целое (что мне удалось сделать при помощи истории), я неожиданно наткнулся на ту же самую тему, что вы мне предложили. Нет, у меня не хватило бы сил и умения взять вашу тему в полной своей мере. И написал я не Историю культуры, а, может быть, краткую историю человеческих отношений», — соглашается и оправдывается Зошенко в ответном письме-посвящении.

Впервые в своем творчестве обращаясь к истории, автор входит в пародийную роль самобытного «пролетарского историка» (в «Сентиментальных повестях» он так же старательно разыгрывал роль начинающего писателя-попутчика) и обнаруживает движущие силы и основные тенденции исторического процесса. «И вот, перелистав страницы истории своей рукой невежды и дилетанта, мы подметили неожиданно для себя, что большинство самых невероятных событий случилось по весьма немногочисленным причинам. Мы подметили, что особую роль в истории играли деньги, любовь, коварство, неудачи и какие-то удивительные события, о которых будет идти речь дальше».

Те же «немногочисленные причины» обнаруживаются в современности. В итоге «десять отделов» рабочей картотеки превращаются в пять разделов, по которым распределяются старые и новые рассказы.

«И вот в силу этого мы разбили нашу книгу на пять соответствующих отделов.

И тогда мы с необычайной легкостью, буквально как мячи в сетку, распахали наши новеллы по своим надлежащим местам.

И тогда получилась удивительно стройная система. Книга заиграла всеми огнями радуги. И осветила все, что ей надо было осветить».

Обрамляющие «Голубую книгу» произведения были структурно двуплановы, опирались, по словам самого писателя, на литературу и науку.

В «Возвращенной молодости», однако, привычная фабула, литература остается на первом плане. Зошенко размышляет, философствует лишь в примечаниях к основному новеллистическому тексту. «Что касается моей книги, то тут нет соединения. Напротив, тут — раздвоение. Я вынес за скобки в конце книги, просто как комментарии, те мысли, которые мне хотелось сообщить читателю, так что тут нет соединения науки с литературой, а скорее — наоборот. Я просто сделал приложение к повести».

В книге «Перед восходом солнца» литература и наука меняются местами: сюжетным мотором являются мысль и слово повествователя, а эпизоды из жизни, литературные «картинки» кажутся сопутствующими иллюстрациями, приложениями к этому аналитическому сюжету.

Главная книга Зошенко в целом и каждая ее часть в отдельности — уже не двупланова, а трехслойна (или трехэтажна). Исторические фрагменты и современные новеллы перемежаются и склеиваются размышлениями повествователя — в предисловии, многочисленных послесловиях и просто по ходу текста. Литература и наука находятся здесь в состоянии неустойчивого равновесия, тяготея все-таки к полюсу литературы. Причем наукой здесь

оказываются не психологические наблюдения и эксперименты, а исторические факты и примеры.

Материалом для исторических фрагментов «Голубой книги» становятся европейская древность и средневековье, Россия от князей до большевиков, события революции и гражданской войны. Соответственно, Зоценко использует целую библиотечку разнообразных источников: от «Жизни двенадцати цезарей» Светония до «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева, от «Русской правды» до «Истории ВКП(б)» Е. Ярославского, от литературных мемуаров до узкоспециальных исторических работ, от биографий до стихотворных цитат, от газетных заметок до энциклопедических статей.

Однако принцип обращения с источниками в «Голубой книге» — псевдонаучный, принципиально художественный. «Задача Зоценко — не в следовании источнику, а в смещении его... <...> В отношении “Голубой книги” “нужно сказать” именно о неточности как художественной задаче» (М. Чудакова)³⁰.

В соответствии с ней использованные писателем материалы — факты и даже даты — часто берутся из вторых рук, из воздуха, непонятно откуда, что затрудняет их точную идентификацию (суждения современников о Гоголе, кажется, заимствованы из книги Д. С. Мережковского «Гоголь и черт»; сведения о поэтах-жертвах инквизиции — из антологии В. Парнаха; приведенная в разделе «Неудачи» эпиграмма на строительство Исаакиевского собора неточно атрибутирована, датирована, ориентирована и процитирована).

Зоценко, как правило, свободен в обращении с фактами. Он трансформирует исторический факт в исторический анекдот,

в свою очередь, рассказывая его по законам анекдота бытового. В рецензии на первое издание «Голубой книги» это сразу же заметил недоброжелательный, но по-своему проникательный критик: «Что отобрал Зоценко для своих “исторических новелл”? Преимущественно исторические анекдоты. Исторический анекдот обычно обрабатывается у Зоценко так: берется его канва, анекдот обростает диалогом, причем лица и события модернизируются, так как рассказчик переносит на них нынешние словечки и обороты» (А. Гурштейн. По аллеям истории. 1936)³¹.

История всех времен и народов при таком подходе превращается в громадную коммунальную квартиру, где чудовищные злодеи играют роли мелких пакостников из ранних рассказов, жертвы становятся вполне достойными своей жалкой участи, а общая атмосфера напоминает веселый сумасшедший дом.

В «Жизни двенадцати цезарей» Светоний среди прочих преступлений Нерона рассказывает об убийстве матери, которую император невзлюбил за то, что она «следила и строго судила его слова и поступки».

«Наконец, в страхе перед ее угрозами и неукротимостью, он решил ее погубить. Три раза он пытался ее отравить, пока не понял, что она заранее принимает противоядия. Тогда он устроил над ее постелью штучный потолок, чтобы машиной высвободить его из пазов и обрушить на спящую, но соучастникам не удалось сохранить замысел в тайне. Тогда он выдумал распадающийся корабль, чтобы погубить ее крушением или обвалом каюты... А когда он узнал, что все вышло иначе, что она ускользнула вплавь, и когда ее отпущенник Луций Агерм принес радостно весть, что она жива и невредима, тогда он, не в силах ничего придумать, велел незаметно подбросить Агер-

му кинжал, потом схватить его и связать, как подосланного убийцу, а мать умертвить, как будто она, уличенная в преступлении, сама наложилась на себя руки. К этому добавляют, ссылаясь на достоверные сведенья, еще более ужасные подробности: будто бы он сам прибежал посмотреть на тело убитой, ошупывал ее члены, то похваливая их, то поругивая, захотел от этого пить и тут же пьянствовал».

Этот семейный конфликт абсолютного злодея с абсолютной добродетелью принимает в изложении повествователя «Голубой книги» странный колеблющийся характер.

Прочитывая Светония, Зощенко переводит повествование в кругозор рассказчика: в результате получается история в духе «Нервных людей» или «Актера».

«Можно представить, каков был разговор при заказе этого по-толка.

— Не извольте беспокоиться! — говорил подрядчик. — Потолок сделаем — просто красота! Ай, ей-богу, интересно вы придумали, ваше величество!..

— Да гляди, труху у меня не клади, — говорил Нерон. — Гляди, клади что-нибудь потяжелше. Легкая труха ей нипочем. Знаешь, какая у меня мамаша!

— Как же не знать, ваше величество? Характерная старушка. Только какая же может быть труха? Ай, ей богу, интересно, ваше величество: я особо большой камешек велю положить в аккурат над самой головкой вашей преподобной маменьки.

— Ну, уж вы там как хотите, — говорил Нерон, — но только чтоб — раз! — и нет маменьки.

— Не извольте тревожиться. Считайте, что ваша маменька уже как бы не существует на этом свете».

Пересказав в такой же манере истории неудачных покушений на суше и на море, повествователь амбивалентно заключает: «Но вскоре неутомимый Нерон пронюхал, где она находится, и подо-слал наемного убийцу. Там ее и убили.

Вот какой был коварный подлец! Впрочем, мамаша его была не менее подловата, а потому, повторяем, жалеть ее, так сказать, не приходится».

Аналогично обстоит дело и с вечным сюжетом противостояния Поэта и Царя, искусства и власти. Рассказав о том, как «вечный труженик» (Пушкин) и бедолага В. К. Тредьяковский поначалу от-казался сочинять стихи на венчание придворного шута с карлицей, был жестоко избит министром Волынским и потом все-таки выпол-нил заказ, повествователь приводит цитату из этих «исторических стихов» и меланхолично комментирует: «Собственно говоря, по справедливости, надо было бы после написания этого стихотворе-ния наколотить морду поэту. Но министр поторопился. И он до на-писания потрудился. И тем самым, так сказать, поступил отчасти педагогически».

Поэт и министр оказываются достойны друг друга и равно не-достойны авторского и читательского сочувствия.

Простодушно-язвительная интонация исторических анекдотов «Голубой книги» не с неба свалилась. В качестве возможного образ-ца Зоценко припомнил в письме к Горькому шутивное «Путеше-ствии сатириконцев по Европе», сочиненное Аркадием Аверченко.

В работе над «Голубой книгой» мотив путешествия оказался не-нужным. Но Зоценко, безусловно, знал и использовал другую из-вестную книжку, вышедшую из того же круга — «Всеобщую исто-рию, обработанную “Сатириконом”» (1911). Пародируя известного

историка Д. Иловайского, по учебникам которого училось несколько поколений гимназистов, сатириконские авторы изложили древнюю (Тэффи), среднюю (О. Дымов), новую (А. Аверченко) и русскую (О. Л. Д. Ор) историю в манере школьного сочинения или ответа на экзамене.

Знакомая уже нам история Нерона выглядит в изложении Тэффи следующим образом: «Унаследовавший престол дядя Калигулы Клавдий отличался слабостью характера. Воспользовавшись этим, приближенные исторгли у Клавдия смертный приговор для жены, развратной Мессалины, и женили его на глубоко испорченной Агриппине. От этих жен был у Клавдия сын Британик, но наследовал престол Нерон, сын глубоко испорченной Агриппины от первого брака.

Юность свою Нерон посвятил истреблению родственников. Затем он отдался искусству и постыдному образу жизни. <...>

Кроме того, он пел столь фальшиво, что самые фальшивые души из придворных не могли порой выносить этого оскорбления бабланной перепонки. Бесстыдный козлетон под конец жизни затеял поехать на гастроли в Грецию, но тут возмутились даже ко всему привыкшие легионы, и Нерон с большим неудовольствием пронзил себя мечом. Погибая от отсутствия самокритики, тиран воскликнул: «Какой великий артист погибает»³².

Способ обращения с фактами здесь очень похож на зощенковский: живописные детали подаются крупным планом и подменяют целое, бытовые психологические мотивировки преобладают над социальными, морализм «историка» окрашивает весь рассказ.

Но иронически-сниженная интонация у сатириконцев самоценна. Она не усложняется ни публицистической установкой, ни при-

мым сопоставлением с современностью, ни сложной игрой с моральными постулатами, ни стилистической раскраской, превращением повествования в сцены и рассуждения. «Новый Иловайский» во «Всеобщей истории, обработанной “Сатириконом”» — итог, последний смысл художественного построения. «Новый Светоний» (или Соловьев, или Ключевский) у Зоценко — лишь исходная точка, один из аспектов сложного литературного построения. Вслед за прогулкой по «аллеям истории» в каждом разделе наступает очередь «новелл из нашей жизни».

В размышлениях-подводках к ним Зоценко снимает маску простодушного дилетанта, переходит от сказа к личному повествованию, но сохраняет диалектику, неоднозначность самой мысли о взаимосвязи прошлого и настоящего.

«Мы живем в том государстве, где люди получают деньги за свой труд, а не за что-нибудь другое. И потому деньги получили другой смысл и другое, более благородное назначение — на них уже не купишь честь и славу», — радостно объявляет повествователь, в самом начале раздела «Деньги».

Закончится историческая часть уже на скептической ноте: «Скажем прямо, что деньги играют и будут играть преогромную роль даже и в нашей измененной жизни. И нам (совестно признаться) не совсем ясны те торжественные дни, когда этого не будет. И нам лично, собственно, даже и неизвестно и не совсем понятно, как это произойдет и что при этом каждый будет делать. И как это вообще пойдет».

После этого, отослав «пресветлую личность, желающую все время читать только хорошие и достойные случаи», к пятому отделу, рассказчик сосредотачивается на парадоксальных житейских исто-

риях: бесплатно народ готов кататься на карусели до рвоты; спекулянт, готовясь к смерти, глотает припрятанные золотые монеты; жена не разрешает мужу умереть, посылая его на улицу нищенствовать, собирая деньги на будущие похороны («Эту правдивую историю мы рассказали, желая показать вам, что любовь к деньгам иной раз бывает сильнее смерти»); корыстная молочница за пять червонцев временно продает собственного мужа и т. д.

Аналогично обстоит дело с любовью. Цитаты некогда безумно любимого Блока, Апухтина, Мирры Лохвицкой снижены ироническим комментарием: «То есть я не знаю, может наш грубый солдатский ум, обстрелянный тяжелой артиллерией на двух войнах (автобиографическое признание — И. С.), не совсем так понимает тончайшие и нежнейшие поэтические сплетения строчек и чувств. Но мы осмеливаемся приблизительно так думать, благодаря некоторому знанию жизни и пониманию насущных потребностей людей, жизнь которых не все время идет по руслу цветистой поэзии.

Короче говоря, поэт и тут говорит о любви как наивысшем чувстве, которое при известной доле легкомыслия способно заменить человеку самые насущные вещи, вплоть до квартирных дел. Каковое последнее утверждение всецело оставляем на совести поэта».

Со стихами, кстати, связан один из острых подтекстов книги. В разделах «Деньги», «Любовь», «Неудачи», в новелле «Романтическая история с одним начинающим поэтом» цитируются стихи Николая Гумилева, в том числе, его знаменитый «Заблудившийся трамвай». Использование, пусть и анонимное, в середине тридцатых годов текстов расстрелянного и полузапрещенного поэта было смелым жестом, опасной игрой.

Пересказав несколько исторических анекдотов, Зоценко опять возвращается к контрасту поэзии и прозы, мечты и реальности. «Значит, что же? Значит, дело обстоит как будто неважно? Где же эта знаменитая любовь, прославленная поэтами и певцами? Где же это чувство, воспетое в дивных стихах? Неужели недоучки-поэты, рифмоплеты и любители всякой красоты и грации допустили такое возмутительное преувеличение. Что-то мы, читая историю, не находим подобных эффектных переживаний».

Современные сюжеты оказываются историями «коммерческой любви» («Рассказ о старом дураке», «Женитьба — не напасть, как бы после не пропасть»), многоступенчатого адюльтера («Забавное приключение»), беспричинной ревности, за которой — глубокое семейное непонимание («Рассказ о письме и о неграмотной женщине»), в лучшем случае — «глубокой, неземной любви», которая, однако, оказывается не длиннее жизни погибшей любимой («Рассказ про даму с цветами»).

Аналогично строятся и следующие разделы — о коварстве и неудачах. Современные персонажи Зоценко оказываются столь же коварны, подозрительны, завистливы, корыстолюбивы, как их исторические предшественники, да вдобавок лишены ореола исторического величия. «Война всех против всех» идет у них не за дворцы, а за комнату в коммунальной квартире, не за миллионы, а за копейки. На кону здесь стоит уже не царство, а охапка краденых дров, чемодан или какой-нибудь стакан. «Мелкий случай из личной жизни» — новелла под таким заглавием обязательно присутствует в каждом разделе.

При сопоставлении истории и современности меняются масштабы, но суть дела, принципы, на которых строится жизнь, оста-

ются неизменными. «Может быть, единственно научились шибче ездить по дорогам. И сами бреются. И радио понимать умеют. И стали летать под самые небеса. И вообще — техника. А так, в смысле отношения друг к другу почти все без особых перемен... А прекрасные слова насчет техники — что она улучшит отношения между людьми — не оправдались. И в этом с горечью приходится сознаться».

Однако книга все-таки — голубая.

«Этим цветом надежды, цветом, который с давних пор означает скромность, молодость и все хорошее и возвышенное, этим цветом неба, в котором летают голуби и аэропланы, цветом неба, которое расстилается над нами, мы называем нашу смешную и отчасти трогательную книжку.

И что бы об этой книге ни говорили, в ней больше радости и надежды, чем насмешки, меньше иронии, чем настоящей, сердечной любви и нежной привязанности к людям».

Прогуливаясь по аллеям истории и закоулкам современности, Зощенко, подобно своему любимому Гоголю, пытается подслушать «величавый гром других речей», подталкивает повествование в нужном направлении.

В исторических фрагментах необходимого эффекта повествователь пытается достигнуть отказом от сказа, переходом к прямому слову и истине факта, которые должны непосредственно выразить, продемонстрировать любовь, верность, героизм, самоотверженность и прочие высокие чувства.

«Вот, например, жены декабристов, блестящие светские дамы, бросили все и добровольно, хотя их никто не высылал, пошли в Сибирь за своими мужьями.

Больной Радищев должен был отправиться в ссылку. А незадолго до этого умерла его жена. Тогда сестра жены последовала за ним на поселенье...» («Любовь»)

«Достоевский был приговорен к смертной казни. Пять минут стоял с завязанными глазами, ожидая повешения. Эта казнь была заменена каторгой.

Поэт Леонид Семенов (друг Блока) за революционную деятельность был избит до полусмерти городскими и полицией» («Неудачи»).

«Я. М. Свердлов за свою короткую жизнь (тридцать четыре года) был шесть раз арестован, два года сидел в крепости, был послан в Нарымский край (откуда бежал) и, наконец, был выслан в Туруханский край. Он целиком отдал свою жизнь пролетарской революции.

В 1919 году в здании Московского комитета во время заседания партийных работников была брошена анархистами бомба. Присутствовавший на заседании член партии большевиков Денис Загорский, не растерявшись, схватил в руки шипящую бомбу и пытался выбросить ее в окно. Был разорван на части» («Удивительные события»).

В современных новеллах голубых сюжетов и героев совсем немного. В «Рассказе о студенте и водолазе» появляется доходяга студент, проявляющий парадоксальную силу духа: многократно избиваемый здоровяком водолазом товарищем Филипповым, он, в конце концов, добивается от него извинения и сам уезжает на Черное море нырять за «Черным принцем». «Так что сила — силой, а против силы имеется еще одно явление».

В «Мелком случае из личной жизни», входящем в «Удивительные истории», мамаша к всеобщему удовольствию возвращается к будто бы покинутому собственному ребенку

Дистанция между рассказами двадцатых годов и «Голубой книгой» хорошо видна при сравнении сюжетов об электрификации. Включая старый рассказ «Бедность» в «Голубую книгу», Зошенко через десятилетие резко изменяет финал, демонстрируя благие последствия новой жизни в отдельно взятой квартире. Жильцы производят ремонт, «чтоб у нас не было расхождения со светом». Квартира приобретает совсем другой вид: «Чистенько, красиво, весело, и клопов уж очень мало. Они только у двоих жильцов остались. А что касается блох, то на них почему-то электричество не действует, и они продолжают свою кипучую деятельность». В итоге «все как переродилось. После работы приходят, моются, убирают комнаты, чистятся и так далее». Квартирная хозяйка выходит замуж «и очень счастлива. И просила всем кланяться и благодарить за изобретение электричества и вообще за электрификацию».

На такой бравурной, сияюще-электрической ноте завершается сюжетная часть «Голубой книги».

Но до подлинного конца еще далеко. Послесловия и два «Прощания» — с философом и читателем — в очередной раз меняют перспективу. Зошенко заканчивает не историческими анекдотами и не современными новеллами, а размышлениями повествователя.

Повествовательная структура «Голубой книги» сложнее, чем в ранних новеллах, и заставляет вспомнить об опыте «сентиментальных повестей» с их сочетанием рассказа о событии и события рассказывания.

Защищая в одной из дискуссий (8 марта 1936 года) свою концепцию, писатель выдвигал на первый план как раз не сами новеллы, а связующую их тему (запись этого выступления сделана ведущим, критиком Ц. Вольпе, и включена в его «Книгу о Зоценко», изданную через много лет после смерти и автора, и героя).

«Я — новеллист и стремился найти движение новелл. Но я не мог дать движение новелл по сюжету, как это сделано, например, у Боккаччо, где все новеллы вставлены в одну. Это уже использовано до отказа.

И я нашел метод движения новелл. Я двинул новеллы не по сюжету, а по теме. Одно неиспользованное место было в такой литературе — это вот это. По внутреннему содержанию книга — роман. Я нашел формулу движения новелл. Вместо сюжета я подставил движение внутреннего содержания... Мне говорят, не нужно вводных частей. Но если оставить в книге рассказы без вводных частей, то книга не нужна. Можно было бы печатать просто сборник новелл.

Или книга есть, или ее нет!

Книга движется не новеллами, а тем внутренним содержанием, которое движет эти новеллы. Сами по себе эти новеллы здесь не существуют»³³.

В такой формуле жанра (книга-роман) источником сюжетного движения оказывается повествователь.

Книга создается словно на глазах читателя. Автор все время выходит из-за кулис: «болтает» в промежутках между рассказами, комментирует исторические факты, сочиняет предисловия и послесловия к рассказам и разделам, полемизирует с буржуазным философам, общается и прощается с читателем.

Многие страницы строятся по законам скорее не прозаического повествования, а театральной мизансцены.

«Дайте вашу мужественную руку, читатель. Идемте. Мы желаем вам показать кое-какие достопримечательности».

«Читательница, ваше милое присутствие здесь крайне необходимо. Дайте вашу нежную ручку, положите ее нам на грудь, успокойте наше сердцебиение, которое происходит от предчувствия всего хорошего.

Итак, мы начинаем новый отдел — “Любовь”».

(В те же годы, что и Зоценко, автор «Мастера и Маргариты» использует похожий, но патетический, а не иронический, жест: «За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык!

За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь!»)

Повествователь «Голубой книги» (и в этом Зоценко тоже напоминает Булгакова) изменяется по ходу сюжета: он то надевает маску полуграмотного историка, то иронизирует по поводу нее, то переходит к прямому, личному повествованию, приоткрывающему подлинное авторское лицо.

В последней части, помимо постоянных собеседников, доброжелательного читателя или милой читательницы, у повествователя появляется антагонист — буржуазный философ, скептик и циник.

Философ призывает думать о вечном, «оценивать краткость жизни и реальность смерти». Он, вслед за Шопенгауэром, считает мир своим представлением, что не мешает ему иметь большой дом и «положить в банк тысяч сто».

Рассказчик объявляет, что «деньги играют значительнейшую роль» в жизни нового мира, но главной ценностью в нем оказывается борьба за «длинную хорошую жизнь».

Первая фаза «борьбы на фронте мысли» завершается постановкой вечной философской проблемы: о природе человека и влиянии на него среды, общества, режима и воспитания.

« — Фу, как грубо, — говорит философ, поперхнувшись. — А говорите, впрочем, что хотите. Мне теперь безразлично. Вы чем-то, не знаю, меня окончательно расстроили. А кроме того, — холодно добавляет он, — я считаю, что человеческие свойства неизменны. Это природа. Все равно обувь стопчется по ноге. Привет.

И мы вежливо встаем с дивана и говорим, соблюдая мировые правила приличия:

— Сэр, я ваш покорный слуга. Примите уверения в совершенном моем к вам уважении и почтении до последнего дыхания. А что касается человеческих свойств, то они, сударь, меняются от режима и воспитания.

Философ в сердцах бросает окурок на пол, плюет и уходит, приветствуя нас рукой».

В конце пятой части, после исторических новелл о «борцах за революцию», странного перечисления пяти удивительных событий современности (победа в гражданской войне, поражение частных торговцев и купцов, Большие Перемены, материальное улучшение, Большая Работа), приложения из пяти современных новелл, повторяющих основной мотив каждой из предшествующих частей (писателю нравится играть цифрами), спор возобновляется. Автор и философ в последний раз обмениваются колкостями (несколько важных реплик в этом диалоге были дописаны уже после выхода отдельного издания).

« — Бросьте, мой друг. Вы неисправимый идеалист. Какой другой мир? Какие другие чувства? Люди есть люди. А впрочем, что нам толковать — и тут башмак стопнется по ноге. Пройдет немного лет, и вы в этом смысле вернетесь к нашим идеалам.

— Те люди, которые в этом смысле вернутся к вашим идеалам, — сказали мы смеясь, — те будут к вам ездить.

— Если с валютой, — сказал философ, — то отчего бы и нет. Очень рады. Только имейте в виду — этих людей будет слишком много. И я боюсь, что у вас никого не останется. Но не будем наперед загадывать. Если, повторяю, они будут с валютой, то это нас устраивает».

Философ Зощенко почти цитирует неизвестного ему булгаковского героя: «Ну что же, — задумчиво отозвался тот, — они люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Ну, легкомысленны... ну что ж... и милосердие иногда стучится в их сердца... обыкновенные люди... в общем напоминают прежних... квартирный вопрос только испортил их...»

Булгаковский сатана-философ (как и автор «Мастера и Маргариты») был уверен в неизменности человеческой природы, надеялся, что все вернется на круги своя. Шариковы снова превратятся в добрых псов, профессора Преображенские будут оперировать и слушать «Аиду», вечная любовь спасет Мастера, он заслужит вечный покой. Лишь неудачливого поэта будет тревожить по ночам исколотая память. Но над всем будет торжествовать неистовый и вечный лунный свет.

В «Голубой книге» громадные изменения в человеческой жизни производит электричество: налаживает быт, соединяет влюбленных, внушает веру в будущее.

Впрочем, не есть ли разговор Автора с философом — очередное писательское коварство, иронически трезвая нота, внесенная во внешне бравурный финал? Или же Автор здесь, действительно, победителен и возвышенно настроен, а иронию (оскомину?) чувствуем мы, поздние потомки, увидевшие не литературный, а исторический (может быть, промежуточный?) финал? «Если с валютой, то отчего бы и нет?.. Только имейте в виду — этих людей будет слишком много».

Вероятней все-таки второе. Во всяком случае, последняя глава книги, «Прощание с читателем», погружена в лирическую стихию, оправдывая наблюдение Горького об оригинальном соотношении в таланте Зощенко иронии и лирики.

«А эту Голубую книгу мы заканчиваем у себя на квартире в Ленинграде, 3 июня 1935 года.

Сидим за письменным столом и пишем эти строчки. Окно открыто. Солнце. Внизу — бульвар. Играет духовой оркестр. Напротив серый дом. И там, видим, на балкон выходит женщина в лиловом платье. И она смеется, глядя на наше варварское занятие, в сущности не свойственное мужчине и человеку.

И мы смущены. И бросаем это дело.

Привет, друзья».

Одна из редких у Зощенко сцен абсолютной гармонии. Солнечный свет. Музыка. Смеющаяся женщина. Что еще нужно для счастья?

«Боже мой, как хорошо, — подумал он. — Люди, камни, огонь, сумерки, уродливое дерево — ничего больше, но как хорошо!» (Чехов, «Дуэль»).

В журнальном варианте финал был интонирован несколько по-иному. Фраза, обращенная к друзьям-читателям, сопровождалась

бодрым восклицательным знаком, но зато дополнялась опасливым взглядом в неизвестное будущее: «Привет друзья! Литературный спектакль (еще одна формула жанра. — И. С.) окончен. Начинается моя личная жизнь во всей красе. Интересно, что получится».

На той же последней странице Автор пожаловался на свое здоровье: «Живем мы ничего себе, — много работаем, здоровье стало лучше, и оно укрепляется. Тут было в прошлом году мы прихворнули, но ничего, как говорится, — бог миловал».

И поделился двумя своими новыми замыслами: «А что касается нашей дальнейшей литературной работы, то мы задумали написать еще две забавные книжонки. Одна на этот раз — из области нашей личной жизни в свете медицины и философии. Другая историческая — сатира на глупость с эпиграфом из Кромвеля: “Меня теперь тревожат не мошенники, а тревожат дураки”».

Похвалу глупости — вслед за Эразмом Роттердамским — Зоценко написать не успел. А первая из «забавных книжонок» через восемь лет окажется «Перед восходом солнца»

В рабочих записях Зоценко цитируется газетный отзыв столетней давности, в сокращенном виде включенный в раздел «Неудачи»: «От Гоголя много ждали. Но он разрешился ничтожными «Мертвыми душами». Он враг России... Это клевета на Россию, на русский народ». Дальше идет короткий комментарий: «Гоголь ожидал, что его не поймут, но то, что случилось, превзошло его ожидания»³⁴.

Траектория творческого пути этого «гоголька» поразительно совпала с гоголевской.

Рассказы двадцатых годов и «Сентиментальные повести» были его «Вечерами...» и «Миргородом».

Сложная структура «Голубой книги» — с цепочной композицией, историческими фрагментами, лирическими и философскими отступлениями — стала аналогом «Мертвых душ». Наличная реальность рассматривалась в ней в свете высокого идеала, скорбное созерцание павшего мира сочеталось с предчувствием «величавого грома иных речей».

Прямая речь книги «Перед восходом солнца» оказалась (в том числе и по своей роли в судьбе писателя) аналогом «Выбранных мест из переписки о друзьях» или «Исповеди».

То, что случится с автором «Перед восходом солнца», тоже превзойдет все его ожидания. Но пока он надеется и верит.

«В золотом фонде мировой литературы не бывает плохих вещей. Стало быть, при всем арапстве, которое иной раз бывает там, то тут, — есть абсолютная справедливость. И эта идея в свое время торжествует. И, значит, ничего не страшно, и ничего не безнадежно».

ПЕРЕД ВОСХОДОМ СОЛНЦА

«Голубая книга» оказалась и одной из вершин творчества Зоценко, и в то же время произведением переходным. Зоценко тридцатых годов резко меняется.

От смеха он движется к серьезности.

От парадоксального анекдотизма — к документальности.

От фельетонности — к морализму.

От сказовой манеры — к прямому исповедальному слову.

Образ лихого весельчака, «человека, который смеется», и без того весьма проблематичный, окончательно исчерпывается к рубежу двадцатых и тридцатых годов.

Рассказы тридцатых годов учитывают эти тенденции: они становятся длиннее, серьезнее, учительнее. Острые углы сказовой манеры в них сглаживаются, речь героев и повествователя тяготеет к литературной норме, вытягивается в одну линию.

«Мне нравятся веселые люди. Нравятся сияющие глаза, звонкий смех, громкий говор. Крики.

Мне нравятся румяные девушки с коньками в руках. Или такие, знаете, в майках, в спортивных туфельках, прыгающие вверх и вниз» («Грустные глаза», 1933).

«Хозяин говорит:

— Или нет. Давайте так: один гость и шофер подождут у подъезда, а остальные пусть себе едут к гаражу.

Жена инженера говорит:

— Нет, так ничего не выйдет, потому что нашу машину некому будет привезти. И те и другие будут только напрасно ждать.

Хозяин говорит:

— Правильно. Как жаль, что у нас пять гостей, а не трое. С троими мы бы в один миг управились...» («Похвала транспорту», 1938).

Даже знаменитые зощенковские *говорит*, перемещаясь в начало фразы, приобретают не ритмически-прихотливый, а тавтологически-информационный характер.

В поздних рассказах появляется, наконец, вожделенный положительный герой, впрочем, до конфуза обыкновенный, свершающий элементарные человеческие поступки (счетовод, отказывающийся

служить «старой дворянской власти» в «Испытании героев», постовой милиционер, отдающий честь скандальному старикану в «Огнях большого города»).

В сборнике «Как мы пишем» (1930) Зощенко признавался, что всю свою литературную работу он разделяет на две категории: «Один способ — когда имеется вдохновение, когда я пишу творческим напряжением... Второй способ — когда нет вдохновения. В этом случае я пишу техническим навыком... В тех рассказах, которые я пишу искусственным путем, техническим навыком, там я затрачиваю большую работу. Иногда маленький рассказ работает 4–5 дней. Рассказ же, написанный с вдохновением, обычно пишется 15–20 минут».

Кажется, в тридцатые годы — так сложилась писательская судьба в трудное время — технический навык все чаще заменял Зощенко вдохновение.

Он сочиняет социально-заказные тексты о перевоспитании вора на Беломорканале («История одной перековки», 1934) и воспитании нового человека в огне Гражданской войны («Возмездие», 1937), пишет исторические повести о Керенском (1938) и Тарасе Шевченко (1939).

Но главной его работой, начиная со второй половины 30-х годов, становится как раз обещанная в «Голубой книге» история «из личной жизни в свете медицины и философии».

Первоначально она называлась «Ключи счастья» (повторяя заглавие романа известной писательницы начала века А. Вербицкой, о которой Зощенко намеревался писать еще в книге «На переломе»). Потом была переименована — «Перед восходом солнца» (варьируя заглавие драмы Г. Гауптмана «Перед заходом солнца»).

Набросок нового для Зощенко жанра, третьей его поэтики, был сделан еще до «Голубой книги» — в «Возвращенной молодости» (1933).

Рассказ о любви стареющего профессора Волосатова к очаровательной соседке-мещанке (привычный для Зощенко сюжет) — его уход из дома, предательстве ветреной красавицы, настигшем профессора на благодатном юге ударе и его смиренном возвращении в лоно семьи — писатель сопроводил обширными автобиографическими отступлениями (главный герой появляется только в 17-й главке, а всего их — 35) и еще более пространными комментариями (составляющими ровно половину текста), которые и стали доминантой книги.

Проблема преодоления «презрения к человечеству», анализ причин ранних самоубийств известных людей, цитирование Канта с Шопенгауэром, физиолога Павлова, книги английского астронома Д. Джинса «Вселенная вокруг нас», намеки на Фрейда отодвинули в сторону обычную зощенковскую фэбулу, даже вступили с нею в конфликт.

Привычный писательский юмор почти угас в лабиринтах «проклятых вопросов». Привычный читатель Зощенко, человек с улицы, сменился людьми серьезными, учеными, авторитетными. О повести благосклонно отозвались И. П. Павлов, нарком здравоохранения Семашко. В Ленинграде устроили несколько диспутов с участием автора. На одном из них (в Институте охраны здоровья детей и подростков, 13 апреля 1934 года) автор признался, что выступившая «т. Топорова высказала чрезвычайно интересное мнение обо мне как о Михаиле Михайловиче Зощенко. Тут речь зашла о моей судьбе, и вдруг т. Топорова сказала, что она видит в этой книге боязнь автора, боязнь его психического оскудения».

Тов. Топорова выступила как практикующий психоаналитик (хотя после бурной популярности в двадцатые годы — в начале тридцатых «буржуазное учение» Фрейда оказывается под большим подозрением). На основании самоотчета пациента (книги) она поставила диагноз, выявила его бессознательный комплекс: «Возможно, если покопаться в своей психике, я найду какой-то страх, возможно, что т. Топорова случайно нащупала тот страх, который был у меня в самых молодых годах. И это мне просто удивительно: как человек, прочитав книгу, мог дать анализ того психического состояния, которое я уже забыл? Когда говорила т. Топорова, я вспоминал свои юные годы, когда я боялся этого психического оскудения, — так что возможно, что она права»³⁵.

В книге «Перед восходом солнца» Зоценко сам примет на себя функции «т. Топоровой» (или доктора Фрейда). Исследователь психоанализа в России (А. Эткинд) назовет ее «выдающимся образцом художественной литературы, испытавшей влияние психоанализа»³⁶.

В перспективе же русской культуры «Перед восходом солнца» оказалась еще одной исповедью-проповедью (в роде «Авторской исповеди» Гоголя или «Исповеди» Л. Толстого), призванной исцелить автора и указать путь спасения если не всему человечеству, то каждому отдельному человеку.

Книга странно и оригинально построена. Ее организует не сюжет, а логика развертывающейся авторской мысли.

«Когда я вспоминаю свои молодые годы, я поражаюсь, как много было у меня горя, ненужных тревог и тоски, — формулирует Зоценко исходную проблему, свой психологический комплекс. — Я стремился к людям, меня радовала жизнь, я искал друзей, любви,

счастливых встреч... Но я ни в чем не находил себе утешения. Все тускло в моих руках. Хандра преследовала меня на каждом шагу».

«Ужели слово найдено?» <...>
«Недуг, которому причину
Давно бы отыскать пора,
Подобный английскому сплину,
Короче: русская хандра
Им овладела понемногу...»

Русская хандра — название болезни, которая мучила не только многих известных в нашей культуре людей, но и литературных персонажей. На этой же странице, кстати, упомянуто, что автору «Перед восходом солнца» «было восемнадцать лет»: в точности столько, сколько пушкинскому Онегину.

Разобраться в ее причинах Зоценко пытается, вспоминая свое прошлое до тридцати лет в форме коротких рассказов, «моментальных снимков, с ослепительной силой оставшихся в моем мозгу». Сами эти снимки-случаи напоминают детские «Книги для чтения» Льва Толстого. Но в них, в отличие от Толстого, важна не мораль, а скрытый до поры до времени символично-психологический смысл.

Причем рассказы следуют друг за другом не в хронологическом порядке, а тремя главами-слоями, демонстрирующими все более глубокое погружение в колодезь памяти, в глубины собственного прошлого.

«Опавшие листья» (заглавие, заимствованное у В. Розанова) охватывают «картинки памяти» 1912–1926 годов. Гимназия —

военная служба — революция — первые писательские годы... «Передо мной шестьдесят три истории. Шестьдесят три происшествия, которые меня когда-то взволновали... Но я ничего особенного не увидел в этих историях... Нет, ни в одной из этих историй я не нашел того, что искал».

Идем дальше. «Страшный мир» (заглавие раздела из третьего тома лирики Блока) окружал ребенка с пяти до пятнадцати лет. «И вот, перебирая в памяти истории этих лет, я неожиданно почувствовал страх и даже какой-то трепет (“Страх и трепет” — заглавие трактата датского философа-экзистенциалиста С. Кьеркегора. — И. С.). Я подумал: значит, я на верном пути. Значит, рана где-то близко. Значит, теперь я найду это печальное происшествие, испортившее мне мою жизнь».

Но тридцать восемь посвященных этому возрасту историй опять не открывают причины страданий. «Нет, ни в одной истории я не нашел несчастного происшествия, которое испортило мою жизнь, создало мне меланхолию и тоску».

Еще глубже, с двух до пяти лет — «Перед восходом солнца» (заглавия главы и книги совпадают). Воспоминания становятся совсем обрывочными, тексты — лапидарными, состоящими всего из нескольких строк. Ребенок ест кашу, убегает от петуха, боится тигра в зоопарке. Двенадцать моментальных снимков-вспышек ведут в тот же тупик. «Почти каждый ребенок страшится зверей, собак. Плюет, когда попадает пенка. Обжигает рот. Кричит в темноте».

Нет, обыкновенное детство, нормальное поведение малыша.

Дальше воспоминания обрываются. «Напрягая память, я стал думать о начале моей жизни. Однако никаких сцен мне не удалось

вызвать из забвения. Никаких далеких очертаний я не смог уловить. Даль сливалась в одну сплошную, однообразную тень».

Но путь через туман, глубже и дальше в дословесную допамятную муть, оказывается, все-таки существует. Зоценко вслед за Фрейдом обнаруживает его в сновидениях. Однако, в отличие от венского психиатра, ленинградский писатель видит в своих сновидениях не обязательно сексуальный, но более широкий круг символов, которые сформировались путем условных рефлексов Павлова, «условных нервных связей» между разными раздражителями.

И вот, после подробного анализа своих сновидений, Зоценко-повествователь, кажется, видит сквозь «черную воду» дно: добирается до причины тоски, страхов и хандры Зоценко-героя.

Вода — рука — женская грудь — удар грома — вот те «четыре условных раздражителя, кои действовали на меня с огромной подавлявшей силой». Силой разума можно разорвать эти рефлекторные «опасные связи» и словно родиться заново, выйти в мир новым Адамом, жителем Эдема. «Жизнь стала возвращаться ко мне. И она возвращалась с такой быстротой и с такой силой, что я был поражен и даже растерян... Каждый час, каждая минута моей жизни наполнялись каким-то восторгом, счастьем, ликованием... Как танк двинулся я по полям моей жизни, с легкостью преодолевая все препятствия, все преграды».

С горьким сожалением и сочувствием вспомнив своих несчастных предшественников (Э. По, Гоголя — его история болезни описана наиболее подробно, Некрасова, Салтыкова-Щедрина, Бальзака), Зоценко возвращается к апофеозу разума.

Прославление идет по нарастающей. Разум, оказывается, побеждает старость, страдания и даже саму смерть. «Но разве от этих

битв (разума с иррациональными страхами — И. С.) не пострадало мое ремесло художника? Разве победивший разум не изгнал вместе с врагами то, что мне было дорого, — искусство?» — спрашивает сам себя Зощенко. И мгновенно отвечает: «Нет. Напротив. Моя рука стала тверже. И голос звонче. И песни веселей. Я не потерял мое искусство. И тому порукой мои книги за последние двенадцать лет. Тому порукой эта моя книга. Она написана во многих жанрах. А жанр художника здесь вовсе не слабей».

На последней странице эпилога Зощенко вспоминает письмо крестьянина-убийцы, которому книга «Возвращенная молодость» открыла, что можно руководить собой, управлять своими чувствами. «Оно написано малограмотной рукой. Но мысли в этом письме так ясны и так страшны, что я сосчитал своей обязанностью навязывать людям свои мысли о необходимости руководить собой, о необходимости управлять своими чувствами.

Не дело, чтобы низшие силы одерживали верх. Должен побеждать разум».

Последние слова — почти буквальное повторение концовки романа Е. Замятина «Мы», Зощенко, наверное, известного: «И я надеюсь — мы победим. Больше: я уверен — мы победим. Потому что разум должен победить».

Но вместо замятинской горькой иронии (он-то как раз защищал иррациональность поэтов-еретиков, и эти слова произносит только что перенесший операцию по удалению фантазии, предавший любимую женщину и преданный Благодетелю главный герой) у Зощенко звучит открытый оптимизм, без полутонов и оттенков.

Апофеозом разуму, вариацией древнегреческой эпиграммы заканчивается послесловие и вся книга:

Вот что прекрасней всего из того, что я в мире оставил:
Первое — солнечный свет, второе — искусство и разум...

Как он прославлял разум! Как верил, что своей книгой помогает борьбе своего народа: «Моя работа опровергает “философию” фашизма, которая говорит, что сознание приносит людям неисчислимыя беды, что человеческое счастье — в возврате к варварству, к дикости, в отказе от цивилизации». С какой искренностью повторял затертые, суконные формулы, над которыми ухмылялись даже их создатели: «Так, например, в нашей социалистической стране люди избавились от основного страха, связанного с поисками работы, а стало быть, и питания. И в этом отношении у нас нет людей, которые страшились бы за свою судьбу».

Простодушный Михаил Михайлович, он словно забыл, что существует в такую эпоху и в таком государстве, где расправа с психологической мотивировкой стала не исключением, а законом и нормой.

Тем ужасней были масштабы катастрофы.

КАТАСТРОФА

В июне 1943 года Зощенко сообщает знакомой: «С книгой моей обстоит дело пока что не только хорошо, но даже великолепно. Я не видел такого волнения, которое я увидел у тех, кто ее читал. Я услышал наивысшие комплименты. И от редакции, и от литераторов...

В общем, книга произвела большой шум. Сейчас ее читают в ЦК. После чего она пойдет в VI № “Октября”. Если, конечно, цензура не наложит руку. Редакция уверена, что ничего не случится.

Я не очень. Но почему-то я даже не слишком огорчусь. Мне было важно написать, а не напечатать...»³⁷.

Действительно, «Перед восходом солнца» начинает печататься в «Октябре» в разгар войны (1943, № 6/7, 8/9).

Еще в сентябре Зощенко с гордостью рассказывает: «Номера пошли по рукам. И просто исчезли... Интерес к работе такой, что в редакции разводят руками, говорят, что такого случая у них не было — журнал исчезает, его крадут и редакция не может мне дать лишнего экземпляра. Я помню, нечто подобное было с “Возвращенной молодостью”. В общем, шум исключительный. Можно представить, что будет после второй части, когда начнется толкование снов»³⁸.

Второй части с толкованием снов пришлось, однако, ожидать тридцать лет: публикация продолжения книги была запрещена. Началась совсем другая история.

Журнал «Большевик» (1944, № 2) печатает коллективную статью никому не известных «критиков» (числом четыре) «Об одной вредной повести». «Зощенко рисует чрезвычайно извращенную картину жизни нашего народа. Психология героев, их поступки носят уродливый характер... Весь мир кажется Зощенко пошлым... Повесть наполнена персоной самого Зощенко... Тряпичником бродит Зощенко по человеческим помойкам, выискивая что похуже... Как мог написать Зощенко эту галиматью, нужную лишь врагам нашей родины?»³⁹.

Это было только начало писательских бедствий. Через полтора года в дело вступает тяжелая артиллерия. Зощенко (вместе с А. Ахматовой) становится героем Постановления ЦК ВКП (б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» от 14 августа 1946 года и комментирующего его доклада Жданова.

На писателей обрушивается вся мощь государственной машины. Их прорабатывают на собраниях, исключают из Союза писателей, естественно, перестают печатать, но зато беспрерывно поминают в разгромных статьях. На работу не берут даже жёну Зоценко, требуя сначала сменить фамилию.

В сорок восьмом году зашедший к Зоценко приятель застал «бывшего писателя» за странным занятием: «С большими ножницами в руках М. М. ползал по полу, выкраивая из старого пыльного войлока толстые подметки для какой-то артели инвалидов. Не помню точно, сколько ему платили за сотню пар. Во всяком случае, обед в дрянной столовке обходился дороже»⁴⁰.

Шло время, в марте 1953 года умер Сталин, через три с половиной месяца 59-летнего автора десятков книг приняли в Союз писателей (не восстановили, а приняли снова!). Начались разговоры об издании новой книги.

Но в мае 1954 года на встрече с группой английских студентов Зоценко и Ахматовой был задан вопрос об отношении к партийному постановлению и докладу Жданова. Ахматова величаво и отрезанно сказала, что она с ним согласна. Зоценко подробно начал объяснять, с чем он не согласен и почему.

Последовали новые оргвыводы, собрания, разбирательства... Сохранилась стенограмма выступления Зоценко в ленинградском Доме писателей. Вместо ожидаемого раскаяния и покаяния он произнес длинную исповедальную речь.

«Я заканчиваю.

Последняя фраза. Я могу сказать: моя литературная жизнь и судьба при такой ситуации закончены. Я не могу выйти из положе-

ния. Сатирик должен быть морально чистым человеком, а я унижен, как последний сукин сын!

Как я могу работать?..

У меня нет ничего в дальнейшем! Я не стану ни о чем просить! Не надо вашего снисхождения, ни вашего Друзина, ни вашей брани и криков! Я больше чем устал!

Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею!»⁴¹.

Те, кто встречался с Зощенко в последние годы, видели обреченного, сломленного, убитого страданиями человека.

«Я вышел победителем. Я стал иным после этой битвы. Мало сказать иным — возникла новая жизнь, совершенно не похожая на то, что было раньше» («Перед восходом солнца»).

«Вероятно, я оторвался от жизни и людей и замкнулся в себе. Если все так дружно кричат на меня — стало быть, я не прав... Как до удивления странно и нелепо складывается моя жизнь»⁴². Слова из письма пятьдесят пятого года поразительно напоминают реплику какого-то неприкаянного героя «Сентиментальных повестей».

Но самое страшное в третьей, послевоенной, судьбе Зощенко связано все-таки не с бытом, а с творчеством. Он по-прежнему много работает: записывает рассказы партизан, переводит, публикует фельетоны в «Крокодиле», сочиняет пьесы. Однако, прочитав уже после смерти писателя том, составленный главным образом из вещей «третьего Зощенко», К. Чуковский жестко, но справедливо заметил: «В последнее время стали появляться такие сборники его повестей и рассказов, словно их составители поставили себе коварную цель — убедить новое поколение читателей, что Зощенко был слабый и неумелый писатель. И они достигли этой цели: всякий,

кто прочтет новый сборник, составленный из его наименее удачных вещей, непременно утратит интерес к его творчеству»⁴³.

Глубину происшедших с писателем перемен, масштабы катастрофы хорошо демонстрирует сравнение трех рассказов на одну тему.

«Баня» 1924 года стала одним из текстов, принесших Зоценко славу. Великолепно схваченная бытовая ситуация, колоритные реплики («А банщик говорит: “Мы, — говорит, — за дырками не приставлены. Не в театре, — говорит”»), возникающий за частным случаем образ новой культуры («Не царский, — говорю, — режим, шайками ляпать. Эгоизм, — говорю, — какой. Надо же, — говорю, — и другим помыться. Не в театре, — говорю») — делают рассказ эталоном ранней манеры Зоценко, где искусство сказа говорит само за себя и не нуждается в дополнительных моральных до-весках-объяснениях.

Через одиннадцать лет появляется «Баня и люди» (1935), в отредактированном виде включенная в «Голубую книгу» под заглавием «Рассказ о банях и их посетителях». По-прежнему острый и колоритный анекдот, напоминающий о «Бане»-первой, изложен, однако, более стертым, сглаженным литературным языком, лишен культурологической перспективы, зато сопровождается скоротечной утешительной концовкой: вора моментально обнаруживают и арестовывают.

Рассказ «В бане» (1956) написан совершенно иной рукой. Благостные описания («Обширное помещение предбанника культурно и даже не без красоты оформлено. На полу ковровые дорожки. На диванах чистые чехлы. У дверей — буфетная стойка с цветочным горшком»), приторная вымученная фабула (старик приходит в баню со свертком честно заработанных денег, накопленных в

память о родительской нужде, одаривает ребенка шоколадкой), шаблонно-раскрашенный язык («Вот именно, папаня! Где же тут мне мало-мало развернуться? Вот и хожу по предбаннику как зачумелый...»), готовая мораль-иллюстрация поговорки «не в деньгах счастье» — делают последнюю «Баню» классическим воплощением «теории бесконфликтности» — борьбы хорошего с еще лучшим.

«Баня»-третья сочинена, кажется, не писателем с уникальным чувством юмора и слова, а дюжинным «советским юмористом» по готовым шаблонам.

Трагедия Зощенко была не оптимистической, но исторически-закономерной.

«Есть такая версия, — записывает А. Платонов для себя в начале тридцатых годов. — Новый мир реально существует, поскольку есть поколение искренно думающих и действующих в плане ортодоксии, в плане оживленного “плаката”... Всемирным, универсально-историческим этот новый мир не будет и быть им не может. Но живые люди, составляющие этот новый, принципиально новый и серьезный мир, уже есть и надо работать среди них и для них»⁴⁴.

Зощенко (как и Платонов) поставил эксперимент на себе. Вслед за поэтом он мог бы повторить: «Всем лозунгам я верил до конца». Он стал настоящим «социалистическим реалистом» — не по социальному заказу, а по собственному выбору, — изображающим прекрасный новый мир в его послереволюционном развитии (только не мифологизированном, а подлинном).

Тем нагляднее оказался результат. На месте «оживленного плаката» все время возникали русские народные кафки. Это приводило в ужас самого автора, заставляя его искать причины в хандре, меланхолии, дефектах своего художественного зрения.

«Чистый и прекрасный человек, он искал связи с эпохой, верил широковещательным программам, сулившим всеобщее счастье, считал, что когда-нибудь все войдет в норму, так как проявления жестокости и дикости лишь случайность, рябь на воде, а не сущность, как его учили на политзанятиях, — точно формулировала проблему Н. Я. Мандельштам. — Зощенко, моралист по природе, своими рассказами пытался образумить современников, помочь им стать людьми, а читатели принимали все за юмористику и ржали, как лошади. Зощенко сохранял иллюзии, начисто был лишен цинизма, все время размышлял, чуть наклонив голову набок, и жестоко за это расплатился.

Глазом художника он иногда проникал в суть вещей, но осмыслить их не мог, потому что свято верил в прогресс и все его красивые следствия»⁴⁵.

Поразителен и показателен контраст двух документов, двух писем в жанре «послания художника к тирану».

В 1930 году затравленный М. Булгаков обращается с письмом к советскому правительству (фактически — к Сталину). В августе 1946 года после постановления и ждановского доклада письмо вождю пишет и Зощенко.

«Я обращаюсь к правительству СССР со следующим письмом», — восклицает Булгаков.

«Дорогой Иосиф Виссарионович!» — по-домашнему начинает Зощенко.

«Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти она ни существовала, мой писательский долг, так же как и призывы к свободе печати», — открывает карты Поэт. И тут же признается, что он «мистический писатель», полный «глубокого скептицизма в отношении революционного процесса, происходящего в отсталой стране».

«Я никогда не был антисоветским человеком. В 1918 году я добровольцем пошел в Красную Армию и полгода пробыл на фронте, сражаясь против белогвардейских войск. Я происходил из дворянской семьи, но никогда у меня не было двух мнений — с кем мне идти — с народом или с помещиками. Я всегда шел с народом. И этого у меня никто не отнимет», — смиренно объясняется рассказчик.

«Я прошу правительство СССР приказать мне в срочном порядке покинуть пределы СССР, — диктует свои условия Булгаков. — Если же и то, что я написал, не убедительно и меня обрекут на пожизненное молчание в СССР, я прошу советское правительство дать мне работу по специальности и командировать меня в театр на работу в качестве штатного режиссера... Если меня не назначат режиссером, я прошусь на штатную должность статиста. Если и статистом нельзя — я прошусь на должность рабоче-го сцены»⁴⁶.

«Прошу мне поверить — я ничего не ищу и не прошу никаких улучшений в моей судьбе. А если я и пишу Вам, то с единственной целью несколько облегчить мою боль. Я никогда не был литературным пройдохой или низким человеком или человеком, который отдавал свой труд на благо помещиков и банкиров. Это ошибка. Уверю Вас»⁴⁷, — исповедуетса Зощенко.

Суть дела здесь не в личной силе или слабости характера, а в разных способах поведения, жизнестроительства, производных от писательской поэтики.

Сатира Булгакова, его яростный пафос отрицания порождены внешней точкой зрения на мир, в котором он оказался. Булгаков судит эпоху оттуда, из XIX века, с точки зрения старой истории

и культуры, которую сломала революция. Отсюда — образ Дома в «Белой гвардии», конфликт Преображенского и Шарикова в «Собачьем сердце», «слоистая» структура «Мастера и Маргариты».

Веселый смех, скажем, Ильфа и Петрова в их знаменитых романах — тоже внешний, но их точка зрения, эстетическая позиция располагалась в будущем, в том «новом мире оживленного плаката», о котором размышлял Платонов. «Молодые дикари» — определяла их с «булгаковской» позиции Н. Мандельштам. Отсюда — Воронья слободка и случайно залетевший в нее гость из будущего Севрюгов, «Антилопа-Гну» и проносющийся мимо нее караван новых автомобилей. «Настоящая жизнь пролетела мимо, радостно трубя и сверкая лаковыми крыльями».

Зоценко-автор существует внутри изображаемого мира, на одном уровне с персонажами. Его коммунальная квартира никогда не видела ни лампы под зеленым абажуром, ни великих строек или полярных экспедиций. Потому смех Зоценко (особенно в «Сентиментальных повестях») так похож на сдержанное рыдание.

Этой особой, уникальной позицией — уникальной именно искренностью, талантливостью растворения в «лозунге» — вплоть до отказа от собственного языка и перехода на язык массы — и объясняется поведение Зоценко после катастрофы (как, впрочем, и до нее).

Когда его упрекали за участие в «позорной» книге о Беломорканале, он «пытался объяснить, какое доверие было ко всякой энергичной идее сверху, ко всякому стремлению перековать старую жизнь, какой сладкой была та вера...»

«И писал я рассказ искренно, честно. А вы полагаете, что “История одной перековки” не вышла?»⁴⁸.

Когда Ахматова, зная, как и Булгаков, истинную цену и Жданову, и этой власти вообще, немногословно соглашалась с партийными оценками (согласна, что она «то ли монахиня, то ли блудница»), Зоценко бросался объяснять, что он не может быть «пошляком» и «подонком литературы», потому что воевал за эту власть, верит в нее, считает ее своей.

Из записей Зоценко 1958 года: «При Сталине. Основные доказательства сводились к утверждению, что социалистический строй неизмеримо выше капиталистического. К этому приводились все доказательства технической и научной мысли.

Авторитет страны возрос неимоверно. Ясно, что литература нужна была такого рода, чтобы доказывала то, что доказала наука и техника. Нужны были: «Широка страна моя родная» (история В. Лебедева-Кумача). Бабаевский.

Сейчас примерно необходима такая же литература для тех же доказательств.

Видимо, в холодной войне — это необходимо государству»⁴⁹.

Удивителен здесь даже не пафос оправдания государства, а сама мысль о нем. И в последних интимных дневниковых записях взгляд Зоценко прикован к государственной колеснице.

Между тем советской власти давно уже (или с самого начала?) были нужны не искренность, а лицемерие и притворство, не правда, а послушание, не слуги народа, а «автоматчики партии».

«Мне некого винить. Я попал под неумолимое колесо истории»⁵⁰, — объяснял Зоценко жене бывшего собрата-серапиона.

«Умирать надо вовремя. Я опоздал»⁵¹, — скажет он за несколько дней до конца.

Михаил Михайлович Зоценко скончался 22 июля 1958 года.

Похороны превратились в последний зощенковский сюжет. О панихиде не сообщали, хотя людей на прощание в Дом писателя пришло много. У гроба один из писательских начальников напоминал об ошибках покойного. Похоронили Зощенко не на Литераторских мостках (не по чину) и не в дачном писательском поселке Комарово (где через несколько лет упокоится Ахматова), а в Сестрорецке, где он обычно жил в последние годы.

Через много лет на могиле поставили памятник. Какие-то «уважаемые граждане» его осквернили. Памятник восстановили.

На скамейке сидит задумчивый человек и смотрит куда-то вдаль. Может быть, вглядывается в тот пейзаж, которым заканчивается его злосчастная повесть.

«Холодное октябрьское утро. Тишина. Москва еще спит. Улицы пустынно и безлюдны.

Но вот где-то на востоке розовеет небо. Наступает утро. Лязгая железом, проходит первый трамвай. Улица заполняется народом».

Это выходят на улицы зощенковские герои.

Так и хочется спросить: солнце взошло или еще нет?

«Истинное открытие того времени, истинный массовый успех имел Зощенко, и вовсе не потому, что это фельетонист-сатирик. Зощенко имел успех потому, что это не свидетель, а судья, судья времени. Свидетелей и без Зощенко было немало... Зощенко был создателем новой формы, совершенно нового мышления в литературе (тот же подвиг, что и Пикассо, снявшего трехмерную перспективу), показавшим новые возможности слова. Зощенко трудно переводить. Его рассказы неперевоодимы, как стихи. В русской литературе того времени это фигура особого значения»⁵².

Игорь Сухих

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Хин Е. Коктебель, 1938 // Звезда. 1994. № 8. С. 38.
- ² Личность М. Зощенко по воспоминаниям его жены (1916–1929) / Публ. Г. В. Филиппова // Михаил Зощенко. Материалы к творческой биографии. Кн. I. СПб, 1997. С. 69.
- ³ Зощенко В. Так начинал М. Зощенко // Вспоминая Михаила Зощенко. Л., 1990. С. 5. Далее: Воспоминания, с указанием страницы.
- ⁴ См.: Лицо и маска Михаила Зощенко. М., 1994. С. 25–27.
- ⁵ Статья М. М. Зощенко о Б. К. Зайцеве / Публ. А. А. Павловского // Михаил Зощенко. Материалы к творческой биографии. Кн. I. С. 46.
- ⁶ Полонская Е. Мое знакомство с Михаилом Зощенко // Воспоминания. С. 152.
- ⁷ Басалаев И. Записи для себя // Минувшее. Т. 19. М.; СПб, 1996. С. 461.
- ⁸ Мандельштам О. Конец романа // Сочинения: в 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 202–204.
- ⁹ Ахматова А. Листки из дневника // Серебряный век. М., 1990. С. 407.
- ¹⁰ Чуковский К. Из воспоминаний // Воспоминания. С. 69.
- ¹¹ Чуковский К. Дневник. 1901–1929. М., 1991. С. 421.
- ¹² «Серapiоновы братья» в зеркалах переписки. М., 2004. С. 136.
- ¹³ Там же. С. 149; ср. аналогичные отзывы: Там же. С. 159, 166, 168, 177.
- ¹⁴ Переписка А. П. Чехова: В 3-х т. Т. 2. М., 1996. С. 7.

- 15 См.: Ходасевич В. «Уважаемые граждане» // Лицо и маска Михаила Зощенко. М., 1994. С. 140–148.
- 16 Лосский Б. Н. Наша семья в пору лихолетья // Минувшее. Т. 12. М.; СПб, 1993. С. 92.
- 17 Эйхенбаум Б. М. Лесков и современная проза // Эйхенбаум Б. М. О литературе. М., 1987. С. 422.
- 18 Мандельштам О. Литературная Москва. Рождение фавулы // Сочинения. Т. 2. С. 281.
- 19 Лицо и маска Михаила Зощенко. С. 102.
- 20 Бунин И. А. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 6. М., 1988. С. 207.
- 21 Лицо и маска Михаила Зощенко. С. 160.
- 22 Добычин Л. Полное собрание сочинений и писем. СПб, 1999. С. 280.
- 23 Слонимский М. Михаил Зощенко // Воспоминания. С. 97.
- 24 Анненков Ю. Дневник моих встреч. Т. I. Л., 1991. С. 306.
- 25 Мандельштам О. Четвертая проза // Сочинения. Т. 2. С. 99.
- 26 Чуковский К. И. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 92.
- 27 «Понятие о сатире я имею более твердое...» / Публ. С. В. Зыковой // Встречи с прошлым. Вып. 6. М., 1988. С. 206.
- 28 Цит. по: Молдавский Дм. Михаил Зощенко. Л., 1977. С. 154.
- 29 Литературное наследство. Т. 70. Горький и советские писатели. М., 1963. С. 163.
- 30 Чудакова М. О. Поэтика Михаила Зощенко. М., 1979. С. 95. Ср. аналогичное наблюдение, сделанное современником Зощенко: «Было бы напрасным занятием указывать исторические неточности в отдельных главах “Голубой книги”; важно вскрыть не эти неточности, а особый характер использова-

- ния писателем ряда исторических легенд и легендарных фактов, иногда совершенно по-новому писателем переосмысленных» (Вольпе Ц. Искусство непохожести. М., 1991. С. 286).
- 31 Лицо и маска Михаила Зощенко. С. 200.
- 32 Тэффи Н. А. Юмористические рассказы: Из «Всеобщей истории, обработанной “Сатириконом”». М., 1990. С. 336.
- 33 Вольпе Ц. Искусство непохожести. С. 259.
- 34 Лицо и маска Михаила Зощенко. С. 126–127.
- 35 Выступление М. М. Зощенко на диспуте / Публ. Ю. В. Томашевского // Звезда. 1994. № 8. С. 5–6.
- 36 Эткинд А. Эрос невозможного. Л., 1993. С. 416.
- 37 Чалова Л. Такой он был // Воспоминания. С. 323.
- 38 Там же. С. 324–325.
- 39 Горшков В., Ваулин Г., Рутковская Л., Большаков П. Об одной вредной повести // Лицо и маска Михаила Зощенко. С. 202–204.
- 40 Мариенгоф А. Из книги «Это вам, потомки» // Воспоминания. С. 491.
- 41 «Писатель с перепуганной душой — это уже потеря квалификации» / Публ. Ю. Томашевского // Дружба народов. 1988. № 3. С. 184.
- 42 Ленч Л. «Живой с живыми...» // Воспоминания. С. 272.
- 43 Чуковский К. Из воспоминаний // Там же. С. 81.
- 44 Платонов А. Деревянное растение. М., 1990. С. 17.
- 45 Мандельштам Н. Вторая книга. М., 1990. С. 294.
- 46 Булгаков М. Собрание сочинений: Т. 5. М., 1990. С. 443, 446, 449.

- ⁴⁷ «Писатель с перепуганной душой — это уже потеря квалификации». С. 173–174.
- ⁴⁸ Тулякова-Хикмет В. Аплодисменты // Воспоминания. С. 409.
- ⁴⁹ Зощенко М. Из записей 1956–1958 гг. // Лицо и маска Михаила Зощенко. С. 134.
- ⁵⁰ Иванова Т. О Зощенко // Воспоминания. С. 174.
- ⁵¹ Меттер И. Свидетельство современника // Там же. С. 242.
- ⁵² Шаламов В. Новая книга: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела. М., 2004. С. 145.

РАЗНОТЫК

Автобиографии
Рассказы и фельетоны
1914–1924

Автобиографии

О СЕБЕ, ОБ ИДЕОЛОГИИ И ЕЩЕ КОЕ О ЧЕМ

Отец мой художник, мать — актриса. Это я к тому говорю, что в Полтаве есть еще Зощенки. Например: Егор Зощенко — дамский портной. В Мелитополе — акушер и гинеколог Зощенко. Так заявляю: тем я вовсе даже не родственник, не знаком с ними и знакомиться не желаю.

Из-за них, скажу прямо, мне даже знаменитым писателем не хочется быть. Непременно приедут. Прочтут и приедут. У меня уж тетка одна с Украины приехала.

Вообще писателем быть трудновато. Скажем, тоже — идеология... Требуется нынче от писателя идеология. Вот Воронский (хороший человек) пишет:

...Писателям нужно «точнее идеологически определяться».

Этакая, право, мне неприятность!

Какая, скажите, может быть у меня «точная идеология», если ни одна партия в целом меня не привлекает?

С точки зрения людей партийных я беспринципный человек. Пусть. Сам же я про себя скажу: я не коммунист, не эсер, не монархист, я просто русский. И к тому же — политически безнравственный.

Честное слово даю — не знаю до сих пор, ну вот хоть, скажем, Гучков... В какой партии Гучков? А черт его знает, в какой он партии. Знаю: не большевик, но эс-эр он или кадет — не знаю и знать не хочу, а если и узнаю, то Пушкина буду любить по-прежнему.

Многие на меня за это очень обидятся. (Этакая, скажут, невинность сохранилась после трех революций.) Но это так. И это незнание для меня радость все-таки.

Нету у меня ни к кому ненависти — вот моя «точная идеология».

Ну, а еще точнее? Еще точнее — пожалуйста. По общему размаху мне ближе всего большевики. И большевичить я с ними согласен.

Да и кому быть большевиком, как не мне?

Я «в Бога не верю». Мне смешно даже, nepocтижимо, как это интеллигентный человек идет в церковь Параскевы Пятницы и там молится раскрашенной картине...

Я не мистик. Старух не люблю. Кровного родства не признаю. И Россию люблю мужицкую.

И в этом мне с большевиками по пути.

Но я не коммунист (не марксист вернее) и думаю, что никогда им не буду.

Мне 27 лет. Впрочем, Оленька Зив думает, что мне меньше. Но все-таки это так.

В 13-м году я поступил в университет. В 14-м поехал на Кавказ. Дрался в Кисловодске на дуэли с правоведем К. После чего почувствовал немедленно, что я человек необыкновенный, герой и авантюрист, — поехал доброволь-

цем на войну. Офицером был. Дальше я рассказывать не буду, иначе начну себя обкрадывать. Нынче я пишу «Записки бывшего офицера», не о себе, конечно, но там все будет. Там будет даже, как меня однажды в революцию заперли с квартирмейстером Хоруном в городском холодильнике.

А после революции скитался я по многим местам России. Был плотником, на звериный промысел ездил к Новой Земле, был сапожным подмастерьем, служил телефонистом, милиционером служил на станции Лигово, был агентом уголовного розыска, карточным игроком, конторщиком, актером, был снова на фронте — добровольцем в Красной Армии.

Врачом не был. Впрочем, неправда — был врачом. В 17-м году после революции выбрали меня солдаты старшим врачом, хотя я командовал тогда батальоном. А произошло это оттого, что старший врач полка как-то скуповато давал солдатам отпуска по болезни. Я показался им сговорчивей.

Я не смеюсь. Я говорю серьезно.

А вот сухонькая таблица моих событий:

арестован — 6 раз,

к смерти приговорен — 1 раз,

ранен — 3 раза,

самоубийством кончал — 2 раза,

били меня — 3 раза.

Все это происходило не из авантюризма, а «просто так» — не везло.

Нынче же я заработал себе порок сердца и потому-то, наверное, стал писателем. Иначе — я был бы еще летчиком.

Вот и все.

Да, чуть не забыл: книгу я написал. Рассказы — «Разно-тык» (не напечатал; может быть, напечатаю часть). Другая книга моя «Рассказы Назара Ильича господина Синябрюхова» — в продаже. Продается она, я думаю, в Пищевом тресте, ибо в окнах книжных лавок я ее не видел.

А разошлась эта книга в двух экземплярах. Одну книжку купила — добрый человек — Зоя Гацкевич, другую, наверное, — Могилянский. Для рецензии. Третью книжку хотел купить Губер, но раздумал.

Кончаю.

Из современных писателей могу читать только себя и Луначарского. Из современных поэтов мне, дорогая редакция, больше всего нравятся Оленька Зив и Нельдихен.

А про Гучкова так и не знаю.

[АВТОБИОГРАФИЯ]

Я родился в Полтаве в 1895 году. Мой отец — художник. Из дворян.

В 1913 году я окончил классическую гимназию и поступил на юридический факультет Петербургского университета.

Курса не кончил. В 1915 году пошел добровольцем на фронт. Был ранен и отравлен газами. Получил порок сердца. Чин имел штабс-капитана.

В 1918 году пошел добровольцем в Красную Армию.

В 1919 году вернулся в первобытное состояние.

В 1921 году занялся литературой.

Первый мой рассказ напечатан в 1921 году в «Петербургском альманахе».

*Михаил Зощенко
Ленинград, 1924*

О СЕБЕ

Я родился в 1895 году. В прошлом столетии! Это меня ужасно огорчает.

Я родился в 19 веке! Должно быть, поэтому у меня нет достаточной вежливости и романтизма к нашим дням, — я юморист.

О себе я знаю очень мало.

Я не знаю даже, где я родился. Или в Полтаве, или в Петербурге. В одном документе сказано так, в другом — этак. По-видимому, один из документов — «липа». Который из них «липа», угадать трудно, оба сделаны плохо.

С годами тоже путаница. В одном документе указано — 1895, в другом — 1896. Определенно, «липа».

Профессий у меня было очень много. Об этом я всегда говорю без иронии. Даже с некоторым удивлением к самому себе.

Наиболее интересные профессии, кроме самых разнообразных военных, были такие:

1. Студент Петроградского университета.
2. Комендант почт и телеграфа. (При Керенском.)
3. Агент уголовного розыска. (Район Ленинград — Ораниенбаум.)
4. Инструктор по кролиководству и куроводству. (Смоленская губерния, город Красный. Совхоз «Маньково».)
5. Постовой милиционер. (В Лигове.)
6. Телефонист пограничной охраны.
7. Сапожник.
8. Конторщик Петроградского военного порта.

Было еще множество других профессий. Всего не вспомнишь.

Между прочим, о ремесле сапожника. Я очень люблю это спокойное, благородное ремесло. Я почти год (1920) работал подмастерьем у сапожника Воскресенского (или Вознесенского) на Васильевском Острове, по Второй линии, напротив Румянцевского сквера.

Однажды произошла такая встреча. В подвал к нам пришел человек в крылатке. Я разговорился с ним. Он назвал себя писателем Н. Шебуевым. За руку я с ним не здоровался, но разговаривал о чем-то долго. Я был тогда никому не известный юноша. Литературой в то время не занимался. А на коленях, на зеленом фартуке, у меня лежали дамские недочиненные ботинки. И поэтому, вероятно, я не назвал Шебу-

еву своей фамилии. Воображаю, с каким удивлением Н. Шебуев будет читать эти строчки!

Во второй раз Н. Шебуев пришел к нам вместе со своей женой. Мы опять о чем-то долго разговаривали. Однако, я не чинил ему сапоги. Чинил хозяин.

Самая пышная должность у меня была в 17-м году. После Февральской революции. Я был комендантом почт и телеграфа в Петрограде. Мне полагалась тогда лошадь. И дрожки. И номер в «Астории».

Я на полчаса являлся в Главный Почтамт, небрежно подписывал бумажки и лихо уезжал в своих дрожках.

При такой жизни я встречал множество удивительных и знаменитых людей. Например, Горького. Шаляпина как-то раз встретил у Горького. Знаком с Дм. Цензором. Иногда встречаю Липатова. Два раза сидел с Сергеем Есениным в пивной. На Михайловской улице.

Старик Есенин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил...

Рабиндраната Тагора не пришлось увидеть. Но твердо верю, что встречу и этого почтенного старца.

Сейчас у меня биография скудная. Писатель. Кажется, это последняя профессия в моей жизни. Мне жаль, что остановился на этой профессии.

Это очень плохая профессия, черт ее побери! Самая плохая из 12-ти, которые я знаю.

Сент. 27 г.

О СЕБЕ, О КРИТИКАХ И О СВОЕЙ РАБОТЕ

Предупреждение

Эта моя статья написана не для книги. Происхождение статьи совершенно случайное.

В Институте истории искусств читали доклад о моей литературной работе. Меня попросили выступить после доклада.

Я говорю плохо, несколько запутанно и, по этой причине, перед докладом за полчаса набросал эти строчки.

Статья получилась спорная. Я и сам сейчас не совсем согласен с ней. Но в тот день мне казалось именно так. Я беллетрист. И это качество, к сожалению, никогда не оставляет меня.

Я сообщаю читателю об этих обстоятельствах для того, чтобы читатель более терпимо отнесся к этой моей случайной статье.

Относительно моей литературной работы сейчас среди критиков происходит некоторое замешательство.

Критики не знают, куда собственно меня причалить — к высокой литературе или к литературе мелкой, недостойной, быть может, просвещенного внимания критики.

А так как большая часть моих вещей сделана в неуважаемой форме — журнального фельетона и коротенького рассказа, то и судьба моя обычно предreshена.

Обо мне критики обычно говорят как о юмористе, о писателе, который смешит и который ради самого смеха согла-

сен сделать черт знает что из родного русского языка. Это, конечно, не так.

Если я искажаю иногда язык, то условно, поскольку мне хочется передать нужный мне тип — тип, который почти что не фигурировал раньше в русской литературе.

А относительно мелкой литературы я не протестую. Еще неизвестно, что значит сейчас мелкая литература.

Вот, в литературе существует так называемый «социальный заказ». Предполагаю, что заказ этот в настоящее время сделан неверно. Есть мнение, что сейчас заказан красный Лев Толстой. Видимо, заказ этот сделан каким-нибудь неосторожным издательством. Ибо вся жизнь, общественность и все окружение, в котором живет сейчас писатель, заказывают конечно же не красного Льва Толстого. И если говорить о заказе, то заказана вещь в той неуважаемой, мелкой форме, с которой, по крайней мере раньше, связывались самые плохие литературные традиции.

Я взял подряд на этот заказ.

Я предполагаю, что не ошибся.

В высокую литературу я не собираюсь лезть. В высокой литературе и так достаточно писателей.

Но когда критики, а это бывает часто, делят мою работу на две части: вот, дескать, мои повести — это действительно высокая литература, а вот эти мелкие рассказы — журнальная юмористика, сатирикон, собачья ерунда, это неверно.

И повести и мелкие рассказы я пишу одной и той же рукой. И у меня нет такого тонкого подразделения: вот,

дескать, сейчас я напишу собачью ерунду, а вот — повесть для потомства.

Правда, по внешней форме повесть моя ближе подходит к образцам так называемой высокой литературы. В ней, я бы сказал, больше литературных традиций, чем в моем юмористическом рассказе. Но качественность их лично для меня одинакова.

А дело в том, что в повестях («Сентиментальные повести») я беру человека исключительно интеллигентного. В мелких же рассказах я пишу о человеке более простом. И само задание, сама тема и типы диктуют мне форму.

Вот отчего так, казалось бы, резко делится моя работа на две части.

Но критика обманута внешними признаками.

А беда вся в том, что особенно последние два года, в силу некоторой усталости, отчаянной хандры и еженедельной обязательной работы, я ухитрился написать много плохих мелких вещей, которые на самом деле не поднимаются выше обычного журнального рассказа. Это еще больше сбивает критиков, которые с большой охотой и чтоб впредь не возиться со мной, загоняют меня чуть не в репортеры. Но я опять-таки не протестую.

Я только хочу сделать одно признание. Может быть, оно покажется странным и неожиданным. Дело в том, что я — пролетарский писатель. Вернее, я пародирую своими вещами того воображаемого, но подлинного пролетарского писателя, который существовал бы в теперешних условиях жизни и в теперешней среде. Конечно, такого писателя не может существовать, по крайней мере сейчас. А когда будет

существовать, то его общественность, его среда значительно повысятся во всех отношениях.

Я только пародирую. Я временно замещаю пролетарского писателя. Оттого темы моих рассказов проникнуты наивной философией, которая как раз по плечу моим читателям.

В больших вещах я опять-таки пародирую. Я пародирую и неуклюжий, громоздкий (карамзиновский) стиль современного красного Льва Толстого или Рабиндраната Тагора и сентиментальную тему, которая сейчас характерна. Я пародирую теперешнего интеллигентского писателя, которого, может быть, и нет сейчас, но который должен бы существовать, если б он точно выполнял социальный заказ не издательства, а той среды и той общественности, которая сейчас выдвинута на первый план...

Еще я хотел сказать об языке. Мне просто трудно читать сейчас книги большинства современных писателей. Их язык для меня — почти карамзиновский. Их фразы — карамзиновские периоды.

Может быть, какому-нибудь современнику Пушкина так же трудно было читать Карамзина, как сейчас мне читать современного писателя старой литературной школы.

Может быть, единственный человек в русской литературе, который понял это, — Виктор Шкловский.

Он первый порвал старую форму литературного языка. Он укоротил фразу. Он «ввел воздух» в свои статьи. Стало удобно и легко читать. Я сделал то же самое.

Я пишу очень сжато. Фраза у меня короткая. Доступная бедным. Может быть, поэтому у меня много читателей.

[КАК Я РАБОТАЮ]

Это — не специальная статья — о том, как я работаю. Это стенограмма моей беседы на эту тему с начинающими писателями-рабкорами. Вернее — часть стенограммы, — исправленная и несколько дополненная мною для настоящего сборника.

Другими словами, это изложение устной моей речи. Но так как я говорю не слишком хорошо, то получилось несколько запутанно и не совсем, что ли, отчетливо.

А ведь в статье говорится о том, как надо работать. Так работать, как сработана статья, пожалуй, не надо. Но для устной беседы — такое построение статьи было позволено.

Рассказать о том, как я работаю, довольно трудно — весь творческий процесс складывается чрезвычайно быстро и почти всегда подсознательно.

Но я постараюсь — как это делают в кино — замедленной съемкой показать вам, в чем состоит сущность моей работы.

Прежде всего я должен сказать, что всю свою литературную работу я делю на две категории, на две системы. То есть, у меня есть два способа работы. Один способ — когда имеется вдохновение, когда я пишу творческим напряжением. Тогда работа идет легко, быстро и без помарок. Причем весь план, вся композиция вещи складываются сами по себе.

Второй способ — когда нет вдохновения. В этом случае я пишу техническим навыком. При этом способе работы я сам проделываю то, что обычно проделывается подсознательно: сам прорабатываю план сюжета, сам соразмеряю части и, слово за словом, делаю рассказ. И все годы моей литературной работы свелись к тому, чтобы научиться такой технике, при которой качество продукции было бы все время приблизительно одинаково.

Никому из писателей не удавалось всю литературную работу провести с помощью одного только творческого подъема. Таких писателей я не встречал. То есть, литература, конечно, знает таких писателей. Это по большей части состоятельные люди, помещики или люди, имеющие другую профессию. Они могли работать только тогда, когда хотели. Причем годами не работали, ожидая, когда их «посетит вдохновение». Кстати о вдохновении — что такое вдохновение и как его получить — я буду говорить несколько позже.

Так вот, такие писатели писали в полной своей силе, и качество продукции у них было, конечно, чрезвычайно высоко. Но количество произведений у таких писателей было почти всегда незначительно.

Скажем, такой исключительный писатель, как Мериме, за всю свою семидесятилетнюю жизнь написал что-то около двух десятков рассказов да один роман. Он почти не знал неудач. Все вещи его, особенно по тому времени, были сделаны с исключительным блеском. Но если б этот Мериме рабо-

тал как профессионал, как поденщик — вряд ли бы он имел такую высокую квалификацию. Пожалуй, такую квалификацию он бы имел, но наравне с блестящими вещами у него были бы и посредственные.

Но нам, писателям, которым приходится писать все время, без перерыва, без большого отдыха, нам необходимо научиться писать и без вдохновения. Нам необходимо научиться той технике, с которой можно работать в любое время и во всяком состоянии.

Человек устроен так, что не способен находиться долгое время в одинаковом напряжении. Часто бывают провалы. Физические и всякие другие, которые необходимо чем-то заменить, чтобы на долгое время не выйти из строя.

Отсутствие творческой энергии, отсутствие вдохновения, оказывается, можно заменить. Можно работать и хорошо писать, не имея вдохновения, не испытывая никакого творческого напряжения. Есть какие-то рецепты, какие-то законы, знание которых вполне заменит творческое вдохновение.

Талант и вдохновение — это превосходная вещь, но, оказывается, можно некоторое время работать и без них. Одним нутром, как у нас иной раз работают, работать нельзя, и, главное, нельзя на этом базироваться, ибо тогда при малейшей болезни, при малейшем препятствии и при других многих жизненных обстоятельствах писатель принужден сложить орудие.

Каков же этот рецепт и как его отыскать? Для этого следует присмотреться к собственному вдохновению, когда оно бывает.

Присматриваясь к тому, как я работаю подсознательно, я прихожу к выводам, что самое главное в этой работе — три основных положения. Первое — правильное построение рассказа, правильная пропорция материала в каждой его части. Это дело наиболее легкое. Этому просто научиться, делая всякий раз подробный план рассказа.

Второе — точность изложения и наиболее сильные слова и образы, которые при вдохновении возникают сами собой. Без вдохновения — необходимо пользоваться записной книжкой.

И, наконец, третье, то, чему научиться наиболее трудно, — это, так сказать, плавное течение рассказа, одно дыхание, если так можно назвать это отсутствие швов, которые обычно получаются при удающейся не сразу работе. Читатель может и не заметить этих швов, но зато он заметит отсутствие плавности, немонолитность вещи, и тогда интерес к ней если и не пропадает, то уменьшается. Становится трудно читать. Внимание ослабевает. Легко оторваться.

Избежать этого, не имея вдохновения, конечно, чрезвычайно трудно. Тут требуется упорное мастерство, навык и правильный глаз, который видит шероховатости. Эти шероховатости и швы стираются или заполняются словами.

Повторяю: научиться этому можно упорным трудом. Причем все неудачи чрезвычайно полезны и поучительны.

Огромную роль в такой работе играет записная книжка. Я думаю, что каждый писатель ведет записную книжку. В частности, для меня она чрезвычайно важна. Почти каждый день, вечером, я заново в свою записную книжку

несколько слов, одну-две фразы, иногда образ, какую-нибудь встречу, причем все очень кратко, одним словом, одной фразой. Это вошло уже в привычку, и я все это проделываю почти каждый день. Весь улов за день я заносу в записную книжку, часто мне это, может, и не пригодится в дальнейшей моей работе, но иногда, в особенности когда я работаю без вдохновения, я из записной книжки беру слова и фразы и вставляю их в повесть или рассказ.

Должен сказать, что лично я работаю большей частью и главным образом имея вдохновение, то есть то творческое напряжение, которое позволяет работать легко, быстро и успешно. При такой работе на рассказ тратится столько времени, сколько требуется, чтобы его записать.

Однако иной раз приходится работать и без вдохновения.

И все 10 лет моей литературной работы свелись именно к тому, чтобы научиться той высокой технике, при которой качество продукции все время держится приблизительно на одинаковом уровне. Это позволяет мне не зависеть от вдохновения и не ждать его.

Некоторого успеха в этом деле я достиг, ибо кое-какие мои рассказы, написанные в самом большом творческом упадке, считаются чуть ли не наиболее удачными. Это для писателя чрезвычайно важно.

Например, мой маленький пустяковый рассказ «Баня», очень известный и до последней степени затрепанный эстрадой, был написан без вдохновения. Этот рассказ был написан искусственным путем, то есть я сам подбирал кропотливо фразу за фразой и вытаскивал из записной книжки

слова, причем техника была настолько высока, что читатель не заметил в этом рассказе искусственных швов.

Этот пример я привел к тому, чтобы показать, что техника и умение иной раз не уступают самому высокому творческому подъему.

Вот этой технике, основанной на опытах, на неудачах, на тщательном анализе своей творческой работы, и должен учиться каждый писатель. Писать же, как поет птица, одним творческим вдохновением, хоть и легко, но вредно. Писать только одним «нутром», без знания техники и, так сказать, от «господа бога» — совершеннейшие пустяки. Такие писатели обычно не долго могут протянуть. Вот отчего мы знаем такое большое количество «неудачников» — людей, бросивших литературу после первых удачных опытов.

Путь точной техники, точного знания и умения «обыграть» сюжет дается годами упорной, тяжелой работы.

Причем знание техники не мешает творческому подъему. Напротив, такое знание только помогает и улучшает вещь.

Теперь я хочу сказать о вдохновении.

Вдохновение есть то счастливое сочетание физического здоровья, бодрости, нервной свежести и уверенности в себе, которое позволяет всю силу своей личности бросить в одно место, — в данном случае — в литературу.

Это есть мощь, потенция. Это есть правильная работа всего организма. Вернее, неправильная, пожалуй, даже совсем неправильная. Вдохновение — это не совсем нормальный акт. Это скорее перегрузка. Это высокая работа организма за

счет других, более низких органических функций. Это, если говорить модным языком, — сублимация.

Человек, который живет распутно — не имеет вдохновения. Он имеет вдохновение, но имеет его тем меньше, чем больше распутничает.

Да и не только распутство, но и счастливая жизнь, удачи, красота, любовь к женщине — все это весьма плохие обстоятельства для вдохновения. Правда — классический пример — влюбленные пишут стихи. Но всякий раз перестают писать, если их любовь увенчана. Если, скажем, человека бросила женщина, и этим он несчастен, — есть все шансы, что он, помотавшись по свету, напишет какую-нибудь вдохновенную поэму или какой-нибудь цыганский романс.

И, может быть, поэтому почти у всех наших крупнейших писателей, поэтов и больших артистов была плохая личная жизнь, почти все они были «неудачники» в личной судьбе.

Конечно, я не хочу этим сказать, что человек должен стремиться к неудачам, чтобы получить вдохновение. Нет, просто человек должен переключать на литературу весь творческий подъем, рассчитанный на другое. И, переключаясь таким образом, человек, естественно, меньше оставляет энергии для других почтенных занятий. Злоупотребляя же этим, то есть отдавая слишком много творчеству, — человек естественно чувствует некоторую неудовлетворенность, но тут, как и во всем, надлежит найти какую-то среднюю линию.

Я хочу остановиться еще на вдохновении, ибо это есть чрезвычайно важное и, в сущности, единственное обстоя-

тельство для писателя, для всей его работы. Техника помогает, техникой можно временно заполнить недостаток вдохновения или даже полное его отсутствие. Можно, наконец, не снижать своей квалификации, владея техникой. Но, не имея никогда и никакого вдохновения, писатель, конечно, не сможет достичь крупных успехов.

Но тут я должен сказать самое, по-моему, важное. Вдохновение не есть что-то необычайное, которое надо ожидать неизвестно откуда. Я повторяю: вдохновение есть физическое состояние, совершенно подвластное воле человека. Можно потерять вдохновение, с излишком пользуясь «благами жизни». Но можно его и приобрести. Можно его заранее «заказать», скажем, за месяц вперед.

Разговор о том, что Пушкин распутничал и вместе с тем имел огромное вдохновение, — не основателен. Пушкин не работал во время своих разгулов. Он работал главным образом, когда судьба его кидала в провинцию. И там всю силу своей личности, всю силу, которую он тратил на всякие утехи, он отдавал литературе.

Правда, другой пример — Гоголь. Гоголь потерял вдохновение, а вместе с тем жил больше чем просто. Но тут дело объясняется просто. Вдохновение можно потерять, и гораздо легче, чем от чего-либо другого, от переутомления. Гоголь работал, так сказать, «запоем», не давая никакого отдыха своей голове. И вначале эффект такой работы был просто изумителен.

В сущности говоря, за 6–7 лет Гоголь написал почти все, что мы знаем.

Вот тут скорее бы помогла некоторая доля, что ли, распутства, чем искусственное и насильное раздражение творческой энергии. За этим следуют болезни и полная потеря вдохновения.

Когда же пропадает вдохновение, писатель обращается к философии, к богоискательству, к разрешению разных проблем, — для всего этого требуется лишь ясность головы, но необязательна полная и гармоничная работа всего нашего организма.

И, пожалуй, самое важное для писателя — это сохранить ту свежесть нервной энергии, то физическое здоровье и равновесие, при которых только и бывает это превосходное и необходимейшее состояние для писателя — вдохновение.

Вот к этому состоянию, несмотря на неблагоприятные условия, я и стремлюсь и этого добиваюсь. Техника же помогает мне не выходить из строя в те моменты, когда я истратил свое вдохновение на свою жизнь.

На этом был закончен мой доклад.

Из целого ряда заданных мне потом вопросов приведу здесь наиболее любопытные — вместе с ответами на эти вопросы.

Вопрос. Какова техника дела записной книжки? Вы пишете на одной стороне и потом вы вырезываете?

Ответ. Я вижу, что вы меня не поняли. Вы думаете, что я из записной книжки беру слова, фразы и клеиваю их в рассказ? Это не так.

В моей записной книжке три отдела. В одном отделе — слова. Я записываю те слова, которые мне показались интересны-

ми. Может быть, это — новые слова, может быть, они интересны по своей необычности, может быть, это — жаргонные слова, или слова, которые употребляют рабочие в разговоре. Вот какие слова я записываю. Но это не значит, что я из них клею рассказ. Это значит, что когда я пишу рассказ и когда у меня не хватает своей силы, — тогда я прибегаю к записной книжке. И тут же на черновике своей рукописи я записываю те слова, которые могу вставить или для блеска, или чтобы усилить правдивость той жизни, о которой я хочу рассказать.

В другом отделе — фразы, поговорки, пословицы, в третьем — сюжеты для моих будущих рассказов.

Всем этим я пользуюсь, когда у меня не хватает собственного вдохновения.

Вопрос. Сильно ли вы переделываете свои рассказы?

Ответ. Я говорил вам: работа складывается двояко, те рассказы, которые я пишу с вдохновением, я отделяю мало. Тут вся работа делается подсознательно, — я одним жестом записываю рассказ, и он достаточно точен и правилен. Но в тех рассказах, которые я пишу искусственным путем, техническим навыком, — там я затрачиваю большую работу. Иногда маленький рассказ работается 4–5 дней. Рассказ же, написанный с вдохновением, обычно пишется 15–20 минут.

Вопрос. Как вы написали свою новую повесть «Сирень цветет»? По вдохновению?

Ответ. Это большая повесть, больше двух печатных листов. Я не могу сказать, что она вся целиком была написана по вдохновению. В основном она написана в большом творческом подъеме. Но какие-то ее части написаны техникой.

Вопрос. При выборе сюжета вы используете газеты?

Ответ. Очень часто. 30–40 процентов сюжетов маленьких рассказов брались из газет, если не целиком, то отгалкивая от какой-нибудь детали газетного сюжета.

Вопрос. Скажите, сколько лет потребовалось вам на приобретение техники, чтобы писать без вдохновения?

Ответ. Первые два-три года я работал, не владея никакой техникой, я старался писать в те моменты, когда мне хотелось писать, когда у меня была просто потребность писать. В такие моменты я писал без ошибок, не имея техники. В дальнейшем, в связи с такой работой, я кое-чему научился. Потом я чаще и чаще пробовал писать, когда мне и не хотелось, причем эта работа была наиболее для меня поучительна.

Вопрос. Вы сказали, что стараетесь писать так, чтобы примерно на одной высоте держать ваши рассказы. Как это понять?

Ответ. Бывает, что писатель написал прекрасную повесть, но наряду с этим у него есть совершенно отвратительный, неинтересный, бессодержательный рассказ. Это значит, что человек написал хорошую повесть, когда у него было вдохновение. А рассказ он написал, когда вдохновения не было, и вот без знания и техники у него и получилась посредственная вещь. А техника помогла бы и тут достигнуть приличного результата. Техникой лично я стараюсь достичь такого качества товара, какой выходит из-под пера при самом большом вдохновении. Но это, конечно, трудно. И для этого требуется большая работа.

Вопрос. Как обстоит дело у вас с черновиками, в которых имеются ваши рассказы, сохраняете ли вы их или возвращаетесь к ним, если имеется приблизительно одинаковый сюжет?

Ответ. Обычно бывает так: я написал рассказ в черновике. Во время переписки я исправляю, заменяю, отделяю, но чтобы я снова возвращался к черновикам — этого мне, конечно, не приходилось.

Вопрос. Какая главная задача лежит на писателе в наше время, особенно партийце?

Ответ. Я не берусь говорить об обязанностях, которые несет партиец. Но вообще перед писателем наших дней, по моему мнению, стоит такая задача: необходимо научиться писать так, чтобы возможно большее количество людей понимало его произведения. Необходимо массу заинтересовать литературой. А для этого нужно писать ясно, кратко и со всей возможной простотой.

Вот, на мой взгляд, основная задача, которая стоит перед современным писателем.

[АВТОБИОГРАФИЯ]

Я начал писать рассказы, когда мне было девять лет.

До 25 лет я писал изредка. Иной раз не писал годами. Но стремление к литературной работе было почти всегда.

Стало быть, я имел за плечами пятнадцатилетний опыт, когда после революции начал работать как профессионал.

Я сразу столкнулся с труднейшей задачей — писать для новой страны, для новых, еще неизвестных читателей.

Судя по письмам, которые я получал, многие думали, что я пишу с необычайной легкостью, просто так, как поет птица. Как Маяковский говорил: «Разжал уста и вот — пожалуйста».

Это, конечно, было далеко не так.

Обычно, правда, я писал рассказы легко. Но по временам, когда я искал новую форму или новый жанр, — я сталкивался с необычайными трудностями. Такие, например, трудности мне пришлось одолеть в начале моей работы.

Первые мои литературные шаги после революции были ошибочны. Я начал писать большие рассказы в старой форме и старым, полустертым языком, на котором, правда, и посейчас еще иной раз дописывается большая литература.

Только через год, пожалуй, я понял ошибку и стал перестраиваться по всему фронту. Эта ошибка была естественна. Я родился в интеллигентной семье. Я не был, в сущности, новым человеком и новым писателем. И некоторая моя новизна в литературе была целиком моим изобретением.

Мне много пришлось поработать над языком. Весь синтаксис надо было круто менять, чтобы сделать литературную вещь простой и доступной новым читателям. Доказательством того, что я не ошибся, были очень высокие тиражи моих книг. Стало быть, язык, который я взял и который, на

первых порах, казался критике смешным и нарочно исковерканным, был, в сущности, чрезвычайно простым и естественным.

Возможно, конечно, что в этом деле я несколько преувеличивал. Но искусство всегда преувеличение. Иначе получается фотография.

Работу над языком я продолжаю. Кое-что в дальнейшем уберу, кое-что приглажу. В общем, это будет одна из основных задач моей будущей работы.

О будущей своей работе говорить сейчас несколько затруднительно. У меня были большие сомнения, что именно сейчас нужно.

Я был отчасти сбит с толку кучей статей и статейек, которые чего только не требовали от писателя. Одни требовали, чтоб писатель писал, главным образом, о производстве, другие желали видеть писателя фельетонистом стенной газеты. Третьи говорили, что все «проклятые вопросы» уже решены или решаются руководящими органами и писатель должен истолковывать распоряжения правительства. Это, конечно, не так.

Роль писателя в социалистической стране именно такая же, какая она была и всегда. Писателю, в силу профессионального умения думать и разбираться во всех вопросах, дана исключительная способность видеть многие вещи, которые могут ускользнуть от обычного взгляда.

Итак, будущую свою работу я мыслю, конечно, в прежнем плане — сатира, сатира, осмеивающая человеческие недостатки. Ведь сколько я мог заметить, все недочеты и

неудачи, которые бывают в наши дни, упираются, главным образом, в недочеты человеческой природы — в глупость, халатность, леность, эгоизм, корысть и преступность.

Сатирику хватит еще работы надолго.

Теперь несколько слов о моей личной жизни. Родился в Ленинграде (Петербурге) в 1895 году. В семье художника. Кончил гимназию. Учился два года в университете на юридическом факультете.

В 14 году пошел добровольцем на фронт. (Скорей из любопытства, чем из патриотических чувств.)

Был ранен и отравлен газами.

До 17 года был на фронте. С 17 по 19 год был секретарем суда, комендантом почт и телеграфа в Ленинграде, инструктором по кролиководству и куроводству в Смоленской губернии, телефонистом пограничной охраны в Стрельне и Кронштадте. В 19 году пошел добровольцем на фронт, хотя и был освобожден от воинской повинности по болезни сердца.

Пробыл в Красной Армии на Нарвском фронте шесть месяцев.

С 20 по 22 год переменял много профессий. Был агентом уголовного розыска, служил в милиции, был конторщиком, делопроизводителем и т. д. Изучил несколько ремесел — столярное, сапожное и пр.

С 20 года начал писать. С 22 работаю исключительно в литературе. Последние два года имел много общественной работы, по каковой причине и писал редко.

АВТОБИОГРАФИЯ

Родился в 1895 году (10 августа) в г. Полтаве. Отец — художник-передвижник. (Его картины имеются в Третьяковской галерее и в Суворовском музее.)

Отец — из потомственных дворян, украинец. Мать — русская.

Я окончил 8-ю гимназию в Петербурге (в 13 году) и продолжал учение в Петербургском университете (юридический факультет).

В 1915 году (закончив ускоренные военные курсы) ушел на фронт в чине прапорщика.

На фронте пробыл два года. Участвовал во многих боях, был ранен и отравлен газами. Имел четыре боевых ордена и чин штабс-капитана.

Годы 15–17 находился в должностях — полкового адъютанта, командира роты и батальона — 16-го гренадерского Мингрельского полка Кавказской дивизии. После Февральской революции служил в Петрограде в должности коменданта Главного почтамта и телеграфа и позже — в сентябре 17 года — был адъютантом архангельской дружины.

После Октября вернулся в Петроград и служил в пограничных войсках — в Стрельне и Кронштадте.

В сентябре 18 года перевелся из пограничного отряда в действующую армию и до весны 19 года пробыл на фронте в 1-м образцовом полку Деревенской бедноты (адъютантом полка).

В апреле 19 года был демобилизован по болезни сердца и снят с военного учета. С апреля 1919 года служил следователем в Уголовном надзоре (Лигово — Ораниенбаум).

В 1920 году поступил в Петроградский военный порт — делопроизводителем. И в этом же году занялся литературой.

В 1921 году вышла в свет первая книга моих рассказов (в издательстве «Эрато»).

За последующие двадцать лет было издано большое количество моих книг, перечислить которые я не в состоянии. Из больших работ могу только отметить: «Сентиментальные повести» (1923–1936), «Возвращенную молодость» (1933), «Голубую книгу» (1935) и «Исторические повести» («Черный принц», «Керенский», «Возмездие»).

В 1941 году (в начале Отечественной войны до октября) работал в ленинградских газетах, на радио и в журнале «Крокодил».

В октябре 41 был эвакуирован в Алма-Ату и там до весны 43 года работал в сценарной студии («Мосфильм»), написал сценарий («Солдатское счастье»), который был утвержден кинокомитетом и пущен в производство (43 года). (Сценарий этот напечатан в моем одномомнике 1946 года, Госиздат.)

В марте 1943 года я вернулся в Москву и работал членом редколлегии журнала «Крокодил».

Осенью 1943 года я напечатал в журнале «Октябрь» мою повесть «Перед восходом солнца», за которую подвергся резкой критике.

В 1944–46 годах работал для театров. Две мои комедии были поставлены в Ленинградском Драматическом театре. Одна из них («Парусиновый портфель») выдержала 200 представлений за 45–46 год.

В августе 1946 года (после постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград») я был исключен из ССП. За годы 46–52 я, главным образом, занимался переводческой работой. Было издано четыре книги в моем переводе: 1. М. Лассила, «За спичками», 2. М. Лассила, «Воскресший из мертвых», 3. Антти Тимонен, «От Карелии до Карпат», 4. М. Цагараев, «Повесть о колхозном плотнике Саго» (в издательствах Госиздат КФССР и «Советский писатель» — Москва).

В июне 1953 года я вновь принят в ССП.

В настоящее время работаю в сатирическом жанре — в журналах «Крокодил» и в «Огоньке». Кроме того, работаю для театра и пишу книгу рассказов.

5 июля 1953 г.

КАК Я ПОШЕЛ СРАЖАТЬСЯ ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ

В 1917 году мне было двадцать лет.

Двадцать лет — это светлая юность, заря жизни. Однако я не чувствовал себя молодым и тем более юным. За плечами я уже и тогда нес тяжелый груз: два года войны, брошенный университет, ранение, удушливые газы.

К тому же выяснилось, что я не имел никакой профессии.

На юридический факультет университета мне не хотелось возвращаться. О литературе я тогда не помышлял. И поэтому стал подыскивать какое-нибудь занятие, созвучное моей душе.

Но, кроме военного дела, я ничего не знал и по этой причине поступил в пограничную охрану. В пограничном отряде Финляндского района я пробыл полгода в должности старшего телефониста.

Однако профессия телефониста меня не прельстила, и я подал рапорт об увольнении. Врачебная комиссия обнаружила у меня порок сердца. Я был уволен с военной службы и снят с воинского учета.

Признаюсь: я был доволен таким исходом, ибо после двухлетнего фронтового опыта считал войну варварским делом, пригодным, быть может, минувшим столетиям.

И вот я снова стал подыскивать подходящую работу.

В разгар моих поисков пришло письмо от моей старшей сестры Елены. В то время она проживала в Смоленской губернии — в имении родителей ее мужа, погибшего на войне. Родители эти, устрешенные первым громом революции, отбыли в Смоленск, а сестра моя осталась в деревне, поступив конторщицей в только что организованный совхоз. В своем письме сестра звала меня приехать в этот совхоз на должность птицевода.

За двадцать лет моей жизни я присматривался к птицам только лишь за обеденным столом, но в ту пору мне показа-

лось, что быть птицеводом в деревенской глуши — это именно то, к чему стремится моя душа.

В конце сентября 1918 года я поехал к сестре, прихватив с собой несколько тощих брошюр по птицеводству.

Совхоз был расположен в барском имении на Днепре. В обширном помещичьем доме помещалась контора, и там же, в высоких ободранных комнатах, обитали служащие и директор совхоза.

За три дня пути я прочитал брошюры по птицеводству и теперь жаждал на практике применить мои сомнительные знания. Однако оказалось, что даже и эти знания тут были как бы излишни. В совхозе всего было три десятка кур и несколько уток. Причем каждую неделю служащие совхоза получали на паек по полкуры взамен жиров и мясных продуктов. Вдобавок директор (как мне сказали) съедал не менее четырех кур в месяц.

Я подсчитал на бумаге общую убыль и с грустью увидел, что из всего моего птичьего богатства вскоре останется один птицевод, коего несомненно уволят как излишний балласт.

Сестра моя, желая отвлечь меня от горестных подсчетов, радостным тоном сообщила, что в ближайшее воскресенье мы с ней приглашены на обед к местной помещице Ольге Павловне, которая проживает сейчас в соседней деревне, где она снимает дом у мужика.

Увидев мое удивление, сестра, засмеявшись, сказала:

— Так ведь никто из здешних помещиков далеко не уехал от своих усадеб. Все они живут в крестьянских избах. Ожидают, что большевистский режим вот-вот рухнет.

Я ни разу в жизни не видел помещиков, и мне вдруг захотелось (хотя бы и с опозданием) взглянуть на эту категорию людей, отмененную новым строем. И поэтому в ближайшее воскресенье я охотно пошел с сестрой на обед.

По дороге в деревню мы встретили большую группу крестьян. Все они были в лаптях и нищенски одеты. Увидев нас, они остановились и, быстро содрвав шапки, низко, почти в пояс поклонились нам.

Может быть, они приняли меня за какую-нибудь важную персону? Нет, сестра разуверила меня в этом. Она сказала, что здесь принято так здороваться с господами.

Возле деревни произошла еще одна встреча с крестьянами. Видимо, шла семья. Впереди шествовала девчоночка лет семи. За ней — родители. И рядом плелся старик, шаркая по пыли рваными валенками. Родители же и девчоночка были в лаптях и в каком-то тряпье.

Эта крестьянская семья поклонилась нам еще более подобоострастно. Причем девчоночка замешкалась с поклоном и только после материнского шлепка низко склонила свою головушку.

Я подошел к крестьянам. И вдруг на их лицах явственно увидел смятение, робость и даже страх. Я сказал, что я всего лишь простой работник совхоза и не дело так работлепно кланяться мне только потому, что я ношу господский костюм.

Крестьяне понуро слушали меня. А старик, увидев, что я чем-то недоволен, торопливо сказал, приложившись губами к моей руке:

— Уж ты не гневайся, барин, на серых мужиков.

Я отшатнулся от старика. Крикнул:

— А вам, дедушка, совестно так поступать. Вот уже скоро год власть у рабочих и крестьян, а вы всё еще лижете руки!

Старик, надев шапку, ответил:

— Не спору, убрали господ с ихней земли. Живут они нынче по нашим избам. Да только кто его знает, как оно дальше будет получаться.

С досадой и раздраженный я направился с сестрой к деревне. И вскоре мы с ней подошли к высоким воротам, недавно окрашенным.

Во дворе у жаровни стоял повар в белом переднике. Он жарил на сковородке цыплят. Какая-то челядь суетливо носилась с тарелками и подносами.

Черная лохматая собачонка с пышным голубым бантом лениво затыкала, когда мы с сестрой поднялись на крыльцо.

Большая горница крестьянской избы была по-господски убрана. Пахло духами и мятой. На стенах висели ковры. В углу — пианино красного дерева. На подоконниках и на полу в изобилии стояли горшки и кадучки с комнатными цветами.

Грузная хозяйка полулежала на диване с томиком Блока в руках. Рядом в кресле сидел облезлого вида господин с длинными повисшими усами. Он был в высоких русских сапогах, но в смокинге, в петлице которого красовалась белая астра.

Хозяйка с преувеличенной радостью встретила нас. Тотчас велено было подавать к столу.

За обедом меня расспрашивали о петроградских новостях. Однако досада моя все еще не прошла, и я отвечал вяло, неохотно. Облезлый господин, слушая меня, не постеснялся зевнуть. Не докушав цыпленка, он ленивой походочкой подошел к пианино и стал наигрывать мазурки Шопена.

Под негромкую музыку хозяйка принялась рассказывать нам о скором и неминуемом крахе большевиков. Ее сведения на этот счет были весьма обширные. Так, например, о сельском хозяйстве она, едко засмеявшись, сказала:

— Допустим, господа, взять хотя бы их последние новинки — совхозы. Уж на что, кажется, мужицкое дело! Но и оно не налаживается у них. Крестьяне не желают там работать. А без мужиков, господа, у них ничего не получится. Уж вы поверьте моему опыту.

После обеда мы сели играть в преферанс. Хозяйке везло, и она, открыв «десять червей», бурно воскликнула, возбужденная успехом и своими победоносными обеденными речами:

— Всю жизнь, господа, меня сопровождали удачи! И я уверена, что мне вскоре вернут мое имение!

Тасуя карты, она мечтательно заговорила:

— Вот вернут мою усадьбу... Я приглашу двух-трех жандармов и в их присутствии немного попорю тех мужиков, которые нынче работают на моей земле... И тогда все у меня пойдет по-старому...

— Только лишь попорете? — спросил облезлый помещик, приглаживая свои длинные усы. — Э, нет, добрейшая Ольга Павловна, порка в данном случае неубедительна! Не-

скольких мужиков (знаю кого) я своей властью попросту вздерну на деревьях моего сада. И поверьте мне — государство станет благодарить меня за то, что я утихомирю свой район.

Я бросил карты. Встал. И, запинаясь от волнения, сказал:

— Это подло и низко так говорить. И не менее подло, что вы довели своих крестьян до такого унижительного состояния. Но это, как вижу я, не мешает вам музицировать и нежно любить цветы, стихи и собак!

Хозяйка, растерявшись, надменно заахала. Помещик с длинными усами, сдержав ярость, сказал мне издевательским тоном:

— Да будет вам известно, ваше благородие, что я гуманнейший человек. Помимо того у меня высшее образование. Приняв в свое время усадьбу, я как родной отец подошел к мужикам. Постоянно предоставлял им работу на моих полях, платил им чуть ли не за каждый шаг. И что получил в ответ? Они же начали хамить мне, фамильярничать со мной. И я воочию увидел, что они еще не способны на высокие чувства. Наглядно убедился, что им нужна палка. И тогда, извините, ваше благородие, я резко изменил свою тактику...

Не дослушав помещика, я вышел из комнаты, буркнув в дверях: «Прощайте...»

Волнение душило меня. Я долго ходил по деревенской улице. Потом неожиданно зашел в какую-то избу.

Большая крестьянская семья, собравшись вокруг стола, хлебала какое-то варево из общей миски.

Нет, не бедность и нищета поразили меня в этой избе. Меня снова поразили поясные поклоны, смиренные опущенные взоры и раболепные слова.

Я обошел еще несколько изб. Всюду лежала чутунная тень прошлой жизни. Всюду еще таился страшный мир.

Что же в таком случае было раньше? недавно? Что же было всего шестьдесят лет назад — когда на базарах продавали крестьян?

Смутное представление у меня было в ту пору о Советской власти. Буржуазная печать в 1917 году на все голоса кричала, что большевики сметут с лица земли культуру и цивилизацию. Эта буржуазная пропаганда туманила некоторые головы молодежи моей среды и вызывала недоверие к новой власти.

И вот, шагая по деревенской улице, я вдруг отчетливо, но все же робко подумал: «Нет, это правильная власть, если она хочет уничтожить вековое рабство. Правильная власть для страны, где притаились господа, которые ждут не дождутся, чтобы снова надеть хомут на шею русского мужика».

Эти мысли несколько успокоили меня, и я вернулся домой. Сестра уже поджидала меня. Она не сердясь, но с усмешкой сказала:

— Теперь, Минька, вряд ли кто-нибудь пригласит тебя в гости. Правда, я им сказала, что ты нервный, контуженный. Но так и не смогла сменить их гнев на милость. Впрочем, наплевать на них. Мы будем играть в преферанс у одного моего знакомого агронома.

Я извинился перед сестрой за свою несдержанность и тут же сказал ей, что завтра с первым пароходом я уезжаю в Смоленск и оттуда в Петроград.

Сестра стала просить меня, чтобы я остался. Она сказала, что если я не захочу работать птицеводом, то она легко устроит меня счетоводом на базу. Однако я твердо решил уехать.

По приезде в Петроград я пошел в Главный штаб и подал заявление о моем желании вступить в Красную Армию.

Начальник штаба долго листал мои документы. И я ожидал, что он скажет мне что-нибудь о моем дворянском происхождении либо прочтет какое-нибудь поучение. Но он ничего не сказал. Он только спросил меня:

— А на какую должность вы рассчитываете? По вашим бумагам я вижу, что вы были на фронте адъютантом Мингрельского полка, а перед этим командовали ротой и батальоном.

Я ответил, что возьму любую должность, но мне не хотелось бы торчать в казармах, я предпочел бы действующую армию.

Начальник штаба сказал:

— На этих днях мы отправляем на фронт Первый Образцовый полк Деревенской Бедноты. Полк уже укомплектован, но там нет адъютанта. Если желаете, мы дадим вам это назначение.

Я согласился. Я порадовался, что вместе с деревенской беднотой буду сражаться против власти помещиков.

Через несколько дней вместе с полком я прибыл в Ямбург, чтобы занять позиции против белогвардейских отрядов Булак-Булаховича.

Эта подлинная история из моей жизни произошла сорок лет назад. И вот теперь, вспоминая столь давно минувшее, я совсем явственно вижу покорно склоненные головы крестьян, вижу их лапти и какие-то допотопные залатанные кафтаны из грубой домотканой материи.

Да, конечно, я и тогда слышал и знал, что крестьяне не всюду смиренно кланяются в пояс и не всюду и не всегда покорно склоняют свои головы. Иной раз они поджигают барские усадьбы и рассчитываются за свои беды и унижения.

Но то, что я увидел в тот год на Смоленщине, — это врезалось в мою память как страшный символ помещичьей власти.

Нет, молодому читателю сейчас даже трудно представить себе — в какой кабале и в какой темноте и бедности находились многие и многие наши крестьяне всего лишь сорок лет назад!

Об этом полезно напомнить тем забывчивым людям, которые иной раз брюзжат или чем-нибудь недовольны.

Пародии

О «СЕРАПИОНОВЫХ БРАТЬЯХ»

Виктор Шкловский

Вязка у них одна — «Серапионовы братья». Литературных традиций несколько. Предупреждаю заранее: я в этом не виноват.

Я не виноват, что Стерн родился в 1713 году, когда Филдингу было семь лет...

Так вот, я возвращаюсь к теме. Это первый альманах — «Серапионовы братья». Будет ли другой, я не знаю.

Беллетристы привыкли не печататься годами. У верблюдов это поставлено лучше (см. Энцикл. слов.).

В Персии верблюд может не пить неделю. Даже больше. И не умирает.

Журналисты люди наивные — больше года не выдерживают.

Кстати, у Лескова есть рассказ: человек, томимый жаждой, вспарывает брюхо верблюду перочинным ножом, находит там какую-то слизь и выпивает ее.

Я верблюдов люблю. Я знаю, как они сделаны.

Теперь о Всеволоде Иванове и Зоценко. Да, кстати о балете.

Балет нельзя снять кинематографом. Движения неделимы. В балете движения настолько быстры и неожиданны, что съемщиков просто тошнит, а аппарат пропускает ряд движений.

В обычной же драме пропущенные жесты мы дополняем сами, как нечто привычное.

Итак, движение быстрее $1/7$ секунды неделимо.

Это грустно.

Впрочем, мне все равно. Я человек талантливый.

Снова возвращаюсь к теме.

В рассказе Федина «Песьи души» у собаки — душа. У другой собаки (сука) тот же случай. Прием этот называется называнием (см. работу Ал. Векслер).

Потебня этого не знал. А Стерн этим приемом пользовался. Например: «Сантиментальное путешествие Йорика»...

Прошло четырнадцать лет...

Впрочем, эту статью я могу закончить как угодно. Могу бантиком завязать, могу еще сказать о комете или о Розанове. Я человек негордый.

Но не буду — не хочу. Пусть Дом литераторов обижается.

А сегодня утром я шел по Невскому и видел: трамвай задавил старушку. Все смеялись.

А я нет. Не смеялся. Я снял шапку (она у меня белая с ушками) и долго стоял так.

Лоб у меня хорошо развернут.

КРУЖЕВНЫЕ ТРАВЫ

Всеволод Иванов

Травы были пахучие и высокие, под брюхо лошади. От ветра они шуршали сладостно, будто осока осенью, и припадали к земле, кланяясь. Пахло землей и навозом приторно и тягуче.

У костра сидели два мужика и разговаривали.

— У-у, лешаки! — тихо сказал Савоська Мелюзга и матерно сплюнул в сторону.

Другой мужик, тоже Савоська, по прозвищу Савоська Лион-чань, поправил костер и сказал строго:

— Да. Скажу я тебе, парень... Привязали мы этих человек к деревьям... За одну ногу, скажем, к одной верхушке, за другую к другой и отпустили. А кишка, парень, дело тонкое, кишка от натуги ниприменно рвется...

Савоська Мелюзга потянулся у костра и сказал глухо:

— Врешь?.. Ну, а как ты, парень, про Бога думаешь? А?

— Не знаю, — строго ответил Савоська, — Кучея его знат. Про Бога и, скажем, про праведную землю не могу тебе, парень, ничего сказать. Не знаю. Про большевиков, скажем, знаю. Сёдни слышал. Про Ленина тоже люди бают разное...

Серая большая овчарка с шумом сорвалась с места и кинулась в темноту. Шебуршали травы сладостно, будто чело-вечьи кости осенью... (Кто сыграет в эти кости?)

Ах, травы, травы! Горючий песок! Нерадостны прохожему голубые пески, цветные ветра, кружевные травы.

Послышались шаги, и к костру подошел человек тонкий, будто киргизская лучина строганая, и сказал сурово:

— Здорово, братаны! Как у вас тут насчет Бога? А?

Мелюзга засмеялся матерно и сказал:

— Садись, лешай. Угощайся. Наварили сѣдни на мала-ньину свадьбу.

Отхожий сел, посмотрел в котел и глухо сказал:

— А ведь меня, парень, тоже Савоськой звать...

— Ах, стерва! — тихо удивился Савоська Мелюзга и лег на шинель.

— Люди бают, — начал Савоська Мелюзга, — места энти быдто не простые, название им быдто дадено бывшим князем Рюрихом. Кружевные травы — название им дадено.

Прохожий снял с плеча берданку и выстрелил в воздух. Сумным гулом покатилося по лесам и степям, пригнулись травы еще ниже к земле, и из-за деревьев испуганно вышла луна.

— Это я в Бога, — просто сказал прохожий и матерно улыбнулся. Запахло кружевными травами сладостно и тягуче.

О БОР. ПИЛЬНЯКЕ

К. И. Чуковский

I

— «Пришла тихая любовь...»

— «Я люблю Алексея...»

— «Мое сердце колотится любовью...»

— «Наталья необыкновенная, нынче революция, когда вы будете моей?»

Поразительно! Загадочно! И откуда у писателя столько чувства? И как это до сих пор никто не заметил?

II

Возьмите любой рассказ Пильняка. Главное занятие героев — любовь. Все любят. Все изнемогают от любви.

«...Ребята ловили девок, обнимали, целовали, мяли...»

«...Леонтьевна кричит: — Спать не дают, лезут к нераздетой женщине...»

И все-то у писателя любовь. Даже звери изнемогают от любовной страсти.

«...Самец бросился к ней, изнемогая от страсти».

«...Волк тихо подошел к оврагу».

Такая уж у писателя провинциальная эротика!

Попробуйте отнять это чувство — от писателя ничего не останется.

III

Теперь самое главное.

Посмотрим, как Пильняк относится к религии... Перелистываю первый попавшийся рассказ.

«...Осенью Марина забеременела...»

«...Женщину нужно разворачивать, как конфетку...»

«...Облако было похоже на женскую грудь...»

«...Волк подошел к оврагу...»

Нет! Ни словечка о религии! Он писатель-атеист. И как это [я] до сих пор не заметил? Но позвольте, что это? Да так ли я читаю? Я даже подумал: уж не ослеп ли я? Уж не поступил ли в студию Дункан?

«...Танька коренастая босая».

«...Старик босой».

«...Шлепая босыми ногами».

И даже какой-то мужик в розовых портах босой.

И все-то у него босые. Кажется, отними у него босых — и ничего больше не останется.

Но зачем же, зачем же, зачем все босые?

IV

Необыкновенно! Непостижимо! Какая-то босонология! Какой-то невероятный мир босых! Некуда спрятаться от босых ног.

Аганька босая.

Прохожий босой.

Даже генерал, наверное, босой или сапоги сейчас снимет. Я даже подумал: уж не снять ли и мне сапоги?

Но снимай, не снимай — ничего не изменится. Такая уж у писателя идеология. Любой мужик у него босой, а если не босой, то пьяница или колдун. И поразительное явление: как только на одну секундочку появляется человек в сапогах, все герои в один голос кричат: «Довольно! Бейте его! Перестаньте! Снимай сапоги!»

«Сапоги снимай, на печь полезай!» — говорит Егорка Арине в повести «Голый год».

Волк подошел к оврагу...

Теперь попробуем полюбить Пильняка.

Он талантлив очаровательно. Он писатель любви и босых ног. Он, воистину, писатель любви и революции. Он весь в революции. Современнейший из современных писателей.

СЛОНОВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Зощенко о себе

Жил я, запомнил, в деревне Большие Кабаны. Дом каменный строил. Ладно. Строил.

Навез кирпичей. Телеграмма: началась германская кампания — пожалуйте бриться.

Сбросил я кирпичи в сторону, собрал свое рухлядишко (штаны кой-какие) и пошел тихонько.

Только иду я лесом — слон на мене.

— Ах ты, думаю, так твою так. Да. Слон.

А он хоботьем крутит и гудит это ужасно как.

Очень я испугался, задрожал, а он думает, что это тигр задрожал, и гудит еще пуще.

Оглянулся я по сторонам, поблевал малехонько, смотрю — канава. Лег я в канаву и дышу нешибко.

Только лежу нешибко — лягуха зелененькая за палец меня чавкает.

— Ах ты, думаю, так твою так. Лягуха.

А она все чавкает.

— Ты что ж это, спрашиваю, за палец-то мене, дура, чавкаешь?

А она ужасно так испугалась и на верех. Я за ней на верех, а в полшаге — мертвое тело. Лежит и на мене глядит.

Поблевал я малехонько и задрожал.

Только дрожу — смотрю, передо мной германский фронт.

— Ну, думаю, началась кампания — пожалуйста бриться.

Только я так подумал, прилег на фронт — великий князь мене к себе кличут.

Поблевал я малехонько, а он такое:

— Очень, говорит, ты героический человек, становись, например, ко мне придворным паликмахером.

Стал я к нему придворным паликмахером, цельные сутки, например, его брею, а он восхищается и все ему мало. Только вдруг взбегает человек.

— Перестаньте, кричит, бриться. Произошла, говорит, февральская революция.

Оглянулся я по сторонам, поблевал малехонько и тихонько вышел.

Рассказы и фельетоны

ИСКУШЕНИЕ

Святым угодникам, что на церковных иконах, нельзя смотреть в очи...

Да бабка Василиса и не смотрит. Ей сто лет, она две жизни прожила и все знает. Она на Иуду Искаротского смотрит. В «Тайной вечере».

— Плохая моя жизнь, Иудушка, — бормочет бабка, — очень даже неважная моя жизнь. Я бы и рада, Иудушка, помереть, да нельзя теперь: дочка родная саван, видишь ли, истратила на кухольные передники...

Хитрит Иуда, помалкивает...

А кругом тени святые по церковным стенам ходят, помачивают рукавами, будто попы кадилами.

— Ничего, Иудушка. Молчи, помалкивай, если хочешь. Я тебя не неволю. Мне бы только, видишь ли, из беды моей выйти.

Довольно поклонялась бабка святым угодникам, нужно и кому-нибудь другому поклониться.

Кланяется баба низко. Бормочет тихие свои слова.

Только видит: подмигнул ей Иуда. Подмигнул и шепчет что-то. Что шепчет — неизвестно, но баба знает, она — сто лет прожила.

Шепчет он: оглянись-ка в сторону, посмотри, дура-баба, на пол.

Оглянулась баба в сторону, посмотрела на пол — полтинник серебряный у купчихиной ноги. Спасибо Иудушке!

Нужно ближе подойти, потом — на колени. Только бы никто не заметил.

Эх, трудно старой опуститься на колени!

Земной поклон Богу и угодникам...

Холодный пол трогает бабкино лицо...

А где же полтинник? А вот у ноги.

Тянется старуха рукой, шарит по полу.

ТЬфу, нечистая сила! Не полтинник.

Это — плевок...

Искушение, прости господи!..

РЫБЬЯ САМКА

(Рассказ отца дьякона Василия)

1

Неправильный это стыд стесняться поповского одеяния, а на улице все же будто и неловкость какая и в груди стеснение.

Конечно, за три года очень ошельмовали попов. За три года, можно сказать, до того довели, что иные и сан сняли и от бога всенародно отреклись. Вот до чего довели.

А сколь великие притеснения поп Триодин претерпел, так и перечесать трудно. И не только от власти государственной, но и от матушки претерпел. Но сана не сложил и от бо-

га не отрекся, напротив, душой даже гордился — гонение, дескать, на пастырей.

Утром вставал поп и неукоснительно говорил такое:

— Верую, матушка.

И только потом преуспевал во всех делах.

И можно ли подумать, что случится подобная крепость в столь незначительном человеке? Смешно. Вида-то поп никакого не имел. Прямо-таки никакого вида. При малом росте — до плечика матушке — совершенно рыжая наружность.

Ох, и не раз корила его матушка в смысле незначительности вида! И верно. Это удивительно, какая пошла нынче мелочь в мужчинах. Все бабы в уезде довольно крупные, а у мужчин нет такого вида. Все бабы запросто несут мужскую, скажем, работишку, а мужчины, повелось так, по бабьему даже делу пошли.

Конечно, таких мужчин расстреливать даже нужно. Но и то верно: истребили многих мужчин государственными казнями и войной. А остался кто — жизнь засушила тех.

Есть ли, скажем, сейчас русский человек мыслящий, который бы полнел и жиры нагуливал? Нет такого человека.

Конечно, попу это малое утешение, и поп говаривал:

— Коришь, матушка, коришь видом, а в рыбьей жизни, по Дарвину, матушка, рыба самка всегда крупнее самца и даже пожирает его в раздражении.

А на такие поповы слова матушка крепко ставила тарелку или, например, чашечку, скажем, и чего — неведомо самой — обижалась.

И вот уж третий год пошел, как живет поп с женой разное.

И где бы матушке с душевной близостью подойти к попу, дескать, воистину трудно тебе, поп, от гонений, так вот, прими, пожалуйста, ласку, так нет того — не такова матушка. Верно: годы матушкины не преклонные, но постыдно же изо дня в день нос это рисовой пудрой и к вечеру виль хвостом.

А попу какое утешение в жизни, если поколеблены семейные устои?

Попу утешение — в преферансик, помалу, по нецерковным праздникам, а перед преферансиком — словесная беседа о государственных и даже европейских вопросах и о невозможности гибели христианской эпохи.

Чувствовал поп очень большую сладость в словах. И как это всегда выходит замечательно. Сначала о незначительном, скажем, хлеб в цене приподнялся — житьишко неважное, значит. А житьишко неважное — какая тому причина. Слово за слово — играет попова мысль: государственная политика, советская власть, поколеблены жизненные устои.

А как сказано такое слово: советская... так и пошло, и пошло. Старые счета у попа с советскими. Очень уж было много обид и притеснений. Было такое дело, что пришли раз к нему ночью, за бороденку схватили и шпалером угрожали.

— Рассказывай, — говорят, — есть ли мощи какие в церкви, народу, дескать, нужно удостовериться в обмане.

И какие святые мощи могут быть в церкви, если наибоде-нейшая церковка во всем Бугрянском уезде?

— Нету, — говорит поп, — нет никаких святых мощей, пустите бороденку, сделайте милость.

А те все угрожают и шпалером на испуг действуют. И не поверили попу.

— Веди, — говорят, — нас, иначе, разворачивай церковное имущество.

И повел их поп в церковь.

И ночное уж было дело. И чудно как-то вышло. И ведет, и ведет их поп по городу, а церкви нет. Испуг, что ли, бросился в голову — не по тем улицам поп пошел. Только вдруг сладость необычайная разлилась по жилам.

«Дело, — подумал поп, — подобное Сусанину».

И повел их аж в конец города, за толкучку. А те разъярились, вновь за бороденку сгрябчили и сами уж указали дорогу.

Ночью развернули имущество церковное, нагадили табачищем, наследили, но мощей не нашли.

— А, — сказали, — поповская ряса, нет мощей, так учредим, знаешь ли, в церкви твоей кинематограф.

С тем и ушли.

— И как же так — кинематограф? — говорил поп матушке. — Возможно ли учредить в церкви кинематограф? Не иначе, матушка, подобное для испуга сказано. Ведь не допустит же приход, хоть и ужасно в нем поколебалась религиозная вера, не допустит приход до этого.

Вот тут бы матушке и подойти с душевной близостью, да нет — свои дела у матушки. И какие такие, скажите, дела у матушки? Вот, пожалуйста, оделась, вот ушла — и слова не скажи. Нет никакого пристрастия к семейной жизни.

Но не только в поповом доме подобное, а все рассказывают: «глядит, говорят, баба в сторону». И что такое приключилось с русской бабой?

3

А что ж такое приключилось с русской бабой? Смешного нет, что русская баба исполняет мужскую работишку, и что баба косу, скажем, себе отрезала.

Вот у китайцев вышел такой критический год: всенародно китайцы стали отрезать косы. Ну что ж? Значит, вышла коса из исторической моды. Смешного ничего нет.

Да не в том штука. А штука в том: великое бесстыдство и блуд обуял бабу. И не раз выходил поп к народу в облачении и горькие слова держал:

— Граждане и прихожане и любимая паства. Поколебались семейные и супружеские устои. Тухнет огонь семейного очага. Опомнитесь в безверии и в сатанинском бесстыдстве.

И все поп такие прекрасные слова подбирал, что ударили они по сердцу и вызывали слезы. Но блуд не утих.

И никогда еще, как в этот год, не было в народе такого бесстыдства и легкости отношений. Конечно, всегда весной бывает этакая острота в блюде, но пойдите, пожалуйста, в

военный клуб, послушайте, какие нестерпимые речи около женского класса. Это невозможно.

И что поделатъ?! Ведь если попова жена — нос рисовой пудрой, и поп не скажи слова, то можно ли что поделатъ? И хоть понимал это поп очень, однако горькие речи держал неукоснительно.

И вот в такую-то блудную весну вселили к попу дорожного техника. Это при непреклонных-то матушкиных годах!

Стоек был поп и терпелив, но от удара такого потерял поп жизни не меньше, как десять лет. Очень уж красивый и крупный был железнодорожный техник.

И при красоте своей был техник вежлив необычайно и даже мог беседовать на разные темы. И беседа на разные темы, интересовался тонкостями, к примеру: как и отчего повелось в народе, что при встрече с духовным попом — прохожий делает из пальцев шиш.

Но беседа на разные темы и интересуясь тонкостями, оборачивал техник слова непременно к женскому классу и про любовь.

И пусть бы даже мог техник беседовать про европейские вопросы, не смог бы поп отнестись к нему любовно. Очень уж опасен был этот техник.

— Узко рассуждая, — говорил поп, — не в европейском размере, ну к чему такое гонение на пастырей?.. К чему, скажем, вселять железнодорожных техников? Квартиренка, сами знаете, неогромная, неравно какой карамболь выйдет или стеснение личности.

И на такие поповы слова качали головами собеседники, дескать, точно: сословию вашему туго, сословию вашему стеснение... А матушка нахально поводи́ла плечиком.

4

И точно: вышел у попа с дорожным техником карамболь.

А случилось так, что пришли к попу партнеры и приятели его жизни — дьякон Веньямин и городской бывшего четырехклассного мужского училища учитель Иван Михайлович Гулька.

Началась, конечно, словесная беседа о незначительном, а потом о гонении на пастырей. А дьякон Веньямин — совершенно азартный дьякон, и отвлеченной политикой ни мало не интересуется.

Поп про нехристианскую эпоху, а дьякон Веньямин картишками любит — дама к даме картишки разбирает. И чуть какая передышка в словах: он уж такое:

— Что ж, — говорит, — не теряя драгоценного времечка...

Беседу они прервали, сели за стол и картишки сдали. А поп тут и объявил: восемь игры, — кто вистует?

И сразу попу такой невозможный перетык вышел: дьякон Веньямин бубну кроет козырем, а учитель Гулька трефу почему зря бьет.

Очень тут заволновался поп и, под предлогом вечернего чая, вышел попить водички.

Выпил ковшичек и, идучи обратно, подошел к дверям матушки.

— Матушка, — сказал поп, — а матушка, не обижайся только, я насчет вечернего чая.

А в комнате-то матушки и не было. Поп на кухню — нет матушки, поп сюда-туда — нету матушки.

И заглянул тогда поп к технику. С дорожным техником в развратной позе сидела матушка.

— Ой, — сказал поп и дверь прикрыл тихонечко. И, на носочках ступая, пошел к гостям доигрывать.

Пришел и сел, будто с ним ничего не случилось. Играет поп — лицо только белое. Картишки сдает, головой мотнет, пальцами по столу потюкает, а сам такое:

— Сожрала нас рыба самка?

И какая такая, скажите, рыба самка?

И вдруг повезло попу. Учитель Гулька, скажем, туза бубен, а поп козырем, учитель Гулька марьяж виной отыгрывает, а поп козырем. И идет и идет к попу богатеющая карта.

И выиграл поп в тот вечер изрядно. Сложил новенькие бумажки и тяжело так улыбнулся.

— Это все так, — сказал, — но к чему такое гонение? К чему вселять дорожных техников?

А дьякон Веньямин и учитель Гулька обиделись.

— Выиграл, — говорят, — раздел нас поп, а будто и недоуолен. И чайком даже, поповская ряса, не попотчевал.

Обиженные ушли гости, а поп убрал картишки, прошел в спальную комнату и, не дожидаясь матушки, тихонько лег на кровать.

Великая есть грусть на земле. Осела, накопилась в разных местах, и не увидишь ее сразу.

Вот смешна, скажем, попова грусть, смешно, что попова жена обещала технику денег, да не достать ей, смешно и то, что сказал дорожный техник про матушку: старая старуха. А сложи все вместе, собери-ка в одно — и будет великая грусть.

Поп проснулся утром, крестик на груди потрогал.
— Верую, — сказал, — матушка.

А сказав «матушка» — вспомнил вчерашнее.

Ой, рыба самка! Сожрала, матушка. И не то плохо, что согрешила, а то плохо, что обострилось теперь все против попа, все соединилось вместе, и нет ему никакой лазейки. Оделся поп, не посмотрел на матушку и вышел из дому, не пивши чая.

Эх! И каково грустно плачут колокола, и какова грустная человеческая жизнь. Вот так бы попу лежать на земле неживым предметом, либо такое сделать геройское, что казнь примешь и спасешь человечество.

Встал поп и тяжкими стопами пошел в церковь. К полдню, отслужив обедню, поп, по обычаю, слово держал.

— Граждане, — сказал, — и прихожане, и любимая паства. Поколебались и рухнули семейные устои. Потух огонь в семейном очаге. Свершилось. И, глядя на это, не могу примириться и признать государственную власть...

Вечером пришли к попу молодчики, развернули его утварь и имущество и увели попа.

ЛЮБОВЬ

1

Разбогател Гришка Ловцов. Пять лет в Питере не был — мотался бог весть где, на шестой приехал — с вокзала за ним две тележки добра везли.

Дивятся люди на Красной улице.

— Вот так Гришка! Широкий парень!

А Григорий Палыч помалкивает. Ходит вокруг тележек, разгружает добро, каблучками постукивает.

В комнаты вошел Гришка — фуражку не снял, только сдвинул на широкий затылок, аж всю бритую шею закрыл. Дым под образа колечком пустил.

— Здравсте, — говорит, — мамаша, приехал я.

Очень испугалась старушка.

— Да ты ли, Гришенька?

Заплакала.

— Прости, — говорит, — Гришенька, попутал поп — нечистый хвост — панихидку уж я по тебе у Никол-угодника...

Усмехнулся Гришка.

— Ничего, — говорит, — мамаша. И плакать нечего.

Смешно старушке стало — мамашей величает. Да не рассмеялась. Взглянула кривым глазом на сына и обмерла. Будто и не Гриша. Да и впрямь, будто не Гришка. Чудно!

А Гришка за столом пальцами поигрывает. На одном пальчике колечко с зеленым камушком, на другом — колечко, но без камушка, а за рукавом браслет, цепное золото.

Испугалась старушка снова.

— Да что ты, Гришенька, одет-то как? Нынче барская-то жизнь окончилась.

Сказал Гришка старухе:

— Безусловно кончилась. Я, мамашенька, и приканчивал. Да не в этом штука. Барская жизнь кончилась — новая началась. А покуда, пока не пришло иное времечко, — поживем, мамаша, в Питере-то. Есть у нас кой-какое добришко и денежки.

Заплакала старушка — выжила из ума. Завозился Гриша у желтого сундучка.

А под вечер Гришкины товарищи пришли. Очень даже напакостили на полу и ковровую дорожку совсем смяли. Гришке наплевать, а старуха — убирай за ними, за стервецами. Да и не убраться — сильная гульба пошла.

В пьяном виде Гришка очень бранил французов.

— Сволочи они, мамаша, — кричал он старухе в другую комнату. — И полячки — сволочи.

Тихонько охала старуха. Посмотрит, ох, посмотрит старуха ночью родимую точку на правом Гришкином плече.

Но до утра гуляли гости и бранились яростно, играя «в очко» гнутыми картами. А под утро снова пили.

Гришка в фуражке, а под фуражкой веером денежные билеты, хмельной и красивый плясал чудные танцы.

— Эх! Эх! Не тот Питер сейчас, не тот... Негде потреться молодчикам!

2

Две недели живет Гришка в городе — сыт, пьян и нос в табачке.

А и славный же парень Гришка! Широкий до чего парень, черт побери его душу!

То у Гриши соберутся, кушают — едят, то Гриша к кому-нибудь на пирог званый.

А то и к «Воробью» вечером. Безусловно не тот сейчас Питер, но есть кое-где замечательные места. Например: замечательное место — «Воробей».

Это в Гавани. Дом как дом, с мезонином и палисадничком. Днем старуха шабуршит горшками, стряпает. А больше ничего и не видать.

А вечером — кабаре.

Денежки припасай, и все будет. Денежки только припасай. На ночь — сотню отдай — не горюй — любая девочка!

Два раза гулял Гришка у «Воробья» — текли денежки. На третий раз похабный случай вышел: побили матроса за контрреволюцию.

Грозил матрос донести, хвалился знакомством «под шпилем». Да только сам виноват.

Сидит в дезбелье у Катюши и треплется. И мысли выражает:

— Нынче, — говорит, — я на все очень плюю и, например, на политику тоже. Мне жить охота, а политика заела мою молодость.

А Гришка рядом у Настеньки.

— Нравишься, — говорит, — ты мне, Настенька. Очень даже нравишься. Очень ты личностью похожа на одну любимую особу. А имя той особочки — Наталья Никаноровна.

А тут, значит, матрос со словами о политике. Гришка туда.

— Это, — говорит, — кто так выражается про политику? А ну-ка, клеш, выходи.

А клеш смеется и не покоряется. Обиделся Гришка.

— Ты, — говорит, — может быть, и про революцию так же скажешь?

— Да, — говорит, — так же.

Гриша тут и посерел весь.

— Ах ты, — кричит, — волчья сыть, белогвардейщина.

Ударил матроса. А тут еще ребята с Косой улицы случились.

— Бей, — кричат, — его, Жоржика.

Ударили его и в грудь, и по животу, и брюки — казенный клеш на видном месте испортили.

Гришка после этого расстроился и ночевать не остался — домой пошел.

А утром к нему Иван Трофимыч жалуется.

— Ты что же, — говорит, — Гриша?

А Гриша ему такое:

— А что ж я не могу и погулять у себя? Я, Иван Трофимыч, не афонский какой-нибудь монашек.

— Да ну? — удивился Иван Трофимыч. — Да я, Гриша, тебе только так. Любя. Голову, говорю, не защеми. Вот что. А вечером, Гриша, приходи-ка ко мне, невеста есть для тебя роскошная.

Не пошел Гриша вечером к Иван Трофимычу. Долго ходил по комнате очень серьезный и думал:

— А не жениться ли мне и в самом деле? Пожить, значит, семейной жизнью.

3

Утром Гриша по своим делам, а мамаша чай распивает с сахаром. Жует старушка белый хлеб, разговаривает с соседками:

— Гришенька мой жениться придумал. Ищи, говорит, мать, невесту.

Охают соседки, дуют в блюдечки.

— Да что ты, Савишна?

— Да. Ей богу, моя правда. Хочу, говорит, чтоб и красивенькая была и чтоб зря не трепалась.

— Что ж, — хрустят сахаром, — что ж, он это правильно требует. Да только нынче-то девки пошли очень бесстыжие. Косы пообстригли. Табак тоже легкий курят. Уж и подошло же времечко. Ох, и пришел последний час...

Да, очень много у баб всякого разговору. До вечера. А вечером Гриша приходит, посмеивается, шутит со старухой шутки, невесту требует.

Но только раз Гриша пораньше пришел. Сел, задумался и зеленым камушком не любит.

— А что, — спрашивает, мамаша, помнишь ли дочку Никанора Филиппыча?

— Это Наталюшку-то, дочку дилектора?

— Ее, мать.

— Чего ж, — говорит, — не помнить. Очень даже помню. Покойника Никанор Филиппыча, царствие небесное, до смерти убили в леворюцию. А через год Наталюшка замуж пошла за инженера за длинноусого.

— Замуж? — вскричал Гришка. — Ну, да ничего. Желаю, мамаша, жениться на Наталье Никаноровне. Встретил ее сегодня. Узнала. Щечками вспыхнула. Хотел в ножки броситься, поклониться. Одумался. «Дай, — думаю, — у старухи узнаю». Так замуж, говоришь?

Вечером перьями Гриша скрипит, пишет что-то. К ночи за чаем вытаскивает это самое, что писал.

— Вот, — говорит, — мамаша, письмишко написано:

«Лети, лети письмецо в белые ручки Натальи Никаноровны. Извиняюсь дерзостью письма и вспоминаю любимую особочку.

«Некогда, шесть лет назад я, Гриша Ловцов, раб и прихвостень батюшки вашего, Никанора Филиппыча, тайную к вам имел любовь и три года помнил загорелые щечки и приятные ручки. Нынче забыл все насмешки ваши, нынче предлагаю свою жизнь на полном земном счастье. Ежели “да” скажете — прибегу собачкой, “нет” — так до свиданья, Гриша Ловцов, только тебя в Питере и видели. Прощай тог-

да, ясочка Наталья Никаноровна. Эх, сгорел Гришка, огнем сгорел. Тому подобного знакомства!»

А? Каково, мамаша? Письмишко-то каково, говорю, написано. Будет моей Наталюшка.

4

По улице бежит человек без шапки.

«Вор, — думают прохожие, — мошенник, наверное». Но это не вор, это Гриша Ловцов бежит на решительное свиданье с ясочкой.

В записке всего три слова было: «Приходите, Гриша, поскорей». Вот и бежит Гриша Ловцов, проглатывая холодный ветер.

На ходу думать плохо. На ходу одна мысль в голове гудит на мелкие голоса: плохо ясочке. К чему бы такая экстр?

А ясочке и в самом деле плохо. Сидит она у бледного окна, плачет, слезы капаят на Гришино письмо.

Много раз перечла Наталья Никаноровна письмо это. Много раз подходила к зеркалу. Что ж! Она и в самом деле очень хороша. Так ли ей жить, как сейчас?

В сумерках всегда острее печаль, и в сумерках Наталье было жаль себя.

А тихий звон часов и брошенная книга на полу вдруг стали невыносимы.

«Уйду», — вдруг подумала Наталья Никаноровна.

А в это время Гриша через три ступеньки — в пятый этаж. Дух перевел. За звонок дернул. Дверь открыла Наталья Никаноровна.

А Гриша и не видит ничего.

— Здесь ли, — спрашивает, — проживает Наталья Никаноровна?

Улыбнулась — бровью повела Наталья.

— Проходите, — говорит, — Гриша, в ту горницу.

— Ага, — закричал Гриша и взял Наталью за руку. — Идем, ясочка. Идем сейчас. Ну, что думать-то? Все будет. Все на свете...

Ох, плохо знает Гришка женское сердце! Так ли нужно сказать? Так ли подойти?

— Вот как, Гриша? — с сердцем молвила Наталья Никаноровна. — Купить меня думаете? Так знайте — не за деньги я к вам решила. Не за деньги. Слово даю. Причина такая есть, да не понять вам. Ну, да все равно, едем.

В дверях стоял человек с длинными усами и острым носом. Был это супруг Натальи Никаноровны.

— Едешь? — спросил он тихо и поправил от волнения усы свои длинные. — Едешь, — повторил и больно сжал ее руки. — Слушай, Наталья... Вот сейчас, здесь, я убью себя... Не веришь?.. Вот сосчитаю до пяти, если не передумаешь...

И стал считать, и когда сказал — четыре, и голос дрогнул его, Наталья вдруг рассмеялась. Звонко, оскорбительно. Закинула голову назад и смеялась.

И за руку Гришу взяла, и засмеялась снова, и, тихонько и не глядя на мужа, вышла.

А по лестнице бежали они быстро и слышали за собой то-ропливый бег.

— Пойдите, — кричал длинноусый. — Господи, да что ж это! Пойдите же! Наталя!

На улице, на углу, у аптеки догнал их.

— Что? — спросила Наталья.

— Не веришь, — удивился длинноусый, нагнулся к ее ногам и поцеловал грязный снег.

— Нет, — молвила Наталья, — и пошла прочь.

5

Дивья тоже на Косой улице! Живет у Гришки дочь Никанора Филиппыча. Смешно очень! Дивятся люди, в окна заглядывают.

А Гришка ходит — хвост трубой, любит, подношения Наталеньке делает.

— Колечко это тебе, ясочка, за то, что длинноусому не поверила. А это за то, что невеста моя.

Утром на службу Гриша, а старухе приказ наистрожайший: ходить за Наташенькой, забавлять ее и ни в чем не препятствовать. Старуха очень ошалела, ходит за Натальей, глазом шевелит, а сама молчок. О чем и говорить — неведомо. Только утром про сны разговаривает.

— Будто, — говорит, — ударил кто под ложечку... Гляжу — мужчина с русой бородой и топор в руке. Это под пятницу-то, красавица. Вскочила я, крестом осеняюсь, крестом отмахиваюсь, а ен пырх — и нет его... Лампадку будто затеплила перед царицей-заступницей... Глядь в зеркало нечаянно, а личности-то у меня и нет. Пустое место. Рукой шарю — нету личности. А в зеркале фига дразнится.

Наталья Никаноровна молча слушает, да про свое думает, а старушка глазом обижается — ведь под пятницу все-таки.

А вечером Гриша со службы. Чистый, причесанный и даже духами от него воняет. Ручку у Натальюшки Гришка поглаживает, нежит ручку-то и про свадьбу разговаривает.

— Свадьбу, — говорит, — сыграем, и — ну из Питера, ясочка. На людей посмотрим, по Волге поедем на пассажирском... Барские твои привычки сохраним. Живи, ясочка.

Молчит Наталья. Что ж? Не привыкла, стало быть.

— Эх, ясочка! Очень тебя люблю. Скажи — все сделаю... Свадьбу такую справим — дым в небо. Всех пригласим. Сам пойду умолю. Профессора одного знаю, писателя одного знаю тоже. Не скучно будет Натальюшке. А?

Молчит Наталья, ласкает Гришкину голову.

6

На высоком шкафу стоит лампа, крутит огненным языком, подпрыгивает. В комнате танец-краковяк танцуют. Серьезный танец краковяк. Танцуют, молчат, никто и не улыбнется.

А очень великолепно старик на гармонии играет. Да только невесело. Нельзя слепцов на свадьбу звать, — душу всю вывернут. Ведь ишь ты, гадина, как тонко перебирает.

Ходит Гришка с невестой, с женой теперь то есть, гостям улыбается, а душа гудит.

И с чего б это было так невесело?

Все расчудесно вышло, благородства тоже во всем немало. Вот и старичок в сюртуке — не кто-нибудь — профессор Блюм мудрит с рыжим студентом.

А рядом в комнате старуха с девкой босой стол прибирают. На столе даже цветок есть — кому любопытно понюхать. — Пожалуйста, дорогие гости, не побрезгуйте.

Сели за стол, да плохо сели. Молча пироги жуют. А как выпили раз-другой — смех пошел по столу. Смеются все, и причин уважительных нету.

И профессор Блюм улыбается, к рыжему студенту льнет.

— Сам, — говорит, — был таким. Люблю очень студентов. Выпьем за науку и за просвещение.

И вдруг Наташенька тоже стакан свой поднимает и улыбается.

Молчала все, а тут и я, дескать, с вами.

Обидно очень Гришке.

Да и рыжий на Наташеньку что-то засматривается. По своему ей глазом мигает, да, может быть, и ножку, гадина, под столом ей жмет. Ох, а и противен же до чего Гришке этот рыжий! Так бы вот в зынзыло и дал.

Гришка с профессором беседует тонко, а сам на студента глазом:

— Вы, — говорит, — профессор, за науку выпиваете, а между прочим — тьфу ваша наука.

Профессору и крыть нечем. Сидит на стуле, беспокоится, ртом дышит. А Гришка ему все серьезное:

— Да-с. Я науку вашу очень презираю. Смешно! Про землю, например, скажем: шар и, так сказать, вертится... А что

вы за такие, за правильные люди, что как раз и угадали? Вот, скажем, через пятьдесят лет или, может быть, меньше, возьмет кто-нибудь и объявит по науке вашей: а земля-то, скажет, и не вертится, да и не шар, да и... черт его знает, что скажет. Тьфу на вас!

Тут все на профессора уставились, дескать, вот так Гришка, широкий парень. А тут еще дьякон Гавриил словечко вставил:

— Мы, — говорит, — интеллигенция, хотя и очень уважаем вас, Григор Палыч, так сказать, почитаем совершенно, однако, земля досконально есть круг, установленный наукой и критикой, — сказал и на профессора этак вот ручкой.

Тонкая бестия этот дьякон Гавриил!

Да, крупный разговор вышел, ученый. Гришка то на профессора, то на студента глазом. А студент ничего — рыбу кушает. Не жалко, конечно, пускай кушает, а только зловерный же этот рыжий!

А профессору, должно быть, очень обидно за науку стало. Григорь-то Палычу он ни словечка — видит, сидит человек с круглыми глазами — так он дьякону Гавриилу. И с чего бы это он дьякону Гавриилу?

— Вы, — говорит, — со своей гнусной философией гово...

А Гришка со стула вдруг, по столу кулаком.

— Бей, — кричит, — их... рыжую интеллигенцию.

Сгрудились гости, присели иные...

— Эх! — закричал Гришка и насел на студента.

Длинноусый шел на вокзал. Сегодня они уезжают из Питера.

«Этакая ведь скверная штука, — думал длинноусый. — С чего бы мне идти. Зря иду. Ей-богу, зря. Я вот на них взгляну одним глазком и уйду. Не из романтизма взгляну, не глазом, так сказать, любви... хе-хе, а издали, из великого любопытства... Гм. Я даже радуюсь. Мне, милостивые государи мои, на многое совершенно наплевать, мне, милостивые государи, смешны даже в некотором роде высокие чувства любви. Подумаете — врет? Вот, скажем, и Наталья подумает про меня — погиб из-за великой любви. Даже вот убиться хотел... Вздор. Совершенный вздор. То есть, может быть бы и убился, если б, скажем, поверила. Вздор, сударь мой. Шарлатанство. Женская, так сказать, природа требует остроты, так вот — пожалуйста... хе-хе... А мне смешно. Честное слово, смешно. Ну, что я могу поделать — смешны всякие трагические чувства. Конечно, плохо, что она с Гришкой. Я даже снова готов на всякие потрясения, но любовь... хе-хе»...

Тут длинноусый остановился у вокзала.

— Подождем, — сказал он громко. — Посмотрим, понаблюдаем. Они непременно под руку пойдут. Все-таки Гришке-то лестно. А она с этакой тонкой улыбочкой. У ней вечно этакая тонкая улыбочка. Накануне вот приходит. «Что?» — спрашиваю. «Не могу, — говорит, — с тобой жить. (А у самой этакая улыбочка.) Не могу, — говорит, — больше жить.

Не живой ты. Ну, сделай что-нибудь человеческое. Убей меня, что ли, Гришку, наконец, убей».

Гм. Тонкая первопричина, тончайшая. Конечно, острота чувств... Да не в этом корень. Тут, можно сказать, историческая перспектива. Тут, ух как широко! Тут, можно сказать, — история. Да-с, история и инстинкт женщины. Скажем, через сорок лет голубую кровь, хе-хе, им перельем. Вот оно что. Может, я и не сопротивляюсь из-за этого... Ну, куда ты, баба, прешь? Толкнуть можешь. Видишь, человек по делу стоит.

И точно: баба с мешком и корзиной пихнула длинноусого в живот.

— Дура, — сказал длинноусый. — Этакая чертова баба! А за бабой в двух шагах двое под руку.

Они!

— А, — улыбнулся Гришка, — вы здесь.

Не ответил ничего длинноусый и пошел за ними вслед.

Идут вдоль вагонов — не обернутся. И длинноусый сзади.

— Здесь, — сказал Гришка, — и вошел в вагон.

— Наталья.

— Что?

— Не веришь? — поглядел ей в глаза длинноусый.

— Нет, — молвила Наталья, — и вошла в вагон.

«Под вагон, что ли, упасть? — уныло подумал длинноусый, когда поезд, железом лязгая, двинулся с места. — Вот под тот».

Постоял длинноусый с секунду, поднял глаза, а в окне Гришка с Наташей. Наталья — та спиной, а Гришка ухмыляется и этак ручкой делает, дескать, — прощайте, счастливо оставаться.

Постоял длинноусый, постоял и поплелся тихонько к выходу.

ВОЙНА

1

До станции «Кривые Горки» третья рота мигом доехала — экстрa. А на станции «Кривые Горки» слух прошел, дескать, не по правилу едем: положено приказом, кто на фронт — денежки вперед за два месяца. Ладно. Отдай денежки. Фунт хлеба и денежки — урожай не урожай.

А тут еще Федюшка Лохматкин — оптик по всем делам:

— Верно, — говорит, — положено это наивысшим начальством.

А с кого требовать? Начальство все впереди, а полуротный Овчинкин — шляпа, и сам не в курсе.

Ладно. Нельзя ехать.

На станцию вышли. Кучками бродят. Торговлишка завязалась кой-какая. Только видят: стоит баба у звонка, веревку держит и очень грустно плачет. Тут же и военный с ружьем на нее наскakивает.

— Прошу, — говорит, — честью, баба, отойди от колокола. Убью на месте — звонить нужно, потому поезд пассажирский...

А баба ему такое:

— Не отойду, кормилец, от колокола. Убей ружьем, Христа ради... Отдай лисью шубу, пять фунтов масла.

А Федюшка уже тут. Народ растолкал ручкой.

— Чего, — говорит, — тут такое приключилось?

Баба слезой давится. Баба очень слезой давится.

— Так и так, — говорит, — отряд заградительный лисью шубу... Зачем, мол, тебе, баба, шуба? Это, дескать, спекуляция.

— Не по правилу это... — сказала толпа.

А тут еще с четвертого взвода — Ерш по фамилии.

— Фу ты, — говорит, — братцы, товарищ Федя, да отдадим бабе шубу.

Тут все заговорили очень.

— Живут, — говорят, — одни великолепной жизнью, а другие погибают в мерзости. А шуба — вещь и стоит немалых денег.

Великий шум поднялся. А на шум — отряд заградительный, двенадцать человек ружье к ружью.

— Разойдись, — кричат, — по мере возможности. Зачем этакое немислимое скопление?

Слово за слово. Это, дескать, не по правилу, товарищи — шуба, пять фунтов масла.

Иные уже и винтовочки схватили, серьезно затворами щелкают, а Ерш и пулемет с лентами выкатил.

Отряд в двенадцать человек — в цепь, и к лесу. Не иначе как окопаются на опушке. Смешно.

А народу все больше да больше. К цейхгаузу повалили. Дверь ружьишком разбили. Добра там видимо-невидимо.

Баба тут взвизгнула очень тонко:

— Вот она лисья шуба, пять фунтов масла.

А у самой каждое слово слезой омыто.

— Не по правилу это, — решили люди, осматривая лисью шубу. — Очень это не по правилу.

А тут вдруг Ерш бочонок в темном углу нашел. Рукой он по бочонку похлопывает, а сам такое:

— Фу ты, братцы, а ведь это же масло.

— Совершеннейшее масло, — сказали люди, выкатывая бочонок из цейхгауза. — Совершеннейшее масло. Одни живут великолепной жизнью, а другие погибают в мерзости.

А Ерш все рукой по бочончку.

— Именно, — говорит, — великолепное масло. И какая может быть война? И какой государственный масштаб?

Тут все закричали сразу:

— Не нужно денег, если так... Без денег поедем, братцы, — экстра.

2

А очень великолепно жить в провинции. В столицах полная нехватка хлеба, а, скажем, в Устоге каждый, даже маломочный, огорода изрядный достаток имеет. Да и что с огорода?

Председатель исполкома кур разводит, член тройки тоже кур разводит, доктор Гоглазов — кур, а комендант станции кролиководством занят.

Чудак необыкновенный этот комендант станции. Всегда он на высоте положения. Огороды его уж на версту раскинулись. Кролики у него во множестве плодятся. Мирное ему житье.

Только нынче нехорошая штука с ним вышла. Не удался день. С утра не удался день. С утра свиньи грядку турнепса пожрали. Хорошо, если его свиньи — к жиру, а если, скажем, Ипатовы...

На станцию комендант серьезным пришел. А тут еще барышня с Смитом телеграмму сует, — дескать, срочно и секретной важности.

Телеграмму прочел комендант — телом затрясся.

«...Белогвардейцы и мятежники. Поезд 43... Разоружить. Бочонок масла»...

Гм! Штука... Свины турнепс пожрали... Штука.

— Алло, исполком... Срочно и секретной важности... Так, мол, и так и, пожалуйста, соответствующие меры...

«Гм! Штука... Мои — так к жиру, но Ипатовы, как пить дать, Ипатовы».

Комендант станции и председатель исполкома на высоте положения. И к полдню на всех заборах листовки наклеены.

Дивятся очень прохожие. Что ж это, граждане? Листок...

На заборе театральная афиша — столичная труппа «Променад». Великолепные знаменитости.

Пониже корявая бумажка, и на ней: «Настоящая персидская оттоманка за полцены с разрешения жилищной комиссии».

А рядом листок — и крупней крупного:

«Военное положение. Ходить до семи. Жиров полфунта... Белогвардейцы и мятежники»...

Штука! Как же так, граждане? Смешно — до семи. Если, скажем, секретарь исполкома, товарищ Бычков в девять любовное свиданье назначил. Любовная у него интрига с лета-месяца. А он в девять на Урицком мосту. Урицкий мост аж за

тюрьму, в конце города. Гм! Смешно — до семи, если доктор Гоглазов... Тьфу ты, бес! А комендант-то, комендант-то как же с огородом?

Гм! Штука.

3

Председатель исполкома Петр Стульба с балкона слова лепит:

— Белогвардейцы и мятежники... Разоружить... Притянуть... Поезд 43... Бочонок масла...

Очень хорошо и длинно говорит председатель исполкома... Лепит — говорит, а сам руку, этак вот, за пояс. Для истории. Иные так за борт или, скажем, смешно даже — в карман, а Петр Стульба — за пояс.

— Позор, — сказал отряд матросов особого назначения и ряды вздвоил.

Котелки за спиной звякнули. Перемигнулись штыки с солнцем.

Напряглись клячонки. Клячонки-то очень напряглись — смотреть жалко. Еще бы — пушка трехдюймовая, пушкино дуло больше лошади.

Пушку эту у вокзала поставили дулом в даль. Клячонок распрягли — нехай пасутся. А сами — в цепь.

Поезд едва до вокзала дошел — закричали как, задвигались матросы.

— Оружие! Оружие, сукины дети, кладите!

Дивится очень третья рота. Из теплушек лезет!

А впереди Ерш с четвертого взвода, вьюном вьется и всех подначивает:

— Не покоримся, братцы! Немыслимо положить оружие. Выкатим, братцы, товарищ Федя, пулемет да и, пожалуйста, стрельнем, жажахнем по клешникам.

И стрельнули бы (живут одни великолепно жизнью, а другие погибают в мерзости), да Федюшка тут выступил.

Ручки сложил на желудок, дескать, делегат, и нету у него оружия, выступил.

— Совершенно, говорит, — правое дело, товарищи. Можно ли подобное: лисья шуба, пять фунтов масла...

— Как? — подошли ближе матросы, — лисья шуба и масло?

— Да. Лисья шуба, пять фунтов масла.

— Как? — сказал комендант, высовываясь из окна, — пять фунтов масла?.. Алло, исполком. Срочно и секретной важности...

— Как? — сказал председатель Стульба, вытаскивая руку из-за пояса, — турнепс, пять фунтов масла?

А Федюша — оптик по всем делам — говорит, землю роет. И даст же бог такой словесный дар.

— Шуба, — говорит, — и масло. Можно ли подобное? А революции, мол, все очень даже преданы и даже иностранный капитал идут бить с радостью в сердцах. Бочонок же — будь он проклят — был грех. Однако, государственный масштаб и бочонок масла — смешно.

Тут матросы заговорили.

— Очень, — говорят, — вы великолепно сделали, братишки. Очень даже мы любимся вами.

А сами-то трех клешников к пушке засылают. Дескать, неловко. Дескать, запрячь клячонок, клячонок-то поскорей запрячь, а пока пушкино дуло в сторону. Уж очень правильное дело — нельзя.

Поговорили еще матросы, звякнули котелками, расправили клеши и — к дому.

А Федюшка гоголем ходит.

Полуротного Овчинкина совсем заслонил.

Прямо-таки забил полуротного Овчинкина.

Овчинкин даже с голосу спал — чай сидит пьет, а Федюшка командует.

— Садись, — кричит, — третья геройская по вагонам. Едем на позицию полячишек бить!

4

А через три больших станции и с поезда сошли. По целине тут тридцать верст — и позиция.

Кишкой растянулась рота по шоссе. А впереди Овчинкин. Овчинкин компасом покрутит, на карту взглянет и прет без ошибки, что по Невскому.

Вскоре в деревню большую пришли. На ночь по трое в хату расположились. Федюша и Ерш наилучший дом заняли, а с ними и Илья Ильич — ротная интеллигенция.

А в доме том американка жила. Очень прекрасная из себя. Русская, но в прошлом году из Америки вернулась.

Расположились трое, картошку кушают, а Ерш все свою линию ведет.

— И какая, — говорит, — братцы, товарищ Федя, война? И какой государственный масштаб? В лесок бы теперь, в земляночку. А в земляночке — лежишь, куришь...

Но Федюша не слушает — глазом разговаривает с американкой.

Американка рукой по бедрам, Федюша глазом — дескать, хороша, точно хороша. Американка плечиком, — дескать, хороша Маша, да не ваша... Федюша глазом соответствует.

И час не прошел, а Федюша уж, как Хедив-паша, с американкой на печи сидит.

Ерш внизу мелким бесом, а сам Илье Ильичу тихонечко:

— Скалозубая. И какой в ней толк? Зубами, гадина, целует... А уж и сердцегрыз Федюша наш! Но только доведет, достучает его любовь-баба... А тут война. И какая теперь может быть война?.. В земляночку бы теперь... Свобода...

Вот и господин Илье Ильич — интеллигенция ротная, а как бы сказать, совершенно грустный из себя. А отчего грустный? Война. Человеку жить нужно, а тут война. Не соответствие причин.

— Да, — сказал Илье Ильич. — А ведь и точно плохо. А главное радости никакой. И почему так? Что такое со мной произошло?..

Поднял голову Илье Ильич, смотрит: Федюша с печки вниз спускается.

— Ох, — говорит Федюша, — загрызла меня, братцы, американка. До того загрызла, что и слов нет. Сосет в груди. Остаться нужно. Эх, кабы день-два! Эх, мать честная, все

пропадет. Останусь. А ведь останусь, братцы. Будь, что будет! Не отступлюсь от ней.

Радуется Ерш, лицо — улыбка.

— Да ну?

— Да. Останусь. Сама американка присоветовала. «Оставайтесь, — говорит, — винтовочки спрячу, вас — в овин до утра, а утром, коли начальство поинтересуется, скажу: ушли».

Ладно.

5

Американка фонарем светила, Федюша рядом под локоток, а Ерш и ротная интеллигенция сзади.

— Здесь, — засов отодвинула американка. — Сюда заходите. И ни боже мой, покуда не позову.

— Ладно.

Очень скверно в лицо пахнуло. А ведь что ж?

По доброй воле. Сели у стенки. Гм! Запах.

А у Ерша счастье на лице.

— Дальше-то что? — улыбается, — дальше-то, братцы, товарищ Федя, что? Ведь и государственный масштаб теперь к черту... А дальше-то не иначе, как в лес. Дальше-то прямая дорожка в лес. Да только пугаться нечего — прокормимся, как еще прокормимся. А то, скажем, на почтовых... Такой-этакой... с деньгами... сто тысяч... С провизией... и девочка с ним... черная, красивенькая, кудряшечки этикие... Стой-постой! Откуда есть такой? Тут и стукнуть по черепу. И концы в воду. И лошади себе. И повозку себе...

— Да, — сказал Федюша, — а и шельма же она, братцы. Страсть люблю таких. «И ты, — говорит, — мне очень нравишься, Федюша. Больше жизни. Да только зачем нам жизни свои зря спутывать. Ты голый, соколик, да и у меня по пятьсот две думских, да кольцо дареное»...

— Плохо, — вдруг испугался Илья Ильич, — это что ж? Выходит, что в разбойники. Опять несоответствие причин. Гм... Дурак Ерш, а сказал какво хорошо: несоответствие причин. Но как все плохо. Даже если и в Питер, сейчас, и то плохо. Здесь в навозе, да и там в навозе, на Малой Охте. На Малой Охте! И почему такое? Мог бы и в городе жить, а живу, черт знает, на Малой Охте. И ведь непременно у ветеринарного фельдшера Цыганкова. Хе-хе. И пустыки, что жизнь дрянь. Жизнь дрянь, но в гадости-то скорее радость найдешь. В грязи-то и всем хоть немножко, хоть чуть-чуть, да приятно. Чужую грязь мы не любим, а от своей — великое наслаждение. Вот знаю, а все плохо. А плохо-то в себе. Особое, может, неважное пищеварение, что ли... Что ж? В разбойники нужно... Хе-хе... прямая дорожка.

— Прямая дорожка в лес, братцы, товарищ Федя, — бормотал Ерш, засыпая. — Говорят, объявилась атаманша-разбойница. Геройской жизни. Грабит, поезда останавливает.

«В разбойники, — думал Илья Ильич, закрывая глаза. — И что меня удержит? Россия... Гм... Может, России-то уже нет, да и русских нет. То есть, конечно, есть, да живут ли они? Может быть, все как я, может быть, у всех — великое “все равно”»...

Под утро заснули трое и видели сны.

Уже и солнце проткнуло все щели в овине, а Ерш спит — раскинулся, лицо — улыбка, сам в золотых полосках, будто зебра.

А Федюша все в щель смотрит. Да только тихо на дворе: куры ходят, вот свинья у самого носа хрюкнула, а больше никого не видать. И что за причина такая?

Ротная интеллигенция тоже в щель — ничего. Ерш проснулся.

— Фу ты, — говорит, — братцы, а ведь кушать-жрать хочется.

Только видит Федя: старуха на крыльцо мотнулась.

— Тс, — цыкает ей Федя, — ты, чертова старуха. Гм... Притча. Не слышит, чертова бабка, сук ей в нос.

Просидели час. Тихо.

Заспалась, должно быть, Маруся-американочка. Еще час просидели. Федюша начал засов ножом ковырять. Ножом отодвинул засов.

— Сейчас, — говорит, — братцы.

И сам по двору тенью.

Только прибегает обратно — глаза круглые и сам не в себе очень:

— Нету, — говорит, — американки. Ушла чертова Маруся. С полуротным с Овчинкиным вовсе ушла. Сама старуха — сук ей в нос — призналась. Дескать, полуротный Овчинкин к вечеру вестового засылал, а к ночи и сам в гости пожаловал. Жрали, — говорит, — очень даже много, и все

жирное, и спать легли вместе. А утром полуротный из дому и Маруська с ним. Вовсе ушла чертова Маруська. Что ж теперь? Гроб.

Вышли на двор. Ушла, мать честная, и следов нет.

Посмотрел Федя на солнце, на дорогу посмотрел. И куда ушла? В какую сторону? Без компаса никак нельзя узнать.

— Эх, испортила американка жизнь! Угробила, чертова Маруська. Очень даже грустно сложились обстоятельства.

Посмотрел Федя Лохматкин на Марусин дом — сосет сердце.

«Красавица», — подумал.

В окно глянул, а в окне старухин нос.

— Тьфу ты, мерзкая старуха, до чего скверно смотреть.

А тут Ерш, лицо — улыбка.

— Что ж, — говорит, — братцы, товарищ Федя, — судьба. И какая там война? И какой государственный масштаб? В лесок уйдем. Прямая дорожка без компаса.

И трое зашагали в лес.

7

Бродили в лесу до вечера. А вечером повис над болотом серый туман, и тогда все показалось бесовским наваждением.

Огонь развели веселый, но было невесело. До утра просидели очень даже грустные, а утром дальше пошли.

Прошли немного — верст пять, и вдруг закричал Ерш:

— Едут!

Верно. Вдали негромко звенели бубенцы.

— Едут! — застонал Ерш. — Тащите бревно... Тащите же бревно, сук вам в нос.

Но никто не двигался.

А у Ерша паучьи руки — очень ему трудно из канавы бревно тащить.

Однако, тотчас выволок бревно это и накатил на дорогу.

Били железом по камню лошади, и за поворотом показалась желтая повозка с седоком.

— Стой! — закричал Ерш. — Идем же, братцы, товарищ Федя.

— Стой, постой! — повторил Ерш и вытащил нож, подбегая.

— А-а... — дико закричал седок.

Во весь рост встал. Трясется челюсть. В руке револьвер. Вздрогнули лошади, лес ахнул тихонько.

— Братцы, — тонко закричал Ерш, — так нельзя. Он с револьвером...

И хотел к лесу. Но упал лицом в грязь и затих.

Выстрелил два раза седок. Железом бешено забили лошади, и скрылась желтая повозка.

А на бревне сидел Илья Ильич и тоскливо смотрел на Федюшку. За Федюшкой — красный след. Федюшке трудно ползти.

СТАРУХА ВРАНГЕЛЬ

1. Тонкое дело

По секретнейшему делу идет следователь Чепыга, по делу государственной важности. И, конечно, никто не догадается, что это следователь. В голову никому не придет, что это идет следователь.

Вышел человек подышать свежим воздухом, и только. А, может, и на любовное свидание вышел. Потихе, главное. Потихе идти и лицо чтоб играло, пело чтоб лицо — весна и растворение воздуха.

Иначе — пропал тончайший план. Иначе каждый скажет: «Эге, вот идет следователь Чепыга по секретнейшему делу».

— Красоточка, — сказал Чепыга девушке с мешком. — Красоточка, — подмигнул ей глазом.

Фу-ты, как прекрасно идет. Тоненько нужно тут. Тоненько. А потом такое: а дозволейте спросить, не состоите ли вы в некотором родстве... хе-хе...

Тут Чепыга остановился у дома. Во двор вошел. Во дворе — желтый флигель. На флигеле — доска. На доске — «Домовый Комитет».

— Прекрасно, — сказал Чепыга. — В каждом доме — комитет, в каждом доме, в некотором роде, государственное управление. Очень даже это прекрасно. Теперь войдем в комитет. Тек-с. Послушаем.

Два человека разговаривали негромко.

— Ну, а о политике военных действий что, Гаврила Васильич? — просил тенорок.

— О политике военных действий? Гм. С юга генералы наступают.

— Очень хорошо, — обрадовался Чепыга. — Войдем теперь. В комнату вошел и спросил, сам голову набок:

— Уполномоченного Малашкина мне. По секретному. Ага! Вы гражданин Малашкин? Очень прекрасно. А дозволяете спросить, кто в квартире 36-й проживает? Да-с, в 36-й квартире. Именно в 36-й.

У Гаврилы Васильича острый нюх. Гаврила Васильич почтительно:

— Старуха проживает. Старуха и актер проживают.

— Ага, актер? — удивился Чепыга. — Почему же актер?

— Актер-с. Как бы сказать — жильцом и даже на иждивении.

— Гм. На иждивении. Расследуем и актера. Ну, а в смысле старухи, не состоит ли старуха в некотором родстве, ну, скажем, с генералами с бывшими или с сенаторами? Да, вот именно, с сенаторами не состоит ли в родстве?

— Неизвестно, — ответил Гаврила Васильич. — Старуха, извиняюсь, небогатая. Сын у ней на войне пропал. Жалкует и к смерти готовится. У ней и местечко на Смоленском заказано. Тишайшая старуха.

А следователь свое:

— Расследуем старуху. По долгу, — говорит, — государственной важности, расследуем и старуху и актера. Прошу, гражданин Малашкин, сопровождать.

2. Следствие

Актер лежал на кровати и ждал Машеньку. Если не сработает, то придет сегодня Машенька. Актер лежал на кровати как бы с некоторой даже томностью.

— Энтре, Машенька, — сказал актер, когда Чепыга постучал в дверь костяшками. — Энтре, пожалуйста.

«Тут нужно чрезвычайно тоненько повести дело», — подумал Чепыга и к актеру вошел.

— Извиняюсь, — обиделся актер.

А следователь прямо-таки волчком по комнате.

— Дозвольте, — говорит, — пожать ручку. Собственно, к старухе я. Однако, некоторое отсутствие старухи принуждает меня...

— Ничего, — сказал актер, — пожалуйста. Только сдается мне, что старуха, пожалуй, что и дома.

— Нету-с. То есть придет сейчас. А дозвольте пока, из любопытства я, спросить, не состоите ли вы в некотором родстве с подобной старухой?

— Не состою, — ответил актер. — Я, батенька мой, артист, а старуха, ну, как бы вам сказать, — зритель.

— Тек-с, очень хорошо, — удивился Чепыга. — Гм. Зритель... Вижу образованнейшего человека... Так, может быть, вы с сенаторами какими-нибудь в родстве?

Тут актер с кровати приподнялся, и в Чепыгу дым стружкой.

— Угу, — говорит, — с сенаторами... А насчет старухи какое тут родство: темная старуха — и артист. Я, батенька мой, человек искусства.

— Вижу образованнейшего человека, — бормотал Чепыга. — И книг чрезвычайное множество... И книги эти читать изволите по профессии?

— М-да, — сказал актер, — читаю и книги по профессии. К «Ниве» тут приложение — писатель Максим Горький.

— Тек-с, русская литература. Ну, а касаясь иностранной, южной, может быть, новинок, через передачу. Из любопытства, опять-таки.

— Из иностранной — роль Гамлета, английского писателя.

— Удивительно, совершенно удивительно...

«Гм, однако, какого же вздору я нагородил, — подумал Чепыга. — И он-то как глаз отводит. Вот умная bestia. Гм, и к чему бы это мне про книги? Да, касаясь южной новинок, через передачу. Опутать может. Ей-богу, опутает».

«Восьмой час, — подумал актер вздыхая. — Сробеет Машенька, непременно сробеет... А молодой-то человек общительный — про книги интересуется».

— Вы, кажется, про книги интересуетесь, — спросил он Чепыгу, — так вот тут — Гамлет. Я, знаете, все больше на трагических ролях. Мне все говорят: «Наружность, — говорят, — у вас трагическая». И я, действительно, не могу, знаете ли, шутом каким-нибудь... Я все больше по переживаниям...

— Ох, — испугался Чепыга, — плохо. Нельзя так. Не такой это человек, чтобы тоненько. Тут напрямик нужно.

Застегнул Чепыга пиджак на две пуговицы и встал.

— По делу, — говорит, — службы, должен допросить вас и установить.

Испугался актер.

— Как? За что же установить? За что же допросить, господин судебный следователь, извиняюсь?

— «Сгрябчит, — подумал актер, — как пить дать сгрябчит».

А следователь и руки потирает.

— Не состоите, значит? Значит, так-то вот и не состоите? А если, скажем, старуха призналась, выдала... Если, скажем, пришла сегодня старуха, гуляючи пришла и, дескать, так и так — выдала.

— Не состою, господин следователь.

— Гм, — сказал Чепыга, — прекрасно. Фу ты, как прекрасно. А не скажете ли мне, касаясь сборищ тайных у старухи, тайных собраний. И не приходил ли кто к старухе в смысле передачи корреспонденции?

У актера очень дрожали руки.

— Приходили, господин следователь. Супруга уполномоченного Малашкина приходила... Только я, господин следователь, с детских лет предан искусству... А к старухе, точно, Малашкина приходила. Сегодня и приходила. Сначала про жизнь, господин следователь, дескать, плохая жизнь. Так и сказала: «Плохая, — говорит, господин судебный следователь, — жизнь». А потом о политике военных действий, дескать с юга, извиняюсь, наступают, господин следователь. А Малашкина все старухе такое: «Чего ж, — говорит, господин судебный следователь, — от счастья своего отказываться». А старуха отмахивается, отвергает, одним словом: «Не может, — говорит, — быть того, чтоб Мишенька мой в гене-

ралы вышел». Так и сказала: «В генералы, — говорит, господин следователь, — вышел».

— Дальше, — строго сказал Чепыга.

— А дальше, господин следователь, в комнате шу-шу-шу, а о чем, извиняюсь, не слышал. А я, господин следователь, со старухой не состоял и не состою и, не касаясь политики, с детских лет по переживаниям. Старуха же так и сказала. «Плохая, — говорит, — жизнь». А если я дымом в лицо, господин судебный следователь, недавно побеспокоил вас, — стружкой по легкомыслию — извиняюсь.

Следователь Чепыга любовно смотрел на актера.

3. Почетный гражданин

— Тру-ру-рум, — тихо сказал Малашкин и в комнату вошел. — Тру-ру-рум... А я на секундочку взошел. Я к вам, господин следователь, пожалуйста. По освобождении от дел государственных — ко мне, господин следователь. На чашечку с сахаром. Только, извиняюсь, совершеннейше вздорный слух, касаясь супруги моей. Совершенный вздор, господин следователь. По злобе характера подобное можно сказать. И, между прочим, не пойдет супруга моя к явной преступнице. Да и вообще ни с кем-то она не знается и видеть никого не может. Бывало, сам принуждаю: «Пойди, — говорю, — к кому-нибудь, отведи душу от земных забот». «Нет, — говорит, — Гавря, не пойду, — говорит, — видеть не могу старухи этой». Подобное по злобе только можно сказать. Так, значит, на чашечку с сахаром. Тру-ру-рум, господин следователь. А вам,

гражданин актер, — стыдно-с. Вы собирайтесь. Они, господин следователь, из бывших потомственных почетных граждан, так сказать — барин. Вы, почетный актер, собирайте манатки. Следователь вас сейчас арестует.

— Да, — сказал Чепыга, — арестую. По делу службы арестую. Вы, гражданин Малашкин, за ним последите, а я сейчас. Я сейчас... очная ставка... Алиби... Лечу...

Актер, качаясь, сидел на кровати.

— Эх, — говорит, — Малашкин, Малашкин, и что я тебе худого сделал, Малашкин. Почетный, говорит, гражданин и барин. Убийца ты, Малашкин. Грех ты большой взял на душу. Сгрябнут ведь теперь меня, Малашкин. И за что? За что, пожалуйста, сгрябнут? С детских лет служу чистому искусству... С детских лет и не касаясь политики.

Малашкин на актера не смотрел.

4. Паутина

Мышино-тихая пришла старуха и села в угол. А следователь рукой по воздуху, дескать, вот наисерьезнейший момент. Следователь волчком по комнате. Следователь ныряет и плавает. Следователь то к Малашкину и ему быстренько:

— Попрошу слушать. Попрошу слушать и, слушая, подписом заверить показанное.

То к старухе и даже с некоторой нежностью в голосе.

— Дозвольте установить, спросить, так сказать, о драгоценном здравии ваших родственников. И кто подоб-

ные? И где проживают? И переписочку не ведут ли некоторую?

Неподвижная сидела старуха в углу. У старухи серые глаза, и платье серое, и сама старуха серая мышь. И идет — как мышь, и сидит, как мышь. И никак не поймет старуха, какой толк в словах тонконового.

А тонконогий в волнении необычайном.

— Да, — говорит, — именно я так и хотел сказать: переписочка. Письмишко какое-нибудь. Письмишечко от известного вам лица... Скажем, родственник вам генерал... ну... ша... ша... приблизительно. Из любопытства я. Ну, пожалуйста. Родственник. Ну, а как родственнику не написать. Непременно напишет. Не такой он человек — родственник, чтоб письма не написать. Ну и вот. Вот вам и письмишечко от известного лица. Он вам письмишечко о событиях, дескать — наступаю... Вы ему цидулочку, дескать, — ага и так далее... Вы ему цидулочку, а он вам письмишко. И ведь совершенно, как видите, кругленькая выходит переписка. И корреспонденция через передачу. И кто передача? И что через передачу? Пожалуйста. Не так ли? Фу, ведь беспокоитесь же — как-то и им... Болезни ведь всякие, печали и вздыхания...

— Беспокоюсь, — заплакала вдруг старуха, — как-то это он там. Беспокоюсь... Сердце прямо таки сгнило, до того беспокоюсь... Болезни и вздыхания... Вот спасибо-то вам, молодой человек. Вот спасибо-то.

Пело, играло лицо следователя Чепыги.

«Ох! И до чего кругленько и как кругленько выходит все»...

А Чепыга опять волчок, Чепыга опять плавает и ныряет Чепыга к актеру с неизъяснимым восторгом:

— Ой, — говорит, — не угодно ли? И вы отвергаете, и вы родством таким пренебрегаете? Обидели вы меня, молодой человек. Весьма и очень обидели. Ну, так я сейчас.

И опять старухе:

— Дозвольте, разрешите еще словечко... Этот прекраснейший молодой человек... Ну да, я так и хочу сказать, родственник ли вам он будет?

— Нет, — ответила старуха, — нет, не родственник. Но я, молодой человек, к нему, как мать родная. Ему я заместо матери. Спасибо вам, молодой человек.

— Ох, — задрожал актер. — Ох, господин следовательно, врет ведь старая старуха... Не знаю я ее... Темная старуха и зритель... А я сам по себе, с детских лет по переживаниям.

— Довольно, — строго сказал Чепыга. — Оба арестованы. Прошу, гражданин Малашкин, сопровождать.

5. Разнотык

Посадили старуху и актера пока что в общую камеру. А в камере той сидел еще один человек. Был он совершенно не в себе. Кричал, что ни сном, ни духом не виноват, масло же, дескать, у него точно было четыре фунта и мука белая для немощи матери. «Не для цели торговли, господа, а для цели матери».

Человек этот привел актера в совершенное уныние. Актер вовсе ослаб, похудел и сидел на койке, длинно раскачиваясь.

«За что же схватили, господи. Тоже ведь ни сном, ни духом. И хорошо, если суд. Судить будут. Слово дадут сказать. Так и так, народные судьи, пожалуйста... А если к стеночке? В подвал и к стеночке?»

Нехорошо было актеру, мутно.

«Что ж если и суд? Ну, что сказать? Пропал. Ни беса ведь не смыслу по юридической... Господа судьи... Присяжные заседатели»...

Не шли слова. Все разнотык. Все разнотык лезет, а плавности никакой.

«Господа народные судьи, чувствую с детских лет страстие к чистому искусству Мельпомены, которая... И не касаясь политики... — Разнотык. Совершенный разнотык. Могут расстрелять. И за что же, господи, расстрелять? В темницу ввергли и расстреляли. Ругал, скажут, государственную власть, поносил... Да ведь никто же не слышал... Малашкин это. Малашкин это донес. Ох, Малашкин, убийца. Этакую штуку ведь сказал: почетный, говорит, гражданин и барин... Ага, скажут, барин... Поставьте-ка, скажут, барина харей к стенке... А ведь я, может быть, всей душой и не касаюсь политики...»

Господа народные заседатели, чувствуя к искусству Мельпомены, которая... и не касаясь политики... с детских лет по переживаниям.

Плохо. Очень просто, что расстреляют. Мамаша покойная плакала: кончи, говорит, Васенька, гимназию — по юридической пойдешь... Так нет — в актеры. А очень великолепно

но по юридической. Дескать, господа народные заседатели, пожалуйста».

Решил актер, что расстреляют его непременно. И с тем заснул.

А ночью пришли к нему люди в красных штанах. Надели на голову дурацкий колпак и за ногу потащили по лестнице.

Актер кричал диким голосом:

— За что же за ногу? Господа народные заседатели, за что же за ногу?

А утром проснулся актер и похолодел.

«Сегодня конец... А, может, и не жалко жизни. А ведь и не жалко жизни. Да только Машенька придет. Машенька плакать будет. А он у стенки встанет. В подвале. Не завязывайте, скажет, глаза, не надо. Все. С детских лет, господа народные судьи...»

В серо-заляпанное окно бил дождь. И капли дождя сбегали по стеклу и мучили актера.

Старуха тихо сидела на койке и бездумно смотрела в окно. А черный человек ходил меж койками и все свое, все свое:

— И ведь, господа, не для цели торговли, для цели — матери.

6. Конец старухи

Через три дня их выпустили. Да, открыли камеру и выпустили.

— Идите, — сказали, — куда пожелаете.

И вышли они на улицу.

Тихонько мышью вернулась старуха домой и заперлась в комнате. А томно-похудевший актер ходил до вечера по знакомым и говорил трагически:

— Поставили меня, а я такое: не завязывайте, говорю, глаза, не надо. Курки щелкнули гулко. Только вдруг вбегает черный такой человек. Этого, говорит, помиловать, остальных казнить. И руку мне пожал. Извините, говорит, что так вышло.

А вечером к актеру Машенька пришла. Актер плакал и целовал Машенькины пальцы.

— Оборвалось, — говорил, — Машенька, что-то в душе. Надломилось. Не тот я теперь человек. Не нужно мне ни славы, ни любви. Познал жизнь воистину. Раньше многое терпел в достижении высокой цели. Славы жаждал. А теперь, Машенька, уйду со сцены — ни любви, ни славы не нужно. Раньше терпел от Зарницына. Прохвост Зарницын, Машенька. Думает — режиссер, так и все позволено. Гм, руки, говорит, зачем плетью держите. Эх, Машенька, усилить нужно, трагизм положения усилить нужно. Положи руки в карман — шутовство и комедия. Не понимают. Терпел, а сейчас не могу. Пропал я, Машенька. Жизнь познал и смерти коснулся. И умри я, Машенька, ничто не изменится.

Ночью, когда актер целовал Машеньку и говорил, что еще прекрасна жизнь и еще радость и слава впереди, ночью за стеной тихо померла старуха.

И никто не удивился и не пожалел, напротив, улыбнулись: одной, дескать, старушкой меньше. А похоронили старуху не на Смоленском, где было местечко заказано, а почему-то на Митрофаньевском.

ЛЯЛКА ПЯТЬДЕСЯТ

I

И какой такой чудака сказал, что в Питере жить плохо? Замечательно жить. Нигде нет такого веселья, как в Питере. Только были бы денежки. А без денег... Это точно, что пропадешь без денег. И когда же придет такое великолепное время, что человеку все будет бесплатно?

По вечерам на Невском гуляют люди. И не так чтобы прогулкой, а на углу постоят, полюбопытствуют на девочек, пройдут по-весеннему — танцуют ноги, и на угол снова... И на каждый случай нужны денежки. На каждый случай особый денежный расчет...

— Эх, подходи, фартовый мальчик, подходи! Угощай папирсочкой...

Не подойдет Максим. У Максима дельце есть на прицеле. Ровнехонько складывается в голове, как и что. Как начать и себя как повести. У Максима замечательное дельце. Опасное. Не засыпется Максим — холодок аж по коже — в гору пойдет. Разбогатеет это ужасно как. Ляльку Пятьдесят к себе возьмет. Вот как. И возьмет.

Очень уж замечательная эта Лялька Пятьдесят. Деньги она обожает — даст Максим ей денег. Не жалко. Денег ей много нужно — верно. Такой-то немало денег нужно. Ковер, пожалуйста, на стене, коврище на полу, а в белой клетке — тропическая птица попугай. Сахар жрет... Хе-хе...

Конешно, нужны денежки. Нужны, пока не пришло человеку бесплатное время.

А Лялька Пятьдесят легка на помине. Идет — каблучками постукивает.

— Здравствуй, Ляля Пятьдесят... Каково живешь? Не узнала, милая?

Узнала Лялька. Как не узнать — шпана известная... Только корысти-то нет от разговоров. У Ляльки дорога к Невскому, а у Максима, может, в другую сторону.

Нелюбезная сегодня Лялька. В приятной беседе нет ей удовольствия. Не надо.

Подошел Максимка близко к ней, в ясные глазки посмотрел.

— Приду, — сказал, — к тебе вечером. С большими деньгами. Жди — поджидай.

Улыбнулась, засмеялась Лялька, да не поверила. Дескать, врет шпана. И зачем такое врет? Непонятно.

Но, прощаясь, на всякий случай за ручку подержалась.

Пошел Максим на Николаевскую, постоял у нужного дома, а в голове дельце все в тонкостях. Отпусти, скажет, бабка Авдотья, товарцу на десять косых. Отпустит бабка, а там как по маслу. Не будет никакого заскока. А заскока не будет — так придет Максимка к Ляльке Пятьдесят. Выложит денежки... «Бери, — скажет, — пожалуйста. Не имею к деньгам пристрастия. Бери за поцелуй пачечку...»

А Лялька в это время вышла к Невскому, постояла на углу, покачала бедрами, потопала ножками, будто чечетку пляшет, и сразу заимела китайского богача.

Смешно, конечно, что китайского ходю.

Любопытно даже. Да только по-русски китаец говорит замечательно.

— Пойду, — говорит, — к тебе, красивая.

II

Написано мелом на дверях: портной. Да только нет здесь никакого портного. И никогда и не было. А живет здесь Авдотья спекулянтка. У ней закрытое мелочное заведение. Она и написала мелом на дверях для отвода глаз.

К этой-то бабке Авдотье и пошел Максим.

В дверь, где мелом «портной» сказано, постучал условно.

А когда открыли ему дверь — так сразу покосился весь Максимкин план. Не Авдотья, а муж бабки Авдотьи стоял перед Максимом.

Шагнул Максим за порог, лопочет непонятное. Сам воображает, как и что. Покосился план, да и только. Не вовремя приехал чертов муж...

Говорит Максимка глупые слова:

— Отпусти, — говорит, — бабка Авдотья, на десять косых...

Усмехнулся бабкин муж и в комнату пошел.

А Максим за ним.

Бабкин муж веса ставит, а Максимка примеряет: как и что. Да только покосился план, мыслимо ли сразу лазеечку найти. А бабкин муж интересуется:

— Какого же тебе товарцу, кавалер?

— Разного товарцу отпусти...

— Из кисленького, может быть, — интересуется, — капустачки?

— Из кисленького, бабка Авдотья.

Стал тут бабкин муж капусту класть из кадочки, а Максим метнул сюда-туда глазом. Максим схватил гирьку и трехфунтовой гирькой тюкнул по голове бабкиного мужа.

Рухнул бабкин муж у кадочки. В руке вилка. На вилке капуста.

А Максим к прилавку. На прилавке — ящик с деньгами. Шарит Максим — в пальцах дрожь. Вытащил деньги, да маловато денег. Где же такое денежки?

Роет Максим по комнате — нету денег. А в руки все ненужное лезет, — гребенка, например, или блюдечко.

— Тьфу, бес, — где же денежки?

А в дверь на лестнице кто-то постучал условно.

Прикрыл Максим бабкиного мужа рогожкой. И к двери подошел. Слушает. Открыть, не открыть? Открою. Сердце успокоил и дверь открыл.

Малюсенький вошел старичок и тоненько сказал:

— Бабку бы Авдотью мне...

А Максим старичку такое:

— Нету, старичок, Авдотьи. Иди себе с богом. Иди, сделай милость.

Сказал это и видит: гирька трехфунтовая в руке. Испугался Максим, что старичок гирьку заметит, пихает ее в карман, прячет гирьку-то, а старичок бочком, бочком и протискался тем временем в комнату.

— Подожду, — говорит, — бабу Авдотью. У бабки Авдотьи славная картошечка... Э, да у ней и капуста, наверное, славная. Да. Ей-богу, славная капуста...

И такой говорун, научный старичок, Максимке бы с мыслями собраться, а старичок такое:

— Ну, хорошо, человеку все бесплатно... Согласен. Да только, на мой научный взгляд, общественное питание — это уж, извините, это сущий вздор и совершенно ложные слова. На все согласен, а тут уж к бабу Авдотье пойду. Не могу... Извините... Я, скажем, головой поработал — рыбки захотел: фосфор в рыбке. Ты языком поболтал — молочную тебе диету... А вы говорите — общественное питание. Из корыта... Да-с, молодой человек, на все соглашусь, а уж бабу Авдотью мне оставьте... Совершенно ложные слова.

— Да я ничего, — оробел Максимка.

И в коридор вышел. А там на лестницу, да по лестнице да вниз через три ступеньки.

На улицу вышел, нащупал деньги в кармане.

— Эх, мало денег! Где ж такое были денежки?

И пошел покачиваясь.

III

— Эй, подходи, фартовый мальчик, подходи!

— Угощай папиросочкой...

Не полюбопытствовал Максим на девочек.

Встал Максим на углу и к окну прислонился.

Убить не убил человека и по голове ведь не шибко тюкнул, да человеку вредно, человека жаль...

Постоял Максим и подумал, а мысли-то уж все веселые идут.

Глядит Максим королем на всех. Глазами ищет Ляльку Пятьдесят. Да нету Лялечки.

А на углу белокуренькая папиросочкой дымит и Максиму улыбается. На ней высокие сапожки до колен и шелковая юбочка фру-фру... Повернется — шумит и засмеется — шумит.

Зашумела и без слова к Максиму подошла. Подошла и тихо за руку взяла.

Да вдруг как зашумело все, затопало.

— Облава, дамочки, — вскричала белокуренькая и от Максима в сторону, в железные ворота.

За белокуренькой шагнул Максим, а на Максима человек. Весь в шпорах. Шпорами бренчит, саблей стучит, а в руке пятизарядный шпалер.

Задрожал Максим и пустился бежать.

И бежит и бежит Максим. Гремит сердце. Через Лиговку бежит — на него забор. Максим через забор, а в ноги кучи. Через кучи Максим... Пробежал еще и свалился в грязь. Да не сам свалился.

— Подножка, — сказал Максим и потрогал денежки.

А на Максима Черный вдруг надел. И мало того, что надел, а еще и душит.

— Пусти, — хрипло сказал Максим, — пусти... дышать трудно.

И Черный отпустил его слегка.

Сидит Черный на Максимке и разговаривает:

— Бежит, вижу, человек по кучам. Стой, думаю. Даром не побежит. Спасибо. Либо вор, либо от вора... Даешь денежки.

А сам уж по карманам шарит.

Ох, вытащил пачечку. Ох, вытащил другую. Ох, опять душил, сатана.

— А это что?

— Гирька, — сказал Максим и вспомнил бабкиного мужа.

— Гирька, — усмехнулся Черный и стукнул гирькой по Максимовой голове. — Беги теперь, да не оглядывайся. Беги, шпана, говорю... Стой. Гирьку позабыл. На гирьку.

Взял гирьку Максим и побежал. Пробежал немного и сел на кучу. Зачем же человека бить по голове!

IV

Посидел Максим на куче, унял сердце и в город пошел. Нужно бы домой, а ноги на Гончарную идут к Ляльке Пятьдесят. Идет Максим на Гончарную. На улицах пусто. И в сердце пусто...

А вот и Лялькин белый дом.

— Здравствуй, Лялькин милый дом.

Поднялся Максим и постучал и к Ляльке в комнату вошел. На стене ковер, на полу коврище, а в белой клетке попугай. А Лялька сидит на китайских коленях, ерошит ручкой китайские усы.

— Принес? — спросила Лялька и к Максиму подошла.

— Принес, — сказал Максим тихо. — Гони только китайскую личность. Смотреть трудно...

А китаец по-русски понимал замечательно. Обиделся и встал. И чашечку с кофеем на пол выплеснул.

— Зачем же, — говорит, — выносить такую резолюцию? Уйду и денег не заплачу.

Ушел китаец и дверкой стукнул. Максим тут к Ляльке подошел. К Ляльке наклонился и Ляльке целует щеку.

— Нет у меня денег, Лялька Пятьдесят.

— А, — вскричала Лялька Пятьдесят, — денег нет?

— Нету денег. Пожалей меня, Лялька! Очень мне трудно, без денег, пожалей, ну, скажи, что жалко.

Как закричала тут Лялька:

— А китайские убытки кто возместит?

— Есть в тебе сердце? — сказал Максим и на коврище сел и Лялькины ноги обхватил. — Есть ли сердце, спрашиваю? Птицу жалеешь? Жалеешь попку?

Как ударила тут Лялька Пятьдесят Максима — помутилось все.

Охнул Максим. Охнул, и с полу поднялся. Гирьку нашупал в кармане. Вытащил гирьку, хотел ударить по Лялькиной голове, да не ударил. Рука не посмела.

Замахнулся Максим и ударил по птичьей клетке.

Ужасно тут закричал попугай, и тонко закричала Лялька. А Максим бросил гирьку и снова на коврище сел.

— Ну, скажи, что жалко, Лялька Пятьдесят!

РАССКАЗЫ НАЗАРА ИЛЬИЧА ГОСПОДИНА СИНЕБРЮХОВА

Предисловие

Я такой человек, что все могу... Хочешь — могу землишку обработать по слову последней техники, хочешь — каким ни на есть рукомеслом займусь, — все у меня в руках кипит и вертится.

А что до отвлеченных предметов, — там, может быть, рассказ рассказать, или какое-нибудь тоненькое дельце выяснить, — пожалуйста: это для меня очень даже просто и великолепно.

Я даже, запомнил, людей лечил.

Мельник такой жил-был. Болезнь у него, можете себе представить, — жаба болезнь. Мельника того я лечил. А как лечил? Я, может быть, на него только и глянул. Глянул и говорю: да, говорю, болезнь у тебя жаба, но ты не горюй и не пугайся, — болезнь эта внеопасная, и даже прямо тебе скажу — детская болезнь.

И что же? Стал мой мельник с тех пор круглеть и розоветь, да только в дальнейшей жизни вышел ему перетык и прискорбный случай...

А на меня многие очень удивлялись. Инструктор, товарищ Рыло, это еще в городской милиции, тоже очень даже

удивлялся. Бывало придет ко мне, ну, как к своему задушевному приятелю:

— Ну, что, — скажет, — Назар Ильич, товарищ Синябрюхов, не богат ли будешь печеным хлебцем?

Хлебца, например, я ему дам, а он сядет, запомнил, к столу, пожует-покушает, ручками этак вот раскинет.

— Да, — скажет, — погляжу я на тебя, господин Синябрюхов, и слов у меня нет. Дрожь прямо берет, какой ты есть человек. Ты, говорит, наверное, даже державой управлять можешь.

Хе-хе, хороший был человек инструктор Рыло, мягкий.

А то начнет, знаете ли, просить: расскажи ему что-нибудь такое из жизни. Ну, я и рассказываю.

Только, безусловно, насчет державы я никогда и не задавался: образование у меня, прямо скажу, никакое, а домашнее. Ну, а в мужицкой жизни я вполне драгоценный человек. В мужицкой жизни я очень полезный и развитой.

Крестьянские эти дела-делишки я уж как понимаю. Мне только и нужно раз взглянуть как и что.

Да только ход развития моей жизни не такой.

Вот теперь, где бы мне хозяином пожить в полное свое удовольствие, я крохобором хожу по разным гиблым местам, будто преподобная Мария Египетская.

Да только я не очень горюю. Я вот теперь дома побывал и нет — не увлекаюсь больше мужицкой жизнью.

Что ж там? Бедность, блекота и слабое развитие техники.

Скажем вот про сапоги.

Были у меня сапоги, не отпираюсь, и штаны, очень даже великолепные были штаны. И, можете себе представить, сгнули они — аминь — во веки веков в собственном своем домишке.

А сапоги эти я двенадцать лет носил, прямо скажу, в руках. Чуть какая мокрень или непогода — разуюсь и хлюпаю по грязи... Берегу.

И вот сгнули...

А мне теперь что? Мне теперь в смысле сапог — труба.

В германскую кампанию выдали мне сапоги штаблетами — блекота. Смотреть на них грустно. А теперь, скажем, жди. Ну, спасибо, война, может, произойдет — выдадут. Да только нет, годы мои вышли и дело мое на этот счет гиблое.

А все, безусловно, бедность и слабое развитие техники.

Вот для наглядности сюжета взять иностранную державу, ну, скажем Америку... Хорошо-с... Взяли: идет человек по улице, мужик американский, такой же, как и не я... Пальтишко на нем деми-сезон. Шляпка, полусапожки, может быть, замечательные...

Подходит он демонстративно к стене, поворачивает какую-нибудь там еле зримую фитюльку и:

— Ало? — говорит, — откеда?

Говорит, а сам по камню так и точет нарочно каблучком, не боится, жаба, что сапог испортит.

Ему что? Там богатство и жизненное великолепие Европы. А у нас бедность и блекота.

Ну, а рассказы мои, безусловно, из жизни и все воистинная есть правда.

Великосветская история

Фамилией бог меня обидел — это верно: Синебрюхов, Назар Ильич.

Ну, да обо мне речь никакая, — очень я даже посторонний человек в жизни. Но только случилось со мной великосветское приключение и пошла оттого моя жизнь в разные стороны, все равно, как вода, скажем, в руке — через пальцы, да и нет ее.

Принял я и тюрьму, и ужас смертный, и всякую гнусь... Да только все, может, впустую... Нету здесь такого человека, молодого князя вашего сиятельства.

Может, и ушел он из России вон, а может, и неживой теперь — казнь принял.

Так-то вот!

Был у меня задушевный приятель. Ужасно образованный человек, прямо скажу — одаренный качествами. Ездил он по разным иностранным державам в чине камендинера, понимал он даже, может, по-французскому и виски иностранные пил, а был такой же, как и не я, все равно — рядовой гвардеец пехотного полка.

На германском фронте в землянках, бывало, удивительные даже рассказывал происшествия и исторические всякие там вещички.

Принял я от него немало. Спасибо! Многое через него узнал и дошел до такой точки, что случилась со мной гнусь всякая, а сердцем я и по сей час бодрюсь.

Знаю: Пипин Короткий... Встречу, скажем, человека и спрошу: а кто за есть такой Пипин Короткий?

И тут-то и вижу всю человеческую образованность, все равно как на ладони. Да только не в этом штука.

Было тому... сколько?... четыре года взад. Призывает меня ротный командир в чине — гвардейский поручик и князь ваше сиятельство. Ничего себе. Хороший человек.

Призывает. Так мол и так, говорит, очень я тебя, Назар, уважаю и вполне ты прелестный человек... Сослужи, говорит, мне еще одну службишку.

Произошла, говорит, февральская революция. Отец староватенький, и очень я даже беспокоюсь по поводу недвижимого имущества. Поезжай, говорит, к старому князю в родное имение, передай вот это самое письмишко в самые то есть его ручки и жди, что скажет. А супруге, говорит, моей, прекрасной полячке Виктории Казимировне, низынько поклонись в ножки и ободрь каким ни на есть словом. Исполни, говорит, это для ради бога, а я, говорит, осчастливорю тебя суммой и пушу в несрочный отпуск.

— Ладно, — отвечаю, — князь ваше сиятельство, спасибо за ласку, только, может, я и не стою таких ваших слов.

А у самого сердце огнем играет: эх, думаю, как бы это исполнить.

А был князь ваше сиятельство со мной все равно как на одной точке. Уважал меня по поводу незначительной даже истории. Конечно, я поступил геройски. Это верно.

Стою раз преспокойно на часах у княжешей земляночки на германском фронте, а князь ваше сиятельство пирует с приятелями. Тут же между ними, запомнил, сестричка милосердия.

Ну, конечно: игра страстей и разнузданная вакханалия...
А князь ваше сиятельство, из себя пьяненький, песни играет.

Стою. Только слышу вдруг шум в передних окопчиках.
Шибко так шумят, а немец, безусловно, тихий, и будто вдруг атмосферой на меня пахнуло.

«Ах ты, — думаю, — так твою так — газы!»

А поветрие легонькое этакое в нашу, в русскую сторону.

Беру преспокойно зелинскую маску (с резиной), избегаю
в земляночку...

Так, мол, и так, кричу, князь ваше сиятельство, дыши че-
рез маску — газы.

Очень тут произошел ужас в земляночке.

Сестричка милосердия — бяк, с катушек долой, — мерт-
вая падаль.

А я сволок князеньку вашего сиятельства на волю, кост-
рик разложил по уставу. Зажег. Лежим, не трепыхнемся...
Что будет... Дышим.

А газы... Немец — хитрая сука, да и мы, безусловно, тон-
кость понимаем: газы не имеют права осесть на огонь.

Газы туды и сюды крутятся, выскивают нас-то... Сбоку
да с верхов так и лезут, так и лезут клубом, вынюхивают...

А мы, знай, полеживаем да дышим в маску...

Только прошел газ, видим — живые.

Князь ваше сиятельство лишь малехонько поблевал,
вскочил на ножки, ручку мне жмет, восторгается.

— Теперь, — говорит, — ты, Назар, мне все равно как
первый человек в свете. Иди ко мне вестовым, осчастливь.
Буду о тебе пекчись.

Хорошо-с. Прожили мы с ним цельный год прямо-таки замечательно.

И вот тут-то и случилось: засылает меня ваше сиятельство в родные свои места.

Собрал я свое барахлишко.

«Исполню, — думаю, — показанное, а там — к себе. Все-таки дома, безусловно, супруга нестарая и мальчишек».

Хорошо-с. В город Смоленск прибыл, а оттуда славным образом на пароходе на пассажирском в родные места старого князя.

Иду — люблюсь. Прелестный княжеский уголок и чудное, запомнил, заглавие — вилла «Забава».

Вспрашиваю: здесь ли, говорю, проживает старый князь ваше сиятельство? Я, говорю, очень по самонужнейшему делу с собственноручным письмом из действующей армии.

Это бабенку-то я спрашиваю.

А бабенка:

— Вон, — говорит, — старый князь ходит грустный из себя по дорожкам.

Безусловно: ходит по садовым дорожкам ваше сиятельство.

Вид, смотрю, замечательный — сановник, светлейший князь и барон. Бородища баками пребелая-белая. Сам хоть и староватенький, а видно, что крепкий.

Подхожу. Рапортую по-военному. Так, мол, и так, совершилась, дескать, февральская революция, вы, мол, староватенький и молодой князь ваше сиятельство в совершенном расстройстве по поводу недвижимого имущества. Сам же, говорю,

жив и невредимый и интересуется, каково проживает молодая супруга, прекрасная полячка Виктория Казимировна.

Тут и передаю секретное письмишко.

Прочел это он письмишко.

— Пойдем, — говорит, — милый Назар, в комнаты. Я, говорит, очень сейчас волнуясь... А пока — на, возьми, от чистого сердца рубль.

Тут вышла и представилась мне молодая супруга Виктория Казимировна с дитей.

Мальчик у ней — сосун млекопитающийся.

Поклонился я низынько, спрашиваю, каково живет ребеночек, а она будто нахмурилась.

— Очень, — говорит, — он нездоровый, ножками крутит, брюшком пухнет, — краше в гроб кладут.

— Ах ты, — говорю, — и у вас, ваше сиятельство, горе такое же человеческое.

Поклонился я в другой раз и прошусь вон из комнаты, потому понимаю, конечно, свое звание и пост.

Собрались к вечеру княжие люди на паужин. И я с ними.

Харчим, разговор поддерживаем. А я вдруг и спрашиваю:

— А что, — говорю, — хорош ли будет старый князь ваше сиятельство?

— Ничего себе, — говорят, — хороший, только не иначе как убьют его скоро.

— Ай, — говорю, — что сделал?

— Нет, — говорят, — ничего не сделал, вполне прелестный князь, но мужички по поводу февральской революции беспокоятся и хитрят.

Тут стали меня, безусловно, про революцию спрашивать. Что к чему.

— Я, — говорю, — человек неосвещенный. Но произошла, говорю, февральская революция. Это верно. И низвержение царя с царицей. Что же в дальнейшем — опять, повторю, не освещен. Однако, произойдет отсюда людям немалая, думаю, выгода.

Только встает вдруг один, запомнил, из кучеров. Злой мужик. Так и язвит меня.

— Ладно, — говорит, — февральская революция. Пусть. А какая такая революция? Наш уезд, если хочешь, весь не освещен. Что к чему и кого бить не показано. Это, говорит, допустимо? И какая такая выгода? Ты мне скажи, какая такая выгода? Капитал?

— Может, — говорю, — и капитал, да только нет, зачем капитал? Не иначе как землишкой разживетесь.

— А на кой мне, — ярится, — твоя землишка, если я буду из кучеров? А?

— Не знаю, — говорю, — не освещен. И мое дело — сторона.

А он говорит:

— Недаром, говорит, мужички беспокоятся — что к чему... Старосту Ивана Костыля побили ни за про что, ну, и князя, безусловно, кончат.

Так вот поговорили мы славным образом до вечера, а вечером ваше сиятельство меня кличут. Усадили меня, запомнил, в кресло, а сами такое:

— Я, — говорит, — тебе, Назар, по прямому: тени я не люблю наводить, так и так, мужички не сегодня-завтра пой-

дут жечь имение, так нужно хоть малехонько спасти. Ты, мол, очень верный человек, мне же, говорит, не на кого положиться... Спаси, говорит, для ради бога положение.

Берет тут меня за ручки и водит по комнатам.

— Смотри, — говорит, — тут саксонское серебро черное и драгоценный горный хрусталь и всякие, говорит, золотые излишества. Вот, говорит, какое богатое добрище, а все пойдет, безусловно, прахом и к чертовой бабушке.

А сам шкаф открывает — загорюется.

— Что ж, — говорю, — ваше сиятельство, я не причинен.

А он:

— Знаю, — говорит, — что не причинен, но сослужи, говорит, милый Назар, предпоследнюю службу: бери, говорит, лопату и изрой ты мне землю в гусином сарае. Ночью, говорит, мы схороним что можно и утопчем ножками.

— Что ж, — отвечаю, — ваше сиятельство, я хоть человек и неосвященный, это верно, а мужицкой жизнью жить не согласен. И хоть в иностранных державах я не бывал, но знаю культуру через моего задушевного приятеля, гвардейского рядового пехотного полка. Утин его фамилия. Я, говорю, безусловно, согласен на это дело, потому, говорю, если саксонское черное серебро, то по иностранной культуре совершенно невозможно его портить.

А сам тут хитро перевожу дело на исторические вещички.

Испытываю, что за есть такой Пипин Короткий.

Тут и высказал ваше сиятельство всю свою высокую образованность.

Хорошо-с...

К ночи, скажем, уснула наипоследняя собака. Беру лопату — и в гусиный сарай.

Место ощупал. Рою.

И только берет меня будто жуть какая. Всякая то есть гнусь и невидаль в воспоминанье лезет.

Копну, откину землишку — потею и рука дрожит. А умершие покойники так и представляются, так и представляются...

Рыли, помню, на австрийском фронте окопчики и мертвое австрийское тело нашли...

И зрим: когти у покойника предлинные-длинные, больше пальца. Ох, думаем, значит растут они в земле после смерти. И такая на нас, как сказать, жуть напала — смотреть больно. А один гвардеец дерг да дерг за ножку австрийское мертвое тело... Хороший, говорит, заграничный сапог, не иначе, как австрийский... Любуется и примеряет в мыслях и опять дерг да дерг, а ножка в руке и осталась.

Да-с. Вот такая-то гнусь мертвая лезет в голову, но копаю самосильно, принуждаюсь. Только вдруг как зашуршит что-то в углу. Тут я и присел.

Смотрю: ваше сиятельство с фонарчиком лезет — беспокоится.

— Ай, — говорит, — ты умер, Назар, что долго? Берем, говорит, сундучки поскорейча — и делу конец.

Принесли мы, запомнил, десять претяжеленных-тяжелых сундучков, землей закрыли и умяли ножками.

К утру выносит мне ваше сиятельство двадцать пять целковеньких, любуется мной и за ручку жмет.

— Вот, — говорит, — тут письмишко к молодому вашему сятельству. Рассказан тут план местонахождения клада.

— Поклонись, — говорит, — ему — сыну и передай родительское благословение.

Оба тут мы полюбовались друг другом и разошлись.

Домой я поехал... Да тут опять речь никакая.

Только прожил дома почти-то два месяца и возвращаюсь в полк. Узнаю: произошли, говорят, события, отменили воинскую честь и всех офицеров отказали вон. Вспрашиваю: где ж такое ваше сятельство?

— Уехал, — говорят, — а куда — неизвестно.

Хорошо-с...

Штаб полка.

Являюсь по уставу внутренней службы. Так и так, рапортовую, — из несрочного отпуска.

А командир, по выбору, прапорщик Лапушкин — бяк меня по уху.

— Ах, ты, — говорит, — княжий холуй, снимай, говорит, собачье мясо, воинские погоны!

Здорово, думаю, бьется прапорщик Лапушкин, сволочь такая...

— Ты, — говорю, — по морде не бейся. Погоны снять — сниму, а драться я не согласен.

Хорошо-с.

Дали мне, безусловно, вольные документы по чистой, и...

— Катись, — говорят, — колбаской.

А денег у меня, запомнил, ничего не было, только рубль дарёный, зашитый в ватной жилете.

«Пойду, — думаю, — в город Минск, разживусь, а там поищу вашего сиятельства. И осчастливит он меня капиталом».

Только иду нешибко лесом, слышу — кличет кто-то.

Смотрю — посадские. Босые босячки. Крохоборы.

— Куда, — спрашивают, — идешь-катишься, военный мужичок?

Отвечаю смиренномудро:

— Качусь, говорю, в город Минск по личной своей потребности.

— Тек-с, — говорят, — а что у тебя, скажи, пожалуйста, в вещевом мешечке?

— Так, — отвечаю, — кое-какое свое барахлишко.

— Ох, — говорят, — врешь, худой мужик!

— Нету, воистинная моя правда.

— Ну, так объясни, если на то пошло, полностью свое барахлишко.

— Вот, — объясняю, — теплые портянки для зимы, вот запасная блюза гимнастеркой, штаны кой-какие...

— А есть ли, — спрашивают, — деньги?

— Нет, — говорю, — извините худого мужика, денег не припас.

Только один рыжий такой крохобор, конопатый:

— Чего, — говорит, — агитировать: становись (это мне то есть), становись, примерно, вон к той березе, тут мы в тебя и штрельнем.

Только смотрю — нет, не шутит. Очень я забеспокоился смертельно, но отвечаю негордо:

— Зачем, отвечаю, относишься с такими словами? Я, говорю, на это совершенно даже не согласен.

— А мы, — говорят, — твоего согласия не спросим, нам, — говорят, — на твое несогласие ровно даже начихать. Становись и все тут.

— Ну, хорошо, — говорю, — а есть ли вам от казни какая корысть?

— Нет, корысти, — говорят, — нету, но мы, говорят, для ради молодечества казним, дух внутренний поддержать.

Одолел тут меня ужас смертный, а жизнь прельщает наслаждением. И совершил я уголовное преступление.

— Убиться я, — говорю, — не согласен, но только послушайте меня, задушевные босячки: имею я безусловно, при себе тайну и план местонахождения клада вашего сиятельства.

И привожу им письмо.

Только читают, безусловно: гусиный сарай... саксонское серебро... план местонахождения.

Тут я оправился, «путь, думаю, неблизкий, дам теку».

Хорошо-с...

А босячки:

— Веди, — говорят, — нас, если на то пошло, к плану местонахождения клада. Это, говорят, тысячное даже дело. Спасибо, что мы тебя не казнили.

Очень мы долго шли, две губернии, может, шли, где ползком, где леском, но только пришли в княжескую виллу

«Забава». А только теку нельзя было дать — на ночь вязали руки и ноги.

«Ну, — думаю, — быть беде — уголовное преступление против вашего сиятельства».

Только узнаем: до смерти убит старый князь ваше сиятельство, а престланная полячка Виктория Казимировна уволена вон из имения.

А в имении заседает, дескать, комиссия.

Хорошо-с.

Разжились инструментом и к ночи пошли на княжий двор.

Показываю босячкам:

— Вот, — говорю, — двор вашего сиятельства, вот коровий хлев, вот пристрочки всякие, а вот и...

Только смотрю — нету гусяного сарая.

Быдто должен где-то тут существовать, а нету.

«Фу, ты, — думаю, — так твою так...»

Идем обратно.

— Вот, — говорю, — двор вашего сиятельства, вот хлев коровий...

Нету гусяного сарая. Прямо-таки нету гусяного сарая. Обижаться стали босячки. А я аж весь двор объелозил на брюхе и смотрю, как бы уволиться. Да за мной босячки — пугаются, что, дескать, сбегу.

Пал я тут на колени:

— Извините, — говорю, — худого мужика, — водит нас нечистая сила. Не могу признать местонахождения.

Стали тут меня бить босячки инструментами по животу и по внутренностям. И поднял я крик очень ужасный.

Хорошо-с.

Сбежались хрестьяне и комиссия.

Выяснилось: клад вашего сиятельства, а где — неизвестно.

Стал я богом божиться — не знаю, мол, что к чему, приказано, дескать, передать письмишко, а я не причинен.

Пока крестьяне рассуждали, что к чему, и солнце встало.

Только смотрю: светло и, безусловно, нет гусяного сарая. Вижу: кой-то разорил на слом гусиный сарай. «Ну, думаю, хорошо. Больно хорошо. Молчи теперь, помалкивай, Назар Ильич господин Синебрюхов».

А очень тут разгорелась комиссия. И какой-то, запомнил, советский комиссар так и орет горлом, так и прет пузом на меня...

— Ты, — говорю, — смотри пузом на меня не при, потому я, безусловно, не причинен.

А он:

— Это — говорит, — дело уголовное и статья, говорит, есть такая... Рой, кричит, хрестьянские товарищи, землишку, выколачивай все сарай, выискивай на мою голову.

Разошлись все, безусловно, по сараям, копают — свист идет, а, безусловно, ничего нету. А босячки мои сгрудились — сиг через забор, — только их и видели.

А меня скрутили, связали руки, ударили нешибко по личности и отвезли в тюрьму. А посла на общественных работах мурыжили год.

А нашли клад или не нашли — я не знаю. Я в тех местах больше не бывал.

Виктория Казимировна

В Америке я не бывал и о ней, прямо скажу, ничего не знаю.

А вот из иностранных держав про Польшу знаю. И даже могу ее разоблачить.

В германскую войну я три года ходил по польской земле... И нет, не люблю я полячишек. В натуре у них, знаю, всякие хитрости.

Скажем — баба. Ихняя баба в руку целует. Только взойдешь в халупу:

— Ниц нема, пан...

И сама, стерва, в руку.

Русскому человеку это невозможно.

Мужик ихний — безусловно, хитрая нация. Ходит всегда чисто, бороденка бритая, денежку копит.

Нация их и теперь выясняется. Скажем: Верхняя Силезия... Зачем, пожалуйста, полячку Верхняя Силезия? Зачем же издеваться над германской расой?

Ну, хорошо, живи отдельной державой, имей свою денежную единицу, а к чему же еще такое несбыточное требование?

Нет, не люблю я полячишек...

А вот поди ж ты: встретил польскую паненку — и такая у меня к Польше симпатия пошла, лучше, думаю, этого народа и не бывает.

Да только ошибся.

Нашло на меня, прямо скажу, такое чудо, такой туман: что она, прелестная красавица, ни скажет, то я и делаю.

Убить человека я, скажем, не согласен — рука дрогнет, а тут убил, и другого, престарелого мельника, убил. Хоть и не своей рукой, да только путем своей личной хитрости.

А сам, подумать грустно, ходил легкомысленно жениш-ком прямо около нее, бороденку даже подстриг и в подлую ее ручку целовал.

Было такое польское местечко Крево. На одном конце — пригорок — немцы окопались. На другом — обратно пригорок — мы окопчики взрыли, и польское это местечко Крево осталось лежать между окопчиками в овраге.

Польские жители, конечно, уволились, а которые хозяева и, как бы сказать, добришко кому покинуть грустно — остались. И как они так существовали — подумать странно.

Пуля так и свистит, так и свистит над ними, а они — ничего, живут себе прежней жизнью.

Ходили мы к ним в гости.

Бывало в разведку либо в секрет, а уж по дороге, безусловно, в польскую халупу.

К мельнику все больше ходили.

Мельник такой существовал престарелый. Баба его сказывала: имеет, говорит, он деньжонки капиталом, да только не говорит где. Будто обещал сказать перед смертью, а пока чегой-то пугается и скрывает.

А мельник, это точно, скрывал свои деньжонки.

В задушевной беседе он мне все и высказал. Высказал, что желает перед смертью пожить в полное семейное удовольствие.

— Пусть, — говорит, — они меня такого-то малехонько побалуют, а то скажи им, где деньжонки — оберут как липку и бросят за свои любезные, даром что свои родные родственники.

Мельника этого я понимал и ему сочувствовал. Да только какое уж там, сочувствовал, семейное удовольствие, если болезнь у него жаба и ноготь, заметил я, синий.

Хорошо-с. Баловали они старичка.

Старик кобенится и фантит, а они так во взор его и смотрят, так перед ним и трепещут, пугаются, что не скажет про деньги.

А была у мельника семья: баба его престарелая, да неродная дочка, прелестная паненка Виктория Казимировна.

Я вот рассказывал великосветскую историю про клад князя вашего сиятельства — все воистинная есть правда: и босячки-крохоборы, и что били меня инструментом, да только не было в тот раз прекрасной полячки Виктории Казимировны. И быть ее не могло. Была она в другой раз и по другому делу... Была она, Виктория Казимировна, дочка престарелого мельника.

И как это вышло? С первого даже дня завязались у нас прелестные отношения... Только, помню, пришли раз к мельнику. Сидим — хихикаем, а Виктория Казимировна все, замечаю, ко мне ластится: то, знаете ли, плечиком, то ножкой.

«Фу, ты, — восхищаюсь, — так твою так — случай».

А сам все же пока остерегаюсь, отхожу от нее да отмалчиваюсь.

Только попозже берет она меня за руку, любит меня мной.

— Я, — говорит, — господин Синебрюхов, могу даже вас полюбить (так и сказала). И уже имею что-то в груди. Только, говорит, есть у меня до вас просьбишка: спасите, говорит, меня для ради бога. Желая, говорит, уйти из дому в город Минск, или еще в какой-нибудь там польский город, потому что — сами видите — погибаю я здесь курам на смех. Отец мой, престарелый мельник, имеет капитал, так нужно выпытать, где хранит его. Нужно мне разжиться деньгами. Я, говорит, против отца не злоупотребляю, но не сегодня-завтра он, безусловно помрет, болезнь у него — жаба, и пугаюсь я, что про капитал не скажет.

Начал я тут удивляться, а она прямо-таки всхлипывает, смотрит в мои очи, любит меня.

— Ах, — говорит, — Назар Ильич господин Синебрюхов, вы — самый здесь развитый и прелестный человек и как-нибудь вы это сделаете.

Хорошо-с. Придумал я такую хитрость: скажу старичку, дескать, выселяют всех из местечка Крево... Он, безусловно, вынет свое добро... Тут мы и заставим его поделить.

Прихожу на завтра к ним, сам, знаете ли, бороденку подстриг, блюзу-гимнастерку новую надел, являюсь прямо-таки парадным женишком.

— Сейчас, — говорю, — Викторичка, все будет исполнено.

Подхожу демонстративно к мельнику.

— Так и так, — говорю, — теперь, говорю, вам, старичок, каюк-компания — выйдет завтра приказ: по случаю военных действий выселить всех жителей из местечка Крево.

Ох, как содрогнется тут мой мельник, как вскинется на постельке... И сам как был в нижних подштанниках — шасть за дверь и слова никому не молвил.

Вышел он на двор и я тихонько следом.

А дело ночное было. Луна. Каждая даже травинка виднеется. И идет он весь в белом, будто шкелет какой, а я за сарайчиком прячусь.

А, немец, помню, что-то тогда постреливал. Только прошел он, старичок, немного, да вдруг как ойкнет. Ойкнет и за грудь скорей. Смотрю — и кровь по белому каплет.

«Ну, — думаю, — произошла беда — пуля».

Повернулся он, смотрю, назад, руки опустил и к дому.

Да только, смотрю, пошел он как-то жутко. Ноги не гнет, сам весь в неподвижности, а поступь грузная.

Забежал я к нему, сам пугаюсь — хватать да хватать его за руку, а рука холодеет, и смотрю: в нем дыханья нет — покойник. И незримой силой взошел он в дом, веки у него закрыты, а как на пол ступит, так пол гремит — земля к себе покойника требует.

Закричали тут в доме, раздались перед мертвецом, а он дошел поступью смертной до постельки, тут и скопился.

И такой в халупе страх настал, — сидим и дышать даже жутко.

Так вот помер мельник через меня и сгинули — аминь во веки веков — его деньжонки капиталом.

А очень тут загрустила Виктория Казимировна. Плачет она и плачет и всю неделю плачет — не сохнут слезы.

А как приду к ней — гонит и видеть меня не может.

Так прошла, запомнил, неделя, являюсь к ней. Слез, смотрю, нету и подступает она ко мне даже любовно.

— Что ж, — говорит, — ты сделал, Назар Ильич господин Синебрюхов? Ты, говорит, во всем виноват, ты теперь и раскаивайся. Достань ты мне хоть с морского дна какой-нибудь небольшой капитал, а иначе, говорит, ты первый для меня преступник, и уйду я, знаю куда, в обоз, — звал меня в любовницы прапорщик Лапушкин и обещал даже золотые часишки браслетой.

Покачал я прегорько головой, дескать откуда мне такому-то разжиться капиталом, а она вскинула на плечи трикотажный платочек, поклонилась мне низынько:

— Пойду, — говорит, — поджидает-ждет меня прапорщик Лапушкин. Прощайте, пожалуйста, Назар Ильич господин Синебрюхов!

— Стой, — говорю, — стой, Виктория! Дай, говорю, срок, — дело это обдумать надо!

— А чего, — говорит, — его думать? Пойди да укради хоть с морского дна, только исполни мою просьбу.

И осенила тут меня мысль.

«На войне, — думаю, — все можно. Будут, может, немцы наступать — пошурую по карманам, если на то пошло».

А вскоре и вышел подходящий случай.

Была у нас в окопах пушечка... Эх, дай бог память — Гочкис заглавие. Морская пушечка Гочкис.

Дульце у ней тонехонькое, снаряд — и смотреть на него глупо, до того незначительный снаряд. А стреляет она всячески не слабо. Стрельнет и норовит взорвать, что побольше.

Над ней и командир был — морской подпоручик Винча. Подпоручик ничего себе, но — сволочь. Бить не бил, но под винтовку ставил запросто.

А очень мы любили эту пушечку и завсегда ставили ее в свой окоп.

Тут, скажем, пулемет, а тут небольшое насаждение из елок и — пушечка. Германии она очень досаждала. В польский костел она била по кумполу, потому был там германский наблюдатель.

По пулеметам тоже била.

И прямо немцам она не давала никакого спасения.

Так вот вышел случай.

Выкрали немцы в ночное время у ней главную часть — затвор. И при том унесли пулемет. И как это случилось — удивительно подумать. Время было тихое, я, безусловно, к Виктории Казимировне пошел, часовой у пушечки вздремнул, а подчасок, сволочь такая худая, в дежурный взвод пошел. Там в картишки играли.

Ну, ладно. Пошел.

Только играет он в карты, выигрывает и, сучий сын, не поинтересуется посмотреть, что случилось.

А случилось: немцы пушечкин затвор стibriли.

К утру только пошел подчасок к пушечке и зрит: лежит часовой, безусловно, мертвый и кругом — кража.

Ох, и было же что тогда!

Морской подпоручик Винча тигрой на меня наскакивает, весь дежурный взвод ставит под винтовку и каждому велит в зубах по карте держать, а подчаску — веером три карты.

А к вечеру едет — волнуется генерал ваше превосходительство.

Ничего себе, хороший генерал.

Взглянул на взвод, и гнев его прошел. Тридцать человек, как один, в зубах по карте держат.

Усмехнулся генерал.

— Выходи, — говорит, — отборные орлы, налетай на немцев, разорь внешнего врага.

Вышли тут, запомнил, пять человек и я с ними. Генерал ваше превосходительство восхищается нами.

— Ночью, — говорит, — летите, отборные орлы. Режьте немецкую проволоку, изыскивайте хоть какой-нибудь пулемет и, если случится, — пушечкин затвор.

Хорошо-с...

К ночи мы и пошли.

Я-то играючи пошел. Мыслишку, во-первых, свою имел, а потом, имейте в виду, жизнь свою я не берег. Я, знаете ли, счастье вынул.

В одна тыща девятьсот, должно быть, что в шестнадцатом году, запомнил, ходил такой черный, люди говорили, румынский мужик. С птицей он ходил. На груди у него — клетка, а в клетке — не попка, — попка та зеленая, — а тут вообще

какая-то тропическая птица. Так она, сволочь такая, ученая, клювом вынимала счастье — кому что. А мне, запомнил, планета Рак и жизнь предсказана до 90 лет.

И еще там многое что предсказано, что — я уж и позабыл, да только все исполнилось в точности.

И тут вспомнил я предсказание и пошел, прямо скажу, гуляючи.

Подошли мы к немецкой проволоке. Темь. Луны еще не было. Прорезали преспокойно лаз. Спустились вниз, в окопчики в германские. Прошли шагов с полста — пулемет — пожалуйста.

Уронили мы германского часового наземь и придушили тут же...

Очень мне это было неприятно, жутковато, и вообще, знаете ли, ночной кошмар.

Хорошо-с.

Сняли пулемет с катков, разобрали кому что: кому катки, кому ящички, а мне, запомнил, подсунули, так их так, самую что ни на есть тяжесть — тело пулемета.

И такой, провались он совсем, претяжеленный был: те налегке — шаг да шаг и скрылись от меня, а я пыхчу с ним — затрудняюсь. Мне бы наверх ползти, да смотрю — проход сообщения. Я в проход сообщения... А из-за угла вдруг германец прездоровенный-здоровенный и наперевес у него винтовка. Бросил я пулемет под ноги и винтовку тоже против него вскинул.

Только чую — германец стрельнуть хочет, голова на мушке.

Другой оробел бы, другой — ух, как оробел бы, а я ничего — стою, не трепыхнусь даже. А поверни я только спину, либо щелкни затвором — тут, безусловно, мне и конец.

Так вот стоим друг против дружки, и всего-то до нас пять шагов. Зрим друг друга глазами и ждем, кто побежит. И вдруг как задрожит германец, как обернется назад... Тут я в него и стрельнул. И вспомнил свою мыслишку. Подполз к нему, пошарил по карману — противно. Ну, да ничего — перевозмог себя, вынул кабаньей кожи бумажник, вынул часишки в футляре (немцы все часишки в футляре носят), взвалил пулемет на плечо и наверх. Дошел до проволоки — нету лаза. Да и мыслимо ли в темноте его найти?

Стал я через проволоку продираться — трудно. Может быть, час или больше лез, всю прорвал себе спину и руки совсем изувечил. Да только все-таки пролез. Вдохнул я тут спокойно, залег в траву, стал себе руки перевязывать, — кровь так и льет.

И забыл совсем, чума меня возьми, что я еще в германской стороне, а уж светает. Хотел было я бежать, да тут немцы тревогу подняли, нашли, видимо, у себя происшествие, открыли по русским огонь, и, конечно, поползи я, тут бы меня заметили и убили.

А место, смотрю, вполне открытое было и подальше травы даже нет — лысое место. А до халуп шагов триста.

Ну, думаю, каюк-компания, лежи теперь, Назар Ильич господин Синебрюхов, благо трава спасет.

Хорошо. Лежу.

А немцы, может быть, очень обиделись: стибрили у них пулемет и двоих почем зря убили, — мстят — стреляют, прямо скажу, без остановки.

К полдню перестали стрелять, да только, смотрю, чуть кто проявится в нашей, в русской стороне, так они туда и метят. Ну, значит, думаю, безусловно, они на стороже, и нужно лежать до вечера.

Хорошо-с.

Лежу час. И два лежу. Интересуюсь бумажником — денег немало, только все иностранные. Часишками люблюсь. А солнце прямо так и бьет в голову и дух у меня замирать стал. И жажда. Стал я тут думать про Викторию Казимировну, только смотрю — сверху на меня ворон спускается.

Я лежу живой, а он, может, думает, что падаль, и спускается.

Я на него тихонько шикаю:

— Шш, — говорю, — пошел, провал тебя возьми!

Машу рукой, а он, может быть, не верит и прямо на меня наседает.

И ведь такая птичья сволочь — прямо на грудь садится, а поймать я никак его не поймаю — руки изувечены, не гнутся, а он еще бьется больно клювом и крылами.

Я отмахнусь — он взлетит и опять рядом сядет, а потом обратно на меня стремится и шипит даже. Это он кровь, гадюка, на руке чует.

«Ну, думаю, — пропал, — Назар Ильич господин Синябрюхов! Пуля не тронула, а тут птичья нечисть, прости господи, губит человека зря.

Немцы, безусловно, сейчас заметят, что такое приключилось тут за проволокой. А приключилось: ворон при жизни человека жрет».

Бились так мы долго. Я все норовлю его ударить, да только перед германцем остерегаюсь, а сам прямо-таки чуть не плачу. Руки у меня и так-то изувечены — кровь текет, а тут еще он щиплет. И такая злоба к нему напала, только он на меня устремился, как я на него крикну: кыш, кричу, сволочь паршивая!

Крикнул и, безусловно, немцы сразу услышали. Смотрю, змеей ползут германцы к проволоке.

Вскочил я на ноги — бегу. Винтовка по ногам бьется, а пулемет наземь тянет. Закричали тут немцы, стали по мне стрелять, а я и к земле не припадаю — бегу.

И как я добежал до первых халуп, прямо скажу — не знаю. Только добежал, смотрю — из плеча крова текет — ранен. Тут по за халупами шаг за шагом дошел до своих и скопился замертво. А очнулся, запомнил, в обозе в полковом околотке.

Только хватъ-похватъ за карман — часишки тут, а кабаньего бумажника как не бывало. То ли я на месте его оставил — ворон спрятать помешал, то ли выкрали санитары.

Заплакал я прегорько, махнул на все рукой и стал поправляться.

Только узнаю: живет у прапорщика Лапушкина здесь в обозе прелестная полячка Виктория Казимировна.

Хорошо-с.

Прошла, может быть, неделя, наградили меня Георгием и являюсь я в таком виде к прапорщику Лапушкину.

Вхожу в халупу.

— Здравствуйте, — говорю, — ваше высокоблагородие и здравствуйте, пожалуйста, прелестная полячка Виктория Казимировна.

Тут, смотрю, смутились они оба. А он встает, ее заслоняет.

— Чего, — говорит, — тебе надобно? Ты, говорит, давно мне примелькался, под окнами треплешься. Ступай, говорит, отсюда, так твою и так...

А я грудь вперед и гордо так отвечаю:

— Вы, говорю, хоть и состоите в чине, а дело тут, между прочим, гражданское и имею я право разговаривать, как и всякий. Пусть, говорю, она, прелестная полячка, сама сделает нам выбор.

Как закричал он на меня:

— Ах, ты, — закричал, — сякой-такой водохлеб! Как же ты это смеешь так выражаться... Снимай, говорит, Георгия, сейчас я тебя наверно ударю.

— Нет, — отвечаю, — ваше высокоблагородие, я в боях киплю и кровь проливаю, а у вас, говорю, руки короткие.

А сам тем временем к двери и жду, что она, прелестная полячка, скажет.

Да только она молчит, за Лапушкину спину прячется.

Вздыхнул я прегорько, сплюнул на пол плевком и пошел себе.

Только вышел за дверь, слышу кто-то топчет ножками.

Смотрю: Виктория Казимировна бежит, с плеч роняет трикотажный платочек.

Подбежала она ко мне, в руку впиалась цапастьенькими коготками, а сама и слова не может молвить. Только секундошка прошла, целует она меня прелестными губами в руку и сама такое:

— Низынько кланяюсь вам, Назар Ильич господин Синехрюхов... Простите меня такую-то для ради бога, да только судьба у нас разная...

Хотел я было упасть тут же, хотел было сказать что-нибудь такое — да вспомнил все, перевозмог себя.

— Нету, — говорю, — тебе, полячка, прощения во веки веков.

Чертовинка

Жизнь я свою не хаю. Жизнь у меня, прямо скажу, роскошная. Да только нельзя мне, заметьте, на одном засиженном месте сидеть да бороденку почесывать.

Все со мной чтой-то такое случается... Фантазии я своей не доверяю, но какая-то, может быть, чертовинка препятствует моей хорошей жизни.

С германской войны я, например, рассчитывал домой уволиться. Дома, думаю, полное хозяйство. Так нет, навалилось тут на меня, прямо скажу, за ни про что все-всякое. Тут и тюрьма, и сума, и пришлось даже мне, такому-то, идти наниматься рабочим батраком к своему задушевному

приятелю. И это, заметьте, при полном своем семейном хозяйстве.

Да-с.

При полном хозяйстве нет теперь у меня ни двора, ни даже куриного пера. Вот оно какое дело!

А случилось это вот как.

Из тюрьмы меня уволили, прямо скажу, нагишом. Из тюрьмы я вышел разутый и раздетый.

Ну, думаю, куда же мне такому-то голому идти — домой являться? Нужно мне обжиться в Питере.

Поступил я в городскую милицию. Служу месяц и два служу, состою все время в горе, только глядь-поглядь — нету двух лет со дня окончания германской кампании.

Ну, думаю, пора и ехать, где бы только разжиться деньжонками.

И вот вышла мне такая встреча.

Стою раз преспокойно на Урицкой площади, смотрю, какой-то прет на меня в суконном галифе.

— Узнаешь ли, — спрашивает, — Назар Ильич господин Синябрюхов? Я, говорит, и есть твой задушевный приятель.

Смотрю: точно — личность знакомая. Вспоминаю: безусловно, задушевный приятель, — Утин фамилия.

Стали мы тут вспоминать кампанию, стали радоваться, а он, вижу, чего-то гордится, берет меня за руку.

— Хочешь, — говорит, — знать мою биографию? Я комиссар и занимаю вполне прелестный пост в советском имении.

— Что ж, — отвечаю, — дорогой мой приятель Утин, всякому свое, всякий, говорю, человек дает от себя какую-нибудь пользу. Ты же человек одаренный качествами, и я по-сейчас вспоминаю всякие твои исторические рассказы и переживания. И Пипина Короткого, говорю, помню. Спасибо тебе немалое!

А он вдруг мной восхитился.

— Хочешь, — говорит, — поедем ко мне, будем жить с тобой, в обнимку и по-приятельски.

— Спасибо, — говорю, — дорогой приятель Утин, рад бы, да нужно торопиться мне в родную свою деревеньку.

А он вынул откуда-то кожаный бумажник, отрыл десять косяк.

— На, — говорит, — возьми, если на то пошло. Поезжай в родную свою деревню, либо так истрать, — мне теперь все равно.

Взял я деньжонки и адрес взял.

«Что ж, — думаю, — и я ему немало сделал, а тут вполне прекрасный случай, — поеду теперь в деревню».

А это верно: на фронте я его всегда покрывал. Там, скажем, бой или разведка, я — прямо к ротному командиру. Так и так, отвечаю. Утина никак нельзя послать. Ну, не дай бог, пуля его пристрелит, — человек он образованный и погибнет с ним большое знание.

И через меня устроили его на длинномер, — так он всю свою жизнь, всю то есть германскую кампанию и мерил шаги до германских окопчиков.

Так вот произошла такая с ним встреча, и вскоре после того собрался я и поехал в родные свои места.

И вот, запомнил, подхожу к своей деревеньке походным порядком, люблюсь каждой даже ветошкой, восторгаюсь, только смотрю — ползет навстречу поп.

«Ну, — думаю, — будет теперь беда-бедишка». А сам, безусловно, подхожу к нему.

— Вздравствуйте, — говорю, — батюшка отец Сергей! Вполне прелестный день.

Как шатнется он от меня в сторону.

— Ой-ё-ёй, — говорит, — взаправду ли это ты, Назар Ильич Синебрюхов, или мне это образ представляется?

— Да, — говорю, — взаправду, батюшка отец Сергей, а что, говорю, случилось — ответьте мне для ради бога.

— Да как же, — говорит, — что случилось? Я по тебе живому панихидки служу и все мы почитаем тебя умершим покойником, а ты вон как... А супруга, говорит, твоя, можешь себе представить, живет даже в советском браке с Егор Ивановичем.

— Ой-ё-ёй, — отвечаю, — что же вы со мной такоеча сделали!

Очень я растрогался, сам дрожу.

Ну, думаю, вот и беда-бедишка.

Ничего я попу больше не сказал и потрусил к дому.

Взбегаю в собственный, заметьте, домишко, смотрю — уже сидят двое: баба моя Матрена Васильевна Синебрюхова, да Егор Иваныч. Чай кушают. Поклонился я низынько.

— Чай, — говорю, — вам да сахар! Что же тут такоеча приключилось, Егор Иваныч Клопов, не томите меня для ради Бога.

А сам не могу больше терпеть и по углам осматриваю свое добришко.

Вот, смотрю, спасибо, сундучок, вот и штаны мои любезные висят, и шинелька все на том же месте.

Только вдруг подходит ко мне Егор Иваныч, ручкой этак вот передо мной крутит.

— Ты, — говорит, — чужие предметы руками не тронь, а то, говорит, я сам за себя не отвечаю.

— Как же, — намекаю, — чужие предметы, Егор Иваныч, если это, безусловно, мои штаны? Вот тут даже, взгляните, химический подпис: Ен Синебрюхов.

А он:

— Нет тут твоих штанов и быть их не может, тут, — говорит, — все мое добришко пополам с Матреной Васильевной.

А сам берет Матрену Васильевну за локоток и за ручку, выводит ее, например, на середину.

— Вот, — говорит, — я, а вот — законная супруга моя, драгоценная Матрена Васильевна. И все, не сомневайтесь, по закону и подпись Ленина.

Тут поклонилась мне Матрена Васильевна.

— Да, — отвечает, — воистинная все это правда. Идите себе с богом, Назар Ильич Синебрюхов, не мешайте для ради бога постороннему счастью.

Очень я опять растрогался, вижу — все пошло прахом, и ударил я тут Егор Иваныча. И ударил, прямо скажу, не по злобе и не шибко ударил, а так, для ради собственного бле-зиру. А он, гадюка, упал нарочно навзничь. Ногами крутит и кровью блюет.

— Ой-ё-ёй, — кричит, — убийство.

Стали тут собираться мужички. И председатель тоже собрался. Фамилия — Рюха. Начали тут кричать, начали с полу Егор Иваныча поднимать...

А только смотрю — многие прямо-таки мной восхищаются и за меня горой стоят и даже подзюкивают в смысле Егор Иваныча.

— Побей, — подзюкивают, — Егор Иваныча, а мы, говорят, в общей куче еще придадим ему и даже, может быть, нечаянно произойдет убийство.

Только замечаю: председатель Рюха перешептался с Егор Иванычем и ко мне подходит.

— Ты что ж это, — говорит, — нарушаешь тут беспорядки? Что ж ты, так твою так, выступаешь супротив Ленина? Контр твоя революция нам теперь вполне известна, и даже если на то пошло, есть у меня свидетели.

Вижу — человек обижается, я ему тихеньким образом внедряю:

— Я, — говорю, — беспорядков не нарушаю. Ни отнюдь. Но, говорю, как же так, если это мое добришко, так имею же я право руками трогать? И штаны, говорю, мои, взгляните — химический подпис.

А он, гадюка, вынимает какую-нибудь там бумагу и читает.
— Нет, — говорит, — ничего тут не выйдет. Подпись Ленина. Лучше, говорит, ушел бы ты куда ни на есть. Сам посуди: суд да дело, да уголовное следствие, — все это — год или два, а жрать-то тебе, безусловно, нужно. И к тому же, может быть, выяснится, что ты — трудовой дезертир.

И так он обернул все это дело, что поклонился я всем низынько.

— Ладно, — отвечаю, — уйду куда ни на есть. Прощайте и бог вам свидетель! Только пусть ответит мне Матрена Васильевна, где же родной мой сын, мальчишек Игнаша?

А она, жаба, отвечает тихими устами:

— Сын ваш, мальчишек Игнаша, летось еще помер от испанской болезни.

Заскрипел я зубами, оглянулся на четыре угла — вижу все мое любезное висит, поклонился я в другой раз и вышел тихохонько.

Вышел я за деревню. Лес. Присел на пенек. Горюю. Только слышу кто-то трется у ноги.

И вижу: трется у ноги сучка небольшая, белая. Хвостиком она так и крутит, скулит, в очи мне смотрит и у ноги так и вьется.

Заплакал я прегорько, ласкаюсь к сучке.

— Куда же, — спрашиваю, — нам с тобой, сучка, прикнуться?

А она как завоет тонехонько, как заскулит, как завьется задом, так пошла даже у меня сыпь по телу от неизвестного страха.

И вот тут я глянул на нее еще раз и задрожал.

«Откуда же, — думаю, — взялась тут сучке?»

Так вот подумал, вскочил быстренько и, безусловно, от нее ходу.

«Эге, — думаю, — это неспроста, это, может, и есть моя чертовинка во образе небольшой сучки».

Иду это я шибко, только смотрю — за мной катится.

Я за дерево схоронился, а она травинку нюх да нюх, понюхрила и, вижу, меня нашла, снова у ноги вьется и в очи смотрит. И такой на меня трепет напал, что закричал я голосом и побежал.

Только бегу по лесу — хрясь идет, а она за мной так скоком и скачет, так меня и достигает.

И сколько я бежал — не помню, только слышу будто внутренний голос просит:

«Упань... упа-ань...»

Упал я тут наземь, зарылся головой в траву, и начался со мной кошмар. Ветер ли зашуршит по верху, либо ветошка обломится, — мне теперь все равно, мне все чудится, что достигает меня сучка и вот-вот зубами взгрызется и, может быть, перекусит горло и будет кровь сосать.

Так вот пролежал я час или, может быть, два, голову поднять не смею, и стал забываться.

Может быть, я тут заснул — не знаю, только утром встаю: трется у ноги сучка. А во мне будто страху никакого и нет и даже какой-то смех внутренний выступает.

Погладил я сучку по шерстке, сам, безусловно, еще острегаюсь.

— Ну, — говорю, — нужно нам идти. Есть, говорю, у меня такой задушевный приятель Утин. К нему мы и пойдем. Будем с ним жить в обнимку и по-приятельски.

Так вот я сказал ей, будто у нас вчера ничего и не было. Встаю и иду тихонечко. Она, безусловно, за мной.

Прихожу, например, в одну деревню, расспрашиваю:

— Это, — говорят, — очень даже далеко и идти туда нужно, может быть, пять ден.

— Ой-ё-ёй, — говорю, — что же мне такоеча делать? Дайте, говорю, мне, если на то пошло, полбуханки хлеба.

— Что ты, — говорят, — что ты, прохожий незнакомец, тут кругом все голодуют и сами возьмут, если дас-тишь.

Так вот не дали мне ничего, и в другой деревне тоже ничего не дали, и пошел я вовсе даже голодный с белой своей сучкой.

Да еще, не вспомню уж откуда, увязался за нами пре-огромный такой пес — кобель.

Так вот иду я сам-третий, голодную, а они, безусловно, нюх да нюх и найдут себе пропитание.

И так я голодовал в те дни, провал их возьми, что начал кушать всякую нечисть и блекоту, и съел даже, запомнил, одну лягуху.

Теперь вот озолоти меня золотом — в рот не возьму, а тогда съел.

Было это, запомнил, к концу дороги. К вечеру я, например, очень ослаб, стал собирать грибки да ягодки, смотрю — скачет.

И вспомнил: говорил мне задушевный приятель, что лягух, безусловно, кушают, в иностранных державах, и даже вкусом они вкусней рябчиков. И будто сам он ел и похваливал.

Поймал я тогда лягуху, лапишки ей пообрывал. Кострик, может быть, разложил и на согретый камушек положил пеклись эти ножки.

А как стали они печеные, дал одну сучке, а та ничего — съела.

Стал и я кушать.

Вкуса в ней, прямо скажу, никакого, только во рту гадливость.

Может быть, ее нужно с солью кушать — не знаю, но только в рот ее больше не возьму.

Все-таки съел я ее, любезную. Поблевал малехонько. Заел еще грибками и побрел дальше.

И сколько я так шел — не помню, только дошел до нужного места.

Вспрашиваю:

— Здесь ли проживает задушевный приятель Утин.

— Да, — говорят, — безусловно, здесь проживает задушевный приятель Утин. Взойдите вот в этот домишко.

Взошел я в домишко, а сучка у меня, заметьте, в ногах так и вьется и кобель сзади. И вот входит в зальце задушевный приятель и удивляется:

— Ты ли это, Назар Ильич товарищ Синебрюхов?

— Да, — говорю, — безусловно. А что, говорю, такоеча?

— Да нет, — говорит, — ничего. Я, говорит, тебя не гоню и супротив тебя ничего не имею, да только как же все это так?

Тогда я отвечаю ему гордо:

— Я, отвечаю, дорогой мой приятель Утин, вижу, что ты не рад, но я, говорю, пришел не в гости гостить и не в обнимку жить. Я, говорю, пришел в рабочие батраки наняться, потому что нету мне теперь ни кола, ни даже куриного пера.

Подумал это он.

— Ну, — говорит, — ладно. Лучше меня, это знай, человека нет! Я, говорит, каждому отец родной. Я, говорит, тебя чудным образом устрою. Становись ко мне рабочим по двору.

И вдруг, замечайте, всходит из боковой дверюшки старичок. Чистенький такой старикан. Блуза на нем голубенькая, подпоясок, безусловно, шелковый, а за подпояском — платочек носовой. Чуть что — сморкается в него, либо себе личико обтирает. А ножками так и семенит по полу, так, гадюка, и шуршит новыми полсапожками.

И вот подходит он ко мне.

— Я, — говорит, — рекомендую: папаша Утин. Чего это ты, скажи пожалуйста, приперся с собаками? Я, говорит, имейте в виду, собак не люблю и терпеть их ненавижу. Они, мол, всюду гадят и кусаются.

А сам, смотря, сучку мою все норовит ножкой своей толкануть.

И так он сразу мне не понравился, и сучке моей, вижу, не понравился, но отвечаю ему такое:

— Нет, говорю, старичок, ты не пугайся, они не кусачие...

Только это я так сказал, сучка моя как заурчит, как прыгнет на старичка, как куснет его за левую ручку, так он тут и скопился.

Подбежали мы к старичку...

И вдруг, смотрю, исчезла моя сучка. Кобель, безусловно, тут, кобель, замечайте, не исчез, а сучки нету.

Люди после говорили, будто видели ее на дворе, да только не знаю, не думаю... Дело это совершенно темное и удивительное...

Так вот подошли мы к старичку. Позвали фершала.

Фершал ранку осмотрел.

— Да, — говорит, — это собачий укус небольшой сучки. Ранка небольшая. Маленькая ранка. Не спорю. Но, говорит, наука тут совершенно бессильна. Нужно везть старичка в Париж, — наверное, сучка была бешеная.

Услышал это старичок, задрожал, увидел меня.

— Бейте, — закричал, — его! Это он подзюкал сучку, он на мою жизнь покусился. Ой-ё-ёй, говорит, умираю и завещаю вам перед смертью: гоните его отсюда.

«Ну, — думаю, — вот и беда-бедишка».

А подходит тут ко мне задушевный приятель Утин.

— Вот, — говорит, — Бог, а вот тут — порог. Больше мы с тобой не приятели!

Взял я со стола ломочек хлеба, поклонился на четыре угла и побрел тихохонько.

Гиблое место

Много таких же, как и не я, начиная с германской кампании, ходят по русской земле и не знают, к чему бы им такое приткнуться.

И верно. К чему приткнуться человеку, если каждый предмет, заметьте, свиное корыто даже, имеет свое назначение, а человеку этого назначения не указано.

А мне от этого даже жутко.

И таких людей видел я немало и презирать их не согласен. Такой человек — мне лучший друг и дорогой мой приятель.

Конечно, есть такие гиблые места, где и другие тоже ходят. Страшные. Но такого страшного жулика я сразу вижу. Взгляну и вижу, какой он есть человек.

Я их даже, гадюк, по походке, может быть, отличу, по самой малейшей черточке увижу.

Я вот, запомнил, встретил такого человека. О нем мне и посейчас жутковато вспоминать.

Я в лесу его встретил.

Так вот, представьте себе — пенек, а так — он сидит. Сидит и на меня глядит.

А я иду, знаете ли, смело и его будто и не примечаю.

А он вдруг мне и говорит:

— Ты, говорит, это что?

Я ему и отвечаю:

— Вы, говорю, не пугайтесь, иду я, между прочим, в какую-нибудь там деревню на хлебородное местечко в рабочие батраки.

— Ну, — говорит, — и дурак (это про меня то есть). За чем же ты идешь в рабочие батраки, коли я, может быть, желаю тебя осчастливить? Ты, говорит, сразу мне приглянулся наружной внешностью и беру я тебя в свои компаньоны. Привалило тебе немалое счастье.

Тут я к нему подсел.

— Да что ты? — отвечаю. — Мне бы, говорю, милый ты мой приятель, вполне бы неплохо сапожонками раздобыться.

— Гм, — говорит, — сапожонками... Дивья тоже. Тут, говорит, вопрос является побольше. Тут вопрос очень даже большой.

И сам чудно как-то хихикает, глазом мне мигун мигает и все говорит довольно хитрыми выражениями.

И смотрю я на него: мужик он здоровенный и высокоуший и волосы у него, заметьте, так отовсюду и лезут, прямо-таки лесной человек. И ручка у него тоже... Правая ручка вполне обыкновенная, а на левой ручке пальцев нет.

— Это что ж, — спрашиваю, — приятель, на войне пострадал, в смысле пальцев-то?

— Да нет, — мигает, — зачем на войне? Это, говорит, дельце было. Уголовно-политическое дельце. Бякнули меня топором по случаю.

— А каков же, — спрашиваю, — не обидьтесь только, случай-то?

— А случай, — говорит, — вполне простой: не клади лапы на чужой стол, коль топор вострый.

Тут я на него еще раз взглянул и увидел, что он за человек. А после немножко робел и говорю:

— Нет, говорю, милый ты мой приятель. Мне с тобой не по пути. Курс у нас с тобой разный. Я говорю, не согласен идти на уголовно-политическое дело, имейте это в виду.

Так вот ему рассказал это, встал и пошел. А он мне и кричит:

— Ну, и выходит, что ты дурак и старая сука (это на меня то есть). Пошел, проваливай, покуда целый.

Я, безусловно, за березку, да за сосну и теку.

И вот, запомнил, пришел в деревню, выбрал хату богатенькую. Зашел.

Жил-был там мужик Егор Саввич. И такой, знаете ли, прелестный говорун мужик этот, Егор Саввич, что удивительно даже подумать. Усадил он меня, например, к столу, хлебцем попотчевал.

— Да, — отвечает, — это можно. Я возьму тебя в работники. Пожалуйста. Что другое — не знаю, может быть, ну, а это — сделайте ваше великое удовольствие — могу. Делов тут хоть и не много, да зато мне будет кое с кем словечком переткнуться. А то баба моя — совсем глупая дура. Ей бы все пить да жрать, да про жизнь на картишках гадать. Можете себе представить. Только, говорит, приятный ты мой, по совести тебе скажу, место у нас тут гиблое. Народу тут множество-многое до смерти испорчено. Босячки всякие так и ходят под флагом бандитизма. Поп вот тоже тут потонул добровольно, а летом, например, матку моей бабы убили по

случаю. Тут, приятный ты мой, места вполне гиблые. Смерть так и ходит, косьем помахивает.

Так вот поговорили мы с ним до вечера, а вечером баба его кушать подает.

Припал я тут к горяченькому, а он, Егор Саввич, так и говорит, так и поет про разные там дела-делишки и все клонит разговор на самые жуткие вещи и приключения и сам дрожит и пугается.

Рассказал он мне тогда, запомнил, случай, как бабу Василису убили. Как бабка Василиса на корячках у помойной кучи присела, а он, убийца, так в нее и лепит из шпалера и все, знаете ли, мимо. Раз только попал, а после все мимо.

А дельце это такое было.

Пришли к ним, например, два человека и за стол без слова сели. А бабка Василиса покойница — яд была бабка. Может быть, матка у ней была из полячишек.

Ладно. Бабка Василиса видит, что смело они так сели, и к ним.

— Вы, — говорит, — кто ж такие будете, красные, может быть, или, наверное, белые?

Что они такое ответили — я не слышал, я, скажу по правде, за квасом в тот момент вышел.

Но только прихожу — бабка Василиса очень даже яростно с ними грызется и в голос орет. А один такой беловатый из себя уставился на нее, как козел на воду, и после хватъ ее за руку без объяснения причин и потащил ко двору.

Да-с, вот каков был случай.

Я тогда Егор Саввича, запомнил, даже побранил по-всякому.

— Чего ж это ты, — побранил, — за бабу-то не вступился? Явление это вполне недопустимое.

А он:

— Да, — говорит, — недопустимое, сознаю, но говорит, если б она мне родная была матка, то — да, то я, я очень вспыльчивый человек, я, может быть, зубами бы его загрыз, ну, а тут не родная она мне матка, — бабы моей матка. Сам посуди, зачем мне на рожон было лезть?

Спорить я с ним не стал, меня ко сну начало клонить, а он так весь и горит и все растрawляет себя на страшное.

— Хочешь, — говорит, — я тебе еще про попа расскажу? Очень, говорит, это замечательное явление из жизни.

— Что ж, — отвечаю, — говори, если на то пошло. Ты, говорю, теперь хозяин.

Начал он тут про попа рассказывать, как поп потонул.

— Жил-был, — говорит, — поп Иван, и можете себе представить...

Говорит это он, а я слышу — стучит ктой-то в дверь и голос-бас войти просит.

И вот, представьте себе, всходит этот самый беспальный, с хозяином здороваается и мне все мигун мигает.

— Допустите, — говорит, — переночевать. Ночка, говорит, темная, я боюсь. А человек я богатый.

И сам, жаба, кихикает.

А Егор Саввич так в мыслях своих и порхает.

— Пусть, — говорит, — пусть. Я ему про попа тоже расскажу. Жил-был, говорит, поп и, можете себе представить, ночью у него завьла собака.

А я взглянул в это время на беспалого, — ухмыляется, гадюка. И сам вынимает серебряный портсигарчик и папироску закуривает.

«Ну, — думаю, — вор и сибиряк. Не иначе, как кого распотрошил. Ишь ты какую вещь стибрил».

А вещь — вполне роскошный барский портсигар. На нем, знаете ли, запомнил, букашка какая-нибудь, свинка...

Оробел я снова и говорю для внутренней бодрости:

— Да, — говорю, — это ты, Егор Саввич, например, про собаку верно. Это неправда, что смерть — старуха с косой. Смерть — маленькое и мохнатенькое, катится и кихикает. Человеку она незрима, а собака, например, ее видит и кошка видит. Собака, как увидит — мордой в землю уткнется и воет, а кошка — та фырчит и шерстка у ней дыбком становится. А я вот, говорю, такой человек, смерти хотя и не увижу, но убийцу замечу издали и вора, например, тоже.

И при этих моих словах на беспалого взглянул.

Только я взглянул, а на дворе:

— У... у...

Как завоет собака, так мы тут и зажались.

Смерти я не боюсь, смерть мне очень даже хорошо известна по военным делам, ну, а Егор Саввич — человек гражданский, частный человек.

Егор Саввич как услышал «у... у...», так посерел весь, будто лунатик, заметался, припал к моему плечу.

— Ох, — говорит, — как вы хотите, а это, безусловно, на мой счет. Ох, говорит, моя это очередь. Не спорьте.

Смотрю — и беспалая жаба сидит в испуге. Егора Саввича я утешаю, а беспалая жаба такое:

— С чего бы, — говорит, — тут смерти-то ходить? Давайте, говорит, лягем спать поскорейча. Завтра-то мне (замечайте) чуть свет вставать.

«Ох, — думаю, — хитрый мужик, сволочь такая, и как красноречиво выказывает свое намеренье. Ты только ему засни, а он тиликнет тебя, может быть, топориком и — ба-ста, чуть свет уйдет. Нет, думаю, не буду ему спать, не такой я еще человек темный».

Ладно. Пес, безусловно, заглох, а мы разлеглись, кто куда, а я, запомнил, на полу приткнулся.

И не знаю уж как вышло, может, что горяченького через меру покушал, — задремал.

И вот представилась мне во сне такая картина.

Сидим мы будто у стола, как и раньше, и вдруг катится, замечаем, по полу темненькое и мохнатенькое. Докатилось оно до Егора Саввича и — прыг ему на колени, а беспалый нахально хохочет. И вдруг слышим мы ижевхерувимское пение и деточка будто такая маленькая в голеньком виде всходит и передо мной во фронт становится и честь мне делает ручкой.

А я будто оробел и говорю:

— Чего, говорю, тебе, невинненькая деточка нужно? Ответьте мне для ради бога.

А она будто нахмурилась, невинненьким пальчиком указывает на беспалого.

Тут я и проснулся. Проснулся и дрожу. Сон, думаю, в руку. Так я об этом и знал. Дошел я тихоньким образом до Егор Саввича, сам шатаюсь.

— Что, — спрашиваю, — жив ли, говорю?

— Жив, — говорит, — а что такоеча?

— Ну, — говорю, — обними меня, я твой спаситель, буди мужиков, вязать нужно беспалого сибирского преступника.

Разбудили мы мужиков, стали вязать беспалого, а он, гадюка, — представляется, что не в курсе дела.

Ну, слово за слово, улики я против него собрал, портсигарчик тоже нашел, а он перешептался, может быть, с мужичками, подкупил их, наверно, и вышло тут дельце совершенно темное. Сами же мужички на меня насели.

— Ступай, — говорят, — лучше из нашей губернии. Ты, говорят, только людей смущаешь, сучье мясо. Человек — это вполне прелестный человек. Заграничный продавец. Он для нас же, дураков, дело делает — спиртишко из-за границы носит.

— Ну, — говорю, — драться — вы не деритесь. Вы есть темные людишки и обижаться мне на вас нечего. Обольстила вас беспалая жаба, ну, да мне видение мое сонное вполне дороже.

Собрал я свое барахлишко и пошел.

А очень тут рыдал Егор Саввич. Проводил он меня верст аж за двадцать от гиблого места и все рассказывал разные разности.

ГРИШКА ЖИГАН

Поймали Гришку Жигана на базаре, когда он старостину лошадь купчику уторговывал. Ходил Гришка вокруг лошади и купцу подмигивал.

— Конь-то каков, господин купчик! Королевский конь. Лучше бы мне с голоду околеть, чем такого коня запродать. Ей-богу, моя правда. Ну, а тут вижу — человек хороший. Хорошему человеку и продать не стыдно. Особенно если купчику благородному.

Купец смотрел на Гришкину лошадь недоверчиво. Лошадь была мужицкая — росту маленького и сама пузатая.

— А зубы-то... Зубы-то, господин купчик, каковы! Ведь это же, взгляните, королевские зубы.

Гришка приседал на корячки, ходил вокруг лошади без всякой на то нужды, даже наземь ложился под брюхо лошади. И хвалил брюхо. А купчик медлил и спрашивал:

— Ну, а она, боже сохрани, не краденая?

— Краденая? — обижался Гришка. — Эта-то лошадь краденая? У краденной лошади, господин купчик, взор не такой. Краденая лошадь завсегда глазом косит. А тут, обратите внимание, какой взор. Чистый, королевский взор. И масть у ней королевская.

— Да ты много не рассусоливай, — сказал купчик. — Ежели она есть краденая, так ты мне и скажи: краденая, мол, лошадь. А то ходит тут, говорят — вор и конокрад Гришка Жиган... Так уж не ты ли это и будешь. А? Как звать-то тебя?

— Это меня-то? Гришей меня зовут. Это точно. Да только, господин купчик, я воровством имя такое позорить не буду. На это я никогда не соглашусь... А зовут, да, Гришей зовут. Могу и пачпорт вам показать... Ну, что же, берете коня-то? Королевский конь. Ей-богу, моя правда.

А в это время мужички со старостой во главе подошли к базару.

— Вот он, — тонко завыл староста, — вот он, собачий хвост, вор и конокрад — Гришка Жиган. Бейте его, людишки добрые!

Стоит Гришка и бежать не думает, только лицом слегка посерел. Знает, бежать нельзя. Поймают и сразу бить будут. А сгоряча бьют до смерти. Опешили мужики. Как же так — вор, а не бежит и даже из рук не рвется. Потоптались на месте, насели на Гришку и руки ему вожжой скрутили. А в городе бить человека неловко.

— Волоките его за город, — сказал староста, — покажем ему вору, сукиному сыну, как чужих коней уворовывать.

Повели Гришку за город. Прошли с полверсты.

— Буде! — остановился Фома Хромой. И пиджак скинул.

— Начнем, братишки.

Видит Гришка, дело его плохое: бить сейчас будут. А вора-конокрада бьют мужички до смерти — такой закон.

— Братцы, — сказал Гришка, — а чья земля эта будет? Земля-то ведь эта казенная будет. Нельзя здесь меня бить. Такого и закону нет, чтоб на казенной земле человека били. И вам до суда дело, и мне вред.

Староста согласился.

— Это он верно. Затаскает судья, если, например, до смерти уьем человека. Волокнем его, братишки, на село. Там и концы в воду.

Повели Гришку на село.

— Братцы, — тихо спросил Гришка, — за что бить-то будете? Под суд меня вора и конокрада надобно. Суд дело разберет. Да только каждый суд оправдает меня. Любой суд на лошадь взглянет и оправдает. Скверная лошаденка, шут с ней совсем. От нее и радости-то никакой нет.

— Да что ж это он, — удивился староста, — что ж это он, православные, лошадь-то мою хаает? Этакая чудная лошадь, а он хаает... Ты что ж это, хвост собачий, лошадь мою хаешь?

— Ей-богу, моя правда, — сказал Гришка. — Поступь у ней, посмотрите, какая. На такую лошадь и сесть противно. Как на нее только сядешь — она, дура такая, задом крутит. Шут ее знает почему, но крутит задом. От нее и болезни могут произойти: грьжа, например, болезнь... От села до базара четыре версты, всякий знает, а у меня пот градом — измучила совсем чертова анафема. Так и крутит задом, так и крутит... Да я вам даже показать могу...

Фома Хромой подошел к Гришке и ударил его.

— Чего зубы-то заговариваешь, сука старая. Если ты есть вор, так и веди себя правильно. Не заговаривай.

Повели Гришку дальше. Уже и село близко — церковь видна.

— Братцы, — смиренно сказал Гришка, — а, братцы... А ведь бить-то меня зря будете. Все равно скоро конец свету. Мужики шли молча.

— Вот что, — опять начал Гришка, — ходит тут такой юродивый блаженненький Иванушка-братец... Не я, а он эти слова говорит. «Да, — говорит, — будет в этих местах великое землетрясение и огненный вихорь».

— Да ну? — тихо удивился Фома Хромой. — Врешь?

— Ей-богу, моя правда. Да что мне теперь скрывать? Мне и скрывать теперь нечего. Он и число назначил. Какое у нас число сегодня?

— Осьмое число, — ответили мужики.

— Осьмое. Правильно. Ну, а тут на девятое назначено. Завтра, значит, и будет. В полдень пожелтеет небо, настанет вихорь и град падет на землю, и град сей будет крупнейший, с яйцо с куриное и даже больше... И будет бить этот град все насквозь. И человека, и скот домашний — корову, например, или курицу...

— И железо? — спросил староста. — Крыша у меня если, скажем, железная?

— Драгоценные есть ваши слова, — сказал Гришка, — и железо.

Мужики остановились.

— Ну, а попа, — спросил кто-то, — может ли, например, поп уцелеть?

— Нет, — ответил Гришка, — и поп не может уцелеть...

— А ведь это верно, — раздумчиво сказал Фома Хромой, — ходила тут схимонашенка такая... Подтверждала эти слова. Только про град-то это он врет. Про град она ничего не говорила. А землетрясение — это верно. И вихорь огненный.

— Ну, а что же, — спросили мужики Гришку, — что же такое делать, если, например, кто спастись хочет?..

— Да врет он, — вдруг закричал староста. — Врет ведь, собачий хвост. Зубы дуракам заговаривает. Бейте его, людишки добрые!

Мужички не двигались.

— Нельзя бить, — строго сказал Фома Хромой. — Обождать нужно. Обождем до завтра, братишки. Убить человека завсегда не поздно... Только про град-то он врет, собачий хвост. Ничего схимонашенка про такое не говорила.

— Безусловно врет, — сказал староста, — ей-богу, врет. И про железо врет.

— Так завтра что ли, Гриша, обещаешь ты? — спросил Фома Хромой.

— Завтра. Пожелтеет в полдень небо, настанет вихорь, и град падет на землю, и град сей...

— Ладно, — сказали мужички, — обождем до завтрава.

Развязали Гришке руки и повели в село. А в селе заперли Гришку на старостином дворе в амбаре и караульщика приставили.

К вечеру все село знало о страшном пророчестве. Приходили бабы на старостин двор с хлебом и с яйцами, кланялись Гришке и плакали.

А у Фомы Хромого народу собралось множество. Сидел Фома Хромой на лавке и говорил такое:

— Если б не эта схимонашенка, да я бы первый сказал, врет он, собачий хвост. Ну, а тут схимонашенка... У кого еще была схимонашенка?

— У меня, Фома Васильич, была. У меня и есть, — сказала баба простоволосая, — к вечеру сижу я преспокойно... Стучит ктой-то...

— Да, — перебил Фома Хромой, — небо пожелтеет, настанет вихорь...

Назавтра мужички в поле не вышли. А день был ясный. Ходили мужички по селу, на старостин двор заходили и пересмеивались.

— Сидит еще пророк-то?

— Сидит.

— Соврал, собачий хвост. Как пить дать, соврал. А ведь каково складно вышло. Ах ты, дуй его горой! Такого и бить-то жалко. И только Фома Хромой не смеялся.

Ходил Фома Хромой в одиночку, хмурился, выходил в поле и смотрел на небо. А небо было ясное. В полдень услышали крик на селе. Кричал Фома Хромой.

— Туча!

И точно. Из-за казенного лесу низко шла туча. Была эта туча небольшая и серая. И ветер гнал ее быстро. Все село высыпало на зады и в поля. И дивится.

— Да, туча.

Но не пожелтело небо и вихорь не настал — прошла туча над селом быстро и скрылась.

День был ясный.

Бросились мужички на старостин двор. Хвать-похвать — амбар открыт, а Гришки нету. Исчез Гришка.

А вместе с Гришкой исчез и конь старостин королевской масти.

ЧЕРНАЯ МАГИЯ

I

Не такие теперь годы, чтобы верить в колдовство или, может быть, в черную магию, но только рассказать об этом никогда не мешает.

Много темных людишек и посейчас существует. Как в других деревнях, неизвестно, а в селе Лаптенках это так. В селе Лаптенках бабы, например, и болезни всякие заговаривают, и на огонь и на воду ворожат, и травы драгоценного свойства собирают. Что до другого, не знаю, не скажу, ну, а болезни — это, пожалуй, правильно. С болезнями бабка Василиса очень даже великолепно справляется.

Конечно, придет какой-нибудь этакий ферт заграничный, он, безусловно, только посмеется.

— Эх, — скажет, — Россия, Россия, темная страна!

Так ему что? Ему подавай в цилиндре доктора, в пиджаке, а на бабу Василису он и не взглянет. Да он, может быть, и на лекарского помощника Федор Иваныча Васильченку не взглянет. Вот что! Вот это какой ферт!

Но только с таким человеком я и спорить никогда не соглашусь. Там у них и жизнь другая, а не такая, там, может быть, и болезней-то таких нет, как у нас.

Вот, рассказывают, грелки у них поставлены в трамваях, чтоб сквознячок, значит, ножку не застудил, пожалуйста...

Ведь это что? Ведь это дальше и идти-то некуда. Полное европейское просвещение и культура...

Ну, а у нас и жизнь тут другая и людишки не такие. У нас вот баба, например, погибла от черной магии. Супруга Дмитрия Наумыча.

II

А по-пустому все и вышло. Ее, имейте в виду, Дмитрий Наумыч со двора вон выгнал. Вот оттого все и произошло. А, впрочем, нет, не оттого.

Прежде случай был другой, деревенский. В дело это чертов сын Ванюшка замешался. Вот что.

Жил-был на свете такой Ванюшка, мужик больной и убогий... Из-за него все и произошло. Конечно, бывали тут на селе и раньше разные происшествия: повадились, например, мужички каждую весну тонуть — то Василь Васильич, мужик богатенький, потонул, то староста нырнул нечаянно, то Ванюшка теперь... Но только все это было по веселым делам, а такого дела, чтобы, например, бабу свою вон выгнать — тут и привычки такой ни у кого не было.

Так вот Ванюшка больной и убогий... Я, как в Лаптенках расположился, сразу обратил полное свое внимание на Ванюшку. Ходит это он, можете себе представить, веселенький, ручки свои, сволочь, потирает. Я его запомнил, остановил тогда на селе, отвел в сторону.

— Ты что ж это, — спрашиваю, — так нахально-то ходишь и ручки свои потираешь, гадина?

А он, как сейчас помню, ехидно так посмотрел на меня.

— А чего, — говорит, — мне горе-то горевать? Мне теперь, знаете, лафа. Я хотя и больной и убогий, а жить теперь буду, что надо. Очень передо мной широкий горизонт в смысле богатеньких невест и приданого.

— Да что ты, — говорю, — врешь?

— Нету, — говорит, — не вру. Как хотите. Ходит теперь мужик в очень большой цене, да только, имейте в виду — мужик холостой, неженатый... Да вы, — говорит, — впрочем, сами-то взгляните, что кругом детсяя.

Взглянул я кругом, ну, вижу — дела-делишки: на селе бабы кишмя кишат, девки на вечеринках дура с дурой танцуют, а кавалеров ихних — как корова языком слизала. Нету ихних кавалеров. Никто из молодых молодчиков, заметьте, с германской войны домой не вернулся.

«Вот, — думаю, — да-а».

А Ванюшка ходит вкруг села и хвалится.

— Дождался, — говорит, — я своего времечка. Как угодно. Дорвался до роскошной жизни. Я хоть и больной и убогий, а мужик. Из песни слова не выкинешь.

Так вот с недельку походил по селу Ванюшка, стал, сукин сын, на радостях самогонку хлебать, за речку ездить повадился... Жила-была за речкой фря такая, веселая солдатка Нюшка... И — можете себе представить — потонул Ванюшка. От солдатки возвращался ночью пьяненький и потонул, дурак. Не удержал своего счастья.

И очень тогда мужички над ним издевались.

III

Ну, хорошо. К ночи он, например, затонул, утром походили мужички по берегу, посмеялись вдоволь и ловить его принялись.

Выехали на лодках, пошевелили баграми, кошками по дну поцарапали — нету Ванюшки.

А речонка и вся-то ничего не стоит — одно распоряжение, что речонка.

Обиделись мужички.

— Что, — говорят, — за мать честная? Василь Василича сразу нашли, старосту тоже сразу нашли, а тут такую невидаль, козьявку, представьте себе, такую найти не можем.

Пустили по речке горшки... Ну, да. Обыкновенные горшки. Глиняные... Это не какое-нибудь там темное поверие или, может быть, старинный обычай, это роскошное средство найти утопленника. Да это можно даже доказать научными данными. Скажем, труп лежит, за корягу ногой, может быть, зацепился. Пожалуйста. Над трупом вода, безусловно, обязана крутиться и воронку делать... Горшок туда — и там, представьте себе, вертится.

Так вот и тут. Пустили горшки. Поплыл один горшок на середину реки и, смотрим, там крутится. Сунули там багор — глыбоко. Яма. Повертели кошкой — осталась там кошка.

ТЬфу ты, дьявол!

Решили мужички: нырнуть нужно.

Тот, другой, пятый — отнекиваются.

— Димитрий Наумыч...

Тот долго спорить не стал, скинул с себя платьишко, рожу свою перекрестил и нырнул. И тут-то, замечайте, все и началось.

IV

Рассказывал мне после Димитрий Наумыч.

— Нырнул, — говорит, — я. Хорошо. И только я нырнул, как вдруг меня и осенило: «Что ж, — думаю, — ходил тут такой Ванюшка, холостой, неженатый, да и тот в воде захлебнулся. Чего ж, — думаю, — случай-то такой роскошный я буду из рук вон выпускать: выгоню, например, свою бабу, да и поженюсь на богатенькой».

Так вот он подумал и сам чуть водой не поперхнулся, чуть не погиб мужик — пробыл в воде сверх положенной нормы. Даже мужички тогда забеспокоились, потому что пошел по воде пузырь крупный.

Но только через минуту выплыл Димитрий Наумыч на свет земной, лег на песок и лежит ужасно скучный и даже трясется.

«Ну, — подумали мужички, — чудо-юдо на дне, не иначе».

А на дне, имейте в виду, все спокойно: лежит Ванюшка на дне, уцепившись штанинкой за корягу.

Стали мужички расспрашивать: что, да что, а Димитрий Наумыч и говорит:

— Тащите, — говорит, — кошкой, все спокойно.

Стали мужички тащить... да только об этом и разговор никакой — больше-то Ванюшка и не нужен в нашем деле, потому что пошло дело по другому уклону. Ну, а Ванюшку, да, вытащили. Побегал мужик Димитрий Наумыч домой.

«Что ж, — бежит и думает, — кругом во всех деревнях ходит холостой мужик в большей цене. Да я, — думает, — бабу свою теперь с лица земли сотру, или, может быть, ее выгоню».

Так вот он опять подумал, да видит, как раз эти самые слова ему и нужны. Пришел домой и фигурировать начал.

И баба ему ступит плохо, и вид-то ему из окна, между прочим, плохой.

Видит баба: загрустил мужик, а с чего загрустил, — неизвестно. Подходит тогда она к нему со словами, а слова все у ней тихие.

— Чего, — говорит, — это вы, Димитрий Наумыч, словно как загрустили?

— Да, — отвечает он нахально, — загрустил. Хочу, — говорит, — богатеньким быть, да вы, имейте в виду, мне помеха.

Промолчала баба.

А сказать нужно, баба у Димитрия Наумыча очень даже замечательная была баба. Только одно и несчастье, что не богатая, а бедная. А так-то всем хороша: и голос у ней был тихий и симпатичный, и походка не какая-нибудь утиная — с боку, например, на бок — походка роскошная: идет, будто плавает.

Ее сестру даже родную ферт какой-то за красоту убил. Жить с ним не хотела.

В Киеве дело было...

Ну, и эта тоже была очень даже красивая. Все находили. А Димитрий Наумыч мнению этому теперь не внял и свою мысль при себе имел.

Так вот поговорили они, баба промолчала, а Димитрий Наумыч все, замечайте, случая ищет.

Походил он по избе.

— Ну, давай, — орет, — баба, кушать, что ли.

А до обеда далеко было. Баба ему с резонном и отвечает:

— Да что вы, Димитрий Наумыч, я, — говорит, — еще и затоплять-то не думала.

— Ах, — говорит, — ты юмола, юмола, ты, — говорит, — меня, может, голодом уморить думала. Собирай, — говорит, — свое барахлишко, сайки с квасом, вы, — говорит, — мне больше не законная супруга.

Очень тут испугалась баба, умишком раскинула.

Да, видит, гонит. А с чего гонит — неизвестно. Во всех делах она чистая, как зеркальце. Думала она дело миром порешить. Поклонилась ему в ножки.

— Побей, — говорит, — лучше, пилат-мученик, а то мне и идти-то некуда.

А Димитрий Наумыч просьбу хотя ее и исполнил, побил, а со двора все-таки вон выгнал.

V

И вот собрала баба барахлишко — юбчонку какую-нибудь свою дырявую — и на двор вышла.

А куда бабе идти, если ей и идти-то некуда?

Покрутилась баба по двору, повыла, поплакала, умишком своим снова раскинула.

«Пойду-ка, — думает, — к соседке, может, что и присоветует».

Пришла она к соседке. Соседка повздыхала, поохала, по столу картишки раскинула.

— Да, — говорит, — плохо твое дело. Прямо, — говорит, — очень твое дело паршивое. Да ты и сама взгляни: вот король виной, вот осьмерка, а баба виной на отлете. Не врут игральные карты. Имеет мужик что-то против тебя. Да только ты и есть сама виноватая. Это знай.

Вы обратите внимание, какая дура была соседка. Где бы ей, дуре, утешить бабу, вне себя баба, а она запела такое:

— Да, — запела, — сама ты и есть виноватая. Видишь — загрустил мужик, ты потерпи, не таранта. Он тебя, например, нестерпимыми словами, а ты такое: дозвоьте, мол, сапожечки ваши снять и тряпочкой наисухонькой обтереть — мужик это любит...

Фу ты, старая дура... Такие слова...

Утешить нужно бабу, а она растравила ее до невозможности. Вскочила баба, трясется.

— Ох, — говорит, — да что же я такоеча наделала? Ох, — говорит, — да присоветуй хоть ты-то мне для ради самого господа. На все я теперь соглашусь. Ведь мне и идти-то некуда.

А та, старая дура, тьфу, и по имени-то назвать ее противно, ручищами развела:

— Не знаю, — говорит, — молодушка. Прямо сказать тебе ничего не могу. В очень большой цене теперь мужик.

И красотой одной и качествами не прельстишь его. Это и думать не смей.

Бросилась тут баба вон из избы, выбежала на зады, да по заднему проспекту и пошла вдоль села. На село-то ей, бедной, и идти было стыдно.

И вот, видит баба: идет ей навстречу старушка махонькая, неизвестная бабушка. Идет эта бабушка, тихонько катится и чтой-то про себя шепчет.

Поклонилась ей баба наша, заплакала.

— Здравствуйте, — говорит, — старушка махонькая, неизвестная бабушка. Вот, — говорит, — взгляните, пожалуйста, какие дела-делишки на земном свете-то деются.

Взглянула старая бабушка, головенкой своей, может быть, мотнула.

— Да, — говорит, — деются, деются... Ох, — говорит, — молодая молодушка, знаю все, что на свете деется — всех людшек передавить надобно — вот что деется. Да только, умоляю тебя, не плачь, не порти очи себе. В деле таком слеза — помощь никакая. А вот что: есть у меня средства разные, есть травы драгоценного свойства. Есть и словесные заговоры, да только в таком великолепном деле они ничего не стоят. А от такого дела, чтобы человека при себе удержать, есть одно только средство. Будет это средство страшное: особая это роскошная черная кошка. Тую кошку завсегда узнать можно. Ох, любит та кошка в очи смотреть, а как смотрит в очи, так хвостом нарочно качает медленно и спинку свою гнет.

Слушает баба ужасные старухины речи, и млеет у ней сердце.

Конечно, никто не слышал такие речи старухины, кроме бабы нашей, да только все это, безусловно, правильно. Об этом Юлия Карловна тоже говорила. Да и в дальнейшем это вполне выяснилось. И еще в дальнейшем выяснилось, что взять нужно было тую кошку черную, в полночь баньку вытопить и тую кошку живую в котел бросить.

— Умоляю тебя, — просила бабушка, — брось тую кошку, безусловно, живую, а не дохлую. А как будет все кончено, вылуци кошачию косточку небольшую, круглую и, умоляю тебя, носи ее завсегда при себе.

Как услышала баба это, ужаснулась, поклонилась старухе низенько.

«Пойду, — думает, — поклонюсь еще раз Димитрию Наумычу, а если не изменит он своего мнения, так есть у меня средство страшное, роскошное».

VI

Пошла баба на село поклониться Димитрию Наумычу, да только пошла она, имейте в виду, зря.

Где же было Димитрию Наумычу изменить свое мнение, если он так и горел и даже в город порывался ехать, закончить дело.

Я к нему тогда зашел. Он уж и лошадь свою запрягал. Он мне многое тогда высказал.

— Никогда бы, — говорит, — я такую бабу не выгнал, как бог свят. Лучше, — говорит, — растерзай ты меня на куски и разбросай те куски по полю, но на такое дело никогда бы я не согласился. Очень она, баба, мне в самый раз. Да только

больно мне, слушай, богатеньким-то лестно пожить. Ты сам взгляни: ну, какой я есть мужик? Только и есть одно удовольствие, что лошадь у меня, а так-то все идет в развалку и на сторону. Ну вот, ты сам, слушай, друг ты мой, ответь мне для ради самого господя, есть у меня, например, корова или нету?

— Нет, — говорю, — нет у тебя коровы, Дмитрий Наумыч. Это я подтверждаю. У тебя, — говорю, — овцы, даже какой-нибудь паршивой и то нету.

— Ну, — говорит, — вот видишь. Какой же я мужик после того?

— Да уж, — говорю, — без коровы тебе как без рук.

— Так вот, — говорит, — а вы говорите: баба. Баба что? Только что хороша собой, а больше у ней, слушай, и преимуществ-то нет никаких... Ну, сестру ее, скажем, за красоту убили. В Киеве дело было. Так мне теперь что? Мне из этого и пальтишка даже не сшить. Да и меня, прямо скажу, этим теперь не заинтересуешь.

Так вот он говорит, со мной объясняется, а баба, заметьте, рядом стоит. Увидел он ее, закричал.

— Чего, — закричал, — тебе надобно? Уходи. Сделай такое одолжение.

А баба испугалась окрика, да говорит не то, что нужно.

— Ухожу, — говорит, — я, Дмитрий Наумыч, еще не знаю куда, наверное, в Киево-Печорскую лавру, так дозвольте мне на прощанье в баньке вашей попариться.

Посмотрел мужик на нее, не хитрит ли баба. Нет, не хитрит. Подобрел Дмитрий Наумыч.

— Ладно, — говорит, — попарься. В этом, — говорит, — я не притесняю. Ведь я не зверь какой-нибудь. Я за что тебя выгнал? Очень ты хорошая баба и все такое, да только уж извините — рвань коричневая. Ничего у тебя нет и, сознайся, — и не было. Да и родственники, слушай, твои, за сколько лет, хоть бы кто плюнул. Хоть бы кто подарок мне сделал для ради смеха, рубашку бы, например, преподнес к празднику к светлому: носите, дескать, Димитрий Наумыч, себе на утешение... Так нет того.

Не стала баба долго его слушать, повернулась да и пошла, а Димитрий Наумыч сел в телегу, свистнул, гикнул, да и был таков.

И вот, представьте себе, едет он в город, а баба тем временем баньку вытопила, кошку попову черную приманила, заперла ее в баньке и ждет ночи.

Встретил я ее, бабу бедную, в тот вечер. По селу она бежала. Стиснула этак вот кошку к груди и бежит и бежит просто-волосая и вроде как страшная.

«Ох, — подумал я, — гибнет баба». Но только, имейте в виду, дело мое сторона.

VI

А к ночи сделал мужик свое дело, выпил с братом своим в городе самую что ни на есть малость и едет обратно веселенький, песни даже играет. И не чует, не гадает, что с ним такое сейчас стрясется. А стрясется сейчас с ним дело совершенно удивительное — прут, ну, ветка, скажем, сухая в колесо попадет и лошадь гибнет...

Только об этом после. К этому и время еще не подошло. А мне только сказать нужно: если б не упала тогда лошадь, то ничего бы, может быть, и не случилось с бабой, поспел бы Димитрий Наумыч, ну, а тут лошадь, представьте себе, упала.

Хорошо. Так вот едет мужик по лесу, на телеге раскинул-ся, ручки свои в стороны разбросал. Едет.

А лошадь идет шагком мелким, ее и править не надо. Да Димитрий Наумыч и не правит. Он, имейте в виду, вожжи даже бросил.

И это верно он поступил: лошадь и днем и ночью завсегда дорогу к дому найдет. Об этом я очень великолепно знаю. В извозчиках я и сам больше года был.

Так вот, идет себе лошадь Димитрия Наумыча шагком, а Димитрий Наумыч вожжи отпустил и про себя песни играет. А ночь, имейте в виду, темнейшая.

Хорошо. Мурлычет он пьяненький — «Кари глазки», только, смотрит, к погосту подъезжает.

И стало мужику не по себе.

«Вот, — думает, — мать честная, сколько тут людишек позарыто, да и мне места такого не миновать... А я, обратите внимание, такими вещами занят: бабу, например, свою гоню, для ради какого-то богатства и роскоши»...

Подъехал он к погосту хмурый, песни свои забыл и лежит на телеге — скучает. Только чует: смотрит будто на него ктой-то пристально.

— Кто? — крикнул мужик.

— О-о! — закричали ему с погоста.

Хотел мужик подхлестнуть свою лошадь, да только чует: и рукой ему шевельнуть жутко.

«Ну, — думает, — скорее бы место такое злачное миновать».

Только это он так пожелал себе, вдруг его кто-то хлясь по роже.

Замер Димитрий Наумыч, похолодел.

А прут, представьте себе, обернулся еще раз в колесе — хлясь обратно по роже. Смертельно закричал Димитрий Наумыч. А лошадь — дура. Лошадь слышит — кричит мужик, думает — на нее, — понесла.

Мужик кричит чужим голосом, а лошадь так и дует, так и прет к дому.

Пронеслись они верст, наверное, пять, Димитрий Наумыч видит: никто его больше по роже не бьет — кричать перестал, в себя пришел.

Пришел в себя, тпр да тпр — не остановит коня.

Ему бы, дураку, нужно ш-ш сказать, а он за вожжу. Он за вожжу, а лошадь, несомненно, в сторону. Лошадь, несомненно, в сторону, а в стороне, имейте в виду, дерево.

Наскочила лошадь на дерево. Хрясь башкой об дерево и скосилась замертво.

Выпал мужик из телеги, шапку снял.

Да, видит, скончалась лошадь. «Ой, — думает, — вот беда так беда, такого и бедствия во всей жизни еще не было. Ну, — думает, — отпущена мне эта беда не иначе, как за бабу мою».

Стоит мужик и себе не верит.

И себя-то ему жалко, и лошадь, — дело такое драгоценное, мужицкое, и за бабу до того грустно, что и сказать невыносимо. Постоял он, постоял.

«Ну, — думает, — что есть, то есть. Пойду-ка я на село поскореича, может быть, с бабой моей еще ничего не случилось». Так вот он подумал, заторопился, привязал зачем-то лошадь к дереву, взвалил на себя дугу да сбрую и пошел скорым шагом.

Да только зря он торопился. Было уже поздно. Случилось уже такое, что и во сне не снилось мужику.

VIII

Начала баба дело свое — черную магию, когда Димитрий Наумыч к погосту подъезжал.

Пришла баба в те часы в баньку, крест и платишко свои в предбаннике оставила и без ничего в баню вошла. Вошла она в баню, крышку с котла откинула и кошку ищет.

«Где же, — думает, — кот. Не видно его чегой-то». Смотрит: сбился кот под лавку.

Баба ему: кыся, кыся, а он, представьте себе, щерится и в очи смотрит.

Баба протянула руку — он зубами. Изловчилась как-то баба, ухватила его за шкурку, плюхнула в котел и крышкой поскорей прикрыла.

Прикрыла она крышкой и слышит: бьется кошка в котле это, ужасно как, даже крышка чугунная вздымается. Налегла баба грудью на котел, а сама от страха сомлела вся, и вот-

вот, видит, силушки удержать не хватит. А в котле повертелось, повертелось и заглохло.

Подложила баба дров побольше, отошла от печки и на лавку присела. Ждет. И вот слышит, будто вода ключом кипит. Посмотрела: да, крышка вздымается и ходуном ходит.

«Ну, — думает баба, — сейчас конец».

Подбежала она к котлу, только приподняла крышку, как в лицо ей бросится кот или чего-то такое другое. Всплеснула баба руками и на пол рухнула.

IX

Конешно, никто не знает, как в точности это было. Скорей всего, баба открыла котел, а ее паром и обожгло. А баба с перепугу подумала, что это в нее кошка бросилась. Взяла и померла с перепугу. А конец делу был такой.

Вышел я утром на село, смотрю: бежит поскорей мужик Димитрий Наумыч, и на нем, представьте себе, честь честью дуга и сбруя.

Очень я удивился, а он ко мне.

— Не видел ли, — кричит, — бабы моей?

— Нет, — отвечаю, — бабы я твоей не видал. А вот вчера, — говорю, — да, видел, баньку она вечор топила.

Ухватил он тут меня за руку, и мы побежали.

Ворвались в баньку, шагнули за порог, и тут представилась нам такая нестерпимая картина.

Лежит, представьте себе, баба на полу совершенно мертвая.

Охнул тут Димитрий Наумыч, схватил себя за голову и говорит: «Вот, говорит, через свою жадность потерял такую верную супругу».

И, конечно, заплакал горькими слезами.

ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ

1

Ах, милостивые мои государи и дорогие товарищи! Поразительно это, как меняется жизнь и как все к простоте идет!

Скажем, двести лет назад, тут, на Невском, ходили люди в розовых, в зеленых камзолах и в париках. Дамы этакими куклами прогуливались в широченных юбищах, а в юбищах железные обручи...

Теперь бы и подумать об этом смешно, ну, а тогда была эта картина повседневная.

А, впрочем, и над нами через сто лет посмеются.

Вот, скажут, как нелегко было существовать им!

Мужчины на горлах воротнички этакие тугие стоячие носили, дамы — корсеты.

И верно. Смешно. А только и это уже уходит.

Все меняется, все идет к простоте необыкновенной.

И не только это во внешней жизни, но и в человеческих отношениях.

Ну кто, какой человек вызовет меня на дуэль, если я обзову его дураком? Никто.

А раньше за это до крови бились. Да что раньше.

Недавно это было. Недавно еще, скажем, битый офицер, да и не только офицер, любой дворянин битый считал непрременным долгом застрелиться или застрелить обидчика.

Я вот вспоминаю старичка древнего. Генерала одного пехотного. Актриска его в сердцах по физиономии дернула. Так что ж вы думаете?

Застрелиться хотел старичок. Плакал, тосковал всю ночь... Ну, да только кончилось все благополучно. Пережил старичок. И в дальнейшем помер от дизентерии.

Ах, а смешная это была история! И не то, конечно, смешно, что актриса старичка ударила, а вся история перед тем, вся веселая жизнь генеральская была необыкновенная.

2

Ах, милостивые мои государи! Невозможно без слез вспомнить об этом человеке.

Нынче лежит он на Митрофаньевском. Над ним камень могильный — ангел в воскрылии. Под ангелом надпись: отставной военный генерал Петр Петрович Танана.

Малюсенький это был старичок, птичий. Вместо волос — какие-то перышки. Носик продолжительный, птичий, и звали его повсюду, старичка этого, чижиком.

Были на нем чины огромные и богатство довольно изрядное, а жил он, несмотря на это, до того грустно, что сказать невозможно.

Пятьдесят лет прожил он, прямо скажу, неслышно, а на пятьдесят первом году, перед смертью, вдруг изменился человек.

Раньше, бывало, генеральша полные сутки орет на него, что павлин, а генерал в ответ ни полсловечка. Генерал в столовой на диване ляжет, шинелькой прикроется и жмется. А тут, на 51 году, стал брыкаться. Генеральша, например, голосом донимает, а он в людскую.

Там у Васьки Дидюлина, у камердинера своего, сядет на кровать и только усмехнется горько:

— Вот, — скажет, — Вася, картина семейной жизни.

А Васька Дидюлин головой потрясет.

— Да, — скажет, — неинтересно вы живете, богатые люди!

А генерал иногда с ним спорить начнет.

— Что ты, брат Дидюлин! Мы, богатые люди, тоже веселиться можем, только нам нельзя все сразу. Ты вот погоди. Дай срок. Дотерпи до лета. Летом мы с тобой на Кавказ поедем. Повеселимся ужасно как. Все равно, за тихую жизнь мне никто спасибо не сказал. Ну, а нынче желаю пожить разгульно. До того буду яростно жить, что если бог есть на небе, или, например, херувимы, так они содрогнутся.

И вот к весне генерал и Дидюлин стали в путь собираться.

3

А перед отъездом зовет генерал Дидюлина в комнату.

— Вот, — говорит, — что, Вася! Сейчас мы с тобой ходим по одному щепетильному делу. Пока генеральша спит у себя в креслах, бери поскорей эту корзину с пищей и идем.

Взяли они корзину и пошли.

Петербургская сторона. У черта на рогах... В шестнадцатом этаже... Звонят. Старушонка дверь отворяет.

— Что — спрашивает, — нужно? Я пенсионерка и держу меблированные комнаты.

Генерал отвечает:

— Нам нужно видеть мамзель Зюзиль по щепетильному делу.

— Это, — спрашивает, — циркачку-то?

— Да. Наездницу и актрису мамзель Зюзиль.

И вот входят генерал и Дидюлин в комнаты. У зеркала циркачка сидит. Вид у ней не ахти какой. Даже удивительно, как генерал заинтересовался ей.

Увидела генерала, руками всплеснула.

— Ах, ах, — говорит, — не подходите, генерал, я раздетая.

А генерал:

— Ничего, что раздетая, я по щепетильному делу.

— Ну так, — отвечает, — садитесь тогда в сторонку и произнесите ваше дело. А я новьюшечку тем временем сниму, прическу причешу и снова буду красивая и изысканная.

Генерал башлычок свой развернул. Подходит.

— Имею, — говорит, — честь отрекомендоваться, — военный генерал Петр Петрович Танана. Давеча сидел в первом ряду кресел и видел всю подноготную. Я, военный генерал, восхищен и очарован. Ваша любовь, мои же деньги — не желаете ли проехаться на Кавказ? Нужно жить да радоваться. Развязывай, брат Дидюлин, корзину.

У циркачки руки трясутся.

— Ах, ах, — отвечает, — мерси, генерал, не тревожьтесь беспокоиться. Не могу я так — раз, раз, по-воробьи-

ному, решиться на такое щепетильное дело. Я очень порядочная и за такие слова могу враз выгнать человека из помещения.

Генерал встает.

— Нету, — говорит, — не выгоняйте, умоляю вас. Я — военный генерал Петр Петрович Танана и всякие обиды и, в особенности, оскорбления действием мне невозможно перенести.

— Ах, ах! — говорит циркачка, — извиняюсь, генерал, я не хотела вас обидеть.

— Ну-с, — говорит генерал, — это ничего. Сердце у меня нежное и характер кроткий. Беги, брат Дидюлин, в полпивную, носи полдюжины пива. Нужно жить да радоваться.

Побежал Дидюлин в полпивную, возвращается — сидят у зеркала генерал с циркачкой, будто новобрачные.

4

Вскоре после того они и поехали.

Кисловодск. Высшее человеческое парение.

Вот генерал циркачке и говорит:

— Ну, машер, машер, приехали. Вот взгляните! Кисловодск. Кругом восхитительные места, кавказская природа, а это курсовые ходят.

А циркачка:

— Ну, — говорит, — и пушай себе ходят. В этом ничего нет удивительного. Давайте лучше квартиру снимать.

Снял генерал квартиру, а циркачка через улицу комнату. Живут.

Только замечает генерал: дама мамзель Зюзиль по этим местам не слишком шикарная, даже вовсе не шикарная. Одним словом, стерва.

Генерал, например, с ней под ручку идет, а в публике смех. Тут кругом высшее общество, а она гогочет и ногами вскидывает.

Вот генерал Дидюлину и говорит:

— Ну, говорит, брат Дидюлин, я — военный генерал Петр Петрович Танана, а мне с циркачкой вместо веселья одно лишь оскорбление выходит. Тут кругом высшее общество, а она, дура такая, бисерный подзатыльник носит, гогочет и обнажается.

Дидюлин ему и советует:

— А вы, — говорит, — гоните ее, и разговор весь.

Вот генерал и согласился.

Приходит циркачка на другой день, а Дидюлин:

— Пуцать, — говорит, — не велено. Иди, говорит.

— Как же, — говорит, — не велено? Если генерал от меня в полном восхищении?

— Ну, — говорит Дидюлин, — это вам как угодно. Приказано гнать в шею.

Как услышала циркачка такие слова — затряслась. Визжит в три горла. Даже соседи заинтересовались.

— Кто это, — спрашивают, — визжит в три горла?

А циркачка:

— Передайте, — кричит, — генералу, что я ему, курицыну сыну, за такое нахальство голову вырву при первой встрече.

Покричала еще циркачка и ушла.

А очень тут испугался генерал. В комнате у себя заперся, шторку опустил.

— Ну, — говорит, — брат Дидюлин, вонючий случай. Дама она настойчивая, что сказала — сделает. А если сделает, мне помереть придется. Мне, военному генералу, невозможно перенести оскорбления. Лучше, говорит, я из комнаты никуда не выйду. А ты ко мне никого не впускай и дверь на цепке держи.

5

Три дня прожил генерал в комнате, не вылезая. На четвертый день осмелел — шторку поднял и сидит у окна, обедает.

И видит — личность этакая штуковатая к окну подходит. Человек какой-то.

И шут его разберет — не то кавказец, не то русский. На подбородок посмотришь — кавказец. Подбородок пикой. На нос взглянешь — безусловно русский. Нос обыкновенный русский, крылечком выступает.

Тут и генерал заинтересовался таким смешением, из окна высунулся, вместо того, чтобы шторку опустить.

А тот ближе подходит.

— Здравия, — говорит, — желаю. Имею, говорит, к вам очень много чувств, дайте, говорит, за мои чувства тарелку супу. Я вам за едой дельце расскажу.

Генерал испугался.

— Вы, — говорит, — ко мне не подходите близко и в лицо не дуйте — я военный, генерал Танана и мне это оскорбительно. Говорите на почтительном расстоянии.

— Ах, — говорит, — так! Ну, так извольте. После этого вы мне прямой враг. Вы не смотрите, что нос у меня обыкновенный, нос этот мне от матушки достался, а я настоящий гордый лезгин и за честь женщины всегда вступлюсь. Объявляю вам, надменному генералу, что если вы не удовлетворите капиталом обиженную мамзель Зюзиль, так она оскорбит вас действием публично. А что до меня, то заявляю: выжимаю левой рукой три пуда, рука у меня тяжелая. Были даже смертельные исходы.

И ушел.

Генерал сомлел, штормку опустил, сидит и трясется. Дидюлина зовет.

— Ну, — говорит, — брат Дидюлин, вонючий случай. Делу дан неприятный оборот. Что делать, я и ума не приложу. Чувствую только, что живым мне теперь не быть. Ну, ударит она при публике — мне крышка, стреляться нужно. А если капитал ей дать, то опять-таки — какой капитал? Мало дашь — все равно ударит. Много дашь — передашь еще. Жалко. Погиб я теперь, Дидюлин. Погубила меня веселая жизнь.

А Дидюлин ему и говорит:

— А вы, говорит, дайте ей три катеньки и еще пообещайте, а там видно будет. Может быть, мы соберемся, да и в сторону.

Генерал вынул три бумаги.

— Ладно, — говорит, — беги. Это ты прелестно придумал. Вот Дидюлин и побежал.

А надо было так случиться, что, не доходя циркачки, армянская полпивная была. Духан, одним словом.

Вот Дидюлин бежит, деньги у него между пальцами шуршат и думает он:

«Не малюсенькие, думает, деньги, мать честная! Зайти, что ли, выпить стаканчик? С циркачки и двух бумаг больно хватит».

Вот он и зашел. Выпил и еще выпил: и все на свете забыл. Гуляет на все сто рублей.

А генерал у окна сидит и природой любитесь. Только проходит час и два. Дело к вечеру. Нет Дидюлина.

Вот генерал и думает:

«Затекли ноги. Пройтись, что ли, по улице?..»

Вышел он на улицу — хорошо. Идет по улице — превосходно. Видит — парк.

«Зайду, — думает, — в парк. Волков бояться — в лес не ходить».

Зашел в парк. Кругом духовая музыка.

Вот генерал и сам не заметил, как за столик сел... Потребовал себе еды. Сидит, кушает, музыкой восхищается.

«Ну, — думает, — ничуть не страшно».

Только вдруг видит: циркачка идет и лезгин рядом.

«Неужели, — думает генерал, — мало ей трех катенок?»

А циркачка подходит к столу.

— Что, — говорит, — не узнали, генерал?

— Нет, отчего же, — отвечает генерал, — узнал, машер, машер... И того, говорит, лезгина узнал. Очень симпатичная личность.

— Ах, — говорит циркачка, — личность?

И с этими словами генерала по сухонькой щеке наотмашь.

Упал генерал в траву и лежит битый в тревожной позе. А лезгин схватил скатерть, сдернул — все бланманже на пол рухнуло.

Заохотали они оба и ушли.

Стали тут курсовые подходить толпами.

Собрали генерала с травы, положили на скатерть и домой отнесли.

7

К ночи Дидюлин домой явился пьяный.

Пришел к генералу.

— Так и так. Прогулял денежки.

Ничего ему генерал на это не сказал, только кивнул головой.

— Подай, — говорит, — сюда огнестрельное оружие.

Дидюлин, пьяный, оружие подал и к себе.

Спать сразу свалился. Только на утро вскакивает, вспоминает все. «Ну, — думает, — помер генерал. Вечный покой». Вбегает в комнату, смотрит: сидит генерал на кровати и тоненько так смеется. Весело.

— А, — говорит, — брат Дидюлин! Я, говорит, на тебя не сержусь. Они хитры, но и я хитер. Если бы лезгин меня уда-

рил, то да — я бы застрелился. Ну, а тут актриска ударила. Баба. А баба не считается... Ах ты, дураки какие!

На другой день генерал и Дидюлин уехали.

А в дороге покушал генерал через меру и помер от дизентерии:

ПОСЛЕДНИЙ БАРИН

1. Встреча

Его, Гаврилу Васильевича Зубова, я встретил в Смоленске.

Помню... Базар. Пшеничный хлеб. Свиная туша. Бабы. Молоко... И тут же, у ларьков — толпа. Зрители. Хохочут. Бьют в ладоши. А перед зрителями человек.

Я подошел.

Был это необыкновенного вида человек: босой, слоноподобный, с длинными, до плеч, седыми волосами. Он ходил этаким кренделем перед толпой, рыл ногами землю, бил себя по животу, хрюкал, приседал, ложился в грязь. Он танцевал.

Сначала я не понял. Понял, когда он взял с земли дворянскую фуражку и стал обходить зрителей. В фуражку клали ему все, кроме денег: кусочки грязи, навоз, иной раз хлеб. Хлеб он тут же пожирал. Все смеялись. Но это не было смешно. Это было страшно — лицо его не улыбалось.

Я протискался ближе и вдруг узнал: это — Зубов. Помещик Гаврила Васильевич Зубов. Я вдруг вспомнил: цугом

двенадцать лошадей, гонец впереди — его выезд, кровать под балдахином, лакей, читающий ему Пушкина из соседней комнаты (чтоб не видеть смерда!)...

Я положил в шапку его хлеб и сказал тихо:

— Гаврила Васильевич...

Он, усмехнулся как-то хитро, в нос, и, взглянув на меня, отошел.

Да, это был Гаврила Зубов. Странный, необыкновенный человек. Последний барин, которому следовало бы жить при Екатерине...

Я хотел было уйти, но вдруг подошел ко мне какой-то старичок. Был он чистенький, опрятненький, в сюртуке. В руке он держал ковер: продавал.

Старичок высморкался в розовый платок, поправил галстук, кашлянул и сказал почтительно:

— Извиняюсь, уважаемый товарищ, вы изволили по имени назвать Гаврилу Васильевича... Вы знали сего человека?

— Да, — сказал я, — однажды я с ним встретился...

— Однажды! — закричал на меня старичок. — Однажды! Только однажды! Так, значит, о нем вы ничего не знаете?

— Нет, — сказал я, — о нем я кое-что слышал.

Старичок недовольно взглянул на меня.

— А что Зубово он сжег — знаете?

— Сжег Зубово? Нет, не знаю.

— Нет! — снова закричал старичок, размахивая руками. — Ну, так, значит, вы ничего не знаете... А про Ленку знаете? А как Гаврила Васильевич князя Мухина высек?

Старичок засмеялся тоненько, поперхнулся, вынул розовый свой платок, высморкался и, взяв меня под руку, сказал, показывая пальцем на Зубова:

— Сжег. Сжег свое Зубово. Из великой гордости сжег, чтоб мужичкам ничего не досталось. И нагишом ушел. В белье только. Даже кольцо с пальца скинул и в пожар бросил. Мужички по сие время шуруют на пожарище.

Старичок снова засмеялся. На этот раз он смеялся продолжительно, дважды вытаскивал носовой платок, сморкался, махал рукой, вытирал себе слезы...

Я посмотрел на Гаврилу Васильевича. Он сидел на земле, поджав под себя ноги. Величайшее равнодушие застыло на его лице. Он тихо качался всем телом, и челюсти его медленно и равнодушно двигались: он жевал хлеб.

2. Рассказ старичка

— Ах, уважаемый товарищ, — сказал старичок, — много ли человек стоит? А стоит человек три копейки со всеми своими качествами. Вот взгляните: сидит человек, сложив по-турецки ноги — ему и горюшка никакого... Все забыл, все не помнит, и другая кровь течет у него по жилам.

А кто это сидит, многоуважаемый товарищ? А сидит это Гаврила Васильевич Зубов, самый, в свое время, замечательный, — самый наигордый человек во всей России. Лет тому тридцать назад, каждый сопливый мальчишка знал это имя. Жил он в Москве и не тем был замечателен, что золотом свы-

ше одного миллиона на французенок истратил, а был он замечателен необыкновенной своей гордостью.

Гордился он прямо-таки всем: фамилией своей, и ростом, и капиталом, и тем, что покойный царь с ним в шашки игрывал и по щекам его дружески хлопал...

Разные уморительные анекдоты существовали об его безмерном тщеславии.

Рассказывали, будто в любовницах всегда у него были самые красивейшие женщины. Красивей всех. А один известный барон вывез откуда-то столь необыкновенно прекрасную девицу, что сразу затмил Зубова. Не мог перенести это Зубов. За огромные деньги перекупил он девицу эту и всюду на показ водил ее... А была девица эта из мещаночек. И при чудной красоте своей имела руки мужицкие, красные... Так два года перед тем продержал ее Гаврила Васильевич взаперти и два года не снимал с нее кожаных перчаток. А как снял, так руки стали у ней белейшие, с прожилками.

Ах, ей-богу, до чего был гордый человек!

Рассказывали, будто на визитных своих карточках, кроме корон и всяких наименований, печатал он собственный вес — 9 пудов. Но неизвестно, может быть, это была неправда.

Известно только, что в сорок лет он не смог ужиться с людьми, и по великой своей гордости и презрению к людям выехал в имение свое Зубово. И там он от всех закрылся. Никуда не выезжал, и к нему никто не ездил. Наезжали, впрочем, к нему разные некрупные помещики, но Гаврила Васильевич принимал их строго: называл на ты, руки не по-

давал и садиться перед собой не приказывал. И всех считал дрянью, разночинцами или купчишками. Некоторые дворянчики безмерно от того обижались, но ихняя обида оставалась при них.

Пять лет прожил он сиднем, на шестой все и случилось. А пять лет жил он до того скучно, что будь это другой человек, непременно бы он повесился.

Была у него в любовницах Ленка — девка простая и, как все равно, индюшка, глупая. Жила она в верхнем этаже, целые дни кушала халву и грецкие орехи и валялась на постелях.

Гаврила Васильевич поднимался к ней редко. И даже в такие дни с ней не разговаривал. Да и она сама перед ним робела.

А день у него проходил от еды до еды. Днем, без всякой на то нужды, ходил Гаврила Васильевич по своим апартаментам и на глаза никто не смел ему показываться. А к вечеру, бывало, на кровать он свою ляжет, балдахином прикроется и велит камердинеру Гришке книги читать.

Сядет Гришка в соседней комнате, дверь в барскую опочивальню прикроет и оглушительным басом кричит ему разные повести и романы.

Но иной раз, в добром душевном расположении, выходил Гаврила Васильевич в сад и приказывал палить из пушки. Стояла у него в саду пушка старинная и стреляла она каменными ядрами. Ну, стрельнут из нее раз, другой, Гаврила Васильевич рукой махнет — дескать, достаточно, будет, и снова в свои апартаменты. И ходит, и ходит, даже посторонних тоска берет.

Иной раз устраивал Гаврила Васильевич балы. Да только это были совсем удивительные балы. Пятнадцать музыкантов на хорах трубили в инструменты вальсы и мазурки, а Гаврила Васильевич один во всем зале ходит взад и вперед, в кресла присаживается и опять ходит...

Так вот жил Гаврила Васильевич в своем Зубове побольше пяти лет. А был у него некий человек, вроде как бы его приказчик или управляющий. Ходил этот приказчик за барином своим в трех шагах, в разговоры не лез, молчал, как утопленник, и все припадал к барской ручке.

За это Гаврила Васильевич весьма его полюбил и даже приблизил. Его-то однажды Гаврила Васильевич позвал в свои апартаменты и сказал:

— Род мой древний и знаменитый, ежели в ближайшие сроки не женюсь, то окончится на мне фамилия. Угаснет род. Что делать — ума не приложу. А только требуется мне невеста хороших кровей.

Бросились люди по всей губернии... Стали разыскивать, опрашивать, где какая существует девица хороших кровей, но нигде не нашли. Все проживали мелкота и купчишки.

Стали наезжать к Гавриле Васильевичу старушки разные. Бывало, такая старушка придет, Гаврила Васильевич ее примет, послушает, а после как по столу тяпнет.

— Да ты про что врешь?

— Как это вру? Предлагаю, дескать, дворяночку.

— Кому предлагаешь? Говори, кому предлагаешь. Кто я такой?

— Зубов. Помещик Зубов.

Гаврила Васильевич только усмеялся.

— Зубов! А кто такой Зубов? Да знаешь ли ты, матушка, что Зубов в бархатную книгу вписан? Да со мной император не раз в шашки играл!.. Да лучше я на девке простой женюсь, чем дворяночке поеду кланяться.

Приказчику Гаврила Васильевич заявил:

— Ежели в течение года невесты хороших кровей не найду, то непременно и обязательно женюсь на Ленке. Пушай весь мир погибает!

А вскоре отыскали эту невесту. Явился человек и доложил:

— Проживает в десяти верстах за Гнилыми Прудами старая княгиня Мухина. Богатством она не отличается, но кровей хороших и превосходных. При ней, дескать, дочка. А какова дочка, какой внешности и какой, например, у ней нос — никто не знает. Может быть, она и очень хороша, а, может быть, и хроменькая — никто об этом не знает и ее не видал.

Ужасно тут обрадовался Гаврила Васильевич.

— Ладно, — говорит, — какая бы она ни была, но раз хороших кровей, то дело сделано.

Приказал он из пушки стрелять и в тот же день отбыл к князьям Мухиным.

Приехал. Ждет. Старушка к нему выходит. Старушка весьма гордая... Капот... Наколочка... Разговор все время французский...

Посмотрел на нее Гаврила Васильевич — остался доволен. Кровей, думает, хороших. Сомненья нету.

А она:

— Зачем, дескать, батюшка, пожаловали? По каким это делам? А мы-то тут сиднем сидим и из высшего света никого не видим.

Гаврила Васильевич ей отвечает:

— Насчет высшего света я с вами много не буду распространяться, я пожаловал сюда не мух ловить, а серьезное дело делать. Примите мое предложение — прошу ручку вашей дочери.

Старушка совершенно тут растерялась, про себя бубнит, по апартаментам мечется.

— Как? Что такое? Да разве вы знаете княжну Липочку?

— Нет, — отвечает ей гордо Гаврила Васильевич, — княжну я не знаю и знать не хочу, а прошу ее руки заочно. Пуцай входит и мне представляется.

Ужасно тут забеспокоилась старушка.

— Ох, — говорит, — если так, то сейчас, сейчас. С минутку обождите. Кушайте пока чай с печеньями.

И сама за дверь вышла.

Осмотрел Гаврила Васильевич комнату. Видит, фамилия князей Мухиных небогатая: все стоит развалившись, мебель и диваны рваные.

«Ну, — думает, — мне это все равно, не за мебелью я приехал, мебель всегда заново обить можно, а мне кровь важна».

И вот, выходит снова старушка, с дочкой, княжной Олимпиадочкой. Княжна хроменькая и собой столь ужасно некрасива, что и выразиться трудно. Носишко совсем малюсенький, рост и телосложение тем более мизерное, волосенки жидкие — ни кожи, ни рожи.

Осмотрел ее Гаврила Васильевич и говорит:

— Ну, что ж делать! Мне с лица ее не воду пить. От слов своих не отрекаюсь — что сказал, то и свято. Приданым я интересуюсь мало — что дадите, то и ладно. Род мой старинный и знаменитый, и мне не купчиха нужна, а кровь хорошая. Объявляю ее своей невестой.

Была княгиня Мухина хоть и небогатая, но претензий и апломбу у ней было много.

— Так-то так, — говорит, — но вы с ней весьма мало знакомы, только раз и виделись. Ни любви, ни романа, ни ревности — это даже странно и не по этикету. Но если вы так торопитесь, то напишу-ка я сегодня Володичке в гвардейский полк, пусть над сестрой он сам распоряжается.

А княжна Олимпиадочка по апартаментам ходит, ножкой своей волочит и все соглашается:

— Ах, ма мер, да пусть он женится, я согласна.

Гаврила Васильевич сказал:

— Ладно. Пишите письмо. Ждать я еще могу. — Сказал он еще несколько светских слов по-французски и с тем и уехал.

Вот прошла неделя, две... Гаврила Васильевич веселится, из пушки бьет, балы устраивает...

Наконец — дежурный скачок. Докладывает: приехал, дескать, князь Мухин, только с парохода слез.

Целые сутки провел Гаврила Васильевич в нетерпении, на другой день велел собираться. Запрягли двенадцать лошадей, трубач впереди, сзади собак целая свора — и тронулись.

Но не доехал еще Зубов до Гнилых Прудов, как велел остановиться. Остановились. Стоят.

Гаврила Васильевич думает:

«Что ж это я, как мальчишка, скачу? И к кому? К какому-то офицеришке! Я в бархатную книгу вписан, со мной император запросто в шашки играл... Назад!»

Вернулся Гаврила Васильевич в Зубово, лишь один скачок на княжеский двор приехал. А во дворе князю, поручику Мухину, лошадей запрягают. Расспросы: что? как? почему? Неизвестно. Велели распрягать.

К вечеру узнается: Гаврила Васильевич вернулся с пути, не доехав до Гнилых Прудов.

Проходит день, два и три — оба, из гордости, сидят дома. Наконец, через неделю, князь Мухин присылает в Зубово скачка.

Сидел в то время Гаврила Васильевич на балконе у Ленки и халву кушал.

Скачок с лошади не слез и ворот просил не запирать. Он посмотрел на Зубова с нахальством, шапки перед ним не снял и сказал на весь двор громко:

— Его сиятельство, князь Мухин, велели доложить, что им чихать хочется на ваше благородство.

Гаврила Васильевич едва не выпал из балкона. А скачок еще сказал:

— Его сиятельство, князь Мухин, велели доложить, что в свое время таких благородных они на конюшнях парывали.

Услышали люди такие слова, враз попрятались, и, как ни кричал Гаврила Васильевич, из робости никто не вышел.

Как ударил тут скачок коня, так за воротами и скрылся вмиг.

В ужасной ярости плевал Гаврила Васильевич вниз, ногами бил, кричал:

— Держи! Трави собаками!

Выбежал он сам во двор, но скачок был далеко. Моментально приказал Гаврила Васильевич выкатить пушку на дорогу и велел стрелять.

Три раза заряжали пушку и стреляли вслед, но скачка уж и не видно было — только пыль вздымалась по дороге.

Вернулся Гаврила Васильевич домой, появился несколько дней и вдруг затих. Он призвал приказчика и сказал ему:

— Мнения своего не изменю. На хроменькой княжне женью, но прежде ужасно оскорблю и унижу князя Владимира. Но как это сделать — ума не приложу.

Бросились тут люди в Петербург и в Москву. За неделю разузнали, как и что. Доложили: проживает князь, поручик Мухин, в Петербурге, по кабакам ходит, кутит и в деньгах чересчур нуждается.

И неизвестно, как уж дальше вышло — деньгами или хитростью, но собрал Гаврила Васильевич против Мухина обличительные документы, расписки денежные и даже подпись одну фальшивую.

Написал ему письмо. Приезжайте, дескать, срочно, иначе угрожает вам каторга.

В три дня обернулся князь Мухин и прибыл в Зубово. Ужасно бледный, прошел он в апартаменты Гаврилы Васильевича, почтительно ему поклонился, но сказал с усмешкой:

— Вот, говорит, когда пришлось нам свидеться. Говорите скорей, что за документы требуете.

Гаврила Васильевич на поклон не ответил, лишь усмехнулся только и говорит:

— Решай: либо тебе в каторгу идти и тем самым навек погибнуть, либо я тебя высеку, документы отдам и на княжне Липочке женюсь.

Вскипел сначала князь Мухин, схватился даже за оружие, стрелять хотел. Раздумал. Хотел уйти, дошел до двери, вернулся.

«Что ж, — подумал, — я человек погибший, из полка мне все равно уйти, а тут — либо покориться и тем самым документы вернуть и честное имя восстановить, либо в каторгу».

Подошел он к Гавриле Васильевичу, говорит тихо:

— Делайте, что хотите.

А сам мундир снял, погоны отвязал, бросил их на землю, растоптал ногами...

Крикнул тут Гаврила Васильевич камердинера Гришку, велел ему стегать князя Мухина, но не дался Мухин.

— Нет, — говорит, — такого уговора не было, чтоб меня лакей стегал.

Ужасно это понравилось Гавриле Васильевичу, рассмеялся даже.

— Ну, — говорит, — вижу, ты хороших кровей. Хвалю. Но мнения своего не изменю.

Взял он с этими словами арапник и самолично постегал князя Мухина. Поднялся князь Мухин, дрожит. Накинул на себя мундир.

— Давайте, — говорит, — документы.

— Нет, — сказал Гаврила Васильевич, — документов я тебе не дам.

Страшно побледнел князь Мухин, заплакал с досады, бросился во двор к лошадям... Гаврила Васильевич его вернул.

— Да, — говорит, — документов я тебе не дам. Пусть придет за ними сестра, княжна Липочка.

Заплакал снова от обиды князь Мухин, ничего не сказал и вышел.

И прошло несколько дней, является княжна Липочка. Явилась она вне себя, пешком, волосенки у ней сбились на сторону, идет — трясется.

Увидел ее из окна Гаврила Васильевич, усмехнулся, крикнул камердинера Гришку и велел передать ей бумаги. А сам не вышел. Только глянул в окно, как по двору она шла, постоял недолго, бросился после к воротам. Стоит и вслед смотрит, нахмурившись. А княжна Липочка идет по дороге, бумаги в руке зажала, торопится и по пыли за собой ножку волочит.

3. Конец

Старичок вынул розовый свой платок, высморкался, вытер свои глазки и замолчал. Я взглянул на Гаврилу Васильевича. Он все еще сидел на земле. Он собирал крошки в ладонь и высыпал их в рот.

— А дальше? — спросил я старичка.

— Все.

— Позвольте, а как он Зубово сжег — вы не рассказали. А Ленка что?..

Старичок посмотрел на меня косо.

— Ну и сжег, — сказал он. — Как про революцию услышал, так и сжег. Сжег и нас не спросил. И нагишом ушел... А вы тут кто такой?

— Позвольте, — удивился я, — вы же сами рассказывали...

— Рассказывал! — закричал старичок, наседая на меня. — А вы кто такой? Чего вам нужно? С флагами, небось, ходили, идеи разные разглашали, ну и проходите себе... Не задерживайте людей расспросами.

В это время Гаврила Васильевич поднялся тяжело с земли и, странно покачиваясь и дергая как-то ногами, пошел с базара.

Мой старичок посмотрел на него, засуетился, махнул рукой и пошел от меня прочь.

— Позвольте, голубчик, — закричал я ему вслед. — А как же Зубов? Женился он на княжне Липочке?

Старичок остановился, вынул свой платок, покачал головой и сказал:

— Не женился. Утонула княжна Липочка. Как в тот день из Зубова ушла, так и домой не вернулась. В Гнилые Пруды бросилась.

Старичок заморгал глазками, махнул рукой и вдруг побежал. Я долго смотрел ему вслед.

Он бежал, размахивая ковром, смешно подбирая ноги. Потом он поравнялся с Зубовым и они пошли вместе.

РАССКАЗ ПРО ПОПА

Утро ясное. Озеро. Поверхность этакая, скажем, без рябины. Поплавков. Удочка.

Ах, ей-богу, нет ничего на свете слаще, как такое препровождение времени.

Иные, впрочем, предпочитают рыбу неводом ловить, переметами, подпусками, мережками, английскими со звонками приспособлениями... Но пустяки это, пустяки. Простая, натуральная удочка ни с чем не сравнима.

Конечно, удочка нынче разная пошла. Есть и такая: с колесиком вроде бы. Леска на колесико накручивается. Но это тоже пустяки. Механика. Ходит, скажем, такой рыбарь по берегу, замахнет, размахнет, шлепнет приманку и крутит после.

Пускай крутит. Пустяки это. Механика. Не любит этого поп Семен. Попу Семену предпочтительней простейшая удочка. Чтоб сидеть при ней часами можно, чтоб сидеть, а не размахиваться и не крутить по-пустому, потому что, если крутить начнешь, то в голове от того совершенные пустяки и коловращение. Да и нету той ясности и того умиротворения предметов, как при простой удочке.

А простая натуральная удочка... Ах, ей-богу! Сидишь мыслишь. Хочешь — о человеке мыслишь. Хочешь — о мироздании. О рыбе хочешь — о рыбе мыслишь. И ни в чем нет тебе никакого запрета. То есть, конечно, есть запрет. Но от себя запрет. От себя поп Семен наложил запрет этот.

Обо всем поп Семен проникновенно думал, обо всем имел особое суждение и лишь об одном не смел думать — о боге.

Иной раз воспарится в мыслях — черт не брат. Мироздание — это, мол, то-то и то. Зарождение первейшей жизни — органическая химия. Бог... Как до бога доходил, так и баста. Пугался поп. Не смел думать. А почему не смел, и сам не знал. В трепете перед богом воспитан был. А отрывками, впрочем, думал. Тихонечко. Мыслишку одну какую-либо допустит и хватит. Трясутся руки. А мыслишка — какой это бог? Власть ли это созидающий или иное что. И после сам себе:

— Замри, поп Семен. Баста! Не моги про это думать...

И про иное думал. Отвлекался другими предметами.

А кругом — предметов, конечно, неисчислимое количество. И о каждом предмете свой разговор. О каждом предмете — разнохарактерное рассуждение. Да и верно: любой предмет, скажем, взять... Нарочно взять червячишку дождевого самого поганенького. И тотчас двухстороннее размышление о червячишке том.

— Прежде — откуда червяк есть? Из прели, из слизи, химия ли это есть органическая, или тоже своеобразной душонкой наделен и богом сделан?

Потом о червяке самом. Физиология. Дышит ли он, стерва, или как там еще иначе... Неизвестно, впрочем, это. Существо это однообразное, тонкое — кишка, вроде бы. Не то что грудкой, но и жабрами не наделен от природы. Но дошла ли до этого наука или наука про это умалчивает — неизвестно.

Ах, ей-богу — великолепные какие мысли! Не иначе, как в мыслях познается могущество и сила человека...

Дальше — поверхностное рассуждение, применимое к рыбной ловле... Какой червяк рыбе требуется? А рыбе требу-

ется червяк густой, с окраской. Чтоб он ежесекундно бодрился, сукин сын, вился чтоб вокруг себя. На него, на стервеца, плюнуть еще нужно. От этого он еще пуще бодрится, в раж входит.

Вот, примерно, такое могущественное, трехстороннее рассуждение о поганом червяке и также о всяком предмете, начиная с грандиозных вещей и кончая гнусной, еле живой мошкой, мошкаррой или, скажем, каракатицей.

От мыслей таких было попу Семену величайшее умиротворение и восторг даже.

Но бог... Ах, темная это сторона. Вилами все на воде писано... Есть ли бог или нету его? Власть ли это? А ежели власть, то какая же власть, что себя ни в какой мере не проявит? Но:

— Замри, поп Семен, баста!

И, может быть, так бы и помер человек, не думая про бога, но случилось незначительное происшествие. Стал после того поп сомневаться в истинном существовании бога. И не то чтобы сам поп Семен дошел до этого путем своих двухсторонних измышлений — какое там! Встреча. С бабой была встреча. С бабой был разговор. От разговора этого ни в какой мере теперь не избавиться. Сомненья, одним словом.

А пришел раз поп к озеру. Утро. Тихая такая благодать. Умиротворение... Присел поп Семен на бережок...

«Про что же, — думает, — сегодня размышлять буду?»

Червяка наживил. Плюнул на него. Полюбовался его чрезмерной бодростью. Закинул леску.

— Ловись, — сказал, — рыбка большая, ловись и маленькая.

И от радости своего существования, от сладости бытия засмеялся тихонечко.

Вдруг слышит смех ответный. Смотрит поп: баба перед ним стоит. Не баба, впрочем, не мужичка то есть, а заметно, что из города.

«Тьфу на нее, — подумал поп. — Что ей тутотко приспичило?»

А она-то смеется, а она-то юбкой вертит.

— Пи-пи-пи... А я, — говорит, — поп, учительница. В село назначена. Значит, будем вместе жить... А пока — гуляю, видишь ли. Люблю, мол, утром.

— Ну что ж, и гуляйте, — сказал тихонько поп.

Смеется.

— Вот, — говорит, — вы какой! Я про вас, про философа кой-чего уже слышала.

«Ну и проходите, мол, дальше!» — подумал поп.

И такое на него остервенение напало — удивительно даже. Человек он добрый, к людям умильный, а тут — неизвестно что. Предчувствие, что ли.

— А чего, — говорит, — слышала?

— Да разное.

Она на него смотрит, а он сердится.

— Чего, — говорит, — смотрите? На мне узоров нету...

И такая началась между ними нелюбезная беседа, что непонятно, как они уж дальше говорить стали.

Только поп слово, а она десять и даже больше. И все о наивысших материях. О людях — о людях. О церкви —

о церкви. О боге — о боге... И все со смешком она, с ехидством. И все с вывертами и с выкрутасами всякими.

Растерялся даже поп. Неожиданность все-таки. Больше все его слушали, а тут — не уютно ли — дискуссия!

— Церковь? И церкви вашей не верю. Выражаю недоверие. Пустяки это. Идолопоклонство. Бог? И бога нету. Все есть органическая химия.

Поп едва сказать хочет:

— Позвольте, мол, то есть, как это бога нет? То есть, как это идолопоклонство?

А она:

— А так, — говорит, — и нету. И вы, — говорит, — человек умный, а в рясе ходите... Позорно это. А что до храмов, то и храмы вздор. Недомыслие. Дикарям в пору. Я, мол, захожу в храмы, а мне смешно. Захожу, как к язычникам. Иконы, ризки там всякие, святые — идолы. Лампадки — смешно. Свечи — смешно. Колокола — еще смешнее. Позорно это, поп, для развитых людей.

И ничего так не задело попа, как то, что с легкостью такой невероятной заявила про бога: нету, дескать. Сами-то не верите. Или сомневаетесь.

— То есть, как же, — сказал поп, — сомневаюсь?

И вдруг понял с ясностью, что он и точно сомневается. Оробел совсем поп. Копнул в душе раз — туман. Копнул два — неразборчивость. Не думал об этом. Мыслей таких не было. И точно: какой это бог? Природа, что ли? Существо?

Раскинул поп мозгами. Хотел двухсторонне размыслить по привычке, а она опять:

— Идолопоклонство... Но, — говорит, — вот что. Если есть бог, то допустит ли он меня преступление перед ним совершить, а? Допустит? Отвечай, поп.

— Не знаю, — сказал поп. — Может, и не допустит... Ведьма ты... Вот кто ты. Уйди отсюда.

Засмеялась.

— Пойдем, — говорит, — поп, в церковь, я плюну в царские врата.

Раскидал поп червяков. Удилище бросил. Ничего на это учительнице не сказал и пошел себе.

И сам не заметил, как пошел с великим сомнением. Точно: что за пустяки... Ежели бог есть — почему он волю свою не проявит? Почему не размозжит на месте святотатку? Что за причина не объявить себя хоть этим перед человечеством? А ведь тогда бы и сомненья не было. Каждый бы тогда поверил. А так... Может, и точно, бога нету... Идолопоклонение.

И заболел поп с тех пор. Заболел сомнением. Не то что покой свой потерял, а окружающих извел до невозможности. Матушку тоже извел до невозможности. Ненормальный стал.

Рыбу ли удит, — «Ежели, — думает, — ерш — бог есть. Ежели не ерш — нету».

Плачет матушка обильно, на попа глядячи. Был поп хоть куда, мудрил хотя, о высоких предметах любил выражаться, а тут — сидит у окна, ровно доска.

«Ежели, — думает, — сейчас мужик пройдет, — есть бог, ежели баба — нету бога»...

Но всякие прохожие проходили, — и мужики, и бабы, — а поп все сомневался.

И задумала уж матушка прошение в уезд писать, да случилось такое: просветлел однажды поп. Пришел он раз ясный, веселый даже, моргает матушке.

— Вот, — говорит, — про бога, матушка, это у меня точно — сомнение. Не буду врать. Но ежели есть бог, то должен он мне знаменья дать, что он точно существует. Кивнуть мне должен, мигнуть; дескать, точно, существую, мол, и управляю вселенной. Ежели он знаменья не даст — нету его.

— Пустяки это, — сказала матушка. — Чего тебе до бога? Мигнуть... Ох, болен ты, поп...

— Как чего? — удивился поп. — Вопрос этот поднапрел у меня. Я поверю тогда. А иначе и службу исполнять не в состоянии. Может, идолопоклонение это, матушка.

Промолчала матушка.

Стал с тех пор поп знаменья ждать. Опять извелся, расстроился, вовсе бросил свое рыбачество. Ходит, как больной или в горячке, во всякой дряни сокровенный смысл ищет. Дверь ли продолжительно скрипнет, кастрюлька ли в кухне рухнет, кошка ли курнавчит — на все подозрение. Мало того: людей останавливать стал. У мужиков ответа просить начал. Остановит кого-либо:

— Ну, — спрашивает, — брат, есть ли по-твоему бог, или бога нету?

Коситься стали мужички. Хитрит, что ли, поп. Может, тайную цель в этом имеет.

И дошло однажды до крайних пределов — метаться стал поп. Не в состоянии был дожидаться знаменья. Ночью раз раскидался в постели, горит весь.

«Что ж это, — думает, — нету, значит, бога. Обман. Всю жизнь, значит, ослепление. Всю жизнь, значит, дурачество было... Ходил, ровно чучело, в облачении, кадиллом махал... Богу это нужно? Ха! Нужно богу? Бог? Какой бог? Где его знаменье?»

Затрясся поп, сполз с постели, вышел из дому тайно от матушки и к церкви пошел.

«Плюну, — подумал поп, — плюну в царские врата»...

Подумал так, утратился своих мыслей, присел даже на корячки и к церкви пополз.

Дополз поп до церкви.

«Эх, — думает, — знаменье! Знаменье прошу... Если ты есть, бог, обрушь на меня храм. Убей на месте»...

Поднял голову поп, смотрит — в церкви, в боковом окне — свет.

Потом облился поп, к земле прильнул, пополз на брюхе. Дополз. Храм открыт был. В храме были воры.

На лесенке, над иконой чудотворца стоял парень и ломиком долбил ризу. Внизу стоял мужик — поддерживал лесенку.

— Сволочи! — сказал парень. — Риза то, брат, никакая — кастрюльного золота. Не стоит лап пачкать... И тут бога обманывают...

Поп пролежал всю ночь в храме.

Наутро поп собрал мужичков, поклонился им в пояс, расчесал свою гриву медным гребешком и овечьими ножницами обкарнал ее до затылка. И стал с тех пор жить по-мужицки.

БЕДНЫЙ ТРУПИКОВ

Учитель второй ступени Иван Семенович Трупиков одернул куцый свой пиджачок, кашлянул в руку и робкими шагами вошел в класс.

— Вы опять опоздали? — строго спросил дежурный.

Иван Семенович сконфузился и, почтительно здороваясь с классом, тихо сказал:

— Это трамвай, знаете ли... Это я на трамвай не попал...

— Отговорочки! — усмехнулся дежурный.

Учитель робко присел на кончик стула и зажмурил глаза. Странные воспоминания теснились в его уме...

Вот он, учитель истории, входит в класс, и все ученики почтительно встают. А он, Иван Семенович Трупиков, крепким строгим шагом идет к кафедре, открывает журнал и... ах, необыкновеннейшая тишина водворялась тогда в классе! И тогда Трупиков строжайше смотрел в журнал, потом на учеников, потом опять в журнал и называл фамилию.

— Семенов Николай!

Учитель вздрогнул, открыл глаза и тихо сказал:

— Семенов...

— Чего надо? — спросил ученик, рассматривая альбом с марками.

— Ничего-с, — сказал учитель. — Это я так. Не придавайте значения.

— Чего так?

— Ничего-с... Это я хотел узнать — здесь ли молодой товарищ Семенов...

— Здесь! — сказал Семенов, разглядывая на свет какую-то марку. Учитель прошелся по классу.

— Извиняюсь, молодые товарищи, — сказал он, — на сегодня вам задано... то есть я хотел сказать... предложено прочитать — реформы бывшего Александра I. Так, может быть, извиняюсь, кто-нибудь расскажет мне о реформах бывшего Александра I... Я, поверьте, молодые товарищи, с презрением говорю об императорах.

В классе засмеялись.

— Это я так, — сказал учитель. — Это я волнуюсь, молодые товарищи. Не истолковывайте превратно моих слов. Я не настаиваю. Я даже рад, если вы не хотите рассказывать... Я волнуюсь, молодые товарищи...

— Да помолчи ты хоть минуту! — раздался чей-то голос. — Трещит как сорока.

— Молчу. Молчу-с... — сказал учитель. — Я только тихонько. Я тихонько только хочу спросить у молодого товарища Семечкина, — какие он извлек политические новости из газеты «Правда?»

Семечкин отложил газету в сторону и сказал:

— Это вы что — намек? Газету по-вашему убрать? Эту газету убрать? Да знаете ли вы... Да я вас за это...

— Ничего-с... ничего-с... Ей-богу, ничего... То есть про бога я ничего не сказал... Не истолковывайте превратно.

Учитель в волнении заходил по классу.

— Да не мелькай ты перед глазами! — сказал кто-то. — Встань к доске!

Учитель встал к доске и, сморкаясь в полотенце, тихонько заплакал.

Нынче таких учителей, как мой бедный Трупилов, конечно, нету. Но были. Они были в 18 году, в переходное время.

МЕТАФИЗИКА

Удивительно, как это некоторые девицы на конторщика Винивитькина засматриваются.

Конечно, конторщик Винивитькин — мужчина изысканный, но все же поразительное это явление. Ну, если б две девицы или, скажем, три, а то ведь все. Смешно даже.

Надюша-переписчица и та намеки делает. Егозит. Давеча ведь какую туманную аллегория пустила...

— Одного, — говорит, — писателя обожаю... Лермонтова, — говорит, — обожаю за его чудный слог.

И при этих словах на него, на Винивитькина, взглянула.

Хе-хе... Намекает... Туманная аллегория. Знаем мы этого Лермонтова.

Ну, скажи подобные слова простачку. Губы распустит простачок. Ни черта в аллегориях не поймет. А Винивитькин всю подноготную видит.

Отбою нет Винивитькину от девиц. Надоело отмахиваться. Ну а уж если, например, выбор делать, так со всего учреждения, со всей «Губмогила» непременно полное предпочтение Надюше отдать нужно.

Прелестная это девица. Очень даже изысканная барышня. Она и собой великолепна, и из дворяночек. С такой-то нигде не позорно показаться. Таковую-то и обождать после службы можно.

Да что говорить? Ждет Винивитькин. Ежедневно ждет. Нынче тоже пойдет Винивитькин с Надюшей плечо к плечу. Сейчас и выйдет куколка. Носишко только попудрит и выйдет.

Да-с, дворяночка, а ведь как егозит. Чувствует, шельма, что он, Винивитькин, осчастливить ее может. Да только насчет серьезного шага — атанде-с. Обождать нужно. А только прогулки ради — пожалуйста. Очень даже это приятно и все такое...

А великолепная штука это — равенство. Раньше и не посмотрела бы Надюша на Винивитькина, а нынче, виноват, нынче конторщик Винивитькин дворяночку эту за прелестную ручку, и пожалуйста.

Умные люди революцию делали. И ему, Винивитькину, кой-что достанется. Немногое, конечно, но достанется.

Да что толковать? Надюша достанется.

А и любит же она его, шельма. Ах как любит мучительно. Ишь ты, как носишко свой продолжительно пудрит. Понра-

виться хочет. Что ж? Можно и обождать. Локончик, может, какой-нибудь раскуделился. И локончик этот для него, для Винивитькина, в порядок привести нужно.

Что ж? Обождет Винивитькин. Свободный он человек. До четырех — да, перо и книги, а после-то Винивитькин — свободный орел. Вот захочет — закурит сейчас. Вот, пожалуйста, и папиросочка. Захочет — на приступочку сядет, плюнет, наконец. И никто ему ни полсловечка не скажет. Гм, никто... Да сам комиссар «Губмогилы» ничего не может сказать. Свободный орел.

А если, скажем, и точно: выйдет сейчас комиссар...

— А зачем, мол, скажет, ты, Винивитькин, сидишь на казенной приступочке или, например, плюнул?

Пожалуйста. Полный ответ готов:

— Так и так, товарищ комиссар. В служебное время — да, перо и книги. А тут — виноват. Мое право. Не позволю, товарищ комиссар. Тут я орел гордый.

Хе-хе. Хорошо сказано. Плотно сказано. Ну, а если товарищ комиссар такое скажет:

— А зачем, мол, скажет, ты, Винивитькин, девицу ждешь? Укажи цель и потребность. И что про любовь, например, думаешь? Дозволено ли это чувство? Не является ли оно бессмысленной метафизикой и поповской выдумкой?

Опять-таки скажет Винивитькин:

— Цели, мол, никакой не преследую, что же касается любви, то нынче любви никакой нету, а просто есть половое

развлечение. Вообще же чувство любовь — это метафизика, а церковь — вздор и поповская выдумка.

Хе-хе... Плотно сказано...

Ну, а если товарищу комиссару вожжа под хвост, и скажет он... персонально полюбопытствует:

— А зачем, мол, скажет, ты, Винивитькин, плут и ипохондрик, именно эту, переписчицу Надюшу, ждешь? И что, рассуждая о конечном результате, о браке думаешь?

Ответит Винивитькин такое:

— А почему бы, ответит, не ждать Надюши, если ему, конторщику восьмого разряда, девица эта всем эстетическим запросам удовлетворяет? Рассуждая же о браке, конечный результат — брак гражданский без участия церковной метафизики.

Хе-хе, размечтался Винивитькин. А в мечтаниях и время быстро проходит.

Ну, а если товарищ комиссар в глубину копнется... Если товарищ комиссар, например, спросит о дворянском происхождении Надюши?.. И дозволено ли ему, Винивитькину, усть-ижорскому мещанину...

Хе-хе... Замри, Винивитькин. Вот, пожалуйста, идет куколка. Носишко попудрила и идет. Топают ножками.

Точно: Надюша по лестнице шла. Да только не одна, а с комиссаром под руку. Покачнулся Винивитькин, побледнел... А они мимо прошли плечо к плечу. Комиссар Винивитькина увидел. Пальцами заинтересовался, пальцы свои стал рассматривать. А Надюша и носишко в сторону.

Ну что ж? Большому кораблю — плаванье большое. Да только обидно очень — не посмотрела Надюша. А стоял Винивитькин довольно в презрительной позе.

Ах, несуразное вышло, смешное вышло. И что, например, сделать? Догнать? Крикнуть что-нибудь похабное?

Стоит Винивитькин на дороге, руками машет, советуется сам с собой. Баба шла. Баба эта пребольно пихнула его в бок.

— Ну, мыбра, — сказала баба, — думаешь, надел американские сапоги, так и беременных людей руками задевать можешь.

— Пихайте меня, — ответил Винивитькин, — пихайте. Нынче и личность не считается.

И побежал вдруг Винивитькин. Перегнал комиссара с Надюшей.

— До свиданья, товарищ комиссар, — сказал. И пошел, руками размахивая.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

1. Прелести нэпа

Уважаемый товарищ редактор! В трамвае № 12 некоторые из буржуев прут, что слоны, через трудовую публику и пихаются локтями. Так что мне наступили на ногу, вследствие которой образовался нарыв, и я принужден на службу манкировать.

Семен Каплунов

2. Вниманию милиции

Пароходное движение имеет свои печальные стороны. Я ехал на Васильевский остров, воспользовавшись хорошей погодой, на палубе. Подъезжая под мост Лейтенанта Шмидта, сверху кто-то плюнул. Последний попал какой-то бывшей даме на шляпку, которая не заметила.

Я потребовал у шкипера легкового пароходства немедленно остановиться, чтобы словить виновника, а шкипер начал выражаться по-фински и дал свисток.

Воспользовавшись этим, плюнувший хулиган скрылся.

Пора бы оградить пассажиров от плевков злоумышленников.

Контрорщик, Ив. Лермонтов

3. Глас вопиющего

Группа интеллигентных служащих просит ответить редакцию: где купить гроб честному служащему, если он не вор и не спекулянт?

Пепо открывает разные гастрономические лабазы и торгует краковской колбасой, тогда как самый простой гроб без кистей и без ручек не по карману служащим.

Необходимо, чтобы Пепо открыло отделение, где бы каждый служащий мог купить себе недорогой гроб, хотя бы без кистей и без ручек.

Группа интеллигентных служащих

4. Барон

У всех врачи как врачи, а у нас в Нюхательном тресте из бывших барончиков. Ходит он завсегда чисто, за дверную ручку голой рукой не берется — брезгует и после каждого больного ручки свои в растворах моет.

Давеча я пришел в приемный покой, говорю: «болен». Стал этот барон меня слушать, а после и говорит вроде насмешки: «Не дыши».

Я говорю: «Не имеете права требовать — не дыши... Если я, вообще, через биржу, то я должен дышать».

А он говорит: «Пошел вон, дурак!» И на «ты» назвал.

Я говорю: «Не имеете права на “ты” выразаться. За что боролись?»

А он трубку, через что меня слушал, наземь бросил и разорался. А трубка, товарищи, народное достояние.

Василий Пинчук

5. Театральная жизнь

Вчера, будучи в государственном драматическом театре, я был поражен представившейся мне картиной. Бис хлопают. Это значит — довольна публика. Теперича спрашивается, кто на бис вылезает. На бис вылезают артисты и актрисы тоже. А теперича спрашивается, что же скромные труженики сцены делают, например, суфлеры, плотники и пожарники? А они в тени, в полной забывчивости.

Неправильно. Которая публика, может, и им бис хлопала. Я, например, им хлопал, а вылезают не те.

Теперича еще картина. Заплачено мной за восьмой ряд деньги, а не щепки по курсу дня. А теперича спрашивается, что я видел? А видел я дамскую спину, которая, будучи высокого роста, вертелась в переднем ряду, как черт перед заутреней.

На спину я могу смотреть и дома, а в театре позвольте мне искусство, за которое заплачено. Пушай бы плакат на стену привесили, дескать, воспрещается публике вертеться с момента поднятия занавеса. Или пушай администрация пересаживает публику по ранжиру: высоких взад, которые низенькие пушай вперед садятся.

Гр. Палкин

6. Панама

Нам прислали 50 пар ботинок. Стали выбирать, кому какие, а инженер и говорит: «Даровому коню в зубы не смотрят, подходи, братишки, получай без выбору» .

А сам, между прочим, выбрал себе самый большой размер, да еще примерил, собачий нос.

А когда я подошел, то, здравствуйте, — остался мне один сапог, а другого не было. Может, это инженер для своей любвишки припрятал, а по этому случаю я ходи в одном сапоге.

Вот так интеллигенция!

Чижииков

7. *Голос прохожего*

На днях я проходил вместе с женой, но вдруг на площади Восстания бросились в меня из открытого окна отбросами.

В довершение всего, моя жена, будучи на третьем месяце и не имея средств произвести аборт вследствие невыплаты жалования, испугалась.

Спрошенный мною дворник этого дома — могут ли вверенные ему граждане бросаться отбросами, — пусть ответит как администрация, — нахально ответил: не знаю. За что мной и привлечен к ответственности.

Вообще, это недопустимое явление, чтобы среди белого дня бросались отбросами в то время, когда дорог каждый сознательный служащий.

Бухгалтер Цыганков

СЕНСАЦИОННЫЕ ИЗВЕСТИЯ

Кризис сырья в Америке

Нам сообщают, что известный нафталиновый король Смит, рассчитывая поднять цены на нафталин, не выпускает его со своих складов ни одного кило. Появившаяся в огромном количестве моль пожирает шерстяные материи и сукна.

Были случаи, когда моль останавливала прохожих Свободной Америки и тут же пожирала все шерстяные части. На бирже в связи с этим интересуются русским сыром.

Крупная потеря в буржуазном мире

В Ливерпуле ломовые лошади предъявили новое экономическое требование и объявили однодневную забастовку. Граждане Ливерпуля сами впрягаются в экипажи и так разъезжают по городу. Один известный миллиардер, барон Рипс, не желая соглашаться на новое экономическое требование, объявил локаут, сам впрягся в кабриолет и выехал в клуб Блондинов.

По дороге же, испугавшись велосипеда, — понес и разбился насмерть, ударившись об угол небоскреба. Это — крупная потеря в буржуазно-финансовом мире.

Безвыходное положение Германии

Германия задыхается, не имея внешнего рынка.

Собственный рынок переполнен предметами роскоши и косметикой. Производство косметики растет. Так, например, только за последний месяц производство пудры достигло такого размера, что если бы пудрились все народы земного шара, включая сюда и негров, то пудры хватило бы на 12 лет.

В связи с этим цены на пудру упали настолько, что некоторые торговцы стали изготавливать из нее кексы и разного

рода печенья. На улицах Берлина можно встретить скромно одетых женщин, усыпанных с ног до головы пудрой.

Министр иностранных дел сделал предложение Франции — часть долгов уплатить пудрой, но Пуанкаре отказался. Последний заявил, что лучше он перестанет совсем пудриться, нежели согласится на это предложение.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ввиду того, что академические театры посещаются плохо и бывают спектакли, когда в зрительном зале едва насчитывается несколько капельдинеров, «Мухомор» предлагает издать следующее обязательное для всех граждан постановление:

Все увеселительные заведения, как-то: пивные, кинотеатры, Дом искусств и Дом ученых — закрываются.

Куплетисты, борцы, чревовещатели и эсэры объявляются вне закона. Каждый гражданин, имеющий рекомендацию двух управдомов, имеет право ударить или снять пальто с лица вышеозначенных профессий.

Все граждане обоего пола, достигшие семнадцати лет, обязаны еженедельно посещать академические театры под страхом высшей меры наказания или, взамен того, ареста до двух недель со строгой изоляцией. Во избежание давки и увечий предлагается следующий порядок посещения:

По вторникам посещают все служащие и рабочие государственных учреждений.

По средам — лица свободных профессий, кустики, девицы, литераторы, зубные врачи и издатели.

По четвергам — квартирные хозяйки.
По пятницам — беременные и матери, кормящие грудью.
По субботам — торговцы, частные предприниматели и инвалиды.

По воскресеньям — лица иностранного происхождения, а также лица, имеющие фамилии с прибавлением «Тер», например: Тер-Степанов, Тер-Кузьмин...

От посещения никто не освобождается. Управдомам вменяется в обязанность следить за проведением в жизнь сего постановления и доносить о каждом случае нарушения.

Все неисполняющие сего обязательного постановления подвергаются: личному задержанию, штрафу в один триллион рублей и кроме того высылке из пределов РСФСР.

Напротив того — все исполняющие постановление получают в виде премии: 1 галстук, полфунта синьки и 1 галошу.

Подписал — М. Зоценко

МЕМУАРЫ СТАРОГО КАПЕЛЬДИНЕРА

Мне все говорят: почему бы вам, Григорий Пальч, записки этикие не написать, — мемуары, вроде бы. Вы человек семейный, впечатлительный и не чужды культурного просвещения, вы двадцать лет, так сказать, капельдинером состояли и к сцене соприкасались... И это верно: я двадцать лет служил искусству и того знаю, чего, прямо скажу, не вся-

кий артист знает. Иной артистишка — дрянь, мальчишка, а перед тобой рыло дерет. Как был у нас такой театральный парикмахер Ферафонт — чуть что: я артист, дескать... Но врешь, брат, про таких артистов я и не вспомню, а буду-ка я говорить про замечательных артистов.

Вот Шаляпин артист, конечно, хороший. Он бас очень даже замечательный. Так сказать, знаменитый и исторический бас на всем полушарии.

Но, однако, голос у него не такой уж чересчур громкий, как некоторые воображают себе. Некоторые, может быть, представляют, или введены в сомнение, что голос у него такой чересчур громкий, что зеркала будто дребезжат и занавес вьется, так скажу прямо: ничего то есть подобного.

Голос у него вполне даже обыкновенный, человеческий, и ежели, например, мне в фойе выйти, так и едва слышно. А ежели на лестницу пройти или до ветру сходить, так и во все даже не того, не слышно, скажу прямо. Ну, а публика — дура, публика думает нивесть что и прет и прет, даже обидно, ей-богу. А которые без билета, хорошо дают.

А вот был у нас бас — Иван Ришкин — вот это был очень даже замечательный бас. Вот от такого голоса, действительно, было сотрясение предметов. Это многие подтвердят. Он некоторых даже в ужас вгонял, которые неопытные. Но только в хоре ему ходу не давали. Не мог он в хоре развер-

нуть свой голос. Чуть он крепче возьмет, на него руками, шипят, штрафуют... Но только однажды из гордости взял одну ноту в полной своей мере.

Это мы «Русалку» ставили. Шаляпин — арию, а он, собачий хвост, как рывкнет, как рывкнет. Куда? Покрыл и Шаляпина, и хор покрыл. Публика ошалела даже. Пожар думала... Да, в одну минуту доказал, что он за бас, в одну минуту развенчал Шаляпина.

Ну, да всем известно — русским талантам ходу не дают — поперли его из хора. Так и пропал человек.

Глазунов тоже хороший артист. Он из капельмейстеров будет. Мужчина полный и представительный. Некоторые, конечно, утверждают, что крупнее его и нет никого, но это говорят необдуманно.

Я вот одного бывшего помещика знал, так куда там! Вот это был, действительно, крупнейший мужчина. Хоть по высоте он будет не так уж, чтобы выше, но в ширину сравнения нету. Но и в данном случае я, конечно, не спорю и отдаю должное. Глазунов мужчина, действительно, представительный.

А Вагнера я не люблю. Непонятный композитор. Много чересчур в барабан бьют, а толку нету. В такие дни я всегда лучше ухажу или с кем-нибудь меняюсь. А однажды я ушел, а у меня бинокль сперли. А с бинокля все-таки доход был хо-

роший, и если балет идет, так только давай. Да, очень крупная неприятность.

Говорят, будто еще Юрьев хороший артист — не знаю. Он у нас в театре не поет.

НОВЫЙ ПИСЬМОВНИК

Идя навстречу широким массам, мы занялись переизданием «Письмовника». Старый «Письмовник» издания Сытина ни в коей мере не может теперь удовлетворить потребностям масс. Иные вкусы, иные нравы!

Не говоря о том, что старый «Письмовник» является книгой опасной, имея в себе такие перлы, как образцы прошения на высочайшее имя с припаданием к стопам, явно унижающего человеческое достоинство, он еще в отделе частных писем рассчитан на нездоровый мистический вкус аристократа, больного прогрессивным параличом.

Дальше так не могло идти. Редакция «Мухомора», не щадя затрат, предлагает читателям «Новый письмовник».

Образцы и формы деловых бумаг, заявлений, прошений и писем частного характера

1. Форма прошения

Прошу переменить мне фамилию — Иван Ручкин на Иван Закорючкин. Мотивирую мою просьбу тем, что фами-

лия Иван Ручкин унижает человеческое достоинство, намекая на неодушевленный предмет — ручка.

Приложение: фотографическая карточка.

Подписи — просителя, управдома и квартирной хозяйки.

2. Письмо к девице, поразившей своими формами, с назначением свидания

Милая и дорогая прелестная Ньюша. Вчера, танцую с вами ряд танцев, я был поражен вашим прелестным торсом и формами, которые слишком даже очень хороши! Танцую с вами падеспань и ощущая в руках ваши формы, которые очаровательны, я понял, что если нам разойтись в разные стороны, то от этого захворать можно.

Желая продлить миг наслаждения, посылаю вам свое письмо с назначением свидания.

Не желаете ли вы нынче сходить в кинотеатр «Илюзьон», в этот Великий Немой?

Про деньги не тревожьтесь беспокоиться. За вход я заплачу, мне это не жалко, когда вы столь хороши и прелестны.

Остаюсь пораженный вашими формами
известный вам (подпись).

3. Письмо к девице по выработке мирозозерцания

Уважаемый товарищ Ньюша! Предлагаю вам переписку со мной по почте по выработке мировоззрения. Ответьте мне,

уважаемый товарищ, интересуетесь ли вы астрономией, а также и другими великими науками? Я интересуюсь. Прошу ответить мне, что вы думаете про луну и есть ли на ней люди или она является планетой замерзшей?

Если это вам неприятно, то извиняюсь.

Многоуважаемый (подпись).

4. Письмо поэтическое с объяснением неприхода по мере надобности

Лес грезил. Темные кудри лиственных деревьев трепетали робко, вдыхая первый аромат весны, который ударял в голову. Легкие струйки ветерка колыхали стволы, как бы моля о прощении и проклиная. Лес грезил.

Из лесу вышла молодая, стройная Девушка, опираясь на мужественную загорелую грудь стройного Юноши в одних обмотках, который, показав рукой на опушку, замер очарованный.

Они вышли на прелестную золотистую опушку леса и замерли, очарованные, в одном аккорде. Лес грезил.

Девушка эта была не кто иная, как вы, дорогая и милая Ньюшенька, а про Юношу угадайте сами.

В прошлый раз я заболел свинкой и потому не мог прийти к вам, хотя томился, рвался и грезил. У вас, наверное, был опять пирог с морковкой? Ну да вы, обожаемая, царица моей души, припрячьте для меня кусочек. До свиданья, до свиданья, Девушка Ньюша. Лес грезил.

Юноша (подпись).

5. Письмо с просьбой о деньгах

Уважаемый гражданин Стелькин! Если ты, курицын сын, не положишь сего числа 100 лимонов под тумбу, что напротив твоего магазина, то только держись и на улицу не показывайся. А сына твоего, буржуйчика Кольку, выдеру, как сидорову козу.

Готовый к услугам таинственный
незнакомец Кривой Палец.

Сей «Новый письмовник» редактировал
Михаил Зощенко

МАДОННА

2 декабря

Сегодня день для меня, прямо скажу, необыкновенно приятный. Сегодня товарищ Груша позвал меня в кабинет и сказал:

— Ну, Винивитькин, сердечно и от души тебя поздравляю: переводишься ты в девятый разряд, и, того-этого, прибавка тебе следует — пятьдесят процентов.

Хе-хе — девятый разряд! Ведь это что же? Это, можно сказать, положение! Это превосходное положение по службе. Я думаю, всякий человек девятого разряда достичь старается. Я думаю, девятый разряд — ну, не мень-

ше будет, как в старое время надворный советник. Нет, никак не меньше! Восьмой разряд — это дрянь, пустяки сущие — вроде бы коллежского регистратора, а девятый разряд... Да, девятый разряд — это уже положение. В прежнее время Степаныч сразу бы начал передо мной дверь в обе половинки открывать. Откроет и — «пожалуйте, дескать, ваше высокоблагородие». Не благородие, заметьте, не просто благородие, а — ваше высокоблагородие. Тонкость, а какая, как бы сказать, изумительная, благородная тонкость.

Ну да почет почетом, а и пятьдесят процентов не жук майский. Пятьдесят процентов! Это, скажем, питание улучшается — раз, это прихоть можно какую-нибудь себе позволить — два, это страстишку какую-нибудь там, того-этого, удовлетворить можешь — три...

Ах, черт! Превосходная штука жизнь! Как подумаешь, что и ты участник, так сказать, течения жизни, колесико одно жизненного вращения, равноправный вроде бы пайщик человеческих переживаний — слезы подступают к горлу, рыдать хочется от неизмеримого счастья.

Да, превосходная вещь это — жизнь. И люди превосходные, бескорыстные... Главное, за что я люблю людей, это за их бескорыстие. Бескорыстие — это все в человеке. Вот, скажем, в девятый разряд не Сережку Петухова перевели, а меня... А почему меня? Бескорыстная оценка моей служебной деятельности. Ведь что, скажем, не один товарищ Груша перевел меня в девятый разряд, это, наверное, комиссия заседала, комиссия какая-нибудь либо комитет из благород-

нейших, избраннейших людей... Один какой-нибудь из комиссии, возможно, сдуру крикнул — Сережку, дескать, Петухова в девятый разряд перевести нужно, а все остальные — нет, нет! Винивитькина! Винивитькин, дескать, способный человек, одаренный.

Ах, я очень люблю, когда меня уважают. В такие минуты чувствуешь, что ты действительно участник течения жизни, колесико одно жизненного вращения...

Чудно, чудно хорошо!

3 декабря

Нынче после службы долго гулял по Невскому. Раньше-то и внимания не обращал — что это за такой Невский, какие на нем люди ходят и магазины какие. Ну а нынче, так сказать, к тайне прикоснулся. Увидел досконально, как приятно, в сущности, быть человеком. Ведь вот проходишь по Невскому и видишь и чувствуешь, что все для твоих удобств приутовлено, каждая мелочь, всякий, скажем, квадратик тротуара для твоих ног устроен. А на тротуарах этих разнообразнейшие люди фланируют и спешат некоторые... И все перед тобой чуть что — извиняются... А ты идешь таким испанцем, небрежной, что ли, походкой и всё — пардонк, гражданин, пардонк, сударыня. И все сторонятся. Все такие благородные, бескорыстные люди. А кругом магазины, кругом блеск огней, кругом женщины так и щебечут, так и поют, кругом необыкновенное кипение жизни. Европа! Совершеннейшая Европа!

Да-с! Деньги получу и сам начну жить... хе-хе.

5 декабря

Деньги получу и сразу вступаю на поприще жизни. Пора. Пять лет жил как свинья. Да пять ли лет — а не десять? А не всю жизнь? Эх-хе-хе... Всю жизнь...

Давеча вот в душевном треволнении слишком много приписал лишнего... Конечно, жизнь эта, точно, хороша, однако же не так уж хороша, как сразу подумать можно. В самом деле: все время жил как свинья, в театры не ходил, в обществе не бывал, а с дамами позабыл даже, когда и разговаривал. А все это на душу действует, от этого душа грубеет. Общество — это великая вещь. Я вот деньги получу — журфикс какой-нибудь устрою... А? Ну, хоть и не журфикс, а койкого приглашу. Общество всегда человека облагораживает... Многих-то, конечно, не стоит приглашать, а двоих-троих непременно приглашу. Или бо уж одного? Девицу, скажем, какую-нибудь. Девицы тоже могут облагородить душу...

Да, в самом деле, лучше-ка я девицу приглашу. Тоже ведь, позовешь того же Сережку Петухова, а ведь он, сукин сын, не за твои душевные данные придет, а он пожрать придет... Нажрет, напьет, чего-нибудь там разобьет да еще после издеваться будет.

Нет, позову-ка я и в самом деле девицу. И расходов куда как меньше, и благородней, если на то пошло. И корыстных расчетов никаких — полфунта монпансье, и все довольны.

Только вот кого я приглашу? Варьку приглашу. Ей-богу, Варьку Двухолкину приглашу. Все-таки — фигура, грация... Завтра намекну... Буржуйку, скажу, затоплю — уют, поэзия. А поэзия — это прежде всего.

6 декабря

Нынче после службы сказал Варьке Двухолкиной. В коридоре ее встретил, говорю: вот, дескать, того-этого — буржуйку затоплю, уют, поэзия...

А она, дура, говорит:

— Вы, говорит, если мной увлекаетесь настолько или влюблены, так лучше бы в «Палас» сводили либо в Академический билет приобрели. Чего, говорит, я буржуйки вашей не видела?..

Дура. Со слов видно, что совсем дура. Во-первых, денег я еще не получил, а после — нетактично даже с девицыной стороны самой напрашиваться. Ну и шут с ней! В ней, по правде сказать, ровнехонько ничего хорошего нет. Только что фигура, а так-то ни кожи, ни грации. Сидит, как лошадь... Да если присмотреться поближе, так и фигуры никакой. Да ей-богу никакой! Бревно. Вовсе бревно. Нет, не люблю я таких, шут с ними с такими. Им только корыстные цели подавай, а так, они и нос в сторону, и зевают, и скучно им... Шут с ними с такими. Думает — отказала, так я и помру. Дура! Сразу видно, что дура. Ни кожи, ни грации...

Ха, помру! Да я только свистну, и сотня ко мне сбежит. Нынче это чересчур просто. Нынче, что касается любовных там каких-нибудь историйек — черт знает как просто. Только захотеть нужно. Давеча вот Сережка Петухов презанятную историйку такую рассказывал... В театр он пришел и в театре том с дамой познакомился. И ведь не какая-нибудь дама,

а порядочная, черт знает какая порядочная. Ну, и нынче влюблена в него, как муха.

А я вот тоже давеча встретил — красавица, мадонна, костюм превосходный, меха разные, боты... Тоже мимо прошла — посмотрела.

Да, нынче нравственность чересчур упала. Сережка Петухов говорит, что будто это всегда после революций. Ну да мне наплевать, прямо скажу, мне даже еще лучше, что упала. Ей-богу, лучше. Да я думаю, что и всем лучше, да только прикидываются, подлецы. А я через это к жизни прикоснусь... Хе-хе...

8 декабря

Деньги получил! Вот они. Бумажки, тряпочки, а каково, того-этого, приятные тряпочки. Вот я их сейчас спрячу. Пускай в столе лежат.

А Варька-то Двуколкина какая дура! Рассчитывала, что я, того-этого, снова к ней обращусь, снова к ней сунусь. Вот, дескать, Варечка, билет в «Палас», а вот в оперу, а вот... Хе-хе... Мимо прошел. Дудочки, не на такого напала... Им только корыстные цели подавай.

Нет-с. Никак нет-с, не пропаду, Варечка, не помру — оставьте беспокоиться... Я только свистну... А может, я и свистнул. А может, черт меня раздери совсем, и есть у меня, того-этого, на примете, в поле зрения, так сказать... Да-с, Варечка, есть, есть. Прогодали, милочка, прогадали, лапочка, прогадали, поторопились со своими целями корыстными.

Есть у меня! Цимес, ландыш китайский, принцесса, мадонна сикстинская... Сон, сон прямо-таки. Вчера еще не было, а нынче есть. Вчера еще сомненья были: вдруг да и точно пропаду, вдруг да и точно без меня кипение жизни происходит. Хе-хе. Ах, как приятно, как приятно чувствовать себя участником, равноправным колесиком жизни!

И как случилось-то? Обидно даже, что так просто случилось. То есть, конечно, еще ничего не случилось, ничего не произошло. Но случится, но произойдет. Оттого что причина на это есть. Встреча есть. Встреча эта, может, на всю жизнь в моей памяти останется... Нет, не могу... Сон, прямо-таки сон. Вышел на Морскую давеча (я всегда теперь от Гороховой по Морской хожу). Так вышел на Морскую, смотрю — чудо. Идет та же, что давеча встретил, идет. Боты... меха... глаза... грация. Цимес, ландыш китайский, мадонна! Только давеча, вчера то есть, хотя и посмотрела она на меня, но ничего особенного во взгляде ее не значилось, а нынче поравнялась, гляжу: плечиком — видь, ножками — дрыг, глазками того-этого... И все так грациозно, так приятно. Чудно! Чудно хорошо!

Однако не подошел. Не время. Завтра подойду. Завтра непременно подойду. Чего-нибудь скажу и подойду. Сережка Петухов говорит, что дамы нахальство обожают. Чем нахальней, тем лучше. Так вот нахально и подойду. Завтра! Завтра! Завтра вступаю на поприще, так сказать, жизни, приобщаюсь к тайнам ее. Питался хорошо. Съел в Пепо две порции гуся.

9 декабря

Нынче что-то ее не встретил. Шесть раз прошел по Морской — нету. Ну да ничего: сегодня не встретил, завтра встречу. Я пять лет ждал, пять лет как свинья жил. Чего ж мне сутки-то не обождать? Обожду. Завтра еще и лучше. Завтра могу с ней в ресторан или, например, в кабаре пройтись. Завтра ведь я еще разницу получу, за экстру получу, долг мне Сережка Петухов отдаст. А вдруг — не отдаст? Отдаст. Скажу, дескать, ужасно как требуются деньги. Нужда, скажу, в презренных дензнаках. А причина, хе-хе, — шерше ля фам... Шерше ля фам! Этакое, правда, великолепное изречение! Французы это придумали. Ах, французы, французы! Культурная, цивилизованная нация. У них женщина в очень почетном месте... Это у нас женщина вроде бы домашней хозяйки, а там, того-этого, обаяние к ним, любовь.

Конечно, что касается любви, то я не того, не доверяю этому чувству, сомневаюсь, прямо скажу, в нем. Люди с высшим образованием, приват-доценты какие-нибудь, конечно, отрицать начнут, скажут, что любовь, точно, существует, однако, может, она и точно существует, как отвлеченное явление, да только мне наплевать на это, прямо скажу. Я за пять лет революции, можно сказать, на опыте проследил: ежели питание, скажем, посредственное, неважное питание, то никакой любви не существует, будь хоть вы знакомы с наивеликолепнейшей дамой, а чуть питание улучшается, чуть, скажем, гуся с кашей съел, поросенка вкусил — и пожалуйста — поэзии хочется, звуков — любовное томление, одним словом.

Ну а что касается дамы той, что давеча я на Морской встретил, так любви, конечно, к ней я не имею, но она мне нравится очень, очень.

Завтра жду с нетерпением. Питался хорошо. Съел у Палкина три порции гуся.

11 декабря

Есть... Пришла... Цимес! Ландыш китайский! Сон, совершеннейший сон! Только на Морскую вышел — идет... Чего уж я ей сказал, не помню. «Здравствуйте», кажется, сказал. А она улыбнулась сразу, чудно, чудно улыбнулась. Я про театр ей намекаю, а она не хочет. Ландыш испанский, мимоза! Не хочет! Это из бескорыстия она не хочет. В расход ей, видите ли, неловко меня вгонять. Ах, я всегда мечтал встретить бескорыстную особу!..

Пишу это, покуда она, гуленька, в порядок себя приводит, галошки снимает, прическу того-этого.

Ну снимай, снимай, я люблю, чтоб это все было, того-этого, приятно, чтоб грация во всем была. Другому это все как-нибудь, а я человек все-таки культурный, мне обстановка нужна, поэзия.

Вот сбоку на нее смотрю — королева Изабелла прямо-таки, мадонна. Варька Двуколкина в подметки ей не годится. Варька Двуколкина перед ней дрянь, сопля, пуговица. Ей только корыстные цели подавай... А тут... Даже страшно становится, чего это она свой чудный взор на меня обратила. Красавица! Грации-то сколько, грации! Ей-богу, княгиня это какая-нибудь бывшая... Может, обнимешь ее, а она в слезы.

— Нахал, скажет, сукин сын. Я не для этого, скажет, пришла. Я, скажет, сукин сын, какая-нибудь там княгиня Трумчинчинская бывшая...

Ах, шут меня раздери совсем... Ей-богу, княгиня это... Чш... кончаю писать. Идет... Боюсь, чего и говорить с ней буду, не знаю. Я пять лет с порядочными дамами не разговаривал.

12 декабря

Все пропало. Дурак я. Стелька сапожная! Утром она встает, уходит и —

— Пять рублей, говорит.

— Как? Что?

— Да, говорит, не меньше.

Я к столу. Деньги вынул, дал ей и только после вспомнил — больше дал, шесть... две по тройке... На лестнице ее, гадину, догнал.

— Там, говорю, шесть.

Смеется.

— Ну, говорит, у меня кстати и сдачи нет. Пусть это на второй раз останется.

Дурак я, дурак. Курица гнусная, тетерька. Орлом полететь захотел. Орлом! Смешно даже. Издеваться над собой хочется. Орлом! Про любовь начал ей говорить, спрашивать начал.

— Как это, говорю, вы так сразу полюбили меня и обратили свое полное внимание на меня?

А она:

— Так, говорит, и полюбила. Мужчина, вижу, без угрей, без прыщей, ровный мужчина.

Ровный! Стелька я сапожная! Дрянь! И как это я ничего не заметил?

Хм... А если б и заметил? Да если б и заметил, так все равно... Иные, конечно, и орлом летают, а тут...

Да. Подлая штука жизнь. Никогда я ею особенно не увлекался. Подлость в ней какая-то есть. Особенная какая-то подлость! Заметьте: если падает на пол хлеб, намазанный маслом, так он непременно падает маслом... Особая, гнусная подлость.

ТЬфу, какая подлость!

СЕНАТОР

Из Гусина я выехал утром... Извозчик мне попался необыкновенный — куда как бойчее своей лошади.

Лошаденка трусила особенной деревенской трухлявой рысью с остановками, тогда как извозчик ни на одну секунду не засиживался на месте: он привставал, гикал, свистел в пальцы, бил кнутовищем свою гнедую кобылку, стараясь попасть ей по бокам и по животу, иногда даже выпрыгивал из саней и, по неизвестной причине, бежал рядом с кобылкой, ударяя ее время от времени то ладонью, то ногой по брюху.

Я не думаю, что делал это он от холода. Мороз, помню, был незначительный, да и ехали мы недолго, с полчаса, что ли. Думаю, что делал это он по необыкновенной энергичности своего характера.

Когда мы подъезжали к какой-то деревушке, извозчик мой обернулся и, кивнув головой, сказал:

— Лаптенки это...

Потом засмеялся.

— Чего смеешься? — спросил я.

Он засмеялся еще пуще. Затем высморкался, ловко надавив нос одним пальцем, и сказал:

— Сенатор... Сенатор тут в Лаптенках существует...

— Сенатор? Какой сенатор? — удивился я.

— Обыкновенно какой... сенатор... Генерал, значит, бывший...

— Да зачем же он тут живет? — спросил я.

— А живет... — сказал извозчик. — Людей дюже пугается — вот и живет тут. С перепугу, то есть, живет. После революции.

— А чего ж он тут делает?

Извозчик мой рассмеялся и ничего не ответил. Когда мы въехали в Лаптенки, он снова обернулся ко мне и сказал:

— Заехать, что ли? Погреться нужно бы...

— Не стоит, — сказал я. — Приедем скоро.

Мы двинулись дальше.

— Гражданин, — сказал извозчик просительно, — заедем... Мне на сенатора посмотреть охота.

Я рассмеялся.

— Ну, ладно. Показывай своего сенатора.

Мы остановились у черной, плохонькой избы, сильно приплюснутой толстенной соломенной крышей. Извозчик

мой в одну секунду выскочил из саней и открыл ворота, не спросив ничего у хозяев. Сани наши въехали во двор.

Я вошел в избу.

Может, оттого, что я давно не был в деревне, изба эта показалась мне необыкновенно грязной. Маленькое оконце, сплошь заляпанное тряпками и бумагой, едва пропускало свет в избу. В избе баба стирала белье в лоханке. Рядом с лоханкой сидел старичок довольно дряхлого вида. Он внимательно, с интересом смотрел, как мыльная пена, вылетая из лоханки, ударялась в стену кусками и со стены сползала медленно, оставляя на ней мокрые полосы.

В избе было душно. Несмотря на это, старичок одет был крепко: в валенках, нагольном тулупе, даже в огромной меховой шапке.

Сам старичок был малюсенький — ноги его, свешиваясь с лавки, не доставали земли. Сидел он неподвижно.

Я поздоровался и просил побыть в избе минут пять — погреться.

— Грейтесь! — коротко сказала баба, едва оборачиваясь в мою сторону.

Старичок промолчал. Он, впрочем, сурово взглянул на меня, но после снова принялся следить за мыльной пеной. Я недоумевал.

«Уж не этот ли старикан — сенатор?» — думал я. В это время в избу вошел мой извозчик. Он поздоровался с бабой и подошел к старику.

— Господину сенатору с кисточкой, — сказал он, протягивая ему руку.

Старичок подал нехотя свою сухонькую ручку. Извозчик засмеялся, подмигнул мне и сказал тихо:

— Это и есть...

Должно быть, услышал это старичок. Он заерзал на скамье и заговорил вдруг каким-то странным мужицким говорком, сильно при этом окая:

— Вре-е... Вы не слушайте ево, господин... Меня тут все дразнят... сенатором... А чего это за слово — мне неведомо. Ей-бо...

Баба бросила вдруг стирать, утерла лицо передником и рассмеялась. Извозчик мой засмеялся тоже.

Я уж подумал было, что это и в самом деле так: дразнят старика, однако меня смутила его странная, как бы нарочная мужицкая речь. Мужики здесь так не говорили. Да и подозрительно было оканье и сухие, белые, не мужицкие руки.

— Послушайте, — сказал я, улыбаясь, — а я ведь вас где-то видел. Кажется, в Питере...

Старик необыкновенно смутился, заерзал на лавке, но сказал спокойно:

— В Питере?.. Нетути, не был я в Питере...

Извозчик ударил себя по ляжкам, присел и захохотал громко, захлебываясь. И не переставая смеяться, он все время подталкивал меня в бок, говоря:

— Ой, шельма! Ой, умереть сейчас, шельма какая! Ой, врет как...

Баба смеялась тихо, беззвучно почти — я видел, как от смеха дрожали ее груди.

Старик смотрел на извозчика с бешенством, но молчал. Я присел рядом со стариком.

— Бросьте! — сказал я ему. — Ну чего вы, право... Я человек частный, по своему делу еду... К чему вы это передо мной-то? Да и что вы боитесь? Кто вас тронет? Человек вы старый, безобидный... Нечего вам бояться.

Тут произошла удивительная перемена со старичком. Он поднялся с лавки, скинул с себя шапку, побледнел. Его лицо перекопилось какой-то гримасой, губы сжались, профиль стал острый, птичий, с неприятно длинным носом. Старик казался ужасно взволнованным.

— Тек-с, — сказал он совершенно иным тоном, — полагаете, что никто не тронет? Никто?

— Да, конечно, никто.

Старичок подошел ко мне ближе. В своем волнении он окончательно потерял все мужицкое. Он даже стал говорить по-иному — не употребляя мужицких слов. Мне было ясно: передо мной стоял интеллигентный человек.

— Это меня-то никто не тронет? Меня? — сказал он почти шепотом. — Да меня, может, по всей России ищут.

Старик надменно посмотрел на меня.

Мне стало вдруг неловко перед ним. В самом деле: к чему я с ним заговорил об этом? Ему, видимо, нравилась его роль — тайного, опасного человека, которого разыскивает правительство. Сейчас этот тихий старичок казался почти безумным.

— Меня? — шипел старик. — Меня... (тут он назвал совершенно мне не известную фамилию).

— Простите, — пробормотал я, — я не хотел вас обидеть... И, конечно, если вас разыскивают...

Я поднялся с лавки, попрощался и хотел уйти.

— Позвольте! — сказал мне старик. — Что про меня в газетах пишут?

— В газетах? Ничего.

— Не может быть, — закричал старичок. — Вы, должно быть, газет не читаете.

— Ах да, позвольте, — сказал я, — что-то такое писали...

Старичок взглянул на меня, потом на хозяйку, на моего извозчика и, довольный, рассмеялся.

— Воображаю, — протянул он, — какую галиматью пишут. Что ж это, разоблачения, должно быть?

— Разоблачения, — сказал я.

— Воображаю...

Я вышел во двор. Когда мы выезжали со двора, старичок бросился к саням, снял шляпу и сказал:

— Прощайте, господин. Счастливый путь-дороженька. А про сенатора — врут... Ей-бо, врут... Дразнят старика...

Он еще что-то бормотал, я не расслышал — сани наши были уже на улице.

Извозчик мой тихонько смеялся.

— А что, — спросил я его, — как же он тут живет? У кого? Кто его держит?

— Сын... Сын его держит, — сказал извозчик, давась от смеха.

— Как сын... какой сын?

— Обыкновенно какой... Родной сын. Мужик. Крестьянин. Я не здешний, не знаю сам... Люди говорят... На воспитанье, будто, сенатор сына сюда отдал. К бабке Марье... Будто он в прежнее время его от актриски одной прижил... Неизвестно это нам... Мы не здешние...

— А ведь старик, пожалуй что, безумный, — сказал я.

— Чего-с?

— Сумасшедший, говорю, старик-то. Вряд ли его кто разыскивает.

— Зачем сумасшедший? — сказал извозчик. — Не сумасшедший он. Нет. Хитровой только старик. Хитрит, сукин сын. Мы, бывало, к ним соберемся и давай крыть старика: какой есть такой? документы? объясняй из прежнего. Затрясется старик, заплачет. Ну да нам что... Пушай живет... Может, ему год жизни осталось. Нам что...

Извозчик хлестнул кнутовищем, потом выскочил из саней и побежал рядом со своей кобылкой.

ВОР

Был Васька Тяпкин по профессии карманник. В трамваях все больше орудовал.

А только не завидуйте ему, читатель, — ничего не стоящая это профессия. В один карман влезешь — дерьмо — зажигалка, может быть; в другой влезешь — опять дерьмо — платок или, например, папирос десяток или, скажем, еще того чище — счет за электрическую энергию.

Так, баловство, а не профессия.

А которые поценнее вещи — бумажник там или часы, что ли — дудки.

Неизвестно, где нынче содержат пассажиры это.

А и подлый же до чего народ пошел! Гляди в оба, как бы из твоего кармана чего не стырили. И стырят. Очень просто. На кондукторшину сумку, скажем, засмотрелся — и баста — стырили уж! Елки-палки...

Ну а что касается ценностей, то не иначе, как пассажиры по подлости своей на груди их носят или на животе, что ли. Места эти, между прочим, нежные, щекотки нипочем не выносят. Пальцем едва колупнешь — крики: ограбили, дескать. Смотреть противно.

Эх, ничего не стоящая профессия!

Оптик один полупочтенный из налетчиков посоветовал Ваське Тяпкину от чистого сердца переменить профессию. Переменить, то есть, специальность.

— Время, — говорит, — нынче летнее. Поезжай-ка, говорит, братишка, в дачные окрестности. Облюбуй какую-нибудь дачу и крой после. И, между прочим, воздухом дыши. Ваш брат тоже туберкулезом захворать может. Очень просто.

«Это верно, — подумал Васька, — работаешь ровно слон, а ни тебе спасибо, ни тебе благодарности. Поеду-ка я и в самом деле в дачные окрестности. Воздух все-таки, и работа иная. Да и запарился я — туберкулезом захворать можно».

Так Васька и сделал. Поехал в Парголово.

Походил по шоссе, походил по улицам — воздух, действительно, великолепный, дачный, слов нет, а разжиться нечем.

И жрать к тому же на воздухе приспичило, только давай, давай — будто дыра в пузе — съел, а еще просится.

Стал Васька дачу облюбовывать. Видит, стоит одна дача жилия и на взгляд превосходная. На заборе заявление: медик Корюшкин, по женским болезням.

«Ежели медик, — думает Васька, — тем лучше. Медики эти завсегда серебро в буфете держат».

На сегодня залег Васька в кусты, что у медика в саду за клумбами, стал следить, что вокруг делается. А делается: нянька в сад с пятилетним буржуйчиком гулять вышла. Нянька гуляет на припеке, а парнишка по саду мечется, в игры играет. Игр этих у него до дьявола: куклы, маховички разные заводные, паровозики... А одна игра совсем любопытная — волчок, что ли. Заводом заведешь его — гудит это ужасно как, и сам по земле, что карусель, крутится.

И до того Ваську эта игра заинтриговала, что едва он из кустов не выпал. Сдержался только.

«Неполным заводом, — думает, — они, идола, крутят. Ежели бы полным заводом, — вот понес бы шибко».

А нянька распарилась на припеке, лень ей, видите ли, крутить.

— Крути, крути сполна, — шепчет про себя Васька. — Крути, дура такая... Сук тебе в нос...

Ушла нянька с парнишкой. Вышел и Васька из кустов. Пошел во двор, посмотрел, что и как. Каждую мелочь знать все-таки нужно: где труба, а где, вообще, и кухня. После в кухню заявился. Услуги свои предложил. Отказали.

— Катись, — говорят, — сопрешь еще что. По роже видно.

А ведь верно: угадали, елки-палки, — спер Васька топор на обратном ходу. Ну, да не говори под руку...

Назавтра Васька опять в кусты. Лежит, соображает, как начать.

«Лезть надо, — думает, — в окно. В столовую. Ежели окно на сегодня закрыто — не беда. Обожду. Завтра, может быть, забудут закрыть. Надо мной не каплет».

Всякую ночь подходил Васька к дому, трогал окно — не поддастся ли. Через неделю поддалось — закрыть забыли.

Скинул Васька пиджачок для легкости, успокоил в животе бурчанье и полез.

«Налево, — думает, — стол, направо буфет. Серебро в буфете».

Влез Васька в комнату — темно. Ночь хотя и светлая, а в чужих апартаментах трудно разобраться. Пошарил Васька руками — буфет, что ли. Открыл ящик. Пустяки в ящичке — дерьмо — игрушки детские. Тьфу ты, бес. Действительно: куклы, маховички...

«Эх, елки-палки! — подумал Васька. — Не туда, честное слово, залез. Не иначе как в детскую комнату я залез. Елки-палки».

Руки опустил даже Васька. Хотел было в соседнюю комнату идти — страшно. С расположения сбился. К медику еще влезешь — ланцетом по привычке чикнет.

«Эх, — думает, — елки-палки. Соберу хоть игрушки. Игрушки, между прочим, тоже денег стоят».

Стал Васька выкладывать из ящичка игрушки — волчок в руки попал. Тот самый, что в саду пускали давеча.

Улыбнулся Васька.

«Тот самый, — думает, — пушу, ей-богу, после. Обязательно. Заведу на полный ход. А сейчас поторопиться нужно, товарищи».

Стал Васька торопиться, рассыпал что-то, зазвенело на полу.

Только смотрит — на кровати парнишка зашевелился. Встал. Пошел к нему босенький.

Оробел сначала Васька.

— Спи! — сказал. — Спи, елки-палки.

— Не трогай! — закричал мальчик. — Не трогай игрушки.

«Ах, ты, — думает Васька, — засыпаться так можно».

А мальчик орет, плакать начинает.

— Спи, шибздик! — сказал Васька. — Раздавлю, как вошку.

— Не трогай. Мои игрушки...

— Врешь, — сказал Васька, пихая в мешок игрушки, — были это, точно, твои, а теперь ищи-свищи...

— Чего?

— Ищи, говорю, свищи.

Выкинул Васька мешок за окно и сам прыгнул. Да неловко прыгнул — грудь зашиб.

«Эх, — подумал, — елки-палки, так и туберкулезом захворать можно».

Присел Васька на клумбу, потер грудь, отдышался.

«Бежать, — думает, — скорее нужно».

Вскинул мешок на плечи, хотел бежать, про волчок вдруг вспомнил.

— Стоп! — сказал Васька. — Где волчок? Не забыл ли я волчок? Елки-палки.

Пощупал мешок — здесь. Вынул Васька волчок. Пустить охота, не терпится.

«А ну, — думает, — попробую, заведу».

Закрутил он на полный ход, пустил. Гудит волчок, качается.

Засмеялся Васька. Прилег наземь от смеха.

«Вот, — думает, — когда полным ходом дует. Елки-палки».

Еще не докрутился волчок, как закричали вдруг в доме:

— Вор... Держи вора!

Вскочил Васька, хотел бежать — бяк по голове кто-то. Да не шибко ударили. Неопытно. Рухнул хотя Васька на землю, но вскочил после.

«Палкой, — думает, — ударили, что ли. Палкой, наверное, или смоляной веревкой».

Побежал Васька, закрывши рукой голову.

Пробежал версту, вспомнил: пиджак забыл.

Чуть не заплакал с досады Васька. Присел в канаву.

«Эх, — думает, — елки-палки. Переменить профессию надо. Ничего не стоящая профессия, хуже первой. Последнего, скажем, пиджачка лишился. Поступлю-ка я в налетчики. Елки-палки».

И пошел Васька в город.

СОБАЧИЙ СЛУЧАЙ

Жил такой Вася Семечкин. Безработный. Уволили его по сокращению штатов, а он и в ус не дует.

— Пущай, — говорит, — буду-ка я человеком свободной профессии.

Стал он думать, чем ему промышлять, дровами или чем другим. Да случай вышел.

Проживал в четвертом номере всемирно-ученый старичок. И занимался этот старичок разнообразными опытами, все больше над собаками. То пришьет им какую-либо кишку, то сыворотку привьет, то прививку холерную, а то и просто хвост отрежет и интересуется: может ли животное без хвоста жить. Одним словом — опыты.

Но однажды встретил всемирно-ученый старичок Ваську во дворе и говорит ему:

— Нет ли у вас какой-нибудь собачки для ученых опытов? Я, — говорит, — за каждую собачку плачу трешку.

Обрадовался Васька. Сразу смекнул.

— Есть, говорит, — вы угадали. Это, — говорит, — даже моя специальность доставать опытных собачек. Пожалуй-ста. Завсегда ко мне обращайтесь.

Ударили они по рукам и разошлись.

Первая собачка пропала у управдома. Ужасно тогда грустил управдом. Накинул даже на квартиры и хотел на воду накиннуть, да были перевыборы — поперли его.

Вторая собачка исчезла в седьмом номере. И такая это была паршивенькая собачка, болонка — глаз у ней красный,

отвратительный, шерсть висячая. Омерзительная собачка. И кусая к тому же. У Васьки до сих пор шрам на руке.

Третью собачку Васька поймал на улице. А там пошло и пошло.

Только раз всемирно-ученый старичок сказал Ваське:

— Что ты, — говорит, — голубчик, мне все паршивеньких собак достаешь? Нынче я опыт произвожу над представительной железой, и нужна мне для этого собака особо-крепкая, фигурная, чтоб хвост у ней был дыбом, чтоб она, стерва, бодрилась бы под ножом.

И вот пошел Васька с утра пораньше такую собаку искать. Прошел четыре квартала — нету. По пути только маленькую сучку в мешок пихнул.

Идет по Карповке, смотрит: стоит у тумбы этакая значительная собачища и воздух нюхает.

Обрадовался Васька. И верно: особо-фигурная собака, бока гладкие, хвост трубой и все время бодрится.

Подошел к ней Васька, хлеб сует.

— Собачка, собачка...

А она урчит и хвостом отмахивается. Начал Васька мешок развязывать, а она за руку его — тяп. И держит.

Васька рвется — не пускает. Народ стал собираться, публика. Вдруг кто-то и говорит:

— Братцы, да это уголовная собака Трефка.

Как услышал это Васька, упал с испугу. Мешок выронил. А из мешка сучка выпала.

— Ага! — закричал народ. — Да это, братцы, собачник. Хватай его!

Схватили Ваську и повели в милицию.

А после судили его. Оправдали все-таки. Во-первых — безработный, с голоду. Во-вторых — для науки.

— Впредь, — сказали, — не делай этого.

Стал с тех пор Васька дровами промышлять.

ВЕСЕЛАЯ МАСЛЕНИЦА

Некоторые думают, что управдомом быть — пустое дело. Некоторые товарищи предполагают, что должность управдома это вроде бы делопроизводителя по письменной части: деньги получить, удостоверения гражданам выдать, расценку произвести.

Ах, какие это пустяки! Должность управдома — серьезнейшая, государственная должность. Она труднее, нежели должность директора Пищевого Треста.

Мало того, что управдом должен быть человек башковатый, он должен быть философом, психологом, проницателем. Каждого своего квартиранта управдом вот как должен знать! Насквозь должен знать, все кишки его видеть. А то как же иначе? В 43 квартире — безработный. А безработный этот, сук ему в нос, ежедневно в пивные ходит, в кабаре. Ночью на машинах приезжает, дворнику Семену пятерки дает. Не жалко, конечно, пускай дает, но зато управдом Колючкин и плату на него возвел соответствующую.

Ну да с мужчинами это просто, а вот с бабами какво? Скажем, женщина... А шут ее разберет, какая она есть? Чу-

лочки там, ботинки, шляпки — а может она веселящаяся? А если она веселящаяся, то и квартира ее подозрительная, о которой по декрету донести нужно.

Тоже вот 48 квартира. Подозрительно. Две девицы проживают — Манюшка Челькис и еще одна гражданка с эстонской фамилией Эпитафия. Может, они и есть веселящиеся. Управдом Конючкин давно к ним присматривается — не понять только: будто и подозрительные, а будто и нет.

С ума сойти управдому Конючкину! Суетливая до чего должность!

И добро бы еще семейная жизнь была хороша. Какое там! Семейная жизнь у управдома Конючкина ничего не стоящая — раздоры, распри, полное несходство характеров.

Тоже вот — блины.

Управдом Конючкин любит блин поджаренный, с хрустом, причем с соленьким, а жена управдома Марья Петровна блин обожает рыхлый, бледный, да еще, противно сказать, со сметками, тьфу на них! От этого тоже распри и семейные неурядицы.

В среду на масленой управдом Конючкин до того дошел, что и кушать не захотел. Сидит за столом и на блины не смотрит — противно. Марья Петровна так супруга своего и точит: и зачем не ест, и зачем выражение лица имеет грустное, и зачем, вообще, молодость ее заел.

Управдом Конючкин даже сплюнул со злости и из квартиры вышел.

И вышел он на лестницу, на ступеньку сел. И сел он по случайности напротив квартиры 48. Только слышит вдруг пенье, шум, разгул вообще.

«Подозрительная, — думает, — квартира. Хорошо бы девиц этих с поличными накрыть, с уликами».

Постучал Конючкин в дверь. Девушка Эпитафия открыла.

— Тово-с, — сказал управдом, — разрешите канализацию и водопропод проверить.

— Пожалуйста, — сказала Эпитафия. — Да вы бы, гражданин Конючкин, за стол бы присели. Это вот — мои гости, это вот вино, а вот блины.

Взглянул управдом на блины и замер. Никогда он таких блинов не видел. Чудные, великолепные блины и с большим хрустом.

Растерялся управдом, сел, скушал парочку блинов.

— Эх, думает, не по должности поступаю. Ну да ладно, по крайней мере узнаю точно — веселящиеся девушки или нет?

Съел он еще и еще, и выпил после, и к 12 часам на коленях у него сидела Манька Челькис и пела «Марусю». Управдом ей подпевал хриплым голосом.

Ночью он спал на диване. Один или с кем — не помнит.

Утром проснулся хмурый, подумал: донесу, квартира, точно, подозрительная.

И стал одеваться.

А когда он хотел уходить, Манька ему сказала:

— Ежели ты задумал донести или что — берегись. Мне теперь все равно — разглашу, ославлю на весь дом и должно-

сти лишу. А пока пиши расписку: деньги, мол, за квартиру получил полностью и вперед за три месяца.

— Позвольте, — сказал управдом, — за три месяца это выходит по свободной профессии... Позвольте, это же много выходит... двести выходит. Позвольте хотя за два месяца написать? За что же?

— Пиши за три! — строго сказала Манька. И управдом написал.

Ах, до чего трудная должность управдома! В особенности на масленой.

СИЛА ТАЛАНТА

Успех актрисы Кузькиной был потрясающий. Публика была ногами, рычала. Поклонники актрисы кидали на сцену цветы, кричали:

— Кузькина! Ку-узькина!

Один из наиболее юрких поклонников пытался проникнуть на сцену через оркестр, но был остановлен публикой. Тогда он бросился в боковую дверь с надписью: «Посторонним воспрещается» — и скрылся.

Актриса Кузькина сидела в артистической уборной и думала.

Ах, именно о таком успехе она и мечтала. Потрясать сердца. Облагораживать людей своим талантом...

Но тут в дверь постучали.

— Ах, — сказала актриса, — войдите.

В комнату стремительно вошел человек. Это был юркий поклонник. Он до того был боек в своих движениях, что актриса не могла даже его лица рассмотреть.

Он бросился перед ней на колени и, промывчав: «Влюблен... потрясен», схватил брошенный на пол сапог и стал покрывать его поцелуями.

— Позвольте, — сказала актриса, — это не мой сапог, это комической старухи... Вот мой.

Поклонник с новой яростью схватил актрисин сапог.

— Второй... — хрипел поклонник, ползая на коленях, — где второй?

«Господи! — подумала актриса. — Как он в меня влюблен!»

И, подавая ему сапог, робко сказала:

— Вот второй... А вон там мой лиф...

Поклонник схватил сапоги и лиф и торжественно прижал их к груди.

Актриса Кузькина откинулась в кресле.

Господи! Что можно сделать силой таланта! Довести до невменяемости... Успех! Какой успех! Поклонники врываются к ней, целуют ее обувь. Счастье! Слава!

Потрясенная своими мыслями, она закрыла даже глаза.

— Кузькина! — громко закричал режиссер. — Выход!

Актриса очнулась. Поклонника с сапогами уже не было. После выяснилось: кроме сапог и лифа, из уборной исчезла коробка с гримом, парик и — что всего ужасней — один сапог комической старухи: другого поклонник не нашел.

Другой лежал под креслом.

ВЕСЕЛЫЕ РАССКАЗЫ

Есть у меня дорогой приятель Семен Семеныч Курочкин. Превосходнейший такой человек, весельчак, говорун, рассказчик.

По профессии своей он не то слесарь, не то механик, а может быть и наборщик — неизвестно мне в точности. Про свое ремесло он не любил рассказывать, а имел видимую склонность и пристрастие к сельскому хозяйству и огородничеству.

Бывало, у нас в Гавани целые дни на огороде копается. То, представьте себе, картофелину на восемь частей режет и садит так, то на четыре части, то целиком, то шелуху садит. И поливает после разными водами: речной, стоячей, с примесью какой-нибудь дряни... Чудак человек. Все ожидал от опытов своих замечательных результатов. Да только пустяки выходило. Осенью картофель копать стал — курам, ей-богу, на смех — мелочь, мелкота, горох...

Смеялись тогда над ним.

Ну, да не в этом дело. Был он, вообще, любопытный человек, а главное — умел рассказывать веселые истории.

Бывало, ночью сойдутся к нему дежурные со всех огородов, а он костер разведет и начинает вспоминать про всякое. И все у него смешно выходило. Иной раз история такая трогательная — плакать нужно, а народ от смеха давится, так он комично умел рассказывать.

Да. Плохое дежурство при нем было. Иной раз утром глядишь: на одном огороде два мешка картофеля сперли, на другом турнепс вырыли...

А рассказывал он любопытно. Я уж и не вспомню всех его рассказов. Тут и про войну и великокняжеские всякие историйки. И про попа Семена. И про то, как мужик один на бывшего царя был похож и что из этого вышло. И про домовладельца одного бывшего. Как шарабан у домовладельца этого реквизировали, а он, распалившись, торжественную клятву дал: не буду, дескать, бриться и волосы не буду стричь, покуда не провалится коммуна в тартарары... И как он, волосатый, побольше четырех лет жил всем на смех, а после, на пятый год, при нэпе то есть, покушал через меру пирожных с кремом и помер от несварения...

Нет! Немыслимо всего вспомнить. Ну а некоторые рассказы я записал.

1. Рассказ о том, как у Семен Семеныча Курочкина ложка пропала

Я, братцы мои, человек все-таки хитрый — из хохлов. Кого угодно могу сам одурачить... А вот раз, представьте себе, меня хиромантией одурачили. Гаданием, то есть.

Из-за этого гадания я, можно сказать, лишился единственного друга.

Я, конечно, даже рад, что преступник схвачен и добродетель все-таки торжествует, но все же дельце-то неприятное было.

Ох, не нравится мне что-то хиромантия. Шарлатанство это, братцы мои, пустяки. Я теперь лучше, ей-богу, бедному десять рублей дам, нежели на гадание истрачу.

А дельце из-за ложки вышло.

Я, конечно, человек бедный. Недвижимого имущества у меня нету. А что комод стоит в моей комнатке, то, прямо скажу, не мой это комод, а хозяйский. Кровать тоже хозяйская. А из движимого имущества только у меня и есть что серебряная ложка. И ложка эта, кроме своей ценности, еще приятна мне по своим воспоминаниям. Бабушка покойная мне эту ложку преподнесла в день моего рождения.

Так вот однажды ложка эта у меня пропала. Как сейчас помню: оставил я ее в котелке с кашей. Прихожу со службы, из второго батальона, гляжу: котелок, братцы мой, повален, каша сожрана, а ложки нету. Всю комнату я обшарил — ложку как корова языком слизала.

Подозрений у меня ни на кого не было. Во всей квартире проживали — я, хозяйка да еще из треста служащий, Иван Герасимович. Чудный человек. Единственный мне друг и дорогой приятель. Вместе мы с ним голодовали в свое время и спиртешко пили. Пошел к хозяйке.

— Вот, — говорю, — представьте себе, пропала у меня ложечка.

А хозяйка и говорит:

— Это ничего. Я, — говорит, — даже рада, потому что дело это поправимое. Вот вам адресок — к дорогой моей приятельнице и знаменитой гадалке-хиромантке. Немедленно идите к ней, она вам за сущие пустяки объяснит и укажет, кто спер, например, вашу ложечку.

Я и пошел.

Прихожу. Темная, представьте себе, комната. Человечий череп на столе. Для испуга, что ли. Кошка тут же вертится. А сама хиромантка бабища здоровая, в нос говорит, для эффекта. И все время подмигивает, и с носу пудра у ней сыплется.

Рассказал я, в чем дело, она карты раскинула.

— Ну да, — говорит, — так и есть: пропала у вас чайная ложечка.

— Столовая, — говорю, — пропала, а не чайная.

Хиромантка нахмурилась и говорит:

— Вы меня зря не перебивайте. Карты не могут врать. Ложка у вас, действительно, столовая пропала, но, может, вы ей чай мешали...

— Да, — говорю, — это верно.

— А если, — говорит, — верно, то пятерку на карты кладите. Только кладите не рваную. Рваную не любят карты.

Положил я пятерку, какая была почище, а гадалка и говорит:

— Ложка ваша украдена брунетом. Если хотите, могу, за известную плату, заочно вам показать личность виновника.

Заплатил я ей еще пятерку, а она в стакан воды набуровила и говорит:

— Смотрите пристально и наблюдайте.

— Нет, — говорю, — ничего не вижу.

— Ну а теперь, — говорит, — бурлит вода?

— Да, — говорю, — когда пальцы крутите, то бурлит.

— Ну, — говорит, — если бурлит, то идите со спокойной совестью домой и ждите, что будет.

Я и пошел.

Прихожу домой.

«Какой же, — думаю, — brunet спер мою ложечку. Уж не дорогой ли мой приятель Иван Герасимович, благо brunet он».

И прошло уже несколько дней... Что такое? Жил Иван Герасимович смирнехонько — тише воды, ниже травы, а тут загулял. Да как еще! В кинематографы ходит, пьет, колбасу жрет — гуляет, вообще.

«Ну, — думаю, — не иначе, как гуляешь ты на мою ложечку. На жалованье так не разгуляешься».

И такая у меня к нему ненависть настала, что и сказать невозможно. И однажды не выдержал я характера — заявил в губмилицию.

Надзиратель явился с управдомом. Прошли они к Иван Герасимовичу в комнату. А Иван Герасимович, как увидел их — оробел, побледнел, в ноги им рухнул.

— Хватайте — говорит, — меня! Я преступник. Я растратил казенные суммы.

— А ложечку мою как же? — спрашиваю.

Молчит. Стали его уводить.

— Позвольте, — говорю, — а как же ложечка-то?

Посмотрел он на меня, усмехнулся горько.

— И ты, — говорит, — брат? Нет у меня больше приятелей! Не брал я твоей ложечки. Это знай.

Так его и увели.

И прошел год. Баба моя, помню, приехала из деревни. Принялась раз комнату убирать, глядит: в крысиной норе ложка торчит.

2. Рассказ о герое германской кампании

Как, братцы мои, вы не знаете Васьки Егудилова? Удивительно все-таки. Какого-то, например, бывшего генерала из немцев, Гинденбурга, знаете, бывшего кронпринца тоже знаете, а про Ваську Егудилова ничего не слышали?

Странно это.

Вот говорят, будто генерал Брусилов прорыв под Перемышлем устроил. Так ничего подобного — это Васька Егудилов прорыв устроил.

Васька Егудилов, ей-богу, замечательней какого-нибудь Пуанкаре.

Эх, нет пророка в отечестве своем!

А я Ваську встретил как-то. В пивную мы зашли. По старой дружбишке платил за меня Васька. Небрежно этак вы-

бросил полста. На чай, впрочем, не дал. Человек на него посмотрел, а Васька сдачу спрятал и говорит:

— На чай, братишка, не даю по идее. Это, говорит, унижает человеческое достоинство.

А человек говорит:

— Ничего. Вы, — говорит, — дайте, мы привыкшие.

Но Васька не дал.

Ну, да не в этом дело.

В нынешнее время я не знаю, какой Васька. Говорят, будто он замечательный работник и герой Гражданской войны — неизвестно. Я Ваську Егудилова только по царской армии помню.

Ах и растяпа же был человек! Ах, и спать же он мог удивительно! Да, можно сказать, он всю германскую войну проспал. Мог он спать подряд целные сутки. Мог и под ружейную перестрелку спать, и под легкую артиллерию, и под бомбометы...

Так вот какой удивительный случай произошел. 28 июля, кажется, был, братцы мои, по царской армии приказ: наступать до полнейшего искоренения противника...

Что до других армий — неизвестно, а полк наш выступил утром. И дошел наш полк до германской проволоки и залег там, оттого что сильнейшую пулеметную пальбу открыл неприятель.

Залегли солдаты наши в разных местах, с тем чтобы к ночи назад ползти, а Васька Егудилов, надо сказать, залег в канавку и заснул там, собачий нос.

Под утро отступил наш полк обратно в окопы, а Васька Егудилов спокойно остался в поле.

День проходит, два.

«Ну, — думаем, — погиб наш Васька героем».

А трупов перед окопами навалено было все поле. Жара. Дух смертельный! А убраться покойников невозможно: стреляет противник.

Стали наши генералы да командиры рассуждать, как из положения выйти... Разговоры, сем-пересем, тары да бары, а мертвечинка тем временем разложилась до невозможности.

Только однажды замечаем — флаг белый над противником, и выходит, братцы мои, немчик и заявляет:

— Даем вам два часа на уборку трупов.

Вышли мы с носилками, с лопатами, стали убитых убирать, смотрим: из канавы на носилки лезет Васька Егудилов. Живехонький.

— Стоп! — сказали немцы, — не трогать этого. Это пленный.

Стали мы с немцами рассуждать — не разрешают брать.

Чуть не заплакал тут Васька. Вынул ручную бомбу, да как шмякнет ее в германцев!

Батюшки, что было тогда... Крики, стрельба, пулеметы... И такой возгорелся бой, что и не бывало никогда такого. А к ночи мы повели наступление и прорыв сделали. А говорят, что герой генерал Брусилев. Пустяки это. Васька Егудилов — герой германской кампании.

3. Рассказ о том, как Семен Семенович в Лугу ездил

Ужасно я люблю всякие путешествия. Меня, братцы мои, хлебом не корми, позволь мне только поехать куда-нибудь. Поездом или пароходом — мне это все равно. Главное, чтоб были два или три приятных собеседника. С ними я согласен хоть в Патагонию ехать. Очень мне нравится беседовать с незнакомыми.

В свое время я очень много ездил. А когда бесплатно было, я и с поезда не вылезал.

А трудно тогда приходилось. Пассажир был злой, неразговорчивый, чуть что — ногами пихался. И вообще — давка, безобразие. Мне даже раз на желудок мешок с крупчаткой уронили. Конечно, я сам виноват. Я на пол прилег. Ужасно утомился — стоял три ночи, ну и прилег. Предупредил еще:

— Братцы, — говорю, — я на пол прилег, не наступите на лицо.

На лицо не наступили, но от толчка с полки мешок упал. И спасибо, братцы, что небольшой мешок упал. Рядом стоял пуда на два.

А то однажды стеарином мне в глаз капнули. Это обер капнул. Наклонился он, собачий нос, надо мной, со свечкой.

— Ваш, — говорит, — билет?

И капнул. Нечаянно, говорит. А мне от этого не легче. У меня до сих пор на глазу отметина осталась. Вот ежели приподнять веко, то на роговой оболочке каждый гражда-

нин может увидеть желтоватое пятно величиной с горошину.

Да. Трудно тогда было. С теперешним положением сравнения нету.

Я вот на днях в Лугу ездил. Чудесно ехать. Порядок, европейская аккуратность, чистота. Жаль только, пассажиры мне плохие попались. Не очень разговорчивые. Один носом клюет — спать ему, видите ли, хочется, другой — мужичок — кушает всю дорогу. Да как кушает! Срезет кусок хлеба, масла на него наворотит и жует. Потом опять. Это он заснуть боялся.

Был еще третий — старикан. Тоже дрянь-пассажир. Из него, из собаки, слова клещами нужно выжимать. Я уж к нему и так и так — молчит. Начал я ему рассказывать, как мука на меня упала — молчит. Показал я ему пятно на роговой оболочке. Пятно он осмотрел, но ничего такого интересного не сказал.

Наконец после одной большой станции говорю ему:

— Уважаемый гражданин, а великолепно теперь в поездах ехать. Не правда ли? Порядок. Едешь будто по германской территории.

— Чего? — спрашивает.

— Словно, — говорю, — по германской земле едешь... С чего бы это изменение такое?

— А это, — говорит, — дисциплина. Русскому человеку невозможно без дисциплины.

— Это, — говорю, — верно. Золотые слова. В каждом деле прежде всего дисциплина. Будь то военное дело или даже водный транспорт.

— Да, — отвечает старик. — Только русский человек неправильно дисциплину понимает.

— То есть, — говорю, — как же неправильно, если такой порядок?

— А так...

И не успел тут старик слов договорить, как встает вдруг мужичок со своего места.

— Вы, — говорит, — про что разговариваете? Я, — говорит, — этого слова «дисциплина» слышать не могу...

— А что? — спрашиваем.

— Вы, — говорит, — про Ваську Чеснокова слышали? Черный такой мужик?

— Нет, — говорим.

— Ну так, — говорит, — это его и убили по дисциплине этой.

— Да ну? — спрашиваю.

— Да, — говорит, — ей-богу. В германскую войну. На фронте... Пригнали нас в окопы, а мы ни уха ни рыла в военном деле... А тут Лешку Коновалова... Вы Лешки не знали ли?

— Нет.

— Ну, так вот. Лешку Коновалова часовым поставили. А начальник строгий был. Начальник подошел к Лешке, харей его повернул к противнику и говорит:

— Вот, — говорит, — за бугром противник. Ежели кто из-за бугра покажется — лепи туда пулей.

А случилось, что за бугор Васька Чесноков пошел. Там он картошку рыл. Трава высокая — немцу не видно. Возвращается.

А часовой Лешка видит, что фигура из-за бугра прет, ружье вскинул. Только смотрит: знакомая фигура — Васька Чесноков.

— Эу! — закричал Лешка. — Васька, ты?

Тот руками машет. Я, дескать.

Заплакал Лешка, выстрелил...

— Ну, и что же? — спросил я.

— Ну, и убил...

Мужичок отрезал кусок хлеба и принялся снова жевать.

Старичок засмеялся.

— Вот, — говорит, — не угодно ли!

Я говорю:

— Это не доказательство. Это глупость. Вот вы, — говорю, — хотели что-то рассказать.

— Да, — говорит, — хотел, да некогда. Сходить мне сейчас.

Взял он корзинку и на площадку вышел.

Поезд, конечно, остановился. А я стал в окно смотреть.

И вижу: выходит на платформу дежурный. Красивый такой мужчина, в галифе.

Вышел он, прутиком по сапогу хлопает, усишки подвигает. На дам косится.

Прислонился к забору.

— Эй, — кричит. — Игнат!

Подходит к нему сторож.

— Игнат, — говорит дежурный, — принеси-ка, брат, папиросы. На столе у меня лежат.

Игнат бросился в вокзал.

«Дисциплина, — подумал я. — А пожалуй, что старик и прав: неправильно многие дисциплину понимают»...

Поезд наш пошел дальше.

Больше мне ни с кем поговорить не пришлось.

ПОПУГАЙ

Нынче нам, братцы мои, великолепное житье. Все-таки еда хорошая: щи там или что другое... Мясо опять же. А которым по праздникам бабы, может, и пироги с капустой пекут. Вот оно какое великолепие!

На таких харчах мы, братишки, и позабывать стали, что это за голод такой. Позабывать начали, как это мы голодовали раньше.

А ведь и голодовали же мы, братцы, в свое время! Хлеб был в диковинку. Вспомнить удивительно.

А впрочем, не все, скажем, голодовали. Которые мужички, крестьяне то есть, — не плохо те жили. Все им из города везли: инструмент и драгоценные изделия и ценности всякие.

Уж и поклонялся же город деревне. Поклонялись городские мужичкам. А шельма же, братцы, мужичок наш, полюбовно будет это сказано! Ах ты шельма какая!

Баба моя — кокетка, надо сказать — зеркало повезла раз в деревню. Небольшое такое зеркальце, но вблизи,

скажем, рожу всю видно. Повезла, братцы мои. Думала, к празднику мало-мальски пуд мучки сволокет назад. Плакалась еще, дура такая: как это, говорит, тяжесть такую повезу.

Приехала в одну деревню. Куда там!

Часишки, зеркала, рояли — в каждой избе. А тут, извините за выражение, небольшое зеркальце.

Ткнулась баба моя в одну избу — шесть куриных яиц дают. В другую ткнулась — опять шесть куриных. Вот, думает, клюква.

— Куда же, — спрашивает, — мне куриные яйца в дорогу? Дайте хоть крупы какой-нибудь или мучки, что ли.

Не дают.

— А нет, — говорят, — за зеркала у нас официальный тариф — на куриные яйца.

Так и вернулась баба моя ни с чем.

Мужик-то, впрочем, один прельстился зеркалом.

— Эх, — говорит, — жалко, что махонькое зеркальце. Я бы, говорит, для тебя нарушил бы нормы, дал бы тебе крупой. Ну да неподходящее зеркальце. Мне, говорит, такое надо, чтоб и ноги видать было.

И зачем ему, братцы мои, ноги нужно видать?

Ах, шельма какой мужик!

А я вот тоже раз съездил. За Вологду. Смешно вспомнить. Попугая вез.

И ни за что бы я не поехал, да опять-таки баба моя приехала.

Баба моя — кокетка, надо сказать — от хлеба с малороссийским салъцем нипочем не откажется... Пристала и пристала. Поезжай да поезжай.

Ну и соседи тоже:

— Поезжайте, — говорят, — Семен Семеныч. Вы человек разговорчивый — вкрутите мужичкам.

А мне что? Я и поехал.

А перед отъездом-то разговоры всякие были. Чего везти в деревню. Одни говорят: ленты вези, кружева. Другие — ситчик попестрей. Третьи — бусы. Что дикарям, ей-богу.

Пошел я на толкучку. Думаю: куплю-ка, в самом деле, такую вещь, чтобы сразу в рожу кидалась.

Вот и купил, братцы мои, попугая в клетке.

Сидит, представьте себе, на толчке многоуважаемая дама такая (может быть, бывшая графиня) и домашним барахлом торгует. И тут же при ней клетка, а в клетке попка. И сидит эта попка на кольце, качается и орет по-французски: шармант, что в переводе на русский язык — прелестно, значит.

Вот, братцы мои, я и приобрел птицу эту. То-то, думаю, удивлю деревню.

И удивил, слов нету.

А купил я эту попку за недорого. Хлебом, не помню — восемь, не помню — десять фунтов дал.

И вскоре после этого и поехал.

В теплушке ехал. Разговор, помню, поднялся вокруг меня, смех.

— Куда, — спрашивают, — везешь птицу? Зачем?

— Везу, — говорю, — в деревню на хлеб менять. Почему, — спрашиваю, — попугаи в этих местах ходят? В какой цене? Не продешевить чтобы.

Смеются.

— Товар, — говорят, — неизвестный.

Предложил мне тут же какой-то субчик полпуда ядрицы за птицу, да не отдал я.

Приехал в одну деревню. Народ вокруг меня столпился. Хохочут. Ребята тоже хохочут. Прутьями дразнят птицу. Под перья ей дуют.

«Ну, — думаю, — понравился товар».

Принялся я с бабой одной торговаться и совсем было в цене сошелся, да явился какой-то инвалид, что ли. Из армии.

— Стоп, — говорит, — братцы! Обман. Попка это не настоящая. Настоящая попка «дурак» орет, а эта, говорит, что-то невнятно произносит.

Ну и смутил сделку, чертов инвалид. Пуд только стала давать баба.

Дальше я пошел.

В одну, в другую деревню — не берут. Хохочут, под перья дуют, а не берут. А которые бы и взяли, да обижаются, зачем «дурак» не произносит.

Два дня мотался я, братцы мои, с птицей, запарился, утомился — сказать невозможно. Прямо бы за полпуда отдал. Но и полпуда перестали давать.

— Вид, — говорят, — у птицы плохой.

А это верно: птица тоже запарилась. Все-таки дорога, да и под перья ей дули, да и ронял я ее раза два.

И вот посоветовал мне один старичок в дальнюю деревню идти. А то, говорит, народ тут при железной дороге балованный, чего хотят — сами не знают.

Вот я и пошел.

А путь дальний. Жара. Пылища в нос бьет. Чересчур я тогда утомился. Вижу, и птица моя утомилась до невозможности. С кольца своего сошла, сидит внизу, нахмурившись, и хлеб не клюет.

«Ну, — думаю, — не скончалась бы раньше времени. Плохой вид. Вот, думаю, глупость какая будет, ежели так».

А сам все нажимаю, все быстрее да быстрее.

И вот пришел к вечеру в нужную деревню.

— Ну, — говорю, — попка, подбодрись.

В одну избу зашел.

— Не нужно ли, — говорю, — попугая?

— Нужно, — говорит мужик. — А почем товар? Покажи.

Стал я ему попку показывать, смотрю: лежит моя птица брюхом кверху, и лапки у ней врозь.

Обиделся мужичок.

— Что ж, — говорит, — это ты дохлой птицей торгуешь?

Ох, чуть я не прослезился тогда. Вывалил попку из клетки, клетку бросил. А мужик хохочет надо мной.

— Перестань, — говорит, — клетку бросать. Я тебе за нее шесть куриных яиц дам.

И дал.

— А жалко, — говорит, — что скончалась птица. Я бы, говорит, тебе за нее четыре пуда дал. Мне, говорит, очень пугаи нравятся.

К утру назад пошел. И больше в деревню не ездил.

БАБКИН МУЖ

Паршивый муж был у бабки Анисьи Николаевны. Уже не говоря о внешности, а и душевных качеств никаких. Так — шляпа, размазня, кикимора.

Да бабка Анисья Николаевна его иначе и не называла, как кикиморой. Или еще пигалицей любила назвать. Но на слова такие Василь Васильевич — бабкин муж — ужасно как обижался. Надуется на бабку, что мышь на крупу, и слова из него клещами не вытянешь.

А сказать надо — дело было секретное у бабки Анисьи Николаевны. Самогонное секретное предприятие. На паях. Старикашка такой, Ерофеич, пайщиком был. Да только какой же это пайщик, ежели драгоценную влагу лакал он как корова? А ведь нельзя так — убыток предприятию.

Думала бабка откупиться от пайщика, да произошло происшествие: лопнуло предприятие на паях. И ведь как лопнуло-то! Из-за собственного мужа лопнуло, сук ему в нос!

Ну, да и не могло быть иначе — был Василь Васильевич не человек, а, прямо сказать, — падаль.

Скажем, дело пустое: по бутылкам самогонку перелить — не может. Пьянеет, сукин сын, от одного духа. А дух, конеч-

но, острый. Так дух этот ему, видите ли, в голову ударял и вызывал рвоту!

Ну что ж! Бабка Анисья Николаевна его в этом и не притесняла: не может — не надо. Бабка назначала его на легонькие дела. Например: по указанному адресу пару бутылок снести. Так и то не может. Пугается.

— Я, — говорит, — Анисья Николаевна, не понесу враз. Я, говорит, лучше одну сначала, а за другой после спорхаю. А то пару понесешь — подозрения в милиции вызовешь. «А ну, — скажет милиция, — чего несешь? Дай-кась я понюхаю». И пропадешь! Вам, Анисья Николаевна, хорошо, вы дама, а меня без применения амнистии могут...

Да. Пропасть с таким мужем! Ну, уж зато и бабка Анисья Николаевна спуску ему не давала. Чуть что — по рожу, либо словами кроет. Тоже, надо сказать, вредная была бабища. Скажем вот — вставала рано. Со светом. Василь Васильевичу, при нездоровии его, спать и спать бы нужно, так нет, пущай и он встает. А от этого у Василь Васильевича настроение на все сутки портится.

А для чего ей нужно поднимать Василь Васильевича? А ей, видите ли, поговорить не с кем.

Тут она разливает по бутылкам и ну его хвостить:

— Чего опять лицо грустное? Чего опять воздух нюхаешь?

Ежели промолчит — беда. Ежели скажет — еще того хуже.

Вредная тоже баба. Но зато делец. Слов нету. И чистота в производстве, и вкус, и аромат, — что надо. По-европейски было поставлено дело. В покупателях отбою не было.

А на праздниках так с ног сбились все. Сам Василь Васильевич раз сорок в разные концы бегал. Ну а на сорок первый — заскочило.

Так вышло.

Налила бабка Анисья Николаевна бутылку попопней, тряпочкой ее обтерла.

— Беги, говорит, поскорей, рысью, в отель «Гренаду».

Схватил Василь Васильевич бутылку, пальтишко на ходу напялил — и на лестницу. Выбежал на лестницу, добежал до второго этажа — милиция.

И ведь не то, чтобы показалось ему с перепугу, а на самом деле стоял милиционер на площадке. И для чего он стоял — так это и не выяснилось, но только из-за этого рухнуло предприятие.

Увидел его Василь Васильевич, тихонько охнул, затаил дыханье и на цыпочках пошел к себе.

Добежал до квартиры, закрыл на все замки дверь и после уж крикнул:

— Милиция... Анисья Николаевна!

И что такое приключилось с бабкой Анисьей Николаевной — удивительно даже. Дама она крепкая, недоверчивая, бывало раз десять расспросит и сама удостоверится, а тут сомлела.

— А? Что? Милиция... Обыски, что ли, производят?

— Обыски, — сказал Василь Васильевич.

Всплеснула бабка Анисья Николаевна руками, схватила аппарат, с громким ревом вылила драгоценность в водопровод, разрушила все приспособление — куда трубки, куда крантики, и после уж присела на стул, еле живая.

— В каком номере производят?.. — спросила бабка.

— Не знаю, — сказал Василь Васильевич.

Так сидели они долго, с час, что ли.

— Пойди, посмотри, в каком номере производят... — сказала Анисья Николаевна.

Василь Васильевич напялил на себя пальтишко и вышел.

Вышел он на лестницу — тихо... Дошел до второго этажа — ничего.

«Ну, — думает, — а вдруг да я ошибся? Вот когда мне гибель будет... Вот когда меня в порошок сотрет Анисья Николаевна».

Вышел он во двор. Дворника Егора встретил.

— Чего, — спрашивает, — говорят, будто обыски?

— Какие обыски? — сказал Егор. — Про что вы...

Василь Васильевич махнул рукой и побежал к дому. Он подошел к своим дверям, постоял, подумал, махнул опять рукой и пошел на улицу.

Домой он так и не явился.

НИЩИЙ

Повадился ко мне один нищий ходить. Парень это был здоровенный: ногу согнет — портки лопаются, и к тому же нахальный до невозможности. Он стучал в мою дверь кулаками и говорил не как принято: «Подайте, гражданин», а:

— Нельзя ли, гражданин, получить безработному.

Подал я ему раз, другой, третий. Наконец, говорю:

— Вот, братишка, получай полтинник и отстань, сделай милость. Работать мешаешь... Раньше как через неделю на глаза не показывайся.

Через неделю ровно нищий снова появился. Он поздоровался со мной, как со старым знакомым, за руку. Спросил — чего пишу.

Я дал ему полтинник. Нищий кивнул мне головой и ушел.

И всякую неделю, по пятницам, приходил он ко мне, получал свой полтинник, жал мне руку и уходил.

А раз как-то, получив деньги, он помялся у двери и сказал:

— Прибавить, гражданин, нужно. Невозможно как все дорожает.

Я посмеялся над его нахальством, но прибавил. Наконец, на днях это было, он приходит ко мне. Денег у меня не было...

— Нету, — говорю, — братишка, сейчас. В другой раз...

— Как, — говорит, — в другой раз? Уговор дороже денег... плати сейчас.

— Да как же, — говорю, — ты можешь требовать?

— Да нет, плати сейчас. Я, — говорит, — не согласен ждать.

Посмотрел я на него — нет, не шутит. Говорит серьезно, обидчиво, кричать даже начал на меня.

— Послушай, — говорю, — дурья голова, сам посуди, можешь ли ты с меня требовать?

— Да нет, — говорит, — ничего не знаю.

Занял я у соседа полтинник — дал ему. Он взял деньги и не прощаясь ушел. Больше он ко мне не приходил — наверное, обиделся.

КАРУСЕЛЬ

Вот, братцы мои, придется нам некоторое время обождать с бесплатностью. Нельзя сейчас.

Скажем, бесплатно все. А мы никакой меры не знаем. Думаем, ежели бесплатно, так и при, ребята, всем скопом.

Как однажды на первомайских праздниках поставили карусель на пощади. Ну, народ повалил, конечно. А тут парень какой-то случился. Из деревни, видимо.

— Чего, — спрашивает парень, — бесплатно крутит?

— Бесплатно!

Сел этот парень на карусель, на деревянную лошадь, и до тех пор крутился, покуда не помертвел весь.

Сняли его с карусели, положили на землю — ничего, отдышался, пришел в себя.

— Чего, — говорит, — крутит еще?

— Крутит...

— Ну, — говорит, — я еще разочек... Бесплатно, все-таки. Через пять минут снова его сняли с лошади.

Снова положили на землю.

Рвало его, как из ведра.

Так вот, братишки, обождать требуется.

ЧЕТВЕРО

Ну, братцы, держитесь! Ошельмуя сейчас кой-кого. Я человек горячий. Я под горячую руку ужасных делов могу натворить.

Стоп! Вот фамилии... Пушай над ними смеются. Пушай эти фамилии на страницы всемирной истории попадают. Вот: староста первой артели Иван Тимофеев — раз, ДСП Никитин — два, ПД Соколов — три, Селиверстов еще — четыре.

Вот-с, четверо. Четыре фамилии.

— Позвольте, — скажут читатели, — чего ж они сделали? Взятку, что ли, взяли?

Взятку? Зачем взятку. Хуже. Они, товарищи, архимандрита на себе везли. Да. Ей-богу, правда.

На станции Брянцево это было. На праздниках. Собрались эти четыре приятеля — тары да бары, а один говорит:

— Не позвать ли нам, братцы, попа. Пушай молебен служит. Все-таки праздник нынче.

А староста Иван Тимофеев — человек широкий.

— Зачем, говорит, попа? Дерьма тоже. Давайте, говорит, братцы, архимандрита позовем, если на то пошло.

Ладно. Сказано — сделано. Пошли приятели в монастырь Николы.

— Чего, спрашивают, есть у вас, товарищи монашки, архимандриты? А? Староста вот наш, Иван Тимофеев, человек широкий — архимандрита чегой-то хочет.

Обрадовались монашки.

— Есть, говорят, пожалуйста.

Вышел тут архимандрит.

— Ладно, говорит, могу. Только, говорит, на мне сан очень большой — не годится мне пешком ходить. Давайте, говорит, мне международное купе.

Упали духом приятели.

— Ваше, говорят, высокопреподобие, что касается купе — не тово, не выйдет. А вот ежели на вагонетке не побрезгуете — пожалуйста... Один впереди, трое будут пихать сзади — мигом доставим.

Согласился архимандрит. Сел на вагонетку — поехал. Староста Иван Тимофеев впереди дует, трое сзади... Прут на себе архимандрита. Без остановки прут — семафор не семафор.

Приехали. Слез архимандрит, отслужил молебен. А староста Иван Тимофеев, человек широкий, — не отпускает архимандрита.

— Ваше, говорит, высокопреподобие, не желаете ли к столу присесть?

Разукрасил стол староста. Поросенка для такого случая зарезал. Самогонки поставил. Закуску всякую.

Присел к столу архимандрит — вкусил и выпил и тем же порядком в монастырь отбыл. Не тем же, впрочем, порядком. Староста Иван Тимофеев, человек широкий, не согласился впереди бежать.

— Я, говорит, лучше теперь сзади пихать буду. Я все-таки человек широкий, выпивший, мне бы, братцы, под вагонетку не попасть.

Вот, товарищи, какая история.

А неловко так. Что ж это выходит? Одна рука с попом борется, а другая для попа свинью режет.

Не годится.

СВИНОЕ ДЕЛО

Эх, братишки, рука дрожит, перо из пальцев вываливается — негодование, одним словом, у меня на душе по поводу одного происшествия.

Ведь есть же падаль такая, как Володька Гуськов, собачий нос! Ах, и дрянь же человечиска этот Володька Гуськов! Фатишка, представьте себе, трехсотый курит — носки нарочно врозь, галстук у него голубой с прожилками... И агентом на Орловской служит.

Ну, да ничего: закатали нынче этого агента на пять лет, со строжайшей изоляцией, и поделом, братишки, поделом. Нельзя никак иначе. Уж очень человек вредный.

А дело такое было — свиное.

Свинья была у Иван Семеныча. Превосходная свинья и этакая жирная, что словами и выразить невозможно. От жира своего она все время на заду сидела. А уж если и поднималась куда, так гудело у ней изнутри и задом она своим, что метлой, по двору гребла.

Замечательная была свинья. Иван Семеныч до того на нее радовался, что и работать не мог, из рук работа вываливалась.

Сядет он, бывало на крыльцо, очи в крышу и мечтает:
— Зарежу, — мечтает, — ее к лету. Пуд проем, пуд посолю, пуд загоню... Да еще множество пудов остается.

Но только не зарезал ее Иван Семеныч — иное вышло.

Сидел он раз на крыльце и с бабой своей вслух мечтал по поводу свиньи. И не заметил совсем, как свинья эта со двора ушла. То сидела она сиднем и едва хрюкала, то неизвестно откуда и прыть взялась — ушла. Солнцем, что ли, ее пригрело.

А жил Иван Семеныч вовсе недалеко от полотна — рукой подать.

Вот свинья вышла со двора, хрю да хрю, видит полотно и на заду поперла к самой насыпи. И шут ее разберет, как это она при столь огромной тяжести своей на рельсах оказалась? А время было к четырем — пассажирский шел.

Машинист видит, что на рельсах неблагополучно — насыпь кто-то рылом роет — свисток дает. Свинья и в ус не дуется — лежит что королева и рельсы нюхает.

Шмякнуло тут ее в бок и по рылу и разорвало на три половинки. Не хрюкнула даже.

А в эту секунду самую Иван Семеныч с бабой своей едва не повздорили. Из-за свиньи. Куда ему, видите ли, свиную голову подевать: то ли продать, то ли студень сделать, то ли что. Баба все на студень напирает, студня ей охота, а Иван Семенычу желательно деньжонок понабрать.

Баба все свое:

— Студень, Иван Семеныч, студень... Ей-богу, студень...

А Иван Семеныч не хочет студня.

— Нет, — говорит, — баба. Ты посмотри, какая голова. За такую голову, кто даже не хочет, ужасно много даст... А ты говоришь — студень...

Захотел Иван Семеныч еще раз на свиную голову посмотреть, оглянулся — и нету свиньи.

— Ой, — говорит, — баба, а где же кабан?

Вскочили они оба, бросились со двора.

— Прося, прося!

Нету прося. Вдруг видят — след, что тропинка, проложен от свиного зада. Бросились они по следу. Полотно. А на полотне толпа любитесь ужасным зрелищем.

Закричали они оба в голос, растолкали толпу, собрали свинью, взвалили ее на плечи и с ревом понесли к дому.

Но пришла беда — отворяй ворота.

Не успел Иван Семеныч с бабой своей поплакать всласть, как вдруг на двор к ним Володька Гуськов заявился, агент железнодорожный.

— Это, — говорит, — кто из вас железнодорожные беспорядки нарушает? А? Это, говорит, кто свинные остатки с рельсов снял без разрешения на то соответствующих законных властей, а?

Оробел Иван Семеныч, лепечет непонятное, а баба, между прочим, за него отвечает:

— Позвольте, батюшка, это наши свинные остатки. Весь народ подтвердить может...

— А, — говорит Володька, — ваши остатки? А может тут незаконное убийство произошло, может вы поезд живот-

ным опрокинуть хотели, а? Встань, говорит, баба, передо мной в струнку!

Тут и баба оробела. Встала она по возможности в струнку.

— Ваше, — говорит, — вашество, ваше величество, по глупости животная на рельсу взошла...

— А-а, по глупости? А знаешь ли ты, дура-баба, уголовный кодекс всероссийского судопроизводства? Да я вас могу за подобное уголовное в тартарары без применения к вам амнистии. Встань и ты, мужик, передо мной в струнку.

Задрожал Иван Семеныч, встал тоже в струнку, лепечет:

— Ваше вашество... Ваше степенство...

А Володька орет:

— Да вы знаете, кто я такой? Да меня, может, вся Москва знает. Да я вас, растакие такие, к высшей мере могу, очень просто.

Покричал еще Володька, покричал, а после и говорит:

— Ладно, — говорит, — помилую на этот раз. Ваше счастье... Неси ко мне на квартиру половину свиных остатков.

Охнул Иван Семеныч. Баба охнула. Взвалили они на плечи изрядный оковалок — пуда на три, и понесли к Володьке.

А съел Володька немного — фунтов пять, что ли. Да и тех, собачий нос, не доел — сгрябчили с поличным.

А давеча я в газетах прочел: на пять лет Володьку со строгой изоляцией.

Так его.

ТРЕВОГА

В квартире начальника пожарной охраны было празднично. На столе стояли самогонка, пиво, закуска всякая. Из кухни чад валил — пеклись пироги.

Сам начальник пожарной охраны, уже подвыпивший, сидел за столом с брандмейстером и, обсасывая селедочную голову, мечтательно говорил:

— Да-с, Сеня, дождались... Ждали, ждали и дождались. Тревога будет. Смотр вроде бы... Ты вот, Сеня, сомневаешься, что тревога будет, а мне, Сеня, доподлинно известно. Мне товарищ Иваненко сказал. «Завтра, говорит, или сегодня будет у вас, Иван Федорович, тревога произведена для пробы».

— Хм, — сказал брандмейстер, выпивая стакан самогонки и нюхая хлебную корку.

— Вот ты, Сеня, сомневаешься, — продолжал начальник охраны, — «хм» говоришь, а мне от тебя обидно это слышать. Не ожидал я от тебя этого, Сеня.

Начальник охраны икнул в руку и пересел ближе к брандмейстеру.

— Сеня! — сказал он. — Дождались... Заметили нас... Выпьем, Сеня, поэтому. Сегодня или завтра тревога по примеру столичных городов Петрограда и Москвы... Смотр вроде бы. Смотр, так сказать, пожарных сил. Ведь это что значит? Ведь это, Сеня, значит, что мы, пожарные, — силища в республике. Это значит, что с нами считаются, смотрят нам делают. Взять хоть нас: команда у нас

маленькая, слов нет, а поставлены мы на опасное дело, при мастерских. Случится пожар, не будь нас — на триллионы убытки.

— Хм, — сказал брандмейстер, нюхая селедочную голову.

— Да-с, — продолжал начальник охраны, — ты вот, Сеня, мелкота, сопля, брандмейстеришка несчастный... Тебя, Сеня, на смотру нипочем не заметят. Ну, может, сдуру кто-нибудь и ляпнет: благодарю, мол, товарищ брандмейстер, за службу... А дальше дудки-с... Дальше, Сеня, мне лавры принадлежат. Потому что я начальник пожарной охраны. Голова, так сказать. Меня, Сеня, обязательно заметят. Ага, скажут, вы начальник пожарной охраны? Да, скажу, так точно. Ага, скажут, образцовая, превосходная команда у вас, образцово поставлено пожарное дело... Вот, скажут, отныне вы герой труда... А самый главный какой-нибудь из комиссии подойдет. Ага, скажет, занести этого героя на Красную доску, пожаловать ему орден Красного Знамени.

Начальник охраны дважды икнул и покачиваясь пошел к жене на кухню.

— Маша! — сказал начальник охраны, стуча себе в грудь. — Маша, голубчик... Я герой труда... Меня обнимают, ордена мне вешают... Я, Маша, гордость России. На меня вся Европа смотрит.

Не дождавшись от жены ответа, начальник пожарной охраны нетвердо пошел опять в комнату.

— Сеня, — сказал он, — Сеня, голубчик... Чувствуй, лахудра... Я герой труда. А ты тля, пигалица.

— Позвольте, — обидчиво сказал брандмейстер, печально жуя огурец. — Позвольте, Иван Федорыч... Вы точно — начальник охраны, пушай, не спорю. А что касается благодарностей, то, извиняюсь, — моя команда. Я брандмейстер Перовской команды. Мне лавры... не позволю.

— Сеня, — сказал начальник охраны, — ну ладно, я не спорю. Пушай так. Твоя команда... Сеня, а ведь положила руку на сердце, — дрянь у тебя команда. С такой командой пропасть можно.

Сеня положил голову на стол и тихонько заплакал.

— Команда? — сказал он, вытирая слезы. — Команда, Иван Федорыч, точно что дрянь. Неважная команда. Ну, случится пожар — сам сгоришь с такой командой.

Начальник охраны с сожалением посмотрел на брандмейстера.

— Ну вот, Сеня, а ты хвалишься. Лавры себе приписываешь... Ты, Сеня, слабый человек, ты команду распустил. Ну да ты не плачь. Ты, Сеня, главное, каску начисти, чтоб сияла она. А команда пушай с линейки нипочем не сходит, а то срамота, неловко, ежели сойдет, — виду нет никакого — идут, что по грибы...

Начальник охраны встал и пошел за каской.

— Вот, — сказал он, вынося свою каску, — смотри, Сеня, как сияет. Ага, это чья, скажут, каска сияет так? Ага, это начальника пожарной охраны, ну так он...

Начальник не договорил — раздался тревожный звонок.

— Полундра! — закричал брандмейстер, пытаясь встать на ноги. Начальник охраны бросился во двор.

Через сорок минут команда выехала к месту тревоги. Вид у команды был ошалелый. Расположились кое-как. Сзади линейки бежал топорник, застегивая на ходу штаны. Брандмейстер сидел в линейке и тихо плакал. Начальник охраны сидел рядом и говорил:

— Не плачь, Сеня. Главное, чтоб каска сияла. Ага, скажут, это чьи там каски сияют так? А это, скажут, начальника охраны и брандмейстера. Ну так, скажут, и брандмейстер пуцай уж будет герой труда. Не плачь, Сеня.

Когда команда приехала к месту тревоги, в толпе рабочих поднялся смех.

Пожарные выходили из линейки, как бабы на сносях. Начальники вышли обнявшись.

— Батюшки! — сказал кто-то. — Да они пьяны.

К начальнику охраны подошел агент.

— Пожалуйста, — сказал начальник охраны, подставляя грудь для ордена.

Но ордена не повесили.

— Распишитесь, — сказал агент, подавая бумагу.

На бумаге было написано: «Пьян в доску».

Начальник охраны подписал фамилию и, подумав, прибавил: герой труда и кавалер ордена.

Брандмейстер пытался тоже подписать фамилию, но ему почему-то не дали. Прислонившись к линейке, он тихонько плакал.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ

Похудел я, братцы мои, за эту неделю, осунулся, аппетит к пище потерял... Борщ я, например, ужасно обожаю — только давай, а нынче я и нос от него ворочу, не ем. Чудеса!

А я и причину знаю моей болезни. Очень уж мне, братцы мои, телеграфистов жалко. Обижают их. Все больше насчет освещения обижают.

Вот у меня имеется целая куча писем от телеграфистов. Плачутся телеграфисты на многое. И зачем, дескать, электричества нету, и зачем лампы неисправны, и почему лампы опущены мелкого калибра. Один даже телеграфист с М. Казанской ж. д. по поводу неважного освещения воскликнул:

«Где же сознание человечества!»

А в самом деле, братцы, какого дьявола? Сказано — электрификация, так и пожалуйста. Уговор дороже денег. Зачем же ваньку валять?

Зачем же телеграфы освещать какими-то трехлинейными керосиновыми лампами?

Ну да лампа, куда ни шло — светит все-таки. А вот угадайте, братишки, чего горит на станции Семенкино в телеграфе? Ну? Ей-богу, на новые свои штаны спорюсь — нипочем не угадаете.

А горит на станции Семенкино малюсенькая фитюлька, и то без стекла.

Например, на станции Ильмень — там шикарно. Там лампа в семь свечей. Это здорово! Это, пожалуй, что и Германия позавидует... Везет ильменцам! Счастье им!

То-то, наверное, телеграфисты со станции Березина обижаются, завидуют тоже ильменцам. На станции Березина — беда со светом. Там вообще — беда. Нету у меня только красноречия объяснить, как работают там телеграфисты. Пускай уж сам телеграфист объясняет. Перо у него бойкое.

Вот чего он пишет:

Телеграф помещается в уголке прихожей дежурного по станции. Телеграфист сидит там с удобствами загнанного зверька в клетку. Тесно, ночью коптит лампа, воздух сперт, даже повернуться негде.

А здорово, братцы, воздух сперт, ежели и повернуться негде! Этакая подлая лампа!

Эх, братцы мои, жалко мне телеграфистов! А в особенности жалко мне телеграфистов со станции Голутвин. Попали голутвинцы в непромокаемое положение.

Казалось бы, что все там хорошо. Есть даже керосинокалильный фонарь. Но послушайте теперь, что пишет тамошний телеграфист, у него перо тоже бойкое:

Фонарь сияет дивным, ослепительным светом! Но телеграфные аппараты установлены около окон. Работающие телеграфисты обращены лицом в том направлении. Спрашивается: ку-

да же этот свет так ярко разливают лучи? Да телеграфистам в спину!

Не поперло голутвинцам. Этакий свет пропадает даром. А что ж у них перед глазами?

А перед глазами, — восклицает тот же телеграфист, — истый призрак сумрак. Это — охрана труда и их зрения!

Здорово завинчено! Пропали голутвинцы! Не знаю даже, чего им посоветовать? Стол им, братцы, что ли, повернуть к свету? А? Как вы думаете? А то ведь глаза испортят. Чего же это, действительно, «охрана труда и их зрения» смотрит?

Ну да шутки шутками, а нельзя ли и в самом деле убрать поскорей керосиновую лампу,

устранить сей злосчастный феномен,

как картинно выразился телеграфист, жалуюсь нам на неисправную лампу.

Вот, братцы мои, написал я эту статейку — мне и легче. Все-таки, думаю, прочтет ее какой-нибудь инженер-электрик.

— Ну, скажет, пора теперь за телеграфистов взяться. Пора, скажет, им электрический свет дать.

И даст. Вот будет здорово. Только чур, братцы, лампочки не вывинчивать!

ОБ ОВОЦАХ И ПРОЧЕМ

Я, братцы, пять лет думал: с чего бы это у нас «задержка в деле транспорта» происходит? И не знал. Ну а теперь я знаю. Мне, спасибо, один стрелочник написал:

Задержка, говорит, в деле транспорта происходит потому, что без пропусков ходить по путям нельзя, а машинисты, стрелочники и другие агенты пропусков не имеют. И нередко человека, идущего по служебному делу, волокут в ГПУ для выяснения личности.

Вот оно в чем дело! А чудачки... Пропуска нужно выдать — только и делов. Но, оказывается, пропуска нельзя еще выдать. Оказывается, что

в административном отделе охраны М. Каз. ж. д. еще и бланки не готовы...

Это плохо. Придется мне самому за это дело взяться. Не хотелось мне ввязываться, но дело срочное. Ведь какая штука может произойти. Лопнет, скажем, проволока у семафора. Ну, побежит, конечно, мастер чинить.

Побежит он по полотну, вдруг — стоп! Охрана...

— Куда бежишь? — спросит охрана. — Предъяви пропуск.

— Братцы, — скажет мастер, — нету у меня пропуска...

Бланки еще не готовы...

— Ага, — скажет охрана, — хватай его, братцы! Тащи в ГПУ выяснять личность.

— Братцы, — заплачет мастер, — да какая же у меня личность, ежели я мастер с этой станции... Рази вы меня не узнаете?

— Узнаем, — скажет охрана, — как же не узнать? На одной линии работаем. Идем, что ли... Дисциплина требует.

И поволокут мастера в ГПУ.

Тут-то и начнется «задержка в деле транспорта» — остановится поезд перед закрытым семафором.

Так вот, придется мне самому за это дело взяться. Напишу-ка я письмо. Задушевное письмо начальникам. Дескать, так и так, пожалуйста, и, между прочим, как ваше здоровье... Все-таки ласковое слово сильней действует.

Только вот каким начальникам писать, я не знаю. Я плохо разбираюсь в железнодорожных тонкостях. Ну да начальники сами разберут — люди они образованные.

Задушевное письмо

Уважаемые товарищи начальники! Здравствуйте, пожалуйста! Ну как ваше драгоценное здоровье? Как супруги ваши? И чего поделявают деточки?

Я, спасибо вам, здоров. Погода у нас стоит неважная.

Между прочим, обращаюсь к вам с препокорной просьбишкой насчет пропусков. Требуются очень пропуска на предмет хождения по путям. Не мне, конечно, а вот стрелочникам, машинистам и другим агентам...

Выдайте им, уважаемые начальники! Ну что вам стоит? Хотя бы на клочке, что ли, напишите, дескать, такому-то — имярек — позволяется ходить по полотну...

И все. Больше я вас и не потревожу. Ну как ваши делишки? Слышал я, что вы нездоровы были. Берегитесь, голубчики, без кашне не выходите на улицу.

Ну, пока до свиданья. Искренне уважающий вас

Назар Синебрюхов

P. S. Как дела с огородами? Посадили ли вы овощи или еще нет? Я посадил. Привет супругам.

ВЕСЕЛЫЕ ВЕЧЕРА

Есть на станции Набережная клуб. Не танцулька какая-нибудь, а настоящий политклуб. Там даже иной раз серьезные пьесы ставят. Так, например, 15 апреля шла пьеса писателя Островского. Вот как! Это вам не танцулька! Это уж настоящая культура.

А что одна актриса в истерике забилась, так, может, у ней нервы слабые. То же и с режиссером. Бороду-то ему не настоящую оторвали. Ему бугафорскую бороденку оторвали. Дерьма тоже! Стоит ли из-за паршивой бороденки историю поднимать? Другой бы режиссер еще спасибо сказал, что оторвали. А то возись с ней, отклеивай.

А с пустяков все и началось. «Дрезина» не была на этом вечере — не пригласили, но корреспондент прислал нам

полное и подробное описание того вечера. Оказывается, что

...по обыкновению в политклуб приходят похулиганить некоторые, но зачастую пьяные граждане, могущие устраивать дебош.

Так вот, эти граждане, «могущие устраивать дебош», явились на вечер и устроили скандал,

разразившийся до вышибания окон клуба и попыткой одного из нэпачей порвать театральную занавесь.

Мало того — произошла драка. Один из «могущих устраивать дебош»,

изловчившийся, ударил по носу председателя культкружка товарища Маслова, отчего пошла кровь. — Произошла атака артистов...

Во время контратаки режиссеру местной группы, Пономареву, оторвали бороду, которая оказалась, как мы сообщали, не настоящей.

За кулисами одна из артисток разразилась истерикой...

Да-с! Это вам не танцулька.

«Дрезина» слезно просит товарища заведывающего клубом (если ему во время контратаки не оторвало го-

лову) сообщить в редакцию, по каким дням устраиваются вечера.

Очень уж нам охота подраться с нэпачами, «могущими устраивать дебош».

ПЛОХАЯ ВЕТКА

По Новоторжской ветке я больше не поеду. Шут с ней. Плохая ветка. Там я едва не разбился. И там же с меня еще штраф взяли.

И за что? За то, что я, братцы, на нижнем месте сидел. А разве я виноват? Я кассирше объяснял толком:

— Я, говорю, человек грузный, мне, говорю, многоуважаемая, не давайте верхнее место. Я разбиться могу.

А она, братцы, напротив того, верхнее место дала.

«Ну ладно, соображаю, с кем-нибудь я обменяюсь в вагоне».

Сел в вагон я, а меняться не с кем — пустой вагон.

«Ну, думаю, тем лучше. Повезло, думаю, мне на Новоторжской ветке. Всегда буду на ней ездить».

Сел я на нижнее место и, извиняюсь, задремал. Вдруг контроль идет.

— Ваш, говорит, билет?

Подаю билет. Контроль внимательно осмотрел билет и нахмурился.

— У вас, говорит, лежачее место. Полезайте наверх, а то я вас оштрафую.

Я говорю:

— Батюшка, уважаемый контроль, не хочется мне наверх. Чего я буду сидеть там, как кура. Позвольте мне внизу посидеть.

— Не могу, говорит, позволить. А ежели вы мне взятку сейчас предложите, то я могу вас упечь, куда Макар телят не гонял.

Он думал, что я растеряюсь, задрожу, а я хоть бы что. Отбрил даже его.

— Вы, говорю, не стращайте меня и не возвышайте голос, от этого у вас печенка может лопнуть. А ежели наверх нужно, то ладно, сейчас полезу.

Полез. Два раза я, братцы мои, обрывался. Наконец влез. Проохал два перегона — нет, не могу больше — тошнит и к тому же упасть боюсь от толчка.

Слез я тихонечко, присел на нижнее место. Вдруг опять контроль.

— Ага, — говорит, — ты опять здесь. Плати штраф.

Заплатил я штраф.

«Ну, думаю, хотя теперь поеду спокойно».

Не тут-то было.

— Нет, — говорит контроль, — штраф штрафом, а ежели место лежачее — лезь наверх.

Влез я, братцы, снова наверх. Лежу, боюсь даже до ветру сойти. А в Лихославле собрал я свои манатки да и поскорей прочь из вагона. А там нанял лошадей да и ходу, ходу...

Не езжайте, братцы, по Новоторжской ветке! Плохая ветка.

МАТРЕНИЦА

Которая беднота, может, и получила дворцы, а Иван Савичу дворца, между прочим, не досталось. Рылом не вышел. И жил Иван Савич в прежней своей квартирке, на Большой Пушкинской улице.

А уж и квартирка же, граждане! Одно заглавие, что квартира — в каждом углу притулившись фигура. Бабка Анисья — раз, бабка Фекла — два, Пашка Огурчик — три... Тьфу, ей-богу, считать грустно!

В такой квартирке да при такой профессии, как у Ивана Савича — маляр и живописец — нипочем невозможно было жить. Давеча случай был: бабка Анисья подолом все контуры на вывеске смахнула. Вот до чего тесно. От этого, может, Иван Савич и из бедности никогда не вылезал.

А была у Иван Савича жена. Драгоценная супруга Матрена Васильевна. Вот протобестия бабища! То есть, граждане, другой такой бабищи во всей Советской России не найдешь. А ежели и найдешь, то безо всякой амнистии при первом знакомстве давить таких нужно.

Мотей ее Иван Савич величал. Хороша Мотя. Матрена. Матреница. Ведь она чего с Иван Савичем сделала? Она, дьявол-баба, Иван Савичу помереть не дала. Ей-богу, моя правда! Ужасно вредная бабища. Только что не кусалась. А может, и кусалась. Пес ее разберет. Там, где ссора какая, там, где по роже друг друга лупят — там и Матреница. Как рыба она в воде ныряет, как кабан в грязи крутится. Кого подначивает, а кого и сама бьет.

А между тем, прожила она с Иван Савичем почти что пятнадцать лет душа в душу. Правда, дрались, слов нет. До крови иной раз бились, но так, чтобы слишком крупных ссор или убийства — не было. Все-таки понимала Матренища, что Иван Савич несколько иного порядка человек. И верно: талантище у него был громадный. Иной раз такое на вывеске изобразит — понять невозможно. Одним словом, специальный был живописец. И притом старательный. Ну да не везло. Пребедно жил человек.

Пребедно жил человек, а тут заболел еще. А перед тем, как заболеть, ослаб вдруг до невозможности. И не то, чтобы он ногой не мог двинуть, ногой он мог двинуть, а ослаб, как бы сказать, душевно и психологически. Затосковал он по другой, легкой жизни. Стали ему разные кораблики сниться, цветочки, настурции, дворцы какие-то. Сам стал он тихий, пугливый, мечтательный. Все обижался, что беспокойно у них на квартире. И зачем, дескать, бабка Анисья у плиты, ровно слон, ходит. И зачем Пашка Огурчик на балалайке ежедневно стрекочет.

Все тишины хотел. Ну прямо-таки собрался человек помереть. На рыбное его даже потянуло. Все соленья стал просить — селедки.

Так вот, во вторник он заболел, в среду стал просить селедку, а в четверг Матренища на него и надела.

— И зачем, — говорит, — ты лег? Может, ты нарочно лег. Я почем знаю. Может, ты работу не хочешь исполнять.

Она, конечно, пилит, а он молчит.

«Пущай, — думает, — языком баба треплет. Мне теперича все равно. Чувствую, граждане, что помру скоро».

А сам, знаете ли, весь горит, брендит и ночью по постели мечется. А днем лежит ослабший, как сукин сын, и ноги врозь. И все мечтает.

— Мне бы, — говорит, — перед смертью на лоно природы выехать, посмотреть, какое оно. Никогда, говорит, ничего подобного не видел.

И вот осталось, может, ему мечтать два или три дня, как произошло такое обстоятельство. Подходит к кровати Матрена Васильевна и говорит:

— Помираешь? — говорит.

— Да, — говорит Иван Савич, — умираю, Мотя... Ноги уж у меня легкие стали. Отымаются будто.

— А я, — говорит ему Мотя, — не верю тебе. Я, говорит, позову сейчас медика. Пущай медик скажет. Тогда, говорит, и решим, помирать тебе или как.

И вот зовет она районного медика из коммунальной лечебницы. Районный медик Иван Савича осмотрел и говорит Моте:

— Да, говорит, плох. Не иначе, как помрет в аккурат вскоре после моего прихода.

Так вот сказал районный медик и вышел.

И подходит тогда Матрена к Иван Савичу.

— Значит, — говорит, — взаправду умираешь? А я, говорит, промежду прочим, не дам тебе помереть. Ты, говорит, бродяга, лег и думаешь, что теперь тебе все возможно?

Врешь! Не дам я тебе помереть. Ишь ты какой богатый сукин сын нашелся — помирать решил! Да откуда у тебя, у подлеца, деньги, чтоб помереть? Нынче, для примеру, обмыть покойника и то денег стоит.

Тут добродушная бабка Анисья вперед выступает.

— Я, — говорит, — обмою. Я, — говорит, — Иван Савич, тебя обмою. Ты не сомневайся. И денег я с тебя за это то есть ни копейки не возьму. Это, говорит, вполне божеское дело — обмыть покойника.

Тут, конечно, Матрена Васильевна на Анисью надела.

— Ага, — говорит, — обмоешь? А, говорит, гроб? А для примеру — тележка? А попу? Тыфу на всех! Не дам я ему помирать. Пущай прежде капитал заработает... Заработай, Иван Савич, на гроб, и помирай хушь два раза — слова не скажу.

От этих слов побелел даже Иван Савич.

— Как же, — говорит, — так, Мотя? Не от меня же это, помереть, зависит. Без денег я помру, Мотя, слышишь. Как же так?

— А так, — говорит Матрена Васильевна. — Не дам и не дам. Вечером чтоб были у меня деньги. Иди, рой землю, а достань. Баста.

— Ладно, — говорит Иван Савич, — я пойду уж, попрошу.

И до вечера, знаете ли, лежал Иван Савич, словно померший, дыхание у него даже прерывалось. А вечером стал одеваться. Поднялся с койки, покряхтел и вышел на улицу. И вышел страшный: нос тончайший, руки дугой, и ноги еле земли касаются.

Вышел он во двор. Дворника Игната встретил.

Дворник говорит:

— Иван Савичу. С поправлением здоровья.

А Иван Савич посмотрел на него скучным взором и отвечает:

— Игнат, а Игнат. Дай денег... Не отдам я, это верно. Потому завтра помру. Между тем, Мотя требует. Обмыть покойника, Игнат, чего стоит.

— Уходи ты, — говорит Игнат тихо. — Мне, говорит, на тебя, милый, смотреть ужасно.

И Иван Савич ушел. Вышел на улицу. Добрел до Большого проспекта. На тумбу сел. Хотел громко крикнуть, а вышло тихонечко:

— Граждане, помираю.

Кто-то положил ему на колени деньги. Потом еще и еще. К ночи Иван Савич вернулся домой. Пришел он распаренный и в снегу. Пришел и лег на койку. В руках у него были деньги.

Хотела Мотя подсчитать — не дал.

— Не тронь, — говорит, — погаными руками. Мало еще.

На другой день Иван Савич опять встал. Опять побряхтел, оделся и, распялив руки, вышел на улицу.

К ночи вернулся опять с деньгами. Подсчитал выручку и лег.

На третий день тоже. А там и пошло и пошло — встал человек на ноги.

Так и не помер. Не дала ему Матренища помереть.

Вот чего сделала Матрена с Иван Савичем.

Конечно, какой-нибудь районный лейб-медик, прочитав этот рассказ, усмехнется. Скажет, что науке неизвестны такие факты и что Матрена Васильевна ни при чем тут. Но, может, науке и действительно неизвестны такие факты, однако

Иван Савич и посейчас жив. И даже ежедневно вечером сидит себе здоровешенький на проспекте, на углу Гулярной улицы, и тихим голосом просит граждан об одолжении.

А знаете что? А ведь этот случай можно истолковать и медицински, научно. Может, Иван Савич, выйдя на улицу, слишком распарился от волнения, перепрел, и с потом у него вышла болезнь наружу.

Впрочем, неизвестно.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЗАЩИТУ НАЧАЛЬНИКОВ

Я не из таких людей, которые любят над начальством позидеваться. Напротив, я совершенно уважаю начальников. Я даже этакий, что ли, трепет ощущаю перед ними.

Бывало вот проходишь через полотно — стрелочник стоит. И если у стрелочника этого фуражка с кантом — баста, — идешь перед ним наипочтительно, стараясь не нарушить обций пейзаж перед глазами начальника.

Но, конечно, такое отношение проистекает отнюдь не из подобострастия или желания выслужиться, нет, начальников я уважаю за превосходные душевные данные, за культурное просвещение и за высокую образованность.

Начать с того, что все они грамотны, и есть даже среди них с высшим образованием. Я знал одного, который даже окончил четырехклассное мужское училище с правами прогимназии. Он знал насквозь всю французскую азбуку. Физику знал. Астрономию. Все наивысшие науки... И не особенно этим гордился. Доступный был человек.

Но, конечно, такие люди встречаются не часто и о них особый разговор. А я вот говорю о среднем начальнике. Их я уважаю не меньше. А что собираюсь о них писать, то не иначе, как в защиту, да и не в защиту, а просто по одному незначительному поводу — так, об одной комиссии, которая прибыла на одну станцию.

Но тут я должен сказать еще несколько слов о начальниках. Дело в том, что если на одном деле начальников чересчур много и некоторые из них томятся в безделии, то от этого выходят совершенные пустяки и нелепица. Потомится такой начальник месяц, два — и пойдет мудрить. И то ему не так и это не совсем так. Ну, назначат такого человека на ответственное дело, в комиссию, например, — пропало все. Как, знаете ли, образовалась недавно комиссия... Шут ее знает, какая это комиссия... И решила она, как пишет нам корреспондент, *«проверить стойкость, бдительность и расторопность вооруженных сторожей»*.

Дело, конечно, хорошее. Отчего не проверить? Проверить можно, если время есть. Даже нужно проверить. Может быть, сторож спит без задних ног, а рядом кража. Может быть, он в картишки в соседней будке играет...

Так вот, приехала комиссия на станцию и, *«глубокомысленно насупившись, чуть дыша, пробралась комиссия к вагонам... И как крысы, один за другим, шасть под вагон...»*

Сидят под вагонами и ждут.

Вдруг сторож идет.

— Ишь ты, — сказал один из комиссии, — не спит ведь, подлец!

— Нет, — сказал другой, — не спит. И винтовка, братцы, сзади полощется... Жалко. Зря приехали...

— Братцы, — зашептал третий, — а ежели бы нам на деле проверить стойкость и бдительность сего сторожа?

И едва сторож дошел до вагона, как комиссия «с гиканьем, визгом и криком “руки вверх” накинута на оторопевшего сторожа».

Стойко защищался сторож, бил направо и налево, но разве справишься с комиссией?

Одолела комиссия сторожа, скрутила ему руки и довольна. Как говорится — хоть и рыло в крови, а наша взяла.

Вот какое тонкое дельце было!

А ведь могло, братцы, и хуже быть. Сторож мог бы и выстрелить, мог бы прикладом испортить комиссию... Как, я помню, у нас в полку было. Это еще в германскую кампанию... Батальонный был. Делать ему нечего, вот он и начал ежедневно секреты проверять. Да как! Заберется в секрет, сопрет ружье, а после солдата под суд.

Так вот, забрался он однажды в секрет, а там татарин был. Маханов фамилия. Батальонный только руку за винтовкой протянул, а татарин цоп его по уху, цоп. Батальонный упал, а татарин цоп по другому, цоп по третьему. Да и избил батальонного, как маленького. Руки ему связал, рот портянкой заткнул, дождался смены — и к ротному.

— Ваше, говорит, благородие, неприятеля привел...

А батальонный весь в крови и «мама» сказать не может. Вынули ему тряпку изо рта — а это батальонный.

А больше он по секретам не ходил.

Да, так вот какие дела случаются с начальниками. Но только случаются эти дела не оттого, что начальник паршивый или, скажем, деспот, нет, происходит это от томящего безделья и желания так или иначе поработать на пользу дорогого отечества.

И таких начальников тоже уважать нужно.

А кто уважать не может, тот пуцай жалеет.

Я, например, жалею.

ХОЛОСТЫЕ ПОЖАРНЫЕ ТАНЦУЮТ

На станции Лодейное Поле существует пожарная команда. Штатных служащих там 22 человека, из которых большая часть холостых.

Ввиду этого холостые служащие написали заявление брандмейстеру, чтобы он разрешил им танцевальные вечера...

Ввиду этого брандмейстер Артур Куск разрешил, но разрешил под условием:

Кто будет танцевать, тот должен напилить и наколоть дров один воз.

Хорошенькое веселье! Воз дров... После этого холостым пожарным и танцевать не захочется.

Очень «Дрезина» сочувствует холостым пожарным со станции Лодейное Поле.

ЕЩЕ НЕ ТАК СТРАШНО!

На станции Мурманск развелось множество диких собак. Собаки эти стаями бродят по городу и пожирают *«при этом массу домашней птицы и мелкого скота как у железнодорожников, так и у городских жителей...»*

Корреспондент, написавший это, сильно побаивается, как бы дикие собаки *«не слопали бы мурманскую городскую администрацию»*, которая не принимает мер к уничтожению собак.

Обеспокоенная возможной гибелью мурманской администрации, «Дрезина» тотчас выслала своего сотрудника в Мурманск. Оказывается — слухи явно преувеличены. Спрошенные нашим сотрудником дикие собаки в один голос заявили, что в ближайшее время они не предполагают лопать администрацию, так как съестных продуктов пока что достаточно. Может быть, к осени слопают одного администратора.

И то не наверно. Но какого слопают — персонально, — нашему сотруднику не удалось выяснить.

НЕ ВСЕ СРАЗУ

Это про шапку будет история. На станции Лихая Донецкая, видите ли, одна красная шапка на трех ДСП.

Заступая на дежурство, ДСП снимает шапку со своего предшественника...

А ничего, товарищи, бывает хуже. Эка невидаль шапка! Это если сапоги или, скажем, штаны — одна пара на троих, то плохо. Неудобно, и публика, которая почище, может обидеться. А шапка — хоть бы что. Даже еще и лучше: подежурил, снял шапку, а тебя таким легоньким ветерком, таким зефирцем обдует — и катись домой с прохладцей. Хочешь — катись на огород, хочешь — на любовное свидание. Нам безразлично. Только шапку не забудь отдать.

Так ничего, дорогие товарищи, что одна шапка. Хозяйством нужно постепенно обзаводиться. Сначала предметами первой необходимости: хлебом там, крупой, сахаром... Потом предметами роскоши: галстучками, шапками, музыкальными инструментами, стульями... Хе-хе, вы думаете, мы ошиблись, что про стулья намекнули? Нет-с, именно стульями. Стулья — это предметы роскоши. По крайней мере, на станции Агрыз. Там раньше *«за нехваткой стульев половина телеграфистов работала стоя...»*

Это, должно быть, весьма забавно стоя работать. Это вроде как за роялем стоя па-де-катр наигрывать. Впрочем, агрызцы сейчас приспособились. Долго ли умеючи?

Стул, на котором сидел ШТ, придвинут ближе к аппаратному столу... И сидят на одном стуле ШТ и телеграфист... Так же сделал и ШЗ.

Мы рады за них. А они, товарищи, тоже рады. Они говорят, что сидят они в куче и уже *«не бегают с одного конца телеграфа на другой за ручкой, которых одна на четырех человек...»*

Ну что ж, значит, все в порядке. И стульев пока что хватило, и ручки по-братски разделены.

Бедность, конечно, ну да ничего. Пройдет не больше года — и у каждого честного телеграфиста будет свой стул, своя ручка и по праздникам — в супе курица.

Подождать только надобно.

Не всё сразу.

СПЕЦОДЕЖДА, ИЛИ БЕРИ, БОЖЕ, ЧТО НАМ НЕ ГОЖЕ

У нас в «Дрезине» о спецодежде было неясное представление. Мы, дорогие товарищи, оказывается, не знали, что такое спецодежда.

По наивности своей мы полагали, что спецодежда — это какие-нибудь штаны из грубой, знаете ли, материи, блуза какая-нибудь этакая особенная. Но, оказывается, ничего подобного.

На Северо-Западной железной дороге лучше знают. Там в отчете дорпрофсожа сказано:

Спецодежда высылалась натурой... Сюда входили дамские горжетки, боа, палантины и т. п.

А что такое — т. п.? Позвольте, это свинство — замалчивать. Какие это вещи входят в т. п.? Может быть, цилиндры входят? Нам как раз цилиндры требуются. Секретарям.

Нам и еще кой-какие вещи требуются из спецодежды. Мы вот тут списочек припишем. Вы, милая Северо-Западная дорога, ответьте нам, входят ли в комплекты спецодежды нижеследующие нужные нам вещи:

1 список

Пур для дам

1. Кофты-ажур маркизетовые; 2. Панталоны фру-фру; 3. Подвязки шелковые; 4. Сорочки с вышивкой; 5. Стельки войлочные.

2 список

Пур для мужчин

1. Цилиндры; 2. Манжеты; 3. Крахмальные воротнички № 48; 4. Тросточки; 5. Шляпки-панамы.

Ежели входят, то не откажите в любезности прислать нам парочку комплектов для нужд семейных сотрудников «Дрезины».

А хорошая штука эта спецодежда, европейская штука. Мы очень даже довольны спецодеждой.

Кто еще из дорогих читателей довольны спецодеждой? Вот, например, слесаря и стрелочники станции Чишмы ужасно довольны. Они с восторгом нам пишут:

Наконец-то и мы дождались красных дней... Получаем обмундирование.

Это про спецодежду они говорят. А, может, и не про спецодежду. Мы, извините нас, дорогие товарищи, окончательно

сбились с панталыку, — что есть за штука — спецодежда. Ну, да это неважно, главное, что народ доволен. Особенно сапогами.

Щиблеты очень хороши... У одного щиблета подошва лосевая, а у другого — петроградская.

Пожалуй, что спецодежда? Все-таки не зря поставлена лосевая подметка. А? Ну, конечно:

Варешки 12 пар с одним пальцем и все на одну руку и детские шаровары...

Вот только странно, почему — детские шаровары? Товарищи слесаря, может, вы спутали? Может, это не детские шаровары, а набрюшники? Набрюшники-то как раз входят в комплекты спецодежды на Северо-Западной дороге. Вы разглядите хорошенько. Или, может быть, это кофты-ажур маркизетовые пур для дам?

Ну да главное, что вы довольны. «Дрезина» тоже довольна.

СДВИГ

Владелец портерной на улице Марата Иван Егорыч Нибельмесов поставил перед посетителем бутылку пива и снова принялся за прерванное чтение газеты,

— Чего? — спросил, усмехаясь, посетитель. — Жмут вашего брата?

Нибельмесов отложил в сторону газету и подмигнул посетителю.

— Ничего-с... Маненечко будто потише...

— Да ну? — удивился посетитель.

— Ей-богу-с, правда... Маненечко будто потише. Не иначе это как, без сомнения, после ноты. После, то есть, английской ноты чересчур иная политика пошла.

— Будто?

— Ей-богу-с... Иная политика. Полный сдвиг намечавши. Под давлением, скажем, Англии.

— Гм, — сказал посетитель, — в чем же сдвиг, например?

— Сдвиг, — сказал Нибельмесов. — Во всем сдвиг. То есть, куда ни посмотришь — сдвиг. Скажем это — метрическая система. У нас фунты и у них фунты... Им и обидно. Распорядились, чтоб не было. Дескать, путаница.

— Ну, это пустяки вы говорите! — усмехнулся посетитель.

— Не пустяки, — сказал Нибельмесов. — Нам пустяков нельзя говорить. Мы обдумываем. А ежели, к примеру, это пустяки... Взять леригию. Опять сдвиг. Даже чересчур большой сдвиг в сторону верующих. Насупротив Казанского собора чего там делается, а?

— Насупротив?

— Да-с, насупротив... Насупротив, гражданин, вся территория цветами обсажена... Клумбы-с... Уважение к верующим и к леригии. И, так сказать, внимание к православному храму. Мы это узнавали, кем, дескать, обсаживаются клумбы, каким, то есть, органом. Говорят — от города. Казна, то есть, государство, обсаживает.

Посетитель засмеялся.

— Ну, это тоже пустяки, — сказал посетитель. — Какой же это сдвиг? Пустяки...

— Хм, — обидчиво усмехнулся Нибельмесов, — и это, по-вашему, пустяки! Уважение к православным храмам и к территории — пустяки... Хм. Ну, пушай. Ежели энто не сдвиг, то и пес с вами... Пейте втихомолку. Не беспокойте людей распросами...

— Да вы не сердитесь, — сказал посетитель. — Я не хочу вас обидеть...

— Мы не обижаемся, — сказал Нибельмесов. — Чего нам обижаться. У нас заведение... А уж ежели говорим сдвиг, то сдвиг... Мы обдумываем... К примеру сказать, заведение у нас... Раньше чересчур множество людей ходило — осматривать. Комиссии там, инспекции. Какие, дескать, у вас выходы — антипожарные или как. Почему, дескать, плевки наплеваны на полу или, скажем, в смысле эксплуатации подростков. А теперь — чисто... Не шнырят больше. Энто тоже не сдвиг будет? Хм... Вот у меня, скажем, Лешка в мальчиках служит. Он хоша мне и сродственник и личность у него, имейте в виду, взрослая, а он, сукин сын, подросток. Ему пятнадцать лет... Эй, Лешка, подойди к гражданину.

К прилавку подошел парнишка в переднике.

— Чего надоть? — сказал Лешка.

— Вот, — сказал Нибельмесов, — взгляните на личность. А? Взрослая личность? А он, стерва, подросток. Хоша у него голос — бас. Скажи, Лешка, — «а»...

Лешка высморкался в передник и сказал — «а».

— Видали! — сказал Нибельмесов. — А он подросток... В иное время комиссия бы мне за него пузо вспорола и кишки бы по ветру выпустила, а нынче — тишина. Потому — сдвиг. Английское давление намечается... Пойди, Лешка, принеси гражданину холодненького.

Посетитель допил стакан и раскрыл портфель.

— Хватит, — сказал посетитель. — Теперь, почтеннейший, поговорим о делах... Я — инспектор района... Мне поступили сведения о том, что вы эксплуатируете подростка.

Иван Егорыч Нибельмесов тихонько охнул и раскрыл рот.

МОЛИТВА

Прошное лето, ночуя в одной деревне у знакомого мужика, я слышал, как молилась баба.

Когда в избе все стихло, баба эта босиком подошла к образу, встала на колени и, часто крестясь, зашептала:

— Спаси и помилуй меня, мати пресвятая Богородица, я живу в крайней избе на селе.

Бабка долго крестилась и кланялась, просила себе всяких милостей и всякий раз указывала свое местожительство: крайняя изба на селе.

— Бабка! — сказал я, когда та кончила молиться, — а бабка! Изба-то ваша разве крайняя? Крайняя изба рядом.

— Нету, — сказала бабка. — То не изба вовсе, то — банька. Бог-то знает.

— Все-таки, — сказал я, — может, бабка, путаница про-
изойти... Если неправильный адрес.

— Ну? — спросила бабка. Она подошла к образу, снова
встала на колени и сказала:

— Спаси и помилуй меня, мати пресвятая Богородица,
я живу в крайней избе на селе, а рядом банька.

Бабка стукнула головой об пол и пошла за занавеску
спать.

ГОРЬКАЯ ДОЛЯ

24 февраля 1923 г.

Дорогая Капочка!

Итак, я жена Подподушкина. Жена знаменитого худож-
ника Сергея Подподушкина. Я счастлива неимоверно! Це-
лые дни мы с Сергеем витаем в разных мечтах и фантазиях.
Я живу в каком-то заколдованном мире. Мне даже странно,
что, кроме меня и Сергея, существуют какие-то люди, про-
исходят какие-то революции, какие-то извержения Этны...
Я живу, как сказочная нимфа. Сергей называет меня ярким
пятном на фоне своих идеалов.

Твоя Анна Подподушкина

10 марта 1923 г.

Дорогая Капочка!

Посылаю тебе мой новый адрес. С Сергеем я разошлась.

По правде сказать — я очень тому рада. Конечно, все эти фантазии и грезы хороши, но они недостойны для развитого человека.

Дорогая Капочка, ты можешь поздравить меня — я выхожу замуж за известного хирурга Деримбасова. Я всегда увлекалась медициной. Это такая жуть — разбираться в человеческом организме. Только подумать, что тут, за покровом кожи, протекают какие-то жилки, двенадцатиперстная кишка, бронхи, ребра... Ах, это так величественно и глубоко! До знакомства с Деримбасовым я никогда не думала, что у меня есть какая-то двенадцатиперстная кишка. Я счастлива невероятно.

Твоя Анна Деримбасова

26 марта 1923 г.

Дорогая Капочка!

За Деримбасова я не вышла замуж. Это целая история. Видишь ли, Деримбасов лечил одного инженера, делал ему удаление аппендицита. Он теперь страшно мной увлекся. Мы на днях уезжаем с ним на Волховстрой. Он там ставит какой-то, знаешь ли, кессон. Ах, это так величественно — ставить кессон! Я счастлива невероятно.

Твоя Анна

29 апреля 1923 г.

Дорогая Капочка!

Прости, что давно не писала. Произошла такая масса событий. Ни на какой Волховстрой я, представь себе, не ездил.

ла. То есть я перед отъездом встретила одного знакомого. Левушку Шишмана, который с детства мной увлекался. Я счастлива невероятно.

Хорошо, что я не поехала на этот дурацкий Волховстрой. Ну что бы я там делала? Я даже не знаю, что такое кессон... А Левушка очень, очень мил. Он буквально носит меня на руках и одевает, как перышко. Наши дела ничего. Мы немножко работаем на валюте и немножко на картинах. Конечно, наши дела могли быть и лучше, но ты сама понимаешь, можно ли сейчас работать при большевиках. Большевиков я ненавижу всеми фибрами.

Твоя Анна Шишман

17 мая 1923 г.

Дорогая Капочка!

Оказывается, Левка был арестован не за спекуляцию, а за взятку. Это уж, знаешь ли, свинство с его стороны. Если правительство борется против взяток, то это, выходит, государственное преступление. Мне его ничуть не жаль. Ваня говорит, что это дело пахнет строгой изоляцией. А на мой взгляд, если это государственное преступление, то это даже мало.

Ах да! Я тебе забыла сказать, что Ваня — это, знаешь ли, один агент. Он очень отзывчивый и симпатичный. Он сразу стал ко мне приходить, и мы подолгу беседовали с ним о политике и вообще о социальных идеях. Я счастлива невероятно. Ах, это так грандиозно и так величественно — эти

социальные идеи! Я фашистов ненавижу всеми фибрами. Советую, Капочка, и тебе ненавидеть.

Твоя Анна Лахудрина

РЕЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ НА БАНКЕТЕ

Дорогие друзья, вот сейчас, когда мы собрались здесь тесным товарищеским кружком, позвольте мне, старому вашему начальнику, убеленному сединами, сказать несколько слов о взятке...

— Просим! Просим! — закричали собравшиеся.

— Дорогие друзья, — сказал начальник, слегка покачиваясь, — нет ничего хуже этого преступления. Убийство, превышение власти — ничто в сравнении с этим злом. И будь в моей власти — я бы ввел самые ужасные казни. Колесовать, сжигать на кострах, четвертовать — вот, по-моему, достойная кара за преступления... Но тут я должен оговориться. Окидывая взглядом современность, мы видим, что взятка бывает двух видов — денежная и натуральная. Денежная, конечно, приятней... То есть, позвольте, что ж это я такое говорю? Да, так денежная взятка, я говорю, удобней. Если хотите, портативней... С точки зрения преступника... Этакий, представьте, нэпман к вам является... А вы руками — не могу, дескать, и не просите, уважаемый товарищ...

А он, подлец, в боковой карман... Бумажнице этакий вытаскивает кабаньей кожи... А вы в рожу, в рожу в его

канальскую глазами впиваетесь, угадываете, сколько он вынет, собачий нос...

То есть, позвольте, что же это я такое говорю? Да, так вы того... возмущаетесь ужасно. — Позвольте, — говорите, — что ж это, взятка, оскорбление, уважаемый товарищ?

А у него, у подлеца, банкноты шуршат уж этак сладостно между пальцами... этакий незабываемый, знаете ли, прелестный шелест... Вы глазами, того, пересчитываете — два, три, пять — только давай, давай. Засим в жилетный карман... То есть, позвольте, о чем же это я говорю? Да, так вы, того, кричите:

— Под суд, — кричите, — четвертовать вас нужно, уважаемый товарищ! — А сами-то в жилетном кармане этакое бие-ние ощущаете, трепет, пульсацию этакую ощущаете... Гм, гм... Про что ж это я, дай Бог память? Да, про взятку... Гм... Гм... Взятка... Ну а натуральная взятка — это уж хуже... Это уж, знаете ли, нечто громоздкое, да и обман может произойти. Как однажды рыбину мне прислали, а она, знаете, воняет...

НЕ ПО ТОМУ АДРЕСУ

Германское правительство решило прийти на помощь России. «Красная газета» сообщает, что

германское правительство предложило организовать стирку денег. Директор опытного химического завода института при-

кладной химии инженер Климов заявил, что стирка бумажных денег возможна...

Возможно-то возможно, да только, братцы, какие же деньги будет стирать Германия? Банкноты у нас чистенькие, а «лимоны»?.. Неужели будут наши многоуважаемые «лимоны» стирать? И стоит ли беспокоиться? Чем наши деньги стирать, не лучше ли свои подштопать.

РУГАТЕЛИ

Сейчас во всех углах России идет самосильная борьба с руганью. Способы борьбы существуют разные: ругателей и штрафуют, и наказывают, и бьют по носу (щелчком что ли?). Результаты борьбы тоже разные. Вот, например, результат борьбы на станции Куцевка:

Задумали у нас, — пишет рабкор, — благое начинание — не ругаться, а выругавшихся штрафовать рублем. Завели специальную квитанционную книжку...

Рабкор сам принимал в этом живейшее участие. Он даже побежал в местком за этой книжкой.

— Прибежал, говорит, я в местком, открываю дверь и — о ужас!.. Сам предместкома крепкими словечками так и переливается. И мне, имеющему большую практику в этом

деле, — аж уши вянут. Растопырил я глаза, посмотрел, плюнул и пошел откудова пришел.

Растопырил это он глаза, плюнул и бросил, наверное, квитанционную книжку к чертовой бабушке.

И действительно: на что теперь квитанционная книжка? В книжке-то всего сто листиков, — одному предместкому едва-едва на день хватит. А разве один предместкома? На всех же и книг не напасешься.

С ПЕРЕПУГУ

Чего только люди не делают с испугу! Вот, например, ПЧ-13 Р.-У. ж. д. услышал, что едет комиссия, испугался, заторопился и сломал поскорее

плохую уборную около казармы красноармейцев. Но не засыпал ее и не закрыл, куда и свалились

1 ребенок 7 л. служ. Иванова

1 теленок » »

2 поросенка » »

1 жеребенок » »

Бедняга этот Иванов — как еще он сам не ввалился? Ну да, впрочем, он и не мог ввалиться. Он в это время побежал разыскивать ПЧ-13, который забился под кровать и долго не хотел оттуда выходить, боясь встретиться с комиссией.

А чудак! Чего он боялся? На наш взгляд, во всем виновата комиссия — ну можно ли так пугать человека?

КОМАР НОСА НЕ ПОДТОЧИТ

У начальника станции Бежецк помер делопроизводитель отдела. Испугался начальник станции.

«Вот, думает, клюква. Чего я теперь с помершим человеком делать буду? А ну — придет охрана труда... “Ага, скажет, мертвые души у вас имеются! Померших тружеников эксплуатируете?..”»

Растерялся совсем начальник станции. Думал, думал — и написал такую бумажку:

В отдел труда. Согласно отношения нач. 5-го отдела за № 7864, вследствие смерти делопроизводителя вверенного мне отдела. Шариков Ефим уволен с 21.1 с. г.

Подписал начальник эту бумажку и весело потер руки.

«Ладно, думает, сделано согласно кодексу. Теперь никакая охрана труда носа не подточит».

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В газете «Коммунист» наш изюмский корреспондент сообщает о том, что

на объединенном собрании савинской сельской ячейки отмечены случаи, что коммунисты зачастую женятся на буржуазных и поповских дочерях... Собрание постановило, что члены партии

должны жениться только на дочерях трудящихся и сочувствующих соввласти.

Савинские женихи в панике.

— И как ее, бабу, узнаешь? — плачутся женихи. — На вид она и трудящаяся, и волосы у ней срезаны, и табак легкий курит... А женишься на ней — и пропадешь: в церковь потащит, ребят начнет крестить... Эх, плохо наше жениховское дело!

ХОТЯ И БРЕХНЯ, НО ЗАТО ЗДОРОВО

Парижская газета «Морнинг пост» (как сообщает нам «Кр. вечерняя», № 187) пишет о таком чуде:

Новый вундеркинд. В Париже найдено новое музыкальное чудо в лице мальчика пяти с половиной лет, который привлек к себе внимание музыкальных кругов... Будучи двухлетним ребенком, он безошибочно исполнял итальянские оперные арии (!)... Мальчику уже предлагают дать концерты в Лондоне и в Америке.

Здорово! Способный парнишка. Говорят, что, когда ему было полтора года, он соской дирижировал симфоническим оркестром. А за год до своего рождения безошибочно играл «Чижика» одним пальцем.

Способный народ эти французы.

«ЦЕНЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО Понижены»

Как ни плохи дела в «царствах земных», но в небесном, видимо, еще плоше. Прогорает лавочка!

Череповецкий «Коммунист» сообщает:

Поп Шарманской церкви Флоридов открыл запись верующих со сбором по два рубля с души и объявил, что, кто не попадет в эту запись, тот навсегда должен потерять надежду попасть в царство небесное.

А поп Белокрестской волости Устюженского уезда

требовал с граждан по 3 яйца за каждое поминание, а у кого не было положено яиц — поминание брал обратно.

Три яйца за вход в царствие небесное, — как хотите, — дешежка!

А вот, подите же, у входа никакой давки!

«ИЗ МИРА НАУКИ»

Прекрасный журнал «Огонек».

Там все можно найти: и модный беллетристический рассказ, и последний снимок с Керзона, и даже кое-что из «научного». Так, например, некий корреспондент «Огонька»,

побывав в зоологическом саду, описывает в № 18 свои научные наблюдения красивым, слегка грустным слогом:

Миновал орла, сидящего на жерди... мы входим в маленькую комнату... В углу живут семействами голуби. В воздухе — бесконечный стон. Если стон прерывистый и задыхающийся — это значит, что голубь-любовник счастлив. Длинный, непрерывный и тихий стон — голубь-муж ревнует.

Короткий и хриплый стон...

Впрочем, корреспондент об этом стоне ничего не сообщает. Он не знает.

А короткий и хриплый стон — это значит, что голубь сердится на корреспондента, зачем он пишет такие пустяки.

«Огонек», — не чади!

ЕВРОПА

Любит русский человек побранить собственное отечество. И то ему, видите ли, в России плохо, и это не нравится. А вот, дескать, в Европе все здорово. А что здорово — он и сам не знает.

А ежели он будет говорить про омолаживанье, то плюньте ему в глаза.

Поехал тут один гражданин омолаживаться. А что получилось?.. Пустяки...

А так было. Жил один гражданин в нашем доме в шестом этаже. И был этот гражданин до того старенький, что перестал он даже за квартиру платить.

— Чего, говорит, мне деньги переводить зря? Я, говорит, одной ногой в гроб смотрю. Небось, скоро помру — с меня взятки гладки.

Так и не платил.

Уж комендант дома и угрожал старичку, и требовал, и по совести урезонивал, и ябеды писал — не помогает. Старичок только усмехается.

— Сами, говорит, виноваты, что не плачу. Дураки вы, некультурные вы люди. Жил бы я в Европе — омолодили бы меня там и снова бы я стал платить. Даже, говорит, на ремонт крыши бы дал. А так — не желаю.

Так и не платил. И мало того, что не платил, а еще и задирал всех жильцов. Издевался над их некультурностью. И все насчет Европы скулил.

Наконец кто-то посоветовал старичку в Европу ехать.

Так старичок и сделал. Достал себе паспорт, распродал имущество и к осени выехал. Даже не попрощался ни с кем.

И вот поехал старичок в Берлин. И пишет из Берлина письмо в Россию. Вроде как хвалится:

«Сидю, говорит, в Берлине. И на днях буду омолаживаться. А медицина тут поставлена очень отлично — каждая кишка на учете. А как омоложусь, так и деньги вышлю за квартиру за все время. И может быть, на ремонт. До свиданья».

И вот принялся старичок ходить к знаменитым профессорам. Пошел к одному, к другому, к пятому — нет. Не берутся омолаживать. Один профессор над крысами производит опыты, другой профессор теорией вопроса занят, третий опять на практике крыс омолаживает.

Даже злость взяла старичка.

— Что ж это, — говорит он одному профессору. — Крысы да крысы... Это выходит, что я зря проехался. Что ж, говорит, вы ваньку валяете. Едят вас мухи. Раззвонили на всю планету, а как до дела, так и не можете. Над крысами только...

— Нет, — говорит профессор, — не только над крысами, а и над кроликами, и над морскими свинками, и даже над обезьянами... Но есть всемирно известные профессора, которые и человекав омолаживают.

Дал тут профессор старичку адрес одного знаменитого ученого, который проживал в Гамбурге.

Вот старичок собрался и выехал туда.

А оттуда пишет письмо в Россию.

«Сидю, говорит, в Гамбурге. И скоро буду омолаживаться. Как омоложусь, так и деньги вышлю. Раньше не могу из принципа. До свиданья».

Написал старичок письмо и пошел к знаменитому ученому.

— Здравствуйте, говорит. Вот, говорит, желаю омолодиться. Осчастливьте. Впрысните сыворотку.

— Можно, — говорит ученый, — это вам будет стоить триста английских фунтов.

Подсчитал старичок свои карбованцы, охнул, схватился за голову.

— Ох, говорит, знаменитый профессор, не хватает у меня пол английского фунта, извиняюсь.

— Ну ничего, — говорит ученый, — пушай так. Мне полфунта не расчет. Раздевайтесь.

Разделся старичок и думает:

«Вот, думает, едят его мухи. Он меня омолодит, а я потом с голоду помру без копейки денег. Все ему отдам...»

Подумал-подумал и стал одеваться.

— До свиданья, говорит, я в другой раз зайду. Подумаю.

— Что ж вы вола вертите? — сказал профессор, бросая препарат на стол.

Старичок бочком-бочком да и на лестницу. Бежит по лестнице, вдруг слышит — сзади какой-то человек цыкает.

— Тс, — говорит человек, — вам чего, омолодиться? Я, говорит, устрою. Вот вам адрес ученого. Он хотя и не очень знаменит, но возьмет с вас недорого.

Вот на другой день старичок и пошел к ученому. И действительно, взял этот ученый со старичка недорого, впрыснул ему что следует, а через два дня старичок и ноги протянул — помер.

А с чего помер — неизвестно. Может, ему не в то место впрыснули, куда следует, а может, старичок и сам помер от потрясения.

Вот. А вы говорите — Европа!

НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Делопроизводитель Нюхательного треста Игорь Владимирович Козьепупов лежал у себя в комнате на кушетке и весело улыбался. Рядом в соседней комнате, у жены Машеньки, сидят гости. Вернее, не гости, а гость... Какой-то товарищ Ручкин. Машенькин сослуживец.

«Сидит, — думает Козьепупов. — Пускай сидит. Мне от этого ни холодно, ни жарко... Я все-таки новый человек. Со-

временный человек. Так сказать — дитя своего века... Другой муж в три шеи погнал бы этого чертова Ручкина. А я — пожалуйста, сиди, говори, что хочешь, шепчись... Замыкайся на все запоры... Целуйся... Шут с вами — мне все равно. Я новый человек. Человек новой эпохи».

В соседней комнате гудел густой голос товарища Ручкина. Однако слов нельзя было разобрать.

«Гудит, — думает Козьепупов. — Гуди, собачий нос, гуди. Скажи спасибо, что на такого мужа напал. Другой бы муж за манишку да по лестнице, да по лестнице. Башкой паршивой по лестнице — не лазь, дескать, к чужим женам...»

Козьепупов присел на кушетку и закурил.

«Да-а, — сказал он про себя, — как ни говори, а новые отношения между полами. Полнейшее социальное равенство... Я хоть и делопроизводитель, но я передовой человек. Я даже, ей-богу, к самому себе уважение чувствую. Я новый человек — не знающий ни ревности, ни мещанской собственности... Ведь другой человек мог бы и кислотой плеснуть в поганую рожу этого Ручкина... А по правде сказать, и стоит... Интересно знать, о чем это дерьмо беседует с Машенькой?»

Козьепупов встал с кушетки и тихонько подошел к двери.

— Марья Михайловна, — густо говорил товарищ Ручкин, — вы прелестная дамочка... Дозвольте в ручку поцеловать...

Козьепупов замер у двери.

«Сволочь какая! — удивился он. — А? Дозвольте поцеловать... Другой бы муж за такие слова все кишки бы выпустил, с пятого этажа бы выкинул...»

Козьепупов в волнении отошел от двери и снова прилег на кушетку. Но теперь ему не лежалось.

«Этакая скотина, — думал Козьепупов. — Два часа сидит. Да еще гудит, как прохвост... Хоть бы подумал, что муж в соседней комнате... Я, знаете ли, хоть и новый человек, но если он еще десять минут просидит, то я ему пропишу пфферу. Я ему все кишки выпущу... Я его, собачьего прохвоста, в зубной порошок разотру».

Козьепупов вскочил с кушетки и принялся шагать по комнате, нарочно стуча каблуками.

— Маша! — вдруг крикнул Козьепупов визгливым голосом. — Маша! Поздно уж... Спать пора!

Густой голос Ручкина прервался на полслове. В комнате стало тихо. Через минуту в дверях показалась Машенька.

— Это нетактично! — сказала она. — Это свинство. Где твои убеждения?..

— А-а, нетактично? — заорал Козьепупов, брызгая слюной. — Нетактично!

Он схватил жену за руку и потащил в комнату, где сидел гость.

— Нетактично! — орал Козьепупов, тыча пальцем в товарища Ручкина. — А два часа сидеть тактично? Я, извиняюсь, товарищ, не из ревности... Я новый, передовой человек, но я покажу, что тактично. Я покажу, где раки зимуют! Вон отсюда! Пошел вон отсюда, дурак собачий...

Гость съезжился и, забормотав непонятное, вышел из комнаты, испуганно оглядываясь. Машенька тихо плакала.

ПИСАТЕЛЬ

Канторщик Николай Петрович Дровишкин давно мечтал сделаться корреспондентом. Он послал даже раз в газету «Красное чудо» письмо с просьбой принять в рабкоры. Но ответа еще не было. И талант Дровишкина пропадал в бездействии.

А Дровишкин был очень талантливый человек. И главное — отличался красноречием. Все знакомые даже удивлялись.

— Голубчик, — говорили знакомые, — да с вашим талантом в газеты нужно писать.

В ответ Дровишкин только усмехался.

«Уж только бы мне попасть в газету, — думал Дровишкин. — Уж я бы написал. Уж я бы с моим талантом черт его знает что бы написал».

И вот однажды, развернув дрожащими руками «Красное чудо», Дровишкин прочел: «Ник. Дровишкину. — Пишите о быте. Ваш № 915».

От радости Дровишкин едва не задохнулся.

— Есть! Принят! Корреспондент «Красного чуда» Николай Дровишкин!

И, едва досидев до четырех, Дровишкин вышел на улицу, презрительно взглянув на начальство. На улице восторг Дровишкина немного утих.

«О чем же я буду писать? — подумал Дровишкин, останавливаясь. — Как о чем? О быте... Вот, например... Ну что бы? Ну вот, например, милиционер стоит... Почему он стоит?»

Может, его солнце печет, а сверху никакой покрывки нету...
Гм, нет, это мелко...»

Дровишкин пошел дальше и остановился у окна колбасной.

«Или вот о мухах... Мухи на колбасе... Потом трудящиеся кушать будут...»

Дровишкин укоризненно покачал головой и зашел в лавку.

— Как же это так, братцы? — сказал он приказчику. —

Мухи у вас на окнах...

— Чего-с?

— Нет, я так. Трудящиеся, говорю, потом кушать будут. После мух. Дайте-ка мне того... полфунтика чайной...

Дровишкин помялся у дверей, положил колбасу в карман и вышел из лавки.

«Нет, — подумал он, — о мухах нельзя — мелко. Нужно взять что-нибудь этакое крупное. Какое-нибудь общественное явление. Факт значительный».

Но ничего значительного Дровишкину не приходило в голову. Даже люди, проходящие мимо него, были самые обыкновенные люди, совершенно непригодные для замечательной статьи.

Настроение у Дровишкина упало.

«О погоде, что ли, написать? — уныло подумал он. — Или про попа, что ли...»

Но, вспомнив, что поп приходится дальним родственником жены, махнул рукой и пошел к дому.

Дома, закрывшись в своей комнате, Дровишкин принялся писать. Писал он долго. И когда кончил — уже начинало светать.

Разбудив жену, Дровишкин сказал:

— Вот, Веруся, послушай-ка. Я хочу знать твое мнение. Это явление из жизни...

Дровишкин сел против жены и стал читать глухим голосом. Статья начиналась туманно, и смысл ее даже самому Дровишкину был неясен, но зато конец был хлесткий:

«И вместо того, чтобы видеть перед окнами ландшафт природы, трудящиеся порой лицезреют перед глазами мокрое белье, которое повешено для просушки. За примером ходить недалеко. Не далее как сегодня, вернувшись после трудового дня, я увидел вышеуказанное белье, среди которого были и дамские принадлежности, и мужское исподнее, что, конечно, не отвечает эстетическим запросам души.

Пора положить этому предел. То, что при старом режиме было обычным явлением, того не должно быть теперь».

— Ну как? — спросил Дровишкин, робко взглянув на жену. — Хорошо?

— Хорошо! — сказала жена. — Только, Коля, ты про какое белье говоришь? Это ведь наше белье перед окнами...

— Наше? — охнул Дровишкин.

— Ну да. Не узнал? Там и твое исподнее.

Дровишкин опустил перед женой и, уткнувшись носом в ее колени, тихонько заплакал.

— Верочка! — сказал Дровишкин, сморкаясь. — Кажется, все у меня есть: и слог красивый, и талант, а вот не могу... И как это пишут люди?

АГИТАТОР

Сторож авиационной школы Григорий Косоносов поехал в отпуск в деревню.

— Ну что ж, товарищ Косоносов, — говорили ему приятели перед отъездом, — поедете, так уж вы, того, поагитируйте в деревне-то. Скажите мужичкам: вот, мол, авиация развивается... Может, мужички на аэроплан сложатся.

— Это будьте уверены, — говорил Косоносов, — поагитирую. Что другое, а уж про авиацию, не беспокойтесь, скажу.

В деревню приехал Косоносов осенью и в первый же день приезда отправился в совет.

— Вот, — сказал, — желаю поагитировать. Как я есть приехавши из города, так нельзя ли собрание собрать.

— Что ж, — сказал председатель, — валяйте, завтра соберу мужичков.

На другой день председатель собрал мужичков у пожарного сарая.

Григорий Косоносов вышел к ним, поклонился и, с непривычки робея, начал говорить дрожащим голосом.

— Так вот, этого... — сказал Косоносов, — авиация, товарищи крестьяне... Как вы есть народ, конечно, темный, то этого, про политику скажу... Тут, скажем, Германия, а тут Керзон. Тут Россия, а тут... вообще...

— Это ты про что, милый? — не поняли мужички.

— Про что? — обиделся Косоносов. — Про авиацию я. Развивается этого, авиация... Тут Россия, а тут Китай.

Мужички слушали мрачно.

— Не задерживай! — крикнул кто-то сзади.

— Я не задерживаю, — сказал Косоносов. — Я про авиацию... Развивается, товарищи крестьяне. Ничего не скажу против. Что есть, то есть. Не спорю...

— Непонятно! — крикнул председатель. — Вы, товарищ, ближе к массам...

Косоносов подошел ближе к толпе и, свернув козью ножку, снова начал:

— Так вот, этого, товарищи крестьяне... Строят еропланы и летают после. По воздуху, то есть. Ну иной, конечно, не удержится — бабахнет вниз. Как это летчик товарищ Ермилкин. Взлететь — взлетел, а там как бабахнет, аж кишки врозь...

— Не птица ведь, — сказали мужики...

— Я же и говорю, — обрадовался Косоносов поддержке, — известно — не птица. Птица — та упадет, ей хоть бы хрен — отряхнулась и дальше... А тут, накось, выкуси... Другой тоже летчик, товарищ Михаил Иваныч Попков. Полетел, все честь честью, бац — в моторе порча... Как бабахнет...

— Ну? — спросили мужики.

— Ей-богу... А то один на деревья сверзился. И висит что маленький. Испужался, блажит, умора... Разные бывают случаи... А то раз у нас корова под пропеллер сунулась. Раз-раз, чик-чик — и на кусочки. Где роги, а где вообще брюхо — разобрать невозможно... Собаки тоже, бывает, попадают.

— И лошади? — спросили мужики. — Неужто и лошади, родимый, попадают?

— И лошади, — сказал Косоносов. — Очень просто.

— Ишь сволочи, вред им в ухо, — сказал кто-то. — До чего додумались! Лошадей крошить... И что ж, милый, развивается это?

— Я же и говорю, — сказал Косоносов, — развивается, товарищи крестьяне... Вы, это, соберитесь миром и жертвуйте.

— Это на что же, милый, жертвовать? — спросили мужики.

— На ероплан, — сказал Косоносов.

Мужики, мрачно посмеиваясь, стали расходиться.

СТАРАЯ КРЫСА

Подписка на аэроплан шла успешно.

Один из конторщиков, старый воздушный спец, дважды поднимавшийся на колбасе, добровольно ходил по всем отделам и агитировал:

— Товарищи, — говорил спец, — наступает новая эра... Каждое учреждение будет обладать воздушным передвижением в лице аэроплана... Ну и этого... подписывайтесь...

Служащие подписывались охотно. Никто не спорил со спецом. Только в одной канцелярии, в счетном отделе, спецу пришлось столкнуться с упорным человеком. Этот упорный человек был счетовод Тетерькин.

Счетовод Тетерькин иронически усмехнулся и спросил спеца:

— На аэроплан? Гм... А какой же это будет аэроплан? Как же я так — здорово живешь — брошу на него деньги? Я, ба-тенька, старая крыса.

— Позвольте, — кипятился спец, — аэроплан. Ну, обыкновенный аэроплан...

— Обыкновенный, — горько усмехнулся Тетерькин. — А может, он, тово, непрочный будет? Может, на нем полетишь, а его ветром шибанет, и пропали денежки? Как же я так, сдуру, ухлопаю на него деньги?.. Я супруге швейную машину покупал, так я, имейте в виду, каждое колесико ощупал... А тут как же? Может, в нем пропеллер не тово, не крутится? А?

— Позвольте, — орал спец, — государственный завод строить будет! Завод!.. Завод!..

— Завод, — иронизировал Тетерькин. — Что ж что завод? Я хоть на колбасе и не поднимался, но я, батенька, старая крыса, знаю. Другой завод денежки возьмет, а толку нету... Да вы не машите на меня руками. Я заплачу. Мне не жалко заплатить... Я ради справедливости говорю. А заплатить... Извольте. Вот я могу даже за Михрютина заплатить — в отпуску он... Пожалуйста.

Тетерькин вынул кошелек, отсчитал по курсу рубль золотом за себя и четвертак за Михрютина, расписался, снова пересчитал деньги и подал спецу.

— Натее... Только условие, батенька: я сам на завод пойду. Все-таки свой глаз алмаз, а чужой — стеклышко.

Тетерькин долго еще бубнил себе под нос, потом принял-ся за счета. Но работать от волнения не мог.

Два месяца после того он не мог работать. Он, как тень, ходил за спецом, подкарауливал его в коридорах, интересовался, как идет подписка, кто сколько дал и где будут строить аэроплан.

Когда деньги были собраны и аэроплан заказан, счетовод Тетерькин, мрачно посмеиваясь, пошел на завод.

— Ну как, братцы? — спросил он рабочих. — Идет дело?

— А вам что? — спросил инженер.

— Как что? — удивился Тетерькин. — Я ухлопал деньги на аэроплан, а он спрашивает... Тут батенька, аэроплан у вас строится для учреждения... Мне посмотреть нужно.

Тетерькин долго ходил по залу, рассматривал материал, пробовал его даже зубами и качал головой.

— Вы уж того, братцы, — говорил он рабочим, — прочный строите... Я — старая крыса, знаю вас... Все вы мошенники. Сделаете, а потом чего-нибудь этого... пропеллер не будет крутиться... Уж пожалуйста, я, так сказать, материально заинтересован.

Тетерькин обошел еще раз помещение, пообещал зайти и ушел.

Ходил он после того на завод ежедневно. Иногда успевал забежать два раза. Он спорил, ругался. Заставлял менять материал и иногда рассматривал чертежи в кабинете инженера.

— Послушайте, — сказал раз инженер, мучаясь своей деликатностью, — вы уж, пожалуйста, как бы сказать... Мы делаем, не беспокойтесь... Не ходите зря... иначе мы должны отказать от заказа... Вы, как представитель, сами понимаете...

— Позвольте, — сказал Тетерькин, — какой же я представитель? Выдумали тоже. Я частный человек. Ухлопал свои денежки на аэроплан...

— А, — закричал инженер, — не представитель! А сколько, черт раздери, вы ухлопали?

— Сколько?.. Да рубль золотом я ухлопал.
— Как рубль? — испугался инженер. — Рубль?
Инженер открыл стол и бросил Тетерькину деньги.
— Натe, черт раздери вас, натe...

Тетерькин пожал плечами:

— Как вам угодно. Не хотите — не надо. Я не настаиваю.
Я и в другом месте закажу. Я — старая крыса.

Тетерькин пересчитал деньги, спрятал в карман и ушел.
Потом вернулся.

— Еще за Михрютина... — сказал Тетерькин.

— За Михрютина?.. — дико заорал инженер. — За Михрютина, старая крыса?!

Тетерькин испуганно прикрыл дверь и торопливо пошел к выходу.

— Пропали денежки, — шептал Тетерькин. — Четвертак зажилл, прохвост... А еще инженер...

ПРИЯТНАЯ ВСТРЕЧА

Частный предприниматель Матвей Иванович Перетыкин вошел в купе мягкого вагона. Место у окна было занято. Какой-то бритый гражданин в кожаной фуражке сидел, облокотившись на подушку.

«Жаль, — подумал Перетыкин. — Придется ехать с этой личностью. Интересно знать — кто такой... Партийный, наверное... Фуражка кожаная, бритый... Ишь, развалился».

Перетыкин сел на диван. Гражданин в кожаной фуражке читал газету.

«Гм, — подумал Перетыкин, осматривая соседа, — комиссарствует... В мягких вагонах катается... Чулочки-то какие — лиловые... Какая-нибудь важная шишка».

— Виноват, — пробормотал бритый, протягивая ноги.

— Ничего-с, — сказал Матвей Иваныч. — Вы, товарищ, протяните удобней ноги... Мне ничего это, не мешает...

Бритый снова углубился в газету. Полчаса ехали молча.

— Извиняюсь, товарищ, — сказал вдруг Перетыкин, — вы изволите в Москву?

— В Москву...

— Так-с... Разрешите, уважаемый товарищ, полюбопытствовать, чего хорошего в газетах пишут? Я, знаете ли, последнее время воздухоплаванием интересуюсь...

— Что?

— Я, говорю, интересуюсь вопросами авиации... Не правда ли, уважаемый товарищ, это важнейший вопрос современной политики? И какое мощное явление, какой народный подъем: все фабрики, все учреждения, каждый гражданин — жертвует на воздушный флот... Годика через два мы будем обладать десятками тысяч аэропланов...

— М-м, — сказал незнакомец.

Перетыкин приятно улыбнулся.

— С таким мощным флотом мы черт его знает что можем сделать. Мы можем любые условия продиктовать державам. Англию можем в кулак сжать. Ага, дескать, не нравятся вам

звучи «Интернационала»? Ноты посылают? А не хотите ли сто аэропланов с бомбами на вас пошлем?.. Хе-хе.

— Да, это верно...

— Еще бы не верно! — воскликнул Перетыкин. — Правительство гениально поступает... Обладая столь обширным флотом, мы...

Человек в кожаной фуражке беспокойно посмотрел на Перетыкина.

— Я извиняюсь, — сказал он, — вы давно изволите состоять в партии?..

— Я? — засмеялся Перетыкин. — Я, уважаемый товарищ, не состою в партии. Но я, уважаемый товарищ, так сказать, вполне на платформе... Я вот как увижу, например, кожаную фуражку — так совершенно дрожу от восхищения... Здоровый, крепкий народ...

— Да, да, — забормотал незнакомец, — совершенно верно...

— Да-с, — сказал Перетыкин восхищенно, — я, знаете ли, дорогой товарищ, еще с детства отличался склонностью к левым взглядам... На меня в училище пальцами даже показывали — вон, дескать, идет Перетыкин... То есть, так сказать, главный зачинщик и бунтовщик. Я даже раз, знаете ли, образ снял и спрятал в парты...

— Образ? — спросил незнакомец. — Вот у нас давеча в магазине тоже образ сняли...

— То есть как в магазине? — спросил Перетыкин. — Вы изволите состоять в каком-нибудь государственном тресте?

— Да нет, — сказал незнакомец, — зачем в тресте?.. В магазине... Мы портерную держим...

— Портерную? Так вы, значит... Так вы того... Непартийный? Что же вы распелись?

— Кто распелся? — сказал бритый. — Это вы распелись... Флот, могущество!.. Подумаешь...

— Да и вы тоже хороши — поддакивает, как идиот... Уберите ваши паршивые ноги с дивана, или я проводника позову...

— Что? Паршивые ноги? Возьмите свои слова назад!

— Видал! — сказал Перетыкин, делая кукиш. — Думает — надел кожаную фуражку, так и государственный человек! Только в сомнение людей вводит... Идиот...

— Вы сами идиот! — сказал бритый. — Вы сами начали... Флот, Англию в кулак!.. Кого? Англию? Да Англия, ежели захочет, ногтем вас придавит... Флот! Подумаешь... Десяток паршивых аэропланов сделают и думают, что весь мир победили.

— Да, — сказал Перетыкин, — это верно. Да и сделают ли? Откуда они моторы возьмут?

— Вот именно, — сказал человек в кожаной фуражке, — откуда они возьмут? Сами, что ли, сделают?

— А если и сделают, — подхватил Перетыкин, — то куда они будут годны? Курам на смех... Давеча мой племянник поднимался с аэродрома за плату... Зря, говорит, деньги бросил. Кроме, говорит, крыльев — ни черта не видел. А другой, знаете ли, и крыльев не увидит — мотор трещит, стучит...

— Или еще тоже на колбасе поднимаются, — сказал бритый. — На Марсовом. Тоже зря деньги огребают. Ну, поднялся, а дальше что... Без мотора не уедешь.

— И вид, наверное, пустяковый с колбасы? — воскликнул Перетыкин.

— Да какой же вид! Смешно. Я Казанский собор вблизи могу рассмотреть. Чего я, как идиот, на колбасу полезу... Авиация, тоже! Нельзя же так, господа!

— Вот именно! — воскликнул Перетыкин. — Пустяки затеяли с этой авиацией...

Через полчаса бритый гражданин спал, надвинув на глаза кожаную фуражку. Ноги бритого гражданина упирались в колени Перетыкина.

— Ничего-с, — бормотал Перетыкин, — вы протянитесь поудобнее... Очень приятно познакомиться... Очень приятная встреча...

СВИНСТВО

Ведь вот свинство какое: сколько сейчас существует поэтов, которые драгоценную свою фантазию растрачивают на рифмы да стишки... Ну чтоб таким поэтам объединиться да и издать книжонку на манер наших святцев с полным и подробным перечислением новых имен... Так нет того — не додумались.

А от этого с Иван Петровичем произошла обидная история.

Пришел раз Иван Петрович к заведывающему по делам службы, а тот и говорит:

— Ах, молодые люди, молодые люди! На вас, говорит, вся Европа смотрит, а вы чего делаете?

— А чего? — спрашивает Иван Петрович.

— Да как чего? Вот взять тебя... Ты, например, младенца ждешь... А как ты его назовешь? Небось Петькой назовешь?

— Ну, говорит, а как же назвать-то?

— Эх, молодые люди, молодые люди! — говорит заведывающий. — По-новому нужно назвать. Нужно быть революционером во всем... На вас вся Европа смотрит...

— Что ж, — отвечает Иван Петрович, — я не против. Да только фантазия у меня ослабла. Недостаток, так сказать, воображения... Вот вы, человек образованный, просвещенный, восточный факультет кончили, — посоветуйте. У вас и фантазия, и все такое...

— Пожалуйста, — говорит заведывающий. — У меня фантазии хоть отбавляй. Это верно. Вали, назови, ежели дочка — Октябрина, ежели парнишка — ну... Ну, говорит, как-нибудь да назови. Подумай... Нельзя же без имени ребенка оставить... Вот хоть из явления природы — Луч назови, что ли.

А имя такое — Луч — не понравилось Иван Петровичу.

— Нет, говорит. Луч с отчеством плохо — Луч Иванович... Лучше, говорит, я после подумаю. Спасибо, что на девчонку надоумили.

Стал после этого Иван Петрович задумываться — как бы назвать. Имен этих приходило в голову множество, но все

такие имена: то они с отчеством плохи, а то и без отчества паршиво звучат.

«Ладно, — решил Иван Петрович, — может, на мое счастье, девчонка народится... Ну а ежели мальчишка, там подумаю. В крайнем случае Лучом назову. Шут с ним. Не мне жить с таким именем...»

Много раз собирался Иван Петрович подумать, да по легкомыслию своему все откладывал — завтра да завтра.

«Чего, — думает, — я башку раньше времени фантазией засорять буду».

И вот наконец наступило событие. Родилась у Иван Петровича двойня. И все мальчишки.

Сомлел Иван Петрович. Два дня с дивана не поднимался — думал, аж голова распухла. А тут еще супруга скулит и торопит:

— Ну как? Ну как?

А Иван Петрович плашмя лежит и руками отмахивается — не приставай, дескать, убью.

А сам самосильно думает:

«Стоп, — думает. — По порядку буду... Одного назову, ежели это есть мальчик, — Луч, Луч Иваныч. Заметано... Хоть и плохо — сам виноват. Был бы девочкой — другое дело... Другого, ежели это тоже есть мальчик, а не девочка, назову, ну... Эх, думает, хоть бы одна девчонка из двух...»

Пролежал Иван Петрович два дня на диване, и вместо имен стали ему в голову всякие пустяки лезть — вроде насмешки: Стул, Стол Иваныч, Насос Иваныч, Картина Ивановна...

И побежал Иван Петрович с перепугу к заведывающему.

— Выручайте, кричит, вы меня подкузьмили!

— А что? — спрашивает.

— Да как же что! Вся Европа на меня смотрит, а у меня все мальчишки... Ну как я их назову?!

Думал, думал заведывающий.

— Вот, говорит, Луна, например, неплохое имя...

Заплакал Иван Петрович.

— Я, говорит, про Луну думал уж. Луна — это женский род... У меня все мальчишки.

Стал опять думать заведывающий.

— Нет, говорит, увольте. Фантазии у меня действительно много, но направлена она в иную сторону... Пойдем, говорит, старик, выпьем с горя.

Пошли они в пивную, а там в трактир, а там опять в пивную.

И запил Иван Петрович.

Пять дней домой не являлся, а как явился, так уж все было кончено: одного парнишку назвали Колей, а другого Петей. Этакое свинство.

Вот такая это была история. А во всем виноваты поэты. У них фантазия.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ДРУГ

Жил такой человек, Петр Петрович, с супругой своей, Катериной Васильевной. Жил он на Малой Охте. И жил хорошо. Богато. Хозяйство и гардероб, и сундуки полные добра...

Было у него даже два самовара. А утюгов — и не счесть — штук пятнадцать.

Но при всем таком богатстве жил человек скучновато. Сидел на своем добре, смотрел на свою супругу и никуда не показывался. Боялся из дома выходить. Сами знаете, какое нынче вороватое времечко. Даже в кинематограф не ходил.

Ну а однажды получил Петр Петрович письмо по почте. Письмо секретное. Без подписи. Пишет кто-то:

«Эх ты, — пишет, — старый хрен, степа — валеный сапог. Живешь ты с молодой супругой и не видишь, чего вокруг делается. Жена-то твоя, дурень старый, крутит с одним обывателем. Как я есть твой неизвестный друг и все такое, то общаю: ежели ты, старый хрен, придешь в Сад Трудящихся в 7 часов вечера в субботу, 29 июля, то глазами удостоверись, какая есть твоя супруга гуляющая бабочка. Протри глаза, старый хрен.

С глубоким почтением. Неизвестный друг».

Прочел это письмо Петр Петрович и обомлел. Стал вспоминать, как и что. И вспомнил: получила Катерина Васильевна два письма, а от кого — не сказала. И вообще вела себя подозрительно: к мамаше зачастила и денег требовала на мелкие расходы.

«Ну, клюква! — подумал Петр Петрович. — Пригрел я змею... Но ничего, не позволю над собой насмеяться. Выслежу, морду набью, и разговор весь».

В субботу, 29 июля, Петр Петрович сказался больным. Лег на диван и следит за супругой. А та — ничего — хозяйством занимается. Но к вечеру говорит:

— Мне, говорит, Петр Петрович, нужно к мамаше сходить. У меня, говорит, мамаша опасно захворала.

И сама нос пудрой, шляпку на затылок, и пошла.

Петр Петрович поскорей оделся, взял в левую руку палку, надел галоши — и следом за женой.

Пришел в Сад Трудящихся, воротничок поднял, чтоб не узнали, и ходит по дорожкам. Вдруг видит — у фонтана супруга сидит и вдаль всматривается. Подошел.

— А, — говорит, — здравствуйте. Любовника ожидаете? Так-с. Вам, говорит, Катерина Васильевна, морду набить мало...

Та в слезы.

— Ах, — говорит, — Петр Петрович, Петр Петрович! Не подумайте худого... Не хотела я вам говорить, но приходится...

И с этими словами вынимает она из рукава письмо.

А в письме, в печальных тонах, написано о том, что она, Катерина Васильевна, одна может спасти человека, который погибает и находится в жизни на краю пропасти. И этот человек умоляет прийти Катерину Васильевну в Сад Трудящихся в субботу, 29 июля.

Прочел письмо Петр Петрович.

— Странно, — говорит. — Кто же это пишет?

— Я не знаю, — отвечает Катерина Васильевна. — Я пожалела и пришла.

— Так-с, — говорит Петр Петрович, — пришла. А ежели пришла, так и сиди и не двигайся. Я, говорит, за фонтан спрячусь. Посмотрю, что за фигура. Я, говорит, намну ему бока.

Спрятался Петр Петрович за фонтан и сидит. А супруга напротив — бледная и еле дышит. Час проходит — никого. Еще час — опять никого. Вылезает тогда Петр Петрович из-за фонтана.

— Ну, — говорит, — не хнычьте, Катерина Васильевна. Тут, безусловно, кто-нибудь подшутил над нами. Идемте домой, что ли... Нагулялись... Не ваш ли братец-подлец подшутил?

Покачала головой Катерина Васильевна.

— Нет, — говорит, — тут что-нибудь серьезное. Может, неизвестный человек испугался вас и не подошел.

Плюнул Петр Петрович, взял жену под руку и пошел.

И вот приезжают супруги домой. А дома — разгром. Сундуки и комоды разворочены, утюги раскиданы, самоваров нет — грабеж. А на столе булавкой пришпилена записка:

«Вас, чертей собачьих, иначе никаким каким из дома не выгашить. Сидят, как сычи... А костюмчики твои, старый хрен, не по росту мне. Рост у тебя, старый хрен, паршивый и низенький. Это довольно подло с твоей стороны. А супруге твоей — наше нижайшее с кисточкой и с огурцом пятнадцать».

Прочли супруги записку, охнули, сели на пол и ревут, что маленькие.

РУКОВОД

Э к с к у р с и я. — Впереди человек с палкой. На палке дощечка с надписью. Экскурсия останавливается у павильона. Заходит.

Проводник. — А это вот, обратите ваше внимание, этого... как ее... Чувашская автономная область... Так сказать, чувашский павильон... Чуваши... Бывают, конечно, павильоны киргизские или там башкирские, ну, а это чуваши... Обратите ваше внимание... В павильоне экспонируется этого... как ее... Семья чувашского средника с домашним скрабом и это, как ее, инвентарем... Вот-с, обратите ваше внимание — этот вот инвентарь, а это вот семья. Сидят которые...

Голос из толпы. — Ишь ты, какие носатые... А чего они, тов. проводник, кумекают по русскому? Эй, товарищ чуваш! По ружке понимэ?

Чуваш. — Э?

Голос из толпы. — Не понимает? Эй ты, чувашская ходя, не понимэ, значит?

Чуваш. Чего надо? Что пристал? Какие надо чуваши. Мы грузины...

Проводник (*сконфуженно сморкаясь в руку*). — Вот этого... Я и говорю, граждане, грузинский это павильон... которые грузины то есть... А которые дальше пойдут — чуваши будут.

БАБА

Судья пристально смотрит на обвиняемых. Их двое — муж и жена. Самогонщики.

— Так как же, — спрашивает судья, — значит, вы, обвиняемый, не признаете себя виноватым?

— Нету, — говорит подсудимый, — не признаю... Она во всем виновата. Она пушай и расплачивается. Я ничего не знаю про это...

— Позвольте, — удивляется судья, — как же так? Вы живете с женой в одной квартире и ничего не знаете. Не знаете даже, чем занимается ваша жена.

— Не знаю, гражданин судья... Она во всем...

— Странно, — говорит судья. — Подсудимая, что вы скажете?

— Верно уж, начальник судья, верно... Я во всем виновата... Меня и казните... Он не касается...

— Гражданка, — говорит судья, — если вы хотите выгородить своего мужа, то напрасно. Суд все равно разберет... Вы только задерживаете дело... Вы сами посудите: не могу же я вам поверить, что муж живет в одной квартире и ничего не знает... Что, вы не живете с ним, что ли?

Подсудимая молчит. Муж радостно кивает головой.

— Не живу я с ней, — говорит он, — вот именно: не живу. Некоторые думают, что я живу, а я нет... Она во всем виновата...

— Верно это? — спрашивает судья у подсудимой.

— Уж верно... Меня одну казните, он не причастен.

— Вот как! — говорит судья — Не живете... Что ж, вы характером не сошлись?

Подсудимый кивает головой.

— Характером, гражданин судья, и вообще... Она и старше меня и...

— То есть как это старше? — спрашивает подсудимая. — Ровесники мы с ним, гражданин судья... На месяц-то всего я и старше.

— Это верно, — говорит подсудимый, — на месяц только... Это она правильно, гражданин судья... Ну, а для бабы каждый месяц, что год... В сорок-то лет...

— И нету сорока. Врет он, гражданин судья.

— Ну хоть и нету, а для бабы и тридцать девять — возраст. И волос все-таки седой к сорока-то и вообще...

— Что вообще? — возмущается подсудимая. — Ты договаривай! Нечего меня перед народом страмить. Что вообще?

Судья улыбается.

— Ничего, Марусечка... Я только так. Я говорю — вообще... и кожа уж не та, и морщинки, ежели, скажем, в сорок-то лет... Не живу я с ней, гражданин судья...

— Ах вот как! — кричит подсудимая. — Кожа тебе не по вкусу? Морщинки тебе, морда собачья, не ндравятся? Перед народом меня страмить выдумал... Врет он, граждане судьи! Живет он со мной, сукин сын. Живет. И самогонный аппарат сам покупал... Я ж для него, сукиного сына, кровь порчу, спасаю его, а он вот что! Страмить... Пуцай вместе казнят...

Подсудимая плачет, громко сморкаясь в платок. Подсудимый оторопело смотрит на жену. Потом с отчаянием машет рукой.

— Баба, баба и есть, чертова баба... Пуцай уж, гражданин судья... я тоже... И я виноват. Пуцай уж... У-у, стерва...

Судья совещается с заседателями.

ЧЕСТНЫЙ ГРАЖДАНИН

(Письмо в милицию)

Состоя, конечно, на платформе, сообщаю, что квартира № 10 подозрительна в смысле самогона, который, вероятно, варит гражданка Гусева и дерет окромя того с трудящихся три шкуры. А когда, например, нетути денег или вообще нехватка хушь бы одной копейки, то в долг нипочем не доверяет, и еще, не считаясь, что ты есть свободный обыватель, пихают в спину.

А еще сообщаю, как я есть честный гражданин, что квартира № 3 тоже, без сомнения, подозрительна по самогону, в какой-то вкладывают для скусу, что ли, опенки, или, может быть, пельсинные корки, отчего блюешь сверх нормы. А в долг, конечно, тоже не доверяют. Хушь плачь!

А сама вредная гражданка заставляет ждать потребителя на кухне и в помещение, чисто ли варят, не впускает. А в кухне ихняя собачонка, системы пудель, набрасывается на потребителя и рвет ноги. Эта пудель, холера ей в бок, и мене ухватила за ноги. А когда я размахнулся посудой, чтоб эту пудель, конечно, ударить, то хозяйка тую посуду вырвала у меня из рук и кричит:

— На, — говорит, — идол, обратно деньги. Не будет тебе товару, ежели ты бессловесную животную посудой мучаешь.

А я, если на то пошло, эту пудель не мучил, а размахивался посудой.

— Что вы, — говорю, — вредная гражданка! Я, говорю, не трогал вашу пудель. Возьмите ваши слова обратно. Я говорю: недопустимо, чтоб пудель рвал ноги.

А гражданка выкинула мне деньги взад, каковые и упали у плиты. Деньги лежат у плиты, а ихняя пудель насуслила их и не подпускает. Хушь плачь.

Тогда я, действительно, не отрицаю, пихнул животную ногой и схватил деньги, среди каковых один рубль насуслен и противно взять в руки, а с другого объедин номер, и госбанк не принимает. Хушь плачь.

Тогда я обратно, не отрицаю, пихнул пудель в грудку и поскорее вышел.

А теперича эта вредная гражданка меня в квартиру к себе не впускает, и дверь все время, и когда ни сунься, на цепке содержит. И еще, стерва, плюется через отверстие, если я, например, подошедши. А когда я на плевки ихние размахнулся, чтоб тоже по роже съездить или по чем попало, то она, с перепугу, что ли, дверь поскорее хлопнула и руку мне прищемила по локоть.

Я ору благим матом и кручусь перед дверью, а ихняя пудель заливается изнутри. Даже до слез обидно. О чем имею врачебную записку, и, кроме того, кровь и теперя текеть, если, например, ежедневно сдирать болячки.

А еще, кроме этих подозрительных квартир, сообщаю, что трактир «Веселая Долина» тоже, без сомнения, подозрителен. Там меня ударили по морде и запятели в угол.

— Плати, — говорят, — собачье жало, за разбитую стопку.

А я ихнюю стопку не бил, и, вообще, очень-то нужно мне бить ихние стопки.

— Я, — говорю, — не бил стопку. Допустите, говорю, докушать бутерброть, граждане.

А они меня тащат и тащат и к бутербротю не подпускают. Дотащили до дверей и кинули. А бутерброть лежит на столе. Хушь плачь.

А еще, как честный гражданин, сообщаю, что девица Варька Петрова есть подозрительная и гулящая. А когда я к Варьке подошедши, так она мной гнушается.

Каковых вышеуказанных лиц можете арестовать или как хотите.

Теперича еще сообщаю, что заявление мной проверено, как я есть на платформе и против долой дурман, хоша и уволен по сокращению за правду.

А еще прошу, чтоб трактир «Веселую Долину» пока чтоб не закрывали. Как я есть еще больной и не могу двинуться. А вскоре, без сомнения, поправлюсь и двинусь. Бутерброть тоже денег стоит.

ПРОТОКОЛ

Дежурный милиционер обмакнул перо в чернильницу и сказал:

— Те, граждане... не напирайте... по порядку говори... который кого пихнул?

— Это он его пихнул, — сказала тетка, протискиваясь к столу. — Он его пихнул... У-у, говорит, чертова мама.

Человек с мешком, на которого показала тетка, стоял спокойно, мрачно посапывая носом. Рядом стояли потерпевший и несколько свидетелей.

Потерпевший разводил руками и сконфуженно бормотал:
— Да рази я что?.. Да я ничего... Это народ хочет... Свидетели.

— Он его пихнул, — снова сказала тетка. — Пихнул, а после и говорит: у-у, чертова мама... Я насупротив в трамвае сидела, конечно. Я к племяннику ехала в село Смоленское.

— Тс... — сказал дежурный, — обождь, тетка.

— Чего обождь? — огорчилась тетка. — Чего обождь-то? Прошло то время, чтоб днем народ пихали. Напихались.

— Тс... Засохни, — сказал дежурный, снова обмакивая перо. — Ты кто такая?

— Я-то? — спросила тетка. — Свидетели мы... К племяннику ехали... Это немислимо, чтоб днем пихать. Может, он до смерти бы пихнул... А может, у меня племянник в комачейке служит...

— Обожди, тетка, — сказал милиционер, — не тебя ведь пихнули... Спросят тебя. Вали помалкивай.

— А хотя бы и не меня...

— Тс... Вас пихнули? — спросил милиционер потерпевшего.

— Меня... — сказал потерпевший. — Да только я что... Я ничего. Ну, пихнули. Эка штука. В трамвае ведь. Это свидетели требуют: иди, говорят, обязательно в милицию.

— Извиняюсь, пардон, — сказал один из свидетелей. — Я тоже видел... Нельзя допустить... Протокол чтобы...

— Я же и говорю, — снова запела тетка. — Протокол, обязательно даже протокол... А гражданин милиционер на

меня цыкает... Я до самого центра дойду... Это невысказано, чтобы среди дня...

Милиционер в третий раз обмакнул перо и принялся писать протокол, время от времени спрашивая: фамилия... пол... бывшее звание... Писал дежурный долго, старательно выводя буквы. Потом спросил:

— А где было? В каком месте?

— В трамвае, — сказала тетка, — в трамвае, товарищ. Я же и говорю: в трамвае, батюшка... Я в село Смоленское ехала. Где ж еще иначе... К племяннику я ехала...

— Место, улица?

— По Семеновской проезжали...

— Фю-ю, — сказал милиционер, кладя перо. — По Семеновской? Не наш это район. Это, граждане, второй район. Вали туда...

— Как это? — спросили свидетели. — Уж раз написано, так чего же...

— Во второй район.

— А если б меня убили?

— Где убили?

— Где еще... На Семеновской...

— Второй район.

— И пойдём! — воскликнула тетка. — И пойдём, граждане. Это невысказано, чтоб оставить... Где потерпевший?

Потерпевшего не было. Он исчез, воспользовавшись заминкой. Молчавший до сего времени гражданин с мешком возмутился.

— Ты что ж это, — сказал он, обращаясь к тетке, — ты что ж это юбкой-то вертишь?

— Кто вертит? — запела тетка, снова устанавливая свою корзину на стол. — Кто вертит-то?

— Да ты вертишь. Первая начала бузу, чертова мама...

Тетка всплеснула руками.

— Граждане, да что ж это, — сказала она, — ругает ведь.

— Вот теперь можно, — сказал милиционер, обмакнув в четвертый раз перо. — Теперь наш район. Писать, что ли, протокол?

— Позвольте, — воскликнула тетка, — да за что же протокол-то? Товарищ милиционер, будьте благодетелем... За что же... Мы чинно, мирно беседуем...

Тетка взяла корзину и пошла к выходу. Свидетели исчезли постепенно. Гражданин с мешком остался один. Он долго и без всякой на то нужды расспрашивал милиционера, где второй район, потом махнул рукой и, мрачно посапывая носом, вышел.

АМЕРИКАНЦЫ

Комната. Стол. За столом девица. Над девицей — бант. Над бантом — плакат: «Говори короче и уходи». Перед девицей очередь.

Первый посетитель. — Мм... этого, барышня... как его... Тутотка чего, извиняюсь? Тутотка не бюро ли для справок?

Дев и ца. — Справочное бюро отдела Нарпитгусьглав-штука...

Пер в ы й. — Ась?

Дев и ца. — Вам что?

Пер в ы й. — Мне-то? Я, как есть приехадши из провинции и... тутотка разыскиваю личность... Мне-то? Мне надо узнать, требуется то есть... товарища Щукина мне надоть... Я, как есть приехадши из провинции, и в смысле того, как разыскиваю личность...

Дев и ца. — Комната 78. Третий этаж... Налево...

Пер в ы й. — Тутотка значит. Щукин-то. Мне ж и говори-ли: пойдн, говорят, в это учреждение... А я, как есть приехад-ши из провинции — не разбираюсь в столичных учрежде-ниях. А мне, напротив того, требуется личность разыскать...

В т о р о й п о с е т и т е л ь. — Послушайте, вы задержи-ваете посетителей.

Пер в ы й. — Я-то? Избави Бог. Я не задерживаю...

В т о р о й. — Он не задерживает! Видали! Ведь, кажется, ясно — висит плакат... По-русски сказано: короче говори... Так нет. Извольте видеть — в разговоры пущается... Из про-винции, говорит, приехадши... А нам наплевать. Хоть из Китая приезжайте... Вам, вам я говорю... Чего смотрите так? Оставьте моргать ресницами, не испугаете... (Первый уходит.)

В т о р о й. — Видали, какой гусь? Ушел! Не нравится ему, видите ли... Ведь вот этакий явится и — задержка. А в общем масштабе все дело стоит...

Дев и ца. — Вам что?

Второй. — Ведь это черт знает что! Мы хлопочем, стараемся, налаживаем свою жизнь по-американски, а тут из-за одного прохвоста...

Девца. — Извиняюсь, вам что?

Второй. — Мне что? Странный вопрос. Я, барышня, по делу пришел. За справкой. А тут, извольте видеть, этакий гусь нашелся... В разговоры пущается... Может, у меня дело ни минуты отлагательства не ждет. Может, я пять минут пропустил, и баста, — все дело рухнуло. Что тогда? Кто мне возместит убытки? А может, убытков на триллионы... Ведь это черт знает! Это дальше идти некуда. Хоть бы наказание какое-нибудь ввести для этих прохвостов... Штрафовать, что ли, за каждое лишнее слово. Что ж плакат? Плакат — мало...

Девца. — Извини...

Второй. — Не действует на них плакат. Нужно что-нибудь существенное... Скажем, пришел посетитель... Что надо? То-то, то-то, то-то. И замри. И не пророни лишнего звука. А проронил лишний звук — пожалуйста бриться — в нарсуд или там в комиссию. Комиссию, наконец, можно специальную завести. Скажем, — два члена и председатель. Чуть что — в комиссию. Там разберут... Ведь так работать нельзя... Какие же мы американцы, если у нас...

Девца. — Вам что? Вам что, гражданин...

Второй. — Фу-у... Невозможно так... Мне? Мне узнать. Справку. Как его... Это какое учреждение, не Главгусь?

Девца. — Не-ет... Это Нарпитгусьглавштука.

Второй. — Ну-у... А я думал... Чего же я, как идиот, стою три часа? Хоть бы сказал кто-нибудь. Тьфу ты! Американцы...

(Выбегает из комнаты. Потом возвращается.)
— Этого... портфель... Не забыл ли я тут портфель?
*(Ищет. Потом ударяет себя по лбу ладонью и с криком вы-
бегает из комнаты.)*

ПРИЯТЕЛИ

Сидели два приятеля в портерной за парой пива.

Вот один налил себе в стопку, выпил залпом и поморщился.

— Эх, говорит, браток, нет ничего хуже винища! Лакаешь его, стервозу, лакаешь, а на душе противно, да и скус в нем не ахти какой. Только что — привычка. Это, говорит, пожалуй что, самый большой вред в жизни. А?

А другой приятель съел соленую сушку и усмехнулся.

— Ну, говорит, нет. Самый, говорит, большой вред в жизни не вино. Самый большой и сильный вред — картишки, азарт.

— Не согласен, — сказал первый. — На мой взгляд, вино. Да вот я тебе расскажу.

Стал он тут вспоминать всякие историйки с пьяницами. И как один пьяный на ручке двери повесился. И как другой за полбутылки дочку цыганам загнал...

Второй приятель только усмехается да горох жует. И шелуху от гороха на пол сплевывает.

— Нет, говорит. Вино — это плевое дело. Хочу — пью, хочу — не пью. Не понимаю, какая в нем сила...

Стал первый приятель обижаться.

— Как, говорит, какая сила? Да вот, говорит, например я. Меня возьми. Я, говорит, в Ростове дело было, обезумел во все. От вина-то. До того раз дошел — штаны свои продал. И на улицу голый вышел. И ходил так, покуда не забрали.

— Что ж, — говорит второй, — это бывает. А только я не согласен. Самый большой вред — карты. Вот, говорит, я расскажу тебе историю.

— Жил я тогда на Кавказе. Железную дорогу мы строили. Ну, конечно, нас собралось пропасть. И все шпана самая ужасная. Тут и армяне, и персы, и ходи, и мы... и хоть, так сказать, полная международность, а резались мы, братишки, в карты с утра до ночи. Потому иначе невозможно — климат такой сухой — тоска берет...

Ну, резались. В очко все больше. Бывало, все профюкаешь, а сыграть еще охота. Так и сосет в груди. До тошноты прямо.

Так вот. Профюкал это я раз все до нитки и лежу этакий скушный, на игроков поглядываю. А игроков всего трое осталось. Два грузина да перс. И у них все деньги.

И вижу: перс все проигрывает. Поставил он в банк сапоги — проиграл. Поставил поясок с серебряной штуковинкой — и поясок пропер. Скинул рубаху — и рубаху пропер. И больше ставить ему нечего.

Пошарил перс по телу рукой — ничего — голое пузо. А в банке сумма — шесть рублей. Конечно, золотом.

Ударил себя перс кулаком в пузо, сам дрожит.

— Во банку! — кричит. — Отрежу, кричит, себе палец.

Грузин этак серьезно посмотрел.

— Не надо, говорит, резать. Прострели оружием.

Перс, конечно, проиграл, взял пистолет, зажмурился, завизжал истошным голосом и прострелил себе левую ладонь. Перевязал руку тряпицей и уж не орет, а этак хрюкает:

— Во банку!

А грузин спрашивает:

— Чего ставишь?

— Еще, говорит, руку прострэлу.

— Нет, — говорит грузин. — Это, говорит, скушно — все руку да руку. Это, говорит, мне надоело. Ты, говорит, в плечо стрельни.

— Во банку! — завизжал перс.

И проиграл обратно. И хотел он уж стрельнуть, да на шум инженер явился и разогнал шпану.

Тут рассказчик замолчал.

— Ну и что же? — спросил приятель.

— Ну и ничего.

— А грузин-то что?

— Грузин? Грузин, браток, на другой день встретил перса — «Давай, говорит, долг или, говорит, стреляй».

Ну, и перс, конечно, выстрелил... Да неловко, в шею себе попал. И помер после...

— Да, — сказал первый приятель, — историйка. После этого и играть не захочешь... Давай-ка, говорит, потребуем самогонки.

А второй приятель пожевал сушку и говорит:

— Нет, говорит, не хочется. Пойду-ка, говорит, на Владимирский. В картишки сыграю. Чтой-то разохотился я воспоминаниями.

Допил он свою стопку, подмигнул приятелю и вышел, слегка покачиваясь.

БЕДА

Егор Иваныч, по фамилии Глотов, мужик из деревни Гнилые Прудки, два года копил деньги на лошадь. Питался худо, бросил махорку, а что до самогона, то забыл, какой и вкус в нем. То есть, как ножом отрезало — не помнит Егор Иваныч, какой вкус, хоть убей.

А вспомнить, конечно, тянуло. Но крепился мужик. Очень уж ему нужна была лошадь.

— Вот куплю, — думал, — лошадь и клюкнугу тогда. Будьте покойны.

Два года копил мужик деньги, а на третий подсчитал свои капиталы и стал собираться в путь.

А перед самым уходом явился к Егору Иванычу мужик из соседнего села и предложил купить у него лошадь. Но Егор Иваныч предложение это отклонил. Испугался даже.

— Что ты, батюшка! — сказал он. — Я два года солому жрал — ожидал покупки. А тут накося — купи у него лошадь. Это вроде как и не покупка будет... Нет, не пугай меня, браток. Я уж в город лучше поеду. По-настоящему чтобы.

И вот Егор Иваныч собрался. Завернул деньги в портянку, надел сапоги, взял в руки палку и пошел.

А на базаре Егор Иваныч тотчас облюбовал себе лошадь.

Была эта лошадь обыкновенная, мужицкая, с шибко раздутым животом. Масти она была неопределенной — вроде сухой глины с навозом.

Продавец стоял рядом и делал вид, что он ничуть не заинтересован, купят ли у него лошадь.

Егор Иваныч повертел ногой в сапоге, ощупал деньги и, любовно поглядывая на лошадь, сказал:

— Это что ж, милый, лошадь-то, я говорю, это самое продаешь, ай нет?

— Лошадь-то? — небрежно спросил торговец. — Да уж продаю, ладно. Конечно, продаю.

Егор Иваныч тоже хотел сделать вид, что он не нуждается в лошади, но не утерпел и сказал, сияя:

— Лошадь-то мне, милый, вот как требуется. До зарезу нужна мне лошадь. Я, милый ты мой, три года солому жрал, прежде чем купить ее. Вот как мне нужна лошадь... А какая, между тем, цена будет этой твоей лошади? Только делом говори.

Торговец сказал цену, а Егор Иваныч, зная, что цена эта ненастоящая и сказана, по правилам торговли, так, между прочим, не стал спорить. Он принялся осматривать лошадь.

Он неожиданно дул ей в глаза и в уши, подмигивая, прищелкивая языком, вилял головой перед самой лошадиной мордой и до того запугал тихую клячу, что та, невозмутимая до сего времени, начала тихонько лягаться, не стараясь, впрочем, попасть в Егор Иваныча.

Когда лошадь была осмотрена, Егор Иваныч снова ощупал деньги в сапоге и, подмигнув торговцу, сказал:

— Продается, значит... лошадь-то?

— Можно продать, — сказал торговец, несколько обижаясь.

— Так... А какая ей цена-то будет? Лошади-то?

Торговец сказал цену, и тут начался торг. Егор Иваныч хлопал себя по голенищу, дважды снимал сапог, вытаскивая деньги, и дважды надевал снова, божился, вытирал рукой слезы, говорил, что он шесть лет лопал солому, и что ему до зарезу нужна лошадь — торговец сбавлял цену понемногу.

Наконец, в цене сошлись.

— Бери уж, ладно, — сказал торговец. — Хорошая лошадь. И масть крупная, и цвет, обрати внимание, какой заманчивый.

— Цвет-то... Сомневаюсь я, милый, в смысле лошадиного цвету, — сказал Егор Иваныч. — Неинтересный цвет... Сбавь немного.

— А на что тебе цвет? — сказал торговец. — Тебе что, пахать цветом-то?

Сраженный этим аргументом, мужик оторопело посмотрел на лошадь, бросил шапку наземь, задавил ее ногой и крикнул:

— Пушай уж, ладно!

Потом сел на камень, снял сапог и вынул деньги. Он долго и с сожалением пересчитывал их и подал торговцу, слегка отвернув свою голову. Ему было невыносимо смотреть, как скрюченные пальцы разворачивали его деньги.

Наконец, торговец спрятал деньги в шапку и сказал, обращаясь уже на вы:

— Ваша лошадь... Ведите...

И Егор Иваныч повел. Он вел торжественно, цокал языком и называл лошадь Маруськой. И только когда прошел площадь и очутился на боковой улице — понял, какое событие произошло в его жизни. Он вдруг скинул с себя шапку и в восторге стал давить ее ногами, вспоминая, как хитро и умно он торговался. Потом пошел дальше, размахивая от восторга руками и бормоча:

— Купил!.. Лошадь-то... Мать честная... Опутал ево... Торговца-то...

Когда восторг немного утих, Егор Иваныч, хитро смеясь себе в бороду, стал подмигивать прохожим, приглашая их взглянуть на покупку. Но прихожие равнодушно проходили мимо.

— Хоть бы землячка для сочувствия... Хоть бы мне землячка встретить, — подумал Егор Иваныч.

И вдруг увидел малознакомого мужика из дальней деревни.

— Кум! — закричал Егор Иваныч. — Кум, поди-кось поскорей сюда!

Черный мужик нехотя подошел и, не здороваясь, посмотрел на лошадь.

— Вот... Лошадь я, этово, купил! — сказал Егор Иваныч.

— Лошадь, — сказал мужик и, не зная, чего спросить, добавил: — Стало быть, не было у тебя лошади?

— В том-то и дело, милый, — сказал Егор Иваныч, — не было у меня лошади. Если б была, не стал бы я трепаться... Пойдем, я желаю тебя угостить.

— Вспрыснуть, значит? — спросил земляк, улыбаясь. — Можно. Это можно. Что можно, то можно... В «Ягодку», что ли?

Егор Иваныч кивнул головой, хлопнул себя по голенищу и повел за собой лошадь. Земляк шел впереди.

Это было в понедельник. А в среду утром Егор Иваныч возвращался в деревню. Лошади с ним не было. Черный мужик провожал Егор Иваныча до немецкой слободы.

— Ты не горюй, — говорил мужик. — Не было у тебя лошади, да и это не лошадь. Ну, пропил, — эка штука. Зато, браток, вспырснул. Есть что вспомнить.

Егор Иваныч шел молча, сплевывая длинную, желтую слюну. И только, когда земляк, дойдя до слободы, стал прощаться, Егор Иваныч сказал тихо:

— А я, милый, два года солому лопал... зря...

Земляк сердито махнул рукой и пошел назад.

— Стой! — закричал вдруг Егор Иваныч страшным голосом. — Стой! Дядя... милый!

— Чего надо? — строго спросил мужик.

— Дядя... милый... братишка, — сказал Егор Иваныч, моргая ресницами. — Как же это? Два года ведь солому зря лопал... За какое самое... За какое самое это... вином торгуют?..

Земляк махнул рукой и пошел в город.

ЖЕРТВА РЕВОЛЮЦИИ

Ефим Григорьевич снял сапог и показал мне свою ногу. На первый взгляд ничего в ней особенного не было. И только при внимательном осмотре можно было увидеть на ступне какие-то зажившие ссадины и царапины.

— Заживают! — с сокрушением сказал Ефим Григорьевич. — Ничего не поделаешь — седьмой год все-таки пошел.

— А что это? — спросил я.

— Это? — сказал Ефим Григорьевич. — Это, уважаемый товарищ, я пострадал в Октябрьскую революцию. Нынче, когда шесть лет прошло, каждый, конечно, пытается примазаться: и я, дескать, участвовал в революции, и я, мол, кровь проливал и собой жертвовал...

Ну а у меня все-таки явные признаки. Признаки не соврут... Я, уважаемый товарищ, хотя на заводах и не работал и по происхождению я бывший мещанин города Кронштадта, но в свое время был отмечен судьбой — я был жертвой революции. Я, уважаемый товарищ, был задавлен мотором.

Тут Ефим Григорьевич торжественно посмотрел на меня и, заворачивая ногу в портянку, продолжал:

— Да-с, был задавлен мотором, грузовиком. И не так, чтобы как прохожий или там какая-нибудь пешка, по своей невнимательности или слабости зрения, напротив — я пострадал при обстоятельствах и в самую революцию. Вы бывшего графа Орешина не знали?

— Нет.

— Ну, так вот... У этого графа я и служил. В полотерах... Хочешь, не хочешь, а два раза натри им пол. А один раз, конечно, с воском. Очень графы обожали, чтобы с воском. А по мне так наплевать — только расход лишней.

Так вот такой был, знаете ли, случай: натер я им полы, скажем, в понедельник, а в субботу революция произошла. В понедельник я им натер, в субботу революция, а во вторник бежит ко мне ихний швейцар и зовет:

— Иди, — говорит, — кличут. У графа, говорит, кража и пропажа, а на тебя подозрение. Живо!

Я пиджачишко накинул, похрюпал на дорогу — и к ним. Прибегаю. Вваливаюсь натурально в комнаты.

Гляжу — сама бывшая графиня бьется в истерике и по ковру пятками тыркает.

Увидела она меня и говорит сквозь слезы:

— Ах, — говорит, — Ефим, комси-комса, не вы ли сперли мои дамские часики, девяносто шестой пробы, обсыпанные брильянтами?

— Что вы, — говорю, — что вы, бывшая графиня! На что, говорю, мне дамские часики, если я мужчина? Смешно, говорю. Извините за выражение.

А она рыдает.

— Нет, — говорит, — не иначе как вы сперли, комси-комса.

И вдруг входит сам бывший граф и всем присутствующим возражает:

— Я, — говорит, — богатый человек, и мне раз плюнуть да растереть ваши бывшие часики, но, говорит, это дело я

так не оставлю. Руки, говорит, свои я не хочу пачкать о ваше хайло, но подам ко взысканию, комси-комса. Ступай, говорит, отселева.

Я, конечно, посмотрел в окно и вышел.

Пришел я домой, лег и лежу. И ужасно скучаю от огорчения. Потому что не брал я ихние часики.

И лежу и день и два — пищу перестал вкушать и все думаю, где могли быть эти обсыпанные часики.

И вдруг — на пятый день — как ударит меня что-то в голову.

«Батюшки, — думаю, — да ихние часишки я же сам в кувшинчик с пудрой пихнул. Нашел на ковре — думал — медальон, и пихнул».

Накинул я сию минуту на себя пиджачок и, не покушав даже, побежал на улицу. А жил бывший граф на Офицерской улице.

И вот бегу я по улице, и берет меня какая-то неясная тревога. Что это, думаю, народ как странно ходит боком и вроде как пугается ружейных выстрелов и артиллерии?

Спрашиваю у прохожих. Отвечают: Октябрьская революция.

Поднажал я — и на Офицерскую.

Прибегаю к дому. Толпа. И тут же мотор стоит. И сразу меня как-то осенило: не попасть бы, думаю, под мотор. А мотор стоит... Ну, ладно. Подошел я ближе, спрашиваю:

— Чего тут происходит?

— А это, — говорят, — мы которых аристократов в грузовик сажаем и арестовываем.

И вдруг вижу я — ведут. Бывшего графа ведут в мотор. Ра-
столкал я народ, кричу:

— В кувшинчике, кричу, часишки ваши, будь они прокля-
ты! В кувшинчике с пудрой.

А граф, стерва, ноль на меня внимания, и садится.

Бросился я ближе к мотору, а мотор, будь он проклят, как
засуршит в тую минуту, как пихнет меня колёсьями в сторону.

«Ну, — думаю, — есть одна жертва».

Тут Ефим Григорьевич опять снял сапог и стал с досадой
осматривать зажившие метки на ступне. Потом снова надел
сапог и сказал:

— Вот-с, уважаемый товарищ, как видите, и я пострадал
в свое время и являюсь, так сказать, жертвой революции.
Конечно, я не то чтобы этим задаюсь, но я не позволю нико-
му над собой издеваться. А между прочим председатель
жилтоварищества обмеривает мою комнату в квадратных
саженях, да еще тое место, где комод стоит — тоже. Да еще
издевается: под комодом, говорит, у вас расположено около
полсажени пола. А какие же это полсажени, ежели это ме-
сто комодом занято? А комод хозяйский.

ТЩЕСЛАВИЕ

Екатерининский сквер.

Я.

Рядом на скамье какая-то девица. На ней черная шляпа и
светлые тонкие чулки.

Девушка читает книгу, время от времени шпилькой перелистывая страницы. Книга эта французская. Кажется — Марсель Прево.

Я выкуриваю подряд шесть папирос и смотрю на девушку. Она продолжает читать.

— Простите, — говорю я ей по-французски, — вы с таким интересом читаете... Позвольте узнать, какой это роман?

Девушка оборачивается, скидывает на меня свои красивые голубые глаза и растерянно улыбается.

Бедняжка ни слова не понимает по-французски.

АРИСТОКРАТКА

Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фильдекосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место.

А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней, и в театр водил. В театре-то все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме.

А встретился я с ней во дворе дома. На собрании. Гляжу, стоит этакая фря. Чулочки на ней, зуб золоченый.

— Откуда, — говорю, — ты, гражданка? Из какого номера?

— Я, — говорит, — из седьмого.

— Пожалуйста, — говорю, — живите.

И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней. В седьмой номер. Бывало, приду, как лицо официаль-

ное. Дескать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода и уборной? Действует?

— Да, — отвечает, — действует.

И сама кутается в байковый платок, и ни мур-мур больше. Только глазами стрижет. И зуб во рте блестит. Походил я к ней месяц — привыкла. Стала подробней отвечать. Дескать, действует водопровод, спасибо вам, Григорий Иванович.

Дальше — больше, стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит себя под руку принять. Приму ее под руку и волочусь, что щука. И чего сказать — не знаю, и перед народом совестно.

Ну а раз она мне и говорит:

— Что вы, говорит, меня все по улицам водите? Аж голова закрутилась. Вы бы, говорит, как кавалер и у власти, сводили бы меня, например, в театр.

— Можно, — говорю.

И как раз на другой день прислала комячейка билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька-слесарь пожертвовал.

На билеты я не посмотрел, а они разные. Который мой — внизу сидеть, а который Васькин — аж на самой галерейке.

Вот мы и пошли. Сели в театр. Она села на мой билет, я на Васькин. Сижу на верхотурьи и ни хрена не вижу. А ежели нагнуться через барьер, то ее вижу. Хотя плохо.

Поскучал я, поскучал, вниз сошел. Гляжу — антракт. А она в антракте ходит.

— Здравствуйте, — говорю.

— Здравствуйте.

— Интересно, — говорю, — действует ли тут водопровод?

— Не знаю, — говорит.

И сама в буфет прет. Я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюдо. На блюде пирожные.

А я этаким гусем, этаким буржуем нерезанным вьюсь вокруг нее и предлагаю:

— Ежели, — говорю, — вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь. Я заплачу.

— Мерси, — говорит.

И вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом и жрет.

А денег у меня — кот наплакал. Самое большое что на три пирожных. Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю, смотрю рукой, сколько у меня денег. А денег — с гулькин нос.

Съела она с кремом, цоп другое. Я аж крякнул. И молчу. Взяла меня этакая буржуйская стыдливость. Дескать, кавалер, а не при деньгах.

Я хожу вокруг нее, что петух, а она хохочет и на комплименты напрашивается.

Я говорю:

— Не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть.

А она говорит:

— Нет.

И берет третье. Я говорю:

— Натощак — не много ли? Может вытошнить.

А она:

— Нет, — говорит, — мы привыкшие.

И берет четвертое. Тут ударила мне кровь в голову.

— Ложи, — говорю, — взад!

А она испужалась. Открыла рот. А во рте зуб блестит. А мне будто попала вожжа под хвост. Все равно, думаю, теперь с ней не гулять.

— Ложи, — говорю, — к чертовой матери!

Положила она назад. А я говорю хозяину:

— Сколько с нас за скушанные три пирожные?

А хозяин держится индифферентно — ваньку валяет.

— С вас, — говорит, — за скушанные четыре штуки столько-то.

— Как, — говорю, — за четыре? Когда четвертое в блюде находится.

— Нету, — отвечает, — хотя оно и в блюде находится, но надкус на ем сделан и пальцем смято.

— Как, — говорю, — надкус, помилуйте. Это ваши смешные фантазии.

А хозяин держится индифферентно — перед рожей руками крутит.

Ну, народ, конечно, собрался. Эксперты. Одни говорят — надкус сделан, другие — нету.

А я вывернул карманы — всякое, конечно, барахло на пол вывалилось — народ хохочет. А мне не смешно. Я деньги считаю.

Сосчитал деньги — в обрез за четыре штуки. Зря, мать честная, спорил.

Заплатил. Обращаюсь к даме:
— Докушивайте, — говорю, — гражданка. Заплачено.
А дама не двигается. И конфузится докушивать.
А тут какой-то дядя ввязался.
— Давай, — говорит, — я докушаю.
И докушал, сволочь. За мои деньги.
Сели мы в театр. Досмотрели оперу. И домой.
А у дома она мне и говорит:
— Довольно свинство с вашей стороны. Которые без денег — не ездют с дамами.
А я говорю:
— Не в деньгах, гражданка, счастье. Извините за выражение.
Так мы с ней и разошлись. Не нравятся мне аристократки.

ГЕРОЙ

Люди опрометью бежали к Фонтанке.
Какая-то баба у перил отчаянно кричала:
— Тонет! Голубчики, тонет... Ей-богу...
— Кто тонет? — спрашивали люди.
— Да человек тонет... Гражданин, конечно. Сама видела: сиг через перилки — и нету... Да вот он! Вот!
Действительно, из воды показалась чья-то голова. Голова выплевывала воду, фыркала и тихонько вопила о помощи.
Люди теснились у перил, с жадностью глядя в воду.
— Ой-ё-ёй! — причитала баба. — Тонет, конечно...

— Да что же это, граждане? Не собака ведь... Ловить надоть.

Какой-то парень протискался через толпу к самым перилам.

— Кто тонет? — спросил он строго. — Гражданин, что ли?

— Гражданин...

— Нарочно, что ли, или, может быть, окосемши?

— Нарочно.

— Чичас, — сказал парень.

Он сбросил картуз наземь и, любуясь собой, полез через перила. Лез он медленно, поглядывая на толпу. Потом сел на перила и спросил:

— А чего, граждане, медали-то нынче дают за спасение этих самых утопающих, ай нет?

— Медали-то? — сказал кто-то. — А неизвестно.

— Неизвестно, — сказали в толпе. — Раньше-то давали.

Парень горько усмехнулся.

— Раньше! Сам знаю... Я, может, этих чертей утопающих семь штук переловил... Раньше...

Какой-то красноармеец отчаянно взмахнул руками, скинул с себя шинель и бросился в воду.

Через несколько секунд он вытащил утопающего за воротник.

Парень сидел на перилах и орал:

— Так! Загребай левой рукой...левой... А правой за воротник держи... Чичас лодка подойдет... Так! Не выпускай... Эх, дура!... Не могут ловить, а тоже бросаются. Туда же!

К месту происшествия подошла лодка.

— Кончено, — сказал парень. — Его счастье. Он вытащил. А если б не он — я бы вытащил. Без медали... Нехай уж...

Парень надел картуз и побежал к пристани. Народ долго стоял у перил, глаза на то место, куда бросился человек. Потом стал медленно расходиться.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО

Бывший швейцар Ефим Щуркин два года мотался по всем учреждениям — искал службу. И наконец нашел по своей специальности.

Устроил ему место родной племянник Мишка Гусев. Ефим Щуркин в свое время его по щекам бил и за уши рвал, а теперь это шишка, не переплунешь.

Очень интересно Щуркину было разговаривать с Мишкой. Сидел Мишка в кабинете и курил папироски. А Щуркин стоял возле и, пытаясь разговаривать с легкостью, почти-тельно кланялся.

Но легкий разговор не удавался. Мишка Гусев вел себя строго и для солидности не выпускал даже пера из рук.

— Что ж, товарищ дядя, — говорил Мишка строгим голосом, — валяйте, устраивайтесь. Место это легкое, нетрудное. А которые люди думают, что эта должность унижает человеческое достоинство, то напротив того... Смотри как держать себя...

— Я держать себя знаю, — уныло сказал Щуркин. — Я пятнадцать лет в швейцарах был...

— Это не разговор, — нахмурился Мишка. — Что было, то забудьте. Вы, как есть бывший швейцар, должны знать,

что теперь не та механика... И глядите, товарищ дядя, чтоб на чай не брать. И почтительность чтоб не распускать, как раньше. Конечно, это не то чтоб по роже людей бить, но достоинство свое не унижайте и соответствуйте своему назначению.

— Ты меня не учи, — сказал Щуркин, — я сам знаю свое достоинство.

— А если так, то валяйте, товарищ дядя, — приступайте к своим обязанностям.

Мишка обмакнул перо в чернильницу, желая этим показать, что аудиенция кончена.

Щуркину хотелось еще поговорить кое о чем таким же строгим официальным тоном, но он не посмел и, кашлянув, вышел из кабинета, осторожно ступая на носки.

А на другой день Ефим Щуркин приступил к своим обязанностям.

Он вычистил кирпичом дверные ручки, обтер сырой тряпкой зашарканную лестницу и, мрачно посмеиваясь в усы, присел на табурет подле дверей.

«Ладно, — думал Щуркин про своего племянника, — молодой, а учить меня вздумал. Достоинство, говорит, не потеряй. А я сам знаю свое достоинство. Я, товарищ Мишка Гусев, никому не позволю себя унижить. А которые, может, думают, что двери им настезь открывать буду, — забудьте... Я свое достоинство наобум знаю. Оставьте беспокоиться, товарищ Мишка...»

Четырех часов Ефим Щуркин ждал с нетерпением. В четыре часа служащие кончали работу.

— Ладно уж, выходи, — бормотал Щуркин. — Выходи, кончай работу. По роже мы вас бить не станем, но унижить не допустим... Выходи уж.

В четыре ровно Щуркин взял газету и, присев на табурет, вытянул свои ноги. И принялся читать. Служащие сначала выходили по одному.

— Выходи, выходи, — бормотал Щуркин, подмигивая, — жди, что двери открою, ожидай кукиш с маслом...

Служащие с удивлением смотрели на развалившуюся фигуру и осторожно обходили протянутые щуркинские ноги. Один из служащих, слегка споткнувшись, извинился и шмыгнул в дверь.

«Извиняются, — радостно подумал Щуркин. — А небось раньше бы в рожу дал. Будет, прошло времечко».

Служащие выходили все гуще, мелькали перед щуркинскими глазами, хлопали тяжелой дверью.

— Мелькай, мелькай, — бормотал Щуркин. — Это ваше дело — мелькать... Устраивай сквозняки. Простужай человека. Унижай личность...

Какой-то служащий, перешагнув через ноги Ефима Щуркина, вышел на улицу, не прикрыв за собой дверь.

— Двери! — заорал Щуркин, выбегая вслед за служащим. — Двери закрывай! Тут вам нет горничных. Черт собачий.

Служащий испуганно обернулся и, покорно закрыв двери, пошел дальше, с беспокойством оглядываясь назад.

— Так его, — весело смеялся Щуркин.

Маленькая девица-машинистка, наряженная обезьяной, подошла к двери и осторожно потрогала ее пальцем, пытаясь открыть. Дверь не поддавалась.

— Обожди, — сказал Щуркин, прижимая дверь ногой. — Обожди тут. Наберется партия в десять человек — пушу тогда.

У девицы от обиды задрожал подбородок, и Щуркин, боясь, что она заплачет, нехотя выпустил ее.

«Надо будет записку присобачить к дверям, — подумал Щуркин, — дескать, так и так — выходить партиями».

Щуркин пошел в свою каморку и, достав бумагу, принялся выводить:

«Выходить партиями. По десять персон. Привратник Ефим Щуркин».

Однако записку эту Щуркину не удалось присобачить к дверям. Он был вызван к Мишке Гусеву.

Мишка Гусев долго Щуркина не задерживал. Он дал ему денег и строгим официальным тоном приказал ехать в деревню.

Щуркину хотелось поговорить на официальные темы, но он снова не посмел и, вернувшись к себе, принялся собирать свои вещи, бросая их в мешок и сплевывая от обиды туда же.

БОЖЕСТВЕННОЕ

Первого ноября (1923 года) был католический праздник Всех святых. Во время этого праздника ксендз Смоленского костела обратился к прихожанам, как сообщает газета «Рабочий Путь» (№ 265), с такой проповедью:

Я, как хозяин костела, нанял органиста Дашкевича. Костельный совет платил органисту сначала 150 миллионов, потом

200, потом 400. Все с него мало. Теперь мы платим ему даже 5 рублей золотом по курсу дня. Кроме того, я ежедневно даю обед Дашкевичу. Но нужно сказать, что этот органист за троих ест. Такой обжора...

Так сообщает газета. Дальше, нам думается, было так.

Ксендз поднял руку для благословения прихожан, но раздумал и, потирая свою бритую полную щеку, продолжал:

— Ей-богу, обжора, каких мало. Таких обжор и свет не видывал!

— А чего он, съедает что ли много? — спросил кто-то из прихожан.

— Съедает много, — сказал ксендз. — Я же и говорю: жрет и жрет, сукин кот. Дашь ему обед — он и первое блюдо слопает и второе. И хлеб еще трескает.

Прихожане оживились. И, закрыв молитвенники, стали рассуждать о дороговизне.

— Ужас, как жрет! — снова начал ксендз. — Обед слопает, а после еще чаю просит.

— С сахаром? — спросил кто-то.

— Дай ему с сахаром, он и с сахаром вылакает. Ему что? Не его сахар. Давеча дал я ему сахару два куска. На месяц, говорю. А он враз слопал.

— Врет! — раздался чей-то голос.

Позади ксендза появилась растрепанная фигура органиста. Был органист высокий и худой, и костюм на нем висел, как на палке.

— Брет! — снова сказал органист. — Кусок он мне дал, а не два.

Прихожане встали со своих мест и с явным любопытством разглядывали органиста.

— А хоть бы и кусок, — сказал ксендз, махая на органиста руками. — Кусок тоже денег стоит... Уйди, собачий нос! Я хозяин костела!

Органист потоптался на одном месте и ушел под свист публики. Ксендз поднял руку для благословения, но снова раздумал и, опустив руку, продолжал печальным голосом:

— Или еще того чище: штаны с френчем просит. Купите говорит, мне штаны с френчем. А я ему говорю: видал, как лягушки скачут...

В публике засмеялись. Ксендз в третий раз поднял руку и, бормоча что-то себе под нос, благословил прихожан. Началось молебствие. На крыше тихонько плакали херувимы.

ЖЕНИХ

На днях женился Егорка Басов. Взял он бабу себе здоровую, мордастую, пудов на пять весом. Вообще, повезло человеку.

Перед тем Егорка Басов три года ходил вдовцом — никто не шел за него. А сватался Егорка чуть не к каждой. Даже к хромой солдатке из Местечка. Да дело расстроилось из-за пустяков.

Об этом сватовстве Егорка Басов любил поговорить. При этом врал он неимоверно, всякий раз сообщая все новые и удивительные подробности.

Все мужики наизусть знали эту историю, но при всяком удобном случае упрасивали Егорку рассказать сначала, заранее давась от смеха.

— Так как же ты, Егорка, сватался-то? — спрашивали мужики, подмигивая.

— Да так уж, — говорил Егорка, — обмишурился.

— Заторопился, что ли?

— Заторопился, — говорил Егорка. — Время было, конечно, горячее — тут и косить, тут и носить, и хлеб собирать. А тут, братцы мои, помирает моя баба. Сегодня она, скажем, свалилась, а завтра ей хуже. Мечется и бредит, и с печки падает.

— Ну, — говорю я ей, — спасибо, Катерина Васильевна, без ножа вы меня режете. Не вовремя помирать решили. Потерпите, говорю, до осени, а осенью помирайте.

А она отмахивается.

Ну, позвал я, конечно, лекаря. За пуд овса. Лекарь пересыпал овес в свой мешок и говорит:

— Медицина, — говорит, — бессильна что-либо предпринять. Не иначе, как помирает ваша бабочка.

— От какой же, — спрашиваю, — болезни? Извините за нескромный вопрос.

— Это, — говорит, — медицине, опять-таки, неизвестно. Дал, все-таки, лекарь порошки и уехал.

Положили мы порошки за образа — не помогает. Брендит баба и мечется, и с печки падает, а к ночи помирает.

Взвыл я, конечно. Время, думаю, горячее — тут и носить, тут и косить, а без бабы немислимо. Чего делать — неизвено. А ежели, например, жениться, то опять-таки на ком это жениться? Которая, может, и пошла бы, да неловко ей наспех. А мне требуется наспех.

Заложил я лошадь, надел новые штаны, ноги вымыл и поехал.

Приезжаю в Местечко. Хожу по знакомым.

— Время, — говорю, — горячее, разговаривать много не приходится, нет ли, говорю, какой ни на есть захудалой бабочки, хотя бы слепенькой. Интересуюсь, говорю, жемитьбой.

— Есть, — говорят, — конечно, но время горячее, браком никто не интересуется. Сходите, говорят, к Анисье, к солдатке, может, ту обломаете.

Вот я и пошел.

Прихожу. Смотрю — сидит на сундуке баба и ногу чешет.

— Здравствуйте, — говорю. — Перестаньте, говорю, чесать ногу — дело есть.

— Это, — отвечает, — одно другому не мешает.

— Ну, — говорю, — время горячее, спорить с вами много не приходится — вы да я — нас двое, третьего не требуется, округимся, говорю, и завтра выходите на работу снопы вязать.

— Можно, — говорит, — если вы мной интересуетесь.

Посмотрел я на нее. Вижу — бабочка ничего, что надо, плотная и работать может.

— Да, — говорю, — интересуюсь, конечно. Но, говорю, ответьте мне, все равно как на анкету, сколько вам лет от роду?

— А лет, — отвечает, — не так много, как кажется. Лета мои не считаны. А год рождения, сказать — не соврать, одна тыща восемьсот восемьдесят шестой.

— Ну, — говорю, — время горячее, долго считать не приходится. Ежели не врете, то ладно.

— Нет, — говорит, — не вру, за вранье Бог наказывает. Собирается, что ли?

— Да, — говорю, — собирайтесь. А много ли имеете вещичек?

— Вещичек, — говорит, — не так много: дыра в кармане, да вошь на аркане. Сундучок да перина.

Взяли мы сундучок и перину на телегу. Прихватил я еще горшок и два полена, и поехали.

Я гоню лошадь, тороплюсь, а бабочка моя на сундучке трясется и планы решает — как жить будет, да чего ей стряпать, да не мешало бы, дескать, в баньку сходить — три года не хожено.

Наконец приехали.

— Вылезайте, — говорю.

Вылезает бабочка с телеги. Да, смотрю, как-то неинтересно вылезает — боком и вроде бы хромает на обе ноги. Фу ты, думаю, глупость какая!

— Что вы, — говорю, — бабочка, вроде бы хромаете?

— Да нет, — говорит, — это я так, кокетничаю.

— Да как же, помилуйте, так? Дело это серьезное, ежели хромаете. Мне, говорю, в хозяйстве хромать не требуется.

— Да нет, — говорит, — это маленько на левую ногу. Полвершка, говорит, всего и нехватка.

— Пол, — говорю, — вершка или вершок — это, говорю, не речь. Время, говорю, горячее — мерить не приходится. Но, говорю, это немыслимо. Это и воду понесете — расплескаете. Извините, говорю, обмешурился.

— Нет, — говорит, — дело заматано.

— Нет, — говорю, — не могу. Все, говорю, подходит: и мордovorot ваш мне нравится и лета — одна тыща восемьсот восемьдесят шесть, но не могу. Извините — промигал ногу.

Стала тут бабочка кричать и чертыхаться, драться, конечно, полезла, не без того. А я, тем временем, выношу полегоньку имущество на двор.

Съездила она меня раз или два по морде — не считал, а после и говорит:

— Ну, — говорит, — стручок, твое счастье, что заметил. Вези, говорит, назад.

Сели мы в телегу и поехали. Только не доехали, может, семи верст, как взяла меня ужасная злоба.

«Время, — думаю, — горячее, разговаривать много не приходится, а тут извольте развезить невест по домам».

Скинул я с телеги ейное имущество и гляжу, что будет. А бабочка не усидела и за имуществом прыгнула. А я повернул кобылку — и к лесу.

А на этом дело кончилось.

Как она домой дошла с сундуком и с периной, мне неизвестно. А только дошла. И через год замуж вышла. И теперь на сносях.

ПОСЛЕДНЕЕ РОЖДЕСТВО

Давненько я не праздновал Рождества.

В последний раз это было лет семь назад.

Перед самым Рождеством выехал я к своим родным в Петроград. Мне не повезло: на какой-то пустяковой станции пришлось ночевать. Поезд опаздывал часов на двенадцать.

А станция была действительно пустяковая — не было даже буфета.

Сторож, впрочем, хвалился, что буфет «обнакновенно есть, но покеда», по случаю праздников — нет. Утешение было среднее.

На этой станции нас, горемычных путников, было человек двенадцать. Тут был и какой-то купец-рыбник с бородой, два студента и какая-то женщина в старомодной ротонде, с двумя чемоданами, и прочий неизвестный мне люд.

Все покорно сидели за столом в маленькой зале, и только в купце бушевала злоба. Он вскакивал из-за стола, бежал в дежурную, и нам было слышно, как голос его злобно повизгивал и повышался.

Кто-то из начальства отвечал спокойно:

— Не могу знать... В восемь утра... Не раньше.

Среди пассажиров был еще очень опрятного вида старичок в шубке и в высокой меховой шапке. Сначала старичок, добродушно посмеиваясь, утешал пассажиров, ласково глядя им в глаза, потом принялся подпевать тихим козлиным тенорком: «Рождество твое, Христе Боже наш».

Это был старичок совершенно набожного вида. Добродушие и кротость были заметны во всяком его движении.

Он сидел на стуле и, покачиваясь в такт, пел «Рождество твое». Но вдруг сорвался со стула и исчез со станции... Через несколько минут он вернулся, держа в руке еловый сучок.

— Вот! — сказал старичок с восторгом, подходя к столу. — Вот, милостивые государи, и у нас елка.

И старичок принялся втыкать елку в графин, тихо подпевая: «Рождество твое, Христе Боже наш».

— Вот, милостивые государи, — снова сказал старичок, несколько отходя от стола и любясь своей работой. — В этот торжественный день, по чьим-то грехам, вынуждены мы тут сидеть яко благ, яко наг...

Пассажиры с неудовольствием и раздражением смотрели на суетливую фигурку старика.

— Да, — продолжал старичок, — по чьим-то грехам... Православные христиане, этот торжественный день мы, конечно, привыкли проводить среди своих друзей и приятелей. Мы привыкли смотреть, как наши маленькие детки прыгают в неопишемом восторге вокруг рождественской елки... Нам нравится, милостивые государи, по человеческим слабостям, откусать в этот день и ветчинки с зеленым

горошком, и кружок-другой колбасы, и ломтик гуся, и рюмашечку чего-нибудь этого...

— Тьфу! — сказал рыботорговец, с омерзением глядя на старичка. Пассажиры задвигались на стульях.

— Да, милостивые государи, — продолжал старичок тончайшим голосом, — привыкли мы проводить этот день в торжестве, но если нет, то не пойдешь против Бога... Говорят, тут неподалеку существует церковка... Пойду я туда... Пойду, милостивые государи, пролью слезу и поставлю свечечку...

— Послушайте, — сказал торговец, — а может, тут чем разжиться можно? Может, в самом деле, тут этово... ветчинки раздобыть можно? Ежели расспросить.

— Полагаю, что можно, — сказал старичок, — за деньги, милостивые государи, все можно. Ежели собраться...

Купец вынул бумажник и, хлопнув об стол, стал отсчитывать. Пассажиры с радостью заворочались на стульях, вытаскивая свои деньги...

Через несколько минут, подсчитав собранные деньги, старичок с восторгом объявил, что хватит за глаза и на еду и на питье и на прочее.

— Только вы недолго, — сказал торговец.

— Поставлю свечечку, — сказал старичок, — пролью слезу, расспрошу у православных христиан, где купить, и назад... За кого, милостивые государи, поставить свечечку?

— Поставьте за меня, — сказала женщина в ротонде, роясь в кошельке и протягивая деньги.

Денег от нее старичок не взял.

— Нет, сударыня, — сказал он, — позвольте уж мне из своих скромных средств сделать христианское дело. За кого еще?

— Ну и за меня тогда, — сказал купец, пряча свой бумажник. Старичок кивнул головой и вышел. «Рождество твое, Христе Боже наш», — услышали мы его голос.

— Какой божественный старичок! — сказал торговец.

— Удивительный старичок, — поддержал кто-то.

И пассажиры с восторгом стали рассуждать о старичке.

Прошел час. Потом два. Потом часы пробили пять. Старичок не шел. В семь часов утра его тоже не было.

Половина восьмого — подали поезд, и пассажиры бросились занимать места.

Поезд тронулся.

Было еще темновато. Вдруг мне показалось, что за углом станции мелькнула знакомая фигура старичка.

Я бросился к окну. Старичок скрылся.

Я вышел на площадку — и вдруг явственно услышал знакомый козлиный тенорок: «Рождество твое, Христе Боже наш».

Это было мое последнее Рождество.

Сейчас к религии я отношусь как-то скептически.

КРЕПКАЯ ЖЕНЩИНА

Нынче все говорят о борьбе с проституцией и жалеют женщин.

Вот, дескать, бедные: уволят их по сокращению, а они очертя голову идут на улицу.

И верно: жалко.

Но, конечно, разные бывают женщины. Бывает, такая крепкая попадется — ей и улица не страшна. Знали мы одну такую. По фамилии Беленькая. Уволили ее по сокращению, дали ей за две недели вперед, а она повертела получку в руках и думает:

«Прожру, думает, на пирожные. А там видно будет».

Пошла в кондитерскую, скушала, сколько могла, пирожных и домой вернулась.

«Ну, думает, а теперь — труба. Либо мне в Фонтанку нырять, либо в Мойку, либо на улицу идти».

Помазала она брови сажей, губы — сургучом, шляпку с пером надела и вышла на улицу. Постояла на углу. Вдруг мужчина какой-то подходит.

— Что ж, говорит, мамзель-дамочка, зря стоять простужаться. Пойдем на время.

А она развернулась — хлесь его в ухо.

— За кого, говорит, принимаешь, скотина? Не видишь?

Гражданин оступел, повернулся, галошу потерял и скрылся за углом. А девица гордо постояла и пошла домой.

Домой пришла.

«Нет, думает, это не в моем характере — проституция. Иные, конечно, уволенные по сокращению, бросаются, очертя голову, на улицу, а я не такая...»

Подумала она, подумала, чего ей делать, и стала мастерить для продажи дамские шляпки.

Этим она теперь и живет. И жизнь роскошная.
А материал для шляпок доставляют ей гости. Денег она с них не берет, а берет материей.
А вы говорите — проституция.

СКАЗКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Нынче издатели народ особенный. Им повесть из испанской жизни принесешь, а они недовольны, обижаются.

— Вы бы, — говорят, — чем пустяки писать, для детишек чего-нибудь бы написали. Взрослый человек любую газету прочесть может, «Вестник Петросовета» может прочесть — с него и хватит. А вот детишкам-то какво? У детишек — книжный голод. Напишите-ка, батенька, сказочки какие-нибудь этакие. И нам спокойней и всем приятней и детишкам-то радость какая.

Что ж! Можно и для детишек. Пожалуйста.

1. *Мамкин аборт*

Жили-были папа и мама. Вдруг распоряжение от управления — родить маме сына.

Заплакала мама.

— Ох-хо-хо, — говорит, — рожу я сына, а его, может, в армию возьмут, либо под суд отдадут — ни шерсти с него мне, ни молока. Лучше бы, говорит, родить мне, если на то пошло, дочку...

А папа чересчур нахмурился и говорит:

— Дочку тоже, не тово, не сладко... Может, она под трамвай попадет, а у меня нервы слабые. На меня революция подействовала. Да еще, может, она в безработных насидится. Нынче повсюду сокращения и все за счет которые барышни.

А мама и говорит:

— Тогда, говорит, лучше я аборт сделаю. Нынче уголовный закон это не преследует... Дай, говорит, мне денег.

Заплакал папа, чистое белье надел. Заплатил по счетчику, за воду заплатил, за уборку мусора тоже заплатил, налоги внес — гражданский, общегражданский, и на улучшение быта пожарных, и на развитие текстильной промышленности... Записал маму на Биржу труда и помер в страшных мучениях.

2. Кот в сапогах

Жил был кот — Васька Штопор. И такой это был превосходный кот, красавец собой, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Жил этот кот с Манькой Беленькой, ничего не делал — ел, спал и все время катался, как сыр в масле.

Только он однажды сказал и говорит Маньке:

— Чтой-то мне противно стало в американских штиблетах ходить, хочу, говорит, ходить в русских сапогах.

Заплакала чересчур Манька.

— Ох, говорит, котик ты мой превосходный! Где же я денег на этот случай возьму? Доходы у меня не ахти какие, вчерась едва на гражданский налог заработала. А которые го-

сти, те не всякий день приходят и все рваные дензнаки под-
сунуть стараются.

Подумала она, подумала и решила обложить гостей пены-
ней. Сказано — сделано. Обложила она гостей пеней и купи-
ла коту русские сапоги. Стал с тех пор кот ходить в сапогах.

3. Красная Шапочка

Жила-была Красная Шапочка и жил был эс-еренький
волк. Только однажды вылез эс-еренький волк из ямы и го-
ворит:

— Погода нынче приятная, пойду погуляю — волков бо-
яться — в лес не ходить!

Услышал это эс-еренький зайчик, побежал к Красной Ша-
почке.

— Слушай-ка, — говорит, — Красная Шапочка. Пойдет
сейчас по этой тропке эс-еренький волк, так ты его тово, по-
щекоти малехонько.

Обрадовалась Красная Шапочка. Пошла по тропке и вол-
ка встретила. Испугался волк.

— Ох, — говорит, — Красная Шапочка, отчего, говорит, у
тебя нос такой длинный, я боюсь.

— А это, — говорит Красная Шапочка, — ничего, ты не
бойся.

— А отчего, — говорит, — у тебя руки такие длинные?

— А это, чтоб тебя схватить.

Схватила она эс-еренького волка, а у него с перепуту и
дух вон.

4. Петька Трепач

Жил-был на углу Невского Петька Трепач. Торговал китайскими. Ну а однажды подсчитал он свою выручку и говорит ребятам допапиросного возраста:

— Вот что, робя! Кто, говорит, нынче со мной хочет в шмендефер сыграть, либо в макао?

Обрадовались ребята и говорят:

— Это мы хотим. Идем, что ли.

Пошли ребята в Балабинскую, номер сняли, как приезжие с угла Невского, и в картишки ударились. Ударились они в картишки, а Петька Трепач взял и обыграл всю братию.

И разбогател это ужасно как.

Переехал в Европейскую, живет роскошно — на трамваях катается, папиросы № 6 курит — вообще, мотовство и прихоти.

Только проходит три дня — растранижил все денежки.

Ходит он по Европейской скучный, смотрит — кресло стоит.

— Что-ж, — думает Петька, — может оно, бесхозное.

Выкатил он кресло на улицу и торгует.

Вдруг буржуй идет.

— Буржуй, а буржуй! — говорит Петька. — Не купишь ли креслица? Чересчур превосходное, магическое кресло — от всех налогов освобождает.

Обрадовался буржуй. Стал торговаться с Петькой. Заплатил ему триллион рублей, взвалил кресло на спину и пошел себе.

А Петька разбогател снова. Женился.

Я на свадьбе той был, самогонку пил. По усам текло, да вдруг нагрнула милиция.

— Эге, — сказала милиция, — это у вас чтой-то по усам текет? Не самогонка ли? Ежели самогонка, то с вас приходится.

СВЯТОЧНЫЕ РАССКАЗЫ

1913 год

Колокола гудели...

Графиня фон Пиксафон попудрила свои губы и кокетливо улыбнулась.

— Стук-стук! — раздался стук, и в дверь просунулась чья-то выхоленная борода.

— Войдите, — сказала графиня по-французски.

— Мерси, — сказала борода, входя.

Это была борода не кто иная, как барон Штепсель.

— Ах! — подумала графиня фон Пиксафон, падая без чувств.

— Осторожней падайте, графиня! — раздался чей-то голос из-под кровати.

Это был голос не кто иной, как Васька Хрящ, который хотел ограбить графиню, но, раскаявшись в своих преступлениях, он решил предаться в руки правосудия.

— Ах! — сказала графиня по-французски, падая без чувств.

— В чем дело? — воскликнул барон, наставляя на Ваську револьвер с пулями.

— Вяжите меня! — хрипло сказал Васька, зарыдав от счастья. И все трое обнялись, рыдая от счастья.

А там, вдали, за окном, плакал чей-то полузамерзший труп ребенка, прижимаясь к окну. Колокола гудели.

1915 год

В воздухе свистели пули и пулеметы. Был канун Рождества. Прапорщик Щербатый поправил на загорелой груди Георгиевский крест и вышел из землянки, икнув от холода.

— Холодно в окопах! — рассуждали между собой солдаты, кутаясь в противогазовые маски.

— Ребята! — сказал им прапорщик Щербатый дрогнувшим голосом. — Кто из вас в эту рождественскую ночь доползет до проволоки и обратно?

Молчание воцарилось в рядах серых героев.

Прапорщик Щербатый поправил на груди Георгиевский крест и, икнув от холода, сказал:

— Тогда я доползу... Передайте моей невесте, что я погиб за веру, царя и отечество!

— Ура! — закричали солдаты, думая, что война кончилась миром.

Прапорщик Щербатый поправил Георгиевский крест и пополз по снегу, икая от холода. Вдали где-то ухал пулемет.

— Ура! — закричали серые герои, думая, что это везут им ужин.

1920 год

Приводные ремни шелестели.

Огромные машины мерно стучали мягкими частями, будто говоря: сегодня сочельник, сегодня елка...

— Никаких елок! — воскликнул Егор, вешая недоеденную колбасу на шестеренку.

— Никаких елок! — покорно стучали машины. — Никаких ельников!

В эту минуту вошла в помещение уборщица Дуня.

— Здравствуйте, — сказала она здоровым, в противовес аристократии, голосом, вешая свою косынку на шестеренку.

— Не оброните колбасу! — сказал Егор мужественным голосом.

— Что значит мне ваша колбаса, — сказала Дуня, — когда производство повысилось на тридцать процентов?

— На тридцать процентов? — воскликнул Егор в один голос.

— Да, — просто сказала Дуня. Их руки сблизились.

А вдали где-то шелестели приводные сыромятные ремни.

1923 год

Курс червонца повышался.

Нэпман Егор Ньюшкин, торгующий шнурками и резинками, поселился вокруг елки, увешанной червонцами.

Огромное зало в три квадратных сажени по 12 рублей золотом по курсу дня за каждую сажень было начищено и сияло полотерами, нанятыми без биржи труда.

«Ага», — подумал фининспектор, постукивая.

— Войдите, — сказал торговец, влезая на елку, думая, что это стучит фининспектор, и не желая расстаться с червонцами.

— Здравствуйте, — сказал фининспектор, разувая галоши государственной резиновой фабрики «Треугольник» по пять с полтиной золотом за пару по курсу дня, купленной в ПЕПО с двадцатипроцентной скидкой. — А где же хозяин?

— Я здесь, — сказал хозяин, покачиваясь на верхней ветке.

— Слазь отседа! — сказал фининспектор, сморкаясь в чистую бумажку. — Я принес вам обратно деньги, переплаченные вами за прошлый месяц.

— Ну? — сказал ээпман Ньюшкин, качаясь.

В этот момент хрупкое дерево, купленное из частных рук, не выдержало и упало, придавив своей тяжестью корыстолюбивого торговца.

Так наказываются жадность и религиозные предрассудки. Вносите же подоходный налог!

СОБАЧИЙ НЮХ

У купца Еремея Бабкина сперли енотовую шубу.

Взвыл купец Еремей Бабкин. Жалко ему, видите ли, шубы.

— Шуба-то, говорит, — больно хороша, граждане. Жалко. Денег не пожалею, а уж найду преступника. Плюну ему в морду.

И вот вызвал Еремей Бабкин уголовную собаку-ищейку. Является этакий человек в кепочке, в обмотках, а при нем собака. Этакая даже собачища — коричневая, морда острая и несимпатичная.

Ткнул этот человек собачку свою в следы возле двери, сказал «пс» и отошел. Понюхала собака воздух, повела по толпе глазом (народ, конечно, собрался) и вдруг к бабке Фекле, с пятого номера, подходит и нюхает ей подол.

Бабка за толпу. Собака за юбку. Бабка в сторону — и собака за ней. Ухватила бабку за юбку и не пускает.

Рухнула бабка на колени перед агентом.

— Да, — говорит, — попалась. Не отпираюсь. И, говорит, пять ведер закваски — это так. И аппарат — это действительно верно. Все, говорит, находится в ванной комнате. Ведите меня в милицию.

Ну, народ, конечно, ахнул.

— А шуба? — спрашивают.

— Про шубу, — говорит, — ничего не знаю и ведать не ведаю, а остальное — это так. Ведите меня, казните.

Ну, увели бабку.

Снова взял агент собачищу свою, снова ткнул ее носом в следы, сказал «пс» и отошел.

Повела собачища глазом, понюхала пустой воздух и вдруг к гражданину управдому подходит.

Побелел управдом, упал навзничь.

— Вяжите, — говорит, — меня, люди добрые, сознательные граждане. Я, говорит, за воду деньги собрал, а те деньги на прихоти свои истратил.

Ну, конечно, жильцы навалились на управдома, стали вязать. А собачища тем временем подходит к гражданину из седьмого номера. И теревит его за штаны.

Побледнел гражданин, свалился перед народом.

— Виноват, — говорит, — виноват. Я, говорит, это верно, в трудовой книжке год подчистил. Мне бы, говорит, жеребцу, в армии служить и защищать отечество, а я живу в седьмом номере и пользуюсь электрической энергией и другими коммунальными услугами. Хватайте меня!

Растерялся народ.

«Что, — думает, — за такая поразительная собака?»

А купец Еремей Бабкин заморгал очами, глянул вокруг, вынул деньги и подает их агенту.

— Уводи, — говорит, — свою собачищу к свиньям собачьим. Пушай, говорит, пропадает енотовая шуба. Пес с ней...

А собачища уж тут. Стоит перед купцом и хвостом вертит.

Растерялся купец Еремей Бабкин, отошел в сторону, а собака за ним. Подходит к нему и его калоши нюхает.

Заблекотал купец, побледнел.

— Ну, — говорит, — бог правду видит, если так. Я, говорит, и есть сукин кот и мазурик. И шуба-то, говорит, братцы, не моя. Шубу-то, говорит, я у брата своего зажил. Плачу и рыдаю!

Бросился тут народ врассыпную. А собачище и воздух некогда нюхать, схватила она двоих или троих — кто подвернулся — и держит.

Покаялись эти. Один казенные денежки в карты пропер, другой супругу свою утюгом тюкнул, третий такое сказал, что и передать неловко.

Разбежался народ. Опустел двор. Остались только собака да агент.

И вот подходит вдруг собака к агенту и хвостом виляет. Поблуднел агент, упал перед собакой.

— Кусайте, — говорит, — меня, гражданка. Я, говорит, на ваш собачий харч три червонца получаю, а два себе беру...

Чего было дальше — неизвестно. Я от греха поскорее смылся.

БАРОН НЕКС

Я, братцы мои, никогда особенно не любил баронов и графов, но в своей жизни я все-таки встретил одного умильного барончика. Я и теперь, как вспомню о нем, так смеюсь, будто меня щекотят под мышками.

Фамилия-то у него немецкая, но был он русский человек по всем статьям. И даже мужиков любил.

А поехал я к нему в имение, в Орловскую губернию. И не один я, а трое нас поехало — спецов-водопроводчиков: я, Василь Тарасович, да еще мастеров, мальчишка Васька.

Приехали. Делов видим на копейку — трубы провести по саду. Только и всего. Втроем, положи руку на сердце, и делать нечего. А условие на месяц.

Ладно. Работаем. Пища неплохая, чудная. Воздух и все такое — суцья благодать.

Но только проходит три дня — начали мы между собой обижаться и роптать. Что такое? Не отстают от нас барон ни на шаг.

Утром мы на работу — тут барон. Мы в сторону — и барон в сторону. Ходит мелкими шажками по аллеям и цветы нюхает.

Хорошо. Мы на кухню — барон за нами. Мы за стол — и он садится. И сидит, что заяц. И на нас смотрит.

«Тьфу ты, — думаем, — в рот ему кляп! Неужели же не доверяет и следит, чтоб свинцовую трубу у него не сперли?»

Вот раз мы вышли на работу, а Василь Тарасович подмигнул нам и вдруг к барону подходит. А в руке у него лопата.

Становится он к барону грудь к груди и говорит:

— Здравствуйте. Всем, говорит, мы довольны и премного вам благодарны, и все нам тут вокруг нравится, и делов на копейку, но, говорит, ежели вы к нам недоверие имеете и над нами держите контроль в смысле свинцовых труб, то мы к тому не привыкли. Раз условие — исполним. А вам нечего ходить позади да цветки нюхать.

Сказал — и лопату влево бросил: дескать, счастливо оставаться, прощайте.

Смотрим — барон осунулся сразу: похудел, заморгал очами и говорит тихим басом:

— Что вы, говорит, братцы! Да рази я что? Я ничего. Рази я контроль держу? Нет, говорит, просто чувствую я себя в вашем мужицком обществе молодцом. У меня, говорит, и аппетит является, и сон, и бодрость. Вы, говорит, уж позвольте мне вокруг вас находиться! Уж не обижайтесь!

Мы, конечно, посмеялись.

— Ладно, — говорим. Ежели с этой стороны — пожалуйста. Дело ваше хозяйское.

А с того дня и пошло все в гору да круче. Дали мы согласие на свою голову.

Утром, едва встали, глаза продрали — является наш барон. — Не пора ли, — говорит, — братишки? Здравствуйте.

И сам от нетерпения ручки свои трет и волнуется. И топчет.

Попьем чаю, выйдем на работу — барон уж тут. Интересуется ходом работы. И все пустяками. Только мешает.

Поработаем — пожалуйста, граждане, кушать. Присаживайтесь. Не стесняйтесь. Будьте как дома. Стол роскошный. И все скромное — щи или там лапша. И все с мясом.

Ну, а барон, конечно, тут же трется.

— Кушайте, — говорит, — дорогие приятели. Я говорю, — люблю, когда мастеровые мужички кушают. От этого, говорит, у меня аппетит является и сон.

Насмотрится на нас, как мы лопаем, и велит себе прибор нести. Начинает кушать с нами. Да только где ж ему с нами? Старичок он нежный, болезненный, ложку хлебнет, непременно обожжется, захаркает и дышит после, что жаба. Смотреть на него неловко.

Покушали. Ладно. Пожалуйста на траву ложиться. А барон тут же. Хлопочет.

— Ложись, — говорит, — робя под вишнями.

Ну, ляжем — нам что!

— Дыши, — говорит, — полным ртом и выдыхай испорченный воздух. Это, говорит, полезно по гигиене.

И сам ляжет на спину и дышит ртом.

Ах, в рот ему кляп!

Ну, начнем и мы, ради смеха, дышать. Дышим. Полон рот насекомой дряни наберется. Поплужем, после посмеемся и спать.

Проснулись — купаться, граждане. К пруду пожалуйте. Хочешь не хочешь — лезь.

Мы купаемся, а барон тут же полощется на берегу и хохочет от счастья.

И вот прожили мы таким образом две недели. И развезло нас, что кабанов. Ходим жирные, скучаем и работать не можем. А барон рад и доволен.

Сперва и мы радовались. Дескать, вот какое райское место нашли. Все было смешно и в диковинку. Ну, а после наскучило. И до того наскучило — дышать нечем, до краев дошло. Дни считаем, когда окончим.

А тут еще барон придумал последнюю моду: велит вечером по аллеям ходить мелким шагом. Ходим мы по аллеям, что лошади, а уйти не можем — обижаются.

Нам-то еще ничего — ну ходим и ходим, а вот мастеров наш чуть не плачет. Мальчишка небольшой, шестнадцатилетний, ему бы, подлецу, в рюшки играть, а тут, извините за выражение, ходи по аллеям.

И, конечно, дошло до краев. Бывало, мальчишка, как увидит барона, так затрясется весь, зубами заскрипит.

— Я, говорит, ему, старому сычу, покажу! Я, говорит, ему, черту драповому, напакощу.

И, действительно, стал мастерок барону пакостить. То клумбу с цветками ногами затопчет, то на веранду лягуху выпустит, то перед барскими окнами в кусты сядет. Хоть плачь...

Видим — не может так продолжаться.

Поднажали мы поскорей с работой, кончили в три дня и докладываем:

— Окончили. С вас приходится.

А барон чуть не плачет.

— Оставайтесь, — говорит, — голубчики. Мне, говорит, еще нужно трубы проложить. А мастерок пуцай пакостит — я потерплю.

— Нет, — говорим, — дудки.

— Ну, — говорит, — приезжайте тогда на другое лето. Вот вам задаток.

Взяли мы задаток, покушали, полежали в траве, собрали манатки и тронулись. Поехали. До свиданья! Счастливо оставаться! Не случайте!

И вот едем мы в поезде и до самой Москвы толкуем про барона, вспоминаем и над Васькой издеваемся. А у самой Москвы Васька нам и говорит:

— Вы, говорит, надо мной не смейтесь. Я, говорит, все же чертова старика прищемил. Я, говорит, ему напакостил.

— Да что ты? — спрашиваем.

— Ей-богу! Я, — говорит, — на самое прощанье в его конюшню влез, да трем лошадям хвосты начисто отстриг.

Ах, в рот ему кляп!

Ну, потрепали мы Ваську за вихры, а самим смешно. Тем дело и кончилось.

А, может, Васька и соврал, сукин кот. Может, он из гордости сказал. Неизвестно это.

Только на другое лето к барону не поехали.

ЧЕРТ

Ну, братцы, расскажу я вам историю, да только чур не смеяться надо мной. Историю эту, ей-богу, я не выдумал. Да у меня такой и фантазии никогда не было. А историю эту мне рассказал землячок мой, военный летчик Прокопченко, Семен Афанасьевич.

А история эта насчет бабки Анисьи.

Шла, видите ли, бабка Анисья из монастыря. Из Почаевской лавры. С богомолья. Шла, конечно, пешком. А до дому, до деревни Стружки, было от монастыря верст этак тридцать с гаком. Гаку три версты.

Вот бабка Анисья прошла сгоряча пятнадцать верст, а на шестнадцатой версте свалилась.

А еще бы: наклонялась бабка угодникам в монастыре самосильно. Мало того, что святым, а и всем праведникам и чудотворцам и даже каждому мало-мальски заметному священномученику в отдельности. Даже преподобному Марою. Смешно даже. Зато никому никакой обиды.

Ну и, конечно, от поклонов раскачало бабку. И до того ее, милую, раскачало, что на шестнадцатой версте шагу она шагнуть не может, хоть коровой кричи. Ну, прямо-таки расхлябался весь скелет бабкин до невозможности. Закланялась через меру.

Свалилась бабка на шестнадцатой версте в виду деревни Тьчкино, полностью раскрыла рот для воздуха и лежитazole самой канавы, скучает.

«Ишь ты, — думает, — клюква. Перехватила, думает, я в смысле поклонов. Нельзя же всем святым, в рот им си- тный... Себе дороже».

И вот лежит бабка возле канавы. Налево — деревня Тыч- кино. Направо — овес. Ежели прямо — лес, лес и болото.

И очень обидно стало бабке, что свалилась она подле бо- лота, на чужой стороне, возле деревни Тычкино.

«Ох, — думает бабка, — ежели я тут скончаюсь, то мне, конечно, зачтется. Бог-то все видит. Но только мне тут немисливо худо скончаться. Это и корова может меня на- нюхаться. И баран может ногой пихнуть. Мало ли что. Ох, думает, дала бы я полжизни, только б мне очутиться в Стружках! Да что полжизни. Черту бы самому душонку про- дала. Нехай уж. Только мне тут немисливо помирать, де- ревня чужая, лес, болото, пакость болотная... Тьфу!»

Только так бабка подумала, вдруг слышит этакий удиви- тельный шум и стрекот.

Оглянулась бабка — что за пустяки? Глазам бабка не ве- рит. Перед самой то есть канавой, на мужицком овсе стоит этакое большое сооружение. Дом не дом, машина не маши- на, автомобиль не автомобиль, а на колесах и вроде как едет.

«Мобиль, — подумала бабка, и вдруг испугалась. — Ой, думает, мать честная, пресвятая богородица дево радуйся... Как же это мобиль-то с шаше съехал и стоит вблизи канавы? Фу ты, думает, пропасть».

Села бабка наземь, обтерла глаза — не обмишурилась ли, думает. Да нет. Стоит машина на овсе, а под машиной на

пузе елозит какой-то представительный мужчина. С бородой.

Воззрилась бабка на мужчину, а тот молчит, что тень.

Худо стало бабке оттого, что тот молчит. И сказала тогда бабка нарочно с сердцем:

— Ты что ж это, батюшко, молчишь-то, сукин кот? Ты что ж это на хрестьянском овсишке на пузе плаваешь? Это я могу, если надо, хрестьянам тычкинским пожалиться. Это, батюшко, не показано, чтоб на овсе с мобилем елозили... Ты, может, уронил что?

А мужчина встал, посмотрел в канаву и говорит басом:

— Уронил. Загогулинку уронил. А ты, мамаша, брось жалиться. Я, говорит, сейчас свернусь. Какая моя вина, ежели порча вышла. А ты чего, между прочим, лежишь-то?

Легче стало бабке оттого, что мужчина голос подал.

— Ох, — говорит, — батюшко, да как же мне не лежать, если лежать приходится. Перекланялась я, батюшко, в монастыре-то. Перекланялась, и, конечно, сломило меня вблизи деревни Тычкино. Весь шкилет растрясло. Кости из состава вышли. И лежу я, батюшко, возле канавы. Ты бы меня, батюшко, провез бы на мобиле-то...

— Что ж, — сказал мужчина, — можно. А куда везть-то тебя?

— Да я ж и говорю: в Стружки, батюшко. Этак все по шаше, по шаше, по шаше, а после, конечно, влево... Первая-то изба Марьи, вторая будет Петровича, а моя притулилась подле...

— Знаю, — сказал мужчина. — Садись, мамаша.

Посадил он бабку в машину, ремнем ее прикрутил, чтоб на повороте не выпала.

— Держись, — говорит, — мамаша.

— Вот спасибо, — сказала бабка. — Да только ты не шибко, батюшко. Я не могу, чтоб шибко... По шаше все... Дорога она легкая...

Сел мужчина. Да вдруг как застучит чем-то. Да вдруг как пиханет вперед. Как сорвется с земли... А внизу канава. Внизу деревня Тычкино, лес... И поплыло все...

Ойкнула бабка, взялась за подрамник рукой и замерла. Хотела креститься — руку не поднять. Хотела ногой шевельнуть — ногу не согнуть. Хотела из кармана пузырек вынуть с ижехерувимскими каплями — а кармана нету. И ничего нету. «Черт», — подумала бабка. И замерла, что неживая.

И вдруг три минуты прошло — пожалуйста, приехали, вылезайте — родная деревенька Стружки.

Встала машина в поле. Народ, конечно, сбежался. Дивятся. Хохочут. Бабку за юбку теребят. А бабка и ногами не отбивается — сидит, что падаль. И сходить не хочет. Только глазами крутит.

Сияли родные племянники бабку с машины, домой отнесли. Положили на лавку. Лежит бабка на лавке и кушать не просит.

Вот и все. Вот, пожалуй что, и вся история о том, как бабка Анисья летала на воздушном аэроплане. А впрочем, не вся.

Когда землячок мой, военный летчик Прокопченко, Семен Афанасьевич, досказал до этого места, то спросил нас:

— А ну, братья, чего, думаете, произошло с бабкой?

Тогда, конечно, один из нас, настроенный пессимистически и грустно, высказал предположение, что померла бабка. Другой, учитель второй ступени, подумал, что бабка записалась в партию. А я сказал, дескать, бабка в бога перестала верить или приняла католичество.

Но все это было не так. Оказалось, через день после того пришла бабка в себя, очухалась, расспросила строгим образом у племянников, как это она появилась дома, и, горько заплакав, помолилась на все иконы и велела везти себя в монастырь. Там она живет и посейчас. А нам наплевать.

МОНАСТЫРЬ

В святых я, братцы мои, давненько не верю. Еще до революции. А что до бога, то в бога перестал я верить с монастыря. Как побывал в монастыре, так и закаялся.

Конечно, все это верно, что говорят про монастыри — такие же монахи люди, как и мы прочие: и женки у них имеются, и выпить они не дураки, и повеселиться, но только не в этом сила. Это давно известно.

А вот случилась в монастыре одна история. После этой истории не могу я спокойно глядеть на верующих людей. Пустяки ихняя вера.

А случилась это, братцы мои, в Новодеевском монастыре.

Был монастырь богатый. И богатство свое набрал с посетителей. Посетители жертвовали. Бывало, осенью, как понапрут всякие верующие, как начнут лепты вносить — чертям

тошно. Один вносит за спасение души, другой за спасение плавающих и утопающих, третий так себе вносит — с жиру бесится.

Многие вносили — принимай только. И принимали. Будьте покойны.

Ну, а конечно, который внесет — норовит уж за свои денежки пожить при монастыре и почетом попользоваться. Да норовит не просто пожить, а охота ему, видите ли, к святой жизни прикоснуться. Требует и келью отдельную, и службу, и молебны.

Ублаготворяли их. Иначе нельзя.

А только осенью келий этих никак не хватало всем желающим. Уж простых монахов вытесняли на время по сараям, и то было тесно.

А с начала было удивительно — с чего бы это народ сюда прет? Что за невидаль? Потом выяснилось: была тут и природа богатая, климат, и, кроме того, имелась приманка для верующих.

Жили в монастыре два монаха молчальника, один столпник и еще один чудачок. Чудачок этот мух глотал. И не то, чтобы живых мух, а настойку из мух пил натошак. Так сказать, унижал себя и подавлял свою плоть.

Бывало, с утра пораньше, народ соберется вокруг его сарайчика и ждет. А он, монах то есть, выйдет к народу, помолится, поклонится в пояс и велит выносить чашку. Вынесут ему чашку с настойкой, а он снова поклонится народу и начнет пить эту гнусь.

Ну, народ, конечно, плюется, давится, которые слабые дамы блюют и с ног падают, а он, сукин кот, вылакает гнусь до

дна, не поморщится, перевернет чашку, дескать, пустая, поклонится и к себе. Только его и видели до другого дня.

Один раз пытались верующие словить его, дескать, не настоящая это настойка из мух. Но только верно — честь-честью. Монах сам показал, удостоверил и сказал народу:

— Что я, бога, что ли, буду обманывать?

После этого слава пошла о нем большая.

А что до других монахов — были они не так интересны. Ну, хотя бы молчальники. Ну, молчат и молчат. Эка невидаль! Столпник тоже пустяки. Стоит на камне и думает, что святой. Пустяки!

Был еще один такой — с гирькой на ноге ходил. Этот нравился народу. Одобряли его. Смешил он верующих. Но только долго он не проходил — запил, гирьку продал и ушел восвояси.

А все это, конечно, привлекало народ. Любопытно было. Оттого и шли сюда. А шли важные люди. Были тут и фоны, и бароны, и прочая публика. Но из всех самый почетный и богатый гость был московский купчик, Владимир Иванович.

Много денег он всадил в монастырь. Каялся человек. Грехи замаливал.

— Я, — говорил он про себя, — всю жизнь грешил, ну, а теперь пятый год очищаюсь.

А старенький это был человек! Бороденка была у него совсем белая. И, на первый взгляд, он был похож на святого Кирилла или Мефодия. Чего такому-то не каяться?

А приезжал он в монастырь часто.

Бывало, приедет, остановит коляску версты за три и прет пешком.

Придет вспотевший, поклонится братии, заплачет. А его под ручки. Пот с него сотрут, и водят вокруг, и шепчут на ухо всякие пустяки.

Ну, отогреется, проживет недельку, отдарится и снова в город. А там опять в монастырь. И опять кается.

А каялся он прямо на народе. Как услышит монастырский хор — заплачет, забьется: «Ах, я такой! Ах, я этакий!»

Очень на него хор действовал. Жалел только старик, что не дамский это монастырь.

— Жаль, — говорил, — что не дамский, а то я очень обожаю самое тонкое пение сопран.

Так вот, был Владимир Иванович самый почетный гость. А от этого все и случилось.

Продавалось рядом с монастырем имение. Имение дворянское. «Дубки». Имение удобное — земли рядом. Вот игумен и разгорелся на него. Монахи тоже.

Стал игумен вместе с экономом мозгами раскидывать — как бы им подобрать к своим рукам. Да никак. Хоть и денег тьма, да купить нельзя. По закону не показано. По закону мог монастырь землю получить только в дар.

Вот игумен и придумал механику. Придумал он устроить это дело через Владимир Иваныча. Посетитель почтенный, седой — купит и подарит после. Только и делов.

Ну, так и сделали.

А купчик долго отнекивался.

— Нет, — говорил, — куда мне! От мирских дел я давно отошел, мозги у меня не на то самое направлены, а на очищение и на раскаяние — не могу, простите.

Но уломали. Мраморную доску обещали приклепать на стене с заглавием купчика. Согласился купчик.

И вот дали ему семьдесят тысяч рублей золотом, отслужили молебен с водосвятием и отправили покупать.

Покупал он долго. Неделю. И приехал назад в монастырь вспотевший и вроде как не в себе. Приехал утром. С экипажа не слез, к игумену не пошел, а велел только выносить свои вещи из кельи.

Ну, а монахи, конечно, сбежались — увидели. И игумен вышел.

— Здравствуйте, — говорит. — Сходите.

— Здравствуйте, — говорит. — Не могу.

— Отчего же, — спрашивает, — не можете? Не больны ли? Как, дескать, ваше самочувствие и все такое?

— Ничего, — говорит Владимир Иванович, — спасибо. Я, говорит, приехал попрощаться да вещички кой-какие забытые взять. А сойти с экипажа не могу — ужасно тороплюсь и вообще.

— А вы, — говорит игумен, — через не могу. Какого черта! Нужно нам про дело говорить? Купили?

— Купил, — отвечает купчик, — обязательно купил. Такое богатое имение не купить грешно, отец настоятель.

— Ну, и что же? — спрашивает игумен. — Оформить надо... Дар-то...

— Да нет, — отвечает купчик. — Я, говорит, раздумал. Я, говорит, не подарю вам это имение. Разве мыслимо разбрасываться таким добром? Что вы?

Чего тут и было после этих слов — невозможно рассказать. Игумен, конечно, ошалел, нос у него сразу заложил.

ло — ни чихнуть, ни сморкнуться не может. А эконо́м — мужчина грузный — освирепел, нагнулся к земле и, за неимением под рукой камня, схватил гвоздь этакий длинный, барочный, и бросился на Владимир Иваныча. Но не заколол — удержали. Владимир Иванович побледнел, откинулся в экипаже.

— Пуцай, — говорит, — пропадают оставленные вещи.

И велел погонять.

И уехал. Только его и видели.

Говорили после, будто он примкнул к другому монастырю, в другой монастырь начал жертвовать, но насколько верно — никто не знает.

А история эта даром не прошла. Которые верующие монахи стали расходиться из монастыря. Первым ушел молчальник.

— Ну, — говорит, — вас к чертям собачьим!

Плюнул и пошел, хотя его и удерживали.

А засим ушел я. Меня не удерживали.

ЛЮБОВЬ

Вечеринка кончилась поздно.

Вася Чесноков, утомленный и вспотевший, с распорядительским бантом на гимнастерке, стоял перед Машенькой и говорил умоляющим тоном:

— Обождите, радость моя... Обождите первого трамвая. Куда же вы, ей-богу, в самом деле... Тут и посидеть-то можно,

и обождают, и все такое, а вы идете... Обождите первого трамвая, ей-богу. А то и вы, например, вспотевши, и я вспотевши... Так и захворать очень просто по морозу...

— Нет, — сказала Машенька, надевая калоши. — И какой вы кавалер, который даму не может по морозу проводить?

— Тык я вспотевши, — говорил Вася, чуть не плача.

— Ну, одевайтесь!

Вася Чесноков покорно надел шубу и вышел с Машенькой на улицу, крепко взяв ее под руку.

Было холодно. Светила луна. И под ногами скрипел снег.

— Какая вы беспокойная дамочка, — сказал Вася Чесноков, с восхищением рассматривая Машенькин профиль. — Не будь вы, а другая — ни за что бы не пошел провожать. Вот ей-богу, в самом деле. Только из-за любви и пошел.

Машенька засмеялась.

— Вот вы смеетесь и зубки скалите, — сказал Вася, — а я действительно, Марья Васильевна, горячо вас обожаю и люблю. Вот скажите: лягте, Вася Чесноков, на трамвайный путь, на рельсы, и лежите до первого трамвая — и лягу. Ей-богу...

— Да бросьте вы, — сказала Машенька, — посмотрите лучше, какая чудная красота вокруг, когда луна светит. Какой красивый город по ночам! Какая чудная красота!

— Да, замечательная красота, — сказал Вася, глядя с некоторым изумлением на облупленную штукатурку дома. — Действительно, очень красота... Вот и красота тоже, Марья Васильевна, действует, ежели действительно питаешь чувства... Вот многие ученые и партийные люди отрицают чувства любви, а я, Марья Васильевна, не отрицаю. Я могу

питать к вам чувства до самой моей смерти и до самопожертвования. Ей-богу... Вот скажите: ударюсь, Вася Чесноков, затылком об тую стенку — ударюсь.

— Ну, поехали, — сказала Машенька не без удовольствия.

— Ей-богу, — ударюсь. Желаете?

Парочка вышла на Крюков канал.

— Ей-богу, — снова сказал Вася, — хотите вот — брошусь в канал? А, Марья Васильевна? Вы мне не верите, а я могу показать...

Вася Чесноков взялся за перила и сделал вид, что лезет.

— Ах! — закричала Машенька. — Вася! Что вы!

Какая-то мрачная фигура вынырнула вдруг из-за угла и остановилась у фонаря.

— Чего разорались? — тихо сказала фигура, подробно осматривая парочку.

Машенька в ужасе вскрикнула и прижалась к решетке.

Человек подошел ближе и потянул Васю Чеснокова за рукав.

— Ну ты, мырра, — сказал человек глухим голосом. — Скидавай пальто. Да живо... А пикнешь — стукну по балде — и нету тебя. Понял, сволочь? Скидавай!

— Па-па-па, — сказал Вася, желая этим сказать: позвольте, как же так?

— Ну! — человек потянул за борт шубы. Вася дрожащими руками расстегнул шубу и снял.

— И сапоги тоже снимай! — сказал человек. — Мне и сапоги требуются.

— Па-па-па, — сказал Вася, — позвольте... мороз...

— Ну!

— Даму не трогаете, а меня — сапоги снимай, — проговорил Вася обидчивым тоном, — у ей и шуба, и галоши, а я сапоги снимай.

Человек спокойно посмотрел на Машеньку и сказал:

— С ее снимешь, понесешь узлом — и засыпался. Знаю, что делаю. Снял?

Машенька в ужасе глядела на человека и не двигалась. Вася Чесноков присел на снег и стал расшнуровывать ботинки.

— У ей и шуба, — снова сказал Вася, — и галоши, а я отдувайся за всех...

Человек напялил на себя Васину шубу, сунул ботинки в карманы и сказал:

— Сиди и не двигайся, и зубами не колоти. А ежели крикнешь или двинешься — пропал. Понял, сволочь? И ты, дамочка...

Человек поспешно запахнул шубу и вдруг исчез. Вася обмяк, скис и кулем сидел на снегу, с недоверием поглядывая на свои ноги в белых носках.

— Дождались, — сказал он, со злобой взглянув на Машеньку. — Я же ее провожай, я и имущества лишайся. Да?

Когда шаги грабителя стали совершенно неслышны, Вася Чесноков заерзал вдруг ногами по снегу и закричал тонким, пронзительным голосом:

— Караул! Грабят.

Потом сорвался с места и побежал по снегу, в ужасе подпрыгивая и дергая ногами. Машенька осталась у решетки.

ХОЗРАСЧЕТ

На праздниках бухгалтер Герюшкин устроил у себя званый обед. Приглашенных было немного.

Хозяин с каким-то радостным воплем встречал гостей в прихожей, помогал снимать шубы и волочил приглашенных в гостиную.

— Вот, — говорил он, представляя гостя своей жене, — вот мой лучший друг и сослуживец.

Потом, показывая на своего сына, говорил:

— А это, обратите внимание, балбес мой... Лешка. Развитая bestия, я вам доложу.

Лешка высовывал свой язык, и гость, слегка сконфуженный, присаживался к столу.

Когда собрались все, хозяин, с несколько торжественным видом, пригласил к столу.

— Присаживайтесь, — говорил он радушно. — Присаживайтесь. Кушайте на здоровье... Очень рад... Угощайтесь...

Гости дружно застучали ложками.

— Да-с, — после некоторого молчания сказал хозяин, — все, знаете ли, дорогонько стало. За что ни возьмись — кусается. Червонец скачет, цены скачут.

— Приступу нет, — сказала жена, печально глотая суп.

— Ей-богу, — сказал хозяин, — прямо-таки нету приступа. Вот возьмите такой пустяк — суп. Дрянь. Ерунда. Вода, вроде бы. А нуте-ка, прикиньте, чего эта водица стоит?

— М-да, — неопределенно сказали гости.

— В самом деле, — сказал хозяин. — Возьмите другое — соль. Дрянь продукт, ерунда сущая, пустяковина, а нуте-ка, опять прикиньте, чего это стоит.

— Да-а, — сказал балбес Лешка, гримасничая, — другой гость, как начнет солить, тык тока держись.

Молодой человек в пенсне, перед тем посоливший суп, испуганно отодвинул солонку от своего прибора.

— Солите, солите, батюшка, — сказала хозяйка, придвигая солонку.

Гости напряженно молчали. Хозяин со вкусом ел суп, добродушно поглядывая на своих гостей.

— А вот и второе подали, — объявил он оживленно. — Вот, господа, возьмите второе — мясо. А теперь позвольте спросить, какая цена этому мясу? Нуте-ка? Сколько тут фунтов?

— Четыре пять осьмых, — грустно сообщила жена.

— Будем считать пять для ровного счету, — сказал хозяин. — Нуте-ка: по полтиннику золотом? Это, это на человека придется... Сколько нас человек?..

— Восемь, — подсчитал Лешка.

— Восемь, — сказал хозяин. — По полфунта... По четвертаку с носа минимум.

— Да-а, — обиженно сказал Лешка, — другой гость мясо с горчицей жрет.

— В самом деле, — вскричал хозяин, добродушно засмеявшись, — я и забыл — горчица... Нуте-ка, прикиньте к общему счету горчицу, то, другое, третье. По рублю и набежит...

— Да-а, по рублю, — сказал Лешка, — а небось, когда Пал Елисеевич локтем стеклище выпер, тык, небось, набежало...

— Ах, да! — вскричал хозяин. — Приходят, представьте себе, к нам раз гости, а один, разумеется нечаянно, выбивает зеркальное стекло. Обошелся нам тогда обед. Мы нарочно подсчитали.

Хозяин углубился в воспоминанья.

— А впрочем, — сказал он, — и этот обед вскочит в копейку. Да это можно подсчитать.

Он взял карандаш и принялся высчитывать, подробно перечисляя все съеденное. Гости сидели тихо, не двигаясь, только молодой человек, неосторожно посоливший суп, поминутно снимал вспотевшее пенсне и обтирал его салфеткой.

— Да-с, — сказал наконец хозяин, — рублей по пяти с хвостиком...

— А электричество? — возмущенно сказала хозяйка. — А отопление? А Марье за услуги?

Хозяин сплеснул руками и, хлопнув себя по лбу, засмеялся.

— В самом деле, — сказал он, — электричество, отопление, услуги... А помещение? Позвольте, господа, в самом деле, помещение! Нуте-ка — восемь человек, четыре квадратные сажени... По девяносто копеек за сажень... В день, значит, три копейки... Гм... Это нужно на бумаге...

Молодой человек в пенсне заерзал на стуле и вдруг пошел в прихожую.

— Куда же вы? — закричал хозяин. — Куда же вы, голубчик, Иван Семенович?

Гость ничего не сказал и, надев чьи-то чужие калоши, вышел, не прощаясь. Вслед за ним стали расходиться и остальные.

Хозяин долго еще сидел за столом с карандашом в руках, потом объявил:

— По одной пятой копейки золотом с носа.

Объявил он это жене и Лешке — гостей не было.

ТРИ ДОКУМЕНТА

Жизнь штука хитрая. Иные полагают, что в жизни все просто и ясно, но это не так. Это совсем не так, дорогие товарищи!

Вот возьмем для примера конторщика Костю Печенкина.

В прошлом году, в эту пору, возвращаясь слегка под хмельком, Костя Печенкин был ограблен. С него сняли шубу, избили и после отпустили с миром.

Небось, простодушный читатель подумает, что Костя Печенкин нынче опустился, ходит в рваной, летней шинелишке, без галош и кашляет от хронического бронхита. Ничуть не бывало.

Нынче Костя Печенкин герой и молодец. Он ходит в новом зимнем пальто с бобровым воротником, в новых галошах на байке, и кашне у него новое в полоску. При этом Костя Печенкин любит поговорить о своем ночном приключении. И говорит не без гордости и щегольства.

Мало того: говорят, что Костя Печенкин на днях женился на Лидочке Лыткиной. И это, говорят, произошло в связи с историей.

С чего бы это так Костя возвеличился? — удивится простодушный читатель.

С чего? Эх, дорогие товарищи! Костя Печенкин жить умеет — вот с чего. Вот возьмем сейчас Костину историю, да копнем вглубь, да обернем медаль обратной стороной! Ну тека, чего получится?

А вот чего:

Заявление

Состоя во вверенной вам канцелярии, сообщаю, что, возвращаясь вчера после трудового дня, я был остановлен каким-то социально-опасным преступником, который, подойдя ближе, велел снять зимнее с барашковым воротником пальто. Удивившись наглому требованию, я удивленно посмотрел, заявив, что при мне нет казенных денег, а если бы они и были, то я не отдал бы и лучше смерть.

Тогда взбешенный неудачей преступник снова велел снимать единственное пальто. Не растерявшись и сняв пальто, я остался в одном легоньком пиджаке, каждую минуту рискуя простудиться и тем самым манкировать в дальнейшем службой.

Сняв с меня еще и галоши государственной резиновой фабрики, — и, так сказать, народное достояние, — преступник обратился в бегство.

Закричав через полчаса о помощи, я был поднят прохожим и отвезен домой.

Оставшись в настоящее время совершенно раздетый вместе с моей престарелой матерью и не надеясь на бога, как на религиозный предрассудок, я обращаюсь с покорнейшей просьбой о выдаче мне из казенных сумм субсидии на предмет покупки зимнего пальто хотя бы без воротника.

Конст. Печенкин.

Письмо к матери

Ну и ну, дорогая мамаша, чего только происходит в Петрограде — это ужасно. В прошлом году вы писали мне, что вы нездоровы и больны, так как теперь ваше самочувствие? Поздравляю вас, кроме того, с прошедшими праздниками. Мне эти празднички ударили по карману. Я, дорогая мамаша, возвращаясь после службы, был остановлен и ограблен преступниками. И избит ими до бесчувствия.

А один из преступников, сняв с меня галоши, ударил по лицу. Удар пришелся по рту, отчего хлынула кровь у вашего, так сказать, единоутробного сына.

В настоящее время, оставшись совершенно раздетый вместе со своей престарелой матерью и надеясь исключительно на милость и милосердие божие, я, дорогая мамаша, прошу вас прислать мне кое-что из теплого белья и нет ли еще шерстяных носков. За присланные же в прошлом году вязаные подштанники — благодарю и спасибо.

Ваш сын Конст. Печенкин

Письмо к девице

Здравствуйте, дорогая и милая Лидочка! Вчера, возвращаясь после вечера, проведенного с вами, я был остановлен какой-то бандой преступников, которые с дикими криками и ревом набросились на меня с требованием снимать верхнее платье.

Не растерявшись и сбросив с ноги галошу, я принялся избивать ею направо и налево, наводя буквально панику на грабителей, которые стали разбегаться как крысы.

Тогда, страшно распарившись и сбросив с себя шубу, я бросился в погоню за одним из бандитов, который скрылся в каком-то переулке.

Вернувшись назад, шубы уже не было. Светила луна и мороз достигал 15 градусов.

Тогда, подняв воротник пиджака, я пустился к дому, благодаря providение за то, что вас не было со мной. Впрочем, я сумел бы защитить вашу жизнь.

Дорогая Лидочка, оставшись в настоящее время совершенно раздетый вместе со своей престарелой... Впрочем, что же это я? Да, так в настоящее время сижу дома, не имея возможности выйти. Зайдите, дорогая, навестите болящего.

Костя Печенкин

Вот и все, дорогой читатель. А против Кости мы зла не имеем. Женится? Пожалуйста! Государству нужно новое здоровое поколение. Мы против Кости ничего не имеем и не

хотим ему портить карьеры. Пусть его. Мы только хотели показать, какая в сущности жизнь хитрая штука.

Эх, товарищи, трудно жить человеку на свете!

КИТАЙСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

Удивительно, товарищи, как меняется жизнь и как все к простоте идет.

Скажем, двести лет назад тут, на Невском, ходили люди в розовых и зеленых камзолах и в париках. Дамы такими куклами прогуливались в широченных юбищах, а в юбищах железные обручи...

Теперь, конечно, об этом и подумать смешно, ну а тогда эта картина была повседневная.

А впрочем, братцы, и над нами посмеются лет через сто.

Вот, скажут, как нелегко было существовать им: мужчины на горлах воротнички этикие тугие, стоячие носили, дамы — каблучки в три вершка и корсеты.

И верно: смешно. Да только и это уж уходит и ушло.

Все меняется, все идет к простоте необыкновенной.

И не только это во внешней жизни, но и в человеческих отношениях.

Раньше для того, чтобы жениться человеку, приходилось ему делать черт его что. И смотрины-то он делал, и свах зазывал, и с цветками по пять раз в сутки хаживал,

и папашу невесты уламывал, и мамашу улещивал, и тет-кины ручищи целовал, и попу богослужение заказывал... тьфу!

Ну а теперь это куда как проще. Небось сами знаете... Полфунта монпасье, тары да бары, комиссариат — и все довольны.

Да, братцы мои, все меняется. И лишь одно не меняется, лишь одно крепко засело в нашей жизни — это китайская церемония.

Думаете какая? А вот какая. Чего мы делаем при встрече? При встрече-то, братцы мои, мы за ручку здороваемся, ручки друг другу жмем и треплем.

А смешно! Вот, братишки, берите самый большой камень с мостовой и бейте меня этим камнем по голове и по чем попало — не отступлюсь от своих слов: смешно. Ну вот так же смешно, как если бы при встрече мы терлись носами по китайскому обычаю.

И мало того, что смешно, а и не нужно и глупо. И драгоценное время отнимает, ежели встречных людишек много. И в смысле заразы нехорошо, небезопасно.

Эх-хе-хе, братишки! Глупое это занятие — при встрече руку жать!

Конечно, бывали такие люди, делали они почин — не здоровались за руку, но только ничего из того не выходило. Не время было, что ли...

Как помню я, братцы мои, лет этак десять назад. Приехал один немчик в Россию. По коммерческим обстоятельствам.

Ну, немчик как немчик — ноги жидкие, усишки, вообще, нос.

И была у этого немца манеришка — не здороваться за руку. Так, рыльцем кивнет, и хватит.

И задумал он такую манеришку привить России. Прививал он, прививал, месяц и два, а на третий заскочило.

Привели раз немца в «Коммерческий» — знакомиться с Семен Саввичем, с кожевником, с сенновцем.

Ну — здрасте, здрасте... Немец рыльцем кивнул, а Семен Саввич хлесь его в личность.

— Ты что ж, говорит, бульонное рыло, не здоровкаешься? Гнушаешься?

Ну, ударил. Немчик — человек сентиментальный — заплакал. Лепечет по-ихнему: гобль, гобль...

А купчик официанта кличет.

— Дай-ка, говорит, братец, ему еще раз по личности, я, говорит, тебе после отдам.

Ну, официант развернулся, конечно, — хлесь обратно.

Немец чин-чином с катушек и заблажил: гобль-гобль.

Чего дальше было — неизвестно. Известно только, что прожил немец после того в России месяц и уехал в Испанию. А перед отъездом знакомому и незнакомому первый протягивал руку и личность держал боком.

Вот какая это была история.

Но, конечно, это было давно. И другие были тогда обстоятельства. И жизнь другая. И до того, братцы мои, другая, что, на мой ничтожный взгляд, только сейчас и подошло время отменить китайские церемонии.

А ну, братцы, начнем. Небось теперь по личности никто не хлестнет... А я начну первый. Приду, скажем, завтра к дяде Яше. Здорово, скажу, брат. А руки не подам.

Чего дядя Яша со мной сделает — сообщу, братцы мои, после.

ИСТОРИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

В этом деле врать не годится. Если ты видел Владимира Ильича — говори: видел там-то при таких-то обстоятельствах. А если не видел — молчи и не каркай по-пустому. Так-то будет лучше для истории.

А что Иван Семеныч Жуков хвалится, будто он на митинге видел Владимира Ильича, и будто Ильич все время смотрел ему в лицо, то это вздор и сущая ерунда. Не мог Ильич смотреть ему в лицо — лицо как лицо, борода грубая, тычком, нос простой и заурядный. Не мог Ильич смотреть на такое лицо, тем более, что Иван Семеныч Жуков нынче ларек открыл — торгует, и, может, у него гири неклеяемые.

За такое вранье я еще при встрече плюну в бесстыжие глаза этого Жукова.

Вообще, от такого вранья только путаница может произойти в истории.

Я вот видел нашего дорогого вождя, Владимира Ильича Ленина, — не вру.

Я, может, специально от Мартынова пропуск в Смольный достал. Я, может, часа три, как проклятый, в коридорах

ходил — ждал. И ничего — не хвастаюсь. А если и говорю теперь, то для истории.

А встал я в коридоре ровно в три часа пополудни. Встал и стою, что проклятый. А тут возле меня этакий мужчина в меховой шубе стоит и ногами дергает от холода.

— Чего, — спрашиваю, — стоите и ногами дергаете?

— Да, — говорит, — замерз. Я, — говорит, — шофер Ленина.

— Ну? — говорю.

Посмотрел я на него — личность обыкновенная, усишки заурядные, нос.

— Разрешите, — говорю, — познакомиться.

Разговорились.

— Как, — говорю, — возите? Не страшно ли возить? Пассажиры-то не простой. А тут вокруг столбы, тумбы — не ехать бы, тьфу-тьфу, на тумбу.

— Да нет, — говорит, — дело привычное.

— Ну, смотрите, — говорю, — возите осторожно.

Ей-богу, так и сказал. И не хвастаюсь. А если и говорю, то для истории.

А шофер, хороший человек, посмотрел на меня и говорит:

— Да уж ладно, постараюсь.

Ей-богу, так и сказал. Постараюсь, говорит.

— Ну, — говорю, — старайся, братишка.

А он рукой махнул, — дескать ладно.

— То-то, — говорю.

Хотел я записать наш исторический разговор — бац — карандаша нету. Роюсь в одном кармане: спички, тонкая бу-

мага на завертку, нераскупоренная пачка восьмого номера, а карандаша нету. Роюсь в другом кармане — тоже нету.

Побежал я во второй этаж в канцелярию — дали огрызок.

Возвращаюсь поскорей назад — нету шофера. Сейчас тут стоял в шубе и ногами дергал, а сейчас нету. И шубы нету.

Я туда, сюда — нету.

Выбегаю на улицу — шофер на машине сидит, машина шумит и трогается. А в машине — дорогой вождь, Владимир Ильич, сидит, и воротничок поднят.

Приложил я руку к козырьку, хотел закричать ура, но забоялся часового и отошел влево.

Отошел — и не хвастаюсь. Не кричу налево и направо — дескать, и я видел Ильича.

Ну видел и видел. Про себя я счастлив, а которые люди хотят от меня подробностей узнать, пушай прямо ко мне обращаются.

БРАК ПО РАСЧЕТУ

— Раньше, граждане, было куда как проще, — сказал Григорий Иванович. — А которые женихи — тем все было, как на ладони. Вот, скажем, невеста, вот ее мама, а вот — приданое. А если приданое, то опять-таки, какое это приданое: деньгами или, может быть, домик на фундаменте.

Ежели деньгами — благородный родитель объявляет сумму. А ежели домик на фундаменте, то, опять-таки, иная речь — какой это домик? Может, деревянный, а может, он

и каменный... Все видно, все понятно и нету никакой фальши.

Ну, а теперь? Нуте-ка, сунься теперь, который жених — не разбери-бери! Потому что у теперешнего родителя привычки такой нет — давать деньгами. А которые женихи на имущество ориентируются — еще того хуже.

Скажем недвижимое имущество — висит шуба на вешалке. Ну, висит и висит. Месяц висит и два висит. Каждый день, например, ее можно видеть и руками шупать, а как до дела, то шубу эту, не угодно ли, комнатный жилец повесил, и вовсе она не невестина. Или перина. Глядишь — перина, а ляжешь на нее — она пером набита.

Вот вам и имущество! С таким имуществом крови больше испортишь.

Ах, чего только не делается на свете — не разбери-бери!

Я — старый революционер с девятого года, во всех партиях перебивал, и то у меня голова кругом, и не разбираюсь.

Только и есть одно — которые невесты служат. У тех без обмана: ставка, разряд, категория... Но и тут обмишуриться можно.

Мне вот понравилась одна. Перемигнулись. Познакомились. Тары да бары, где, говорю, служите, сколько получаете? Дескать, разряд ваш и ставка?

— Служу, говорит, на складе. Ставка такая-то.

— Ну, говорю, мерси и отлично. Вы, говорю, мне нравитесь. И разряд ваш симпатичный и ставка ничего себе. Будем знакомы.

Стали мы с ней кинематографы посещать. Плачу я. Посещали неделю или две — ультиматум ей ставлю: вводите, говорю, в дом.

Ввела в дом. Ну, конечно, в доме старушка-мамочка. Папашка — этаким старым революционер. Дочь — невеста и при ней я — жених, вроде бы.

Дальше — больше. Хожу к ним в гости и приглядываюсь. С мамашей на философские темы разговариваю: дескать, как им живется, не туго ли? Не придется ли, оборони создатель, помогать?

— Нет, отвечает, насчет помощи нам не надо. А что до приданого, не совру, — приданого нету. Хотя бельишко и полдюжины ложек можно отсыпать.

Ах, говорю, старушка, божий цветочек! Полдюжины или вся дюжина — там видно будет. Стоит ли об этом говорить раньше времени. Мне, говорю, ваша дочка и так нравится — все-таки разряд пятнадцатый, льготы, талоны... Это мне, вроде бы, приданое.

Ну, старушка, божий цветочек, — в слезы. И папочка, старый революционер, прослезился.

— Что ж, говорит, женись, милый, если так.

Ну, обручение. Разговоры. Вздохи.

А старушка, божий цветочек, насчет церкви намекает. Не плохо бы, дескать, и в церкви окрутиться. А я говорю:

— Окрутимся и так. Я, говорю, старый революционер. Не дожидаясь чистки, ушел из партии. Не могу идти против своей совести. Не настаивайте.

Поплакала старушка. И папаша, старый революционер, прослезился. Однако, соглашаются.

Женились мы.

По утрам молодая, красивая супруга отбывает на службу, а в четыре — назад возвращается. А в руках у ей сверток.

Ну, конечно, снова нежные речи — дескать, вставай, Гриша, пролежни пролежишь.

И опять слезы от счастья и медовый месяц.

И вот длится эта дискуссия два месяца по новому стилю.

Но только однажды приходит молодая, красивая супруга без свертка и вроде — рыдает.

— О чем, говорю, рыдаете, не потеряли ли свертка, обороны создатель?

— Да нет, говорит, что значит сверток? Уволили меня по сокращению.

— Да что вы, говорю, помилуйте?

— Да, говорит.

— Позвольте, говорю, я от вас приданого не требую, но, говорю, я на службу ориентировался.

А молодая супруга неутешна.

— Да, говорит, уволили, как замужнюю.

— Помилуйте, говорю, да я сам на вашу службу пойду, объяснюсь. Это немисливо.

И вот, надел я поскорее штаны и вышел.

Прихожу.

Заведующий — этаким старым революционер, с бородкой.

Я ему, подлецу, объясняю всю подноготную, а он уперся и говорит — ничего не знаю. Я ему про приданое, а он говорит — в семейные дела не касаюсь.

Я говорю:

— Я тоже старый революционер, с пятого года.

А он из помещения просит чество.

Попрощался с ним и — домой.

Прихожу.

Супруга сидит и не плачет.

— Что ж, говорю, плакать перестали! Я, говорю, на вас женился, а вы сокращаетесь?

Беру ее за руку и идем к мамаше.

— Спасибо, говорю, за одолжение. Думаете, дюжину ложек дали и баста?

Ну, старушка, божий цветок, — в слезы. И папашка, старый революционер, прослезился.

— Все, говорит, от бога. Может, говорит, и так проживете.

Хотел я папашке за это по роже съездить, да воздержался.

Еще, думаю, в суд, стерва, подаст.

Плюнул я ему в жилетку и вышел... А теперь я развелся и ищу невесту...

СЧАСТЬЕ

Иной раз хочешь пойти к незнакомому человеку и спросить: ну, как, братишка, живешь? Доволен ли ты своей жизнью? Было ли в твоей жизни счастье? Ну-ка, окинь взглядом все прожитое.

С тех пор, как открылся у меня катар желудка, я у многих об этом спрашиваю.

Иные шуточкой на это отделяются — дескать, живу — хлеб жую. Иные врать начинают — дескать, живу роскошно, лучше не надо, получаю по шестому разряду, семьей доволен.

И только один человек ответил мне на этот вопрос серьезно и обстоятельно. А ответил мне дорогой мой приятель, Иван Фомич Тестов. По профессии он стекольщик. Человек сам немудреный. И с бородой.

— Счастье-то? — спросил он меня. — А как же, — обязательно счастье было.

— Ну и что же, — спросил я, — большое счастье было?

— Да уж большое оно или оно маленькое — неизвестно, а только на всю жизнь запомнилось.

Иван Фомич выкурил две папиросы, собрался с мыслями, подмигнул мне для чего-то и стал рассказывать.

— А было это, дорогой товарищ, лет, может, двадцать или двадцать пять назад. И был я тогда красивый и молодой, усика носил стоячие и нравился себе. И все, знаете ли, ждал, когда ко мне счастье привалит. А года между тем шли своим чередом, и ничего такого не происходило. Не заметил я, как и женился, и как на свадьбе с жениными родственниками подрался, и как жена после того дите родила. И как жена в свое время скончалась. И как дите тоже скончалось. Все шло тихо и гладко. И особенного счастья в этом не было.

Ну а раз, 27 ноября, вышел я на работу, а после работы под вечер зашел в трактир и спросил себе чаю.

Сижу и пью с блюдечка. И думаю: вот, дескать, года идут своим чередом, а счастья-то и незаметно.

И только я так подумал — слышу разные возгласы. Обращиваюсь — хозяин машет рукой, и половой мальчишка машет рукой, а перед ними солдат стоит и пытается к столу присесть. А его хозяин из-за столика выбивает и не позволяет сесть.

— Нету, — кричит, — вашему брату солдату не позволено в трактирах за столики присаживать. Мне за его штраф плати. Ступай себе, милый.

А солдат пьяный и все присаживается. А хозяин его выбивает. А солдат родителей вспоминает.

— Я, — кричит, — такой же, как и не вы. Желая за столик присесть.

Ну, посетители помогли — выперли солдата. А солдат схватил булыжник с мостовой и как брызнет в зеркальное стекло. И тёку.

А стекло зеркальное — четыре на три, и цены ему нету.

У хозяина руки и ноги подкосились. Присел он на корячки, головой мотает и пугается на окно взглянуть.

— Что ж это, — кричит, — граждане! Разорил меня солдат. Сегодня суббота, завтра воскресенье — два дня без стекла. Стекольщика враз не найти, а без стекла посетители обижаются.

А посетители, действительно, обижаются:

— Дует, — говорят, — из пробитого отверстия. Мы пришли в тепле посидеть, а тут эвон дыра какая.

Вдруг я кладу блюдечко на стол, закрываю шапкою чайник, чтоб он не простыл, и равнодушно подхожу к хозяину.

— Я, — говорю, — любезный коммерсант, стекольщик.

Ну, обрадовался он, пересчитал в кассе деньги и спрашивает:

— А сколько эта музыка стоит? Нельзя ли из кусочков сладить?

— Нету, — говорю, — любезный коммерсант, из кусочков ничего не выйдет. Требуется полное стекло четыре на три. А цена тому зеркальному стеклу будет 75 целковых и бой мне. Цена, любезный коммерсант, вне конкуренции и без запроса.

— Что ты, — говорит хозяин, — объелся? Садись, говорит, обратно за столик и пей чай. За такую, говорит, сумму я лучше периной заткну отверстие.

И велит он хозяйке моментально бежать на квартиру и принести перину.

И вот приносят перину и затыкают. Но перина вываливается то наружу, то вовнутрь и вызывает смех. А некоторые посетители даже обижаются — дескать, темно и некрасиво чай пить.

А один, спасибо, встает и говорит:

— Я, говорит, на перину и дома могу глядеть, на что мне ваша перина?

Ну, хозяин снова подходит ко мне и умоляет моментально бежать за стеклом и дать деньги.

Чаю я не стал допивать, зажал деньги в руку и побежал.

Прибегаю в стекольный магазин — магазин закрывается. Умоляю и прошу — впустили.

И все, как я и думал, и даже лучше: стекло четыре на три тридцать пять рублей, за переноску — пять, итого сорок.

И вот стекло вставлено.

Допиваю я чай с сахаром, спрашиваю рыбную селянку, после — рататуй. Съедаю все и, шатаясь, выхожу из чайной. А в руке чистых тридцать рублей. Хочешь — на них пей, хочешь — на что хочешь.

Эх, и пил же я тогда! Два месяца пил. И покупки, кроме того сделал: серебряное кольцо и теплые стельки. Еще хотел купить брюки с блюзой, но не хватило денег.

Вот, дорогой товарищ, как видите, и в моей жизни было счастьешко. Но только раз. А вся остальная жизнь текла ровно, и большого счастья не было.

Иван Фомич замолчал и снова, неизвестно для чего, подмигнул мне.

Я с завистью посмотрел на своего дорогого приятеля. В моей жизни не было и такого счастья.

Впрочем, может, я не заметил.

БЕДНЫЙ ВОР

На днях в петроградском Госстрахе у одного из служащих был украден туго набитый портфель с бумагами. На следующий же день бумаги были возвращены со следующим письмом:

Извиняемся Госстрах, что у вас мы взяли, по ошибке портфель в котором мы думали что там лежат червонцы, но на наше несчастье мы нашли только вашу бумажную волокиту, которую вам отсылаем для дальнейшей вашей головоломки.

Неизвестный для вас неудачник в червонцах Гришка Нечухайский.

Бедный Гриша! Мы всегда говорили, что бумажная волокита — вещь ужасная. В самом деле: даже простому невзыскательному вору от нее тяжко.

Эх, Гриша, очень мы вам сочувствуем. Примите уверения в совершенном к вам почтении.

МЕДИК

Нынче, граждане, в народных судах все больше медиков судят. Один, видите ли, операцию погаными руками произвел, другой с носа очки обронил в кишки и найти не может, третий — ланцет потерял во внутренностях, или же не то отрезал, чего следует, какой-нибудь неопытной дамочке.

Все это не по-европейски. Все это круглое невежество. И судить таких врачей надо.

Но вот за что, товарищи, судить будут медика Егорыча? Конечно, высшего образования у него нету. Но и вины особой нету.

А заболел тут один мужичок. Фамилия — Рябов, профессия — ломовой извозчик. Лет от роду — тридцать семь. Беспартийный.

Мужик хороший — слов нету. Хотя и беспартийный, но в союзе состоит и ставку по третьему разряду получает.

Ну, заболел. Слег. Подумаешь, беда какая. Пухнет, видите ли, у него живот, и дышать трудно. Ну, потерпи! Ну, бутылочку с горячей водой приложи к брюху — так нет. Испугался очень. Задрожал. И велит бабе своей, не жалеючи никаких денег, пригласить наилучшего, знаменитого врача. А баба что? Баба всплакнула насчет денег, но спорить с больным не стала. Пригласила врача.

Является этакий долговязый медик с высшим образованием. Фамилия Воробейчик. Беспартийный. Ну, осмотрел он живот. Пощупал, чего следует, и говорит:

— Ерунда, — говорит. — Зря, говорит, знаменитых врачей понапрасну беспокоите. Маленько объелся мужик через меру. Пущай, говорит, клистир ставит и курей кушает.

Сказал и ушел. Счастливо оставаться. А мужик загрузтил.

«Эх, — думает, — так его за ногу! Какие дамские рецепты ставит. Отец, думает, мой не знал легкие средства, и я знать не желаю. А курей пущай кушает международная буржуазия».

И вот погрузтил мужик до вечера. А вечером велит бабе своей, не жалея никаких денег, пригласить знаменитого Егорыча с Малой Охты.

Баба, конечно, взгрустнула насчет денег, но спорить с больным не стала — поехала. Приглашает. Тот, конечно, покобенился.

— Чего, — говорит, — я после знаменитых медиков туда и обратно ездить буду? Я человек без высшего образования, писать знаю плохо. Чего мне взад-вперед ездить?

Ну, покобенился, выговорил себе всякие льготы, сколько хлебом и сколько деньгами, — и поехал. Приехал. Здравствуйте. Щупать руками желудок не стал.

— Наружный, — говорит, — желудок тут ни при чем. Все, говорит, дело во внутреннем. А внутренний щупай — болезнь от того не ослабнет. Только разбередить можно.

Расспросил он только, чего первый медик прописал и какие рецепты поставил, горько про себя усмехнулся и велит больному писать записку, — дескать, я здоров, и папаша покойный здоров, во имя отца и святого духа.

И эту записку велит проглотить.

Выслушал мужик, намотал на ус.

«Ох, — думает, — так его за ногу! Ученье свет — неученье тьма. Говорило государство: учись, — не учился. А как бы пригодилась теперь наука».

Покачал мужик бородашкой и говорит через зубы.

— Нету, говорит, не могу писать. Не обучен. Знаю только фамилии подписывать. Может, хватит?

— Нету, — отвечает Егорыч, нахмурившись и теребя усишки. — Нету. Одно фамилие не хватит. Фамилие, говорит, подписывать от грыжи хорошо, а от внутренней полная записка нужна.

— Чего же, — спрашивает мужик, — делать? Может, вы за меня напишете, потрудитесь?

— Я бы, — говорит Егорыч, — написал, да, говорит, очки на рояли забыл. Пушай кто-нибудь из родных и знакомых пишет.

Ладно. Позвали дворника Андрона.

Дворник, даром что беспартийный, а спец: писать и подписывать может.

Пришел Андрон. Выговорил себе цену, попросил карандаш, сам сбегал за бумагой и стал писать.

Час или два писал, вспотел, но написал:

Я здоров и папаша покойный здоров во имя отца и святого духа.

Дворник дома № 6. Андрон.

Написал. Подал мужику. Мужик глотал-глотал — проглотил.

А Егорыч тем временем попрощался со всеми любезно и отбыл, заявив, что за исход он не ручается — не сам больной писал.

А мужик повеселел, покушал даже, но к ночи все-таки помер.

А перед смертью рвало его сильно, и в животе резало.

Ну, помер — рой землю, покупай гроб — так нет. Пожалела баба денег — пошла в союз жаловаться: дескать, нельзя ли с Егорыча деньги вернуть.

Денег с Егорыча не вернули — не таковский, но дело всплыло.

Разрезали мужика. И бумажку нашли. Развернули, прочитали, ахнули — дескать, подпись не та, дескать, подпись Андропова — и дело в суд. И суду доложили: подпись не та, бумажка обойная и размером для желудка велика — разберите!

А Егорыч заявил на следствии: «Я, братцы, ни при чем, не я писал, не я глотал и не я бумажку доставал. А что дворник Андрон подпись свою поставил, а не больного — не досмотрел я. Судите меня за недосмотр».

А Андрон доложил: «Я, говорит, два часа писал и запарился. И, запарившись, свою фамилию написал. Я, говорит, и есть убийца. Прошу снисхождения».

Теперь Егорыча с Андроном судить будут. Неужели же засудят?

ДИКТОФОН

Ах, до чего, все-таки, американцы народ острый! Сколько удивительных открытий, сколько великих изобретений они сделали! Пар, безопасные бритвы Жиллет, вращение земли вокруг своей оси — все это открыто и придумано американцами и отчасти англичанами.

А теперь извольте: снова осчастливлено человечество — подарили американцы миру особую машину — диктофон.

Конечно, может, эта машина несколько и раньше придумана, но нам-то прислали ее только что, а именно в 1920 году.

Это был торжественный и замечательный день, когда прислали эту машинку.

Масса народу собралась посмотреть на эту диковинку.

Многоуважаемый всеми Константин Иванович Деревяшкин снял с машины чехол и благоговейно обтер ее тряпочкой. И в ту минуту мы воочию убедились, какой это великий

гений изобрел ее. Действительно: масса винтиков, валиков и хитроумных загогулинок бросилась нам в лицо. Было даже удивительно подумать, как эта машинка, столь нежная и хрупкая на вид, может работать и соответствовать своему назначению.

Ах, Америка, Америка, — какая это великая страна!

Когда машина была осмотрена, многоуважаемый всеми товарищ Деревяшкин, похвально отозвавшись об американцах, сказал несколько вступительных слов о пользе гениальных изобретений. Потом было приступлено к практическим опытам.

— Кто из вас, — сказал Константин Иванович, — желает сказать несколько слов в этот гениальный аппарат?

Тут выступил уважаемый товарищ Тыкин, Василий. Худой такой, длинный, по шестому разряду получающий жалованье плюс за сверхурочные.

— Дозвольте, — говорит, — мне испробовать.

Разрешили ему.

Подошел он к машинке не без некоторого волнения, долго думал, чего бы ему такое сказать, но ничего не придумал и, махнув рукой, отошел от машины, искренно горя о своей малограмотности.

Затем подошел другой. Этот, не долго думая, крикнул в открытый рупор:

— Эй ты, чертова дура!

Тотчас открыли крышку, вынули валик, вставили его куда следует — и что же? — доподлинно и точно валик передал всем присутствующим вышеуказанные слова.

Тогда восхищенные зрители наперерыв протискивались к трубе, пробуя говорить то одну, то другую фразу или лозунг. Машинка послушно записывала все в точности.

Тут снова выступил Василий Тыкин, получающий жалованье по шестому разряду плюс сверхурочные, и предложил кому-нибудь из общества неприлично заругаться в трубу.

Многоуважаемый Константин Иванович Деревяшкин сначала категорически воспретил ругаться в рупор и даже топнул ногой, но потом, после некоторого колебания, увлеченный этой идеей, велел позвать из соседнего дома бывшего черноморца — отчаянного ругателя и буяна.

Черноморец не заставил себя ждать — явился.

— Куда, — спрашивает, — ругаться? В какое отверстие?

Ну, указали ему, конечно. А он как загнет, как загнет — аж сам многоуважаемый Деревяшкин руками развел, — дескать, здорово пущено, это вам не Америка.

Засим, еле оторвав черноморца от трубы, поставили валик. И действительно, аппарат опять в точности и неуклонно произвел запись.

Тогда все снова стали подходить, пробуя ругаться в отверстие на все лады и наречия. Потом стали изображать различные звуки: хлопали в ладоши, делали ногами чечетку, щелкали языком — машина действовала безотлагательно.

Тут действительно все увидели, насколько велико и гениально это изобретение.

Единственно только жаль, что эта машинка оказалась несколько хрупкая и неприспособленная к резким звукам.

Так, например, Константин Иванович выстрелил из нагана, и, конечно, не в трубу, а, так сказать, сбоку, чтобы для истории запечатлеть на валик звук выстрела — и что же? — оказалось, что машинка испортилась, сдала.

С этой стороны лавры американских изобретателей и спекулянтов несколько меркнут и понижаются.

Впрочем, заслуга ихняя все же велика и значительна перед лицом человечества.

В ПОРЯДКЕ БОЕВОГО ПРИКАЗА

Нынче женщину никто в обиду не даст. Не такое время! Вот не угодно ли: подала одна гражданка заявление в милицию на своего мужа — обижает ее муж. И немедленно из милиции следует такое распоряжение:

В. срочно

Карбоиновскому сельсовету

На основании заявления гражд. Лапшиной Валентины, что у них нет согласия в жизни с мужем, и она имеет от него дитя, предлагается, в порядке боевого приказа, сделать опись всего имущества Лапшиных, на предмет выделения ей имущества, а также и содержания ребенка... И обязать Лапшина Алексея приискать жене Валентине квартиру и уплатить за нее до ее выезда.

Ст. милиционер Нейменок.

Что, Лапшин Алексей? Видал миндал? Видал, как обижать женщин? Ну те-ка, попробуй еще раз обидеть — сейчас в порядке осадного положения посадят куда следует!

Спасибо, дружище-милиционер! Порадовал нас!

ЗАБЫТЫЙ ЛОЗУНГ

(Письмо в редакцию)

Уважаемые товарищи редакторы и дорогие наборщики! Узнав из газеты, что вы выпускаете специальный дамский номер, то прошу присоединить и мой скромный голос.

Потеснитесь слегка, дорогие писатели! Позвольте и мне какое-нибудь местечко сообщить насчет женского вопроса и насчет равноправия.

Как же это так, дорогие товарищи, насчет женского равенства? Неужели же позабыт этот симпатичный лозунг? Неужели же, между прочим, от него ничего не осталось?

Не далее как в 18 году, при полном восторге, был объявлен этот лозунг — равенство. Это значит, что любая маломальски пустяковая дамочка приравнивается мужчине, и если куда с ним идет, то платит на равных основаниях и из своего кармана.

Но не прошло и пяти лет, как лозунг этот позабыт, и перед лицом зрителя встает иная картина. Идешь ли с какой-нибудь дамочкой в театр или посещаешь с ней кинематограф, плати входные и за театр и за кинематограф. А если

дамочка берет с собой малолетнюю сестренку, то и за малолетнюю сестренку. А если увяжется, между прочим, престарелая мамаша, то и за мамашу, так, здорово живешь, — выкладывай денежки. Хотя, между прочим, мамаша слаба глазами и даже через очки ни черта не смыслит, и деньги, значит — выбрасывай зря и на ветер.

Или, например, влезаешь с дамочкой в трамвай — плати кондуктору и за трамвай. А если вынимаешь деньги за одно-го, то после слёз и скандала не оберешься.

Как же так, дорогие товарищи наборщики? Какое же это, между прочим, равенство? За что же человеку страдать, если в свое время был объявлен дорогой лозунг? И закон обратного хода не имеет?

Потеснитесь еще слегка, уважаемые и маститые писатели! Не сердитесь, дорогие наборщики, что заставляю вас набирать — за вашего же брата, мужика, — хлопочу и стараюсь.

Так вот: в 18 году был объявлен дорогой лозунг, а в 19 году, не откладывая дела в долгий ящик, принялся я отыскивать подругу жизни, которая бы совпадала с лозунгом. Но такой подруги не нашел.

Некоторые дамочки просто смеялись над лозунгом, говоря, что им не надо такого лозунга. Другие, напротив того, говорили, что лозунг симпатичный, но, между прочим, чуть до дела — так и гони монету: и за вход плати, и место уступай, и монпасье покупай... Вот вам и лозунг!

Два года я искал и, наконец, нашел.

Потеснитесь еще слегка, уважаемые писатели! Дозвольте досказать фавулу. Пожирнее набирайте, дорогие наборщики.

Так вот — нашел. Встретил ее в клубе, когда она с пеной на губах защищала этот лозунг.

Конечно, она не была красивая эта дамочка, но я смотрел не на ее наружность, я смотрел на ее внутренность.

А наружность у ней была скромная — волосики были под ноль отрезаны и одна губа несколько свешивалась книзу, что придавало лицу печальное выражение. Но зато цвет лица был красный и здоровый.

Когда я к ней подошел, то она брызгала слюной и говорила, что никогда не позволит мужчине на себя тратиться.

— Это, — говорю — гражданка, до первого случая. Небось, когда корабль тонет, то дамы вперед, а мужчина тони и захлебывайся в море.

— Нет, — говорит, — тонуть, так вместе.

— Ну, — говорю, — разрешите тогда познакомиться.

Познакомились. Стали с ней всюду бывать. Действительно, платит за себя и презрительно отзывается о других дамах.

Два месяца я с ней походил — делаю официальное предложение.

— Позвольте, — говорю, — быть вашим спутником в жизни. Вы, — говорю, — работаете на себя, я на себя. Вы за вход, и я за вход. Очень, говорю, это симпатично и вполне совпадает с лозунгом.

А она говорит:

— Ладно. Только, — говорит, — все свадебные издержки пополам.

— Пожалуйста, — говорю.

Так вот я и женился.

Потеснитесь еще слегка, дорогие писатели! Сейчас до-
скажу.

Так вот, женился я в мае, а в июне увольняют мою супру-
гу со службы, как замужнюю.

А она домой приходит и смеется.

— Вы, — говорит, — мне супруг, вы и содержите.

Побежал я на ее службу объясняться, а там и слушать не
хотят и насчет лозунга улыбаются.

Уважаемые редакторы и дорогие наборщики! Как же это
так? За что же я погиб? И за какие грехи мне теперь жить с
кикиморой?

Где же дорогой лозунг? Неужели позабыт навеки?

КОЛДУН

Чудеса, граждане! Кругом, можно сказать, пар, электри-
ческая энергия, швейные ножные машинки, — и тут же на-
ряду с этим — колдуны и кудесники.

Совершенные чудеса!

У мужика в деревне сеялка и веялка, и землю свою мужик
раздраконивает паровым трактором, и тут же рядом и почти
в каждой деревне проживает колдун. Живет, хлеб жует и му-
жичков поцукивает.

Странные и непонятные вещи!

На днях вот в одной деревне убили колдуна. Ну убили,
убили — забыть надо. Так не забыли мужички. Плачут те-
перь и рыдают и рвут на себе волосенки.

Потому — пугаются, что будет наказание свыше.

А пришел этот колдун перед самой своей гибелью к одному среднему мужику. А примета такая: пришел колдун — значит, жди беды: либо корова скончается, либо другое несчастье.

Пришел колдун и сел за стол. А глаза у самого мутные, усы книзу, и бороденка треплется. Сидит колдун за столом и почесывает левую руку. Ну, конечно, в избе испугались. Хозяйка мечется, кряхтит, прет на стол все съедобное. Старуха кланяется между тем колдуну в пояс и наивно спрашивает:

— И чего ты, батюшка, пришел, сел за стол и чешешь левую ручку? Не случится ли какой бедешки или горя?

А колдун, нахмураясь, отвечает:

— Может, бабка, и случится. А случится, так откупишься, божья старушка. Бояться беды нечего.

А хозяин, инвалид Тимошка, цыкает на старушку и сам к колдуну подходит.

— Нечего, говорит, дарма тут сидеть — прохладжаться. Нечего, говорит, тут ручки чесать — блох у меня разводить. Почесал и хватит — катись колбаской.

Ахнули в избе от нахальной реплики. А колдун посерел, встал, понюхал пустой воздух и вышел.

Ну вышел — вышел. Баба плачет, старушка хрюкает, а Тимошка, выпятив грудь, отвечает:

— Я, говорит, еще премного жалею, что колдуна между глаз не ударил. Я, говорит, колдунов завсегда в переносье бью.

И вот наступила ночь. Баба плачет, старушка хрюкает. А Тимошка на лавке лежит и носом посвистывает. Вдруг среди ночи баба Тимошку будит.

— Ну, говорит, дождались — несчастье. Слушай!

И верно: со двора из хлева тоненько так теля заливается.

Ну, зажгли фонарь, вышли во двор — верно: стоит теле-нок посередь хлева, хвостик свой приподнял ввысь и орет, орет — ушам скучно.

Дали телке хлеба моченого — не берет. Дали молока — отказывается.

И орет всю ночь. И утром орет. И в обед орет.

Вечером бабы поднаперли на Тимошку. Велели повалить-ся ему в ноги колдуну и выпросить прощение. Тимошка по-кобенился, но пошел.

Пришел.

— Чего, — спрашивает колдун, — не телка ли орет?

Испугался Тимошка.

— Да, говорит, гражданин колдун, орет телка. Не вели, говорит, казнить, а вели миловать. С меня, говорит, прихо-дится.

— Ладно, — сказал колдун.

И пошел. Он пошел впереди, а Тимошка за ним. Дошли до дому, а колдун и говорит:

— Как войдем в ворота, отвернися в сторону и шепчи мо-литвы. Я же потружусь и сам пойду к теленку.

И пошел к теленку.

А Тимошка обождал слегка и за ним. Колдун в хлев, а Ти-мошка припал к стене и в щелку смотрит, чего колдун воро-жить будет.

А колдун между тем взял в руку телячий хвост и вынима-ет из него булавку.

Закричал тут Тимошка, запер хлев, созвал мужиков и объяснил дело.

Начали колдуна бить.

Били колдуна, били — молчал колдун, но, помирая, сказал: — Не я всунул в телячий хвост булавку — Бог всунул.

С тем и помер.

Ну помер — помер. На сегодня, например, помер — завтра несчастье: у мужика в соседней деревне корова ногой куру задавила.

Месяц или два прошло — бац еще несчастье: шел пьяненький мужик домой, свалился в канаву и ногу себе вывернул. Два эти несчастья случились, и мужички ждут третьего. А третье случится — будут ждать четвертого.

Будет теперь колдун крошить народ человеческий.

СЛУЧАЙ В БОЛЬНИЦЕ

В феврале я, братцы мои, заболел.

Лег в городскую больницу. И вот лежу, знаете ли, в городской больнице, лечусь и душой отдыхаю. А кругом тишь и гладь и божья благодать. Кругом чистота и порядок, даже лежать неловко. А захочешь плюнуть — плевательница. Сесть захочешь — стул имеется, захочешь сморкнуться — сморкайся на здоровье в руку, а чтоб в простыню — ни боже мой, в простыню нипочем не позволяют. Порядка, говорят, такого нет.

Ну и смиряешься.

И нельзя не смириться. Такая вокруг забота, такая ласка, что лучше и не придумать. Лежит, представьте себе, какой-нибудь паршивенький человек, а ему и обед волокут, и кровать убирают, и градусники под мышку ставят, и клистиры собственноручно пихают, и даже интересуются здоровьем.

И кто интересуется? Важные, передовые люди — врачи, доктора, сестрички милосердия и опять же фельдшер Иван Иванович.

И такую я благодарность почувствовал ко всему этому персоналу, что решил принести материальную благодарность.

Всем, думаю, не дашь — потрохов не хватит. Дам, думаю, одному. А кому — стал присматриваться.

И вижу: некому больше дать, иначе как фельдшеру Ивану Ивановичу. Мужчина, вижу, крупный и представительный и больше всех старается и даже из кожи вон лезет.

Ладно, думаю, дам ему. И стал обдумывать, как ему всунуть, чтоб и достоинство его не оскорбить, и чтоб не получить за это в рожу.

Случай скоро представился.

Подходит фельдшер к моей кровати. Здоровается.

— Здравствуйте, говорит, как здоровье? Был ли стул?

Эге, думаю, клюнуло.

— Как же, говорю, был стул, да кто-то из больных унес. А ежели вам присест охота — присаживайтесь в ноги на кровать. Потолкуем.

Присел фельдшер на кровать и сидит.

— Ну, — говорю ему, — как вообще, что пишут, велики ли заработки?

— Заработки, говорит, невелики, но которые интеллигентные больные и хотя бы при смерти, норовят непременно в руку сунуть.

— Извольте, говорю, хотя и не при смерти, подать не отказываюсь. И даже давно про это мечтаю.

Вынимаю деньги и даю. А он этак любезно принял и сделал реверанс ручкой.

А на другой день все и началось.

Лежал я очень даже спокойно и хорошо, и никто меня не тревожил до этих пор, а теперь фельдшер Иван Иванович словно ошалел от моей материальной благодарности. За день раз десять или пятнадцать припрется он к моей кровати. То, знаете ли, подушечки поправит, то в ванну поволокет, то клизму предложит поставить. Одними градусниками замучил он меня, сукин кот. Раньше за сутки градусник или два поставит — только и всего. А теперь раз пятнадцать. Раньше ванна была прохладная и мне нравилась, а теперь набуровит горячей воды — хоть караул кричи.

Я уже и этак, и так — никак. Я ему, подлецу, деньги еще сую — отстань только, сделай милость, он еще пуще в раж входит и старается.

Неделя прошла — вижу, не могу больше.

Запарился я, фунтов пятнадцать потерял, похудел и аппетита лишился.

А фельдшер все старается.

А раз он, бродяга, чуть даже меня в кипятке не сварил. Ей-богу. Таковую ванну, подлец, сделал — у меня аж мозоль на ноге лопнула и кожа сошла.

Я ему говорю:

— Ты что же, говорю, мерзавец, людей в кипятке варишь? Не будет тебе больше материальной благодарности.

А он говорит:

— Не будет — не надо. Подышайте, говорит, без помощи научных сотрудников.

И вышел.

А теперича снова идет все по-прежнему: градусники ставят один раз, клизму по мере надобности. И ванна снова прохладная, и никто меня больше не тревожит.

Не зря борьба с чаевыми происходит. Ох, братцы, не зря!

ТВЕРДАЯ ВАЛЮТА

— Чтой-то мне не нравится, граждане, твердая валюта, — сказал Григорий Иванович. — Ничего в ней нету хорошего. Одно сплошное беспокойство выходит гражданам.

Скажем, — двугривенный. Звенит, слов нету, а положил его в карман — и поминай как звали: небольшая дырочка в кармане, и вывалилась ваша твердая валюта к чертовой бабушке. А потом лижи пол языком, надевай бинокли на нос, отыскивай.

А если валюта мягкая, то опять-таки ничего в ней хорошего. Одно сплошное беспокойство выходит гражданам. Ну, бумажка и бумажка, а присел за стол, сыграл в «очко» — и нету вашей бумажки.

Не нравится мне такая валюта, несимпатична.

А уж если на такую валюту покупать пошел, то до того скучно, до того нету интереса, что и покупать не хочется.

Ну, пришел в лавочку. Приказчик этакий стоит с бородой, нож точит. Ну, здравствуйте! Чего, дескать, вам нужно? Ну, возьмешь обрезков, заплатишь в кассу. И все. И ничего больше. Ни поторговаться, ни на товар плюнуть. С приказчиком сцепиться — и то нельзя.

Эх, скучно! До того мне, товарищи, с этой теперешней валютой скучно, так и сказать нельзя. Я, товарищи, вообще иду теперь против капитализма и денежного обращения. Я стою за денежный порядок 18 года.

Тоже была там валюта. Вроде володи. Если колечко или портсигар — твердая, если шляпа или штаны — мягкая.

А очень отлично было и хорошо.

Повезешь мужичкам штаны. Выложишь им эти штаны, помахашь в воздухе, зажмешь пальцем кое-какую дыру и пожалуйте, налетайте граждане, волоките в обмен припасы. Иной раз до того товару навезешь в город, что даже совестно, зачем деревню объегорил.

Конечно, некоторые граждане, может быть, скажут, что неудобно было с такой валютой — возня и неприятности. Это пустяки. Очень было даже удобно и хорошо. А что неприятности, то в любом деле бывают неприятности.

Была у нас одна неприятность. Это когда мы рояль везли. Небольшой этакий рояльчик, но со струнами, с крышкой и с педальками.

А стоял этот рояль в пустой генеральской квартире. Что ж, думаем, зря гниет народное достояние. И с разрешения

нижних жильцов выперли мы этот небольшой рояльчик на свет божий. Ну и повезли втроем.

Конечно, трудно было. Запарились. Пот льет, штаны прилипают, беда. Еле в теплушку вперли.

А народу смешно. Хохочут. Интересуются, куда музыку везем. А везем в Череповецкую на масло.

Привезли в Череповецкую. Волокем в одну деревню. Не берут. Один мужик было взял, да в его избенку рояль не лезет. Уж мы и так и этак — никак. Хотели стенку разбирать — заартачился серый, не позволил.

И цену хорошую дает и рояль ему иметь хочется, а никак.

Я говорю:

— Ты, милый, не расстраивайся. Не лезет, не надо. Пущай во дворе стоять будет на вольном воздухе. Еще и лучше.

Так нет, не хочет.

Я говорю:

— Не хочешь, не надо. Не расстраивайся. Можем мы тебе над рояльчиком навесик вроде беседки устроить.

Нет. Бойтся, что корова пугаться будет.

Не хочет, не надо. Волокем рояльку в другую деревню. В другой деревне опять беда — не лезет музыка ни в одну избу.

Стали совещаться чего делать. Решили не оптом, а в розницу продавать — кому педали, кому струну, кому что.

Ничего, разбазарили.

А что неприятность, то неприятность после вышла. Когда вернулись, к ответу потянули.

А на суде выяснилось, отчего рояль в избу не влезал. Надо было ножки откручивать. Век живи — век учись.

Только вот и была одна неприятность с этой твердой валютой, а то все сходило чинно, чисто и благородно.

Хорошо было и весело, не то, что с теперешней валютой.

СТАРЫЙ ВЕТЕРАН

Тут недавно праздник был — юбилей Красной Армии. Хотел я свои воспоминания в какой-нибудь орган пристроить — не берут, черти липовые, не хотят. Ходил, ходил — ни в какую: отказывают.

Я говорю:

— Если денег, например, нету у вас в органе, то я обожду, надо мной не каплет. Печатайте.

А они насчет денег ничего утвердительного не говорят, но печатать отказывают.

Дозвольте уж мне, уважаемые редакторы, поместить в вашем полупочтенном органе свои славные воспоминания про Красную Армию, и как, знаете ли, меня забрали в ее ряды и как после того погнали на фронт.

Чудные и светлые воспоминания!

В настоящее время, когда государство перешло на мирное строительство, я тоже по-прежнему торгую на рынке орешками и сладями. Но в эти торжественные дни, как старый боевой конь при звуках военной трубы, я записываю свои воспоминания, хотя супруга Дарья Васильевна лезет драться по морде и умышленно опрокидывает пузырек с чернилами, требуя, чтоб я прекратил писание.

Уважаемые редакторы, извините ей, старой бабе, — не ведает, что творит. Не понимает она всей военной славы. И где же ей понять?

Это я в свое время действительно ходил по улицам, присоединяясь к какой-нибудь демонстрации и громко крича ура.

А раз, проходя по улице Герцена со стягами, я увидел такую картину. Смотрю, будто на углу народ скопился и жадно что-то читает.

Подхожу.

— Чего, спрашиваю, пишут? Не дорогие ли лозунги напечатаны?

— Нету, говорят, это не лозунги, это в Красную Армию берут.

Екнуло у меня сердце от предчувствия и задрожали руки. Попался, думаю, забрили.

Но вслух говорю равнодушно:

— Да ну, говорю, какие же года берут? Неужели же и во семьдесят третий год берут?

— Да, говорят, берут.

— Позвольте, говорю, а может, я нездоровый, может, я и ружье не подыму, как же так?

— Не знаем, говорят, обратитесь в военный комиссариат.

Побежал я в комиссариат. А настроение плохое, хоть в речку с моста. Но бодрюсь. Не сдамся, думаю, даром.

Прихожу.

Сидит этакий белобрысенький, в картузе и из пузырька пишет.

— Здравствуйте, говорю. Берут, говорю, восемьдесят третий год или это сущие враки?

— Да, говорит, берут.

— Позвольте, говорю, может, я больной, может, у меня внутри черт знает чего делается?!

— Подавайте, говорит, на врачебную комиссию.

— Пожалуйста, отвечаю.

Записал он меня на комиссию и просит уйти честью. Ну, ушел.

Вышел на улицу. Опять демонстрации ходят. Пошел и я за стягами. Иду, кричу дорогие лозунги, вдруг женин папашка навстречу прется.

— Мое, говорит, вам. Не берут ли, говорит, в армию?

— Берут, говорю, чего и делать, не знаю.

А женин папашка отвечает:

— Можно, говорит, ногу ляписом прижечь или же купоросом.

— Да уж, говорю, я про это думал. Небось чересчур больно и попасться можно.

— Да уж, говорит, не без того.

Хотел я за эти слова жениному папашке по роже ударить, но удержался. Думаю: не ведает, что творит.

Попрощался с ним грустно и домой пошел.

Прихожу домой и обдумываю, чего делать.

А была у меня болезнь: в восемнадцатом году объелся я пшеном. Очень даже сильно меня рвало и несло. И были свидетели — жена и квартирный жилец Егор Пятин.

Ладно, думаю, возьму их в свидетели.

И вот наступила комиссия. Беру свидетелей и иду.
Являюсь.

Вызывают фамилию на Кы — Кукушкин. Подхожу. Почтительно здороваюсь за руки.

— Чем, говорят, страдаете? Все ли на руках пальцы?

— Пальцы, говорю, все, можете проверить, а животом действительно страдаю и по ночам блюю.

Пощупали живот и говорят:

— Здоровый. Подходи, который следующий.

— Позвольте, говорю, как это здоров? У меня, говорю свидетели есть.

И зову свидетелей.

Являются жена и Егор Пятин. Здороваются с комиссией.

А врачи как один руками машут и не хотят здороваться.

И не только не хотят здороваться, а и слушать их не желают.

Хотел я старшему из комиссии в бороденку плюнуть — удержался. Не ведает, думаю, что творит.

Ну, вижу, сорвалась вся музыка. Надо, думаю, поступать в армию. И тут же поступил.

Ну, поступил. Две недели проходит — пожалуйста, гражданин Кукушкин, на фронт, честью просим.

Поехали на фронт.

Приехали. Пули, конечно, летают, пушки, бомбометы... А один из командиров, спасибо ему, устроил меня в обоз на двуколке ездить.

И пробыл я в армии полгода. А когда отступали мы от Нарвы, я сильно погнал клячонку, а она меня скинула из дву-

колки. А другая клячонка, не нашего только полка, наступила мне на ногу.

Но уволили меня по другой причине — года вышли. Зря чертова кляча наступила на ногу.

ФОМА НЕВЕРНЫЙ

Фома Крюков три года не получал от сына писем, а тут, извольте — получайте, Фома Петрович, из города Москвы, от родного сына пять целковых.

«Ишь ты, — думал Фома, рассматривая полученную посылку. — Другой бы сын, небось, три рубля отвалил бы и хватит. А тут, извольте — пять целковых. При таком обороте рублишко и пропить можно».

Фома Крюков попарился в бане, надел чистую рубаху, выпил полбутылки самогона и поехал на почту.

«Скажи на милость, — думал Фома дорогой, — пять целковых! И чего только не делается на свете! Батюшки светы! Царей нету, ничего такого нету, мужик в силе... Сын-то, может, державой правит... По пять рублей денег отцу отваливает... Или врут люди насчет мужиков-то? Ой, врут! Сын-то, может, в номерных, в гостинице служит!»

Фома приехал на почту, подошел к прилавку и положил извещение.

— Деньги, — сказал Фома, — деньги мне от сына дополучить.

Кассир порылся в бумагах и положил на прилавок полчервонца.

— Так! — сказал Фома. — А письма мне сын не пишет?
Кассир ничего не ответил и отошел от прилавка.

«Не пишет, — подумал Фома. — Может, после напишет.
Можем ждать, если, скажем, есть деньги».

Фома взял деньги, посмотрел на них с удивлением и
вдруг стукнул ладонью по прилавку.

— Эй, дядя! — закричал Фома. — Каки деньги суешь-то,
гляди?!

— Какие деньги? — сказал кассир. — Новые деньги...

— Новые? — переспросил Фома. — Может, они, это са-
мое, липовые, а? Думаешь, выпившему человеку все сунуть
можно? Знаки-то где?

Фома посмотрел на свет, повертел в руке, потом опять по-
смотрел.

— Ну? — с удивлением сказал Фома. — Это кто там та-
кой есть? Изображен-то... Не мужик ли? Мужик. Ей-богу,
мужик. Ну? Не врут, значит, люди. Мужик изображен на де-
ньгах-то. Неужели же не врут? Неужели же мужик в такой
силе?

Фома снова подошел к прилавку.

— Дядя, — сказал Фома, — изображен-то кто? Извини за
слова...

— Уходи, уходи! — сказал кассир. — Получил деньги и
уходи к лешему... Где изображен-то?

— Да на деньгах!

Кассир посмотрел на мужика и сказал, усмехаясь:

— Мужик изображен. Ты, ваше величество, заместо царя
изображен. Понял?

— Ну? — сказал Фома. — Мужик? А как же это я, дядя, ничего не знаю и ничего не ведаю? И землю пахаю. И все у нас пахают и не ведают.

Кассир засмеялся.

— Ей-богу, — сказал Фома. — Действительно, подтверждают люди: деятели, говорят, теперь крестьянские. И крестьянство в почете. А как на деле, верно ли это или врут люди — неизвестно... Но если на деньгах портрет... Неужели же не врут?

— Ну уходи, уходи, — снова сказал кассир. — Не путайся тут.

— Сейчас, — сказал Фома. — Деньги только дай спрятать, с портретом, ха... А я, дядя, имей в виду, царей этих самых и раньше не любил... Ей-богу...

Фома с огорчением посмотрел на сердитого кассира и вышел.

«Скажи пожалуйста, — думал Фома, — портрет выводят... Неужели же мужику царский почет?»

Фома погнал лошадь, но у леса вдруг повернул назад и поехал в город.

Остановился Фома у вокзала, привязал лошадь к забору и вошел в помещение.

Было почти пусто. У дверей, положив под голову мешок, спал какой-то человек в мягкой шляпе.

Фома купил на две копейки семечек и присел на окно, но, посидев минуту, подошел к спящему и вдруг крикнул:

— Эй, шляпа, слась со скамьи! Мне сесть надо...

Человек в шляпе раскрыл глаза, оторопело посмотрел на Фому и сел. И, зевая и сплевывая, стал свертывать папироску.

Фома присел рядом, отодвинул мешок и стал со вкусом жевать семечки, сплевывая шелуху на пол.

«Не врут, — думал Фома. — Почет, все-таки, заметный. Слушают. Раньше, может, в рожу бы вlepили, а тут слушают, пугаются. Ишь ты, как все случилось, незаметно приключилось... Скажи на милость... Не врут».

Фома встал со скамьи и с удовольствием прошелся по залу. Потом подошел к кассе и заглянул в окошечко.

— Куда? — спросил кассир.

— Чего куда?

— Куда билет-то, дура-голова?

— А никуда, — равнодушно сказал Фома, разглядывая помещение кассы. — Могу я посмотреть внутри кассу, ай нет?

— А никуда, — сказал кассир, — так нечего и рыло зря пялить.

— Рыло? — обиженно спросил Фома. — Кому говоришь-то?

— Ишь, пьяная морда! — сердито сказал кассир. — Тоже в окно глядит... Черт серый...

Фома нагнулся к окошечку и вдруг плюнул в кассира и быстро пошел к выходу.

Фому схватили, когда он отвязывал лошадь. Он вырывался, кричал, пытался даже укусить сторожа за щеку, но его неумолимо волокли к дежурному агенту.

Там, слегка успокоившись, Фома пытался что-то объяснить, размахивал руками, вынимал из шапки деньги и предлагал агенту взглянуть на них.

Но агент, ежесекундно макая перо в пузырек, писал протокол об оскорблении действием кассира при исполнении служебных обязанностей. И еще о том, что Фома, находясь явно в нетрезвом виде, ел в закрытом помещении семечки и плевал на пол.

Фома поставил под протоколом крестик и, вздыхая и дергая головой, вышел из помещения.

Отвязал лошадь, сел в телегу, достал из шапки деньги и посмотрел на них. Потом махнул рукой и сказал:

— Врут, черти...

И погнал лошадь к дому.

БЕДНЫЙ ЧЕЛОВЕК

На первомайском празднике аэропланы летали...

А если человек на аэроплан зазевался, если голову кверху задрал и рот разинул, то примета такая есть — к такому человеку сущие пустяки в карман влезть.

Ну а влез в карман — бери что твоей душе угодно. А душе, скажем, все угодно. Каждый предмет угоден и нравится. Васькиной душе, например, и часишки нравятся, и портсигары очень симпатичны, и колечки — тоже неплохо, если они, конечно, не кастрюльного золота.

На аэропланы же Васька Гусев смотреть не любит — нелюбопытное занятие. Ну летит и летит. На то и сделано, чтоб летало.

Васька Гусев потискался в толпе, вынул у пузатого гражданина портсигар серебряный, срезал у зазевавшегося, сен-

новского, небось, купчика струканцы с цепочкой, залез в какую-то бабью сумочку, выбрал оттуда маленький этакий портсигарчик с пудрой и платок довольно вонючий и переложил все это добришко в свой карман.

После, весело посвистывая, Васька Гусев нырнул в стонку, прошел два квартала для безопасности и, снова потискавшись в народе, пробрался вперед, встал у тумбы и с интересом стал следить за демонстрацией.

Народ шел по улице с пением и музыкой. Трубачи трубили, народ пел, красные флаги качались в воздухе, а по бокам на панелях плечом к плечу люди теснились и охали.

Васька не охал. Васька стоял на панели и курил папироску. Позади Васьки кто-то сказал вслух:

— А все-таки, братцы, громаднейший это праздник... Первое то есть мая...

— А конечно, — подтвердил кто-то. — Пасха и та будет помельче...

Васька Гусев тоже хотел присовокупить свое авторитетное мнение насчет праздника — дескать, майский праздник разве можно с чем сравнить, чудачи...

Но сказать это вслух Васька постеснялся.

«Праздник, конечно, большой, — подумал Васька, — а мое дело, между прочим, — маленькое: спер — и за щеку, спер — и до свиданья... А праздник, безусловно, громадный. В такой праздник даже довольно совестно в карманы влезать».

Васька побренчал серебром в кармане и успокоительно сплюнул.

«У буржуев, между прочим, сперто, — подумал Васька. — У бедноты нипочем бы не спер. Очень уж огромный праздник. Нельзя».

Васька снова побренчал рукой по карману и вдруг вспомнил, что, кроме всего прочего, еще спер он у девицы серебряный портсигарчик с пудрой.

«Жалко, — подумал Васька. — Зазря девчонку обидел. Пойти поискать ее, что ли? Очень уж огромный праздник... Да где найти?.. Подсунуть, что ли, кому-нибудь? Товарчик, конечно, маловажный, неинтересный товар. На что он мне сдался...»

Васька пробрался через толпу и нырнул в сторонку.

«Суну кому-нибудь этот самый дамский портсигарчик, — решил Васька. — Ей-богу. Суну бедному человеку. Очень огромный праздник! Пущай бедный человек придет домой, на квартиру, вывернет карманы, а там портсигарчик. Серебро все-таки... Продать можно... А человек пущай будет пребедный-бедный. Найдет портсигарчик, обрадуется до чего, заплачет... Вот, скажет, какое чудо-юдо со мной приключилось!»

Васька помечтал немного и стал глазами искать бедного человека.

Много было бедных, но у одного сапоги были новенькие, у другого — штаны приличные в клеточку, у третьего — цепочка из кармана болтается. Таким-то Васька не сунет. Сунет Васька ужасно бедному и безработному человеку.

Васька прошелся по тротуару и вдруг увидел человека, плохо одетого, в рыжих штанах и в рваной гимнастерке. Человек стоял неподвижно и, слегка раскрыв рот, смотрел на аэроплан.

«Безработный, — подумал Васька. — Ему и суну. Ей-богу. Очень уж огромный праздник».

Васька Гусев подошел к бедняку поближе, нащупал карман в рыжих штанах и сунул туда портсигар.

Портсигар провалился в карман и вдруг с грохотом упал на панель. В рыжих штанах карманов не было.

Человек в рыжих штанах охнул и схватил Ваську за руку. — Воруют! — закричал он, сжимая Васькины руки.

Тотчас окружили Ваську и стиснули кольцом. От удивления Васька даже не сопротивлялся.

— Ну и ну, — сказал Васька, — карманов-то, братцы, у его нету...

Ваську тискали, мяли и даже кто-то ударил по скуле.

— За что же, братцы? — сказал Васька, сплевывая. — Я же, братцы, сам ему сунул дамский этот портсигарчик.

— Да ну? — удивились в толпе. — Зачем же ты сунул-то?

Человек в рыжих штанах оторопело смотрел на Ваську.

— Да ну? — сказал он тоже. — Ты, парень, небось думал, что карманы у меня есть, да? Нету у меня, парень, карманов-то. Жалею, что нету... Жалко. Лучше бы ты, парень, вот сюда сунул.

Человек без кармана хлопнул по своей гимнастерке и с огорчением добавил:

— Жалко... В этот карманчик надо бы тебе сунуть. На гимнастерке который. Ты гляди, парень: в этот надо было сунуть. Эх, дядя!..

Человек без кармана сконфуженно улыбнулся, махнул рукой и, с грустью покачивая головой, отошел в сторонку.

Ваську повели в милицию, но по дороге отпустили.

ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРЕДРАССУДКОВ

Это было в жестком вагоне московского поезда.

Какой-то толстоватый гражданин, отрезая от буханки кусок хлеба, обронил нож.

Соседка толстоватого гражданина с любопытством спросила:

— Чего, батюшка, упало, ножик или вилка?

— Ножик, — нехотя ответил гражданин, шаря рукой по полу.

— Мужчина придет, — сказала гражданка. — Ежели ножик упал, то мужчина...

Мой сосед, человек в зеленых обмотках и с мешком за спиной, вдруг возмутился. Даже почернел от злости.

— Это довольно вам стыдно так говорить, гражданка, — сказал он. — Довольно стыдно в двадцатом веке иметь свои предрассудки и суеверия.

Гражданка испуганно посмотрела на моего соседа.

— Примета такая, — сказала она. — Ежели нож, то мужчина обязательно придет, ежели вилка — дама... А я, товарищ, ничего. Такая примета...

Сосед мой ехидно засмеялся.

— Вот, — сказал он, — не угодно ли! Кругом электрификация, а тут такие предрассудки...

Сосед помолчал, но потом заговорил снова, обращаясь больше ко мне, но так, чтобы и все слышали:

— Да, товарищ, кругом электричество, кругом черт знает какие великие идеи происходят, кругом борьба с религией, а наряду с этим, обратите внимание, полное невежество и мещанские предрассудки.

— Ну, не всегда же, — сказал я.

— А мне от этого не легче, — хмуро сказал сосед. — Я, может, товарищ, от этого со своей супругой расстался.

— Да что вы?

— Ей-богу, — сказал он. — Я хоть и беспартийный человек, а не могу, знаете ли, с мещанкой жить. Я, может, товарищ, шесть лет с ней жил, а теперь не могу. Не такое время... Я ее, подлюю, честью просил: брось, говорю, Катерина Васильевна, свои штучки, брось, говорю добром, мещанские предрассудки и суеверия. Так нет. Нож упал — мужчина, видите ли, придет, попа встретила — пути, говорит, не будет, икнула — опять примета... Тьфу!

— Неужели разошлись из-за этого?

— Ей-богу, — сказал сосед, — из-за этого, и вообще, поведение у ней стало какое-то легкое... А я ее честью просил. Не хочет — не надо. Не могу с дурой жить... А теперь я в Москву еду. А если встречу, например, в Москве настоящую, правильную гражданку без предрассудков, то обязательно на такой женюсь. Да только вряд ли, товарищ, встречу. Сомневаюсь я что-то...

Сосед замолчал, свернул папиросу и закурил. Потом тихонько икнул и сказал:

— Вспоминает кто-то...

— Это она, жена твоя разведенная, не иначе как вспоминает, — сочувственно отозвалась гражданка. — Как-то ей теперь, милой, живется?..

— Все может быть. Может, и она вспоминает. А только сама, дура, виновата, — ответил гражданин, сплевывая на пол.

ПАЦИЕНТКА

В сельскую больницу Пелагея приехала за тридцать верст. Выехала на рассвете и в полдень остановилась у белого одноэтажного дома.

— Хирург-то принимает? — спросила она мужика, сидящего на крыльце.

— Хирург-то? — с интересом спросил мужик. — А ты не больна ли будешь? Животом, что ли?

— Больна, — ответила Пелагея.

— Я, милая, тоже больной, — сказал мужик. — Пшеном я объелся... Седьмым записан.

Пелагея привязала лошадь к плетню и вошла в больницу.

Больных принимал фельдшер Иван Кузьмич. Был он маленький, старенький и ужасно знаменитый. Все вокруг знали его, — хвалили и называли без причины хирургом.

Пелагея вошла к нему в комнату, низко поклонилась и присела на край стула.

— Больна, что ли? — спросил Иван Кузьмич.

— Больна я, — сказала Пелагея. — То есть, вся наскрозь больная. Каждая косточка ноет и трясется. Сердце гниет заживо.

— С чего бы это? — равнодушно спросил фельдшер, — с каких пор?

— С осени, Иван Кузьмич. С самой осени. Осенью я заболела. Как, знаете ли, супруг Димитрий Наумыч приехал из города, так я и заболела. Я стою, например, возле стола и лепешки в муке валяю. Димитрий Наумыч любил эти самые

лепешки... Где, думаю, он теперь, Димитрий Наумыч-то?.. В городе он советский депутат!

— Позволь, бабонька, — сказал фельдшер, — ври да не завирайся. Чем больна-то?

— Да я ж и говорю, — сказала Пелагея, — стою возле стола, кручу лепешки... Вдруг тетка Агафья, что баран, прибегает и рукой махает. — Иди, — кричит, — Пелагеюшка, иди поскорей. Твой-то никак приехал из города и идет, будто, по улице с мешком и с палкой. — Зашлось у меня сердце. Подкосились ноги, стою дурой и лепешки мну... Бросила после лепешки, выбежала во двор. А во дворе солнце играет, играет. Воздух легкий. А налево, этак у хлева, желтый телок стоит и хвостиком мух пугает. Взглянула я на телка — слезы каплют. Вот, думаю, Димитрий Наумыч-то обрадуется этому самому желтому телку.

— Позволь, — хмуро сказал фельдшер, — ты дело говори.

— Я ж и говорю, батюшко Иван Кузьмич. Не сердись только. Дело я говорю... Выбежала я за ворота. Гляжу этак, знаете ли, налево церковь, коза клоповская ходит, петух ножкой ворошит, а направо, по самой середке, гляжу — Димитрий Наумыч идет.

Глянула я на него. Сердце закатилось, икота подступает. Ой, думаю, мать честная пресвятая богородица! Ой, думаю, тошнехонько! А он-то идет серьезным, мелким шагом. Борода по воздуху треплется. И платье городское на нем. И в штиблетах.

Как увидела я штиблеты, будто что оторвалось у меня внутри. Ой, думаю, куда ж я такая-то, необразованная, гожусь ему в пару, если он, может, первый человек и депутат советский.

Встала я душой у плетня и ногами не могу идти. Перебираю пальцами плетень и стою.

А он-то, Димитрий Наумыч, депутат советский, доходит до меня мелким ходом и здоровается.

— Здравствуйте, говорит, Пелагея Максимовна. Сколько, говорит, лет, сколько зим не виделись с вами...

Мне бы, дуре, мешок у Димитрия Наумыча схватить, а я гляжу на штиблеты и не двигаюсь.

Ой, думаю, отвык от меня мужик. Штиблеты носит. С городскими, может, с комсомолками разговаривает.

А Димитрий Наумыч отвечает басом:

— Ох, говорит, Пелагея, Пелагея, такая-то ты есть. Темная, говорит, ты у меня, Пелагея Максимовна. Про что, говорит, я с тобой теперь разговаривать буду? Я, говорит, человек просвещенный и депутат советский. Я, говорит, может, четыре правила арифметики насквозь знаю. Дробь, говорит, умею... А ты, говорит, вон какая! Небось, говорит, и фамилии не можешь подписывать на бумаге? Другой бы очень просто бросил бы тебя за темноту и необразованность.

А я стою у плетня и лепечу слова, дескать, конечно, Димитрий Наумыч, бросьте меня такую-то, что вам стоит.

А он берет меня за ручку и отвечает:

— Я шутку пошутил, Пелагея Максимовна. Оставьте думать. Я, говорит, это так. Что вы?

Снова закатилось у меня сердце, икота подступает.

— Я, говорю, Димитрий Наумыч, будьте спокойны, тоже, конечно, могу дробь узнать и четыре правила. Или фамилию

на бумаге подписывать. Я, говорю, не осрамлю вас, образованного...

Фельдшер Иван Кузьмич встал со стула и прошелся по комнате.

— Ну, ну, — сказал он, — хватит, завралась... Чем болеешь-то?

— Болею-то? Да теперь ничего, Иван Кузьмич. Полегче, будто, теперь. На здоровье не могу пожаловаться. А он-то, Димитрий Наумыч, говорит: пошутил, говорит, я. Вроде как, значит, шутку он выразил...

— Ну да, пошутил, — сказал фельдшер. — Конечно. Порошков, может, тебе дать?

— А не надо, — сказала Пелагея. — Спасибо тебе, Иван Кузьмич, за советы. Мне ехать надо.

И Пелагея, оставив на столе кулек с зерном, пошла к двери. Потом вернулась.

— Дробь-то мне, Иван Кузьмич... Где мне про эту самую дробь-то теперь узнать? К учителю, что ли, мне ехать?

— К учителю, — сказал фельдшер, вздыхая, — конечно. Медицины это не касается.

Пелагея низко поклонилась и вышла на улицу.

ИСПОВЕДЬ

На страстной неделе бабка Фекла сильно разорилась — купила за двугривенный свечку и поставила ее перед угодником.

Фекла долго и старательно прилаживала свечку поближе к образу. А когда приладила, отошла несколько поодаль и, любуясь на дело своих рук, принялась молиться и просить себе всяких льгот и милостей взамен истраченного двугривенного.

Фекла долго молилась, бормоча себе под нос всякие просьбишки, потом, стукнув лбом о грязный каменный пол, вздыхая и кряхтя, пошла к исповеди.

Исповедь происходила в алтаре за ширмой.

Бабка Фекла встала в очередь за какой-то древней старушкой и снова принялась мелко креститься и бормотать.

За ширмой долго не задерживали.

Исповедники входили туда и через минуту, вздыхая и тихонько откашливаясь, выходили, кланяясь угодникам.

«Торопится поп, — подумала Фекла. — И чего торопится? Не на пожар ведь. Торопыга какой...»

Фекла вошла за ширму, низко поклонилась попу и припала к ручке.

— Как звать-то? — спросил поп, благословляя.

— Феклой зовут.

— Ну, рассказывай, Фекла, — сказал поп, — какие грехи? В чем грешна? Не злословишь ли по-пустому? Не редко ли к богу прибегаешь?

— Грешна, батюшка, конечно, — сказала Фекла, кланяясь.

— Бог простит, — сказал поп, покрывая Феклу епитрахилью. — В бога-то веруешь ли? Не сомневаешься ли?

— В бога-то верую. Конечно, — сказала Фекла. — Сын-то приходит, например, выражается, осуждает, одним словом... А я-то верую.

— Это хорошо, матка, — сказал поп. — Не поддавайся легкому соблазну. А чего, скажи, сын-то говорит? Как осуждает?

— Осуждает, — сказала Фекла. — Это, говорит, пустяки — ихняя вера. Нету, говорит, не существует бога, хоть все небо и облака обыщи...

— Бог есть, — строго сказал поп. — Не поддавайся на это... А чего, вспомни, сын-то еще говорил?

— Да разное говорил.

— Разное! — сердито сказал поп. — А откуда все сие окружающее? Откуда планеты, звезды и луна, если бога-то нет? Сын-то ничего такого не говорил — откуда, дескать, все сие окружающее? Не химия ли это?

— Не говорил, — сказала Фекла, моргая глазами.

— А может, и химия, — задумчиво сказал поп. — Может, матка, конечно, и бога нету — химия все...

Бабка Фекла испуганно посмотрела на попа. Но тот положил ей на голову епитрахиль и стал бормотать слова молитвы.

— Ну иди, иди, — уныло сказал поп. — Не задерживай верующих.

Фекла еще раз испуганно оглянулась на попа и вышла, вздыхая и смиренно покашливая.

Потом подошла к своему угодничку, посмотрела на свечку, поправила обгоревший фитиль и вышла из церкви.

«ПЕРЕДОВОЙ ЧЕЛОВЕК»

Обычные люди устраивают званые вечера в день своего рождения или, скажем, на первое мая, а товарищ Ситников устроил вечеринку пятого мая, в день печати.

Пятого мая товарищ Ситников пригласил своих друзей и приятелей на пирог.

Пирог был с капустой. Хороший пирог. Сочный. Гости, приятно удивленные, со вкусом жевали, слушая хозяйские разговоры.

— Я все-таки передовой человек, — говорил товарищ Ситников, польщенный общим вниманием. — Иные люди на пасху приглашают гостей, а мне пасха вроде бы и не праздник. Ей-богу. Мне подавайте что-нибудь этакое значительное, культурное, например, день печати. Так сказать, торжественный день книги... Вроде, как, значит, праздник книги и науки...

Гости с огорчением поглядывали на хозяина. Он явно мешал им кушать и плохо действовал на пищеварение.

— Ей-богу, — говорил хозяин. — Тысячи людей проходят мимо этого праздника. Шутя, так сказать, проходят. А мне этот праздник выше всего. Мне, дорогие товарищи, даже не сам праздник дорог, мне, товарищи, книга дорога, печать. Еще, знаете ли, покойная моя мамаша спрашивала, бывало: «Отчего это ты, Вася, так книгу любишь?» А я, знаете ли, мальчишка, щенок, от горшка два вершка — отвечаю: «Книгу я, мамаша, оттого люблю, что это печать и, так сказать, шестая держава...»

— Да уж что говорить, — вздохнул кто-то из гостей, — конечно, большой это праздник.

— Еще бы не большой! — воскликнул хозяин. — Книга! Что может быть драгоценней, товарищи? Конечно, малокультурный человек книгу и бросит куда попало, и стакан и тарелку на нее поставит...

Один из гостей, прожевывая пирог, сказал:

— Это верно... Я вот знал... Родственник... Комод у него, знаете ли, без ножки... Он книгу вместо ножки подложил...

— Видали! — с болью сказал хозяин. — Видали, какое чучело. Под комод! И ведь, наверное, сукин сын, хорошую, занимательную книгу подложил? Ну, подложи словарь немецкий или французский, так ведь нет... Ах, товарищи, далеко нам еще до настоящей культуры. Долго нам еще ждать культурного отношения к книге. Не скоро дойдет это до массы. Я вот, дорогие товарищи, вспоминаю одну историю. На фронте было. В армии. Бывало, придем куда-нибудь — и ну громить библиотеки. Листья летят, переплеты летят — ужас... Я помню, товарищи, спас одну книгу.

А пришли мы в какой-то фольварк. Богатый фольварк — диваны, книги, зеркала. И вижу я: рассматривают красноармейцы одну книжку. Сидят кучей и рассматривают. А книжища этакая огромная и с картинами — «Вселенная и человечество».

Увидел я, что книжка эта в опасности, стал просить и умолять красноармейцев.

— Братцы, говорю, на черта сдалась вам эта книжка! Отдайте, говорю, ее мне.

Ну, за пачку махорки отдали. Взял я ее, положил бережно в мешок и всю, знаете ли, войну, всю кампанию берег ее пуще глаза...

— И что же? — спросили гости с любопытством.

— Ну и ничего, — сказал хозяин. — Привез эту книжку домой. Замечательная книжка. Ей цены прямо-таки нет. Какие рисунки в красках! Бумага какая!.. Да вот я вам покажу.

Хозяин встал из-за стола и пошел в соседнюю комнату. Гости нехотя двинулись за хозяином, дожевывая на пути.

— Вот, — сказал хозяин, — обратите внимание! Некоторые картинки я даже вырезал оттуда и вставил в рамки.

Хозяин показал рукой на стены.

Действительно: вся комната была увешана иллюстрациями из книги «Вселенная и человечество». Некоторые иллюстрации были вставлены в черные скромные рамки и придавали всей комнате уютный и интеллигентный вид.

Восхищенные гости, осмотрев картины, пошли в столовую докушивать пирог с капустой.

БЕДНОСТЬ

Нынче, братцы мои, какое самое модное слово, а?

Нынче самое что ни на есть модное слово, конечно, электрификация.

Дело это, не спору, громадной важности, — Советскую Россию светом осветить. Но и в этом есть, пока что, свои неважные стороны. Я не говорю, товарищи, что платить

дорого. Платить не дорого. Не дороже денег. Я не об этом говорю.

А вот про это.

— Жил я, товарищи, в громадном доме. Дом весь шел под керосином. У кого коптилка, у кого небольшая лампочка, у кого и нет ничего — поповской свечкой светится. Беда прямо!

А тут проводить свет стали.

Первым провел уполномоченный. Ну провел и провел. Мужчина он тихий, вида не показывает. Но ходит все-таки странно и все время задумчиво сморкается.

Но вида еще не показывает.

А тут дорогая наша хозяйюшка Елизавета Игнатьевна Прохорова приходит раз и предлагает квартиру осветить.

— Все, — говорит, — проводят. И сам, говорит, уполномоченный провел.

Что ж! Стали и мы проводить...

Провели, осветили — батюшки светы! Кругом гниль и гнись.

— То, бывало, утром на работу уйдешь, вечером явишься, чай попьешь — и спать. И ничего такого при керосине не видно было. А теперича зажгли, смотрим — тут туфля чья-то рваная валяется, тут обои оторваны и клочком торчат, тут клоп рысью бежит — от света спасается, тут тряпица неизвестно какая, тут плевок, тут окурок, тут блоха резвится...

Батюшки светы! Хоть караул кричи. Смотреть на такое зрелище грустно.

Канapé, например, такое в нашей комнате стояло. Я думал, ничего себе канapé — хорошее канapé. Сидел часто на

нем по вечерам. А теперича — зажег электричество — баяшки светят! Ну и ну! Ну и канале! Все торчит, все висит, все изнутри лезет. Не могу сесть на такое канале — душа протестует.

«Ну, — думаю, небогато я живу. Хоть из дому беги. Противно на все глядеть. Работа из рук падает».

Вижу, и хозяйка Елизавета Игнатьевна ходит грустная, шуршит у себя на кухне, прибирается.

— Чего, — спрашиваю, — возитесь, хозяйка?

А она рукой машет.

— Я, — говорит, — милый человек, и не думала, что так бедновато живу.

Взглянул я на хозяйкино барахло — действительно, думаю, негусто: гниль и гнусь, и тряпицы разные. И все это светлым светом залито и в глаза бросается.

Стал я приходить домой вроде как скучный.

Приду, свет зажгу, полюбуюсь на лампочку и ткнусь в койку.

После раздумал, полочку получил, купил мелу, развел и приступил к работе. Обойки отодрал, клопов выбил, паутинки смел, канале убрал, выкрасил, раздраконил — душа поет и радуется.

Но хоть и получилось хорошо, да не дюже. Зря и напрасно я, братишечки, деньги ухлопал — отрезала хозяйка прохода.

— Больно, — говорит, — бедновато выходит при свете. Чего, говорит, этакую бедность освещать клопам на смех.

Я уже и просил, и доводы приводил — никак. Съезжай, говорит, с квартиры. Не желаю, говорит, я со светом жить. Нет у меня денег ремонты ремонтировать.

А легко ли съезжать, товарищи, если я на ремонт уйму денег ухлопал? Так и покорился.

Эх, братцы, и свет хорошо, да и со светом плохо.

БОГАТАЯ ЖИЗНЬ

Кустарь-переплетчик Илья Иванович Спиридонов выиграл по золотому займу пять тысяч рублей золотом.

Первое время Илья Иваныч ходил совсем ошалевший, разводил руками, тряс головой и приговаривал:

— Ну и ну... Ну и штука... Да, что ж это, братцы?..

Потом, освоившись со своим богатством, Илья Иваныч принимался высчитывать, сколько и чего он может купить на эту сумму. Но выходило так много и так здорово, что Спиридонов махал рукой и бросал свои подсчеты.

Ко мне, по старой дружбишке, Илья Иваныч заходил раза два в день и всякий раз со всеми мелочами и новыми подробностями рассказывал, как он узнал о своем выигрыше, и какие удивительные переживания были у него в тот счастливый день.

— Ну что ж теперь делать-то будешь? — спрашивал я. — Чего покупать намерен?

— Да чего-нибудь куплю, — говорил Спиридонов. — Вот дров, конечно, куплю. Кастрюли, конечно, нужны новые для хозяйства... Штаны, конечно...

Илья Иваныч получил, наконец, из банка целую грудку новеньких червонцев и исчез без следа. По крайней мере, он не заходил ко мне более двух месяцев.

Но однажды я встретил Илью Иваныча на улице.

Новый светло-коричневый костюм висел на нем мешком. Розовый галстук лез в лицо и щекотал подбородок. Илья Иваныч ежесекундно одергивал его, сплевывая от злости. Было заметно, что и костюм, и узкий жилет, и пышный галстук мешали человеку и не давали ему спокойно жить.

Сам Илья Иваныч очень похудел и осунулся. И лицо было желтое и нездоровое, со многими мелкими морщинками под глазами.

— Ну как? — спросил я.

— Да что ж, — уныло сказал Спиридонов. — Живем. Дровец, конечно, купил... А так-то, конечно, кушновато.

— С чего бы?

Илья Иваныч махнул рукой и пригласил меня в пивную. Там, одергивая розовый галстук, Илья Иваныч сказал:

— Вот все говорят: буржуи, буржуи... Буржуям, дескать, не житье, а малина. А вот я сам, скажем, буржуем побывал, капиталистом... А чего в этом хорошего?

— А что?

— Да как же, — сказал Спиридонов. — Нуте-ка, сами считайте. Родственники и свойственники, которые были мои и женины, со всеми расплевался. Поссорился. Это, скажем, раз. В народный суд попал я или нет? Попал. По делу гражданки Быковой. Разбор будет. Это, скажем, два... Жена, супруга, то есть, Марья Игнатьевна, насквозь все дни сидит на

сундучке и плачет... Это, скажем, три... Налетчики дверь мне в квартире ломали или нет? Ломали. Хотя и не сломали, но есть мне от этого беспокойство? Есть. Я, может, теперь из квартиры не могу уйти. А если в квартире сидишь, опять плохо — дрова во дворе крадут. Куб у меня дров куплен. Следить надо.

Илья Иваныч с отчаянием махнул рукой.

— Чего ж ты теперь делать-то будешь? — спросил я.

— А не знаю, — сказал Илья Иваныч. — Прямо хоть в петлю... Я как в первый день получил деньги, так все и началось, все несчастья... То жил спокойно и безмятежно, то полезло со всех концов.

А я как в квартиру с деньгами вкатился, так сразу вижу, что не ладно что-то. Родственники, конечно, вижу, колбасят-ся по квартире. То нет никого, а то сидят на всех стульях. Поздравляют.

Я, конечно, дал каждому для потехи по два рубля. А Мишка, женин братишка, наиболее колбасится.

— Довольно, — говорит, — стыдно по два рубля отваливать, когда, говорит, капиталец есть.

Ну, слово за слово, руками по столу — драка.

Кто кого бьет — неизвестно. А Мишка снял с вешалки мое демисезонное пальтишко и вышел.

Ну, расплевался я с родственниками. Стал так жить.

Купил, конечно, всякого добра. Кастрюли купил, пшена на два года. Стал думать, куда еще деньги присобачить. Смотрю — жена по хозяйству трется, ни отдыху ей, ни сроку.

«Не дело, — думаю. — Хоть и баба она, а все-таки равноправная баба. Стоп, думаю. Возьму, думаю, ей в помощь небольшую девчонку. Пушай девчонка продукты стряпает».

Ну, взял. Девчонка крупу стряпает, а жена, на досуге, сидит целые дни на сундучке и плачет. То работала и веселилась, а то сидит и плачет. Ей, видите ли, на досуге всякие несчастья стали вспоминаться: и как папа ее скончался, и как она замуж за меня вышла... Вообще полезла ей в голову полная ерунда от делать нечего.

Дал я, конечно, супруге денег.

— Сходи, — говорю, — хотя бы в клуб или в театр. Я бы, говорю, и сам с тобой пошел, да мне, видишь ли, за дровами последить надо.

Ну, поплакала баба — пошла в клуб. В лото стала играть. Днем плачет — на досуге, а вечером играет. А я за дровами слежу. А девчонка продукты стряпает.

А после председатель заходит и говорит:

— Ты, — говорит, — что ж это, сукин кот, подростков эксплуатируешь? Почему, говорит, девчонка Быкова не зарегистрирована? Я, говорит, на тебя в народный суд подам, даром что ты деньги выиграл...

Илья Иваныч снова махнул рукой, поправил галстук и замолчал.

— Плохо, — сказал я.

— Еще бы не плохо, — оживился Илья Иваныч. — Сижу, скажем, за пивом, а в груди сосет. Может, сию минуту дрова у меня сперли. Или, может, в квартиру лезут... А у меня самовар новый стоит. И сидеть неохота, и идти неохота. Что ж до-

ма? Жена, конечно, может быть плачет. Девчонка Быкова тоже плачет — боится под суд идти... Мишка, женин брат, наверное, вокруг квартиры колбасится — влезть хочет... Эх, лучше бы мне и денег этих не выигрывать!

Илья Иваныч расплатился за пиво и грустно пожал мне руку. Я было хотел его утешить на прощанье, но он вдруг спросил:

— А чего это самое... Розыгрыш-то новый скоро ли будет? Тысчонку бы мне, этово, неплохо выиграть для ровного счета...

Илья Иваныч одернул свой розовый галстук и, кивнув мне головой, торопливо пошел к дому.

АГИТАЦИОННЫЙ РАССКАЗ

(О вреде крещения)

Вот, братишки, истинное происшествие на днях случилось. И это не только происшествие — это настоящая даже драма из жизни небогатых беспартийных людей на почве религиозных заблуждений.

Тут, конечно, все вокруг виноваты. И сами супруги Тишкины виноваты, и ихняя маменька, беспартийная старушка, виновата, и я, конечно, не без вины.

А в апреле месяце у молодых супругов Тишкиных родилась девчонка. И такой прелестный ребенок восьми с половиной фунтов, что даже посторонним людям от зависти

смотреть противно. А про родителей и говорить не приходится. Глаз они с ребенка своего не сводят и все на весы прикидывают, дескать, вес каков. А вес восемь с половиной фунтов с небольшим походом. С одеяльцем несколько побольше. А ежели подушечку подложить, то и все девять фунтов набегают родителям на утешение, советскому отечеству на пользу.

Так вот, у небогатых супругов Тишкиных родился ребенок, а на третий день после того приезжает из Твери ихняя мамаша.

— Да, — говорит она, — ребенок славный. Такого, говорит, ребенка ежели не крестить — прямо грех перед богом. Надо, говорит, его обязательно крестить.

Ну, молодые супруги, конечно, в слезы. Плачут, рвут на себе волосы и пеплом их посыпают.

— Что вы, говорят, мамаша. Вы, говорят, хотя нам и ближайшая родственница, но лепечете явные пустяки. Не можем, говорят, мы пойти против совести — крестить ребенка по церковным обрядам в купели и с певчими.

А старушка на это отвечает загадочно.

— Да-с, — говорит, — ребенок молодой, может, конечно, без крещения помереть. Если, скажем, его ангельская душенька соскучится без святой водички.

Ну, родители на это, одним словом, совершенно плачут и мучаются и голову пеплом посыпают — дескать, зачем же помирать ребенку в полном расцвете своих сил и молодости. Лучше уж тогда, действительно, крестить, где бы вот только крестного отца раздобыть.

А я на это отвечаю:

— Если, говорю, ребенку угрожает смертельная опасность, то я могу как комнатный жилец пойти на компромисс и крестить вашего ребенка. Хотя, говорю, это идет против совести и эпохи. А главное, говорю, дороговько будет стоить. Золотой, говорю, крестик, хотя и в ползолотника, по карману меня шлепнет. Будьте покойны. Кроме того, говорю, кружевные рубашечки даром не раздают по магазинам. Это, говорю, понимать надо и чувствовать.

Ну, родители на это просят в один голос. Дескать, пожалейте, что за счеты, лишь было бы охоты.

— Можно, говорю. Хотя, говорю, в таком случае, конечно, надо бы вам винца поставить после того, как произойдет в церкви таинство крещения. Я, говорю, хотя и неверующий человек, но, говорю, выпить не дурак. И от выпивки не отказываюсь, хотя, говорю, многие ученые и партийные люди и отрицают вино и никотин, считая это явлением вредным как для благородных частей организма, так и для почек и для селезенки с печенкой — частей неблагородных. И чтоб, говорю, ко всему этому была бы небольшая закусочка.

Ну, родители, конечно, погоревали насчет дороговизны жизни, но спорить очень не стали. И на другой день в церкви бывшей великомученицы Ксении Блаженной произошло таинство крещения.

Принесли ребенка, развернули, окунули, записали, заплатили, плюнули и понесли назад.

А когда ребенка развернули, я сразу подумал:

— Не застудили бы, черти, ребенка в холодной атмосфере.

Так, конечно, и вышло. Ребенок заболел и через неделю помер. А медики в один голос заявили, что ребенок помер от ужасной простуды и от ныряния в воду после теплого одеяльца.

Горе родителей не поддается описанию. Горе крестного тоже не поддается описанию — родители не вернули золотого крестика.

— Нам, говорят, сейчас не до крестика.

Горе горем, а крестик вернуть бы надо.

ВЕРНАЯ ПРИМЕТА

— В приметы во всякие я, товарищи, не верю. Ерунда это.

Ну, скажем, поп идет, для примера. Ну идет и идет. Оставьте его в покое. Может, он в народный суд идет, или следователь его вызывает. Я почему знаю? Зачем же отсюда выводить всякие умозрения — дескать, встретил попа, значит, худо будет? Ерунда это. Пустяки.

Или, скажем, черная кошка дорогу перебежала... Другой человек увидит кошку и непременно назад лыжи повернет. Испугается. Не пойдет по делу. Пути, дескать, не будет.

Опять-таки вздор. Опять ерунда. Ну бежит кошка — что из того? Ну пихни ее ногой или перебеги на другую сторону и иди спокойно по своим делам. Так нет, назад вертаются.

Я, товарищи, открыто заявляю: не верю я в эти пустяковые приметы... Раз такое было дело. Пригласил нас Иван Иваныч Крюков, — может, знаете, — на свои именины. Баба его, конечно, в день именин крендель этакий огромный

спекла. И мелким сахаром сверху обсыпала. И выносит его на блюде. На стол ставит.

А хозяин, заметьте, ручки свои потирает.

— Вот, говорит, обратите ваше такое внимание на этот крендель. Крендель, говорит, этот не простой. Крендель, говорит, с сюрпризом для гостей.

— Ну? — спрашиваем.

— Да, говорит, с сюрпризом. Гривенник, говорит, серебряный в нем запечен. Кому, говорит, гривенник достанется, тот и есть самый счастливый в жизни. Испытаем, говорит, счастье... Примета верная.

Нарезал хозяин крендель. Стали кушать...

А был среди нас вдовец Петрович. Человек ужасно робкий и несчастливый. Не везло ему в жизни: и кобыла у него ногу сломала, и баба у него, знаете, недавно скончалась по болезни, и вообще по всем пунктам не перло человеку.

Так вот этот самый Петрович, как услышал про гривенник — затрясся.

— Эх, говорит, кабы мне гривенник достался. Кабы мне счастье такое привалило.

И сам навалился на крендель, жует — хозяин даже резать не поспевает. Съел он одиннадцать кусков, на двенадцатом — стоп!

— Угу, говорит, тут, кажется, гривенник. Под языком...

Сунул Петрович палец в рот — вытащить хотел, да от радости, как рыба, вздохнул внутрь и поперхнулся. И проглотил гривенник.

Встал Петрович бледный из-за стола.

— Так, говорит, нельзя, братцы. Надо, говорит, покрупней монеты запекать. Я, говорит, проглотил нечаянно...

Принялся народ хохотать над ним. А Петрович не смеется. Стоит очумелый возле стола и воду хлебает из ковшика. Попил водички, пришел в себя и тоже смеяться начал.

— Хотя, говорит, я и проглотил гривенник, но все-таки счастье ко мне обернулось. Попрет мне теперь в жизни.

Но Петровичу не поперло.

К вечеру он заболел и через два дня помер в страшных мучениях.

А доктора заявили, будто скончался Петрович от гривенника, будто гривенник в кишках засел. Монета все-таки хотя и некрупная, но новая, шершавая, по краям зазубринки — не проскользнуть.

А хоронили Петровича по гражданскому обряду и без попов. В этом отношении Петровичу поперло.

ПЛОХИЕ ДЕНЬГИ

Иван Петрович Мартынов, слесарь с завода «Коммунар», тихонько приоткрыл дверь и хотел осторожно шагнуть, но не удержался и ввалился в комнату на четвереньках.

Жена всплеснула руками и сердито двинула кастрюлей.

— Опять набрался! Опять, ирод, Пилат-мученик, набрался.

— Отнюдь, — сказал слесарь, пытаясь встать на ноги. — Трезвый я, как стеклышко... Гляди, Маша... Могу, если ты хочешь, до плиты дойти, могу до кровати... Гляди.

Иван Петрович шагнул в сторону, но не удержался и свалился на кровать.

— Отнюдь, — сказал он, укладываясь на подушку. — Трезвый я, как стеклышко... И все, гляди, Маша, в порядке у меня... Вот он, нос у меня, целый... Вот он, костюмчик, целый... Если про шапку думаешь — вот она, шапка, в кармане... Гляди, Маша... Отнюдь... Как стеклышко... А если про получку — вот она. Гляди, Маша...

Слесарь сунул руку в карман и вытащил несколько мелких знаков.

— Вот она, получка. Гляди, Маша.

Жена села на кровать и в голос заплакала.

Слесарь с удивлением поднял голову с подушки и, вдруг трезвев, присел на кровать.

— Маша, — сказал он, — а Маш... Ты, конечно, не плачь, Маш... Рази я что? Я малехонько. Малехонько я, Маша. Я как стеклышко... Один, может, стаканчик и будет. Я да Василь Ваньч... Рази я виноват?..

— Кошка виновата, — сказала жена, обиженно подбирая губы.

— Не кошка, — сказал слесарь. — Кошку я не виню. Отнюдь. Я тебе, Маша, по порядку. Утром, конечно, прихожу, а ребята на заводе треплются. Кассир, говорит, Иван Маркыч, за деньгами уехал. Получка, значит... Подхожу к кассе, а кассир Иван Маркыч сидит скучный и на деньги смотрит...

— Ты не мели, — сказала жена. — Раз пьяный, то спи на подушке.

— Я не пьяный, — сказал слесарь. — Я, Маша, как стеклышко. Я только тебе по порядку. Рази я виноват?.. Подхожу к кассе, а кассир Иван Маркыч говорит басом: «Становься, ребята, по три персоны. Деньги, говорит, сегодня плохие — купюры горазд крупные». А я говорю: «Что вы, говорю, Иван Маркыч, над нами делаете? Рази можно? Где ж это, говорю, менять-то будем?» А тут, конечно, подходит Василь Иваныч. «Ты, говорит, не треплись с кассиром. Сию, говорит, минуту возьмем третью персону, ать на улицу, разменяем в лучшем виде...» Рази я виноват, Маша?.. Ну, расписались, получили, вышли. А на улице никто не меняет. Мы в «Народное благо» — нету. Мы к частному купчику — нету. «А, говорит, покупать — так не у мене, а не покупать — так у мене. Вали дальше...» Мы и пошли. Рази я виноват? Ну, пошли. А тут «Вена». Зашли. Закусили, заплатили, выпили. А сдачу нам дают крупно — с десяти пять. Пошли, конечно, менять. Закусили, заплатили, выпили. А сдачу нам дают, в рот им муха, — три. Купюра не горазд крупная, а менять надо. Рази я виноват, Маша?.. Пошли менять три. Закусили, заплатили, выпили... Рази я виноват?.. А после, конечно, подходит какой-то субчик. «Можем, говорит, менять крупные купюры на мелкие. Берем, говорит, всего ничего». А мы говорим: «Поздно, говорим. Вали мимо». Рази я виноват, Маш?.. Я как стеклышко...

Слесарь Иван Петрович снова свалился на подушку и моментально захрапел.

ЖИВОЙ ТРУП

(Истинное происшествие)

Странная история произошла с одним рабочим. До того странная эта история, что, узнавши ее, половина наших подписчиков, наверное, бросит пить.

Но не робей, дорогой подписчик! Бросить пить — это не так страшно. Автор, например, пивший в свое время все, кроме керосина, тоже бросил эту вредную привычку. И ничего. Жить можно.

А рассказывал эту странную историю сам виновник — рабочий одной из ленинградских фабрик. Фамилию свою он просил не печатать. Стесняюсь, говорит. Ну, что ж — фамилию печатать не будем. А для красоты рассказа назовем его хотя бы Федя Жуков.

— Я пива теперь не пью, — сказал Федя Жуков. — Душа не принимает. Хотя ученые профессора и говорят, будто пиво очень даже полезно для организма и будто даже от него толстеет организм, но я с этим не считаюсь.

Конечно, ученый профессор выкушает стаканчик пива в обед да полстаканчика в ужин — ему и полезно, его организм и толстеет. А кто стаканами не считается, тому хуже пива нет ничего.

А я, например, от пива в обморок падаю. И делаюсь все равно как покойник. Дыханье даже у меня прерывается.

А раз в субботу пошли ребята пить. Пошел и я.

Пили, пили. Только вдруг, после пятой, я ужасно окосел и сижу на стуле белый, скучаю.

Ребята, конечно, просят:

— Федя, Федя...

А ихний Федя рот раскрыл и не отзывается.

Извинились ребята перед народом за слабость организма, взяли меня под руки и отвезли домой.

Положили дома на кровать, а на кровати мне хуже.

Женка чересчур испугалась, обтирает мне кожу мокрыми тряпками, а я сомлел и лежу что статуя.

Женка пальто накинула и к врачу.

Коммунальный врач приходит. Осмотрел меня и говорит:

— Что-то, говорит, у него в организме от пива заскочило. Кишка, может, на кишку зашла. Везите его в больницу. Там разберут.

Ну, отвезли меня в больницу.

А дальше я ничего не помню. Как стена железная опустилась передо мной.

Только просыпаюсь я от холода и голода.

Проснулся. Кругом темно.

Почему, думаю, темно? За какое самое это темно? Что, думаю, за пустяки? Где ж это я такое?

Сел. Смотрю: сижу на досках голый, а на ноге номерок 17. А кругом не то больные свалены, не то не поймешь что, не то покойники.

До чего я сомлел, до чего испугался! Где ж это я, думаю? За какое это самое номерок-то у меня на ноге? Или, думаю,

я скончался. Или, думаю, врачи обмишурились. Или, думаю, я от пива в обморок свалился, а меня за покойника приняли.

Ах, думаю, да! Ах, думаю, ну!

Хочу спичку чиркнуть, осмотреться. Хлопс за карман. А кармана нету — одна нога голая. Хлопс за гимнастерку — живот голый.

Человек я, конечно, очень храбрый, отчаянный даже, а тут, ничего не скажу, оробел. И сижу на досках голый.

Только вдруг слышу — возле двери в коридоре кто-то ногами чиркает. И после берется за ручку и открывает дверь.

Ах, чего, думаю, мне делать? Может, это сторож идет. Не испугать бы мне его. Тоже в темноте встанешь или крикнешь — помрет с перепугу. Ах, чего мне, думаю, делать?

А дверь сию минуту открылась, и входит сторож. С небольшой такой седоватой бородкой, в картузе.

Ах, чего, думаю, мне делать? И сам, чтоб не испугать напрасно гражданина, не двигаюсь и не кричу и руками не машу, а только тихонечко через губы «тс» делаю.

А сторож как услышит «тс», как завизжит собакой, как свалится на корячки собакой, как попрет к двери.

Ах, думаю, ну! Испугал человека. Теперь, думаю, безразлично.

— Стой, кричу, братишка! Не пугайся! Это я — Федя!

Выбежал я за сторожем, бегу — номерок по ноге хлопает. А сторож оглянулся назад — как припустит тёку.

Бегим по коридору — народ с перепугу мухами валится. А мне хоть бы что.

Добежал я до какой-то комнаты. Свалился.

— Братцы, говорю, это я — Федя Жуков! Живой...

Положили меня на кровать, вина стали давать. А я вина не принимаю.

— Нету, говорю, будет. Не пью и в рот хмельного не беру.

Так и бросил пить.

А сторож — ничего, отдышался. И даже приходил меня смотреть. Даже мы с ним подружились и выпили по бутылочке портера.

ПОДШЕФНОЕ СЕЛО «СМЕХАЧА»

Какой-нибудь простодушный подписчик, наверное, думает, что у «Смехача» есть парочка подшефных деревушек или небольшой подшефный уездный городишко.

Увы, уважаемый подписчик, — нету.

И рады бы, да нету. Даже перед розничным покупателем признаться совестно, но нету. Не соврем.

Ты войди в наше пиковое положение, дорогой подписчик. Маленькую деревушку в подшефные возьмешь — неловко при нашем положении. Большую возьмешь — по карману хлопнет. Боялись мы, думали: мужички как поднапрут, как насыдут — одному — штаны, другому — портки, третьему — брюки... И потекут соки-денежки... Не жалко, конечно, но нам журнал нужно делать.

Оттого и не брали подшефников, — расходов пугались. Так и жили кое-как, перебивались.

Ну, а на днях развернули мы газетку «Трудовой день». Батюшки-светы! Есть, видим, село, которое нам по карману. Село это — Безлюдовка Шабикинской волости Белгородского уезда.

Это маленькое, но симпатичное село расположено в нескольких верстах от Белгорода. Чудная природа, лес, речонка — все крайне симпатично и нам нравится. А главное, село это — неприхотливое и нетребовательное. К тому же оно недовольно своими старыми шефами — какой-то там госмельницей (бывш. Токарева). И не только недовольно, а и ругает их на чем свет стоит и называет «липовыми шефами».

Дед Трохим из этого села так и пишет, так и валяет черным по белому:

Липовый шеф... Этот шеф и пальцем не ударил, чтобы поставить столб, на котором был подвешен электрический провод, освещавший электричеством школу...

Батюшки-светы! Всего и разговору, что один столб! Братцы, дорогие безлюдовцы! «Смехач» согласен взять вас в подшефные!

Отступись, госмельница, если не можешь исполнять своего назначения.

Отступись, госмельница, честью просим.

Отдай нам Безлюдовку!

РАЗГОВОРЫ

Летчик

...Я, братишка, конечно, испужался ужасно. Остолбенел прямо-таки. А тут еще аппарат накренился набок и, гляжу, падает. Ну, думаю, погиб я... Ухватился рукой за раму и как сигану вниз...

Гляжу: лечу, мать честная. Эх, думаю, хорошо это с парашютом падать... А так-то без парашюта боязно, думаю... Лечу это я вниз и чуть не плачу — и себя-то жалко, и аппарата до черта жалко — потому, думаю, вдребезги разобьется... Вдруг хрясь об землю — упал. Ну, думаю, богородице дево радуйся, без ноги думаю...

— Ну, а аэроплан что? Вдребезги?

— Какой аэроплан?

— Ну, аппарат, что ли... С аппарата же падал?

— Зачем с аппарата. С этажа падал. Аппарат в кухне с полки свалился... Как, значит, милиция в квартиру вперлась, мы очень даже испугались. Начали самогонный аппарат на полку прятать... А он шмяк с полки. Шум, конечно, треск. А мы с перепугу к окну... И ринулись вниз... пол-ноги недочет...

Часы

...Ну, а врач, конечно, побледнел сильно. Хлоп-хлоп-с себя по карманам — нету у него часов. А часишки-то дрянь — кастрюльного золота... Хотя с цепочкой. И брелочки разные: яичко там, подковка какая-нибудь, ключик...

Ну, конечно, он закричал: караул! Часов нетути.

Фельдшер ему говорит:

— Вы, может, их дома оставили?

А он говорит:

— Нету, говорит. Я, говорит, как в трамвай влезал, там еще посмотрел на часы. Опоздать боялся.

Ну, начали искать по штанам и по карманам — нету.

— Ну и что же? Вор-то, небось, прыгнул с трамвая? Не нашли!

— Ну и что же... Нашли, конечно... Разрезали больного опять. А хирург, конечно, обрадовался: вон, говорит, они, мол, любезные... И действительно, глядим — тутотка часы. У слепой кишечки приткнулись и лежат себе... А цепочка так по желудку пущена...

Двугривенный

...Гляжу, стоит нищий, слепенький... Сунул я ему в руку двугривенный и пошел. А нищий, гадюка, хватить меня за руку.

— Ты что, — говорит, — сукин кот... Какие деньги суешь-то? Думаешь, если я слепой, так и ничего не вижу?

И ляп мне этот самый двугривенный между глаз.

«Ну — думаю, — заметил, черт слепой».

— Да уж знаете... Нынче от царской монеты нищий и тот нос воротит...

— Как царский? Не царский. Советский двугривенный. Своей работы... Мы пробу производили. На ощупь заметно ли...

Поп

...Я посмотрел. Вижу, поп стоит.
«Стой, — думаю, — стой, бродяга! Стой, поповское отродье. Счас я тебе припаяю»...
Размахнулся я да р-раз по попу...
Ну, ребята тут закричали:
«Молодец, Ванька! Правильно бьет!»
— Ну, а поп что? За что же вы его так?
— Ну, а поп, конечно, упал за черту. И за городом лежит...
Партию мы и выиграли... Я в рюхи важно играю...

ЛЕГКАЯ НАУКА

Крестьяне Сев.-Зап. области кооперированы всего лишь на 10%.
Торговцы вербуют себе покупателей всеми мерами, в частности — широким кредитованием.

Владелец лавки «Труд-Прут» стоял за прилавком перед покупателем и говорил ему, сияя:

— К нам, гражданин хороший, ходит покупатель. Мы покупателя в руках держим. В казенной лавке, может, и дешевле и все такое прочее, а идут к нам. Отчего? А очень даже просто отчего, гражданин хороший.

Хозяин любовно похлопал себя по лбу и продолжал:

— Котелок варит... Башка работает... Скажем, теперь кредитование. Государственный магазин в долг отпускает, а мы

еще ширше отпускаем. Государственный магазин велит вежливо относиться к покупателю, а мы покупателю ручку жмем. Те будут ручку жать, а мы чаем их будем потчевать. Те будут чаем, а мы кофеем. Те кофеем, а мы... мы им, чертям, сапожки будем чистить.

Покупатель усмехнулся.

— Так-то так, — сказал он. — Да только это пока. Государственный магазин тоже не без башки. Научился. Наука ваша нетрудная.

— Наука легкая, — согласился хозяин, — не спорю. Легкая наука. Да только уметь надо... Скажем, крестьянин пришел — мужичок-серячок... Тут психология требуется. Мужик не любит — дескать, вот вам товар, а деньги сюда кладите. Мужичок любит, чтоб ему товар похвалили, чтоб ему пыль в глаза пустили. А кроме того, просто любит он поговорить на семейные темы — мы и потрафляем.

В лавку «Труд-Прут» вошел крестьянин. Он робко оглянулся по углам и снял шапку.

— Вот видали? — тихо сказал хозяин своему собеседнику. — Вот крестьянин пришел... Смотрите, чего я с ним сделаю... Тс... Почтенье землячку...

— Это чего, — спросил крестьянин, — лавка-то казенная? Мне казенную надо...

— Лавка «Труд-Прут», — строго сказал хозяин. — Не казенная, но вроде как на паях... Для нас все равно как казенная... Садитесь на тубаретку... Покупать-то для себя пришли?

Мужик осторожно посмотрел на хозяина.

— Для себя. Ситчику мне, любезный коммерсант...

— Ситчику? — радостно воскликнул хозяин. — Есть ситчик. Светленький... В полоску, в клеточку, в амбарчик, в горошек... Сейчас...

Хозяин ринулся к полкам и сбросил на прилавок несколько кусков плохого, редкого ситцу.

— Мне, любезный коммерсант, в подковку надо, — робко возразил мужик. — Чтоб подковка была раскидана по полю... А это будто в горошек...

— В горошек, — обиделся хозяин. — Горошек всегда подковку заменяет. Подковка всегда после стирки образуется.

Мужик потеревил ситец в руках.

— Редкой, — сказал он. — Редким мы не интересуемся.

— Этот ситец редкий?! — вскричал купец. — Да это плотенький ситец... Это не ситец — сукно, чудо столетия... Равносильный ситец... Рафинад... Сам бы покупал такой ситец, да деньги надо — жена в закладе сидит...

Мужик недоверчиво усмехнулся.

— Ей-богу! — сказал хозяин, воодушевляясь. — Мое дело сторона. Я за похвальбу не получаю. Но только это чудный, типичный ситчик... И цена недорогая... Вы чего, семейный?

— Семейный...

— Семейный ситчик, — сказал хозяин. — Внуки спасибо скажут. Это, скажут, ситчик, действительно... Жена-то здорова ли?

— Здорова. Чего ей делается...

— Здоровая жена завсегда такой ситчик похвалит. Потому она одобрит... Хлеб-то у вас как? Не побило ли градом, оборони создатель...

Крестьянин с удовольствием присел на лавку и вздохнул:

— Малехонько побило... Малость... Стороной прошло. А так-то ничего, хлеб родится.

— А хлеб родится, — сказал хозяин, — значит, и ситчик надо светленький брать в горошек. Тебе на две рубахи или на три?

— На рубаху, — сказал мужик. — Да только я уж и не знаю... Не интересуюсь таким ситцем.

— Надо интересоваться, как же можно, — пристыдил хозяин. — А град-то крупный был?

— Град-то крупный, в ноготь.

— Скажи на милость — в ноготь... Так как же — на две рубахи?

— На рубаху, — сказал мужик.

Хозяин тигром накинудся на ножницы. Отмерил, прикинул, попестрил ситцем перед глазами мужика и сказал:

— Рубашка будет... Чудо столетия. Антик в горошек... Завсегда к нам заходите. Можем и в долг отпущать... Сегодня на деньги, завтра в долг... Заходите...

— Зайду, — сказал мужик.

Он потолковал еще о граде с хозяином, рассказал кой-какие подробности и, любуясь на свой ситец, вышел из лавки.

— Видали? — восхищенно сказал хозяин своему собеседнику. — Как по-вашему?

— Что ж, — сказал собеседник. — Наука ваша легкая, это верно. Да только не без обману...

— Зачем не без обману, — обиделся купец. — Мы только потрафляем покупателю. Обману нету... А ежели это обман по-вашему — идите в государственный магазин. Вам чего надо? — строго переспросил хозяин.

— Да мне ничего, — сказал собеседник. — Я так... Меня, видите ли, заведывающим назначили, в кооператив... Вот пришел поучиться... Как торгуете... Наука ваша легкая, но тово-с, неприятная наука...

Хозяин сконфуженно посмотрел на своего конкурента и сказал:

— Кому как-с...

Собеседник купил катушку ниток и, усмехаясь, вышел.

ПОВОДЫРЬ

Каждый день один за другим шли поезда с севера на юг. Тысячи замученных, бледных северян, изумляясь необыкновенному солнцу и нестерпимой жаре, вылезали из-под раскаленных крыш вагонов.

Среди этих изумленных северян был и я.

На одной маленькой промежуточной станции я сошел с поезда с небольшим своим багажом.

Я бросил чемодан на платформу и присел на него, ожидая, что ко мне со всех ног бросится куча носильщиков. Я уже рассчитал, что выберу себе здоровенного загорелого парня. Однако, носильщики ко мне не бросились. Станция была почти пуста.

На платформу вышел только начальник станции — босой, в расстегнутой белой блузе. Он с явным недовольством посмотрел заспанными глазами на поезд, зевнул, потом снова посмотрел на поезд и вдруг с негодованием махнул на него фуражкой.

Поезд, лязгая буферами, пошел дальше.

Я сидел на своем чемодане, тяжело дыша от непривычной жары. Носильщиков не было.

— Товарищ, — крикнул я начальнику станции, — извиняюсь, товарищ... Есть тут носильщики?

Начальник станции остановился, подтянул штаны и, видимо, только сейчас заметив меня, сказал:

— Сейчас. Одну минуту.

И вошел в помещение.

Через минуту он вернулся застегнутый и в сапогах, и любезным тоном спросил:

— Вам чего? Носильщиков? А вот носильщики. Спят.

Действительно, за углом дома лежали на животах трое ужасно загорелых мальчишек. Двое из них спали. Третий, совсем небольшой, лет двенадцати, вскочил при виде нас на ноги.

— Чего? Вещи, что ли, нести, гражданин? — спросил он деловым тоном.

— Вещи... Вот чемодан... Легкий...

— Можно, — сказал парнишка. — Только Палькина очередь. Спит он еще. Вы обождите.

— А ты не можешь?

— Да-а, — сказал парнишка, — Палька драться будет. Его очередь.

Начальник станции подмигнул мне и засмеялся.

— Боятся его. Отчаянный очень подросток.

И потом, желая, видимо, мне пояснить, добавил:

— Это Палька Ершов. Его тут все боятся. Очень даже отчаянный, смелый подросток.

— Я не боюсь, — сказал парнишка, — а только Палькина очередь.

Палька Ершов лежал на животе, уткнувшись носом в землю. На грязной босой подошве его ноги было написано — 1 р. Видимо, ниже означенной цены трогать Пальку нельзя.

— Палька! — крикнул я.

— Он не велел будить, — сказал парнишка. — Пущай, говорит, обождут пассажиры.

Я засмеялся.

Парнишка тоже засмеялся и сказал, оправдываясь:

— Палька очень отчаянный. Смелый. Он даже слепца убил.

— Как? Слепца убил?

— Слепца. Он слепца водил. А после мальчишки смеяться над ним стали. Зачем водит... А Палька завел слепца в поле и тёку. А слепец за ним. А Палька в овраг. А слепец потонул в воде...

Все это парнишка проговорил залпом, опасливо поглядывая на Пальку.

Мне показалось, что Палька не спит. И действительно, он вдруг перевернулся, лег на спину, посмотрел на меня прищуренным глазом и зевнул. Мне показалось, что Палька и раньше не спал, а только делал вид, что спит, а на самом деле отлично все слышал.

Он зевнул еще раз, ковырнул пальцем в носу и сказал лениво:

— Вещи, что ли? Куда?

Я сказал.

Палька вскочил на ноги, кинулся к моему чемодану и, легко взвалив его на плечи, быстро, почти бегом, пошел.

Я еле поспевал за ним.

Палька оглянулся раз или два и надбавил шагу. Ему, видимо, доставляло огромное удовольствие гнать меня, как барана.

Нестерпимая жара, пыль били меня в лицо. Я шел все медленней и медленней и, наконец, потерял Пальку из виду.

Каюсь: я испугался. Я подумал, что чемодан мой пропал безвозвратно. Но на повороте дороги, в тени, под деревом, я увидел Пальку. Он сидел на моем чемодане и меланхолически сплевывал через зубы.

Вид у меня, наверное, был смешной. Палька посмотрел на меня и засмеялся.

— Не бойсь, — сказал Палька, — не унесу.

Мы несколько отдохнули, покурили и пошли дальше.

— Палька, — спросил я, — а верно, что ты слепца убил?

— Брежут, — сказал Палька, гордо улыбаясь. — Брежут мальчишки про слепца.

— С чего ж им врать?

— А я знаю? — сказал он. — Язык без костей. Можно брехать.

— Палька, — сказал я, еле поспевая за ним, — верно, что ты поводырем был? Слепца водил?

— Это верно, — сказал Палька. — Я слепца пять лет водил. Мне matka велела слепца водить. Я, может, по всей местности его водил. Может, по всей России. А после мне скушно стало. Ребята тоже, конечно, смеяться начали. Время, говорят, теперь не такое — слепцов водить. Не царский режим. Бросай его. Пуцай подростков не эксплуатирует. Ты теперь гражданин.

— И ты бросил? — спросил я.

— Я-то? — сказал Палька. — Бросил. Конечно. А он, шельма, чувствовал, что я его наверно брошу. Я до ветру, например, иду, а он, шельма, дрожит, за руку цепляется. Не смей, говорит, без меня до ветру ходить. А я говорю ему: я, говорю, дяденька Никодим, сейчас, до ветру только. А он цоп за руку и не пукает... А после мне очень скушно стало его водить. И пошли мы в поле. А я говорю: я сейчас, дяденька Никодим... И сам за куст. Он, шельма, за мной. Я притаился. А он дрожит, шельма. — Палька! — кричит. — Неужели же ты бросишь меня, стерва? — А я молчу. А он кричит: — Я, кричит, тебе, шкету, полботинки справлю. — А я говорю: — Не надо, говорю, мне полботинки. Мне, говорю, босиком больно хо-

рошо. — А он на мой голос — за мной. Нос у него до того чуткий, — знает, где я. Я побежал немножко, и присел у оврага. А он воздух нюхает и бежит вровень... Целый день бежали. А после мне скушно стало бежать. Я и спрыгнул в воду. А дяденька Никодим тоже, как брякнется вниз и поплыл.

— И что же, — спросил я, — потонул он?

— А я знаю? — ответил Палька. — Может, он, конечно, и не потонул. Они, слепцы, живучие черти. А только мне этих слепцов очень даже скушно водить. Я завсегда их бросаю. Пушай подростков не трогают... Мы теперь, значит, граждане, с сознанием.

Палька дотащил мой чемодан и, получив рубль, не прощаясь, бросился назад.

РОДСТВЕННИК

Два дня Тимофей Васильевич разыскивал своего племянника Серегу Власова. А на третий день, перед самым отъездом, нашел. В трамвае встретил.

Сел Тимофей Васильевич в трамвай, вынул гривенник, хотел подать кондуктору, только глядит — что такое? Личность кондуктора будто очень знакомая. Посмотрел Тимофей Васильевич — да! Так и есть — Серега Власов собственной персоной в трамвайных кондукторах.

— Ну! — закричал Тимофей Васильевич. — Серега! Ты ли это, друг ситный?

Кондуктор сконфузился, поправил, без всякой видимой нужды, катушку с билетами и сказал:

— Сейчас, дядя... билеты додам только.

— Ладно! Можно, — радостно сказал дядя. — Я обожду.

Тимофей Васильевич засмеялся и стал объяснять пассажирам:

— Это он мне родной родственник, Серега Власов. Брата Петра сын... Я его семь лет не видел... сукинова сына...

Тимофей Васильевич с радостью посмотрел на племянника и закричал ему:

— А я тебя, Серега, друг ситный, два дня ищу. По городу роюсь. А ты вон где! Кондуктором... А я и по адресу ходил. На Разночинную улицу. Нету, отвечают. Мол, выбыл с адреса. Куда, отвечаю, выбыл, ответьте, говорю, мне. Я его родной родственник. Не знаем, говорят... А ты вон где — кондуктором, что ли?

— Кондуктором, — тихо ответил племянник.

Пассажиры стали с любопытством рассматривать родственника. Дядя счастливо смеялся и с любовью смотрел на племянника, а племянник явно сконфузился и, чувствуя себя при исполнении служебных обязанностей, не знал, чего ему говорить и как вести себя с дядей.

— Так, — снова сказал дядя, — кондуктором, значит. На трамвайной линии?

— Кондуктором...

— Скажи, какой случай! А я, Серега, друг ситный, сел в трамвай, гляжу — что такое? Обличность будто у кондук-

тора чересчур знакомая. А это ты. Ах, твою семь-восемь!.. Ну, я же рад... Ну, я же доволен...

Кондуктор потоптался на месте и вдруг сказал:

— Платить, дядя нужно... Билет взять... Далеко ли вам?..

Дядя счастливо засмеялся и хлопнул по кондукторской сумке.

— Заплатил бы! Ей-богу! Сядь я на другой номер, или, может быть, вагон пропусти — и баста — заплатил бы. Плакали бы мои денежки. Ах, твою семь-восемь!.. А еду я, Серега, друг ситный, до вокзалу.

— Две станции, — уныло сказал кондуктор, глядя в сторону.

— Нет, ты это что? — удивился Тимофей Васильевич. — Ты это чего, ты правду?

— Платить, дядя, надо, — тихо сказал кондуктор. — Две станции... Потому как нельзя дарма без билетов ехать...

Тимофей Васильевич обиженно сжал губы и сурово посмотрел на племянника.

— Ты это что же — с родного дядю? Дядю грабишь?

Кондуктор тоскливо посмотрел в окно.

— Мародерствуешь, — сердито сказал дядя. — Я тебя, сукинова сына, семь лет не видел, а ты чего это? Деньги требоваешь за проезд. С родного дядю? Ты не махай на меня руками. Хотя ты мне и родной родственник, но я твоих рук не испужался. Не махай, не делай ветру перед пассажирами.

Тимофей Васильевич повертел гривенник в руке и сунул его в карман.

— Что же это, братцы, такое? — обратился Тимофей Васильевич к публике. — С родного дядю требует. Две, говорит, станции... А?

— Платить надо, — чуть не плача, сказал племянник. — Вы, товарищ дядя, не сердитесь. Потому как не мой здесь трамвай. А государственный трамвай. Народный.

— Народный, — сказал дядя, — мне это не касается. Мог бы ты, сукин сын, родного дядю уважить. Мол, спрячьте, дядя, ваш трудовой гривенник. Езжайте на здоровье. И не развалится от того трамвай. Я в поезде давеча ехал... Неродной кондуктор, а и тот говорит: пожалуйста, говорит, Тимофей Васильевич, что за счеты... Так садитесь. И доvez... неродной... Только земляк знакомый. А ты это что — родного дядю... Не будет тебе денег.

Кондуктор вытер лоб рукавом и вдруг позвонил.

— Сойдите, товарищ дядя, — официально сказал племянник.

Видя, что дело принимает серьезный оборот, Тимофей Васильевич всплеснул руками, снова вынул гривенник, потом опять спрятал.

— Нет, — сказал, — не могу! Не могу тебе, сопляку, заплатить. Лучше пуцай сойду.

Тимофей Васильевич торжественно и возмущенно встал и направился к выходу. Потом обернулся.

— Дядю... родного дядю гонишь, — с яростью сказал Тимофей Васильевич. — Да я тебя, сопляка... Я тебя, сукинова

сына... Я тебя расстрелять за это могу... У меня много концов в Смольном.

Тимофей Васильевич уничтожающе посмотрел на племянника и сошел с трамвая.

ВОЗДУШНАЯ ПОЧТА

У синей кружки с аэропланом — кучка людей.

Люди заглядывают в отверстие, постукивают пальцами по железу и с любопытством рассматривают обыкновенную почтовую кружку, выкрашенную в синий цвет.

Какой-то человек в кепке, протискавшись к самой кружке, говорит восторженно:

— В Америке, скажем, кружки. И у нас кружки. В Америке письма на еропланах возят и у нас, извиняюсь, не на тележках.

— И что же это, граждане, — спрашивает кто-то, — в любую губернию доходят?

— Письма-то? Конечно, в любую.

— А куда суют-то, если письмо?..

Человек в кепке становится в позу добровольного инструктора и объясняет:

— Суют сюда... Отсюда, конечно, вынимают. А это, граждане, аэроплан написан, на кружке — воздушная то есть почта. А синий цвет, чтоб за желтый, значит, не приняли...

— Скажи пожалуйста...

— А в Америке-то тоже синий?

— Конечно...

— Хоть бы посмотреть, какие это люди письма опускают...

— А разные люди опускают, — поясняет «инструктор», — кому надобность, тот и опускает.

— И многие опускают?

— Это, гражданин, не могу вам сказать. Неизвестно.

— Чего неизвестно, — говорит скромного вида старичок, — известно. Мало опускают. Я, гражданин, может с утра стою — пожрать некогда. Гляжу, какие это люди опускают. И нет. Не подходят. Да, действительно, интересуются, трогают руками, но не опускают...

Какой-то парнишка, деловито растолкав людей, подходит к кружке. В руках у него пакет.

— Позвольте, граждане, — говорит подросток, — расступитесь.

Он подходит к кружке и просовывает в отверстие свой пакет... Толпа с нескрываемой завистью глядит на парнишку. Парнишка отходит в сторону и вдруг фыркает в руку.

— Чего ты?

— Кхы... Дерьмо опустил. Кхы... Подметку в газете вместо письма.

Кто-то пытается схватить парнишку — он исчезает.

— Сволочь какая! — удивляется человек в кепке.

Подходит милиционер.

— Проходите, граждане! Проходите. Не задерживайте движение трудящихся граждан.

Толпа лениво расходится. Через пять минут у синей кружки снова стоит несколько человек.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Здорово, братишка «Красный ворон»!

Как ты вообще живешь, кого клюешь, кого по носу бьешь и кого за вихры таскаешь?

А мы, спасибо, живем шикарно — чего и тебе желаем. А ты, дружище «Красный ворон», за лето, небось, раз пять с экскурсиями ездил? Но и мы, обрати внимание, не лаптем щи хлебаем. Мы тоже недавно ездили осматривать разные старинные вещи и сокровища.

Очень отличная была поездка. И дешево как! Всего-на-всего по полтора рубля с носа взяли. А удовольствия — не перечесть, рубля на два. Одной музыки было не меньше как на полтинник золотом. С утра до ночи гремела музыка. Даже поспать не удалось. После даже один музыкант, из трубачей, хвастался, сколько он из своей трубы слюней нацедил, — оказалось, полбутылки.

И это, обрати внимание, «Красный ворон», за полтора рубля денег.

Обедали и ужинали за ту же цену. Исторические сокровища тоже из той же цены осматривали. И везли нас все из того же расчета. Даже удивительно.

А везли нас не как-нибудь, а в спальном телячьем вагоне.

Конечно, какой-нибудь буржуй нерезаный, может быть, и скажет с усмешкой: на что, дескать, рабочему человеку телячий вагон, если рабочий человек привык всегда ездить на буфере или на крыше? Но на это мы дружно ответим, что и нам тоже теперь охота в вагонах поездить.

Конечно, про мягкий вагон с разными там штучками и занавесочками мы и не мечтаем, но насчет жесткого вагона несколько даже обидно, почему нам не дали.

Хотя мы, конечно, понимаем: где же взять для нас жесткий вагон за наши паршивые полтора рубля? За полтора рубля даже спальный телячий вагон и то чуть не даром выходит.

Другой теленок поедет, так с него и то дороже возьмут. А тут все-таки человек едет — существо капризное, требовательное. Ему и досочки подавай для спанья, и свечку в фонарь втыкай, и вентиляторы устраивай для свежего воздуха. Хотя надо сказать, что вентиляторы у нас были естественные и без затраты капитала и рабочей энергии. Воздуха было много. Со всех дыр и со всех щелей дул сквознячок всю поездку.

Это даже наглядно было видно. Лежал на нижнем месте — на полу — слесарь наш Иван Савич. Человек он с бородой. Бороденка веером. Так бороденка его чувствительно всю ночь трепалась по ветру.

И это все за полтора рубля, обрати внимание, «Ворон». Даже подумать удивительно.

Очень хорошая, полезная поездка вышла, хотя как для кого. Некоторые неблагодарные люди остались даже недовольны.

Но это, дружище «Красный ворон», тем не понравилась поездка, которые по своей же глупости остались на промежуточных станциях. Они, «Красный ворон», по своей же глупости, не подождав до утра, ходили на остановках «до вет-

ру». А поезд все-таки — один, семерых не ждет, взял себе и пошел потихонечку.

Оставшиеся по своей глупости были очень, конечно, недовольны и побрели пешком.

А которые ехали, те все остались очень довольны, исключая, конечно, заболевших, простудившихся, сломавших ноги, а также и тех, которые запачкали свои костюмчики дегтем, смолой и грязью.

Засим, «Красный ворон», до свиданья. Мы тоже не лаптем щи хлебаем.

Подписи:

Семен Курочкин, Назар Синебрюхов, Вася Пушкин

МАЛОМЫСЛЯЩИЕ

Собрание подходило к концу.

Было душно и жарко. Вспотевшие ораторы один за другим выходили на помост и с воодушевлением говорили речи.

Слушатели кричали «ура», били в ладоши и единодушно выносили резолюции.

Собрание было посвящено кооперации.

— Товарищи! — говорил один из ораторов, вытирая пот со лба. — Товарищи!.. Кооперация!.. Наляжем... Все усилия... В деревню... Крестьянам... Сами торговать...

Оратор долго говорил о значении кооперации, потом, утомившись, уступил место другому.

Ораторы чередовались один за другим.

Последний оратор вышел под гром аплодисментов.

Он откинул назад свои пышные волосы, простер руку вперед и сказал:

— Кооперация!.. Вы, которые эти...

В эту минуту оратора перебили. Какой-то гражданин встал с места и, слегка заикаясь и робея, сказал, обращаясь к оратору:

— Вот, товарищ... Извиняюсь... Вы, это самое, конечно, говорите тут про ученые предметы... Кооперация там и другие разные слова... А мы тут некоторые присутствуем мало-мыслящие... Я, как представитель ихний, прошу покорнейше выяснить нам, что есть такое кооперация...

В зале наступила тишина. Некоторые конфузливо переглядывались друг с другом. Представитель оглянулся назад и продолжал:

— Мы, как сознательные маломыслящие... сидящие два часа тут, просим покорнейше... одним словом, объяснить...

— Правильно! — закричали в толпе. — Пущай скажет... Какого лешего...

Оратор с простертой рукой растерянно оглянулся на председателя, хлебнул воздух ртом и сказал:

— Кооперация — это вообще, товарищи... Торговля... Ну, кооператив... Гуталин, пудра, одним словом... Мыло... Я, товарищи, тут... тово, случайно... извиняюсь... Как бы присоединяюсь к общей массе...

Председатель собрания перебил оратора и простым русским языком стал объяснять загадочное слово. Представитель маломыслящих в такт кивал головой и бормотал:

— Вот спасибо-то, вот спасибо-то, вот спасибо-то...

Закончив свое объяснение, председатель предложил присутствующим высказаться по вопросу кооперации, однако желающих не было.

Председатель покачал укоризненно головой и закрыл собрание.

Товарищ читатель! Я ничего не придумал. Все, что я рассказал, за исключением некоторых подробностей, — сущая правда. А произошло это в одном из курортов Черноморского побережья. На собрании, устроенном для домов отдыха.

А нуте-ка, дорогой читатель. Нуте-ка здесь, на месте, не отходя от журнала, ответь-ка себе: что такое кооперация...

Ага... Лавочка, говоришь? Кооператив? Торговлишка?

Вот то-то и оно.

Маломыслящие, готовься к экзамену!

НЕПРИЯТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Чудаки эти нэпманы. То, глядишь, сто рублей на что-нибудь кинут и не поморщатся, то за копейку грызутся и кровь себе портят.

Чудаки эти торговцы. Не сразу ихнюю психологию поймешь.

Я вот сидел раз вечером в кабачке. Кавказский погребок.

Сижу, ем бифштекс. А рядом какая-то компания кутит. Вино им подают, закуски, селедочку с луком. Вообще, кутят.

А по виду не поймешь, кто такие.

Я у официанта полюбопытствовал.

— Кто, спрашиваю, такие?

— А это, говорит, вроде как коммерсанты. Червонцев на двадцать хлопнут.

И действительно. Встает вскоре с ихнего столика полный мужчина с бородой и велит счет принести.

Приносят счет — двадцать червонцев. А он, который с бородой, не поморщился и говорит своим:

— Плачу за всех... Потому как мое угощение.

Ну, дамы тут ихние завизжали от восторга. Мужчины тоже добродушно кошельки свои спрятали. А борода заплатил и пошел к выходу. И даже хоть бы что. Даже про счет не вспоминает.

Я тоже заплатил полтора рубля и вышел. Вышел на улицу. Гляжу, стоит моя борода с дамой своей и с извозчиком препирается.

Извозчик говорит, рубль. А борода дает полтинник. И ругается.

— Да ты, говорит, очумел — рубль брать? Обалдел, говорит? За такой, говорит, конец — рубль! Да, говорит, за рубль многие рабочие спины, говорит, не разгибают целый день... А ты — рубль! Таксы, говорит, на вас, бродяг, нету. Не дам больше полтинника.

А извозчик и так и этак — никак.

— Ну, говорит, ладно, подавитесь. Садитесь с дамой за полтинник. Все равно, говорит, всю ночь даром стою.

Борода еще слегка покобенился и сел с дамой. И дама тоже что-то насчет извозчика щебечет. Сели и поехали. А я стою посреди улицы и головой трясу.

«Ну, думаю, бродяги. Ну, думаю, прохвосты».

А впрочем, если говорить по совести, положи руку на сердце, то больше полтинника конец этот и не стоит. Я бы, например, больше двугривенного не дал. А все-таки обидно. А отчего обидно, я и сам не знаю.

А впрочем, знаю: неприятна мне ихняя психология.

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ

На днях зашел я к своему знакомому, к Егорову. Он табельщиком на заводе служит.

Прихожу.

Сидит хозяин довольный такой за столом, газету читает. Жена рядом шьет что-то.

Увидел меня хозяин, обрадовался.

— А, говорит, заходи, дружище, заходи... Поздравляй нас...

— С чем же вас поздравлять, Митрофан Семеныч? — спросил я.

— А как же, говорит, с новой жизнью, с новыми переменами, с новыми семейными устоями.

— Не могу догадаться, — сказал я. — Уж не с приближением ли семейства?

— Нету, — засмеялся Егоров. — Не то. Не попал в цель... Да ты супругу лично спроси. Это ее больше касается... Гляди, какая она счастливая сидит и шьет... Словно фея... Пущай она сама тебе скажет про свое семейное счастье.

Я посмотрел на супругу Митрофана Семеныча. А та улыбнулась этак криво и говорит:

— Ах да, говорит, мы теперь, знаете ли, на кухне бросили стряпать... Без плиты обходимся. В столовую ходим.

— Да-с! — воскликнул довольный хозяин. — Баста! Новую жизнь начали. В болото все — плиту, кастрюли, лоханки... Пущай и баба свободу узнает... Такой же она человек, как и я.

Хозяин долго говорил о несомненных выгодах общественного питания, потом стал смеяться.

— И во всем, представьте себе, выгода и польза от этой перемены. Скажем, гости пришли. Ну, сидят, ждут. Прислушиваются — не подают ли на стол. А ты им, чертям, объявляешь между прочим, дескать, а мы, извините, в столовке питаемся. Хотите — идите, не хотите — не надо, — за волосы вас не потащим.

Хозяин захохотал и взглянул на свою жену.

— Да, — повторил он, — полная во всем выгода. Время теперь, скажем. Сколько теперь этого самого свободного времени остается! Уйма... Бывало, придет супруга с работы — мечется, хватается, плиту разжигает... Одних спичек сколько изведет... А тут пришла, и делать ей, дуре, нечего. Шей хоть целый день. Пользуйся свободой.

— Это верно, — подтвердил я, — кухня много отнимает времени.

— Еще бы! — с новым восторгом воскликнул хозяин. — Тут по крайней мере пришла с работы и шей, кончила шить — постирай. Стирать нечего — чулки вязать можешь... А то еще можно заказы брать на шитье, потому времени свободного хоть отбавляй.

Хозяин помолчал, потом задумчиво продолжал:

— А в самом деле. Не брать ли тебе, Мотя, заказов? Шитье, скажем... Рубашки там, куртки, толстовки...

— Да что ж, — сказала жена, — отчего же не брать? Можно брать...

Хозяин, видимо, огорчился таким равнодушным ответом.

— «Можно, можно», — передразнил он жену. — Ты, Мотя, всегда недовольна. Другая бы прыгала и скакала, что ее раскрепостили, а ты надуешься, как мышь на крупу, и молчишь... Ведь, небось, довольна, что не приходится на кухне торчать? Ну, отвечай же гостю!

— Отчего же... Конечно, — уныло согласилась жена.

— Еще бы не довольна! Бывало, целый день ты торчала у плиты... Дым, чад, пар, жар, перегар... Фу... Ну шей, шей, Мотя. Пользуйся свободным временем. Надо же и тебе пожить.

Я посмотрел на хозяина. Он говорил серьезно.

— Послушайте, — сказал я, — а ведь хрен редьки не слаще.

— Что-с? — удивился Митрофан Семеныч.

— Я говорю: хрен редьки не слаще. То кухня, то шитье... А может быть, жене вашей газеты почитать охота? Может быть, ей и шить-то не хочется?

— Ну уж вы того, — обиделся хозяин. — Как же ей не шить, когда она баба.

Я встал, попрощался с хозяином и вышел. А когда уходил, то слышал, как хозяин сказал жене:

— Недоволен, черт. Обедать ему не дали, так и скулит, желчь свою на людей пущает... А хочешь обедать — иди в столовку, нечего по гостям трепаться... Ну шей, Мотя, шей, не поднимай зря голову.

ТОЧНАЯ НАУКА

Кочегар Василий Иванович Жуков, охая и крихтя и почему-то приседая то на левую, то на правую ногу, вошел в приемный покой.

Народу было много.

Больные сидели на скамьях, на подоконнике и даже на ящике, на котором было написано «Осторожно».

Фельдшер поминутно открывал дверь и пальцем по воздуху считал больных, укоризненно покачивая своей кудлатой ученой головой.

Василий Иванович с осторожностью присел на ящик и спросил своего соседа:

— Прием-то начался?

— Начался, — сказал сосед. — А ты по какой болезни?

Кочегар подмигнул и сказал тихонько:

— Я-то? Да так... Болезни-то, прямо сказать, никакой нету у меня. Ко мне брат молочный приехадши. Мне дома надо побыть обязательно.

Сосед громко захохотал и сочувственно спросил:

— На какую болезнь намекать-то будешь?

— На живот, что ли, — сказал кочегар. — Все-таки это скрытый орган. Для глазу незаметный.

— Правильно, — одобрил сосед. — Наука, она разве точная? Не может врач знать, чего внутри делается. Хотя, знаешь ли, я давеча пришел на прием. В ухе, говорю, у меня свербит. А врач говорит: посвербит, посвербит и пройдет. Я говорю: меня лечить надо, а не такое зря говорить. А врач говорит: ну валяй, валяй, не задерживай. Ничего, говорит, у тебя в ухе не предвидится... Я, говорит, вас, лодырей, враз замечу.

— Не заметит, — с убеждением сказал Жуков. — Ему нельзя заметить. Наука все-таки неточная...

Больше двух часов сидел кочегар Жуков в приемной, и когда очередь дошла до него, он сделал страдальческое лицо и вошел в кабинет.

— Ну что? — спросил врач. — Чем болен?

— Ох, — сказал Жуков. — Или, может быть, я объелся яблоками, не знаю. Живот что-то пучит. И боль внутри. А глазом не видно... Может, мне надо три дня в тепле полежать. А то у топки работаешь — все равно дует, и застудиться можно.

— Конечно, — сказал врач. — Обязательно в тепле нужно.

— Обязательно в тепле, — подтвердил больной. — Три, а то и пять дней. Пять дней напишите. Фамилия у меня Жуков Василий, кочегар.

— Это можно, — сказал врач. — Тепло — лучшее лекарство. Разденься...

— Не застудить бы, ежели раздеться? — предостерег больной.

— Ничего. Здесь не холодно, — легкомысленно сказал врач. Кочегар, охая и кряхтя, стал раздеваться. Врач мыл руки.

«Хороший врач, — думал кочегар, снимая штаны. — Другой бы подозревать стал — не лодырь ли, а этот внимательный. Только раздевает зря».

Врач положил больного на диван и стал давить пальцами живот.

— Больно?

— Обязательно больно, — сказал кочегар, тихо охая.

Врач вдруг усмехнулся, подошел к столу, всыпал какой-то белый порошок в стакан с водой и подал больному.

— Пей все.

Кочегар косил глаза на стакан и недоверчиво спросил:

— Не повредит?

— Больному лекарство не повредит, — ответил врач.

— А если, скажем, не очень больной? — осторожно спросил кочегар.

Врач снова усмехнулся.

— Пустяки, — сказал он. — У здорового человека судороги вызовут... Легкое отравление... Особенно не повредит.

Больной поставил стакан на стол и сказал:

— Сейчас мне будто полегче стало. Не сильно болит. Не повредило бы.

— Как хочешь, — сказал врач.

Он сел за стол и велел позвать следующего.

— А бумагу мне? — спросил Жуков, надевая штаны.

— Иди, иди, — сказал врач. — Бумаги не будет. Здоров.

Василий Иванович нахмурился и вышел из кабинета. «Черт хромой, — думал кочегар. — Не дает — не надо. Просить не буду. А три-то часа в приемной я просидел, не работал. Накось, выкуси!..»

ЦЕРКОВНАЯ РЕФОРМА

Поп Иван Боголепов сидел за столом и с унылым видом пил четвертый стакан чаю. Потом вздохнул, расчесал гребешком бороденку и сказал попадьё:

— Так вот, я и говорю, мать, — дела плохие. Делишки не веселят.

— Какое же тут веселье? — сказала попадьё.

— Веселья никакого, — согласился поп. — Приход ужасно какой развращенный. В Бога не особо веруют... Храм посещают редко... Вообще предпочитают зрелища легкие и приятные.

— Давеча шесть человек было в храме, — сказала попадьё.

— Да-с, — продолжал поп, — шесть человек. А почему такое? А ты задай себе, мать, вопрос с ответом — почему это такое происходит? Нуте-ка? А я знаю. Я все понимаю. Нужна народная церковная реформа. Назрела реформа. Надо, чтоб в церкви созвучие эпохи наблюдалось, чтоб и служба была заманчивая, и проповеди легкие. И чтоб все было легко и приятно, чтоб народ с интересом в храм шел.

— Можно просвирки выдавать... Чтоб бесплатно, — предложила попадья.

Поп подумал слегка.

— Просвирки нельзя, — сказал он. — Это и дорого будет, и верующие, кроме того, обманывать станут. Ловчиться будут на много просвирок... Мальчишки, кроме того, шум подымут... Тут иное нужно. Я вот, мать, хоть и верующий человек, а понимаю, чего требуется народу. Бог, конечно, материя отвлеченная. Бог Богом, а ты чего-нибудь такое-этакое подай, чтоб народ сам повалил к нам... А то давеча синематограф приехал — все в синематограф кинулись. Там любопытней.

Попадья недоверчиво взглянула на мужа.

— Так это что ж, — спросила она, — не картинки ли ты хочешь в храме показывать?

— Не картинки, — сказал поп, — а чего-нибудь такое-этакое, заманчивое... Рассказывать, например, можно что-нибудь легкое из текущей жизни, заместо сухой проповеди... После хор пущай споет что-нибудь крестьянское... После... картинки тоже можно показывать... Из жизни, скажем, святых великомучеников. Какую-нибудь драму, например.

— А иконы? — строго спросила попадья. — Как их это рядом с иконами? Кошунство выйдет.

— Что ж иконы, — сказал поп. — Иконы, мать, ни при чем. Иконы, на худой конец, завесить можно или снять временно. Бог-то везде. Не в иконах... Царские ворота можно полотном затянуть. Экран вроде бы. Можно на нем картины световые демонстрировать. Кончил картины — хор пущай в перерывах пропоет... После...

— Позволь, позволь, — с испугом сказала попадья. — Так, это что же? Это что же выходит-то? Это, поп, клуб выходит. Для комсомольцев вроде...

Поп осторожно посмотрел на жену, почесал бороденку и сконфуженно замолчал.

ЩЕДРЫЕ ЛЮДИ

На пивоваренных заводах рабочим для поддержания здоровья выдают по две бутылки пива.

Ну что ж, пушай выдают. Мы не завидуем. Мы только несколько удивлены постановкой этого дела. Оказывается, на некоторых ленинградских заводах пиво выдается особенное — брак. В этом специальном пиве попадают: щепки, волосы, мухи, грязь и прочие несъедобные предметы.

Любопытная картиночка нам рисуется.

Рабочий варочного отделения Иван Гусев получил две бутылки пива, сунул их в карман и, весело посвистывая, пошел домой.

«Все-таки не забывают нашего брата, — думал Гусев. — Все-таки про наше рабочее здоровье стараются. Ежели, например, цех у тебя вредный — получай, милый, для поддержки две бутылки бесплатно. Ах ты, щедрые люди какие! Ведь это выходит шесть гривен в день... А ежели в месяц — пятнадцать рублей... Ежели в год — двести целковых набегает».

Сколько набегает в десять лет, Гусев не успел высчитать.

Дома Гусева обступили родные.

— Ну что, принес? — спросила жена.

— Принес, — сказал Гусев. — Очень аккуратно выдают. Стараются про наше рабочее здоровье. Спасибо им. Жаль только, пить его нельзя, а то совсем бы хорошо.

— Может, можно? — спросила жена.

— Да нет, опять чего-нибудь в ем плавает.

— А чего в ем сегодня плавает? — с интересом спросил Петька, сын Гусева.

— Сейчас смотреть будем.

Гусев открыл бутылку и вылил пиво в глиняную чашку. Все домочадцы обступили стол, вглядываясь в пиво.

— Есть, кажися, — сказал Гусев.

— Есть! — вскричал Петька с восторгом. — Муха!

— Верно, — сказал Гусев, — муха. А кроме мухи еще чевой-то плавает. Сучок, что ли?

— Палка простая, — разочарованно сказала жена.

— Палка и есть, — подтвердил Гусев. — А это что? Не пробка ли?

Жена с возмущением отошла от стола.

— Все ненужные вещи для хозяйства, — сердито сказала она. — Палка, да пробка, да муха. Хотя бы наперсток дешевенький попал или бо пуговица. Мне пуговицы нужны.

— Мне кнопки требуются, — ядовито сказала тетка Марья. — Можете обождать с вашими пуговицами...

— Трубу хочу, — заныл Петька. — Хочу, чтоб труба в бутылке...

Во второй бутылке тоже не было ничего существенного: два небольших гвоздя, таракан и довольно сильно поношенная подметка.

— Ничего хорошего, — сказал Гусев, выливая пиво за окно на улицу.

— Ну, может, завтра будет, — успокоила жена.

— Рояль хочу, — захныкал Петька. — Хочу, чтоб рояль в бутылке.

Гусев погладил сына по голове и сказал:

— Ладно, не плачь. Не от меня это зависит — от администрации. Может, она к завтраму расщедрится насчет рояля.

Гусев спрятал пустые бутылки за печку и грустный присел к столу.

А за окном тихо плакал прохожий, облитый густым баварским пивом.

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН

Говорят, что буржуям живется худо. Вздор. Ерунда. Отлично живется.

Я, по правде сказать, и сам раньше сомневался относительно ихней хорошей жизни, но, спасибо, один знакомый управдом рассеял мои сомнения.

— Дом наш не маленький, — начал управдом, — на три улицы выходит. Население людей в нем плотнеющее. Сто квартир. Из них — семьсот жильцов, двести тридцать детей

и, кроме того, много домашних животных: кошек, например, собак и курей. Козы тоже есть. Сорок три козы.

А, несмотря на это, дом наш ужасно какой бедный и недоходный.

Все, как на грех, живет в доме мелкий жилец, некрупный в смысле денег — рабочие, скажем, служащие и безработные. А большой ли с них доход? Доход такой, что не только какой-нибудь ремонт, а и водопроводного крантика не починить.

И какая, глядите, полная несправедливость наблюдается! В одном доме хороших жильцов — буржуев — очень множество напихано, а в нашем доме чисто. Всего-навсего единственный один почетный квартирант — торговец Василий Васильевич Кучкин. На нем, голубчике, только и дом держится. А он, шельма, Василь Васильевич, премного это чувствует.

— Я, говорит, вас, чертей, пою и кормлю.

Ну, а мы, действительно, оберегаем его, голубчика. Дышать на него боимся. Дворнику Игнату я велел прямо-таки во фронт становиться, ручки по швам велел ему брать, когда, например, Василь Васильевич по двору проходит.

Окошки тоже ему через неделю моем, безработную поденщицу нанимаем.

Все боимся, как бы он, единственный буржуй наш Василь Васильевич Кучкин, не рассердился на нас и не съехал бы с квартиры.

Бывало, я самолично начищу медную ручку на парадной двери, а он, Василь Васильевич, все же морщит личико.

— Что, говорит, ручка да ручка. Что, говорит, ручек, что ли, я не видел? Я, говорит, единственный буржуй в вашем доме, а вы — ручка... Ванну, говорит, мне становите.

Ладно. Поставили ему ванну. А он, голубчик, все будто скучный ходит, ручки назад держит и носик морщит.

Как увижу я его в такой позе — сердце зайдет. Не надумал бы чего.

— Чего вы, спрашиваю, Василь Васильич, ваше степенство, столь грустные ходите и ручки позади себя держите? Все, говорю, хорошо и прекрасно. Ванну вам поставили, дворник Игнат уважение вам оказывает. Чем, говорю, недовольны?

А он, голубчик, печальным тоном отвечает:

— Что вы, говорит, мне в нос ванну тычете? Плевать, говорит, я хотел на вашу ванну. Меня, говорит, налоги третируют. И вообще, говорит, недоволен я государственной политикой... Вот, говорит, съеду от вас — поплачете.

— Батюшка, говорю, Василь Васильич, побойся Бога... Не иначе, говорю, как это финансовый инспектор третирует. За что ж, говорю, дому-то страдать?

А он руками махает и все страшит: дескать, съеду.

Но все же не съехал. Живет и посейчас. И даже наше уважение принимает.

А живет он у нас больше года. За это время я ужасно как похудел и осунулся. Желтизна у меня даже разлилась. Желчь. Меня жильцы даже узнавать перестали. А которые узнают, те еще издеваются, зачем, дескать, такое уважение мелкой домашней буржуазии оказываю.

А как же не оказывать? Как же его, голубчика, не беречь? А вдруг он, тьфу-тьфу, заболеет?

Он и то однажды заболел. Сегодня еще был здоров, а тут случилась погода мокрая. А он, Василь Васильевич, без галошек был вышедши. Я, конечно, сразу дворника Игната послал с галошками. А Василь Васильич заартачился.

— Пустяки, говорит, не горазд мокро.

Пустяки пустяками, а дом страдай.

Заболел наш Василь Васильевич и слег.

Ну, переполох в доме. Врача вызвали. После — консилиум. А он, голубчик наш, буржуй единственный, при сильном жаре и при расстройстве всего организма капризничает:

— Помру, говорит. Замучили вы меня, черти. Пушай весь дом пропадает и рушится.

Но помереть ему не удалось. Отстояли. Поставили его на ноги.

А теперь желаем его на черноморское побережье отправить для полного поправления здоровья. А то он, голубчик, еще кашляет и носик у него заложен.

Только бы согласился.

ПЕЛАГЕЯ

Пелагея была женщина неграмотная. Даже своей фамилии она не умела подписывать.

А муж у Пелагеи был ответственный советский работник. И хотя он был человек простой, из деревни, но за пять лет

житься в городе поднаторел во всем. И не только фамилию подписывать, а черт знает, чего только не знал.

И очень он стеснялся, что жена его была неграмотной.

— Ты бы, Пелагеюшка, хоть фамилию подписывать научилась, — говорил он Пелагее. — Легкая такая у меня фамилия, из двух слогов — Кучкин, а ты не можешь... неловко...

А Пелагея, бывало, рукой махнет и отвечает:

— Ни к чему, дескать, мне это, Иван Николаевич. Годы мои постепенно идут. Рука специально не гнется. На что мне теперь учиться и буквы выводить? Пущай лучше молодые пионеры учатся, а я и так до старости доживу.

Муж у Пелагеи был человек ужасно какой занятой и на жену много времени тратить не мог. Покачает он головой — эх, дескать, Пелагея, Пелагея.... И замолчит.

Но однажды все-таки принес Иван Николаевич специальную книжку.

— Вот, — говорит, — Поля, новейший букварь-самоучитель, составленный по последним методам. Я, говорит, сам буду тебе показывать.

А Пелагея усмехнулась тихо, взяла букварь в руки, повертела его и в комод спрятала — пущай, дескать, лежит, может, потомкам пригодится.

Но вот однажды днем присела Пелагея за работу. Пиджак Ивану Николаевичу надо было починить, рукав протерся.

И села Пелагея за стол. Взяла иголку. Сунула руку под пиджак — шуршит что-то.

«Не деньги ли?» — подумала Пелагея.

Посмотрела, — письмо. Чистый такой, аккуратный конверт, тоненькие буковки на нем, и бумага вроде как духами или одеколоном пахнет. Екнуло у Пелагеи сердце.

«Неужели же, — думает, — Иван Николаевич меня зря обманывает? Неужели же он сердечную переписку ведет с порядочными дамами и надо мной же, неграмотной душой, насмеяется?»

Поглядела Пелагея на конверт, вынула письмо, развернула — не разобрать по неграмотности.

Первый раз в жизни пожалела Пелагея, что читать она не может.

«Хоть, — думает, — и чужое письмо, а должна я знать, чего в нем пишут. Может, от этого вся моя жизнь переменится, и мне лучше в деревню ехать, на мужицкие работы».

Заплакала Пелагея, стала вспоминать, что Иван Николаевич, будто, переменялся в последнее время, — будто он стал об усишках своих заботиться и руки чаще мыть.

Сидит Пелагея, смотрит на письмо и ревет белугой. А прочесть письма не может. А чужому человеку показать совестно.

После спрятала Пелагея письмо в комод, дошла пиджак и стала дожидать Ивана Николаевича. И когда пришел он, Пелагея и виду не показала. Напротив того, она ровным и спокойным тоном разговаривала с мужем и даже намекнула ему, что она не прочь бы поучиться, и что ей чересчур надоело быть темной и неграмотной бабой.

Очень этому обрадовался Иван Николаевич.

— Ну и отлично, — сказал он. — Я тебе сам буду показывать.

— Что ж, показывай, — сказала Пелагея.

И в упор посмотрела на ровные, подстриженные усики Ивана Николаевича.

Два месяца подряд Пелагея изо дня в день училась читать. Она терпеливо по складам составляла слова, выводила буквы и заучивала фразы. И каждый вечер вынимала из комода заветное письмо и пыталась разгадать его таинственный смысл.

Однако, это было очень нелегко.

Только на третий месяц Пелагея одолела науку.

Утром, когда Иван Николаевич ушел на работу, Пелагея вынула из комода письмо и принялась читать его.

Она с трудом разбирала тонкий почерк, и только еле уловимый запах духов от бумаги подбадривал ее.

Письмо было адресовано Ивану Николаевичу.

Пелагея читала:

«Уважаемый товарищ Кучкин!

Посылаю вам обещанный букварь. Я думаю, что ваша жена в два-три месяца вполне может одолеть премудрость. Обещайте, голубчик, заставить ее это сделать. Внушите ей, объясните, как, в сущности, отвратительно быть неграмотной бабой.

Сейчас, к этой годовщине, мы ликвидируем неграмотность по всей Республике всеми средствами, а о своих близких почему-то забываем.

Обязательно это сделайте, Иван Николаевич. С коммунистическим приветом

Мария Блохина».

Пелагея дважды перечла это письмо и, скорбно сжав губы и чувствуя какую-то тайную обиду, заплакала.

ЕВРОПЕЕЦ

Конторщик Сережа Колпаков несколько дней ходил как ошалелый.

Он дважды побывал на городской телефонной станции и солидно и обстоятельно расспросил там о стоимости телефонного аппарата и об условиях установки.

Все было крайне дешево и вполне доступно.

В третий раз Сережа Колпаков пришел на городскую станцию с твердой решимостью заключить условие. Он в третий раз направился в справочное бюро и, чтобы не обмшуриться, вновь принялся солидно расспрашивать о ценах. Кроме того, Сережа пытался еще поговорить о новейших открытиях в телефонном деле, но справочная девица, черствая и сухая эгоистка, погрязшая в своих бумажонках, довольно холодно отнеслась к научным открытиям и даже ехидным тоном попросила не мешать общественной работе.

Тогда Сережа Колпаков, раздосадованный в лучших своих идеях, вынул бумажник, хлопнул им по столу и громко заявил, что он и сам служит в учреждении и отлично по-

нимает, что значит мешать человеку. Но, к сожалению, он должен помешать.

Тут Сережа Колпаков сделал несколько надменное лицо и сказал, что он немедленно желает заключить договор.

Сережу направили к заведывающему, и через полчаса договор был заключен.

— Только, пожалуйста, — говорил Сережа заведывающему слегка дрожащим голосом, — очень прошу поторопиться, уважаемый товарищ. Я занятой, обремененный человек. Мне каждая секунда дорога.

На улицу Сережа Колпаков вышел иным человеком. Он шел солидным медленным шагом, слегка иронически поглядывая на прохожих.

— Свершилось, — шептал Сережа Колпаков. — Долгожданная мечта исполнилась. Наконец-то у Сергея Ивановича Колпакова — телефон. Сергей Иванович Колпаков, служащий восьмого разряда, включен, так сказать, в общую сеть жизни. Сергей Иванович Колпаков, служащий и советский гражданин, — настоящий, истинный европеец с культурными навыками и замашками.

Сергей Иванович снял шляпу, вытер пот со лба и, думая о пользе телефонного дела и вообще о человеческом гении, направился тем же медленным шагом на службу.

Несколько дней прошли как в тумане.

Сергей Иванович мысленно представлял себе, где он поставит телефон. То ему хотелось сделать по-европейски у кровати, то, напротив того, — у стола. Сережа вслух возражал себе, горячился, однако к какому-нибудь результату не пришел.

Но вот наконец наступил торжественный день. На квартиру явился человек с сумкой и с аппаратом, и весело спросил:

— Где присобачить?

Сереза Колпаков молча, дрожащей рукой показал на стену, у кровати.

И вот телефон поставили.

Сереза Колпаков прилег на кровать, с восхищением поглядывая на новый, блестящий аппарат. Потом сел, взял трубку и позвонил.

— Группа «А»? Проба...

Телефонная девица что-то пробурчала, но Сереза не слышал. Он медленно, каждую секунду ощущая в руке трубку, повесил ее и дал отбой. И снова с восторгом откинулся на подушку.

Почти два часа лежал Сергей Колпаков на кровати, не отрывая глаз от блестящей коробки. Потом решил позвонить снова.

Он мысленно стал перебирать в памяти своих знакомых. Однако знакомых было мало. И телефонов у них не было.

Тогда с некоторым даже испугом стал Сереза Колпаков думать и подыскивать хоть какой-нибудь телефон, хоть какое-нибудь место, куда бы можно было позвонить. Однако и места такого не было.

Сереза вскочил с кровати, схватил телефонную книжку и лихорадочно стал ее перелистывать — звонить было некуда.

Тогда Сереза Колпаков позвонил в Коломенскую пожарную часть.

— Что? — спросил чей-то сильный голос. — Горит?

— Горит, — уныло сказал Сережа. Он повесил трубку и лег на постель.

Вечером Сережу Колпакова арестовали за хулиганство.

СЛУЧАЙ В ПРОВИНЦИИ

Многое я перепробовал в своей жизни, а вот циркачом никогда не был.

И только однажды публика меня приняла за циркача-трансформатора.

Не знаю как сейчас, а раньше ездили по России такие специалисты-трансформаторы. Они скажем, выходили на эстраду, почтительнейше раскланивались с публикой, затем, убравшись на одно мгновение за кулисы, снова появлялись, но уже в другом костюме, с другим голосом и в другой роли.

Вот за такого трансформатора однажды меня и приняли.

Это было в 20-м или 21-м году.

Хлеб был тогда чрезвычайно дорог.

За фунт хлеба в Питере запрашивали два полотенца, три простыни или трехрядную гармонь.

А потому однажды осенью поэт-имажинист Николай Иванов, пианистка Маруся Грекова, я и лирический поэт Дмитрий Цензор выехали из Питера в поисках более легкого хлеба.

Мы решили объехать с пестрой музыкально-литературной программой ряд южных советских городов.

Мы хотели своим «чистым искусством» заработать кусок ржаного солдатского хлеба.

И в конце сентября, снабженные всякими мандатами и документами, мы выехали из Питера в теплушке, взяв направление на юго-восток.

Ехали долго.

В дороге подробно распределили свои роли и продумали программу.

Решено было так. Первым номером выступает пианистка Маруся с легкими музыкальными вещицами. Она дает, так сказать, верный художественный тон всему нашему вечеру. Вторым номером — имажинист. Он вроде как усложняет нашу программу, давая понять своими стихами, что искусство не всегда доступно народу.

Засим я с юмористическими рассказами. И, наконец, лирический поэт Дмитрий Цензор. Он, так сказать, лаком покрывает всю нашу программу. Он создает впечатление легкого, тонкого вечера.

Программа была составлена замечательно.

— Товарищи! — говорил имажинист. — Мы первые в Советской России на верном пути. Мы сознательно снижаемся до масс, мы внедряемся в самую гущу. Этой программой мы докажем, что чистое искусство не пропадет. За нами стоит народ.

Пианистка Маруся молча слушала и, для практики, пальчиками на своих коленях разыгрывала какой-то сложный мотив.

Я покуривал махорку с чаем и печально сплевывал на пол зеленую едкую слюну.

А поэт Дмитрий Цензор говорил мечтательно:

— Чистое искусство народу необходимо... Нам понесут теплые душистые караваи хлеба, цветы, вареные яйца... Денег мы не возьмем. На черта нам сдались деньги, если на них ничего сейчас не купишь...

Наконец, 29-го числа мы приехали в небольшой провинциальный дождливый город.

На станции нас приветливо встретил агент уголовного розыска. Он долго и внимательно читал наши мандаты, потом взял под козырек, шуточно приветствуя этим русскую литературу.

Он нам по секрету сообщил, что он и сам из интеллигентных слоев и что он в свое время окончил два класса местной женской прогимназии и что поэтому он и сам не прочь, между двумя протоколами, побаловаться чистым искусством.

На наш литературный вечер он обещал непременно прибыть.

Мы остановились у Марусиных знакомых.

Первые дни прошли в необыкновенных хлопотах и в беготне.

Нужно было достать разрешение, получить зал, осветить его и сговориться с устройтелем.

Устройтель был тонкий и ловкий человек. Он категорически уперся на своем, говоря, что чистая поэзия вряд ли будет доступна провинциальной публике, и поэтому необходимо разжижить нашу программу более понятными номерами — музыкой, пением и цирком.

Это, конечно, очень портило нашу программу. Однако спорить мы не стали — иного выхода не было.

Вечер был назначен на завтра в бывшем купеческом клубе.

30-го сентября, в 8 часов вечера, мы, взволнованные, сидели за кулисами в специально отведенной для нас уборной.

Зал был набит до последнего предела.

Человек сто красноармейцев, множество домашних хозяек, городских девиц, служащих и людей всевозможных свободных профессий ожидали с нетерпением начала программы, похлопывая в ладоши и требуя поднятия занавеса.

Первым, как помню, выступало музыкальное трио. Затем жонглер и эксцентрик. Успех у него был потрясающий. Публика ревела, гремела и вызывала его бесконечно.

Затем шли наши номера.

Маруся Грекова вышла на эстраду в глухом черном платье.

Когда Маруся появилась на сцене, в публике произошло какое-то неясное волнение. Публика приподнималась со своих мест и смотрела на пианистку. Многие хохотали.

Маруся с некоторой тревогой села за рояль и, сыграв короткую вещицу, остановилась, ожидая одобрения. Однако, одобрения не последовало.

В страшном смущении, без единого хлопка, Маруся удалилась за кулисы.

За ней почти немедленно выступил имажинист.

Гром аплодисментов, крики и одобрителный гул не смолкали долго.

Польщенный таким вниманием и известностью даже в небольшом провинциальном городе, имажинист низко раскланывался, почтительно прижимая руку к сердцу.

Он прочел какие-то ядовитые, но неясные стихи и ушел в сильном душевном сомнении — аплодисментов опять-таки не было.

Буквально не было ни единого хлопка.

Третьим, сильно напуганный, выступил я.

Еще более длительные, радостные крики раздались при моем появлении.

Задняя публика вскакивала на скамейки, напирала на впереди сидящих и рассматривала меня, как какое-то морское чудо.

— Ловко! — кричал кто-то. — Ловко, братцы, запущено!

— Ах, сволочь! — визгливо кричал кто-то с видимым восхищением.

Я, в сильном страхе, боясь за свою судьбу и еле произнося слова, начал лепетать свой рассказ.

Публика терпеливо слушала мой лепет и даже подбадривала меня отдельными выкриками:

— Ах, сволочь, едят его мухи!

— Крой! Валяй! Дави! Ходи веселей!

Пролетев рассказ почти до конца, я удалился, с трудом передвигая ноги. Аплодисментов, как и в те разы, не было. Только какой-то высокий красноармеец встал и сказал:

— Ах, сволочь! Идет-то как! Гляди, братцы, как переступает нарочно.

Последним должен был выступить лирический поэт.

Он долго не хотел выступать. Он почти плакал в голос и ссыался на боли в нижней части живота. Он говорил, что он только вчера приехал из Питера, не осмотрелся еще в этом городе и не свыкся с такой аудиторией.

Поэт буквально ревел белугой и цеплялся руками за кулисы, однако, дружным натиском мы выперли его на сцену.

Дикие аплодисменты, гогот, восхищенная брань — потрясли все зало.

Публика восторженно гикала и редела.

Часть публики ринулась к сцене и с диким любопытством рассматривала лирического поэта.

Поэт обомлел, прислонился к роялю и, не сказав ни одного слова, простоял так минут пять. Затем покачулся, открыл рот и, почти неживой, вполз обратно за кулисы.

Аплодисменты долго не смолкали. Кто-то настойчиво бил пятками в пол. Кто-то неистово требовал повторения.

Мы, совершенно потрясенные, забились в своей уборной и сидели, прислушиваясь к публике.

Наш устроитель ходил вокруг нас, с испугом поглядывая на наши поникшие фигуры.

Имажинист, скорбно сжав губы, в страшной растерянности сидел на диване, потом откинул свои волосы назад и твердо сказал:

— Меня поймут через пятьдесят лет. Не раньше. Мои стихи не доходят. Это я теперь вижу.

Маруся Грекова тихо плакала, закрыв лицо руками.

Лирический поэт стоял в неподвижной позе и с испугом прислушивался к крикам и реву.

Я ничего не понимал. Вернее, я думал, что чистое искусство дошло до масс, но в какой-то странной и неизвестной для меня форме.

Однако, крики не смолкали.

Вдруг послышался топот бегущих ног за кулисами и в нашу уборную ворвалось несколько человек из публики.

— Просим! Просим! — радостно вопил какой-то гражданин, потрясая руками.

Мы остолбенели.

Тихим, примиряющим голосом устроитель спросил:

— Товарищи... Не беспокойтесь... Не волнуйтесь... Все будет... Сейчас все устроим... Вы что хотели?

— Да который тут выступал, — сказал гражданин. — Публика очень даже требует повторить. Мы, как делегация, просим... Который тут сейчас с переодеванием, трансформатор.

Вдруг в одно мгновение всем стало ясно. Нас четверых приняли за трансформатора Якимова, выступавшего в прошлом году в этом городе. Сегодня он должен был выступить после нас.

Совершенно ошеломленные, мы механически оделись и вышли из клуба.

И на другой день уехали из города.

Маленькая блондинка пианистка, саженного роста имажинист, я и, наконец, полный, румяный лирический поэт —

мы вчетвером показали провинциальной публике поистине чудо трансформации.

Однако, цветов, вареных яиц и славных почестей мы так и не получили от народа.

Придется ждать.

ОТХОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ

— Папаша мой, надо сказать, был торговцем, — сказал Иван Иванович Гусев. — При царском режиме папаша торговали в Дерябинском рынке... Ну а теперича через эту папашу мне форменная труба получается. Потому не приткнуться. Не берут в государственную службу. Что касается свободных профессий или там какого отхожего промысла, то этого тоже не горазд много.

Мне вот случилась на днях работишка, вроде отхожий промысел, — не сумел воспользоваться.

А промысел этот предложила девица одна. Кет — заглавие. Соседка. Рядом жили.

Так — ее комната, а так — моя. А перегородка тоненькая. И насквозь все слышно: и как девица домой к утру является, и как волосики свои на щипцах завивает, и как пиво пьет, и как с кавалерами на денежные темы беседует. Все насквозь слышно, только что выражения лица не видать.

А раз утром девица встала и стучит кулаком в стенку.

— Эй, говорит, мон шер, нет ли у вас спичек?

— Как же-с, — отвечаю через стенку, — есть. Я, говорю, хотя и безработный и питаюсь не ахти как, но, говорю, спички есть. Взойдите.

Является. В пенюаре, в безбелье, и туфельки кокетливо надеты на босу ногу.

— Здравствуйте, говорит. Мне завиться нужно, а спичек-то и нет. Я, говорит, сейчас верну вам ваши спички.

— Да уж, говорю, пожалуйста. Я, говорю, человек безработный, без образования, мне, говорю, не по карману спичками швыряться.

Слово за слово — разговорились.

— На какие шиши, спрашиваю, живете и почему за квадратную сажень вносите?

А она на прямой вопрос не отвечает и говорит двусмысленно:

— Раз, говорит, вы человек безработный и голодуете, то, говорит, могу вам от чистого сердца работишку предоставить.

— Какую же, спрашиваю, работишку?

— Да, говорит, альфонсом.

— Можно, говорю, объяснитесь, говорю, короче.

— А очень, говорит, просто. Ежели, говорит, я в ресторан одна явлюсь — мне одна цена, а ежели я с женщиной и мужчина вроде родственника, то цена мне другая и повышается. Вот, говорит, мы и будем вместе ходить. Вместе придем, посидим, а после вы вроде заторопитесь: — ах, дескать, Кет, у меня, может, мамаша больна, мне идти нужно. А через час

придете. Ах, дескать, Кет, вот и я, не пора ли нам, Кет, домой тронуться?

— Только и всего? — спрашиваю.

— Да, говорит. Принарядитесь только получше. Пенсне на нос наденьте, если есть. Сегодня мы и пойдём.

— Можно, говорю, работа не горазд трудная.

И вот к вечеру оделся я. Пиджак надел, свитер. Пенсне на нос прилепил — откуда-то она достала. И пошли. Входим в ресторанное зало. Присаживаемся к столику. Я говорю:

— Дозвольте очки снять. Ни черта, с непривычки, не вижу и могу со стула упасть.

А она говорит:

— Нет. Потерпите.

Сидим. Терпим. Жрать нестерпимо хочется, а вокруг жареных курей носят, даже в носу щекотно. А она мне шепчет в ухо:

— Пора, говорит, уходите.

Я встаю, двигаю нарочно стулом.

— Ах, говорю, Кет, я тороплюсь, вуаль-вуаля, у меня, говорю, может, родная мама захворала. Вы тут посидите. Я за вами приду.

А она головой кивает, дескать, ладно, катитесь.

Снял я очки и вышел на улицу.

Полчаса походил по улице, замерз как собака, губа на губу не попадает.

Возвращаюсь назад. Гляжу: сидит моя девица за столиком, палец-мизинец отодвинула и жрет что-то. А рядом буржуй к ней наклонился и шепчет в ушную раковину.

Подхожу.

— Ах, говорю, вот и я. Не пора ли, говорю, Кет, нам с вами домой тронуться?

А она:

— Нет, говорит, Пьер, я, говорит, еще посижу немного со знакомой личностью. А вы идите домой.

— Ну, говорю, как хотите. Я и один пойду.

Потоптался я, потоптался, а уходить неохота. И жрать к тому же хочется это ужасно как.

— Вот, говорю, я сейчас пойду, только, говорю, присяду на минуточку по-родственному и как альфонс. Замерз как собака.

Она мне глазами мигает, а мне ни к чему. Посижу, думаю, и уйду. Не просижу, думаю, ихние стулья. Сел и сижу. А буржуй сконфузился и перестал шептать. Я говорю:

— Вы не стесняйтесь... Я ейный родственник, шепчитесь себе на здоровье.

А он:

— Помилуйте, говорит, не желаете ли портеру выкушать?

— Можно, говорю. Отчего, говорю, родственнику портеру не выпить. Пожалуйста.

Выпил я портеру и захмелел вдруг — с голоду, что ли. Принялся чью-то котлету есть.

— Не будь, говорю, я родственником, не стал бы я эту котлетину есть. Ну а родственнику отчего не съесть? Родственнику глаз да глаз нужен.

— Помилуйте, — говорит буржуй. — Это что за намеки вы строите?

— Да нет, говорю, какие же намеки? Тоже, говорю, их-нее дамское дело, каждый обмануть норовит. Глаз да глаз нужен.

— То есть, говорит, как обмануть? Как понимать ваши слова?

— Да уж, говорю, понимайте, как хотите. Мне, говорю, некогда объясняться. Мне торопиться надо. А уж вы, будьте любезны, расплатитесь по-настоящему с ней, без обману.

Надел я пенсне на нос, поклонился всем вежливо и вышел.

А теперича девица Кет в морду лезет.

Этак на каждый промысел и морды не напасешься.

ТЕТКА МАРЬЯ РАССКАЗАЛА

Пошла я, между прочим, в погреб. Взяла, конечно, горшок с молоком в левую руку и иду себе.

Иду себе и думаю:

«Паутина, думаю, в угле завелась. Смесь надо».

Повела я поверху головой, вдруг хресь затылком об косяк. А косяк низкий.

А горшок хресь из рук. И текеть молоко.

А в глазах у меня мурашки и букашки, и хресь я тоже об пол. И лежу, что маленькая.

После пришла в себя.

«Так, — думаю, — мать честная, пресвятая. Едва я, думаю, от удара не кончилась».

Пришла я домой, голову косынкой обернула и пилюлю внутрь приняла. Пилюли у меня такие были... И живу дальше.

И начало, милые, с тех пор у меня дрожать чтой-то в голове. И дрожит, и болит, и на рвоту зовет.

Сегодня, например, голова болит, завтра я блюю. Завтра блюю, послезавтра обратно — голова болит. И так она, сукин сын, болит, что охать хочется и на стену лезть.

Ладно. Болит она, сукин сын, месяц. И два болит. И три болит. После Авдотья Петровна ко мне заявляется и пьет кофий.

Сем-пересем. Как, и чего, и почему. А я и говорю ей:

— Голова-то, говорю, Авдотья Петровна, не отвинчивается — в карман не спрячешь. А если, говорю, ее мазать, то опять-таки — чем ее мазать? Если куриным пометом, то, может, чего примешивать надо — неизвестно.

А Авдотья Петровна выкушала два стакана кофия, кроме съеденных булок, и отвечает:

— Куриный, говорит, помет или, например, помет козий — неизвестно. Удар, говорит, обрушился по затылку. Затылок же — дело темное, невыясненное. Но, говорит, делу может помочь единственное одно лицо. А это лицо — ужасно святой жизни старец Анисим. Заявись между тем к нему и объяснись... А живет он на Охте. У Гусева.

Выпила Авдотья Петровна еще разгонный стакашек, губы утерла и покатилась.

А я, конечно, взяла, завернула сухих продуктов в кулек и пошла на другой день к старцу Анисиму. А голова болит, болит. И блевать тянет. Пришла.

Комната такая с окном. Дверь деревянная. И народ толкется. И вдруг дверь открывается, и входит старец святой Анисим.

Рубашка на нем сатиновая, зубы редкие, и в руках жезло.

Подала я ему с поклоном сухими продуктами и говорю, как и чего. А он вроде не слушает и говорит загадками:

— На бога надейся, сама не плошай... Не было ни гроша, вдруг пуговица...

А кулек между тем взял и подает своей сиделке.

— Анисим, — говорю, — не замай. Либо, говорю, кулек назад отдай, либо объясни ровней, как и чего.

А он скучным взором посмотрел и отвечает:

— Все, говорит, мы у бога на примете... Чем ушиблась, тем и лечись.

«Ах ты, — думаю, — клюква! Чего ж это он говорит такое?»

Но спорить больше не стала и пошла себе.

Дома думала, и плакала, и не решалась загадку разгадать.

А после, конечно, решилась и стукнулась. Стукнулась затылком о косяк, и с катушек долой — свалилась. И «мя» сказать не могу.

А после свезли меня в больницу...

И что ж вы думаете, милые мои? Поправилась. Слов нет: башка по временам болит и гудит, но рвоту как рукой сняло...

НЯНЬКИНА СКАЗКА

Заведывающая детским домом вызвала к себе няню Еремеевну и официальным тоном спросила:

— Ты, Еремеевна, какие сказки рассказываешь детям?

— А какие сказки, — сказала Еремеевна, — разные сказки. Давеча вот про медведя сказывала... Про козла еще сказка такая есть...

— Завтра праздник, — сказала заведывающая, — Октябрьская годовщина... Надо, няня, что-нибудь рассказать детям про революцию...

— Ась?

— Что-нибудь революционное, — сказала заведывающая. — Что-нибудь, няня, героическое о революционном прошлом... Ну, воспоминания, что ли...

Няня сердито высморкалась в конец праздничного передника и с обидой сказала:

— Я этого не знаю... Я, матушка Елена Семеновна, политграмоту не сдавала... Не знаю, что к чему и почему... И, может, не поймут дети, трехлетние-то...

— Поймут, — строго сказала заведывающая. — Про революцию дети поймут. Они нам смена...

Няня еще раз с обидой высморкалась в передник и ушла, бормоча:

— Ладно... Рассказать можно... Язык, он без костей. А только, мать моя, я не ответчик, ежели дети испугаются...

Вечером, собрав детвору вокруг себя, няня уселась в кресло и начала рассказывать.

— Дак вот я и говорю, детишки-ребятишки, — начала няня. — В некотором царстве, в некотором государстве произошла эта самая, значит, революция.

На сегодня она, скажем, произошла, а назавтра в некотором царстве бегит ко мне Митюшка мой... Он в Балфлоте

служит. Ладно, бегит... Беги, думаю. Христос с тобой. Беги, сынок. Надо же и нам повидаться.

Ну, ладно. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Бегит, значит, мой сынок Митюшка, а под мышкой у него полбуханки хлеба.

— Ну, говорит, мамаша, радуйся. Произошла, говорит, в некотором царстве, в некотором государстве эта, значит, революция.

— Слава, говорю, тебе, господи Христе, Боже наш. Не сухой ли, говорю, хлеб-то?

А в те дни, детишки-ребятишки, в этом царстве гражданам мало-мало хлебушка выдавали... Кому, значит, четверка, кому осьмушка, а кому и полфунта синьки или пузырьки уксусной эссенции.

«Вот, думаю, спасибо, что Митюха вместо хлеба синьки не принес. Неинтересно, думаю, ее кушать в такие дни».

И навалилась я, значит, на хлеб и шамаю. И гляжу — Митюшке все на месте не сидится, и все он колбасится.

— Ну, говорит, прощайте, мамаша, кушайте, а мне бежать надо.

Перекрестила я его, а сама все хлеб шамаю. А Митюша от креста отмахнулся и бегит.

После пошамала я — охота водички испить.

Ну, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Пошла я на кухню, крантик верчу, а воды нетути — трубы лопнули.

Ну, думаю, спасибо, что хлеб еще есть. А то, думаю, неинтересно синьку жевать.

После, конечно, подхожу свет зажечь. Трык — открываю, а света нет.

Ну, скоро сказка сказывается, да не скоро дела обделываются.

Сижу это я в потемках и хлеб шамаю. А после бегит мой Митюшка с Балфлота и кричит обратно:

— Ну, кричит, мамаша, радуйтесь. Еще, говорит, одна революция произошла.

— Это, говорю, хорошо. Это, говорю, отлично. Может, говорю, вода теперича будет. А то, говорю, неинтересно сухую синьку лопать...

Няня задумалась, покачала головой и стала собираться с новыми мыслями. С мыслями не собралась, а глубоко вздохнула и закончила:

— И произошла это, детишки-ребятишки, еще одна революция. И устроили это в честь ее седьмую годовщину, на ма-нер праздника. И я там была, мед-пиво пила, по усам текло, а в рот не попало.

ШИПЫ И РОЗЫ

На лестнице раздался резкий звонок.

Я бросился открывать дверь.

Открыл. И вдруг в прихожую стремительно ворвался человек. Он явно был не в себе. Рот у него был открыт, усы висели книзу, глаза блуждали, и слюна тонкой струйкой текла по подбородку. Пиджак был порван и надет в один рукав.

— Счетчик?! — дико захрипел человек. — Скорей! Где? Я ахнул с испугу и ткнул пальцем под потолок.

Человек вскочил на столик, раздавил ногой отличную дамскую шляпу и принялся за счетчик.

— Товарищ, — испуганно спросил я, — вы кто же, извиняюсь, будете? Контролер, что ли?

— Контролер, — хрипло сказал человек. — Чичас проверим, и дальше бежать надо...

Контролер спрыгнул на пол, зашиб ногу об угол сундука и, охая, бросился к выходной двери.

— Товарищ... Братишечка, — сказал я, — вы бы присели отдохнуть... на вас лица нет...

Контролер остановился, перевел дух и сказал:

— Фу... Действительно... Запарившись я сегодня... Сто квартир все-таки... Раньше мы шестьдесят проверяли, а теперича восемьдесят надо... А если больше, твое счастье — премия теперь идет... Вот догоню сегодня, ну, до полутораэта, и будет... Мне много не надо. Я не жадный.

— Ну и ничего, поспевааете? — осторожно спросил я, поправляя помятую шляпу.

— Поспеваем, — ответил контролер. — Только что публика, конечно, не привыкли еще к повышению производительности. Пугается быстроте... Давеча вот в седьмой номер вбегаю — думали, налетчик. Крик подняли. В девятом номере столик небольшой такой сломал — опять крики и недовольство. В соседнем доме по нечаянности счетчик сорвал — квартирант в морду полез. Не нравится ему, видите

ли, что счетчик висит неинтересно. Некрасиво, говорит... Ах, гражданин, до чего публика не привыкла еще! Только что в вашей квартире тихо и благородно.... Шляпенция-то еще держится... Раздавил я ее, что ли?

— Раздавили, — деликатно сказал я, подвязывая на шляпе сломанные перья.

— Да уж эти дамские моды, — неопределенно сказал контролер, укоризненно покачивая головой.

Контролер потоптался у дверей и добавил:

— Беда с этим повышением. Всей душой рвешься, стараешься, а публика некультурная, обижается быстроте... Фу... Бежать надо. Прощайте вам...

Контролер сорвался с места, ударил себя по коленям, гикнул и одним прыжком ринулся на лестницу.

Производительность повышалась.

РАССКАЗ ПЕВЦА

Искусство падает, уважаемые товарищи! Вот что.

Главная причина в публике. Публика пошла ужасно какая неинтересная и требовательная, а неизвестно, что ей нужно. Неизвестно, какой мотив доходит до ее сердца. Вот что.

Я, уважаемые товарищи, много пел. Может, Федор Иванович Шаляпин столько не пел. Пел я, вообще, и на улицах, и по дворам ходил. А что теперешней публике нужно — так и не знаю.

Давеча со мной такой случай произошел. Пришел я во двор. На Гончарной улице. Дом большой. А кто в нем живет — неизвестно по нынешним временам.

Спрашиваю дворника:

— Ответь, — говорю, — любезный кум, какой тут жилец живет?

— Жилец — разный. Есть, — говорит, — и мелкий буржуй. Свободная профессия тоже имеется. Но все больше из рабочей среды: мелкие кустары и фабричные.

«Ладно, — думаю. Кустарь, думаю, завсегда на “Кари глазки” отзывается. Спую “Кари глазки”».

Спел. Верчу головой по этажам — чисто. Окна закрыты, и никто песней не интересуется.

«Так, — думаю. Может, — думаю, в этом доме рабочие преобладают. Спую им “Славное море, священный Байкал”».

Спел. Чисто. Никого и ничего.

«Фу ты, — думаю, — дьявол! Неужели, — думаю, — в рабочей среде такой сдвиг произошел в сторону мелкой буржуазии? Если, — думаю, — сдвиг, то надо петь чего-нибудь про любовь и про ласточек. Потому буржуй и свободная профессия предпочитают такие тонкие мотивы».

Спел про ласточек — опять ничего. Хоть бы кто копейку скинул.

Тут я, уважаемые товарищи, вышел из терпения и начал петь все, что знаю. И рабочие песни, и чисто босяцкие, и немецкие, и про революцию, и даже «Интернационал» спел.

Гляжу, кто-то бумажную копейку скинул.

До чего обидно стало — сказать нельзя. Голос, думаю, с голосовыми связками дороже стоит.

«Но стоп, — думаю. — Не уступлю. Знаю, чего вам требуется. Недаром два часа пел. Может, — думаю, — в этом доме, наверно, религиозный дурман. Натей!».

Начал петь «Господи помилуй» — глас восьмой.

Дотянул до середины — слышу, окно кто-то открывает.

«Так, — думаю, — клюнуло. Открываются».

Окно, между тем, открылось, и хлесь кто-то в меня супом.

Обомлел я, уважаемые товарищи. Стою совершенно прямой и морковку с рукава счищаю. И гляжу, какая-то гражданка без платка в этаже хохочет.

— Чего, — говорит, — панихиды тут распущаешь?

— Тс, — говорю, — гражданочка, за какое самое с этажа обливаются? В чем, — говорю, — вопрос и ответ? Какие же, — говорю, — песни петь, ежели весь репертуар вообще спет, а вам не нравится?

А она говорит:

— Да нет, — говорит, — многие песни ваши хороши и нам нравятся, но только квартирные жильцы насчет голоса обижаются. Козлетон ваш им не нравится.

«Здравствуйте, — думаю. — Голос уж в этом доме им не нравится. Какие, — думаю, — пошли современные требования».

Страхнул с рукава морковку и пошел.

Вообще искусство падает.

ПОЛЕТЕЛИ

Девятая объединенная артель кустарей два года собирала деньги на аэроплан.

И в газетах воззвания печатала, и особые красочные плакаты вывешивала, и дружескую провокацию устраивала. И чего-чего только не делала! Одних специальных собраний устроено было не меньше десятка.

А какой был подъем! Какие были мечты! Планы какие! Сколько фантазии и крови было истрачено на одно лишь название аэроплана!

На собраниях председателя артели буквально закидывали вопросами. Кустари главным образом интересовались: будет ли аэроплан принадлежать всецело Добролету или же он будет являться собственностью артели? И может ли каждый кустарь, внесший некоторую сумму, летать на нем по воздуху?

Председатель, счастливый и возбужденный, говорил охриплым голосом:

— Товарищи, можно! Конечно, можно! Летайте себе на здоровье. Дайте только вот собрать деньги... И тогда полетим... Эх, красота! Простор...

— Главное, что на собственном полетим, — восхищались в артели. — На чужом-то, братцы, и лететь как-то неохота. Скучно на чужом лететь...

— Да уж какое там летанье на чужом, — подтверждали кустари. — На своем, братцы, и смерть красна.

Председатель обрывал отдельные восхищенные выкрики и просил организованно выражать свои чувства.

И все кустари, восхищенные новой идеей и возможностью летать по воздуху, напереерыв просили слова, яркими красками расписывали ближайшие возможности и клеймили несмываемым позором малодушных, не внесших еще на аппарат. Даже секретарь артели, несколько унылый и меланхолический субъект, дважды отравленный газами в царскую войну, на вопрос председателя высказаться по существу горючил:

— Без аэроплана, товарищи, как без рук. Ну на чем лететь прикажете? На столе не полетишь. А тут захотел куда-нибудь полететь — сел и полетел. Только и делов.

Два года артель с жаром и пылом собирала деньги и на третий год стала подсчитывать собранные капиталы.

Оказалось — семнадцать рублей с небольшими копейками.

На экстренном, чрезвычайном собрании председатель сказал короткую, но сильную речь.

— В рассуждении того, — сказал председатель, — что аэроплан стоит неизмеримо дороже, куда предполагают уважаемые товарищи девать эти вышеуказанные суммы? Передать ли эти суммы Добролету или есть еще какие предложения? Прошу зафиксировать вопрос путем голосования рук.

Голоса разделились.

Одни предлагали деньги внести в Добролет, другие предлагали купить небольшой, но прочный пропеллер из карельской березы и повесить его на стене клуба, над портретами вождей. Третьи советовали закупить некоторое количество бензина и держать его всегда наготове. Четвертые указывали на необходимость произвести ремонт в помещении кухни.

И только несколько человек, из числа явно малодушных, затребовали деньги назад.

Им было возвращено семь рублей.

Остальные десять рублей с копейками решено было передать в Добролет.

Однако казначей распорядился иначе.

В один ненастный осенний вечер казначей артели Иван Бобриков проиграл в карты эти деньги.

На экстренном, чрезвычайном собрании было доложено, что собаку казначея арестуют, имущество конфискуют и вырученные деньги передадут Добролету с отличным письменным пожеланием.

Председатель артели говорил несколько удивленным тоном:

— А на что нам, братцы, собственный аэроплан? В сущности, на кой шут он нам сдался? И куда на нем лететь?

— Да, лететь-то, действительно, как будто и некуда, — соглашались в артели.

— Да я ж и говорю, — подтверждал председатель, — некуда лететь. Передадим деньги в такую мощную организацию, как Добролет. А собственных аппаратов нам не надо.

— Конечно дело, не надо, — говорили кустари. — Одна мука с этими аэропланами.

— Аэроплан не лошадь, — уныло заявил секретарь, — на лошадь сел и поехал, а тут поди попробуй. И бензин наливай, и пропеллер закручивай... Да еще не в ту дыру плеснут бензин — и пропала машина, пропали народные денежки...

— А главное, лететь-то, братцы, некуда, — с удивлением бормотал председатель.

Закончив вопрос о воздушном флоте и решив деньги передать Добролету, кустари перешли к обсуждению текущих дел. Собрание заволновалось.

ГЕРОИ

Торжество в деревне Максимовке началось с раннего утра.

Сначала всем миром ходили по деревне с флагами и пели «Интернационал», потом, собравшись у пожарного сарая, открыли заседание.

Председатель влез на ступеньки сарая и махнул шапкой.

Общество откашлялось, отсморкалось и затихло. Только с тихим треском там и сям бабы жевали семечки.

— Так вот, братцы, — начал председатель, — пуцай ответит общество, надо ли зафиксировать вопрос насчет самого-ну ай нет?

— Безусловно, надо, — сказала общество.

— А ежели так, — сказал председатель, — то выходит такая штука... Пуцай вот ответит еще общество, есть ли у Егорки Гусева лошадь ай нет?

— Нету, — сказали в толпе, — нету у него лошади. Корова, да, действительно есть, а лошадь он пропил, сукин кот.

— Так, — сказал председатель, — пропил он лошадь. Заметьте себе... Дальше, скажем, Митюшка Бочков... Спер он сбрую у Козулихи ай нет? Спер. На какой этот самый пред-

мет или цель спер он сбрую? На самогон... Теперича идем дальше. Лобачев Ванька. Чикнул он ножом Серегу ай нет? Чикнул. Пьяный был... А теперича я спрашиваю общество, отчего это все, беда такая, происходит?

— Да разве мы знаем? — сказали в толпе. — От самогонки, что ли?

— Братцы, — закричал председатель, — конечно, от самогонки! Братцы, враги мы себе ай нет? Не враги! А не враги, так должны мы эту самогонку тово, растово, раззотово? Уничтожить, то есть?

Мужики молчали.

Председатель откашлялся и тихим голосом продолжал:

— Вы, братцы, не обижайтесь. Я против общества не иду. Я самогонку не хаю. Есть в ней вкус, не спорю...

— Конечно, есть! — крикнул кто-то. — Она вкус имеет. Она кровь полирует.

— Не спорю, — сказал председатель. — Вкус она имеет. Ежели, для примера, возьмешь горбушечку, сольцей ее присыпешь, а огурчик в это время на полусогнутой держишь, да нальешь ее в это время в стаканчик, да — хлоп-с... А она, бродяга, струей как брызнет по жилам... А тут огурчиком — джик, горбушечку — хрясь... Отдай все, да мало...

В толпе крякнул кто-то. Два мужика, одергивая штаны, пошли от сарая.

— Стой! — закричал председатель. — Не пушу! Зафиксировать надо... Пуцай общество постановит, надо варить ее ай нет?

— Что мир скажет, — уклончиво ответило общество.

— Можно, конечно, не варить, — добавил кто-то. — Можно у соседей брать... Ежели избыток у них.

Председатель вытер мокрый лоб рукавом и хрипло сказал:

— И у соседей не брать! И не варить! И аппаратов не чинить. Потому — враз надо кончать. Потому — одним пальцем блохи не поймаешь... Ась? Братцы, да что ж это? Враги мы себе ай нет?!

Мужики, кряхтя и сморкаясь и жалобясь на свою судьбу, то начинали хвалить напиток, то признавали за ним самые ужасные качества.

И наконец, после двухчасового спора, постановили: «Самогон не варить, аппаратов не чинить и у соседей добром не пользоваться».

Читатель, если ты будешь в тамошних местах, загляни, милый, чего пьют в этой деревне. Не водочку ли, часом, глотают?

ТОЧНАЯ ИДЕОЛОГИЯ

Собрание подходило к концу.

Конторщик счетного отделения Сережа Блохин долго откашливался, переступая с ноги на ногу и, наконец, чувствуя, как душа его медленно уходит в пятки, попросил слова.

— Можно. Говори, — сурово сказал председатель. Сережа влез на возвышение и испуганно взглянул на толпу. Зубы его отбивали мелкую дробь.

— А-ба-ба, товарищи, — сказал Сережа Блохин, лязгая зубами. — Я про это, а-ба-ба, про то... Я, товарищи... предыдущего оратора а-ба-ба...

Одним словом, конторщик Сережа Блохин хотел доложить собранию, что предыдущий оратор неправильно упрекает служащих в шаткости убеждений и в отсутствии терпимой и точной идеологии. Сережа хотел сказать, что не боги горшки обжигают и точная идеология у всех имеется.

Еще Сережа хотел добавить о коллективном строительстве государства, но растерялся, сказал три раза подряд а-ба-ба и сошел с возвышения.

Ну, что ж! Не каждому человеку отпущено красноречие и не каждый рожден для трибуны.

Сережа не был рожден для трибуны, а потому, стерев пот со лба, Сережа ушел с собрания несколько подавленный своим смелым выступлением и своим интересом к общественным задачам.

Сережа шел по улице, размахивая руками, и мысленно громил своих противников.

— Да-с! — мысленно кричал Сережа. — Предыдущий оратор упрекает нас в шаткости... А мы, товарищи, можем животы свои положить на алтарь отечества... Предыдущий оратор личности оскорбляет... Бейте его, товарищи! Хватайте предыдущего оратора! Волоките его с трибуны!..

Домой Сережа Блохин пришел поздно, и дома, глотая холодный суп, делился с женой впечатлениями за день.

— Я, Луша, так и сказал, — говорил Блохин. — Я говорю: свинство упрекать нас в шаткости. Мы, говорю, можем жи-

воты свои отдать на алтарь отечества, если государству понадобится. А вы говорите — идеологии у нас нет! Эх, говорю, товарищи!.. Ей-богу, так и сказал...

Жена с беспокойством слушала Сережу, укоризненно покачивая головой.

— Вот ты, Луша, головой махаешь, — сказал Сережа, — пугаешься, небось, зачем это я, дескать, выступаю общественно и обвинительные речи говорю. А ведь нужно же кому-нибудь говорить... Нужно кому-нибудь следить за общественным интересом. А я так и сказал: оставьте, говорю, про нас беспокоиться. Мы, говорю, сами с усами...

— Да брось ты про это распространяться, — обиженно прервала жена. — Ты вот лучше к управдому сходи. Ведь цену-то какую нам на квартиру назначили: четырнадцать рублей назначили...

— Как это? — спросил Сережа. — Почему это четырнадцать? Откуда это, если я служащий? Да ты не путаешь ли?

— Не путаю, — сказала жена. — Список под воротами висит...

— Вот! — сказал Сережа, хватаясь за голову. — Видали, четырнадцать рублей! Да что ж это? Нельзя же так! Я, Луша, на собрании так и сказал: нельзя же, говорю, так, товарищи. Было бы, говорю, за что живот свой класть на алтарь отечества. А то, говорю, и класть-то не за что...

Жена с испугом посмотрела на Сережу и сказала:

— Вот погоди — арестуют тебя за такие эти слова.

— И пуцай! — сказал Сережа. — Пуцай арестуют. Пуцай в Нарымский край сошлют. Я не могу так больше... Мне

правда важна... Я так и сказал... Живот, говорю, животом, а правда, говорю, важнее. Не могу, говорю, признавать такое государственное строительство. Фу! Да не путаешь ли ты, Луша? Дай-ка я сбегаю к управдому.

Сереза напялил шапку на голову и бросился из квартиры. Через пять минут Сереза вернулся, потирая руки.

— Спутал, черт лысый, — сказал Сереза. — Перепутал, говорит... Я ему все отпел. Я говорю: мы за вас, чертей, на общественных собраниях выступаем, участвуем, так сказать, в коллективном строительстве, а вы, говорю, что ж это, уважаемый товарищ?..

— Ну, а он что? — равнодушно спросила жена.

— Ну, а он хвост поджал. Ошибся, говорит. Девять, говорит, рублей с вашей квартиры. То-то, говорю.

Сереза вздохнул с облегчением и принялся за прерванный обед.

ОСТРЯК-САМОУЧКА

Вчера я проходил по Центральному рынку. Гуся к празднику покупал.

Народу уйма.

Мясной ряд явно выглядел именинником. Длинные столы были завалены всякой требухой: бычьими печенками, селезенками и хвостами.

И на всю эту дрянь, даже на телячьи хвосты, находился свой праздничный покупатель.

Покупатель рылся в требухе, подносил товар к носу, нюхал и яростно хаял продукты, понижая их стоимость и достоинство.

Торговцы и торговки подмигивали покупателям, нечеловечески кричали и махали руками, приглашая взглянуть на «выдающий» товар.

Какая-то гражданка перебранивалась с торговкой.

— Эта-то печенка воняет? — возмущалась торговка. — Нос-то у тебя, милая, заложимши. Нос-то ослобони прежде... Потом и дыши на такую печенку. Это бычья первейшая печенка... Дура ты худая после этого. Не с твоим носом такую печенку нюхать...

Гражданка уже поставила корзинку возле себя, рассчитывая дать достойную отповедь зарвавшейся торговке, но в эту минуту у стола появился высокий курчавый парень со сдвинутым на затылок картузом. За парнем почтительно следовали два шкета, хихикая и потирая руки.

Парень остановился у стола, скучным и серьезным взором посмотрел на требуху, подмигнул торговке и сказал громко:

— Да бросьте вы у ей, граждане, покупать. Не видите, что ли? Мужа она своего старого убила, на куски разрубила и к празднику продает остатки...

Кто-то захихикал. Кто-то с сердцем сплюнул в сторону.

Покупательница растерянно посмотрела на парня и отошла от стола, бормоча что-то. Торговка налилась кровью, с диким изумлением взглянула на парня и вдруг разразилась ужасающей бранью.

Парень передернул плечами и, строгий в своей выдумке, пошел дальше. Два шкета, хрюкая от сдавленного смеха, двинулись за ним.

Парень прошел несколько шагов и остановился перед круглой корзиной со свиными окороками, лапами и кусками морды.

Покупатели рылись и в этой корзине.

Торговец, польщенный вниманием потребителя, тонко выкрикивал:

— Кому надо, кому не надо... Кому что, кому ничего!..

Парень посмотрел в корзину и громко сказал:

— Да бросьте вы, граждане, у его покупать! Не видите, что ли? Жену старую убил, на куски разрубил и продает остатки.

Снова кто-то захохотал. Кто-то сконфуженно крякнул.

Торговец всплеснул руками, оглянулся на покупателя, как бы ища защиты, но ничего не сказал.

А парень двинулся дальше.

Я пошел за ним следом, забыв про гуся.

Парень обошел весь рынок со своей шуткой и, строгий, не улыбающийся, удалился восвояси.

За ним следовали два шкета, буквально давясь от смеха.

СЛУЧАЙ

На днях я пошел на склад. Дров покупать.

Купил полсажени осиновых и думаю с горечью:

«И топор, думаю, есть, а наколоть дров некому. А мне самому — здоровье не позволяет...»

А я, действительно, человек слабый, организм у меня городской, кость хрупкая, мелко-мещанская. Иной раз взмахнешь топором — и пугаешься, не сломать бы какой-нибудь нужной части скелета...

«Разоренье, — думаю, — с этими дровами. Придется, думаю, человечка принанять: наколоть и в этаж снести».

И вдруг подходит ко мне тут же, на складе, этакий арапистый гражданин в бабьей шляпке и в штанах ужасно рваного вида. Подходит и докладывает:

— Интересуюсь, говорит, работой. Могу, говорит, колоть, могу пилить и могу в любые этажи носить.

— Можно, — говорю.

Сговорились мы в цене и пошли.

Приходим домой, а хозяйка топора не дает,

— Я, — отвечает, — пятьдесят лет на свете живу. Глаз, говорит, у меня наметанный, и человека я враз вижу. Этот пришедший человек, хотя и симпатичная у него личность, настолько скромно и неинтересно одет, что обязательно топор свистнет. Я, говорит, вдова, на социальном обеспечении, и не могу разбрасываться топорами налево и направо. Я, говорит, топоры не сама делаю.

Обеспечил я хозяйке цену за топор — дала.

Взял мой гражданин топор, поплевал на руку и начал.

Гляжу: ловко так колет — глядеть приятно. Наколет охачку, крикнет, взвалит на себя и прет кверху.

Он дрова носит, а хозяйка по квартире мечется — вещи пересчитывает — не спер бы, боится.

А сын ее, Мишка, у вешалки польгты считает.

«Ах, — думаю, — чертова мешчанка!» А сам я пальтишко свое снял, отнес в комнату и газетой прикрыл. «Лучше, — думаю, — газетой прикрыть, чем на глазах пересчитывать — человека обижать».

Гляжу: кончил мой гражданин.

Деньги я ему сполна уплатил и говорю любезно:

— Садитесь, говорю, к столу. Чай будем кушать.

— Нет, — говорит, — спасибо. Бежать надо. Лекция у меня сейчас.

— Ах, — говорю, — скажите на милость, как движется наука и техника! Неужели же, говорю, насчет дров ученые профессора лекции теперича читают?

— Нет, — отвечает, — я студент из вуза. А на дровах работаю для цели питания.

Очень я сконфузился, повесил свое пальто на вешалку, очки на нос надел и говорю любезно:

— Извините, говорю, за бедность мысли — обмишурился.

Хотел я добавить еще какое-нибудь французское или немецкое слово, но с неожиданности перезабыл иностранные языки и замолчал.

Стою и кланяюсь молча.

А он кивнул головой и интеллигентно вышел.

Вот это был единственный случай, когда я студента видел. До этих пор видеть не приходилось. Даже неловко было. Все кричат: студенты, студенты. А я и не знаю, какие это студенты. Потому формы у них нету. Как узнаешь?

ШЕСТЕРЕНКА

Это, граждане, случилось из-за шестеренки.

Лопнула шестеренка. А, может, она и не лопнула, а сломалась. Черт ее разберет! Я в этих семеренках не разбираюсь. Квалификации у меня такой нет, чтоб в этих восьмеренках разбираться.

Ну, так вот, лопнула. И трепальные машины оттого стали. Не могут они, что ли, без этих шестеренок действовать. Не знаю я про это.

А было это, не люблю сплетничать, в текстильном техникуме. Враз шестеренку где ж найти? Не найти.

А был в техникуме Александр Иванович Смирнов. Инструктор. Очень напористый мужчина и хороший техник.

— Ни хрена, говорит. Я, говорит, в лепешку разобьюсь, а уж шестеренку достану. Мне, говорит, плевое дело — шестеренку достать.

А была недалеко — как ее? — «Красная фабрика». Фамилия директора этой фабрики, не люблю сплетничать, Куликов. А имя и отчество его не знаю. Квалификации такой у меня нет, чтоб все знать.

Вот инструктор Смирнов и побежал до этого директора.

— Одолжите, говорит, свою шестеренку. Наша, говорит, пятеренка лопнула, будь она проклята.

— Нет, — говорит директор, — не могу одолжить. Зуб я имею против вашего начальника. Он у нас, каналья, лебедку зажил. А шестеренка — да, действительно, есть свободная.

— Позвольте, — говорит инструктор, — общие же интересы. Общее достояние. Вы советские — мы советские. Ваши шестеренки — наши пятеренки...

— Интересы общие, — говорит директор, — а дать не могу. Несимпатичен мне чтой-то ваш начальник.

— Позвольте, — заплакал инструктор, — производству подрыв... Народные соки-денежки текут... Не велите казнить, велите миловать.

— Нету, — сказал директор. — Катитесь колбаской.

И инструктор покатился.

А директор Куликов, не любим сплетничать, показал шиш уходящему инструктору и, пробормотав «видал миндал», отвернулся к окну.

А за окном тихо плакало декабрьское небо, поплеывая дождем и снегом на стекло, за которым стоял директор.

Трепальные машины стояли в меланхолической неподвижности.

Примечание «Бегемота». Вы думаете, небось, так просто рассказ, для смеху? Ничего подобного. Факт во всем антураже. Не кто-нибудь — рабкор писал. С тем и съешьте.

ПАУТИНА

Вот говорят, что деньги сильней всего на свете. Вздор. Ерунда.

Капиталисты для самообольщения все это выдумали.

Есть на свете кое-что покрепче денег.

Двумя словами об этом не рассказать. Тут целый рассказ требуется.

Извольте рассказ.

Высокой квалификации токарь по металлу, Иван Борисович Левонидов, рассказал мне его.

— Да, дорогой товарищ, — сказал Левонидов, — такие дела на свете делаются, что только в книгу записывай.

Появился у нас на заводе любимчик — Егорка Драпов. Человек он арапистый. Усишки белокурые. Взгляд этакий вредный. И нос вроде перламутровой пуговицы.

А карьеру между тем делает. По службе повышается, на легкую работу назначается и жалованье получает по высшему разряду.

Мастер с ним за ручку. А раз даже, проходя мимо Егорки Драпова, мастер пощекотал его пальцами и с уважением таким ему улыбнулся.

Стали рабочие думать что и почему. И за какие личные качества повышается человек.

Думали, гадали, но не разгадали и пошли к инженеру Фирсу.

— Вот, говорим, любезный отец, просим покорнейше одернуть зарвавшегося мастера. Пущай не повышает своего любимца Егорку Драпова. И пальцем пущай не щекотит, проходя мимо.

Сначала инженер, конечно, испугался — думал, что его хотят выводить на свежую воду, но после обрадовался.

— Будьте, говорит, товарищи, благонадежны. Зарвавшегося мастера одерну, а Егорку Драпова в другое отделение переведу.

Проходит между тем месяц. Погода стоит отличная. Ветры дуют южные. И наводнения не предвидится. А любимчик — Егорка Драпов — карьеру между тем делает все более заманчивую.

И не только теперь мастер, а и сам любимый спец с ним похохатывает и ручку ему жмет.

Ахнули рабочие. И я ахнул.

— Неужели же, думаем, правды на земле нету? Ведь за какие же это данные повышается человек и пальцами щекотится мастером?

Пошли мы небольшой группой к красному директору Ивану Павловичу.

— Вы, говорим, который этот и тому подобное. Да за что же, говорим, такая несообразность?

А красный директор, нахмурившись, отвечает:

— Я, говорит, который этот и тому подобное. Я, говорит, мастера и спеца возьму под ноготь, а Егорку Драпова распушу, как собачий хвост. Идите себе, братцы, не понижайте производительность.

И проходит месяц — Егорка Драпов цветет, как маков цвет или, скажем, хризантема в саду. Балуют его и милуют, и ручку со всех сторон наперерыв ему жмут. И директор жмет, и спец жмет, и сам мастер, проходя мимо, щекотит Егорку Драпова.

Взвыли тут рабочие, пошли всей гурьбой к рабкору Настину. Плачутся:

— Рабкор ты наш, золото, драгоценная головушка. Ругали мы тебя, и матюкали, и язвой называли: мол, жалобы за-

чем в газету пишешь. А теперича, извините и простите... Выводите Егорку Драпова на свежую воду.

— Ладно, — сказал Настин. — Это мы можем, сейчас можем. Дайте только маленьчко сроку, погляжу, что и как и почему человек повышается. Хвост ему накручу — будьте покойны.

И проходит месяц. Ветры дуют южные. И наводнения не предвидится. Птички по воздуху порхают и бабочки крутятся.

А Егорка Драпов цветет жасмином или даже пестрой астрой распускается.

И даже рабкор Настин, проходя однажды мимо, пощекотал Егорку и дружески ему так улыбнулся.

Собрались тут рабочие обсуждать. Говорили, говорили — языки распухли, а к результату не пришли.

И тут я, конечно, встречаю в разговор.

— Братцы, говорю, я, говорю, первый гадюку открыл, я ее и закопаю. Дайте срок.

И вдруг на другой день захожу я в Егоркино отделение и незаметно становлюсь за дверь. И вижу. Мастер домой собирается, а Егорка Драпов крутится перед ним мелким бесом и вроде как тужурку подает.

— Не застудитесь, говорит, Иван Саввич. Погодка-то, говорит, страсть неблагоприятная.

А мастер Егорку по плечу стучает и хохочет.

— А и любишь, говорит, ты меня, Егорка, сукин сын.

А Егорка Драпов почтительно докладывает:

— Вы, говорит, мне, Иван Саввич, вроде как отец родной. И мастер, говорит, вы отличный. И личностью, говорит,

очень, говорит, вы мне покойную мамашу напоминаете, только что у ей усиков не было.

А мастер пожал Егоркину ручку и пошел себе. Только я хотел из-за двери выйти, шаг шагнул — рабкор Настин прется.

— А, говорит, Егорушка, друг ситный! Я, говорит, знаешь ли, такую давеча заметку написал — ай-люли.

А Егорка Драпов смеется.

— Да уж, говорит, ты богато пишешь. Пушкин, говорит, и Гоголь дерьмо против тебя.

— Ну спасибо, — говорит рабкор, — век тебе не забуду. Хочешь, тую заметку прочту?

— Да чего ее читать, — говорит Егорка, — я, говорит, и так, без чтения в восхищении.

Пожали они друг другу ручки и вышли вместе. А я следом. Навстречу красный директор прется.

— А, говорит, Егорка Драпов, наше вам... Ну-ка, говорит, погляди теперича, какие у меня мускулы.

И директор рукав свой засучил и показывает Егорке мускулы. Нажал Егорка пальцем на мускулы.

— Ого, говорит, прибавилось.

— Ну спасибо, — говорит директор, — спасибо тебе, Егорка.

Тут оба-два — директор и рабкор — попрощались с Егоркой и разошлись.

Догоняю я Егорку на улице, беру его, подлеца, за руку и отвечаю:

— Так, говорю, любезный. Вот, говорю, какие паутины вы строите.

А Егорка Драпов берет меня под руку и хохочет.

— Да брось, говорит, милый... Охота тебе... Лучше расскажи, как живешь и как сынишка процветает.

— Дочка, говорю, у меня, Егорка. Не сын. Отличная, говорю, дочка. Бегает...

— Люблю дочек, — говорит Егорка. — Завсегда, говорит, люблюсь на них и игрушки им жертвую...

И проходит месяц. Ветры дуют южные. И наводнения не предвидится. А Егорка Драпов цветет, как маков цвет или, скажем, хризантема в саду.

А вчера, проходя мимо, пощекотал я Егорку Драпова.

Черт с ним. Хоть, думаю, и подлец, а приятный человек.

Полюбил я Егорку Драпова.

СЛУЧАЙ НА ЗАВОДЕ

Фельдшер усмехнулся и пояснил:

— Больных мы, милый, теперича отваживаем. Которые, знаешь ли, мнимые, лодыри или с мелкими медицинскими болезнями — отваживаем. Домой не отпускаем. Потому — профсоюзом строже велено в болезнях разбираться.

— Так я больной же, — сказал Ваня Чижов. — Желудок — болезнь не мелкая. Первейший орган. Сами посудите, гражданин фельдшер.

— Это уж дозвольте науке знать, — ехидно сказал фельдшер. — Первейший это орган или он не первейший, наука

в этом вполне разбирается, имейте в виду... Чем болеешь-то? Покажи явные признаки.

Фельдшер меланхолически потрогал живот больного рукой и сказал:

— Объективных признаков нетути. Желудок лояльный. Пуп стоит на месте... Здоров. Ступай себе.

— Братишка, — испуганно сказал Ваня Чижов, — больной же я. Как же это так?

— Валяй, валяй, валяй, — сказал фельдшер. — Не задерживай научных сотрудников. Не приказано науке хороводиться с мелкими болезнями. А у тебя и признаков нету. И пуп на месте. Ходи веселей.

Охнул Ваня Чижов, схватился за живот и побежал в отделение к мастеру.

— Хотя пропуск вы дайте, — сказал Чижов мастеру, — на ногах еле стою — падать хочется.

— Не могу, браток, — сказал мастер. — Теперь которые лодыри, мнимые и прогульщики — борьба с этим. Разве я? Профсоюз борется... Пойми ты, чудак-человек. Не могу. И не проси лучше.

Ваня Чижов снова охнул и, чувствуя острую резь в желудке и испарину на всем теле, побежал рысью к директору. Директор сидел в кабинете и угрюмо подписывал бумаги.

— Товарищ, — робко сказал Чижов. — Болен я... Обьелся...

— Все мы понемногу больные, — сказал примирительно директор. — Все мы нездоровые... Я вот тоже ужасно болен. А молчу. Я, погляди, молодцом еще держусь...

— Товарищ... Батюшка... — лепетал Ваня Чижов. — За что же, помилуйте?.. Пуп у меня, действительно, на месте, а внутри режет... Неверующий, а побожиться могу...

Директор печально вздохнул, грустно улыбнулся и добавил:

— Не могу идти против науки. Верю, но не могу. Иди, милый. Иди, дорогой товарищ. Не теряй понапрасну драгоценное время.

Ваня Чижов встал на четвереньки и, не теряя драгоценного времени, пополз в свое отделение.

Вечером Чижова отвезли в больницу. А на другой день хирург, скорбно сжав губы, резал Чижову живот, хотя пуп и стоял на месте.

ПОЛЕТЫ В КРЕДИТ

Началось широкое кредитование. Наконец-то — дождались.

Случилось это так.

В город Астрахань (арбузами славится) прибыл аэроплан.

Ну, натурально, в городе волнение поднялось. Этакий, можно сказать, новейший, летающий, несамогонный аппарат, да в этакое, можно сказать, городе. В Астрахани то есть.

Очень замечательно.

Ну, начались волнения. А в ГСПС тоже начали волноваться.

А дело было к вечеру, делать было нечего. Вот секретарь ГСПС по фамилии (не любим сплетничать) Будников взволновался и говорит:

— Надо лететь. Какая цена полету?

А заведывающий отделом ГСПС — не любим сплетничать — т. Немцев отвечает:

— С рыла по шесть рублей. Хотя и дорого, но можно в кредит.

Дело было к вечеру, делать было нечего. Вот заведомо возьми и махни по всем отделам союза бумаженцию:

«ГСПС рекомендует губотделам союзов открыть кредит лицам, изъявившим желание полетать. Плата с членов ОДВФ — 5 р. и с членов союза — 6 р.»

А в отделах растерялись.

— Это, говорят, не колбаса, чтоб в кредит.

А астраханский райкомвод даже обиделся. И махнул бумажку в ЦК водников, дескать, не колбаса это. Как быть?

А ЦК водников (дело было к вечеру) махнул бумажку в ВЦСПС, дескать, не колбаса это. И можно ли такие нереальные воздушные вещи в кредит? Так и написали:

«Просим сообщить, правильно ли означенное постановление ГСПС о полетах в кредит?»

А ВЦСПС махнуть бумажки некуда. Разве что в «Бузотер». Вот он и махнул. Дескать, разрешите вопрос по существу.

А «Бузотеру» и разрешать нечего. Только что факт констатировать может: началось широкое кредитование.

А касаясь шести рублей с носа, то это рабочему дорого хоть бы и в кредит.

Когда будет по рублю — нам скажите. Полетим за наличные, если ветру не будет.

КРУГОМ 16

На днях приехал из деревни Вася Ершов.

Ершовых, конечно, в Советской, как собак нерезаных.

Ну а который мой Ершов — единственный один Василий Иванович — старый опытный спец, в кооперативе продавец и хлебопек, между прочим.

Приехал.

Прожил он в деревне год два месяца у своих родственников. Отдохнул, округлился, жирком налился. Хотел еще дольше жить, да совесть замучила.

«Нет, думает, надо взад вертаться. Довольно саботировать, довольно свое дарованье в землю зарывать. Надо по специальности пожить. А то перед народом как-то неловко и совестно».

Спекли Ершову родственники пирог с капустой. Взял Ершов пирог с капустой. И поехал.

«Обрадуются, думает, в Ленинграде. А, скажут, Василь Иваныч приехал по специальности!»

Приехал мой Ершов. Подыскал местечко.

— Ладно уж, говорит, берите меня, старого опытного спеца. Ваше счастье.

— Можно взять, отвечают. Только в союз запишитесь прежде.

Стукнул себя Ершов, Василий Иванович, по лбу. «Действительно, думает, шляпа я дурная. Перезабыл порядки. Надо же в союз прежде».

Побежал Ершов, Василий Иванович, в союз.

— Здорово, говорит, други! Старый, говорит, опытный спец перед вами. Совесть, говорит, замучила — вот и при-был. Желаю вновь записаться.

— Можно, — отвечает заведывающий. — Отчего нет? По-ступай, браток, на службу и записывайся.

Хлопнул себя Ершов, Василий Иванович, по лбу. «Эх, ду-мает, старый я хрен, чертова мама! Действительно же пре-жде на службу надо».

Побежал на службу. А ему говорят:

— Раз вы не в союзе — не можем взять.

Побежал Ершов в союз. А ему отвечают:

— Раз вы не на службе — не можем взять. Какой же вы член, если вы не работаете? Сами посудите.

«Действительно, — подумал Ершов, — какой же я член, если я не работаю».

И побежал на службу.

Бегает Василий Иванович Ершов по сие время. Пирог с капустой почти съеден. Чего будет дальше — неизвестно.

А ты, читатель, если увидишь на улицах Ленинграда бегу-щего человека, на лице которого написано крайнее удивле-ние и испуг, то знай — это и есть мой Ершов, Василий Ива-нович.

Пожалей его, дорогой читатель! Попал, бедняга, в непро-мокаемое. Кругом — шестнадцать.

Странные вещи творятся на свете!

Ранняя проза

ДВУГРИВЕННЫЙ

В церкви колеблющийся свет свечей. Причудливые тени на стенах и высокий, неведомо где кончающийся купол. В нем тонет густой бас дьякона.

— Придите поклонитесь, — дребезжит молящий голос священника, и бас дьякона вторит и заглушает.

Женщины низко сгибают головы и крестятся, и шепотом повторяют слова моления. В церкви больше всего женщин. Все беднота... Где же богачи молятся?

Вот в этом тусклом углу нищие. Серые, оборванные, с жуткими болезнями и робкими глазами.

Вот старуха нищенка. Ей давно перевалило за восьмой десяток. У ней классический подбородок старости, желтые, вечно жующие губы и неуверенные движения. Старуха поминутно крестится и опускает голову.

Вот там, в стороне, на полу лежит кем-то оброненный двугривенный. Новенький и блестящий двугривенный.

Старуха давно его заметила. Нужно поднять.

Здесь, в этой бедной церкви, больше пятачка никто не даст. Целый двугривенный! Трудно нагнуться и могут заметить.

Трудно старой опуститься на колени. Только бы никто не заметил. Ближе подойти и потом на колени.

Старуха торопливо крестится, ниже и ниже сгибает голову и, кряхтя, опускается на колени.

Земной поклон. Богу и угодникам.

Холодный и грязный пол неприятно трогает лоб.

Где же монета?

А вот — у ноги. Старуха тянется рукой и шарит по полу.

Это не двугривенный — это плевок.

— Искушение, прости Господи!

Весна 14 года. Москва

РАЗЛОЖЕНИЕ

Как изящно одет этот офицер! Или его изящество подчеркнуто целым цветником белых, прекрасных женщин?

Или это только кажется, потому что он весело хохочет и слушает жизнерадостную болтовню, без обязательства и логики. Вот той высокой золотой блондинке он, наверное, даже не любовник — он случайный прохожий и милый спутник в дороге.

Он — изящество — нежно целует руку. Но она гневно и зло отдергивает и вытирает руку носовым платочком.

Она рассержена.

А он сконфуженно поворачивается в мою сторону. Какой глупый! Разве можно быть таким скромным и не дерзким.

Боже! — Он без носа, и рана страшной болезни даже не закрыта. Он разлагается. Он — сифилитик.

Мне кажется, что здесь пахнет скверно и покойником, и нежные духи моей соседки только подчеркивают этот безжалостный запах разложения.

Я выйду сейчас на площадку. Или разобью это стекло.

Мне душно.

Кисловодск, июль 14 г.

И ТОЛЬКО ВЕТЕР ШЕПНУЛ

И только ветер шепнул — куда идешь, прохожий, принц или паяц?

Блестящ и ярок солнечный день, но нелюдим и неровен мой путь. Неровен мой путь, и усыпан он камнями острыми. Это они остро впиваются в ноги.

И вдруг из лесу, что возле дороги, вышла женщина, прекрасная собой, но простоволосая, с глазами темными и как бы безумными. Прекрасна была женщина, и плавны были ее все движения. Плавны были ее все движения, и поступь горделивая и спокойная. Озираясь, она вышла из лесу и увидела меня безумными своими глазами, остановилась и была как бы в нерешительности. Но потом подошла и голосом тихим и задумчивым сказала, и в речи ее было как бы продолжение чего-то давно начатого:

— Я встретила тебя, прости, что я тебя встретила. Много дорог я пересекла, многих и встретила, и многих спросила. Огромная печаль в глазах твоих, отчего это, встречный? По-

зволь же и тебя спросить то, что давно беспокоит меня и что никто не может объяснить мне: что такое ЖИЗНЬ? Где же сущность и где счастье? Прости, что я так спрашиваю тебя.

И поклонилась низко.

И печальные глаза мои стали еще более печальны:

— Не могу тебе ответить на это, женщина, ибо не дошел я еще до конца дороги своей, а когда дойду, то будет поздно уже. А, впрочем, о счастье скажу тебе:

— Много в жизни печального, еще больше грустного, еще больше придуманного. А одно из придуманного — СЧАСТЬЕ. Счастье твое не такое, как мое счастье, а счастье матери твоей, верь, не такое же, как и твое. И разве можно определить это придуманное? Впрочем, у каждой истины есть своя маленькая тайна, и тайна счастья: оно узнается только тогда, когда прошло. И подобно тому, как жемчуг опускали в раствор кислоты, чтобы узнать — настоящий ли он, если растает в растворе — так и ты можешь узнать, счастлива ли ты, пожертвовав своим счастьем. И я печален, печален я, ибо люди все опускали прежде жемчуг свой в кислоту.

Прельстили слова мои женщину.

Я сказал:

— Коли так, то возьми меня с собой, обменяй свое одиночество на новый путь со мной. Ведь не будет же этот жемчуг в кислоте?..

И мы пошли.

Божественно ярок день. Сегодня солнце влюблено в землю.

1917 г.

КОСТЮМ МАРКИЗЫ

(Ноктюрн)

Ты старушка теперь... Ты совсем старенькая, и у тебя нет даже памяти к прошлому. И глаза твои, голубые глаза маркизы, выцвели и печальны.

Ты забыла даже, какой сегодня день. Теперь Рождество, и ты вспомни, сегодня день нашего обручения. Сегодня большой блестящий бал. Сегодня ты — голубая маркиза...

Какая у тебя слабая память! Ты не можешь вспомнить ярко и ясно. А я помню.

О, как я помню все! Я увидел тебя в этом костюме цвета твоих глаз и понял, что люблю тебя, люблю, как редко кто умеет любить... Я тебя любил...

Неужели ты не помнишь этот старый и сентиментальный вальс — он тогда был модный и чудный... Я целовал тебя в голубой гостиной, а этот вальс, ты говорила, кружил тебе голову. Какой чудный вальс!

Ты просто не хочешь вспомнить. Или ты боишься воспоминаний?.. Нет, ты, кажется, играла его вчера. Или мне это показалось? Пойди, сыграй. Я хочу тебя, голубую маркизу, опять увидеть в музыке. Или нет, не играй... уже темно... Знаешь что? Пойди одень костюм маркизы. Он у тебя в комнате. Помятый, но нежный еще и душистый. Я видел его вчера. Ты меня прости... я искал его... мне так хотелось вспомнить, какие у тебя были глаза. Пойди же, оденься...

* * *

Бедная, она старенькая совсем. Она старше меня стала. А я разве молод? Вон у меня какое дряхлое тело и какие глубокие морщины. Только сердце то же, да мысли прошлые.

Страшная старость. Боюсь ее. Противно мне мое тело. А может быть, я уже и не так стар? Вон какие ясные мысли... Кто скажет мне?

...Нежная маркиза... голубая маркиза... О, к чему эти воспоминания! В них только печаль и печаль. Я не могу без них... Печальная голубая маркиза...

Я помню странный парик: высокий и белый. Мушка на щеке. Когда мы целовались, мушка прилипла к моим губам. Мы смеялись тогда. А этот вальс! Глупый рыдающий вальс. И неужели от музыки кружится голова?

У нее кружилась голова. И она плакала, когда мы прощались. Глупая голубая маркиза!

* * *

Что тебе нужно? Ты мне мешаешь... Зачем ты в этом голубом костюме? Ах, ты оделась уже... ты маркиза...

Фу, какая ты смешная в этих голубых тряпках... Подожди, как странно — цвет твоих глаз такой же сейчас. Или это выцвел костюм, как и твои глаза...

Смотри — разорван рукав. Уйди же от меня! Ты смешная и старая в нем...

Ну что же ты плачешь? Уйди же!..

Май 1917 г.

КАПРИЗ КОРОЛЯ

Что-то он скажет. Уж не война ли опять, прости Господи? Уж не новый ли налог или подать какая? Или прихоть новая и каприз чудака? Ведь молод король. А в молодости и глупости...

Бьет барабан где-то далеко и ненужно. Не надо больше! Собрались уж граждане... Вот — молодые и старые. Вот там в коляске везут старика. Вон как торопится женщина... Блуза расстегнута, волосы спутаны... Что из того — лишь бы только поспеть! Здесь есть местечко, здесь видно и слышно. Идите сюда! А что же король? Не видно отсюда. А вот на помосте...

Давят и душно. Толкают сзади. Всякому лестно быть ближе к царю.

А царь по-царски: с грустной улыбкой взмахнул надушенным платком. Стало так тихо. Тихо и жутко. Не давят уж больше.

Что-то он скажет, наш повелитель?

Голос царя для толпы будто создан. Громкий и внятный. Понятно им всем, даже тому старику, что в коляске.

— Граждане и дети и вы, солдаты, слушайте волю мою: хочу жениться. Опять жениться, но не на принцессе крови, как раньше, а на одной из вас.

И смотрит на женщин.

— Ах, это мило! Ах, какой душка! Нужно поправить скорей волосы. Нет даже пудры. Не знали же, право, новый каприз короля!

— Душка-соседка, дайте мне шпильку. Платье помято. Ах, рваный чулок! Ах, как обидно!..

Король не окончил. Платком опять машет.

— Слушайте дальше меня. Граждане, найдите жену мне, найдите такую, у которой есть то, что нет у других. Пусть будет дама, не важно мне это, только чтоб было Новое в ней. Красавиц не нужно. Красота так обычна. Не нужно умных — ум для мужчин. Найдите, что ново и что необычно и то, что не видел я никогда. И в награду... Награда — полцарства.

Король замолчал. Секунда молчания. Ахнули граждане... Говорят и кричат... И смотрят на женщин и ждут от них слова. В том королевстве женщины глупы:

— А мы почему знаем? Это нам ново. Спросите у жен.

Толпа расходилась... Это задача! Какую же женщину царю отыскать?

На улицах давка, все окна раскрыты, и до ночи слышались крики и брань.

А ночью граждане у жен и любовниц требуют правду:

— Что необычно у вас и что ново? Скажите, что женщины редко имеют? Вот так задача! Ума не нужно, красоты тоже. А ласки у всех одинаковы, право. Нет большой разницы и в толстой, и в тонкой. Блондинки любят, как и брюнетки. Рыжие тоже. Может быть, вкусно готовить пирог? Или брачное ложе как-нибудь ново стелить? Нет, это глупо и страшно обычно...

Не знали мужчины. Прожили мало или жизнь незнакома.

Не знали и жены. Откуда им знать?

В том королевстве от них не искали ничего, кроме ласки. И жить было просто. Поцелуи и ласки, дети и тряпки. Откуда же знать? После той ночи мужчины почаще стали любов-

ниц менять. Ищут, что ново. А все так обычно. Женщины все друг на друга похожи...

Жены в загоне... Чего уж — старые. Нового в них не найдешь! В месяц — 30 любовниц! Полцарства не шутка.

* * *

На окраине города — белый замок... Замок вассала Огумы. Замок старинный, как род Огумы. Много легенд сложилось о нем.

Огума молод. Женат на красавице Геде. Отчего так замок мрачен всегда? Гостей не бывает, и окна закрыты. И сад тенистый травой порос. В замке богатство. Ковры и шкуры, камни-бриллианты и золото всюду. Но все как-то мрачно! Отчего же так мрачно? Будто печать печали повсюду... Болтают люди — нельзя всему верить... Налево внизу покои Огумы, направо — красавицы Геда. Почему же не вместе? Ведь это не стыдно? Огума женат уже год.

Холопы и люди болтают так много... Никто не видел их вместе...

Болтают, как дети, — нельзя же им верить!

* * *

В том королевстве ночи ужасны: долги и мрачны... Как мрачен король в эти дни.

Ночью из замка Огумы бежала красавица Геда. Погоня напрасна. Можно ли верить наемным холопам? Может быть, их подкупила она. Красавица Геда (кто бы мог думать?) бежала к царю во дворец.

— Пустите к царю, я нашла, что он хочет!

Собрались министры и люди, холопы...

— Нет, уже поздно. Нельзя к королю. А что вам угодно? И кто вы такая? Невесту нашли? Ах, это Геда, жена вассала? Что же вам нужно? Никак не пойму.

Геда бормочет сквозь слезы:

— Я нашла, что он хочет... Хочу быть царицей. Пустите ж к царю. Я девушка... Честное слово... Спросите у мужа, он подтвердит. Разве не ново? Разве обычно у нас в королевстве?

Долго и мудро решали министры... Позвали Огуму. Что скажет чужак? И тут же спросили, что это значит. Может быть, бред сумасшедшей жены?

— Она вам сказала? Ну что ж — это правда. Скажите же тотчас царю. Хочу я полцарства!

Проснулся король...

— Беспокоят тут ночью... Ну да ладно, войди! Что такое? Что? Невесту нашли? Огума и Геда? Не пойму я чего-то... Пришли мне Огуму, да свет зажги...

Огума в покоях царя...

— Ну, говори мне подробно и ясно, что у тебя за чудо-же-на... И не стой истуканом.

Упал на колени вассал и поведал тайну большую, что не любит жена, эта красавица Геда, смеется над ним и что он не жил с ней как с женой никогда. И в этом клянется он дедом. А впрочем, пусть сам повелитель узнает.

Кончил Огума. Кончил и странно... Отчего королю так безумно смешно? Король хохочет. Громко и дико. Не слы-

шал смеха дворец уже год. Слезы из глаз. Все тело трясется.

С испугу холопы прилипли к дверям...

— Эх, насмешил. Чудак ты, Огума. Вот у меня жена-королева, родная дочь соседа — царя Вальтазара. Что бы ты думал? Наши покои тоже отдельно. Не любит меня, хоть я царь и красив. Не знал я ее никогда, как жену. Оттого и жениться вторично хочу. А она — королева... Вальтазар приказал ей — священна ей воля отца, но не мужа. Думал, привыкнет. Но нет. Я добр и мягок, хоть знаю, что женщине нужен хлыст...

Лето 1917 г.

КОНЕЦ

Как она говорила? Да. Полстакана теплой воды. Размешать ложечкой... и готово.

— Маша, дайте воды, стакан...

Порошок здесь. Вот... Белый... Не пахнет... Немножко дрожат руки. Это трусость, а может быть, и нет.

Так, она спокойна. Вот может пройти по комнате. Посмотрит в окно даже... Вон как много публики... Поправит занавеску. Нет, конечно, не трусость.

Куда поставить воду-то?

— А вот сюда. Давайте.

Итак, решено. Да, конечно. Выхода нет больше.

Она взяла порошок и осторожно высыпала в воду. Теперь помешать ложечкой. Шипит. Пенится. Вон брызги какие-то странные... как лимонад.

Попробовать чуть-чуть на язык? Бр! Какая мерзость! И жжет немного. А не страшно, совсем не страшно. Вот теперь все готово. А сердце как бьется! Раз, два, три... Быстро, быстро. Немного обождать.

Говорят, что когда сразу не могут решиться, то не сделают никогда и что это малодушие и трусость. Какая ерунда...

Она встала и прошла по комнате. Остановилась у зеркала и вдруг сделала страшное лицо. Рот искривила, глаза как-то сузила, откинула голову назад и подумала: «Вот такое лицо у нее будет... Ну и пусть...»

Стучат...

— Войдите. Мне письмо?.. Хорошо, идите....

Взяла письмо и села за столик. От кого это? А, да не все ли равно? Вот уже не пенится в стакане. Еще раз помешать и выпить. Взяла ложечку и звонко помешала. От кого это письмо может быть?

Опять потрогала край стакана языком и поморщилась. Потом как-то сразу закинула голову назад, зажмурила глаза плотно, плотно, так что морщинки легли по всему лицу, и маленькими глотками стала пить.

Мотала головой, морщилась и обжигалась, закрывала рот, но рука, сильная рука настойчиво и медленно вли-вала...

Вот последние остатки обожгли лицо и потекли струйками по шее и блузе. Выпила и упала. Как странно: зачем она упала? Как-то случайно вышло. Голова совсем не кружится. Немножко жжет здесь. Приподнялась на локте. Стул упал. Это когда она падала. Да, письмо... От кого это? Потянулась, чтоб достать... О-о-о, как жжет... Мутно, мутно... мутно...

— А-а-а-а! Помогите!..

Июнь 17 г. Петроград

АКТРИСА

Красная гвардия рассыпалась по городу. Дикий разгул и пьяная пляска. Вчерашние победители захлебнулись в крови и безумии. Город в руках солдат... Грабят уже нехотя. Надоело это. Дайте им женщин! Дайте же женщин!..

И кучками бродят солдаты по городу, такие жуткие, как шакалы вынюхивают и высматривают и случайную женщину хватают своими руками и куда-то несут с радостным воплем...

Это был день безумия... Бегите, женщины, прячьтесь в подвалы! Сегодня праздник мужчин! Праздник победителя и зверя!

Станный солнечный день... Свет не мешает безумствовать. Странная опустевшая улица. Она для солдат сейчас. Странно нелепое пятно на камнях — кровь... Рельсы дороги

заржавлены и непривычно пусты. Жутки разбитые витрины. Длинные и такие острые осколки стекол в окнах режут больно глаза... Бегите же, женщины!..

Актриса Лорен остановилась у двери.

— Барыня, не ходите!..

— Нет, мне нужно! Оставьте! — И актриса вышла на улицу нелепо и празднично одетая, в ярком пальто. Шла медленно, останавливалась и прислушивалась к гулким своим и чужим шагам и к дикому крику женщин там, на дворе, в саду, из окон.

Смотрели солдаты на нее недоверчиво и изумленно, обращившись и смотрели ей вслед.

Вот идет толпа солдат. Кричат. Вот впереди тащат двух женщин. Их добычу. Одна без памяти спокойная, другая вырывается и царапается и смешно беспомощно барахтается в сильных руках солдат.

Они, эти солдаты, приближаются.

Актриса дерзко и вызывающе смотрит им всем в глаза. Вот так. Что ж они ее не трогают? Не хватают и не тащат... один солдат только грубо и больно толкнул ее в спину. Ай!.. И больше ничего.

Они прошли мимо, эти солдаты. Опять опустела улица, и шаги стали четкие и глухие.

— Господи, да неужели же она так стара... Даже для этих животных!..

Актриса вытащила из сумочки зеркальце и остановилась.

5 июля 17 года. Петроград

МЕЩАНОЧКА

— Барышня, дайте еще кофе. Да, два стакана.

Рагозин подвинулся ближе к товарищу и пробормотал:

— Прямо, Коля, не знаю, что делать. Посоветуй, брат, как быть.

— Да в чем же дело?

— Да вот видишь, такой случай. Познакомился в прошлом году со своей сослуживицей. Ну, показалась ничего, милая такая. Немножко пофлиртовали, коробка конфет, грустные глаза, и влюбилась в меня она. Да черт бы ее драл, как еще! Первые месяцы ничего. Ходил к ней. Одна живет...

— Одна?

— Да, одна.

— Ну, потом стал реже заходить. Да куда тебе! Сама ищет, где увидиться, на службе не дает проходу. А придешь к ней — ласки, поцелуи и плачет. Эх! Так только женщина может любить! А как ее влечет ко мне! Какая-то страсть. Безумие.

В тоне его была плохо скрытая гордость.

— Так плохо, что ли, тебе? Все удовольствия. Одна живет. Денег не тратишь.

— Ну, не трачу. Что ж из этого? Я с ней не могу нигде показаться. Глупа, во-первых. Одевается, как кухарка... А имя: Анюта! Пойми ты! Анюта, Нюта. Какая пошлость! Нет, я должен разойтись с ней. Разрыв, разрыв! Ты пойми: это мещанка, типичная мещанка, пропитанная насквозь самой затхлой провинцией. И это не все еще. Душится персидской

сиренью. Вся она, и комната-то вся пропитана этой гадостью. Носит какие-то яркие желтые капоты. И синие чулки. И вообрази: на длинной цепочке лорнет. Это с ее костюмом-то! Да я чуть со стыда не сгорел, когда в трамвае она покрутила эдак вокруг пальца лорнет и стала смотреть на публику. Так что ж после этого мне делать?

— Да, брат... Не важно!

— Черт знает что. Да тут еще Лелечка... Не сегодня-завтра предложение делаю...

Рагозин вытащил папиросу и закурил, нервно покусывая своими губами.

— Посоветуй же, Николай. Голова кругом.

— Ну что ж. Вот что сделай. Ты скажи ей, что болен, доктор, наконец, запретил. Ты говоришь, что ее влечет к тебе? Так вот ты и скажи, что не можешь... Ну, что здоровье плохое, тебе дороже. Что ты утомился, наконец. Полюбит, полюбит и перестанет. Как же любить будет тогда?

— Верно. Прелестно прямо! Так и скажу! Запретил, и все...

Друзья посидели еще немного, поболтали и стали уходить... Когда прощались, товарищ Рагозина долго жал ему руку, потом похлопал по плечу и, позевывая, сказал:

— Ну, а если это не поможет... дай мне адресок. Познакомь меня с ней. Мой брат доктор, ему ничего не говори.

И засмеялся.

Рагозин пошел к своей сослуживице.

Шел рассеянно, задевая прохожих и обдумывая, что он скажет ей. Да, так и скажет... Однако...

Июль 1917 г.

СОСЕД

I

Когда Маринка выходила замуж, ей все говорили:

— Напрасно, ох напрасно! Такая молодая, и за этого. Так ведь он старик совсем.

И недоумевающе покачивали головой.

Маринка капризно передергивала плечом. Вот пустяки. Кому какое дело? Это ее жизнь. Она никого не просит вмешиваться.

Маринка была худощавая и подвижная. Черные ее волосы постоянно лезли на лоб, черные глаза постоянно удивлялись всему. И все-то у ней казалось подвижным и суетливым. Даже блузка поминутно расстегивалась. Подруги ее прозвали странно: Жженка. Она никогда не сидит на месте, то носится по магазинам и покупает никому не нужного вздора, то в театр пойдет и с половины спектакля уходит. Все ее волновало, эту маленькую провинциалку, попавшую в шумный город,

И вот решила — замуж. Ну а что не так-то молод жених — не беда. Все же он очень мил, и Маринка — ну искренне любит его. Он такой солидный и умный, он беспомощен перед ней. Он делает, что она захочет. А это Маринку забавляло и детски радовало.

Он приносит конфеты, ручки целует... Он любит ее последней, неуверенной страстью. И она решила, и, может быть, первый раз в жизни так твердо, выйти за него замуж.

А когда вышла замуж, то как-то переменялась сразу. Как-то сосредоточилась. Ее что-то поразило...

А вскоре муж увез ее к себе в провинцию, где у него был свой дом. Дом был деревянный и старый. Маринка знала этот дом — раньше была там гостиница, и сейчас все комнаты сдавались жильцам. Маринка не противилась. Маринка осунулась и пожелтела.

Сначала она не понимала, что с ней происходит, думала, больна, пошла даже к доктору. Да тот разве поймет? Улыбнулся, неопределенно покачал головой, потрогал для чего-то двумя пальцами живот и прописал какую-то гадость, от которой тошнит Маринку. Муж также переменялся к Маринке. Они стали чужие...

Так тянулось два года.

II

Постепенно Маринка стала чувствовать какую-то неопределенную злобу и раздражение к мужу. Она стала ненавидеть его мелочно и злобно. Он раздражал ее всем — и больным своим кашлем, и хриплым своим голосом. Это было прозрение...

И вот, как-то вечером, когда они легли спать, Маринка сначала удивленно, а потом ясно поняла, что муж для нее стар. Вот он лег и заснул. А ей не спится. Сон совсем ушел. Маринка стала вспоминать, что ей говорили, Маринка забеспокоилась и, испуганная и удрученная своими мыслями, до утра лежала с открытыми глазами.

И с этого дня для Маринки все изменилось. Она стала больше нервничать и задумываться. Ночью без сна с зажмуренными глазами лежала на животе, отодвинувшись от мужа к самой стене, иногда плакала, а чаще злобно думала о муже и ненавидела, чувствуя холодные, противные его ноги под тяжелым одеялом. Иногда она вскакивала с кровати, сбрасывала рубашку, зажигала свечу и долго простаивала у зеркала, возбужденная своим же телом... Удивленно трогала рукой свои плечи и груди и, подавленная, шла к кровати. Муж спал...

А днем ей доставляло огромное удовольствие выбегать полураздетой в коридор и встречаться в таком виде с проходившими жильцами. Ее жгли и волновали взгляды мужчин... Она убегала к себе в комнату, бросалась на кровать и злобно, до боли, кусала себе руки...

В одну из таких минут она цинично решила найти себе любовника. Она стала присматриваться ко всем. И уже новыми, откровенными глазами смотрела на мужчин, рассматривая и оценивая их, мысленно и бесстыдно выбирая себе любовника. Вот с этим она, пожалуй, сошлась бы... Этот тоже ничего... Маринка выбирала.

Выходя на улицу, она шла развязной и качающейся походкой, смело глядя в глаза проходившим...

И прохожий, приняв ее за проститутку, шел за ней, потом удивленно пожимал плечами и уходил, бормоча:

— Черт ее знает... Что это за женщина?

У ней не хватало бесстыдства. Чувствуя за собой шаги и напряженный настойчивый взгляд, который делал ее

шаги неуверенными, она как-то горбилась и прибавляла шаг.

Обычно она чувствовала, что только от нее зависит выбор. Нужно только ее желание, и она думала: как хорошо быть женщиной!

В выборе она медлила и раздумывала, находя в этом какое-то острое удовольствие. Она знала, что будет так, как она хочет. Наконец она нашла.

Это был их сосед по комнатам, молодой конторщик, будтоотягченный своим ростом, с выпуклой грудью и толстой бычачьей шеей. Он поразил ее своей силой. Это был настоящий деревенский парень с маленьким образованием, захотевший переменить соху на занятия в конторе. Он ежедневно и аккуратно посещал контору, откладывая деньги настойчиво и медленно и, накопив наконец некоторую сумму, несколько дней пропадал где-то. В нем чувствовалась какая-то звериная сила и желание.

Маринка не прогадала.

Но она опять медлила. Стыд и боязнь мешали ей. Ночью просыпалась беспокойная и возбужденная, осторожно слезала с кровати и босиком, в одной сорочке, шла в коридор и оставалась у дверей соседа. Слушала его спокойное дыхание, иногда храп, и сердце ее билось четко и быстро. Придавленная своей чувственностью и каким-то неопределенным страхом, она медленно уходила в свою комнату и осторожно ложилась опять, презирая себя за малодушие и боязнь.

Но в одну из таких ночей, подойдя к дверям своего соседа, она не справилась со своим желанием и, не рассуждая,

почти радостная, бесшумно открыла дверь и, осторожно ступая босыми ногами, вошла в его комнату. Так началась эта связь.

III

Маринка повеселела. Днем ходила оживленная и суетливая по комнатам, шутила и смеялась. И не было злобы к мужу. Рано ложилась спать, а в полночь, когда засыпал весь дом, бесшумно кралась босая к соседу. И каждую ночь, под утро, усталая, без боязни, что ее могут заметить, возвращалась к супружескому своему ложу и тотчас засыпала, счастливая и улыбающаяся... Страсть поглотила Маринку.

Муж проснулся однажды ночью от шума ли ее неосторожных шагов, или дверь скрипнула. Он проснулся, когда Маринка выходила из комнаты. В темноте дрожащей рукой стал шарить туфли и не находил. Маринка скрылась. Тогда он вышел босой в коридор. Подошел к одной двери, потом к другой и вдруг, догадываясь и пораженный, остановился у дверей соседа.

Маринка была там. Он отчетливо подумал, что сейчас убьет ее. Он услышал их голоса... Он осторожно приоткрыл неплотно запертую дверь... Маринка, Маринка... Это разве она? Это какая-то бесстыдная женщина, сильная своей страстью и гордая любовником. Он никогда не видел ее такой. Он стал перебирать в памяти все и первые дни их после свадьбы. Он ее знал только ребенком. А она в комнате, презирая опасность, громко смеялась и радостно говорила о своей любви.

Неужели же это Маринка?

Он, мучаясь и стыдясь себя, стоял у двери и не входил.

Долго простоял так и, продрогнув от холода и с нервной дрожью в ногах, ушел к себе в комнату, презирая себя за свое ничтожество.

Не спал. Дождался, когда придет Маринка. И когда она пришла и, ничего не замечая, утомленная, легла возле него, он ничего не сказал ей. Как бы спросонок положил руку на ее грудь и чувствовал жар ее тела и охватившую его дрожь.

Маринка заснула, а он не спал и долго и пристально смотрел в ее лицо.

На другой день, да и каждую ночь, простаивал муж у дверей своего соседа, пока там была Маринка. Он тоже потерял осторожность. Он немного приоткрывал дверь и слушал и подсматривал, любопытный и удивленный, и часто взволнованный. Он уже отлично знал, когда Маринка уйдет от соседа, и, не дожидаясь, боясь с ней встретиться, шел в свою комнату и ложился. И это стало его необходимостью...

Он как-то больше стал уважать Маринку с ее сильной страстью и желаниями.

И, простаивая часами у дверей, удрученный и возбужденный чужой страстью, он проклинал себя за старость и прошлую жизнь, искренно и мучительно завидуя своему соседу.

И узнав только теперь свою жену, он стал как-то жить ее интересами. Даже раз, когда Маринка не пошла к соседу, он беспокоился и мучился, не смея и боясь спросить ее...

Муж привел как-то к себе своего соседа, удивленно рассматривая его, как будто бы видел первый раз.

Сосед стал бывать чаще у них. Он много ел, курил, громко и ненужно хохотал, в душе ехидно подсмеиваясь над доверчивостью старика, и нагло смотрел в глаза Маринке.

Этот парень чувствовал себя отлично. Гордо ходил по коридору, выпятив грудь, заходил днем к Маринке, когда не было мужа, и грубо сжимал ее в своих руках. Она противилась.

Ах, это можно только ночью. Пусть он не пристаёт к ней.

Он уходил, смеясь, уверенный в себе, громко стуча сапогами.

Так продолжалось два месяца.

IV

Однажды ночью, когда Маринка осторожно спрыгнула с кровати и хотела идти, муж схватил ее за руку и тихо спросил:

— Ты куда? — И ласково: — Останься.

Вот уже несколько ночей он чувствует себя отлично: бодро и гордо.

Осталась маленькая неуверенность, но это пройдет. Чужая страсть заразила его.

— Останься, Маринка...

Маринка вздрогнула. Неужели он знает что-нибудь?

Она, удивленная и обеспокоенная, легла возле, покорно дожидаясь, что будет.

Муж сел, потом опять лег и нежно поглаживал рукой ее колени. Потом обнял ее и стал шептать:

— Маринка, Маринка, милая женка...

Она, удивленная и испуганная, смотрела на него. Потом догадалась, засмеялась и тоже обняла его, думая:

— Неужели же? Ну, тем лучше, тем лучше. А то тот молодец зазнался, право...

Она похлопала его по спине, бормоча:

— Вот молодец... Ну слава Богу! Слава Богу!..

Целую неделю Маринка не ходила к соседу.

Лето 17 г. Петроград

ПОДЛЕЦ

Мысли приходили к нему все нелепые: зайчик на стене дрожит, бешено теперь прыгает — и вот он в светлых волосах Ирины. Запутался... Ирина — ребенок, в смешном коричневом платье. Ирина наивна и любит. А когда женщина любит, то всегда целует руки. О, он не будет отнимать — пусть целует! Она так молода! Так беспомощно молода! И он боится даже спросить — сколько ей лет. Да и Ирина еще сегодня сказала так нежно: женщине столько лет, сколько ей кажется. Но, право, ей кажется так мало!

Ирина стояла на коленях и целовала его руки.

— Люблю, люблю... Если скажешь уйди — не уйду... Хочешь — ударь вот тем стэком. Я его поцелую. Я люблю... А ты должен гордиться, что так любят тебя. Ты гордишься? Ты мной гордишься? Ну скажи... Ведь я же согласна на все... И хочу, и согласна, и должна быть твоей.

И она, эта, недавно чужая, такая веселая, такая смешная в коричневом своем платье, почти девочка, — так близка сейчас. О, даже больше... Если он захочет, она будет его любовницей.

Он думал, он повторял про себя несколько раз: любовница, любовница, как бы ища в этом и новый смысл, и новый оттенок... и не находил.

А она протянула руки и обняла его колени и шепотом, таким серьезно и будто просительно, говорила:

— Возьми... Ты же должен...

Он должен? Вовсе нет. Он всегда так порядочен.

Борис стоял перед ней, большой и сконфуженный, хотел думать, чтоб найти простой и честный, и прежде всего — честный — выход, и чтобы было все красиво и не вульгарно, но мысли прыгали, как бешеный зайчик на стене. Где ж этот зайчик? Борис наклонился к ней и стал целовать ее волосы и все хотел непременно дотронуться губами до зайчика, но тот ускользал.

Потом поднял Ирину легко и обнял, и сказал, чуть улыбаясь:

— Ирина, Ирина, разве так можно? Ну пойми, что ты хочешь?

— Я хочу быть твоей.

— Но, Ирина, ты не должна так любить. Ты же девушка.

— Ну и что ж?

Он молчал, удивленный.

— Нет, Ирина, этого вовсе не нужно. Да и не хочу, не могу, не хватает, ну, подлости, что ли.

Он так говорил...

А потом говорил, и так непонятно, об элементарной порядочности и честности. Говорил, что он честен с собой и что нету в нем зверя какого-то. Зверя? Разве может ребенок понять?

Говорил он так долго и медленно и от звуков красивого своего голоса и оттого, что он сказал что-то нужное, важное и порядочное — почувствовал в себе гордость.

А ведь гордость — сильнее любви. Гордость — госпожа всех желаний. И, почувствовав в себе гордость, Борис понял, что не отступится от своего, казалось ему, красивого шага и верного.

— Ирина, не плачь.

Ирина не плачет. Ему показалось, наверное. Прогони же инстинкт свой прочь...

Она подошла к зеркалу, поправила волосы и, не смотря на него, сказала:

— Я пойду. Мне нужно.

И ушла.

А вместе с Ириной ушел и зайчик со стены. Темнело. И не было гордости больше.

В сумерках всегда острее печаль. И в сумерках Борису было жаль себя.

А вместе с задумчивой тенью улицы в комнату вползла тоска. И росла, и росла...

Борис метался по комнате и не зажигал свет. Тоска сковала его. Ушла Ирина, ушла любовь, ушел яркий зайчик со стены...

О, Ирина!.. Она не придет больше... Не придет.

И тогда казалось, что нет личной жизни, что жизнь ушла, что все умирает...

Сильнее тоски — ожидание. И Борис стал ждать, когда придет ночь, уже странно-спокойный.

Скорей бы завтра пришло. Скорей бы!

1918 г.

КАК ОНА СМЕЕТ...

Тростью своей с серебряной рукояткой он чертил на песке линии неопределенные и фигуры. Потом задумался, побарабанил пальцами по острым своим коленям, вскочил, опять сел, опять принялся за фигуры свои на песке. Он долго чертил какие-то буквы, профиль какой-то, и было так видно, что противны ему эти буквы, что он хочет успокоиться, уйти от навязчивой, жестокой своей мысли.

И не мог. И сидел беспокойный, взволнованный, и напряженно думал и кусал тонкие свои губы.

Здесь, за ажурными воротами Летнего сада, вечером всегда немножечко жеманно и очень спокойно. Здесь лубочная картина весенней любви. Здесь незнакомец мой был странен со своим огромным волнением. Буквами неровными и едва понятными он написал на песке «Как она смеет...» И зачеркнул тотчас тростью.

Пусть незнакомец простит мою навязчивость, но, право, я очень полагаю: женщина всегда смеет.

Он откинулся на спинку скамейки, ничуть не удивился неожиданной моей фразе, даже улыбнулся — чуть покривил тонкие свои губы.

— Вы полагаете?

— Да, я очень полагаю.

Я тоже в таком случае должен извинить его нескромность, но, видимо, я не очень смыслю в любви. Впрочем, он просит извинить его, если он не прав.

О, я никогда не думал, смыслю я или нет.

Я знаю только маленькую истину, и она стоит всех иных истин о любви. Для любви самый хороший конец — середина. А вот мой незнакомец потому такой сумрачный и трагичный, что именно он и пренебрег этой маленькой истиной. И я, наверно, не ошибся. Он оживился очень.

— Да, да, это так: конец всегда отвратителен. Но сам-то я разве видел пьяницу, который отказался бы выпить вино свое до конца?

Они медленно пьют, они нежно влюблены в то, что осталось им выпить, но поистине они безжалостны: они всегда пьют до последней капли. Но это все не то. Вот я сказал ему, что женщина все смеет. Да, очень многое. Она смеет изменить, смеет уйти, но, право, есть вещи...

Он задумался, опять ушел как-то весь в воротник своего пальто и вдруг взмахнул тонкой своей тростью. И свист ее резко впился в воздух.

«Как она смеет!..»

Вот он сидит сегодня здесь одинокий, очень печальный, очень злой. И злоба его — маленькое неуклюжее животное —

оно больно кусает его руки. Но злоба пришла к нему не потому, что вчера он выпил последний глоток вина. Пусть я не думаю так. Пусть я не думаю, что у него отвратительная злоба обманутого, оскорбленного. У него злоба человека. Я должен поверить ему. Он прежде всего человек, потом самец. И если и была у него злоба обманутого, то это прошло давно.

Еще этой зимой, она, которая смела, — изменила ему.

О, он давно привык к мысли, что это когда-нибудь случится. Еще и раньше в глазах ее он замечал что-то чужое, а мысли ее были часто странные и далекие. Она думала о другом и о том дне, когда уйдет к тому. Он очень знал, что это случится. И в этом находил какое-то тайное наслаждение. Она не любила его, и он знал это, и это было страшно только потому, что она могла уйти. Только это.

Он из тех, которым важно, что они любят.

Но вот этой весной она ушла от него к любовнику. Открыто. Цинично. Смеясь. Как это делает женщина, когда знает, что она смеет. Она смела это сделать. И он прощает ее... Но если б это было только так! Вчера он пришел к ней. И вчера он не мыслил жить без нее. Он хотел умолять ее вернуться к нему путями жалости, унижения. Вчера был день, когда он хотел унижения. Но он не очень думал, что она вернется к нему. Он приготовил себя к худшему. Но когда она сказала, что не любит его вовсе, что никогда не вернется и пусть об этом он даже не просит ее, тогда он больно сжал ее руки и сказал, что вот сейчас он сосчитает до десяти, и если она не изменит жестокого своего решения, он убьет себя. О, он твердо решил это сделать. И стал считать.

И сосчитал до пяти. И жадными глазами наблюдал за ней. Он считал медленно, спокойным голосом. Видел ее испуг сначала, потом любопытство зажглось в глазах ее, потом тщеславие. Она гордилась уже, что из-за любви к ней — смерть.

Он даже прочел в глазах ее благодарность. Это был момент, когда он понял, что сейчас произойдет огромное и что он на верной дороге. И только одно мгновение он подумал, что она может вернуться к нему. И голос дрогнул его. И когда он сказал семь, голосом сдавленным и едва слышным, и сжал ее руки еще сильнее, она вдруг расхохоталась. Звонко, отчетливо, закинув голову назад, и в глазах ее насмешка была. Она подумала, что он не убьет себя. Неужели можно было подумать? Подлая! Тварь!

Я должен простить ему, но он так и сказал ей...

Теперь, когда все кончено для него, он клянется всем мне, незнакомому, что в тот момент, когда он считал, он твердо решил убить себя. Даже если бы она умоляла его не делать этого: впрочем, если бы он увидел жалость к нему...

О, какое смятение в душе его! Жалость почти всегда — надежда... Жалость и восхищение — это то, что снова рождает любовь...

Это то, что могло быть у него вчера. Но этого не было. И в тот момент, когда он сказал «семь», это должно было быть... Она не поверила. Неужели же она права была? Она засмеялась звонко, отвратительно. Смех ее и теперь он слышит. Вот!..

Как она смела смеяться?!

Весна 1918 года. Петроград

ТАЙНА СЧАСТЛИВОГО

(Сказка)

— Тише: король болен...

Соломой улица устлана, и шум шагов едва слышен.

Проезжали повозки шагом, и люди говорили шепотом и когда говорили о короле, то недоуменно разводили руками: «Не знаем, ничего не знаем... Говорят, что болен...»

И расходились, печально покачивая головами, бесшумно ступая по соломе.

Только птицы и лягушки из королевского сада не подчинялись приказу.

И министр, издавший приказ, понуро бродил по саду и вспоминал с тоскливой гримасой, что в жизни его не было еще ни одного приказа, которому бы подчинились все.

Но вот птицы стали смолкать. На землю легли какие-то тени. И тени росли, и вытягивались, и сплетались в причудливые фигуры. И в каждой тени была нежная печаль по уходящему солнцу. Вечер пришел.

Огромные окна дворца стали темнеть и слепнуть, и когда люди подходили к ним и тянулись на цыпочках, чтобы бросить любопытный взгляд в комнаты короля, то толстые стекла их не пропускали взгляда и люди видели любопытные свои лица и расширенные глаза. И отходили, чтобы дать место другим. Отходили, хмурия брови свои, и грозили неведомому.

Внизу пронесли зажженную свечу, и огромная тень царедворца взметнулась к потолку.

Ступая беззвучно шелковыми своими туфлями, шел к королю царедворец.

Мелькнул свет свечи наверху и замер.

Царедворец остановился у дверей.

«Прикажете войти, Ваше Величество»... Ответа не было и, чуть открыв дверь, царедворец замер в почтительной позе...

Король молился богам...

«Боги, где же счастье?.. Много вы дали мне в жизни моей, да и не меньше и я вам отдал, но не дали вы мне одного — счастья. Ответьте, заклинаю вас, где мое счастье? Почему, имея все, я чувствую, что нет у меня, да и не было счастья и даже не было экстаза радости? Боги, могучи вы, можете все сделать человеку, так исполните последнюю мою просьбу. Вы видите слезы на глазах моих, немного мне осталось жить, и неужели побоитесь вы дать мне счастье? Или вы сами не знаете, где оно? Или счастье богов иное чем наше?.. О, боги!»...

Простер король свои руки к богам и потом шепотом:

«Боги, сегодня слышал я, как мой царедворец сказал, что если б он был королем, то, поистине, был бы он счастлив... Но, боги, власть не дает счастья... Вы помните, когда не был я еще королем, вы помните, как жаждал я власти, как просил я вас. И вот дали вы мне это величайшее благо, это самое сильное в жизни. А я разве счастлив? Нет, боги, скрываете вы от меня, в другом счастье.

Нет его ни во власти, ни в любви, ни в радости.

Слышите, подлые, что ж вы молчите? Или думаете вы, что счастье удел богов? Или...

О, простите меня, могучие! Простите гнев мой».

...Взметнулась тень царедворца к потолку и слилась с мраком. Потушив свечу, ступая осторожно шелковыми своими туфлями, спустился вниз царедворец. Дрожали руки, и поступь его была медленная и боязливая.

«Не болен король, нет. Другое что-то. Счастья он просит. О, старый тиран! Счастья! Разве я счастлив? Боги мне не дали этого...»

А молодой камердинер, стоя у толстой портьеры, слышал, как говорил сам с собой царедворец. Печально покачивал головой камердинер и злобно смеялся.

«Эх, имел бы я власть и почет царедворца, воистину был бы я счастливым!»

* * *

Слухи, как черные тени, выбежали вдруг из дворца в город и, перегоня друг друга, сначала тихо хихикая, и в темных домах, стали шуршать, что не болен король, нет! У богов счастья он ищет и что прикажет он завтра людям с ним поделиться их счастьем. Счастьем? Да так ли?

Где же оно?

«Мы довольны», — говорили одни, нежно целуя нежные щеки своих детей.

«О, как мы радостны, право», — говорили другие, прижимая к груди своей нежных жен и милых любовниц.

«Мы наслаждаемся миром, мы пьем душистый воздух полей, мы черпаем мудрость из книг мудрости, мы творим красоту, мы наслаждаемся, мы наслаждаемся и мы бесконечно довольны.»

Но счастливы ли? Нет. Не то. Счастье — не то.

И чем мы должны поделиться с королем?»

Росли слухи, и люди ходили поникшие и сторбленные и тоже шуршали. Росли слухи, нелепо размахивая черной одеждой, росли, и уже громко и визгливо на перекрестках улиц кричали: «Не болен король, нет! Король ищет у богов счастья. Не видели ли вы счастье короля?..» Слухи росли, и люди верили им и увешивали их своими мыслями... Человек часто верит слухам, хотя слух часто рожден только ветром.

За этот день, привыкнув к мысли, что король болен, и поверив теперь таинственным слухам, люди выходили на улицу странно недовольные, пожимали плечами и шли ко дворцу, громко стуча сапогами. И хотя ночь давно уже овладела небом, прохожие не расходились по своим домам, а шли в сторону дворца. Но ближе к дворцу шаги прохожих делались медленней, голоса тише и движения почтительней. Подходили ко дворцу, смотрели долго в слепые окна и, не узнав ничего, уходили беспокойные. И пора уже было. Главный жрец храма снов давно позволил снам уйти в город.

Иные уже давно сторожили ушедших в их комнатах, то были спокойные, аккуратные сны тружеников, иные торопливо бежали еще по улицам, задевая прохожего... Прохожий зевал, прикрывая рот рукой, жмурил глаза и прибавлял шаги свои...

Иные сны ползли медленно, как толстые неуклюжие гады, обремененные ношей. Это они рождают кошмары, огромную, непонятную тоску и мистический ужас. Их боятся, их гонят, но они всегда настигают свою жертву.

Последним полз сон короля.

Король метался по комнате и не находил себе покоя. И снова молился своим старым богам.

Три бога у него: Красота, Страдание и Порок. Три бога, из-за которых стоило еще пожить. И жил король, и любил свою жизнь, как умеет любить и ценить ее властелин, и любил солнце, и часто-часто до недавних дней влюбленными глазами смотрел на мир. И тогда мир, как солнце, и солнце смеялось миру.

Воистину нужно иметь нескольких богов: иным поклоняться, иным верить, а иных бояться...

Богами своими был доволен король. И достигнув всего, он так бы и прожил жизнь, не ссорясь с ними, да вот услышал слова царедворца... И не стало покоя.

«Боги, дайте мне счастья... Слышите, боги!»

Король метался по комнате.

Медленно, как неуклюжий гад, вполз сон короля и мягкими лапами охватил его тело...

Еще так недавно, когда король молился, спокойны были боги, стояли темные и непостижимые в углу за черной шелковой занавеской.

И были надменны и были величественны в своем покое, а когда король закрыл усталые свои глаза, быстро отдернув занавеску, сошли боги со своих мест и поступью медленной подошли к королю и сели у изголовья кровати его. И смеялись. Тихо. Беззвучно. И руками нежно гладили седины короля. И смеялись. Но холодели от ужаса королевские руки.

В молчании подавленном и таинственном король вдруг стал понимать какую-то огромную тайну, какая-то мысль, будто рожденная в глубине души его, мелькнула, расширилась и снова замерла где-то.

Это мысль о какой-то тайне жизни: она чуть коснулась его нежного человеческого мозга и пропала бесследно. Будто мозг не мог принять ее. И почувствовал король, что есть какая-то тайна, но о ней НЕЛЬЗЯ даже думать. Ее знают только боги.

Отчетливо стучало сердце короля и замирало.

Но вот склонил к изголовью красивое свое лицо бог Красоты и шепотом и быстро и как-то журчаще стал говорить, что не он ли давал королю счастье, не он ли окружал его красотой и величием. Да, да. Это он давал незабываемые минуты, когда от величия красоты мысли сливались с Вечностью.

Это он творил красоту всюду, всегда...

Так что же нужно королю? О каком счастье он говорит?

А впрочем... и поглаживая седины короля, стал смеяться опять. Тихо. Беззвучно.

Молчали другие боги и также беззвучно вторили тихому смеху. И снова холодели королевские руки.

Вскочили боги потом, одно лишь мгновение, и сразу засмеялись громко, закужились вокруг кровати и, нелепо кривляясь, опять и опять беззвучно смеялись. Глазами, ртом и всем своим телом. Но в дикой пляске, когда темные фигуры богов все быстрее, все быстрее мелькали перед глазами, крик человека прорезал ночной покой и замер где-то в саду.

Это вскрикнул король громко, стиснув зубы, и похолодевшими своими руками схватился за лицо. Кто смел ударить по лицу Его Величество?

Боль нестерпимая, стыд и оскорбление заставили быстро приподняться короля. Горела правая щека.

Кто смел? Но смеялись боги беззвучно и одинаково, и нельзя было угадать, кто осмелился.

Смеялись боги и поступью медленной ушли за черную свою занавеску.

* * *

Сегодня с утра убрали солому. Сегодня с утра на улицах был слышен смех и крики возчиков.

Сегодня был издан приказ, чтобы все мудрецы, и поэты, и философы, и все, кто знает хоть что-нибудь о счастье, собрались бы днем во дворце.

И министр, издавший приказ, радостный бродил по саду и, глядя, как целая вереница людей тянулась ко дворцу, радостно думал: «Сегодня приказ поистине удачный». И потирал свои руки. И даже игриво бросил цветок в проходящую женщину...

А в тронном зале сидел король, окруженный министрами, и выслушивал речи длинные и иногда непонятные. Были убогие фразы, но были мудрые и блестящие мысли. Но не хватало чего-то в них. Казалось, что люди очень много знали о счастье, но не знали его самого. И, странное дело, после каждой речи кивал король головой:

«Да, да, это так... Это счастье».

И когда начинал говорить следующий, король не верил уже тому, что раньше говорили, хмурил нависшие свои брови и потом опять устало кивал головой:

«Да, да, это так. Это счастье».

И казалось тогда, что сколько бы ни говорили о счастье, все было верно и все было ложь.

Устал король от мудрых речей философов, от парадоксов мудрецов, от милого вздора женщин и от милых нелепостей поэтов. Устал. Мысли чужие нагромоздились, спутались — неясные, отрывистые.

И только мысль одного поразила его очень.

Тот, что сказал ее, быстро подошел к королю, не поклонился низко, как все, а дерзко посмотрев в глаза (неслыханная дерзость), сказал: «Ваше Величество, счастье бывает не тогда, когда у вас все есть, но когда чего-нибудь нет и вы хотите и достигаете — вот счастье. Достигнув же, вы всегда бываете несчастны, ибо одним желанием у Вас уже меньше.

Но у этого счастья есть маленькая тайна: оно узнается только тогда, когда оно прошло».

И улыбнулся.

«Дурак, — сказал король гневно, — к чему мне такое счастье, если я и не узнаю, когда оно есть. Поистине дурак».

Мудрец поклонился:

«Я хотел бы быть дураком. Чаще всего счастье — удел дураков».

И улыбнулся опять. И ушел.

А когда ушел, то королю вдруг понравилась эта мысль.
«Да, да, это так. Это счастье...»

Но нахмурился вдруг, потер правую свою щеку и приказал уйти всем, оставить его одного. И все ушли. А когда ушел последний министр, король отвел его в сторону и сказал: «Сделай все, чтобы найти мне счастливого. Разошли всюду глашатаев. Прикажи, чтоб пришел ко мне хоть один счастливец... Но...» Король подумал и добавил быстро: «Даже пусть это будет дурак».

И когда ушел министр, король почувствовал себя таким усталым, ему так хотелось спать и было как-то уже безразлично думать о счастье. Он сладко потянулся и заснул в мягком своем кресле...

* * *

Уж прошло несколько месяцев. И казалось, что король забыл о капризе своем. Эти несколько месяцев король то устраивал пышные празднества и пиры, то весь двор и даже город погружался в моленья... И снова пировали.

А теперь вот несколько дней назад устлали снова улицу соломой. И снова король ждал, что вот придет к нему счастливец и скажет какую-то огромную тайну, тайну, которая была близка ему однажды ночью. Но король боялся вспоминать об этом, он боялся даже взглянуть в сторону черной занавески. И только ждал упрямо, мучительно, что придет счастливец.

Счастливец не приходил...

Так и должно быть, Ваше Величество, счастье узнается только тогда, когда оно прошло.

Весна 1918 года. Петроград

МУЖ

Глядела ласково в темные его глаза, придумывала нежные смешные имена и смеялась радостно, уверенно чувствуя его любовь, зная, что она — его властелин, царица, а он — раб, вымаливающий один поцелуй. О, это было огромное утешение в ее жизни! Тогда можно даже не любить. И она не любит. Впрочем... И она смеялась.

А вечером однажды спросила:

— Ты бы хотел, чтоб вот сегодня утром исчезла бы твоя любовь и перешла бы ко мне, в мое сердце?.. Чтобы моя любовь выросла бы до огромности, как ты сейчас меня любишь, сожгла бы мое сердце... А ты любил бы меня чуточку, как я...

Нет, он не хотел бы. Его любовь больше, чем она думает, его любовь для него целый таинственный мирок, целая сказка, целая жизнь. Нет, ни за что, ни за какие сокровища в жизни не отдал бы он своей любви. Даже за ее чувство.

Тогда она торжествующе смеялась и ласкала его. И просила, чтоб он говорил ей о своей любви больше, больше. А под его ласковый шепот дремала, гордая, красивая, смелая... Бледнели его мысли, слова тихие, ласковые пропадали в темной их комнате, уже она слышит ровное его дыхание и руки его не сжимают так больно ее тело.

О, как она устала! Но сон не приходит. Мысли настойчивые просятся в ее сердце... И не уходят. Маленькая черная точка будто растет, ширится, вот она уже огромная, вот она давит на ее тело сильнее любимых рук...

Неясная, непонятная тревога растет, растет, не дает уснуть. Боже, а ночь-то какая длинная! Ночь-то длинней ее темной косы.

Уже много дней прошло. Уже они справили две годовщины своей любви. И часто, почти каждый раз, когда она приходила к нему, он чувствовал какую-то странность в ней, какую-то внутреннюю борьбу. Часто, сидя молчаливо, тесно прижавшись к нему, она брала его руку, прижимала к горячей своей щеке, едва касалась губами и отталкивала.

— Нет, нет. Это не любовь еще.

Так прошел год.

А в тот день, когда она ясно поняла, что вечером, сегодня, не в бреду своей страсти и не стыдясь, она поцелует его руку, и шептала счастливо, страстно:

— Муж, мой милый муж, я целую сегодня твои руки, — ОН НЕ ПРИШЕЛ.

1918 г.

Я ОЧЕНЬ НЕ ЛЮБЛЮ ВАС, МОЙ ВЛАСТЕЛИН

Он сидел рядом со мной и корявым пальцем водил по строчкам газеты. И хмурился.

Такой строгий: такой внушительный в новенькой своей шинели и с шашкой на правом боку.

Он отложил в сторону газету, устало прищурил строгие свои глаза на меня и снова взял газету.

Он должен простить меня, но если я не ошибся, он чем-то недоволен?

Он пожевал своими губами, снова прищурил глаза (о, ему так нравилось это делать!) и сказал:

— Да... буржуазной прессой.

Так и сказал. И строгое лицо сделал.

И оттого, что лицо мое было доброе и сочувственное, и оттого, что маленькая усмешка моя спряталась под усами моими, он почувствовал ко мне расположение и прибавил:

— Пишут. Сами не знают что. Извольте видеть: Ингерманландия... Сами не знают что.

Но он очень чувствует в этом какую-то закавыку.

О, они-то знают, это, мой бедный друг, ты не знаешь!.. Это они нарочно говорят тебе непонятные для тебя слова, ибо как могут они говорить очень понятно, если ты обидишься и не позволишь вовсе печатать?

Но я не сказал это ему. Как можно! Я только сказал:

— Да, да, — очень странно, очень непонятно, вот я, смею уверить, образование, можно сказать, получил, на аттестат зрелости срезался только по-английски, но, право, не понимаю их.

Он очень обрадовался вдруг.

Он тоже срезался на чем-то. Но это не суть важно. Он дошел теперь до степеней известных и не позволит смеяться над ним.

Он помолчал. Застегнул на все пуговицы новенькое пальто. Такой строгий, внушительный. Газету смял и бурно положил в карман и протянул:

— Сегодня возбужду вопрос с точки зрения.

И встал. И ушел.
А когда он уходил, я громко сказал ему:
— Я очень не люблю тебя, мой властелин.
Он сконфуженно пробормотал что-то.
И вышел.
А... вот то-то и оно!
Давайте говорить по-французски!

Осень 1918

СЕРЫЙ ТУМАН

1. В городе

Совершенно изменился город... Бегут все, торопятся, будто у всех важные и государственные дела.

— Эй, ты, куда бежишь? — негромко через окно кричал Вознесенский какому-нибудь затрепанному чиновнику. А тот, действительно, — всем своим видом показывал:

— Ужасно у меня есть важное дело.

И быстро скрывался, особенно, по-деловому, помахивая рукой.

Все торопились, всем было некогда, никто не останавливался у окон, никто не рассматривал белую прекрасную вывеску — И. Л. Вознесенский, а если и заходил в магазин, то говорил:

— А ну-ка, брат Вознесенский, сделай мне вот такие сапоги, да поскорей.

— Гм, — обижался Вознесенский, — можно и поскорей.

Однако делал, как и раньше, не спеша, очень раздумывая, и подолгу глядел в низкое окно.

А днем на улице громко гремели трубы, стройно маршировали солдаты, на тротуарах молодые люди с войны звенели шпорами, ремешками, гремели саблями, вечером под руку гуляли с проститутками, заходили в театры и в рестораны, наверное, за короткую ночь успевали сделать все, что было для них радостного, а утром, а днем, с чемоданами, с корзинами и с мешками, уезжали из города и потом где-то, просто и обыкновенно умирали на колкочей проволоке.

Улица изменилась. И теперь днем черные прохожие не гуляли, а ходили быстро, с видом деловым и значительным.

— Бегут, — думал Вознесенский, — не к добру и бегут — что-нибудь да будет.

А было вот что.

Еще и война не кончилась, а город снова и чрезвычайно изменился. Целую неделю стреляли из ружей и по улицам бегали какие-то удивительные люди, которых раньше никто и не видел, да и жили они где-нибудь в Устюге, а может быть, и нигде не жили — не босяки и не бродяги, а бывают такие особенные — в рваных ботинках, в широких шляпах и в крылатках и с мрачными лицами.

И женщины в платочках — не простолюдинки, а такие же особенные, пришедшие в город вместе с выстрелами, бунтом и революцией.

Никто теперь никуда не торопился, напротив, подолгу простаивали на углу, и казалось, что никто из них и не вспомнит, что живет на Литейном сапожник Вознесенский.

А потом исчезли, как сгнули, эти особенные в больших шляпах и в платочках, — может быть, переоделись, а может, все попали под выстрелы.

И вот пришло время особенно тяжелое и непонятное. Не настоящая и странная началась жизнь. На улице никто не смеялся и не пел, ходили люди, хоть и торопливо, но не радостно, а как-то по-звериному — с оглядкой да с гримасами. К ночи все прятались по своим темным домам, и улицы были пустые и странные.

Город был похож на осажденную крепость, где доедали последние запасы хлеба и уже страшило безумие неизбежного голода, вздутые животы, солома и молчаливый, таинственный, близкий враг. Скорей бы гремели орудия, скорей бы увидеть кровь, но нельзя же так долго слушать проклятую тишину!.. Так длился год.

Страшные болезни поражали людей, черные бесшумные кареты увозили куда-то умирающих, прохожие провожали их тупым и мутным взглядом и бормотали невнятное. По улицам все чаще водили босых и бородатых людей, окруженных солдатами с ружьями. Иногда вели хорошо одетых горожан, и тогда больше было солдат с ружьями, тогда громче стучали солдатские сапоги по камням, испуганней смотрели прохожие.

Вечером уныло звонили в церквах, унылые черные женщины шли молиться.

«А-а, значит еще не все погибло. Еще не все отступились от бога», — думал Вознесенский и собирался торопливо в церковь.

Темный и странный был бог у Вознесенского. То казалось, будто это образ Спасителя, что висит в углу, то знакомый и старенький священник отец Петр.

Но об этом не часто он думал и думать не любил, да и в церковь ходил из-за какого-то упрямства.

Простаивал там час и больше на коленях, не молился, а думал о том, что снимают ли теперь фуражки в Кремле у Святых ворот. Или думал про войну и знал, что она окончится через семь лет по святому писанию.

Война! Это значит опять кто-то лезет на колючую проволоку, опять умирают. И странное дело. Все эти хорошо одетые люди с ремешками и шпорами, а может быть, и все люди — не дикари и не разбойники, не хотят никого убивать, однако идут и убивают, безжалостно пронзают животы железными палками и прикладами крошат черепа.

Совершенно трудно, невозможно было понять всей этой нелепой, таинственной жизни, которая будто шла, кривляясь и смеясь, помимо воли людей.

В этом году город, грязный и большой, жил тяжелой, совершенно непонятной жизнью.

2. Огненное решение

В сумерках не зажигали огней. Люди ходили безликие, без теней. В молчании, подавленном и таинственном, они встречались вечером, как марионетки, подходили друг к другу, покачивали головами и расходились по темным своим домам.

И там велись разговоры, осторожные и тихие, о тяжелой голодной жизни, о людях, которых расстреляли на большой дороге, об обилии яблок — примете голода. Иногда бранились и приходили в ярость. И утихали, смиренные и подавленные. Жизнь давила темнотой и голодом и нужностью.

У Вознесенского на Литейном не раз в сумерки собирались старые его приятели, сидели на низеньких тумбочках, курили и тихо говорили, каждый про свое, иногда про Бога, иногда кричали и ненавидели. И ничего не понимали. А когда понимали по-своему, тогда темные и страшные велись речи об антихристе, о конце мира и о всякой нечисти на свете.

И какие интриги приходилось распутывать! Какие тайные замыслы китайцев и немцев отыскивались!

А о городе не иначе, как с боязливой усмешкой. Много было там всяких врагов. Каждый дом, каждый угол таил врага, в каждом явлении примечалось особенное, значительное, сплетенное кознями да интригами смертельных недугов.

— Вот, — сказал Вознесенский, открывая окно, — опять ведут босых.

Два темных человека подошли к окну и посмотрели на улицу.

— Ведут, — подтвердил один тоненьким голосом, — может, и меня когда-нибудь, да так же, да прикладом.

Вознесенский закрыл окно, просунул голову в форточку и негромко крикнул:

— Сволочи!

И отошел от окна, даваясь от смеха. Кого выругал, он и сам не знал — не босых и не солдат с ружьями, а вообще — может быть, самого тайного и страшного врага. Вот кого.

— Вот так и меня могут, — снова, тоненько и смеючись, сказал Ерш. — И пусть. Убегу, а не пойду.

Вознесенский длинно посмотрел на Ерша.

— Бежать и нужно, — негромко проговорил он.

И вдруг все показалось понятным и радостным. И скверная непонятная жизнь осветилась белым светом и родилось решение, нужное и единственное, — бежать.

— Не иначе, как бежать, — радовался Вознесенский, и голос его стал торжественный и громкий.

— Бежать, бежать! Принять сердцем огненное решение, до самой малейшей точки продумать все и не то, чтоб в деревню — зачем в деревню? — Глазом подмигнул Вознесенский — зеленый лес не одного скрывает под листьями да по уврагам. По уврагам вот наивернейшее дело. Там и себе господин. Хлеба мало будет, а всячески прокормимся... не поголодуем. Куда как прокормимся...

— Угу, — крикнул Ерш, блеснув глазами, — можно при случае и тово... скажем, на почтовых едет... такой, этакий... с деньгами... Сто тысяч... с провизией... И девочка с ним... Черная, красивенькая... «Стой-постой! Откуда есть такой!» Тут и стукнуть. И концы в воду. И лошадь себе. Повозку себе. И разжиться не пустяками можно.

— Гм, — сказал Вознесенский, — и очень просто. Я всячески хоть и не думаю об этом, руки в крови не опаскужу, а в лесу это и очень просто. Люди рассказывают, что в иной

губернии многие по лесам ходят. Которые в тихом скиту, с молитвой ко Господу, а иные шайками ходят-бродят, посвистывают, кровь проливают. Встала, встала матушка-Русь, разгневалась. Да видно поздно. По уврагам да по лесам пошла.

И нахмурился вдруг и сказал тихо, будто про себя:

— Ведь я не к тому, не к тому про разбойников... Мне молиться надо, вот что. Годы мои не такие, да и кровь тихая. Однако, против вас не пойду, ибо имею теперь в жизни сладчайшее утешение.

Все трое поверили, что случилось самое нужное и чудесное в их жизни.

Только один Иван Куляба, что больше всех и радовался, вдруг потух и проговорил:

— А ехать-то я с вами не могу. А почему не могу, дите у меня невзрослое... Вот она штука-то какая — дите.

Ерш подмигивал, ходил быстренько, подпрыгивал, и голос был у него тоненький, птичий.

— Пусть, ему все равно. Он и другого приятеля найдет. Есть у него наилучший человек... Так он его...

— Подожди, сделай милость, — остановил его Вознесенский.

— Прежде вот у него есть на примете человек, тот все и обделает. Этот, как его, прохвост Мишка. В должности он состоит в немалой, в большой, можно сказать, должности состоит. Государственный человек. Сам и допрашивает все тайно и дела серьезные ведет. Он и бумаги с печатями достанет, так что и уехать без замедления можно будет. А уж что

согласится, так это верно. Гадина он — деньги обожает чрезвычайно. В воскресенье и позвать его нужно будет.

Так и решили. Зажгли коптилку, курили неистово и думали.

И вдруг скрипнула дверь, мигнула коптилка, скрипнули половицы, зашаркали ногами и в комнату вошел человек в широкой шляпе и в плаще.

— Тьфу-тьфу-тьфу, — бормотал Вознесенский, — кого Бог дает?

А человек тихо снял шляпу и мокрый свой плащ, и незнакомца тотчас узнал Вознесенский. Был это старый его знакомец, чудака немалый, студент Повалишин.

3. Студент Повалишин

Студент поздоровался, сел, немедленно снял сапог с ноги и стал прилаживать к нему кусок кожи. Пальцы у студента были длинные и проворные, цепко хватал он молоток, бил им неистово, а сам горбился и уменьшался. Все в комнате в полумраке было фантастично, по-ненастоящему. Зловещая лампочка мигает и хитро дразнится. Три птичьих чудовища с длинными носами сидят молча с огоньками во рту, четвертое бьет крыльями, шипит и вертится.

Студент поднял голову и тихонько засмеялся. Одел сапог и сказал, хотя все молчали:

— Ну-с, а дальше?

И тогда начал говорить Вознесенский, радуясь и улыбаясь:

— Жизнь, господин Повалишин, мерзейшая, каждый для тебя есть враг и начальник. А между прочим кушать и не-

чего. Есть нечего и жить нечем, все на убыль пошло, все подошло к последнему жизненному расчету. Я всю жизнь просидел здесь, всю правду из окна узнал, и жить мне здесь больше нельзя. Каждый должен принять последний расчет. Я всю жизнь просидел на этом стуле. Ну а теперь, к концу дней моих, приму расчет.

— И что ты, Степан Алексеевич, что ты есть в жизни? Должен ли ты жизнь свою обернуть? Должен, я тебе говорю.

(Какой ты есть человек, Степан Алексеич? Что ты есть в жизни? Ничего ты в жизни. С тем и помрешь.)

Вот сапожонки латать прибежишь, а там в должность, а там за хлебцем, там дурость бабью утешать — и день весь. Много ли для тебя радости? Нет для тебя радости. Знаю и знал. Тогда можно не идти против жизни, когда жизнь соответствует, когда радость есть. А когда нет, — обернуть нужно, жизненный свой обиход обернуть должен. А как обернуть? А вот как. Вот стоишь передом, сгорбился, будто двести лет тебе, и сам ты старый и все на тебе старое. Штаны твои, позвольте мне так заметить, не на коленях, заметьте, не на коленях протерты и дыры имеют, а позади, а сзади. Вот оно что. Вот оно в чем. Иной молодой выйдет, усами поигрывает, красуется великолепно на лошади, перед молодой особой деликатно на коленочках простаивает и дыры благородные имеет соответственно. А ты от должности. Значит, в этом и обернуть нужно. А то какая тебе есть цена? Нет тебе никакой цены.

Смеялся Повалишин тихонечко:

— Да что ты, Илья Петрович. Да что ты...

— Да ты постой-погоди, — перебил его Вознесенский, — слушай. Дело есть. Нескоро-недолго, а уходим мы в странствование по лесам да по уврагам...

— Да позвольте уж мне сказать, Илья Петрович, — запрыгал, замигал Ерш. — Позвольте... В лес! В земляночку! На волю! Вот куда. Стой-постой, откуда есть такой...

— Помолчи ты, дура, — остановил Вознесенский. — Вот, Степан Алексеич, хочешь — поедем, а?..

[Дальше 4 страницы рукописи утрачены.]

4. Северная лилия

Красивая жена у Степана Повалишина. Этакое ведь счастье человеку! Под руку с ней пойдет — оборачиваются, смотрят вслед, шепчут хорошее. Плавная и мягкая у нее походка, в локонах светлые пепельные волосы, а глаза черные, в глазах нежность и ласковость, в глазах радость и наслаждение. Вот какая жена у Степана Повалишина! Мадонна Сикстинская — вот кто!

А Степан — подлинная птица, нос предлинный, волосы черные, хохолком, и губы злые и тонкие.

Только и радости, что лицо особенное, приметное, и глаза ничего. Глаза большие и грустные. Только их и любила красавица Павла Повалишина.

Целует бывало, шепчет:

— Грустные мои глазки, печальные впадинки. Принц ты мой маленький, печальный...

Впрочем, давно это было. Быльем поросло. Заглохло и вспоминать не хочется. Теперь, если и поцелует, так ночью, да скверно улыбаясь, обожжет телом. А потом:

— Уходи, спать хочу.

А было... Не в Петербурге, а в маленьком северном городке — Творожи.

Есть такой город. Десять лет назад приехал туда студент Петербургского Университета, Степан Повалишин, по делам отца. Там и прекрасную Павлу нашел. Пожалуй, и не нашел — не за тем приехал. Хоть молод был, а на женщин и не посматривал. А сколько невест было! Богатейших! С шубами, с серебром, с кам... [нрзб.], с перинами, в придачу отдавали их. И откуда бралось все? Городишко мизернейший был — с виду грязь да кабак, а на деле — шубы, перины, горницы тихие с иконами, с лампадами.

О каждом городе последнее слово об интимной жизни непременно скажет женщина. Какие они, как одеты, что делают... И баба с корзинкой утром или стыдливая улыбка красивой встречной больше скажет, чем 300 мужчин в 4 часа из департамента.

Много было невест в Творожах, а Повалишин и не взглянул на них. А как вышло? У старухи Чулковой все и вышло. Сидели за столом, чай пили, говорили незначительное. А когда заговорили о Петербурге, встала Павла из-за стола, наскоро поцеловала сухую бабушкину руку и вышла.

Склонилась тогда старуха к Повалишину, потеряла сухие свои руки, глазом мигнула на уходившую Павлу и шепнула тихо-тихонько:

— Северная лилия.

Больше ничего и не сказала, но будто обожгло что Повалишина. Кровь будто изменилась и стал он после этого поглядывать на Павлу особенно, значительно.

Стал письма писать, хоть и жил в том же доме.

Длинными вечерами сидел у нее и говорил радостное. Блока читал ей. И не тем поразил, что полюбил, а тем поразил, что романтично вышло, с красотой. Город гадкий был, пьяный, циничный, кругом пьяные звериные рыла, не с кем сказать радостное, некому показать прекрасное свое лицо. Так и пропадала бы ее красота втуне, если б не случился Повалишин, не назвал бы ее женой, не увез бы в милый Петербург.

И когда еще в первый раз целовал Повалишин нежные ее пальчики, он знал, что будет, знал свою судьбу.

И случилось так, что сама пришла к нему ночью, обожгла телом, заворожила черными глазами, зажгла, зацеловала и стала женой Степана Повалишина.

А в Петербурге три года подряд ездили они в театры и читали стихи. А на четвертый Павла сошлась с красивым приятелем Повалишина. Не скрыла и не утаила, а сказала, будто так и должно быть. И не упрекнул Повалишин ее. Подумал, что, может быть, так и должно быть. А она тогда радостно и гордо стала говорить о свободном чувстве. И не

знала того, что уже вовсе не любила Степана. А одного поцелуешь, и всех жалко. Так и случилось.

Изменилась с лица, блуждающая улыбка притаилась в уголках губ и вечерами, в темноте, рассказывала мужу о блестящих ее победах. Отворачивался Повалишин к стене, высовывал язык и молчал. Много молодых людей бывало у нее. Всех их принимала она, лежа на оттоманке, томная и красивая. И нежные, медленные ее слова, и прекрасное ее лицо были неотразимы.

И лишь один ненавидел ее — Степан Повалишин. И в этой ненависти была прелесть и наслаждение. [Следующие 2 строки — нрзб.] Так и пролежала бы она всю жизнь, если б не изменилось все, не пришли бы плохие дни.

(Трудные годы и ее затронули. Стала служить, да плохо.)
Неряшливая и красивая, в грязном белье.

С усмешкой теперь называл Повалишин ее «Северная Лилия». И все как-то уже теперь с усмешкой и иронией. Оба взяли такой тон, так и жили.

— Ну поцелуй меня, — сказала Павла, когда муж вошел в комнату. Тонкими холодными губами поцеловал ее Повалишин и подумал, что целует, будто мертвую. А может, и он мертвый.

Усмехнулся Повалишин, пошутил, улыбаючись рассказал, как шел по лужам, а кругом подмигивали маленькие окна, а фонари будто росли, и вытягивались, и в темноте клали стеклянные свои головы на крыши.

Смеялась и Павла. И не знала, что это были последние их дни. Повалишина заворожила идея. Ходил он три дня неле-

пый и мрачный. Вслух говорил невероятное. Вечером рылся в письменном своем столе и рвал бумаги и письма. А утром, в воскресенье, решил, что пойдет к Вознесенскому.

5. Товарищ Мишка

Повалишин пришел, когда у Вознесенского все были уже в сборе и дело с бумагами было, видимо, решено.

Красивый и наглый, стоял Мишка, держа в руках пачку денег, смеялся и рассказывал что-то.

Так вот он, таинственный Мишка. Плотный и красивый. Лицо чистое и обыкновенное, но глаза, но губы — что в них такое? Глаза тяжелые и мутные. Вот такие глаза и брезгливые губы видел Повалишин однажды у сторожа, видевшего смерть во всей полноте, в покойнице. Хотя были глаза мутные и безжизненные (неживые), однако светились в них 2 страшные точки. Когда замолчал Мишка, беззвучно смеясь длинной оскаленной улыбкой, тогда страшные точки будто росли и понимали какую-то тайну.

Вот они думают, наверно, что он живет великолепной жизнью, а побывали бы в его шкуре, хватили бы его страхов...

— Подлец ты, Мишка, — говорил ему Вознесенский. — Каторжник.

— Хо-хо-хо, — (развязно) шумел Мишка (и поводил богатырскими плечиками).

— Хе-хе-хе, — вторил ему Ерш.

А Вознесенский сидел мрачный и тяжелый и смотрел на деньги.

— Сволочь! — взвизгнул вдруг Вознесенский. — Ступай к чертовой матери. Всякая дрянь справляет свое самолюбие!

Повалишин не знал, что случилось, но подумал, что Вознесенскому жалко денег.

А Мишка выпятил нижнюю губу, спокойно положил в карман деньги и взялся за фуражку.

— Постой, — остановил его Вознесенский, — это я так.

— Так? — мрачно покривил губы Мишка.

— Да уж извините, Михал Борисыч, по наивности и сказано. — И Ерш подошел, потрогал Мишкин рукав и тоненько: — Илья Петрович не будут больше.

Мишка взглянул на Повалишина и сказал:

— Хочу, чтоб и тот.

— Извините, — сказал Повалишин и сел.

И тогда опять стал смеяться Мишка и уверять. И бумаги будут полностью — с печатями.

— Главное, чтоб печати, — вздыхал Вознесенский.

— И все будут, пусть и не беспокоится. А здорово надумали! — хохотал Мишка. — Я б тоже б с вами. А? чего?

Ведь [нрзб.], — посмотрел он на Ерша, — в лесу и концы в воду, а девочку-красавочку в землянку. Только, брат Ерш, ты не подумай, что не помоем [нрзб.].

— Хе-хи-хи, — смеялся тоненько Ерш. — Все и кончено, тащи девку да что в шкафу.

Заметался по комнате Ерш, выбежал за дверь и явился, важно растопырив руки, с черной грудастой бабой.

— Хо-хо-хо, — грохотал Мишка, пил спирт из стакана и рассказывал [нрзб.] Повалишину несвязное — [это был

бред? — *нрзб.*] про то, как он сам расстреливал на батарейной [большой? — *нрзб.*] дороге. Ерш пил из рюмки и, погано улыбаясь, щекотал грудастую бабу и дышал ей в лицо. А баба визжала и прижималась к Ершу, думая, что он и есть главный.

Лишь один Вознесенский сидел и тяжело смотрел на Мишкин карман, в котором исчезли скопленные годами его деньги. Праздник продолжался до утра.

* * *

Мишка не обманул. На другой день к вечеру принес он все бумаги. Бумаги были форменные, с печатью.

— Сим удостоверяю, что г. Илья Петрович, — читал Вознесенский и радовался, и обнимал Мишку.

Петушком ходил Ерш и по-детски тоненько смеялся.

— Ну, все и сделано, — сказал Мишка. — И впредь смогу. В соответствии. Потому люблю таких...

Сборы были недолгие. Через неделю с [*нрзб. 2 слова*] в теплушку вошли трое [в теплушке ехали трое? — *нрзб.*], притихшие и радостные. Позади остался скверный, грязный город с таинственной, мрачной и непонятной жизнью, со многими злыми врагами, а впереди радость, земля родная, лес и солнце.

Вознесенский крестился мелкими крестами.

6. В лесу

Все случилось быстро и удивительно. Воля и фантастическая идея одного человека совершенно перевернула и безвозвратно смяла жизни трех. И оттого, что жизнь была

скверная и печальная, и оттого, что идея была огненная, живая, никто из них не оглянулся назад, не подумал головой, а все приняли сердцем.

Втроем очутились в лесу, бродили до вечера по болоту, нагруженные и взволнованные, жгли костры и варили еду, а вечером, когда над болотом поднялся серый, ядовитый туман, все показалось неверным и странным и каким-то дьявольским наваждением.

Холодный осенний дождь, унылый, мертвый шелест листьев и холодные капли дождя по лицу вдруг отрезвили и испугали жителей каменных домов (горожан из подвалов и каменных домов).

Земля не радостно встретила их, не радостно и сыро было лежать (на земле) и чувствовать, что три маленьких, ничтожных человечка оторвались от жизни, затерялись в лесу и нет до них никому никакого дела.

(И что случилось — голода не было — у них были запасы, однако мрачное состояние не покидало их.)

— Дураки, — бормотал Повалишин, — думаете — природа, так можно и сентиментальничать. Прийти в лес и устроиться, как в квартире. Дудки... дудочки, я вам говорю...

(Они думали — природа, так можно и сентиментальничать. В лес надумали прийти и устроиться, как в квартире... Дудки... дудочки... — бормотал Повалишин.)

...А сам? — мрачно спрашивал Вознесенский.

— Я знал, на что иду, — говорил Повалишин. — Может, я умереть сюда пришел.

(А сам? — мрачно спрашивал Вознесенский.)

И понимал, что нет больше жизни, что все ушло... все [нрзб.] в сером тумане.

Повалишин качал головой.

— Он знал, зачем пришел... Он не слепой крот. Может быть, он умереть сюда пришел...)

Мрачное состояние их не покидало.

Вечером страшнее казались длинные тени, ночью от каждого шороха падало (холодело) сердце, а утром не сиделось на том же месте и они уходили все дальше и дальше.

(Вознесенский крестился часто, тихонько и беззвучно смеялся Степан Повалишин, а Ерш что-то знал, и что-то ждал и надеялся.) А на пятый день вышли на большую дорогу. Вдали тучилось и дымилось небо и перед ними в сером тумане вырастал далекий город.

— Стой! — сказал Вознесенский. — Дальше идти нельзя.

(Идти дальше было нельзя.)

Близ дороги устроили шатер. И сидели в нем, притаившись как звери, испуганные и смиренные. Лес, как и город, таил в себе близких врагов.

Под вечер однажды шли втроем большой дорогой (к ближайшей деревне за хлебом) и остановились, услышав бубенцы и топот копыт.

— Вот, — торжествующе, будто того и ждал, вскричал Ерш. — Едут! (Вдали негромко звенели бубенцы.)

— Едут, — застонал Ерш. — Тащите бревно!

Однако, никто не двигался.

Ерш тонкими паучьими руками выволок из канавы бревно и положил поперек дороги. Двое безучастно глядели вдаль.

7. Огненная идея

Звонко железом били по камням лошади, и за поворотом показалась повозка с седоком.

— Стой! — закричал Ерш, хотя повозка уже стояла и кучер возился у бревна.

— Стой! — повторил Ерш и, вытащив нож (из-за голенища), подбежал к седоку.

И, как зачарованные, вне себя, не думая ни о чем, вышли (за ним) на дорогу Повалишин и Вознесенский.

— А-а-а! — дико закричал седок, (вдруг) понимая.

Встал во весь рост, фуражка упала с головы, стоит бритый и страшный, как сахалинец... Секунда и прошла, и все вдруг поняли, что случилось нелепое.

От негромкого выстрела вздрогнули лошади и ахнул тихонько лес.

— Братцы! — тонко закричал Ерш, — так нельзя... Он с ливорвером... — И повернул к лесу. Но упал лицом в грязь и затих.

Два раза и выстрелил седок и скрылся, дико гикая на лошадей. Вознесенский полз к лесу, оставляя за собой красный след. Повалишин сидел на бревне и тихонько, беззвучно смеялся...

1920 г.

Примечания

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Восп. — Вспоминая Михаила Зощенко / Сост. и подг. текста Ю. В. Томашевского. Л., Художественная литература, 1990.

ИП — Зощенко Мих. Избранные повести. Л., Гослитиздат, 1936.

Лицо и маска — Лицо и маска Михаила Зощенко / Сост. и публ. Ю. В. Томашевского. М., Олимп — ППП, 1994.

Летопись — Хронологическая канва жизни и творчества Михаила Зощенко / Сост. Ю. В. Томашевский // Лицо и маска. С. 340–365.

Мат 1 — Михаил Зощенко: Материалы к творческой биографии. Кн. 1. СПб, Наука, 1997.

Мат 2 — Михаил Зощенко: Материалы к творческой биографии. Кн. 2. СПб, Наука, 2001.

Мат 3 — Михаил Зощенко: Материалы к творческой биографии. Кн. 3. СПб, Наука, 2002.

НЗ — Неизданный Зощенко. Анн Арбор <1976>.

Серапионовы братья — «Серапионовы братья» в зеркалах переписки / Сост. Е. Лемминга. М., 2004.

СС 6 — Зощенко Мих. Собрание сочинений: В 6 т. Л.; М., Прибой — Гослитиздат, 1929–1932.

СС 3 — Зощенко Мих. Собрание сочинений: В 3 т. / Сост., подг. текста, прим. Ю. В. Томашевского. Л., Художественная литература, 1986–1987.

УГ — Зощенко Мих. Уважаемые граждане: Пародии. Рассказы. Фельетоны. Сатирические заметки. Письма к писателю. Одноактные комедии / Изд. подг. М. З. Долинским. М., Книжная палата, 1991.

С изданием произведений М. М. Зощенко дело обстоит весьма непросто. Из больших русских писателей XX века хуже Зощенко издан только Андрей Платонов (хотя можно сказать и наоборот). Многократно издавая и переиздавая свои книги в 1920–1930-е гг., выпустив собрание сочинений одним из первых среди современников, Зощенко с конца 1940-х гг. был не только надолго отлучен от литературы, но стал и посмертным изгоем. Его книги выходили редко и почти в одном и том же составе.

В 1960–1980-е гг. едва ли не единственным публикатором и издателем Зощенко был Ю. В. Томашевский. Результатом его работы стало СС 3, куда, однако, по объективным обстоятельствам не вошли целые пласты творчества писателя (драматургия, исторические повести, детские рассказы), а книга «Перед восходом солнца» была включена в последний момент. Справочная часть этого издания ограничивается указанием на источники и случайными примечаниями.

Также подготовленное Томашевским и вышедшее позднее Собрание сочинений в 5 томах (М., 1993–1994) по объему включенных в него прозаических текстов меньше предыдущего.

В УГ, рассматриваемых составителем М. З. Долинским как дополнение к СС 3, опубликованы периферийные тексты зощенковского канона, причем в ранних журнальных редакциях. В томе уделено большое внимание истории текстов, использованы ценные архивные материалы, но реальный комментарий также эпизодичен.

Настоящее Собрание сочинений предполагается в семи томах и включает только художественную прозу. Его задачи скромны, но необходимы.

Во-первых, опираясь на предшествующие опыты публикации Зоценко, собрать в одном издании максимально большое число текстов, представить объем полного Зоценко (сплошной просмотр периодики и архивные разыскания, безусловно, расширят этот круг, хотя вряд ли существенно).

Во-вторых, предложить мотивированные текстологические решения, создать основу для дальнейшего обсуждения текстологии Зоценко.

В-третьих, дать — хотя бы предварительный — реальный комментарий.

При публикации произведений Зоценко (как и других писателей советской эпохи) вряд ли применим обычный текстологический принцип последней авторской воли. Резкое изменение взглядов и, соответственно, поэтики, ужесточение цензурных требований в 1930-е гг., автоцензура вели к тому, что некоторые переиздававшиеся в конце жизни Зоценко произведения были заредактированы до неузнаваемости.

«До них (читателей — И. С.) в настоящее время доходят лишь отдельные обрывки его сочинений — разрозненные, вне всякой связи с другими, — замечал К. Чуковский в начале 1960-х гг. — Причем в последнее время стали появляться такие сборники его повестей и рассказов, словно их составители поставили себе коварную цель — убедить новое поколение читателей, что Зоценко был слабый и неумелый писатель» (Восп. С. 81).

Однако и решение М. З. Долинского в УГ вернуться к первым редакциям рассказов имеет, как признает сам составитель, ситуативный характер и не может быть основополагающим, ибо лишает художника права на эволюцию, на совершенствование текста.

Очевидно, что в «случае Зоценко» (как и в «случаях» Бабеля или Платонова) нельзя опираться на генерализующий принцип («первая редакция» — «последняя авторская воля»). Целесообразнее исходить из конкретных обстоятельств творческой истории и публикации произведения.

Зоценко 1920-х гг. отличает относительное единство художественных принципов (при всем различии поэтики «больших» рассказов, коротких рассказов и сентиментальных повестей). С другой стороны, его произведения в это время свободно публикуются в периодике и авторских сборниках, подвергаясь минимальному внешнему воздействию. Поэтому изменения текстов в последующих публикациях, как правило, незначительны, непринципиальны и имеют, насколько можно судить по доступным материалам, творческий характер.

Итог работы первого десятилетия Зоценко подвел в СС 6.

Рассказы и фельетоны входят здесь в четыре тома (1–3, часть 5-го).

В Т. 1 согласно авторской датировке включены тексты 1922–1925 гг.

Т. 2 охватывает рассказы 1923–1927 гг. и имеет специальный раздел «Фельетоны» «за время 1923–1929 гг.».

Т. 3 составляют рассказы 1927–1929 гг., во второй его части со специальным предисловием помещены тексты 1921–1923 гг.

Т. 5 датирован 1929–1930 гг., но в конце его, опять с короткой преамбулой, помещены еще два ранних рассказа.

Намеченные Зоценко хронологические границы не всегда отвечают реальным датам публикации текстов.

Всего в СС 6 попало чуть более 200 произведений.

Отдельные разделы СС 6 сопровождаются, как уже упомянуто, предисловиями, мотивирующими включение в Собрание ранних текстов.

Публикация ранних рассказов в Т. 3 предваряется следующим предисловием:

От автора

Я начал писать в 1921 г. Первые мои рассказы были большие по размеру — «Любовь», «Рыбья самка», «Старуха Врангель» и «Война». (Эти рассказы напечатаны в самом конце настоящей книги.) После этих рассказов я оставил так называемую «высокую» литературу для интеллигенции и перешел главным образом на мелкие журнальные рассказы.

Мне казалось, что в наше время такие рассказы более пригодны для читателя.

В дальнейшем же я старался «примирить» эти два направления. То есть я постарался ввести в мелкие рассказы традицию и сюжет большой литературы. Допускаю, что это мне удалось не полностью.

Так вот в этом отделе я печатаю первые свои рассказы 1921–23 гг. В них наиболее резко видна разница «высокой» и «мелкой» литературы, которую я в дальнейшем старался преодолеть.

Впрочем, ничего особенного в них не видеть. Средние, молодые рассказы. К тому же наиболее удачные я выделил в первую книгу. Собственно, три рассказа: «Письма в редакцию», «Гришка Жиган» и «Лялька Пятьдесят».

Во всяком случае — не настаиваю на прочтении всего отдела целиком. Хотя тут есть рассказы любопытные. А некоторые так и не хуже более поздних. Если не лучше. В общем, читать можно. Во всяком случае, надо же куда-нибудь разместить молодой товар.

К тому же читателю наглядно будет видно, насколько вырос писатель за восемь лет. Или наоборот — читатель роста не увидит, а увидит деградацию писательского хозяйства. В общем, на чей вкус и кто как умеет думать.

Эти первые мои молодые рассказы тем более любопытно прочесть, что последнее время некоторые любители русской словесности восклицают, закрывши глазки: «Ах, первые ваши произведения были, действительно, выдающиеся!»

Так вот, будьте любезны посмотреть. В этом отделе как раз и помещены эти заманчивые произведения, как маленькие, так и большие.

*Апрель 1929 г.
(СС 6. Т. 3. С. 101–102)*

В этот раздел вошло 24 текста. Вопреки указанию Зощенко «Ляльки Пятьдесят» в первой книге не было. Рассказ был опубликован лишь в Т. 5 вместе с «Черной магией» и короткой преамбулой:

От автора

В этом отделе я печатаю два рассказа, написанные мною в 1921–22 гг.

Эти рассказы я почему-то не включил в первые 4 тома моего собрания. Однако мне хотелось бы сохранить их на память. И по этой причине я печатаю их здесь.

При всей их наивности они все же написаны сносно, а первый рассказ «Лялька» — просто хорошо.

*Сент. 1930 г.
(СС 6. Т. 5. С. 203)*

Предисловие сопровождало и раздел «Фельетоны»:

От автора

В этом отделе собраны мои фельетоны. Они печатались в разных юмористических журналах за время 1923–1929 гг.

Подписывал я их обычно псевдонимом «Гаврила», а позже — «Гаврилыч».

В этих фельетонах нет ни капли выдумки. Здесь все — голая правда. Я решительно ничего не добавлял от себя. Письма рабкоров, официальные документы и газетные заметки послужили мне материалом.

Мне кажется, что именно сейчас существует много людей, которые довольно презрительно относятся к выдумке и к писательской фантазии. Им хочется настоящих, подлинных фактов. Им хочется увидеть настоящую жизнь, а не ту, которую подают с гарниром товарищи писатели.

В этих моих фельетонах есть драгоценное свойство — в них нет писателя. Вернее: в них нет писательской брехни.

А живые люди, которых, быть может, я здесь пихнул локтем — пушай простят меня.

Впрочем, в последний момент у меня дрогнула рука, и я, по доброте душевной, слегка изменил фамилии некоторых героев, чтобы позор не пал на ихние светлые головы.

Так вот — читатель, который захочет прикоснуться к подлинной жизни, — пушай прикасается. Здесь все голая правда.

(СС 6. Т. 2. С. 189–190)

Ранее это предисловие уже публиковалось в сборнике «Над кем смеетесь?!» (М.; Л., 1928. С. 125–126).

Интерес представляет также предисловие в том же сборнике к разделу ранних рассказов (всего 8 текстов), отличающееся от варианта СС 6:

Предупреждение

В этом отделе я помещаю первые свои рассказы. Они были написаны в 1920–1922 гг. И тогда же печатались в разных журналах и сборниках.

Шесть лет эти журналы и сборники лежали в моем письменном столе. В этом году я переезжаю на другую квартиру и боюсь, как бы мне не затерять сверток с драгоценными журналами. В силу этого я решил сохранить мои рассказы в этой книге.

Однако покупатель не должен огорчаться. Эти рассказы решительно неплохо написаны. В них много юношеского романтизма и темперамента.

Некоторые мои недоброжелатели находят, что эти рассказы лучше многих моих последующих и даже лучше «Сентимен-

тальных повестей». Эти старые рассказы будто бы написаны со всем жаром нерастроченной молодости.

Что ж, может быть! Я, действительно, был тогда молод и глуп. И писал, как поет птица. И было во мне, как бы сказать, множество всяких благодных соков.

А сейчас я стал суховат и староват. И начал уже слегка сесть в свои тридцать два года. И печень моя стала что-то пошаливать. Должно быть, от постоянного раздражения к своим героям.

Так что покупатель, дойдя до этого отдела, уж во всяком случае не должен пугаться, что тут-то его непременно обошли, опутали и всучили ему за его деньги какую-нибудь сплошную дрянь. Ничего подобного. Товар довольно-таки доброкачественный.

А которые покупатели из принципа не захотят все же читать эти молодые рассказы — то пуцай не читают. Пуцай тогда за автором будет двугривенный. Когда-нибудь рассчитаемся.

(Там же. С. 185–186)

Работу по собиранию журнальных публикаций текстов, не входивших в СС 6 и другие сборники Зощенко 1920-х гг., в значительной степени проделали Ю. В. Томашевский в СС 3 и М. З. Долинский в УГ.

Два тома нашего издания включают около 350 рассказов и фельетонов 1920-х гг. Основой для них стало СС 6. Все тексты, включенные в собрание (за считанными, оговоренными в примечаниях, исключениями), печатаются только по нему (в отличие от составителя УГ, опиравшегося на первые журнальные публикации, и составителя СС 3, часто обращавшегося к вариантам из сборников 1930-х гг.).

О специфике изменения ранних текстов в 1930-е гг. можно судить по переработке более чем двух десятков рассказов в «Голубой книге» (здесь они публикуются в вариантах 1920-х гг.; см. также примечания к «Рассказам Синебрюхова»).

Однако сохранять структуру подачи текстов в СС 6 представляется нецелесообразным. В нашем издании они печатаются в хронологическом порядке работы над ними (самые ранние рассказы, где это можно установить) или публикаций в периодике (у Зощенко она, как правило, почти совпадала с публикацией). Фельетоны также не выделяются в особый раздел. Граница между ними и «чистыми» рассказами подвижна: в разных сборниках Зощенко одни и те же тексты попадали в разные разделы.

Тексты, не включенные в СС 6, но публиковавшиеся в сборниках 1920-х гг., печатаются по этим сборникам. Лишь несколько фельетонов воспроизводятся по сборнику «Личная жизнь» (1934), здесь они практически не редактировались. Журнальные публикации, при жизни Зощенко не переиздававшиеся, но воспроизведенные Ю. В. Томашевским и М. З. Долинским, печатаются по СС 3 и УГ.

Таким образом, в настоящем издании впервые представлен единый хронологический срез Зощенко-рассказчика 1920-х гг. без учета последующей редактуры и авторредактуры. Именно этот автор триумфально вошел в советскую литературу 1920-х гг. и приобрел широчайшую известность.

Датировка текстов основывается на библиографии: Козлова Л. П. Зощенко Михаил Михайлович // Русские советские писатели. Прозаики. Библиографический указатель. Т. 2. Л., 1964. С. 78–114, а также на текстологических примечаниях в СС 3 и УГ.

Проверка de visu проводилась лишь в случаях противоречий между разными источниками (что позволило исправить несколько хронологических неточностей).

В примечаниях даются ссылки на первую публикацию и источник публикации в настоящем издании. Более подробно история текста прослеживается лишь в отдельных случаях.

В скобках после названия произведения указана страница в данном томе.

Автобиографии

О себе, об идеологии и еще кое о чем (с. 101)

Литературные Записки. 1922. № 3. 1 августа.

Печ. по: УГ. С. 578–580.

Воронский Анатолий Константинович (1884–1943) — критик, публицист, член РСДРП с 1904 года, после революции — видный организатор советской литературной жизни; главный редактор первого советского журнала «Красная новь»; репрессирован в 1937 г.

Гучков Александр Иванович (1862–1936) — государственный и политический деятель, один из создателей и лидер правой партии октябристов; после февральской революции был военным и морским министром Временного правительства; после Октябрьской революции — противник большевиков, эмигрировал в 1919 г.

Параскева (греч. Пятница) — христианская великомученица, обезглавленная во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане (3 в. н. э.); у восточных славян почиталась наряду с Бого-

родицей и Николаем Чудотворцем; день памяти — 28 октября (10 ноября); церкви и часовни, посвященные Параскеве называют Пятницами.

Зив Ольга Максимовна (1904–1963) — прозаик и журналист; в юности сочиняла стихи, была участницей поэтического семинара Н. Гумилева.

«*Записки бывшего офицера*» — см. об этом замысле: Томашевский Ю. «Записки бывшего офицера» (Ненаписанная книга М. Зощенко) // Звезда. 1994. № 8. С. 23–32; Слонимский М. Михаил Зощенко // Восп. С. 92–96.

«*Разнотык*» — второй сборник Зощенко, включавший четыре рассказа («Старуха Врангель», «Лялька Пятьдесят», «Веселая жизнь», «Рыбья самка»), был вскоре издан (Пг., 1923).

«*Рассказы Назара Ильича господина Синябрюхова*» — см. публикацию в этом томе и примечания к ней.

Гацкевич Зоя Александровна (1902–1973) — одна из «серапионовских девиц» (определение В. А. Каверина), часто бывавшая на заседаниях группы «Серапионовы братья»; издательский работник, жена серапионов Н. Никитина, позднее — М. Козакова.

Могилянский М. — критик, позднее опубликовал рецензию на сборник Зощенко «Разнотык» (Книга и революция. 1923. № 4).

Губер Петр Константинович (1886–1941) — прозаик и литературовед.

Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) — публицист и критик, неортодоксальный большевик; в 1917–1929 гг. — народный комиссар просвещения; автор неудачных драматических произведений, ссылка на него, как и на далее названных «современных поэтов», кажется, имеет иронический характер.

Нельдихен Сергей Евгеньевич (1891–1942) — поэт, сочинявший для взрослых и детей, достаточно известный в двадцатые годы.

[Автобиография] (с. 104)

Литературная Россия: Сборник современной русской прозы / Под ред. Вл. Лидина. М., 1924.

Печ. по: УГ. С. 581.

Я родился в Полтаве в 1895 году. — На самом деле, писатель родился в Петербурге 28 июля (9 августа) 1894 года; причины постоянной путаницы Зоценко в датах рождения (см. далее) неясны.

Первый мой рассказ... — Рассказ «Гришка Жиган» опубликован в книге «Петербургский сборник. Поэты и беллетристы» (1922); из контекста неясно, называет ли писатель этот рассказ первым написанным или первым опубликованным, ни то, ни другое, однако, неточно (здесь такая же неясность, как и с датами рождения).

О себе (с. 105)

Бегемотник: Энциклопедия «Бегемота»: Автобиографии, портреты, шаржи и избранные рассказы, стихи и рисунки наших юмористов — писателей и художников. Л., 1928.

Печ. по: УГ. С. 581–583.

Шебуев Николай Георгиевич (1874–1937) — писатель и издатель; еще раз о встрече с ним Зоценко вспомнит в биографическом фрагменте, завершающем «Возвращенную молодость» (1933).

Горький Максим (псевдоним Алексея Максимовича Пешкова, 1868–1936) — писатель, сыгравший в жизни Зоценко большую роль, помогавший ему в литературных и бытовых делах; ему посвящена «Голубая книга» (1935).

Шляпин Федор Иванович (1873–1938) — замечательный русский певец-бас, с 1922 г. в эмиграции, его фамилия упоминается в «Мемуарах старого капельдинера» (1923) и «Рассказе певца» (1924); других сведений о знакомстве Зощенко с Шляпиным нет.

Цензор Дмитрий Михайлович (1877–1947) — поэт-сатирик, приятель Зощенко, упоминается в рассказах «Случай в провинции» (1924) и «Пушкин» (ранее — «Гроб», 1927).

Два раза сидел с Сергеем Есениным в пивной. — Об этих встречах с поэтом Сергеем Александровичем Есениным (1895–1925) Зощенко подробно расскажет в книге «Перед восходом солнца (главки «Кафе “Двенадцать”» и «В пивной»).

«Старик Есенин нас заметил...» — иронический перифраз стиха из «Евгения Онегина»: «Старик Державин нас заметил...» (гл. 8, строфа 2).

Липатов — лицо неустановленное.

Тагор Рабиндранат (1861–1941) — индийский писатель и общественный деятель, посетил Советский Союз в сентябре 1930 г., но Зощенко с ним так и не встретился.

О себе, о критиках и о своей работе (с. 108)

Михаил Зощенко: Статьи и материалы. Л., 1928.

Печ. по: УГ. С. 584–586.

В Институте истории искусств читали доклад о моей литературной работе. — Заседание в Институте истории искусств (Исаакиевская площадь, 5), цитадели формализма, состоялось 7 февраля 1927 года (Летопись. С. 347). Запись об этом есть в дневнике В. В. Зощенко: «Я долго говорила с Михаилом, он собирался на доклад о се-

бе — в Институт истории искусств. Прочел мне свою статью о себе. И я почти поразилась — так хорошо и “всерьез” он ее написал. Был очень доволен моим отзывом» (Мат 1. С. 72).

Есть мнение, что сейчас заказан красный Лев Толстой. — О необходимости учиться психологическому мастерству у Толстого говорили многие писатели и критики 1920-х гг. К примеру, упоминаемый Зощенко А. К. Воронский в рецензии на роман А. Фадеева «Разгром» (1927) в котором наиболее полно был реализован социальный заказ на «красного Льва Толстого», писал: «У нас сейчас много толкуют и пишут о необходимости усилить психологизм в художественном слове. Против этого ничего нельзя возразить, но нужно в полной мере усвоить художественные открытия в этой области, сделанные Толстым и Достоевским. Следует всячески пожелать, чтобы художественные опыты Фадеева нашли сочувствие и среди других писателей» (Воронский А. К. Искусство видеть мир. М., 1987. С. 326).

Сатирикон — известный юмористический журнал, выходивший в дореволюционной России (1908 — 1914); здесь: журнальная юмористика, «чепуха собачья».

Карамзиновский стиль — возможно, ироническая контаминация фамилий Карамзина и героя романа Достоевского «Бесы» цветистого, напыщенного писателя Кармазинова — злой пародии на И. С. Тургенева.

Тагор — см. прим. к автобиографии «О себе».

Шкловский — см. далее пародию Зощенко на стиль Шкловского и прим. к ней. В качестве предшественника Шкловского, изобретателя «короткой, доступной бедным» фразы, часто называют журналиста В. М. Дорошевича (1864–1922).

В журнальном варианте были фрагменты, не вошедшие в книжный текст (Цит. по: УГ. С. 589–590).

Раньше, когда я был несколько помоложе, лет 5–7 тому назад, и был здоровее, я мог работать при любых условиях. Я писал где попало. Я мог писать в трамвае, на улице. Например, «Аристократку» я написал на лестнице, — т. е. весь план этого рассказа я набросал на лестнице. Я вспомнил одну фразу из события, которое мне рассказали, и на лестнице, на конверте письма, набросал сразу почти весь рассказ. Это так называемый рассказ, написанный в творческом подъеме.

Вопрос. Вы с самого начала писали юмористические рассказы?

Ответ. Нет, в начале моей литературной деятельности, в 21 году, я написал несколько больших рассказов. Это: «Любовь», «Война», «Рыбья самка». Мне показалось в дальнейшем, что форма большого рассказа, построенная на старой традиции, есть чеховская форма и [она] менее пригодна, менее гибка для современного читателя, которому, мне показалось, лучше давать краткую форму, точную и ясную, чтобы в ста или пятидесяти строчках был весь сюжет, никакой болтовни. Тогда я перешел на краткую форму, на маленькие рассказы. Их называют юмористическими. Собственно, это не совсем правильно. Они не юмористические. Под юмористическими мы понимаем рассказы, написанные ради того, чтобы посмешить. Но я писал не для того, чтобы посмешить; это складывалось помимо меня — это особенность моей работы.

Вопрос. Когда вы начали писать небольшие рассказы, вероятно, кто-нибудь на вас влиял? Чехов или О. Генри?

Ответ. О. Генри никакого влияния на меня не имел. Первые мои рассказы были написаны под влиянием старых традиций, может быть, Чехова, возможно, Гоголя. Это дело критики разобрать, как они написаны, под каким влиянием.

Вопрос. Чехов писал маленькие рассказы, пародии на чиновников своего времени, а вы смело высмеиваете наши общие недостатки. Почему бы вам не сочетать эти недостатки с достижениями? Сможете ли вы так начать работать?

Ответ. Вот, товарищи спрашивают, почему я пишу все о недостатках и несовершенствах, как говорил Гоголь: «о несовершенствах нашей жизни». Почему я не пишу о достижениях? Дело вот в чем, — мой жанр, т. е. жанр юмориста, — нельзя совместить с описанием достижений. Это дело писателей другого жанра. У каждого свой: трагический актер играет «Гамлета», комический актер играет «Ревизора», мне кажется, у каждого из них свое.

Мериме Проспер (1803–1870) — французский писатель; он написал много больше того, что упоминает Зоженко: пьесы, путевые заметки, работы по истории; собрание сочинений Мериме составляет шесть томов.

«*Сирень цветет*» (1929) — последняя из «Сентиментальных повестей», опубликованная в 1930 г.

[Как я работаю] (с. 112)

Литературная учеба. 1930. № 3. Примечание: Сокращенная и исправленная стенограмма беседы М. Зоженко в кабинете начинающего писателя в ленинградском Доме печати.

Повторно: Как мы пишем. Л., 1930. Без заглавия.

Печ. по: Как мы пишем. М., 1989. С. 42–50.

Сборник «Как мы пишем» появился на основе распространенной среди писателей анкеты, состоящей из 16 блоков вопросов (она приводится в предисловии). Свою задачу составители видели в том, чтобы «дать хотя бы краткие и не вполне систематизированные очерки технологии литературного мастерства, как оно понимается наиболее опытными мастерами современной литературы», и тем самым удовлетворить интерес «литературного молодняка». К участию были приглашены 30 советских писателей. В книге в алфавитном порядке помещены ответы 18 прозаиков, в том числе Андрея Белого, Горького, Замятина, Тынянова, Федина, Шкловского. Обещанный второй сборник, посвященный «анализу творческого процесса у поэтов», так и не появился.

[Автобиография] (с. 123)

Впервые: УГ. С. 591–593.

Печатается по этому изданию.

Основываясь на последней фразе, М. Долинский датирует автобиографию 1932 г.

Как Маяковский говорил: «Разжал уста и вот — пожалуйста» — Неточная цитата из поэмы «Облако в штанах» (1914–1915):

Я раньше думал —
книги делаются так:
пришел поэт,

легко разжал уста,
и сразу запел вдохновенный простак —
пожалуйста!

Автобиография (с. 127)

Советские писатели: Автобиографии. Т. 3. М., 1966.

Печ. по: УГ. С. 594–595.

Существует еще несколько аналогичных официальных автобиографий (См.: Мат 1. С. 31–33) и большой автобиографический фрагмент, завершающий «Возвращенную молодость (1933).

Как я пошел сражаться за советскую власть (с. 129)

Зощенко М. М. Рассказы. Фельетоны. Комедии. Неизданные произведения. М.; Л., 1962. С. 3–10.

Печатается по этому изданию.

Автобиографический рассказ, вероятно написан во второй половине 1957 г. и предназначался к публикации в связи с сорокалетием Октябрьской революции. В дневнике В. В. Зощенко 12 декабря 1957 г. отмечено: «Михаил стал рассказывать о своих тревогах — ни один из принятых рассказов “не пошел” — ни в “Крокодиле”, ни в “Новом времени” — куда так просили и так одобрили рассказ “Как я пошел воевать за Советскую власть”, — ни даже в “Костре” (“Ленинские рассказы”))» (Мат 3. С. 82).

Поздний Зощенко, в отличие от раннего, расставляет четкие акценты, приписывая помещикам-антиподам не только чувство мести, но и свою юношескую любовь к Блоку, а себе — идеологиче-

скую выдержанность и проницательность, отсутствием которой он бравировал в первой публикуемой в этом разделе автобиографии.

Булак-Булахович (Булак-Балахович) *Станислав Иннокентьевич* (1883–1940) — в 1918 г. командовал полком Красной Армии; перешел к белым и в 1919 г. воевал в составе наступавшей на Петроград армии генерала Юденича.

Пародии

Зощенко начал писать пародии в конце 1920 — начале 1921 гг. в литературной студии К. Чуковского во время работы над книгой критических статей «На переломе».

10 февраля 1922 г. М. Слонимский рассказывает М. Горькому о праздновании годовщины со дня основания группы «Серапионовы братья»: «Зощенко прочел дивные пародии: рассказы “Панель” (на меня) и “Кружевные травы” (на Всеволода) и статью о Серапионовых братьях (на Шкловского). Лучшая пародия на Всеволода. Кончается, например, так: “Савоська вскинул берданку на плечо и выстрелил. — Это я в Бога, сказал он и матерно улыбнулся”. Это “матерно улыбнулся” так и вошло у нас в поговорку» (Серапионовы братья. С. 20).

«Пародия была трамплином. Она и впоследствии была одним из любимых его жанров: он писал пародии на Е. Замятина, Вс. Иванова, В. Шкловского, К. Чуковского... Он оттачивал свое перо на этих пародиях: перечитайте их — и вы увидите живых людей, отчетливо просвечивающих сквозь прозрачную ткань стилизации... Как Зощенко “наслушался” своих героев, так он “начитался” и с блестящим воспроизвел изысканный стиль Евг. Замятина, парадоксаль-

ный В. Шкловского, “лирически-многоцветный” Вс. Иванова), — вспоминал позднее еще один серапионов брат В. Каверин (Восп. С. 116).

Не все упоминаемые выше тексты сохранились. Однако и сочиненные позднее восходят к самому началу писательского пути Зощенко и поэтому печатаются, вслед за М. Долинским, как своеобразный цикл.

О «Серапионовых братьях». Виктор Шкловский (с. 139)

Литературные записки. 1922. № 2. 23 июня.

Печ. по: УГ. С. 146–147.

Шкловский Виктор Борисович (1893–1984) — критик, литературовед, теоретик формальной школы. Был близок группе «Серапионовы братья». Писал о Зощенко в статьях «Серапионовы братья» (Книжный угол. 1921. № 7) и «О Зощенке и большой литературе» (Михаил Зощенко. Статьи и материалы. Л., 1928). В пародии воспроизводятся такие черты критической манеры Шкловского, как короткая фраза, ассоциативный монтаж фрагментов, соединение литературного анализа и биографических деталей.

Серапионовы братья — литературное общество, основанное в Петрограде в 1921 г., в год столетия публикации одноименного романа немецкого писателя-романтика Э. Т. А. Гофмана (Т. 1–4. 1819–1821). В общество входили М. Зощенко, Л. Лунц, Вс. Иванов, В. Каверин, М. Слонимский, К. Федин и др.

Стерн Лоренс (1713–1768) — английский писатель-сентименталист, о котором Шкловский не раз писал как о писателе-экспериментаторе; мемуарная книга Шкловского повторяет заглавие романа Стерна — «Сентиментальное путешествие» (1923).

Филдинг Генри (1705–1754) — английский романист, автор семейно-бытового романа «История Тома Джонса, найденыша» (1749) и др.

Первый альманах — «*Серапионовы братья*» — вышел в 1922 г., включал рассказы и повести Зощенко «*Виктория Казимировна*» (первый из «*Рассказов Синябрюхова*»), Л. Лунца, В. Иванова, Мих. Слонимского, Н. Никитина, К. Федина «*Песнь души*», В. Каверина.

Потебня Александр Афанасьевич (1835–1891) — русский филолог, теоретик психологической школы, которому Шкловский посвятил одну из первых своих полемических статей (1916).

«*Сантиментальное путешествие Йорика*» — роман Л. Стерна «*Сантиментальное путешествие по Франции и Италии*» (1768).

Розанов Василий Васильевич (1856–1919) — русский философ, журналист, критик; Шкловский написал о нем большую статью (1921); влияние стиля Розанова постоянно отмечалось в его работах.

Кружевные травы. Всеволод Иванов (с. 141)

Литературные записки. 1922. № 2. 23 июня.

Печ. по: УГ. С. 147–148

Иванов Всеволод Вячеславович (1895–1963) — писатель, один из самых близких Зощенко в 1920-е гг. людей. Пародия опирается на ранние повести Иванова «*Партизаны*» (1921), «*Бронепоезд 14-69*» (1922), «*Цветные ветра*» (1922), воспроизводя их цветистую метафорическую манеру и резкое соединение быта и политики в диалогах персонажей. Прозвище Савоськи объясняется тем, что один из персонажей повести «*Бронепоезд 14-69*» — китаец.

О Бор. Пильняке. К. И. Чуковский (с. 142)

Литературный еженедельник. 1923. № 36. 9 сентября.

Печ. по: УГ. С. 148–149.

Этой пародии на К. И. Чуковского (1882–1969) предшествовала другая, несохранившаяся, о которой сам объект пародирования рассказывал: «Я задал студистам (члены литературной студии при издательстве “Всемирная литература”, занятия в которой вел Чуковский — И. С.) очередную работу — написать небольшую статью о поэзии Надсона.

Через несколько дней я получил около десятка статей. Принес свою работу и Зощенко — на длинных листах, вырванных из бухгалтерской книги. Принес и подал с еле заметной ухмылкой:

— Только это совсем не о Надсоне...

— О ком же?

Он помолчал.

— О вас... <...>

Придя домой, я начал читать его рукопись и вдруг захохотал как сумасшедший. Это была меткая и убийственно злая пародия на мою старую книжку “От Чехова до наших дней”. С сарказмом издевался пародист над изъянами моей тогдашней литературной манеры, очень искусно утрируя их и доводя их до абсурда... <...>

Судя по заглавию, в пародии изображался гипотетический случай: что и как было бы написано мною, если бы я вздумал характеризовать в своей книге творчество Андрея Белого, о котором на самом-то деле я никогда не писал» (Восп. С. 36).

В примечании к этому фрагменту Чуковский упоминает и о сохранившейся у него рукописи пародии «Чуковский о Пильняке», датируя ее, однако, 1924 г. (Там же. С. 37).

При перепечатке пародии в «Однодневной Литературной газете» (Л., 1929. 2 мая) Зощенко кратко прокомментировал ее: «Эта пародия — на критические статьи К. И. Чуковского. Правда, К. И. Чуковский о Пильняке никогда не писал, но я предполагаю, как примерно должна выглядеть его статья, скажем, о Пильняке. Эта пародия написана мною несколько лет назад. И я имел в виду старые критические статьи Корнея Ивановича, главным образом, его книгу «От Чехова до наших дней»».

Почти буквальное совпадение заставляет предположить, что этот эпизод поздних воспоминаний Чуковского (1965) написан по канве примечания Зощенко.

В альбоме А. Е. Крученых, рядом с газетной вырезкой пародии, автор еще раз прокомментировал ее: «Эта пародия написана в 1923 г. и несколько исправлена в 1929 г. Пародировал отчасти статью Чуковского о Крученых! М. Зощенко» (Цит. по: УГ. С. 600–601). Ссылка на статью Чуковского о Крученых, вошедшую в сборник «Футуристы» (1922), возможно, была дипломатичным комплиментом, знаком благодарности владельцу альбома, собиравшему материалы о Зощенко.

Пильняк Борис Андреевич (наст. фамилия — Вогау, 1894–1941) — известный в 1920-е гг. писатель, автор романа «Голый год» (1921), где революция изображалась как стихия и в то же время большое место занимала любовно-эротическая проблематика.

Словное приключение. Зощенко о себе (с. 145)

Литературный еженедельник. 1923. № 39. 7 октября.

Печ. по: УГ. С. 149–150.

Автопародия на первую книгу Зощенко «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова», использующая прежде всего мотивы «Великосветской истории» и «Чертвинки».

Рассказы и фельетоны

Искушение (с. 147)

Культура и жизнь. 1922. № 1. 1 февраля. Печ. по: УГ. С. 160.

Новая редакция рассказа «Двугривенный» (весна 1914), самого раннего из сохранившихся художественных текстов Зощенко (см. раздел «Ранняя проза»).

Рыбья самка. Рассказ отца дьякона Василия (с. 148)

Литературный еженедельник. 1923. № 7.

Печ. по: СС 6. Т. 3. С. 202–210.

В сборнике «Разнотык» (Пг., 1923) авторская датировка: 1921 г., в ИП — 1920 г. По воспоминаниям В. В. Зощенко, рассказ писался зимой 1920–1921 гг. (Мат 1. С. 64).

Ю. В. Томашевский дает более узкую датировку: ноябрь — декабрь 1920 г. (Летопись. С. 343).

М. Слонимский вспоминает о чтении «Рыбей самки» в кружке «Серапионовых братьев» «в самом начале 1921 года» (Восп. С. 84).

Воспоминание об этом чтении и через тридцать лет сохранил Е. Шварц (дневниковая запись 23 января 1953 г.): «Когда вышел небольшой, смуглый, хрупкий, миловидный не по выражению, вопреки суровому выражению лица да и всего существа, человек, я подумал: “Ну вот, теперь мы услышим нечто соответствующее атласным обоям, креслам, колоннам и вывеске «Серапионовы бра-

тя»". И снова ошибся, был поражен, пришел уже окончательно в восторг, ободрился, запомнил рассказ "Рыбья самка" почти наизусть» (Шварц Е. Л. Живу беспокойно...: Из дневников. Л., 1990. С. 282).

Есть запись Зоценко, видимо, относящаяся к лету 1921 г.: «Очень понравилась Ал. Макс. (Горькому — И. С.) "Рыбья самка"» (Лицо и маска. С. 116).

Дарвин Чарльз Роберт (1809–1882) — английский естествоиспытатель, автор теории эволюции, существенным моментом которой является борьба за существование.

Шпалер — револьвер.

Мощи — нетленные останки умерших святых, способные, по мнению верующих, творить чудеса; выставлялись для поклонения в храмах; после революции многие захоронения вскрывались для доказательства тленности мощей и, следовательно, религиозного обмана.

Сусанин Иван Осипович (?–1613) — русский крестьянин, который, по распространенной легенде, спасая царя, завел польский отряд в непроходимое болото и был замучен врагами.

Карамболь — бильярдный термин: удар игрового шара по двум другим отскоком; в переносном смысле — столкновение, стычка.

Вистовать — быть, по правилам карточной игры, заодно с другим игроком; в переносном смысле — помогать.

Любовь (с. 157)

Литературная неделя. 1922. № 9.

Печ. по: СС 6. Т. 3. С. 187–201.

В предисловии к разделу ранних произведений в СС 6 Зощенко относил «Любовь» к числу первых «больших по размеру» рассказов, написанных в 1921 г. (Т. 3. С. 101). В. В. Зощенко называет его самым первым, созданным зимой 1920–1921 гг.: «Первый же рассказ — “Любовь” — был написан отчасти под влиянием “сватовства” ко мне Коли Брыкина, отчасти под влиянием истории Шуры Николаевой, которая в действительности выходила в ту зиму замуж за “пролетария” — какого-то комиссара, большевика... И эта история почему-то сильно волновала тогда Михаила...» (Мат 1. С. 63).

Коля Брыкин — бывший матрос, комиссар, ухаживавший за будущей женой Зощенко в 1920 г. и обращавшийся к нему: «Сколько ты возьмешь отступного за Веру Владимировну — жениться на ней хочу!» (Там же. С. 63).

Рассказ первоначально был предложен журналу «Красная новь», но был отвергнут редактором по идеологическим соображениям. «Тов. Воронский, письмо ваше я получил. Вы, конечно, правы. Тон моего рассказа, это точно, не идет вашему журналу. Но только это не контрреволюция, это я просто размахнулся на большее, чем нужно. Впрочем, я не оправдываюсь. Я хочу только вам сказать, что для “удовольствия белой печати” не писал и писать не хочу — пишу так, как есть. А если и выходит иной раз с душком — такова жизнь, а не я.

Рассказ “Любовь” подержу у себя, посмотрю, подумаю: может, и верно — изменю кое-что.

Пока посылаю рассказ “Черная магия”. Тоже бытовой», — писал Зощенко А. К. Воронскому 16 января 1922 г. (Серapiоновы братья. С. 18).

Сходного с Воронским мнения о направленности рассказа придерживался и Б. Пильняк, о чем Зощенко сообщает в постскрипту-ме цитируемого письма.

В позднейших письмах Воронскому Зощенко соглашался на редакционные изменения: «Тов. Воронский! Вы хотели что-то почиркать в рассказе моем “Любовь”. Если это незначительное и ущерба для рассказа не будет, то пожалуйста. Полагаюсь на усмотрение ваше. Хотелось бы мне рассказ этот видеть в “Красной нови”, а не в вересаевском альманахе» (февраль — май 1922 г.; Серапионовы братья. С. 29; ср. там же: С. 30–31). Однако в итоге рассказ не появился ни в «Красной нови», ни в упоминаемом вересаевском альманахе «Наши дни».

Красная улица — в центре Петербурга, недалеко от Сенатской площади, до 1918 г. называлась Галерной.

Никол угодник — Николай чудотворец, один из самых почитаемых русских святых.

Под шпилем — вероятно, Адмиралтейство, где располагались военно-морские учреждения, или здание поблизости, на Гороховой ул., д. 2, где в 1917–1918 гг. находилась петербургская ЧК.

Дезбелье — дезабилье (франц.), легкая домашняя одежда, которую не носят при посторонних; быть в дезабилье — быть не вполне одетым.

Афонский монашек — на полуострове Афон в Эгейском море находятся многочисленные монастыри, в том числе православные.

Ясочка — душечка, миленькая (Вл. Даль).

Краковяк — старинный танец, названный по имени г. Кракова; в 1920-е гг. считался «русским» танцем, противопоставленным

«идеологически чуждым» танго и тустепу (Левина Н. Б. Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии. 1920–1930 годы. СПб, 1999. С. 261).

Война (с. 171)

Веселый альманах. М.; Пб, 1923.

Печ. по: СС 6. Т. 3. С. 237–250.

В первоначальном рукописном варианте авторская дата — март 1921 г.; главы имеют заглавия: 1. Лисья шуба. 2. Штука. 3. Мятежники. 4. Федюша-сердцегрыз. 5. В овине. 6. Чертова Маруська. 7. Разбойники (Цит. по: УГ. С. 604). Первые три главы под названием «Лисья шуба» публиковались в «Литературной неделе» (1922. № 3. 4 июля). В. В. Зощенко называла рассказ вторым, написанным в зиму 1920–1921 гг. (после рассказа «Любовь») на основе эпизода из «большой повести» «Серый туман» (Мат 1. С. 63). Повесть см. в разделе «Ранняя проза».

Устюг — Великий Устюг, город в Вологодской области на р. Сухоне.

Клешники — матросы, носившие расклеванные брюки.

Хедив-паша — титул правителей Египта в 1867–1914 гг.

Старуха Врангель (с. 184)

Зощенко М. Разнотык. Пг., 1923.

Печ. по: СС 6. Т. 3. С. 174–186.

По свидетельству В. В. Зощенко, рассказ написан зимой 1920–1921 гг. (Мат 1. С. 64). В записях Зощенко 1921 г. отмечено: «23 мая. Читал “Старуху Врангель” в Доме искусств. Похлопали. Пожал кой-кому руку» (Лицо и маска. С. 115).

Об этом чтении есть запись в дневнике К. Чуковского 24 мая 1921 г.: «Вчера вечером в Доме Искусств был вечер “Сегодня” с участием Ремизова, Замятина — и молодых: Никитина, Лунца и Зоценко. Замятин в деревне — не приехал. Зоценко — темный, большой, милый, слабый, вышел на кафедру (т. е. сел за столик) и своим еле слышным голосом прочитал “Старуху Врангель” — с гоголевскими интонациями, в духе раннего Достоевского. Современности не было никакой — но очень приятно. Отношение к слову — фонетическое.

Для актеров такие рассказы — благодать. “Не для цели торговли, а для цели матери” — очень понравилось Ремизову, который даже толкнул меня в бок. Жаль, что Зоценко такой умирающий: у него как будто порвано все внутри. Ему трудно ходить, трудно говорить: порок сердца и начало чахотки» (Чуковский К. Дневник. 1901–1929. М., 1991. С. 170).

Через год, 28 мая 1922 г., Чуковский отмечает еще одну связанную с рассказом деталь: «Зоценко темный, молчаливый, застенчивый, милый. Не знаю, что выйдет из него, но сейчас мне его рассказы очень нравятся. Он (покуда) покладист. О рассказе “Рыбья самка” я сказал ему, что прежде конец был лучше; он ушел в Лидину комнату и написал прежний конец» (Там же. С. 211).

Весной 1921 г. рассказ читал М. Горький. Зоценко записывает: «Ал. Макс. Читал “Старуху Врангель”. Понравилось. Я был у него.

Он все время читал выдержки и говорил, что написано блестяще.

Но узко наш интерес. Даже только петербургский. Это плохо.

Как, сказал, мы переведем на индусский язык такую вещь? Не поймут» (Лицо и маска. С. 115).

И чуть позднее: «Очень понравилась Ал. Макс. “Рыбья самка”» (Там же. С. 116).

Первоначально публикация рассказа предполагалась в журнале «Россия», но там он был запрещен цензурой. В бюллетене Главлита (март 1923 г.) говорилось: «Смакование из номера в номер “гримас революции”. На этот раз здесь помещен рассказ “Старуха Врангель” (запрещен): советский быт изображается здесь приемами гофмановских кошмаров, следовательно ЧК — кретин с примесью хитренького паясничания — арестовывает старуху, та умерла со страха» (Художник и власть: 12 цензурных историй / Публ. А. Блюма // Звезда. 1994. № 8. С. 82).

Смоленское — кладбище на Васильевском острове с часовней Блаженной Ксении Петербуржской.

Энтре — искаженное франц. *entrez*, войдите.

К «Ниве» тут приложение — в приложении к журналу «Нива» издатель А. Ф. Маркс печатал наиболее популярных авторов, однако сочинения Горького там, кажется, не выходили.

Мельпомена — в греческой мифологии богиня трагедии.

Митрофаньевское — кладбище в районе Московских ворот, менее престижное, чем Смоленское, первоначально называлось Холерным, потому что на нем хоронили умерших от болезней.

Лялька Пятьдесят (с. 196)

Красная новь. 1922. № 1.

Печ. по: СС 6. Т. 5. С. 204–212.

По утверждению В. В. Зощенко, рассказ написан зимой 1920–1921 гг. (Мат 1. С. 64). Однако в СС 6 авторская дата 1922 г. (С. 212). Возможно, Зощенко обозначил год публикации рассказа.

Фартовый — счастливый, удачливый.

Николаевская — улица в центре Петербурга, отходящая от Невского проспекта, в 1918 г. переименована в ул. Марата.

Косая, косуха — на воровском жаргоне — тысяча рублей.

Ходя — китаец, иностранец.

Шелковая юбочка фру-фру — юбка с широкой оборкой из сильно шуршащей шелковой ткани, отсюда звукоподражательное название — от франц. *frou-frou*, шуршание шелка, шорох листвы.

Шпалер — см. прим. к «Рыбьей самке».

Гончарная — улица вблизи Невского проспекта и Московского вокзала.

Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова (с. 204)

Зощенко Михаил. Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова. Пг., 1922.

Авторская датировка: Октябрь, 1921 г. Петербург.

Печ. по: СС 6. Т. 1. С. 227–278.

История издания первой книжки Зощенко, на самом деле вышедшей в кооперативном издательстве «Эрато» в декабре 1921 г., изложена в воспоминаниях Е. Полонской.

«Однажды вечером у “Серапионовых братьев” я предложила Зощенко и Груздеву издать свои книги. — У меня есть несколько вещицек, — сказал Зощенко, — и я издал бы их отдельным сборни-

ком, назвав его “Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова”.

Мы договорились о пае, и Зощенко принес свою рукопись, поставив условие не печатать его фамилию на обложке, а пометить ее только на титульном листе. Он потребовал также, чтобы обложка была из самой дешевой оберточной бумаги, наподобие лубочных изданий. Одновременно принес свою рукопись Костя Державин, который озаглавил свое произведение: “О трагическом”, а на титульном листе он добавил слово: “Опыт”. <...>

Вскоре я принесла на очередное собрание “Серапионов” пачку свежеспавнувших типографской краской брошюр, где на передней обложке крупными буквами было набрано:

РАССКАЗЫ НАЗАРА ИЛЬИЧА
ГОСПОДИНА СИНЕБРЮХОВА

Михаил Михайлович взял принесенный мною пакет и вышел в коридор, чтобы там посмотреть его содержимое. Тем временем в комнате М. Слонимского я рассказала товарищам, какой успех имели рассказы Зощенко у наборщиков. Метранпаж сказал Берману: “Я никогда не слышал, чтобы наши наборщики так смеялись! Книга будет иметь успех”.

Кто-то вспомнил о том, что такой же успех имели у наборщиков “Вечера на хуторе близ Диканьки”.

В это время вернулся Михаил Михайлович, мрачный, и в руках его был пакет, который он подал мне со словами:

— Возьмите, мне это не нужно.

Мы развернули пакет и когда раскрыли книги, то обнаружили, что под обложкой “Синебрюхова” находится книжка Константина

Державина “О трагическом. Опыт”. Оказывается, брошюровщицы ошиблись.

Зощенко был очень рассержен. Мы стали уговаривать его не придавать значения случившемуся, говорили, что обложку можно переклеить. Зощенко молчал. Мы знали, что он очень вспыльчив, но никогда не показывает этого на людях.

Костя Державин не стал “принципиальничать” и получил экземпляры своей книжки, с которой сорвал собственноручно чужие обложки» (Восп. С. 151–153).

Текст в СС 6 практически не отличается от первоначального. Изменен лишь финал «Великосветской истории». Вместо последнего абзаца («А нашли клад или не нашли — я не знаю. Я в тех местах больше не бывал») ранее было: «И все впустую. Нету нигде молодого князя вашего сиятельства...

А нужно передать ему, что план местонахождения — в разоренном на слом гусином сарае, пройдя сорок шагов от коровьего хлева вбок.

Вот и весь сказ.

Да, рубль дареный и посейчас зашит в ватном жилете».

Причем этот финал появился уже во втором издании «Рассказов...» (Л., 1926).

Остальные различия — пунктуация и незначительная стилистическая правка.

В ИП текст претерпел изменения в трех направлениях.

1. Появилась существенно сглаживающая сказ стилистическая правка: «сука» заменена «канальей», «сволочь паршивая» — «паршивцем», «хрестьяне» превратились в «крестьян», «часишки браслетой» — в «часишки с браслеткой» и т. п.

2. Часть подобной правки имеет, вероятно, цензурный характер: в новелле «Чертовинка» исчезло трижды упоминаемое имя Ленина, вместо «Что ж ты, так твою так, выступаешь супротив Ленина?» появилось «...выступаешь супротив нас?»; в «Гиблом месте» был расширен эпизод с убийством бабки Василисы, специально пояснено, что ее убийцами стали не красные или белые, а зеленые: «Нет, не угадала, мамаша. Мы — зеленая армия. И мы идем против белых и против красных под лозунгом “Догорай моя лучина”. И тут они взяли бабку за руку и застрелили ее во дворе».

3. Детализированы, прояснены психологические мотивировки поведения персонажей, появился дополнительный исторический комментарий, часто весьма прямолинейный. В финале «Великосветской истории», к примеру, существенно расширенном по сравнению с СС 6, появился обличительный монолог советского комиссара: «Вот, — говорит, — взгляните на барского холуя. Уже довольно давно совершилась революция, а он все еще сохраняет свои чувства и намерения и не желает показать, где есть дворянское добро. Вот как сильно его князья одурачили!»

В результате текст потерял фабульную остроту и парадоксальность, приблизившись к привычным канонам психологической прозы.

Эту редакцию 1930-х гг. см. в СС 3 (Т. 1. С. 26–58, с двумя цензурными купюрами, к счастью, обозначенными).

Мария Египетская — в христианских легендах раскаявшаяся блудница, ставшая отшельницей и жившая в пустыне.

Пипин Короткий (714–768) — король франков с 751 г., основатель династии Каролингов.

Командир по выбору — после Февральской революции и изданного Петроградским советом 1 марта 1917 г. приказа № 1 некоторые армейские должности стали выборными.

Верхняя Силезия — область в верхнем течении р. Одер, которая после первой мировой войны отошла к Польше (1922).

Гочкис — скорострельная пушка-картечница, находящаяся на вооружении в русской армии с 1872 г.; названа по фамилии американского инженера-изобретателя.

Подчасок — запасной солдат, сменяющий часового в случае необходимости.

Георгий — орден святого Георгия, георгиевский крест, которым награждали за личную храбрость, имел четыре степени.

Урицкая площадь — название Дворцовой площади в 1923–1944 гг., переименованной в память об убитом в 1918 г. в здании Главного штаба председателе Петроградской ЧК М. С. Урицком.

Советский брак — гражданский брак, зарегистрированный по советским законам, противопоставлен церковному браку, венчанию.

Испанская болезнь, испанка — форма гриппа, свирепствовавшего в Европе в 1918–1919 гг.

Гришка Жиган (с. 253)

Петербургский сборник: Поэты и беллетристы. Пг., 1922.

Печ. по: СС 6. Т. 1. С. 188–194.

Авторская дата в СС 6: 1921.

По свидетельству В. В. Зощенко, рассказ написан зимой 1921–1922 г: «В ту зиму он писал свои большие рассказы — из де-

ревенской и “старой жизни” — “Черная магия”, “Гришка Жиган”, “Последний барин”, “Веселая жизнь”, а также начал писать мелкие юмористические рассказы» (Мат 1. С. 65–66).

Схимонашенка — монахиня-затворница, соблюдающая монашеские правила наиболее строго, особая, высшая степень монашества.

Черная магия (с. 259)

Наши дни. Художественный альманах. Кн. I. М., 1922.

Первоначально рассказ предлагался в журнал «Красная новь» (см. выше письмо Зощенко А. К. Воронскому 16 января 1922 г. в прим. к рассказу «Любовь»), но там опубликован не был.

Печ. по: СС 6. Т. 5. С. 213–230.

Авторская дата в СС 6: 1921.

Веселая жизнь (с. 275)

Петроградская правда. 1922. 25 июня.

Печ. по: СС 6. Т. 1. С. 211–221.

Митрофаньевское — см. прим. к «Старухе Врангель».

Машер — франц. *ma chère*, моя дорогая.

Катенька, катька — сторублевая купюра в дореволюционной России.

Бланманже (франц.) — сливочное желе.

Последний барин (с. 285)

Красный журнал для всех. 1922. № 2. Декабрь.

Печ. по: СС 6. Т. 3. С. 222–236.

Цугом двенадцать лошадей — запряжка лошадей парами или гуськом одна за другой.

Балдахин — навес из ткани.

Екатерина II — русская императрица в 1762–1796 гг; примечательно, что герой рассказа носит фамилию фаворита императрицы П. А. Зубова.

Рассказ про попа (с. 299)

Зоценко М. Юмористические рассказы. Пг.; М., 1923.

Печ. по: СС 6. Т. 3. С. 165–173.

Авторская дата в СС 6: 1922.

Бедный Трупиков (с. 307)

Зоценко М. Юмористические рассказы. Пг.; М., 1923.

Печ. по этому изданию.

В сб. «Личная жизнь» (Л., 1934) текст слегка отредактирован (в частности, снят последний абзац), назван «Учитель» и помещен в разделе «Фельетоны». Этот вариант см.: СС 3. Т. 1. С. 122–123.

Александр I — русский император в 1801–1825 гг., в первой половине царствования проводил реформы государственной системы.

Метафизика (с. 309)

Мухомор. 1922. № 11. Октябрь.

Печ. по: Зоценко М. Юмористические рассказы. Пг.; М., 1923. С. 33–37.

Брак гражданский — см. прим. к «Рассказам Синябрюхова» (советский брак).

Письма в редакцию (с. 313)

Мухомор. 1922. № 12. Ноябрь.

Печ. по: Зошенко М. Юмористические рассказы. Пг.; М., 1923.

С. 17–21.

В журнале текст состоял из шести писем в иной композиции. Главки «Прелести нэпа» и «Театральная жизнь» отсутствовали. Зато было шестое, последнее, письмо, в текст сборника не вошедшее:

Зарвавшийся хозяйчик

Шито-крыто обдывал свои делишки хозяйчик, да нагрнула милиция. Хозяйчик дурачком прикинулся. Этот, — говорит, — приказчик — моя тетка, а этот — родная бабушка. Стали раздевать эту бабушку, а она ничего подобного, оказалась не родственница даже, а вообще не зарегистрированная на Бирже Труда.

Свидетель Гусев

В СС 6 (Т 1. С. 37–40) главка «Театральная жизнь» сокращена вдвое (фрагмент о дамской спине), изменены некоторые подписи под письмами.

Пепо — Петроградское единое потребительское общество.

Панама — обман, жульничество; в 1879 г. во Франции была создана акционерная компания, собиравшая деньги на строительство Панамского канала и после многочисленных злоупотреблений разорившаяся в 1888 г., оставив ни с чем множество держателей акций.

Сенсационные известия (с. 317)

Мухомор. 1922. № 12. Ноябрь. Подпись: М. З. Печ. по: УГ. С. 150–151.

Пуанкаре Раймон — известный французский политический деятель, президент Франции (1913–1920). Другие фамилии пародийны, условны.

Обязательное постановление (с. 319)

Мухомор. 1923. № 14. Январь.
Печ. по: УГ. С. 151–152.

Мемуары старого капельдинера (с. 320)

Мухомор. 1923. № 14. Январь.
Печ. по: Зощенко М. Юмористические рассказы. Пг.; М., 1923. С. 30–32.

Шаляпин — см. прим. к автобиографии «О себе».

«*Русалка*» — опера А. С. Даргомыжского (1855) на сюжет одноименной незаконченной драмы А. С. Пушкина; Шаляпин исполнял в ней партию Мельника.

Глазунов Александр Константинович (1865–1936) — русский композитор и дирижер, долгие годы работал в Петербургской консерватории.

Вагнер Рихард (1813–1883) — немецкий композитор-реформатор, создатель так называемой оперы-драмы.

Юрьев Юрий Михайлович (1872–1948) — драматический актер, долгие годы работал в Александринском театре, с 1922 г. стал его художественным руководителем.

Новый письменник (с. 323)

Мухомор. 1923. № 15. Январь.

Печ. по: УГ. С. 152–154.

Письмовник издания Сытина — русский книгоиздатель И. Д. Сытин (1851–1934) издал в начале XX века несколько пособий с образцами разных жанров писем — деловых, частных, любовных.

Мадонна (с. 326)

Красный журнал для всех. 1923. № 1/2.

Печ. по: Уважаемые граждане. М.; Л., 1926. С. 89–99.

Тот же персонаж, Винивитькин, уже встречался в рассказе «Ме-тафизика» (см. выше).

Надворный советник — в дореволюционной России гражданский чин седьмого класса (из 14), соответствующий военному — подполковник.

Коллежский регистратор — гражданский чин последнего, четырнадцатого класса.

Ваше высокоблагородие — титульное обращение к чинам 6–8 классов; *ваше благородие* — обращение к чинам 9–14 классов.

Журфикс (франц. — определенный день) — прием гостей в определенный день недели.

Буржуйка — железная печка-временка, которую устанавливали в квартирах в годы революции и гражданской войны при отсутствии центрального отопления.

«Палас» — кинотеатр на Невском проспекте, д. 72.

Пено — см. прим. к «Письмам в редакцию».

Приват-доцент — внештатный преподаватель в вузах дореволюционной России.

Палкин — ресторан на Невском проспекте, д. 47, считавшийся одним из лучших заведений с «русской кухней».

Сенатор (с. 336)

Огонек. 1923. № 4.

Печ.по: СС 6. Т. 1. С. 181–187.

Вор (с. 342)

Огонек. 1923. № 5.

Печ. по: СС 6. Т. 1. С. 175–180.

Налетчик — бандит, занимающийся нападениями на людей с целью грабежа; иная воровская «специальность» по сравнению с карманником.

Парголово — дачный пригород Петербурга по Финляндской железной дороге.

Собачий случай (с. 348)

Красный ворон. 1923. № 6. Заглавие: Свободная профессия. Посвящение: Посвящается студентам Зоотехнического института. Впрочем, некоторым, а не всем.

Печ. по: СС 6. Т. 3. С. 141–143.

Веселая масленица (с. 350)

Красный ворон. 1923. № 7.

Печ. по: Зощенко М. Юмористические рассказы. Пг.; М., 1923. С. 38–41.

Масленица — праздник проводов зимы, восьмая неделя от Пасхи, падающая на конец февраля — начало марта; блины — обязательная ритуальная пища на масленицу.

Снеток — небольшая северная озерная рыбка, обычно употреблявшаяся сушеной.

Сила таланта (с. 353)

Красный ворон. 1923. № 7. Подпись: М. З.

Печ. по: Зощенко М. Юмористические рассказы. Пг.; М., 1923. С. 47–48.

Веселые рассказы (с. 355)

Предисловие, Рассказ о том, как у Семен Семеныча кружка пропала, Рассказ о герое германской кампании — Красный журнал для всех. 1923. № 3/4 .

Рассказ о том, как Семен Семенович в Лугу ездил — Дрезина. 1923. № 3. Июнь. Заглавие: Дисциплина.

Печ. по: СС 6. Т. 3. С. 153–164.

Семен Семенович Курочкин в 1923–1924 гг. стал еще одним, после Синебрюхова, сквозным героем-рассказчиком Зощенко. В сборнике «Веселая жизнь» (Л., 1924) в цикл «Веселые рассказы» вошло 12 текстов, ранее опубликованных в разных журналах (подробно см.: УГ. С. 605). Однако уже в сборнике «Над кем смеетесь?!» (М.; Л., 1928) и затем в СС 6 цикл был расформирован, большинство рассказов получили новые заглавия и публиковались отдельно (см. дальнейшие примечания). Третий рассказ оставшегося микроцикла также публиковался отдельно под заглавием «Дисциплина» (см.: СС 3. Т. 1. С. 126–128).

Хиромантка — гадалка по руке.

Гинденбург Пауль фон (1847–1934) — командующий Восточным фронтом во время первой мировой войны, с 1925 г. — президент Германии.

Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926) — генерал, в 1916 г. осуществил успешное наступление на Юго-Западном фронте, так называемый брусиловский прорыв.

Пуанкаре — см. прим. к «Сенсационным известиям».

Патагония — природная область в Латинской Америке, часть Аргентины.

Попугай (с. 367)

Красный журнал для всех. 1923. № 3/4. Заглавие: Рассказ о том, как Семен Семенович Курочкин попугая на хлеб менял.

Печ. по: СС 6. Т. 1. С. 200–204.

Входил в цикл «Веселые рассказы» (см. выше). В сборниках 1930-х гг. появилась точная датировка: «Позабывать начали, как это мы голодовали раньше, скажем, в девятнадцатом году» (выделено дописанное — И. С.). Несколько изменен и расширен финал. После реплики мужика: «Я бы, говорит, тебе за нее четыре пуда дал» — следует: «Мне, говорит, очень последнее время попугаи нужны. Если, говорит, у тебя еще будут продажные попки — валяй, приноси.

Я говорю:

— Ладно. Принесу. Держи карман шире.

В общем, я вернулся домой в полном огорчении и больше в деревню не ездил».

Этот вариант см.: СС 3. Т. 1. С. 129–132.

Ядрица — гречневая крупа из нераздробленных зерен.

Бабкин муж (с. 372)

Пламя. Тифлис. 1923. № 2. 15 мая.

Печ. по: Зощенко М. Аристократка. Пг.; М., 1924. С. 48–52.

Авторская дата в первой публикации: 3 апреля 23 г. Москва.

В сборник рассказ вошел с незначительными изменениями. В ином варианте публиковался в «Красном вороне» (1923. № 43. Ноябрь). См. об этом: УГ. С. 605–606.

Нищий (с. 375)

Красная панорама. 1923. № 4. 26 мая.

Печ. по: СС 6. Т. 1. С. 28–29.

В первой редакции (см.: УГ. С. 182–183) диалоги между рассказчиком и нищим были пространнее: проситель упоминал о падающем курсе рубля, после отказа героя угрожал заявить в инспекцию и пр., причем речь шла о пяти, двух, наконец, семи рублях подаяния, а не о постоянном полтиннике. В СС 6, убрав конкретные детали, Зощенко превратил бытовой фельетон в притчу.

Карусель (с. 377)

Дрезина, 1923. № 1. Май. Заглавие: Бесплатно.

Печ. по: СС 6. Т. 1. С. 30.

Существенно переработанный и расширенный, рассказ вошел в «Голубую книгу» под заглавием «Сколько человеку нужно» (раздел «Деньги»).

Четверо (с. 378)

Дрезина. 1923. № 1. Май. Подпись: З.

Печ. по: УГ. С. 184–185.

ДСП — по железнодорожному шифру, помощник начальника станции.

ПД — вероятно, путевой дежурный.

Архимандрит — высшее монашеское звание иеромонаха, обычно настоятеля мужского монастыря.

Свиное дело (с. 380)

Дрезина, 1923. № 1. Май.

Печ. по: Зошенко М. Кризис. Л., 1926. С. 10–14.

В СС 3 (Т. 1. С. 123–125) со ссылкой на это издание опубликован другой вариант рассказа.

Тревога (с. 384)

Дрезина. 1923. № 2. Май.

Печ. по: УГ. С. 185–187.

Электрификация (с. 388)

Дрезина. 1923. № 2. Май. Подпись: Назар Синебрюхов.

Печ. по: СС 3. Т. 1. С. 452–453.

Об овощах и прочем (с. 391)

Дрезина. 1923. № 2. Май. Подпись: Назар Синебрюхов.

Печ. по: СС 3. Т. 1. С. 454–455.

ГПУ — Государственное политическое управление, орган госбезопасности, в 1922 г. преобразованный из ВЧК; помимо борьбы с внешними врагами, осуществлял слежку и политическое преследование советских граждан.

Веселые вечера (с. 393)

Дрезина. 1923. № 3. Июнь. Подпись: Назар Синебрюхов.

Печ. по: СС 3. Т. 1. С. 455–456.

Нэпач (нэпман) — частный предприниматель эпохи нэпа, новой экономической политики, введенной с 1921 г.

Плохая ветка (с. 395)

Дрезина. 1923. № 3. Июнь. Подпись: Назар Синебрюхов.

Печ. по: СС 3. Т. 1. С. 128–129.

Матреница (с. 397)

Литературный еженедельник. 1923. № 23. 9 июня.

Печ. по: СС 6. Т. 2. С. 70–75.

В СС 6 вошел существенно переработанный текст. Первоначальный вариант см.: УГ. С. 187–190. В новой, третьей, редакции рассказ включен в «Голубую книгу» под заглавием «Рассказ о том, как жена не разрешила мужу умереть» (раздел «Деньги»).

Большая Пушкирская улица — на Петроградской стороне в Петербурге, в журнальном варианте вместо нее называлась находящаяся в том же районе Большая Разночинная улица.

Несколько слов в защиту начальников (с. 402)

Дрезина. 1923. № 4. Июнь. Подпись: Назар Синебрюхов.

Печ. по: УГ. С. 190–192.

Холостые пожарные танцуют (с. 405)

Еще не так страшно! (с. 406)

Не все сразу (с. 406)

Дрезина. 1923. № 4. Июнь. Подпись: М. З. (все три миниатюры как цикл с единой подписью).

Печ. по: УГ 192–194.

ДСП — см. прим. к фельетону «Четверо».

Спецодежда, или Бери, боже, что нам не гоже (с. 408)

Дрезина. 1923. № 4. Июнь.

Печ. по: УГ. С. 194–196.

Дорпрофсоюз — дорожный комитет профсоюза работников железнодорожного транспорта.

Маркизет — тонкая прозрачная хлопчатобумажная или шелковая ткань из крученой пряжи.

Фру-фру — см. прим. к рассказу «Лялька Пятьдесят».

Сдвиг (с. 410)

Дрезина. 1923. № 5. Июль.

Печ. по: УГ. С. 196–197.

Молитва (с. 413)

Дрезина. 1923. № 6. Август.

Печ. по: СС 6. Т. 1. С. 27.

Горькая доля (с. 414)

Дрезина. 1923. № 6. Август.

Печ. по: СС 3. Т. 1. С. 141–143.

Фабула и героиня рассказа представляются комической трансформацией мотивов чеховской «Душечки».

Этна — действующий вулкан на о. Сицилия в Италии.

Волховстрой — строительство Волховской ГЭС в 1921–1926 гг. по плану ГОЭЛРО, государственной электрификации.

Кессон (франц. — ящик) — в гидротехнике специальная камера для подводных работ, в которой вода вытесняется с помощью сжатого воздуха.

Речь, произнесенная на банкете (с. 417)

Дрезина. 1923. № 7. Август. Заглавие: Речь о взятке.

Печ. по: СС 6. Т. 3. С. 103–104.

В СС 6 рассказ существенно переработан. Первоначальный вариант см.: УГ. С. 198–199.

Не по тому адресу (с. 418)

Ругатели (с. 419)

С перепугу (с. 420)

Комар носа не подточит (с. 421)

Обязательное постановление (с. 421)

Хотя и брехня, но зато здорово (с. 422)

«Цены значительно понижены» (с. 423)

«Из мира науки» (с. 423)

Дрезина. 1923. № 7. Август. Подпись: Н. С. (все восемь миниатюр как цикл с единой подписью).

Печ. по: УГ. С. 199–202.

Керзон Джордж Натаниэл (1859–1925) — министр иностранных дел Великобритании, в мае 1923 г. направил Советскому правительству меморандум с резкими политическими требованиями; этот «ультиматум Керзона», в свою очередь, стал основой политической кампании в советской печати.

Европа (с. 424)

Красный ворон. 1923. № 30. Заглавие: Рассказ о том, как один русский гражданин поехал в Европу омолаживаться.

Печ. по: Зощенко М. Аристократка. Пг.; М., 1924. С. 10–13.

Вола вертите — волыните, тянете время; выражение, популярное в советском языке двадцатых годов, оно часто встречается, например, у Маяковского.

Новый человек (с. 427)

Красный ворон. 1923. № 31.

Печ. по: СС 3. Т. 1. С. 154–155.

Писатель (с. 430)

Красный ворон. 1923. № 32.

Печ. по: СС 3. Т. 1. С. 155–157.

Агитатор (с. 433)

Красный ворон. 1923. № 33.

Печ. по: СС 6. Т. 1. С. 84–86.

Керзон — см. прим. к заметкам «Не по тому адресу...»

Старая крыса (с. 435)

Красный ворон. 1923. № 34.

Печ. по: СС 6. Т. 1. С. 128–131.

Приятная встреча (с. 438)

Красная нива. 1923. № 35.

Печ. по: УГ. С. 202–204.

Существует одноименный рассказ: Чудак. 1929. № 39 (см. Т. 2).

Свинство (с. 442)

Дрезина. 1923. № 8. Сентябрь. Заглавие: Рассказ о том, как Иван Петрович хотел по-новому назвать своего младенца.

Печ. по: Зощенко М. Аристократка. Пг.; М., 1924. С. 14–17.

Неизвестный друг (с. 445)

Дрезина. 1923. № 9. Сентябрь.

См. также: Пламя. Царицын, 1924. № 1.

Печ. по: СС 6. Т. 2. С. 66–69.

Руковод (с. 448)

Дрезина. 1923. № 10. Октябрь. С. 5. Подпись: М. З.

Печатается по тексту первой публикации.

Сценка не переиздавалась.

Баба (с. 449)

Красный ворон. 1923. № 35.

Печ. по: СС 6. Т. 1. С. 31–33.

Честный гражданин. Письмо в милицию (с. 452)

Красный ворон. 1923. № 36. Подзаголовок: Заявление начальнику губмилиции. Подпись: Семен Петрович Егудилов.

Печ. по: СС 6. Т. 1. С. 31–33.

Протокол (с. 454)

Красный ворон. 1923. № 37.

Печ. по: СС 3. Т. 1. С. 163–165.

Американцы (с. 457)

Красный ворон. 1923. № 38.

Печ. по: СС 6. Т. 3. С. 128–130.

Прятели (с. 460)

Красный ворон. 1923. № 39.

Печ. по: УГ. С. 208–210.

Беда (с. 463)

Красный ворон. 1923. № 40.

Печ. по: СС 6. Т. 1. С. 87–91.

Рассказ публиковался также под заглавием «Спрыснул».

Жертва революции (с. 468)

Красный ворон. 1923. № 41.

Печ. по: СС 6. Т. 1. С. 120–124.

В 1930-е гг. Зощенко добавил в рассказ несколько дополнительных идеологических разъяснений, отражающих жаргон эпохи.

После реплики: «А это, — говорят, — мы которых аристократов в грузовик сажаем и арестовываем» — появилось: «Ликвидируем этот класс» (ср. лозунг коллективизации: ликвидация кулачества как класса). Этот вариант см.: СС 3. Т.1. С. 168–170.

Офицерская улица — между Вознесенским проспектом и рекой Пряжкой, с 1918 г. улица Декабристов.

Тщеславие (с. 471)

Красный ворон. 1923. № 42.

Печ. по: Зоценко М. Аристократка. Пг.; М., 1924. С. 59.

Вероятно, это переработка одной из самых ранних юмористических миниатюр писателя. В. В. Зоценко вспоминала: «О первых шагах Зоценко в литературе можно говорить лишь начиная с 1914–1915 годов. Четырнадцатым годом помечены два рассказа — “Тщеславие” и “Двугривенный”. Они были написаны девятнадцатилетним автором еще до германской войны. Первый рассказ — о барышне, из тщеславия покупавшей французскую газету, хотя по-французски она не понимала» (Восп. С. 6). «Двугривенный» см. в разделе «Ранняя проза», в переработанном виде он превратился в рассказ «Искушение» (см. выше).

Прево Марсель Эжен (1862–1941) — французский писатель, автор любовно-психологических романов.

Аристократка (с. 472)

Красный ворон. 1923. № 42.

Печ. по: СС 6. Т. 2. С. 11–15.

В цикл «Веселые рассказы» (1924, см. выше) входил под заглавием «Рассказ о том, как Семен Семенович в аристократку влюбился».

Обстоятельства создания рассказа отражены в воспоминаниях М. Слонимского: «Писал Зощенко в те годы много, рассказ следовал за рассказом. Вспоминаю, как он, посидев у меня, пошел по делам в своей кепочке (он так до конца дней и не сменил кепку на мягкую шляпу). И вдруг через какой-нибудь час, может быть даже меньше, стук в дверь, и он появился снова у меня в комнате. Он был несколько возбужден, улыбался, в глазах как бы застыл смех.

— Понимаешь, — сказал он с некоторым недоумением, — написал сейчас рассказ.

— Как так? Ведь ты же уходил...

— Да нет. На лестнице схватило, и пришлось вернуться. Все-таки, знаешь, — прибавил он вдруг, — это вроде болезни. Вообще от хорошей жизни писателем не становятся. Надо что-то претерпеть или вообще стать больным.

Смех в его глазах растаял.

Рассказ, который он написал тогда, был «Аристократка», одна из самых знаменитых его вещей» (Восп. С. 87).

Герой (с. 476)

Красный ворон. 1923. № 44. Заглавие: Медаль.

Печ. по: СС 6. Т. 1. С. 25–26.

В «Бегемоте» (1926. № 4) опубликован одноименный фельетон (см. Т. 2).

Человеческое достоинство (с. 478)

Красный ворон. 1923. № 45.

Печ. по: Зощенко М. Нервные люди. Харьков, 1928. С. 70–73.

Божественное (с. 481)

Красный ворон. 1923. № 46. Заглавие: В двух соснах.

Печ. по: СС б. Т. 2. С. 209–210.

Жених (с. 483)

Красный ворон. 1923. № 47.

Печ. по: СС б. Т. 1. С. 97–101.

Последнее Рождество (с. 488)

Красный ворон. 1923. № 48.

Печ. по: СС б. Т. 1. С. 60–64.

Крепкая женщина (с. 491)

Дрезина. 1923. № 15. Декабрь. Подпись: Назар Синебрюхов.

Печ. по: УГ. С. 214–215.

Сказки для детей (с. 493)

Зоценко М. Юмористические рассказы. Пг.; М., 1923. С. 22–26.

Печатается по этому изданию.

Публикация в периодике не установлена. Впоследствии рассказ, кажется, тоже не переиздавался.

...лучше я аборт сделаю. Нынче уголовный закон это не преследует. — Запрещенный Уложением о наказаниях в 1845 г., аборт был легализован постановлением наркоматов юстиции и здравоохранения 18 ноября 1920 г.

Эс-еренький волк — обыгрывается аббревиатура партии социалистов-революционеров, эсеры; после революции часть эсеровской партии вступила в вооруженную борьбу с большевиками.

Шмендефер (франц.) — железная дорога; здесь, вероятно, железка, макао — карточные игры.

Балабинская — гостиница на Невском проспекте, д. 87.

Европейская — гостиница на Михайловской ул., д. 17, самая престижная в Петербурге.

Святочные рассказы (с. 497)

Жизнь искусства. 1924. № 1. 1 января.

Печ. по: УГ. С. 154–156.

ЛЕПО — см. прим. к «Письмам в редакцию».

Собачий нюх (с. 500)

Смехач. 1924. № 1.

Печ. по: СС 6. Т. 2. С. 20–22.

Барон Некс (с. 503)

Красный журнал для всех. 1924. № 1. Заглавие: Рассказ о том, как Семен Семенович Курочкин работал у барона Некса.

Входил в цикл «Веселые рассказы» (см. выше).

Печ. по: СС 6. Т. 1. С. 205–210.

Черт (с. 508)

Зори. 1924. № 1.

Печ. по: СС 6. Т. 1. С. 195–199.

Монастырь (с. 512)

Красный журнал для всех. 1924. № 1. Заглавие: Рассказ о том, как Семен Семенович перестал в Бога верить.

Входил в цикл «Веселые рассказы» (см. выше).

Печ. по: СС 6. Т. 1. С. 211–216.

Столпник — монах-аскет, подвижник, проводящий дни и ночи на открытой площадке, сооруженной на столбе.

Кирилл, Мефодий — славянские просветители, проповедники христианства, создавшие в IX веке славянскую азбуку.

Игумен — средний монашеский сан, настоятель или помощник настоятеля православного монастыря.

Любовь (с. 517)

Красный ворон. 1924. № 1.

Печ. по: СС 6. Т. 1. С. 71–74. Одноименный рассказ 1922 г. см. выше.

Крюков канал — канал между Невой и Фонтанкой, названный по фамилии подрядчика, производителя работ.

Хозрасчет (с. 521)

Дрезина, 1924. № 16 (1). Январь. Заглавие: Жертва времени.

Печ. по: СС 6. Т.1. С. 132–135.

Три документа (с. 524)

Красный ворон. 1924. № 2. Заглавие: Костя Печенкин.

Печ. по: СС 6. Т. 1. С. 51–54.

Китайская церемония (с. 528)

Красный ворон. 1924. № 3. Подпись: Назар Синебрюхов.

Печ. по: СС 3. Т. 1. С. 206–208.

Исторический рассказ (с. 531)

Красный ворон. 1924. № 4. Заглавие: Встреча. Подпись: М. З.

В цикле «Веселые рассказы» (см. выше) публиковался под заглавием «Рассказ о том, как Семен Семенович Курочкин встретил Лена».

Печ. по: СС 6. Т. 2. С. 38–40.

Брак по расчету (с. 533)

Смехач. 1924. № 2.

Печ. по: СС 6. Т. 3. С. 136–140.

В существенно переработанном виде вошел в «Голубую книгу» под заглавием «Женитьба — не напасть, как бы после не пропасть» (раздел «Любовь»).

Счастье (с. 537)

Красный ворон. 1924. № 5.

Печ. по: СС 6. Т. 1. С. 102–106.

Бедный вор (с. 541)

Красный ворон. 1924. № 6. Подпись: Н. С.

Печ. по: УГ. С. 215.

Медик (с. 542)

Красный ворон. 1924. № 7. Заглавие: Лекарь.

Печ. по: СС 6. Т. 2. С. 26–30.

В цикл «Веселые рассказы» (см. выше) входил под заглавием «Рассказ о медике и медицине».

Диктофон (с. 546)

Смехач. 1924. № 3.

Печ. по: СС 6. Т. 1. С. 64–67.

В порядке боевого приказа (с. 549)

Красный ворон. 1924. № 9. Подпись: Н. С.

Печ. по: УГ. С. 218.

Забьгтый лозунг. Письмо в редакцию (с. 550)

Красный ворон. 1924. № 9.

Печ. по: СС 6. Т. 3. С. 113–116.

Колдун (с. 553)

Красный ворон. 1924. № 10.

Печ. по: СС 3. Т. 1. С. 228–230.

В цикл «Веселые рассказы» (см. выше) входил под заглавием «Рассказ о колдуне».

Случай в больнице (с. 556)

Красный ворон. 1924. № 11. Заглавие: Плохой обычай.

Печ. по: Зощенко М. Рассказы. М., 1927. С. 9–11.

В СС 3 опубликован под первоначальным заглавием, но со ссылкой на указанный сборник.

Твердая валюта (с. 559)

Смехач. 1924. № 5.

Печ. по: СС 6. Т. 3. С. 109–112.

Старый ветеран (с. 562)

Смехач. 1924. № 6.

Печ. по: СС 3. Т. 1. С. 216–218.

Фома неверный (с. 566)

Смехач. 1924. № 7.

Печ. по: СС 6. Т. 1. С. 140–144.

Бедный человек (с. 570)

Смехач. 1924. № 8.

Печ. по: СС 3. Т. 1. С. 224–226.

Человек без предрассудков (с. 574)

Красный ворон. 1924. № 13.

Печ. по: Зоценко М. Уважаемые граждане. М.; Л., 1927. С. 214–216.

Пациентка (с. 576)

Красный ворон. 1924. № 14.

Печ. по: СС 6. Т. 1. С. 92–96.

Публиковался также под заглавием «Пелагея» (Зоценко Мих. Тетка Марья рассказала. М., 1926. С. 45–50). Под таким заглавием печатался и другой рассказ (1924, см. далее).

Исповедь (с. 579)

Красный ворон. 1924. № 15.

Печ. по: СС 6. Т. 1. С. 68–70.

Епитрахиль — часть одежды священника, широкая лента, надеваемая на шею, знак священного сана.

«Передовой человек» (с. 582)

Красный ворон. 1924. № 16.

Печ. по: УГ. С. 218–220.

В иной редакции печатался под заглавием «Праздник книги» (Желонка. Баку. 1924. № 9). См.: УГ. С. 609–610.

Бедность (с. 584)

Красный ворон. 1924. № 17. Заглавие: Электрификация. Подпись: Семен Курочкин.

Печ. по: СС 6. Т. 2. С. 41–43.

Включался в цикл «Веселые рассказы» (см. выше) под заглавием «Рассказ о том, как Семен Семенович в квартире электричество провел». Для «Голубой книги» существенно переработан и опубликован под заглавием «Последний рассказ» (раздел «Удивительные события»). Журнальный вариант, отличающийся от вошедшего в СС 6, см.: УГ. С. 220–221.

Богатая жизнь (с. 587)

Красный ворон. 1924. № 18.

Печ. по: СС 6. Т. 1. С. 115–119.

Агитационный рассказ. О вреде крещения (с. 591)

Красный ворон. 1924. № 19. Заглавие: Драма.

Печ. по: Зощенко М. Тяжелые времена. М., 1927. С. 16–18.

В СС 3 со ссылкой на указанный сборник опубликован под первоначальным заглавием (Т. 1. С. 246–247).

Церковь Ксении Блаженной — находится на Смоленском кладбище в Петербурге (см. прим. к «Старухе Врангель»). Ксения Бла-

женная (между 1719 и 1730 — ок. 1801) — христианская юрoдическая-подвижница, святая, покровительница Петербурга, погребена на Смоленском кладбище.

Верная примета (с. 594)

Красный ворон. 1924. № 20.

Публиковался также: Желонка. Баку. 1924. № 10.

Печ. по: Зощенко М. Тетка Марья рассказала. М., 1926.

С. 14–17.

Плохие деньги (с. 596)

Красный ворон. 1924. № 22.

Печ. по: СС 3. Т. 1. С. 257–258.

Живой труп. Истинное происшествие (с. 599)

Красный ворон. 1924. № 23.

Печ. по: СС 3. Т. 1. С. 259–261.

Заглавие рассказа повторяет название драмы Л. Н. Толстого (1900).

Подшефное село «Смехача» (с. 602)

Смехач. 1924. № 10. Июнь.

Печ. по: УГ. С. 220–221.

Разговоры (с. 604)

Смехач. 1924. № 12. Июль.

Печ. по: СС 6; Т. 3. С. 125–127.

Легкая наука (с. 606)

Смехач. 1924. № 14.

Печ. по: СС 3. Т. 1. С. 456–459.

Поводырь (с. 610)

Красная панорама. 1924. № 14. Июль.

Печ. по: СС 6. Т. 1. С. 169–174.

Родственник (с. 615)

Смехач. 1924. № 16.

Печ. по: СС 6. Т. 1. С. 111–114.

В СС 3 опубликован под данным в 1930-е гг. заглавием «Не надо иметь родственников» (Т. 1. С. 239–241). В этом варианте исчезло упоминание о Смольном в предпоследней фразе и внесено несколько мелких изменений.

Воздушная почта (с. 619)

Красный ворон. 1924. № 25. Июль.

Печ. по: УГ. С. 226–227.

Открытое письмо (с. 621)

Красный ворон. 1924. № 26. Июль.

Печ. по: УГ. С. 227–229.

Маломыслящие (с. 623)

Красный ворон. 1924. № 27. Июль.

Печ. по: УГ. С. 229–230.

Неприятная психология (с. 625)

Красный ворон. 1924. № 31. Август. Подпись: Семен Курочкин.
Печ. по: УГ. С. 230–231.

Семейное счастье (с. 627)

Красный ворон. 1924. № 32. Август. Подпись: Семен Курочкин.
Печ. по: СС 3. Т. 1. С. 262–264.

Точная наука (с. 630)

Красный ворон. 1924. № 33. Сентябрь. Подпись: Семен Курочкин.
Печ. по: УГ. С. 233–234.

Церковная реформа (с. 633)

Красный ворон. 1924. № 34. Сентябрь. Подпись: М. З.
Печ. по: УГ. С. 235–236.

Щедрые люди (с. 635)

Красный ворон. 1924. № 35–36. Сентябрь. Подпись: М. З.
Печ. по: СС 3. Т. 1. С. 461–462.

Почетный гражданин (с. 637)

Смехач. 1924. № 17. Сентябрь.
Печ. по: УГ. С. 231–233.

Пелагея (с. 640)

Смехач. 1924. № 18. Заглавие: Ликвидация.
Печ. по: СС 6. Т. 1. С. 165–168.

Под таким же заглавием публиковался рассказ «Пациентка» (1924, см. выше).

В «Голубую книгу» в переработанном виде включен под заглавием «Рассказ о письме и о неграмотной женщине» (раздел «Любовь»).

Печатался также под заглавием «Письмо».

Европеец (с. 644)

Смехач. 1924. № 19.

Печ. по: СС 3. Т. 1. С. 244–246.

Случай в провинции (с. 647)

Ленинград. 1924. № 21.

Печ. по: СС 6. Т. 1. С. 217–224.

Цензор — см. прим. к автобиографии «О себе».

Отхожий промысел (с. 654)

Ленинград. 1924. № 22. Заглавие: Альфонс.

Печ. по: Зоценко М. Рассказы. Л., 1925. С. 26–31.

4 апреля 1928 г. М. С. Шагинян писала Зоценко: «Вы войдете в историю русского искусства как рассказчик гениальных “мелочей”. Не злитесь сейчас на меня. Повести ваши я прочла по два-три раза <...>, но рассказы мне нравятся больше. И ничего я лишнего там не вижу, а только огорчена, что Вы кое-где изменили текст и этим ослабили его (например, раньше “Альфонс” или “Отхожий промысел” — как его? — кончался “морд не напасешься”, а сейчас слабее). Читатель Вас наизусть знает, ему неприятно, когда знакомое изменено» (Мат 1. С. 119–120).

Вместо финальной фразы с конца 1920-х гг. появилось: «А тапе-рича девица Кет в морду лезет, дерется. Прямо хоть с квартиры съезжай».

Тетка Марья рассказала (с. 658)

Бегемот. 1924. № 3. Октябрь.

Печ. по: СС 6. Т. 1. С. 122–124.

Публиковался также под заглавием «Гомеопатическое средство».

Нянькина сказка (с. 660)

Бегемот. 1924. № 5. Ноябрь. Без подписи.

Печ. по: УГ. С. 236–237.

Шипы и розы (с. 663)

Бегемот. 1924. № 6. Ноябрь. Заглавие: Повышают. Без подписи.

Печ. по: СС 6. Т. 1. С. 55–56.

Под заглавием «Шипы и розы» публиковался другой фельетон (1925, см. Т. 2).

Рассказ певца (с. 665)

Бузотер. 1924. № 1. Ноябрь.

Печ. по: Зощенко Мих. Личная жизнь. Л., 1934. С. 134–136. Авторская дата: 1923 г.

Шаляпин — см. прим. к «Мемуарам старого капельдинера».

«*Кари глазки*» — речь идет о популярном городском романсе неизвестных авторов, который цитируется и в написанной Зощенко

главе «Златогорская, качай!» из коллективного романа «Большие пожары» (см. Т. 2).

«Славное море, священный Байкал» — фольклорная переработка стихотворения Д. П. Давыдова «Дума беглеца на Байкале» (1858), ставшая известной с начала XX в.

«Интернационал» — песня П. Дегейтера на стихи Э. Потье (1888), в переводе А. Кода, с 1906 г. ставшая гимном партии социал-демократов.

Полетели (с. 668)

Смехач. 1924. № 22. Ноябрь.

Печ. по: СС 3. Т. 1. С. 255–257.

Герои (с. 671)

Смехач. 1924. № 23. Декабрь. Заглавие: Серые герои.

Печ. по: Зоценко Мих. Тетка Марья рассказала. М., 1926. С. 51–54.

Точная идеология (с. 673)

Смехач. 1924. № 24. Декабрь.

Печ. по: СС 6. Т. 1. С. 136–139.

Остряк-самоучка (с. 676)

Смехач. 1924. № 26. Декабрь.

Печ. по: СС 6. Т. 1. С. 34–36.

Случай (с. 678)

Бегемот. 1924. № 9. Декабрь. Без подписи.

Печ по: СС 6. Т. 2. С. 44–46.

Шестеренка (с. 681)

Бегемот. 1924. № 11. Декабрь. Без подписи.

Печ. по: УГ. С. 240–241.

Паутина (с. 682)

Бузотер. 1924. № 2. Декабрь.

Печ. по: СС 6. Т. 3. С. 117–121.

Рабкор — рабочий корреспондент.

Случай на заводе (с. 687)

Бузотер. 1924. № 3. Декабрь. Подпись: М. З.

Печ. по: УГ. С. 241–242.

Полеты в кредит (с. 689)

Бузотер. 1924. № 3. Подпись: Гаврила.

Печ. по: УГ. С. 242–243.

ГСПС — губернский совет профессиональных союзов.

ОДВФ — общество друзей воздушного флота, существовало
в 1923–1925 гг.

ВЦСПС — Всесоюзный Центральный Совет профессиональных
союзов.

Кругом 16 (с. 691)

Бузотер. 1924. № 3. Декабрь. Подпись: М. З.

Печ. по: СС 3. Т. 1. С. 205–206.

Ранняя проза

В этом разделе представлена «нулевая поэтика» Зощенко, его разноплановые пробы пера, в которых ощущается влияние О. Уайльда, Ги де Мопассана, Ф. Сологуба, А. Блока, С. Пшибышевского, массовой литературы начала XX века.

При жизни писателя тексты не печатались. Они появились в сборнике «Неизданный Зощенко» (Анн Арбор, <1976>), в советской периодике 1970–1980-х гг. В отдельный раздел с добавлением впервые публикуемых произведений они собраны Ю. В. Томашевским в «Лице и маске».

Двугривенный (с. 693)

Вопросы литературы. 1975. № 10.

Печ по: Лицо и маска. С. 42.

Разложение (с. 694)

Литературная газета. 1984. 8 августа.

Печ по: Лицо и маска. С. 42–43.

И только ветер шепнул... (с. 695)

НЗ.

Печ по: Лицо и маска. С. 43–44.

Костюм маркизы. Нокторн (с. 697)

НЗ.

Печ по: Лицо и маска. С. 44–45.

Каприз короля (с. 699)

НЗ.

Печ. по: Лицо и маска. С. 45–47.

Конец (с. 703)

Лицо и маска. С. 48.

Печ. по этому изданию.

Актриса (с. 705)

Вопросы литературы. 1975. № 10.

Печ. по: Лицо и маска. С. 49.

Мещаночка (с. 707)

Лицо и маска. С. 49–50.

Печ. по этому изданию.

Сосед (с. 709)

НЗ.

Печ. по: Лицо и маска. С. 51–54.

Подлец (с. 716)

НЗ.

Печ. по: Лицо и маска. С. 54–56.

Как она смеет... (с. 719)

Литературная газета. 1968. 19 июня.

Печ. по: Лицо и маска. С. 56–58.

Тайна счастливого. Сказка (с. 723)

Лицо и маска. С. 58–63.

Печ. по этому изданию

Муж (с. 732)

Семья. 1988. 20–26 марта.

Печ. по: Лицо и маска. С. 63.

Я очень не люблю вас, мой властелин... (с. 733)

Лицо и маска. С. 64.

Печ. по этому изданию.

Серый туман (с. 735)

Лицо и маска. С. 65–73.

Печ. по этому изданию.

**Алфавитный
указатель произведений**

Автобиография («Родился в 1895 году...»)	127
[Автобиография] («Я начал писать рассказы...»)	123
[Автобиография] («Я родился в Полтаве...»)	104
Агитатор	433
Агитационный рассказ (О вреде крещения)	591
Актриса	705
Американцы	457
Аристократка	472
Баба	449
Бабкин муж	372
Барон Некс	503
Беда	463
Бедность	584
Бедный вор	541
Бедный Трупиков	307
Бедный человек	570
Богатая жизнь	587
Божественное	481
Брак по расчету	533
Великосветская история (Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова)	207
Верная примета	594

Веселая жизнь	275
Веселая масленица	350
Веселые вечера	393
Веселые рассказы	355
Виктория Казимировна (Рассказы Назара Ильича господина Синябрюхова)	220
Воздушная почта	619
Война	171
Вор	342
В порядке боевого приказа	549
Герои	671
Герой	476
Гиблое место (Рассказы Назара Ильича господина Синябрюхова)	245
Горькая доля	414
Гришка Жиган	253
Двугривенный	693
Диктофон	546
Европа	424
Европеец	644
Еще не так страшно!	406
Жених	483
Жертва революции	468
Живой труп (Истинное происшествие)	599
Забывтый лозунг (Письмо в редакцию)	550
«Из мира науки»	423
Искушение	147
Исповедь	579

Исторический рассказ 531
И только ветер шепнул 695
Как она смеет 719
Как я пошел сражаться за советскую власть 129
[Как я работаю] 112
Каприз короля 699
Карусель 377
Китайская церемония 528
Колдун 553
Комар носу не подточит 421
Конец 703
Костюм маркизы (Ноктюрн) 697
Крепкая женщина 491
Кругом 16 691
Кружевные травы. Всеволод Иванов (Пародии) 141
Легкая наука 606
Любовь («Вечеринка кончилась поздно...») 517
Любовь («Разбогател Гришка Ловцов...») 157
Лялька Пятьдесят 196
Мадонна 326
Маломыслящие 623
Матренища 397
Медик 542
Мемуары старого капельдинера 320
Метафизика 309
Мещаночка 707
Молитва 413
Монастырь 512

Муж	732
Не все сразу	406
Неизвестный друг	445
Не по тому адресу	418
Неприятная психология	625
Несколько слов в защиту начальников	402
Нищий	375
Новый письменник	323
Новый человек	427
Нянькина сказка	660
Об овощах и прочем	391
О Бор. Пильняке. К. И. Чуковский (Пародии)	142
Обязательное постановление («Ввиду того, что академические театры...»)	319
Обязательное постановление («В газете “Коммунист” наш изюмский корреспондент...»)	421
О себе	105
О себе, об идеологии и еще кое о чем	101
О себе, о критиках и о своей работе	108
О «Серапионовых братьях». Виктор Шкловский (Пародии)	139
Остряк-самоучка	676
Открытое письмо	621
Отхожий промысел	654
Пародии	139
Паутина	682
Пациентка	576
Пелагея	640
«Передовой человек»	582

Писатель	430
Письма в редакцию	313
Плохая ветка	395
Плохие деньги	596
Поводырь	610
Подлец	716
Подшефное село «Смехача»	602
Полетели	668
Полеты в кредит	689
Попугай	367
Последнее Рождество	488
Последний барин	285
Почетный гражданин	637
Предисловие (Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова)	204
Прятели	460
Приятная встреча	438
Протокол	454
Разговоры	604
Разложение	694
Рассказ о герое германской кампании (Веселые рассказы)	360
Рассказ о том, как Семен Семенович в Лугу ездил (Веселые рассказы)	363
Рассказ о том, как у Семен Семеныча Курочкина ложка пропала (Веселые рассказы)	356
Рассказ певца	665
Рассказ про попа	299
Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова	204

Речь, произнесенная на банкете	417
Родственник	615
Ругатели	419
Руковод	448
Рыбья самка. Рассказ отца дьякона Василия	148
Свиное дело	380
Свинство	442
Святочные рассказы	497
Сдвиг	410
Семейное счастье	627
Сенатор	336
Сенсационные известия	317
Серый туман	735
Сила таланта	353
Сказки для детей	493
Слоновое приключение. Зоценко о себе (Пародии)	145
Случай	678
Случай в больнице	556
Случай в провинции	647
Случай на заводе	687
Собачий нюх	500
Собачий случай	348
Сосед	709
С перепугу	420
Спецодежда, или Бери, боже, что нам не гоже	408
Старая крыса	435
Старуха Врангель	184
Старый ветеран	562

Счастье 537
Тайна счастливого (Сказка) 723
Твердая валюта 559
Тетка Марья рассказала 658
Точная идеология 673
Точная наука 630
Тревога 384
Три документа 524
Тщеславие 471
Фома неверный 566
Хозрасчет 521
Холостые пожарные танцуют 405
Хотя и брехня, но зато здорово 422
«Цены значительно понижены» 423
Церковная реформа 633
Человек без предрассудков 574
Человеческое достоинство 478
Черная магия 259
Черт 508
Чертовинка (Рассказы Назара Ильича господина
Синебрюхова) 233
Честный гражданин (Письмо в милицию) 452
Четверо 378
Шестеренка 681
Шипы и розы 663
Щедрые люди 635
Электрификация 388
Я очень не люблю вас, мой властелин 733

Содержание

И. Сухих. Гоголек	5
Предсказание	5
Предчувствие	6
Необыкновенная автобиография	7
Начало	8
Из гоголевской «Шинели»	12
Кафки Зощенко	29
Голубая книга	50
Перед восходом солнца	74
Катастрофа	83

РАЗНОТЫК*

Автобиографии. Рассказы и фельетоны 1914–1924

Автобиографии	101	767
О себе, об идеологии и еще кое о чем	101	767
[Автобиография]	104	768
О себе	105	769
О себе, о критиках и о своей работе	108	770
[Как я работаю]	112	773
[Автобиография]	123	774
Автобиография	127	774
Как я пошел сражаться за советскую власть	129	775

* Во второй колонке указана страница комментария.

Пародии	139	775
О «Серапионовых братьях».		
Виктор Шкловский	139	776
Кружевные травы. Всеволод Иванов	141	778
О Бор. Пильняке. К. И. Чуковский	142	778
Слоновое приключение. Зоценко о себе	145	780
Рассказы и фельетоны	147	780
Искушение	147	780
Рыбья самка. Рассказ отца дьякона Василия	148	780
Любовь («Разбогател Гришка Ловцов...»)	157	782
Война	171	784
Старуха Врангель	184	785
Лялька Пятьдесят	196	787
Рассказы Назара Ильича		
господина Синебрюхова	204	788
Предисловие	204	
Великосветская история	207	
Виктория Казимировна	220	
Чертовинка	233	
Гиблое место	245	
Гришка Жиган	253	792
Черная магия	259	792
Веселая жизнь	275	792
Последний барин	285	793
Рассказ про попа	299	793
Бедный Трупикив	307	793
Метафизика	309	794

Письма в редакцию	313	794
1. Прелести нэпа	313	
2. Вниманию милиции	314	
3. Глас вопиющего	314	
4. Барон	315	
5. Театральная жизнь	315	
6. Панама	316	
7. Голос прохожего	317	
Сенсационные известия	317	795
Кризис сырья в Америке	317	
Крупная потеря в буржуазном мире	318	
Безвыходное положение в Германии	318	
Обязательное постановление («Ввиду того, что академические театры...»)	319	795
Мемуары старого капельдинера	320	795
Новый письмовник	323	796
Мадонна	326	796
Сенатор	336	797
Вор	342	797
Собачий случай	348	797
Веселая масленица	350	798
Сила таланта	353	798
Веселые рассказы	355	798
1. Рассказ о том, как у Семен Семеныча Курочкина ложка пропала	356	
2. Рассказ о герое германской кампании	360	
3. Рассказ о том, как Семен Семенович в Лугу ездил	363	

Попугай	367	799
Бабкин муж	372	800
Нищий	375	800
Карусель	377	800
Четверо	378	801
Свиное дело	380	801
Тревога	384	801
Электрификация	388	801
Об овощах и прочем	391	802
Веселые вечера	393	802
Плохая ветка	395	802
Матренища	397	802
Несколько слов в защиту начальников	402	803
Холостые пожарные танцуют	405	803
Еще не так страшно!	406	803
Не все сразу	406	803
Спецодежда, или Бери, боже, что нам не гоже	408	803
Сдвиг	410	803
Молитва	413	803
Горькая доля	414	804
Речь, произнесенная на банкете	417	804
Не по тому адресу	418	804
Ругатели	419	804
С перепугу	420	804
Комар носу не подточит	421	804
Обязательное постановление («В газете “Коммунист” наш изюмский корреспондент...») ..	421	804

Хотя и брехня, но зато здорово	422	804
«Цены значительно понижены»	423	804
«Из мира науки»	423	804
Европа	424	805
Новый человек	427	805
Писатель	430	805
Агитатор	433	805
Старая крыса	435	806
Приятная встреча	438	806
Свинство	442	806
Неизвестный друг	445	806
Руковод	448	806
Баба	449	806
Честный гражданин (Письмо в милицию)	452	807
Протокол	454	807
Американцы	457	807
Друзья	460	807
Беда	463	807
Жертва революции	468	807
Тщеславие	471	808
Аристократка	472	808
Герой	476	809
Человеческое достоинство	478	809
Божественное	481	810
Жених	483	810
Последнее Рождество	488	810
Крепкая женщина	491	810

Сказки для детей	493	810
1. Мамкин аборт	493	
2. Кот в сапогах	494	
3. Красная Шапочка	495	
4. Петька Трепач	496	
Святочные рассказы	497	811
Собачий нюх	500	811
Барон Некс	503	811
Черт	508	811
Монастырь	512	811
Любовь («Вечеринка кончилась поздно...»)	517	812
Хозрасчет	521	812
Три документа	524	812
Заявление	525	
Письмо к матери	526	
Письмо к девице	527	
Китайская церемония	528	812
Исторический рассказ	531	813
Брак по расчету	533	813
Счастье	537	813
Бедный вор	541	813
Медик	542	813
Диктофон	546	814
В порядке боевого приказа	549	814
Забывтый лозунг (Письмо в редакцию)	550	814
Колдун	553	814
Случай в больнице	556	814

Твердая валюта	559	814
Старый ветеран	562	815
Фома неверный	566	815
Бедный человек	570	815
Человек без предрассудков	574	815
Пациентка	576	815
Исповедь	579	815
«Передовой человек»	582	816
Бедность	584	816
Богатая жизнь	587	816
Агитационный рассказ (О вреде крещения)	591	816
Верная примета	594	817
Плохие деньги	596	817
Живой труп (Истинное происшествие)	599	817
Подшефное село «Смехача»	602	817
Разговоры	604	817
Летчик	604	
Часы	604	
Двугривенный	605	
Поп	606	
Легкая наука	606	818
Поводырь	610	818
Родственник	615	818
Воздушная почта	619	818
Открытое письмо	621	818
Маломыслящие	623	818
Неприятная психология	625	819
Семейное счастье	627	819

Точная наука	630	819
Церковная реформа	633	819
Щедрые люди	635	819
Почетный гражданин	637	819
Пелагея	640	819
Европеец	644	820
Случай в провинции	647	820
Отхожий промысел	654	820
Тетка Марья рассказала	658	821
Нянькина сказка	660	821
Шипы и розы	663	821
Рассказ певца	665	821
Полетели	668	822
Герои	671	822
Точная идеология	673	822
Острик-самоучка	676	822
Случай	678	822
Шестеренка	681	823
Паутина	682	823
Случай на заводе	687	823
Полеты в кредит	689	823
Кругом 16	691	823
Ранняя проза	693	824
Двугривенный	693	824
Разложение	694	824
И только ветер шепнул	695	824
Костюм маркизы (Ноктюрн)	697	824

Каприз короля	699	825
Конец	703	825
Актриса	705	825
Мещаночка	707	825
Сосед	709	825
Подлец	716	825
Как она смеет	719	825
Тайна счастливого (Сказка)	723	826
Муж	732	826
Я очень не люблю вас, мой властелин	733	826
Серый туман	735	826
Примечания	755	
Алфавитный указатель произведений	830	

Литературно-художественное издание

Мих. Зощенко

Собрание сочинений

Разнотык

Рассказы и фельетоны

1914—1924

Редактирование и корректура

Елена Кузьменок

Художественный редактор

Валерий Калныньш

Подписано в печать 29.07.2008.

Формат 70×108¹/₃₂. Бумага писчая.

Усл. печ. л. 37,1. Тираж 3000 экз. Заказ № 574.

«Время»

115326 Москва, ул. Пятницкая, 25.

Телефон (495) 951 5568

<http://books.vremya.ru>

e-mail: letter@books.vremya.ru

Отпечатано в соответствии

с предоставленным оригинал-макетом

в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»

620041, ГСП-148, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

<http://www.uralprint.ru>

e-mail: book@uralprint.ru



Бли́зкий Вам Банк!

Более **300** отделений по всей России –
от Калининграда до Владивостока!

Все, что нужно для Вас и Вашего бизнеса:

- вклады;
- кредитование;
- денежные переводы и платежи;
- расчетно-кассовое обслуживание;
- пластиковые карты;
- сейфовые ячейки и др.

Русь-Банк основан 5 сентября 1994 года.
Является участником Системы обязательного
страхования вкладов. По данным ЦБ РФ входит
в список 30 крупнейших российских банков.

www.russbank.ru

8-800-200-80-60

(по России звонок бесплатный)

МИХ.
ЗОЩЕНКО

РАЗНОТЫК

Рассказы и фельетоны
1914—1924

